

В. В. Крестовский.

**Петербургские
Трущобы**

Крестовский В.В. Петербургские трущобы. Книга о сытых и голодных.
Роман в шести частях. Том 1 //Правда, Москва, 1990
ISBN: ISBN 5-253-00028-3
FB2: "Zmiy" <zmiy@inbox.ru >, 2004-10-07, version 1.0
UUID: D754CC8D-8A88-4804-B1F6-6D4AD3011BAB
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Всеволод Владимирович Крестовский

Петербургские трущобы. Том 1 (Петербургские трущобы #1)

Роман русского писателя В.В.Крестовского (1840 — 1895) — остросоциальный и вместе с тем — исторический. Автор одним из первых русских писателей обратился к уголовной почве, дну, и необыкновенно ярко, с беспощадным социальным анализом показал это дно в самых разных его проявлениях, в том числе и в связи его с «верхами» тогдашнего общества.

Содержание

ОТ АВТОРА К ЧИТАТЕЛЮ	0010
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ СТАРЫЕ ГОДЫ И СТАРЫЕ ГРЕХИ	0025
I КОРЗИНКА С ЦВЕТАМИ	0025
II МАТЬ	0034
III ТАЙНЫЙ ПРИЮТ	0039
IV УДАР ФАМИЛЬНОЙ ГОРДОСТИ	0050
V КНЯЖНА АННА	0060
VI ГОРНИЧНАЯ КНЯЖНЫ АННЫ	0077
VII ПОСЛЕДНЯЯ ВОЛЯ КНЯГИНИ	0085
VIII ЛИТОГРАФСКИЙ УЧЕНИК	0091
IX ЕРШИ	0098
X КВАРТИРА ДЛЯ ТРЫНКИ И ТЕМНЫХ ГЛАЗ	0132
XI КАПИТАН ЗОЛОТОЙ РОТЫ	0154
XII КЛЮЧИ СТАРОЙ КНЯГИНИ	0172
XIII ОТОМСТИЛА	0177
XIV БЛИЖАЙШИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПОКРАЖИ	0182
XV ГЕНЕРАЛЬША ФОН ШПИЛЬЦЕ	0186
XVI РЫЦАРЬ БЕЗ СТРАХА И УПРЕКА	0197
XVII ДВЕ ПОЩЕЧИНЫ	0211
XVIII КНЯЗЬ И КНЯГИНЯ ШАДУРСКИЕ	0215
XIX НЕОЖИДАННОЕ И НЕ СОВСЕМ ПРИЯТНОЕ ПОСЛЕДСТВИЕ ВТОРОЙ ПОЩЕЧИНЫ	0229

XX АРЕОПАГ НЕПОГРЕШИМЫХ	0243
XXI ПРОБУЖДЕНИЕ	0247
XXII ДЕТИ	0251
XXIII ВЕЛИКОСВЕТСКАЯ ДИАНА	0254
ЧАСТЬ ВТОРАЯ НОВЫЕ ОТПРЫСКИ СТАРЫХ КОРНЕЙ	0261
I ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ	0261
II СТАРЫЙ ДРУГ — ЛУЧШЕ НОВЫХ ДВУХ	0271
III ПРОМЕЖУТОК	0289
IV КНЯЗЬ ВЛАДИМИР ШАДУРСКИЙ	0300
V РАУТ У ШИНШЕЕВА	0314
VI КЛЮЧИ СТАРОЙ КНЯГИНИ	0351
VII «НА ЧАШКУ КОФИЮ»	0360
VIII НЕОЖИДАННЫЙ ВИЗИТ	0376
IX ВЫИГРАННОЕ ПАРИ	0383
X СЧАСТЛИВЫЙ ИСХОД	0391
XI ДВА НЕВИННЫХ ПОДАРКА	0398
XII ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЯТЕЛИ	0406
XIII ИСПОВЕДНИК	0414
XIV НАЗИДАТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ	0424
XV ИСКУШЕНИЕ	0431
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ДВА УГОЛОВНЫХ ДЕЛА	0438
I У СПАСА НА СЕННОЙ	0438
II ПЕРЕКУСОЧНЫЙ ПОДВАЛ	0463
III ПОЛТОРАЦКИЙ	0470
IV СУХАРЕВКА	0478
V ПАТРИАРХ МАЗОВ	0491
VI НИЩИЙ-БОГАЧ	0507

VII БЛАГОДЕТЕЛЬ РОДА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО .	0538
VIII ИВАН ВЕРЕСОВ	0558
IX ЧАЮЩИЕ ДВИЖЕНИЯ ВОДЫ	0572
X ГОЛОВУ НА РУКОМОЙНИК	0583
XI ФИГА	0589
XII ОБЛАВА	0605
XIII ДОЗНАНИЕ И АКТ НА МЕСТЕ	0621
XIV НОВАЯ ГЕРОИНЯ	0632
XV ИДИЛЛИЧЕСКИЕ СТРАНЫ ПЕТЕРБУРГА	0639
XVI БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ	0667
XVII В ТЕАТРЕ	0682
XVIII СТРАНА ФАНТАСТИЧЕСКАЯ, НО БЕЗ ПРИМЕСИ ИДИЛЛИИ	0689
XIX КОНВЕНЦИЯ	0698
XX НА БРУДЕРШАФТ	0705
XXI СОДЕРЖАНКА	0718
XXII ОСОБЫЙ МИРОК	0743
XXIII ПЕРВОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ	0760
XXIV КИНИК	0767
XXV XIV ОТДЕЛЕНИЕ ОБУХОВСКОЙ БОЛЬНИЦЫ	0780
XXVI АУКЦИОН	0793
XXVII НА НОВУЮ ДОРОГУ	0812
XXVIII У ДОРОТА С КАМЕЛИЯМИ	0818
XXIX МАСКАРАД БОЛЬШОГО ТЕАТРА	0830
XXX ВТОРОЕ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО	0845
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ЗАКЛЮЧЕННИКИ	0858
I ДЯДИН ДОМ	0858

II ТЮРЕМНЫЙ ДЕНЬ	0879
III ПРОДАЖА ПРЕСТУПЛЕНИЙ	0890
IV РАЗВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ	0897
V СКАЗКА ПРО ВОРА ТАРАСКУ	0905
VI ВАНЬКА-ГОРЮН, ГОРЕ-ГОРЬКАЯ ГОЛОВА	0910
VII ПАЛЕСТИНЫ ЗАБУГОРНЫЕ	0918
VIII АРЕСТАНТСКИЕ ИГРЫ	0932
IX РАМЗЯ	0941
X ИСТОРИЯ РАМЗИ	0956
XI ВЫВОД ИЗ ПРЕДЫДУЩИХ ГЛАВ	0976
XII В СЛЕДСТВЕННОЙ КАМЕРЕ	0988
XIII СЕКРЕТНАЯ	1012
XIV ДЕЛО О ПОКУШЕНИИ НА УБИЙСТВО ГВАРДИИ КОРНЕТА КНЯЗЯ ШАДУРСКОГО ЖЕНОЮ МОСКОВСКОГО ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА ЮЛИЕЮ БЕРОЕВОЙ	1022
XV СЕМЕЙНАЯ ГОРЕСТЬ И ОБЩЕЕ СОЧУВСТВИЕ	1031
XVI ФАМИЛЬНАЯ ЧЕСТЬ ЗАТРОНУТА	1037
XVII ДЕЛЬЦЕ ПОЧТИ ОБДЕЛАНО	1041
XVIII-XXII	1052
XXIII ОЧНЫЕ СТАВКИ	1052
XXIV ЗАБОТЫ КНЯГИНИ О СУДЬБЕ БЕРОЕВОЙ И ЕЕ БЛАГОЧЕСТИВЫЕ ПОБУЖДЕНИЯ	1079
XXV ПРИЕЗД БЕРОЕВА	1090
XXVI ПЕТЛЯ	1097
XXVII ПРОЙДИ-СВЕТ	1111

XXVIII НАДЕЖДА ЕЩЕ НЕ ПОТЕРЯНА	1120
XIX ХЛЕБОНАСУЩЕНСКИЙ И КОМПАНИЯ ПОРЮТ ГОРЯЧКУ	1132
XXX СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ ПОД НОВОЙ КЛИЧКОЙ	1143
XXXI БАЙКОВЫЙ ЛОЗУНГ	1149
XXXII «УТЕШИТЕЛЬНАЯ»	1153
XXXIII ТЫРБАНКА СЛАМУ	1174
XXXIV НАКАНУНЕ ЕЩЕ ОДНОГО ДЕЛА НОВОГО И КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕЛЕ ТОЛЬКО ЧТО ПОКОНЧЕННОМ	1183
XXXV ОБЫСК	1192
XXXVI НА КАНАВЕ	1206
XXXVII КАКИМ ОБРАЗОМ ВСЕ ЭТО СЛУЧИЛОСЬ	1220
XXXVIII ОДИН ИЗ ВЕЗДЕСУЩИХ, ВСЕВЕДУЩИХ, ВСЕСЛЫШАЩИХ И Т.Д.	1251
XXXIX ДОПРОС	1270
XL ЗА РЕКОЮ	1281
XLI У ДЯДИ НА ДАЧЕ	1290
XLII БЕРОЕВА В ТЮРЬМЕ	1295
XLIII ТЮРЕМНЫЕ СВИДАНИЯ	1324
XLIV СТАРЫЙ РУБЛЬ	1336
XLV ОПЯТЬ НА МУЖСКОМ ТАТЕБНОМ	1339
XLVI ЗАВЕТНЫЕ ДУМЫ	1348
XLVII ФИЛАНТРОПКИ	1363
XLVIII АРЕСТАНТЫ В ЦЕРКВИ	1367
XLIX ФОМУШКА ПУСКАЕТ В ХОД СВОЙ МАНЕВР	

.....	1374
L ТРУДНО РАЗЛИЧАТЬ ПРАВДУ И ИСКРЕННОСТЬ	1384
LI НА ПОРУКИ	1391
LII ФАРМАЗОНСКИЕ ДЕНЬГИ	1406
LIII ОТПЕТЫЙ, ДА НЕ ПОХОРОНЕННЫЙ ..	1419
LIV ВЕРЕСОВ НА ВОЛЕ	1429
LV ФЕМИДА НАДЕВАЕТ ПОВЯЗКУ И ПОДНИМАЕТ СВОИ ВЕСЫ	1439
LVI ВЫЧИТКА РЕШЕНИЯ	1445
LVII НЕДЕЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЙ	1452
LVIII ПРОГУЛКА НА ФОРТУНКЕ К СМОЛЬНОМУ ЗАТЫЛКОМ	1458

**Всеволод Владимирович
Крестовский
Петербургские трущобы
Книга о сытых и голодных
Роман в шести частях
Том 1**

ОТ АВТОРА К ЧИТАТЕЛЮ

Прежде чем читатель раскроет первую страницу предлагаемого романа, я нахожу не лишним сказать ему несколько слов.

Когда еще до появления в «Отечественных записках» первой части моего романа, которая сама по себе составляет как бы введение, пролог к нему, я читал ее некоторым друзьям и знакомым — мне приходилось неоднократно выслушивать вопрос: да неужели все это так, все это правда?

Вопрос относился предпочтительно к темному миру трущоб. Весьма может статься, что он же придет в голову и незнакомому с делом читателю. Поэтому позвольте мне рассказать, каким образом пришла мне первая мысль настоящего романа, что натолкнуло на нее и что побудило меня приняться за мой труд. В этом будет заключаться маленькая история романа и ответ на вопрос: точно ли это правда?

Идея предлагаемого романа давно уже сделалась самой любимой, самой задушевной моей идеей. Первая мысль ее явилась у меня

в 1858 году. Натолкнул меня на нее случай.

Часу в двенадцатом вечера я вышел от одного знакомого, обитавшего около Сенной. Путь лежал мимо Таировского переуллка; можно бы было без всякого ущерба и обойти его, но мне захотелось поглядеть, что это за переулченко, о котором я иногда слышал, но сам никогда не бывал и не видал, ибо ни проходить, ни проезжать по нем не случалось. Первое, что поразило меня, это — кучка народа, из середины которой слышались крики женщины. Рыжий мужчина, по-видимому отставной солдат, бил полупьяную женщину. Зрители поощряли его хохотом. Полицейский на углу пребывал в олимпийском спокойствии. «Подерутся и перестанут — не впервой!» — отвечал он мне, когда я обратил его внимание на безобразно-возмутительную сцену. «Господи! нашу девушку бьют!» — прокричала шмыгнувшая мимо оборванная женщина и юркнула в одну из дверей подвального этажа. Через минуту выбежали оттуда шесть или семь таких же женщин и общим своим криком, общими усилиями оторвали товарку. Все это показалось мне дико и ново.

Что это за жизнь, что за нравы, какие это женщины, какие это люди? Я решился переступить порог того гнилого, безобразного приюта, где прозябали в чисто животном состоянии эти жалкие, всеми обиженные, всеми отверженные создания. Там шла отвратительная оргия. Вырученная своими товарками окровавленная женщина с воем металась по низенькой, тесной комнате, наполненной людьми, плакала и произносила самые циничные ругательства, мешая их порою с французскими словами и фразами. Это обстоятельство меня заинтересовало. «Она русская?» — спросил я одну женщину. — «А черт ее знает, — надо быть, русская». Как попала сюда, как дошла до такого состояния эта женщина? Очевидно, у нее было свое лучшее прошлое, иная сфера, иная жизнь. Что за причина, которая, наконец, довела ее до этого последнего из последних приютов? Как хотите, но ведь ни с того ни с сего человек не доходит до такого морального падения. Мне стало жутко, больно и гадко, до болезненности гадко от всего, что я увидел и услышал в эти пять — десять минут. Я думал, что это уже по-

следняя грань петербургской мерзости и разврата — и я ошибся. Это был один только легонький мотивец, один только уголок той громадной картины, о которой я тогда не имел еще ни малейшего понятия, с которой познакомился поближе и покороче только впоследствии, ибо картина эта прячется от официальной, показной жизни нашего города, и вообразить ее трудно, почти невозможно без наглядного, непосредственного знакомства с нею лицом к лицу.

Оставаться долее в этом приюте у меня не хватало силы: кроме нравственного, гнетущего чувства, начинало мутить физически. Я уже направился к двери, как вдруг две кутившие личности мужского пола и весьма подозрительной наружности заметили синий околыш моей фуражки и мое студентское пальто. Один из них без всякой церемонии подошел ко мне. «Слышите, студент, есть у вас деньги?» — «Есть. А что?» — «Дайте мне взаймы — сколько есть; у нас не хватило, а выпить хочется». Я понял, что тут ничего не поделаешь, вынул бумажник, в котором на тот раз находилось только два рубля серебром, и

отдал их подозрительному господину. Подозрительный господин поблагодарил и предложил выпить с ними вместе. Я попытался было отказаться. «Что же вы, брезгуете, что ли?» — обиделся он. После этого, конечно, надо было остаться; и вот за стаканом скверной водки я узнал мимоходом, урывками кое-что из жизни побитой женщины и ее товаров; но через эти урывки для меня скользила целая драма — такая драма, в которой «за человека страшно» становится.

Да, милостивые государи, живем мы с вами в Петербурге долго, коренными петербуржцами считаемся, и часто случалось нам проезжать по Сенной площади и ее окрестностям, мимо тех самых трущоб и вертепов, где гниет падший люд, а и в голову ведь, пожалуй, ни разу не пришел вам вопрос: что творится и делается за этими огромными каменными стенами? Какая жизнь коловращается в этих грязных чердаках и подвалах? Отчего эти голод и холод, эта нищета разъедающая, в самом центре промышленного богатого и элегантного города, рядом с палатами и самодовольно сытыми физиономиями? Как доходят

люди до этого позора, порока, разврата и преступления? Как они нисходят на степень животного, скота, до притупления всего человеческого, всех не только нравственных чувств, но даже иногда физических ощущений страданий и боли? Отчего все это так совершается? Какие причины приводят человека к такой жизни? Сам ли он или другое что виной всего этого? Обвинить легко, очень легко — гораздо легче, чем вдуматься и вникнуть в причину вины, разыскать предшествовавшие «подготовительные и предрасполагающие» обстоятельства. Но вот в том-то и вопрос: как взглянуть на падшего человека: один ли он сам по себе виноват и причинен в своем безобразии и несчастьи? А если не один, то виноват ли еще, наконец, при его невежественности относительно самых первичных нравственных оснований, при его грубой неразвитости, при той ужасающей нас обстановке, которою он окружен безысходно, часто с первой минуты своего рождения на свет? Если же все это так, то не тяготеет ли часть этой вины на каждом из нас, на всем обществе нашем, столь щедром на филантропические

возгласы, обеты и теории.

«Es ist eine alte Geschichte» — все эти вопросы, которые я предложил: не я их выдумал, и не я первый повторяю их. Да, «es ist eine alte Geschichte, doch bleibt sie immer neu»[1], быть может, для иного читателя, которому и в голову они не приходили. А у нас таковых — надо сознаться — не занимать-стать пока.

В тот достопамятный — лично для меня — вечер, когда я впервые случайно попал в одну из трущоб, вопросы эти и мне пришли в голову. Та невидимая драма, которая осветилась для меня — частью по услышанным и подхваченным на лету урывками, частью же по собственной догадке и соображениям, — невольно как-то сама собою натолкнула меня, вместе с вышеизложенными вопросами, на мысль романа.

Я тогда же принялся за писанье и окрестил свое произведение «Содержанкой». Принялся за работу с жаром, исписал целую толстую тетрадь, но... ничего из этого путного не вышло. Задача оказалась слишком велика и широка для той рамки, которая была первоначально избрана мною. Притом я спасовал пе-

ред действительностью: я не знал, не имел ни малейшего понятия о той жизни, за изображение которой так опрометчиво взялся, — подготовки у меня не было никакой, отношение слишком дилетантское — и я бросил свою работу, не покидая, однако, мысли об этом романе.

Мне эта мысль уже представлялась в виде общего физиологического очерка не одних только трущоб и вертепов, но петербургской жизни вообще. Я принялся за изучение этой жизни и ее типов с тех сторон, которые оказывались пригодными, подходящими для моей идеи. Через несколько лет исподвольных наблюдений я увидел ясно, что трущобы кроются не исключительно около Сенной, что они весьма многообразны, и поэтому дал своему роману его настоящее название.

Многим из читателей многое, быть может, покажется в нем странным, преувеличенным и даже невероятным; но это оттого, что мы не привыкли еще к гласному публичному обсуждению такого рода фактов и обстоятельств. Открытые судебные камеры[2] не замедлят познакомить нас со множеством неиз-

вестных еще большинству явлений. Изменение системы тюремного заключения также принесет громадную нравственную пользу тем несчастным, которые теперь неизбежно являются самыми закоренелыми орудиями и двигателями порока и преступления. Люди компетентные, приходящие, по роду своих обязанностей, в ближайшее соприкосновение с этим миром, очень хорошо понимают истину моих слов, ибо знают, что достаточно просидеть в тюрьме за проступок какой-нибудь один месяц, чтобы человек, хотя и честный, но не имеющий твердых нравственных основ, вышел бы оттуда полным и формально готовым негодяем, который при первом удобном случае делается уже преступником. Наконец, справедливость требует сказать, что в последнее время многое уже сделано относительно мира трущоб. Старые язвы мало-помалу уничтожаются: в центральной нашей трущобе — доме князя Вяземского — есть уже кое-какая возможность для нищего человека жить хотя немножко человеческим образом.

Я считаю при этом первую и приятную обязанностью принести мою благодарность

лицам, которые своим содействием помогли мне ознакомиться с теми многообразными отраслями нашей жизни, что вошли в программу предлагаемого романа, — лицам, в следственной камере которых я знакомился с характером и личностями преступников, с фактами преступлений, подлежащих юридическому разрешению, и которые дали мне возможность спуститься в темный мир трущоб, чтобы самому, лицом к лицу, узнавать эту жизнь и нравы.

К глубокому моему сожалению, роман не выходит в свет в том виде, в каком написан и в каком бы мне, как автору, всегда хотелось печатать[3]. От этого некоторые эпизоды являются перед читателем в крайне неполном и неряшливом виде, так что отсутствие эстетического — а во многих местах и просто логического — смысла ни для кого не может остаться незамеченным.

Я надеялся избежать всех этих погрешностей в отдельном издании моей книги, но надежды мои не оправдались.

Итак, «Петербургские трущобы» и ныне, в отдельном издании, являются с прежними

пробелами. Прошу читателя извинить их... Впрочем, поставя своим долгом относиться к печатному слову честно, я остаюсь — и навсегда останусь — при глубоко неизменном убеждении, что прямое слово правды никогда не может подрывать и разрушать того, что законно и истинно; а если наносит оно вред и ущерб, то только одному злу и беззаконию. Мною же — могу сказать по совести и смело — руководило одно лишь добросовестное желание добра и пользы. Но, как бы то ни было, я еще и еще раз прошу читателя извинить не мне, а этой книге ее пробелы.

Кроме общего наименования «Петербургские трущобы», я назвал еще роман мой «книгою о сытых и голодных». Надеюсь, что этим достаточно охарактеризовано ее содержание. Напрасно бы стал кто-нибудь в этом последнем названии выискивать какую-нибудь затаенную мысль. Оно означает почти непосредственно то, что и должно означать по самому смыслу употребленных в нем слов. Объяснимся. Я остаюсь совершенно чужд в моей книге каких бы то ни было сословных пристрастий, симпатий и антипатий. Я беру

только то, что мне дает жизнь. Вкусно подносимое ею блюдо — я отмечаю, что оно вкусно; отвратительно — так и говорю, что отвратительно. Для меня в этом отношении не существует никаких каст и сословий, — писатель-романист должен стоять вне кружковых пристрастий к тому или другому. Для меня нет ни аристократов, ни плебеев, ни бар, ни помещан, — для меня существуют одни только люди — человек существует. И этих людей, вместо всяких каст, я делю на сытых и голодных, пожалуй, на добрых и злых, на честных и бесчестных и т.д.

Если книга эта заставит читателя призадуматься о жизни и участи петербургского бедняка и отверженной парии — трущобной женщины; если в среде наших филантропов и в среде административной он возбудит хотя малейшее существенное внимание к изображенной мною жизни, я буду много вознагражден сознанием того, что труд мой, кроме развлечения для читателя, принесет еще и частицу существенной пользы для той жалкой, темной среды, где голодная мать должна воровать кусок хлеба для своего голодного ре-

бенка; где источником существования двенадцати-тринадцатилетней девочки является нищенство и продажный разврат; где голодный и оборванный бедняк, тщетно искавший честной работы, нанимается для совершения преступления мошенником сытым и более комфортабельно обставленным в жизни, причем этот ничем почти не рискует, а тот, за самую ничтожную цену, ради требований своего непослушного желудка, гибнет на каторге; где, наконец, люди болеют, страдают, задыхаются в недостатке чистого, свежего воздуха и иногда решаются если не на преступление, то на самоубийство, чем ни попало и как ни попало, лишь бы только избавиться от безнадежно мрачного существования, буде до этого крайнего исхода не успеют зачерстветь и оскотиниться настолько, чтобы потерять всякую способность к каким бы то ни было человеческим ощущениям, как нравственным, так и физическим, кроме инстинктов голода, сна и, часто, ненормально удовлетворяемой половой потребности. Здесь-то вот кроется наша невидимая язва, здесь наша горькая скорбь вавилонская, которая даже не вопиет

о спасении, об исходе, по причине очень простой и несложной: она их не знает.

Быть может, кто-либо найдет, что изображение этих язв слишком цинично и даже неблагопристойно. Что ж делать, таков уж предмет, избранный мною. Да, впрочем, книга ведь не предназначается к чтению в пансионах и институтах для благородных девиц. В этом случае я могу ответить только словами покойного Помяловского: «Если читатель слаб на нервы и в литературе ищет развлечения и элегантных образов, то пусть он не читает мою книгу. Доктор изучает гангрену, определяет вкусы самых мерзких продуктов природы, живет среди трупов, однако его никто не называет циником; стряпчий входит во все тюрьмы, видит преступников по всем пунктам нравственности: отцеубийц, братоубийц, детоубийц, воров, поддельвателей фальшивых бумаг и т.п. личностей, изучает их душу, проникает в самый центр разложения нравственности человеческой, однако и его никто не называет циником, а говорят, что он служит человечеству; священник часто поставлен в необходимость выслушивать

ужасающую исповедь людей, желающих примириться с совестью, но и он не циник. Позвольте же и писателю принять участие в этой же самой работе и таким образом обратить внимание общества на ту массу разврата, безнадежной бедности и невежества, которая накопилась в недрах его». Слова уважаемого мною писателя пусть служат моим ответом и оправданием в глазах читателя элегантно-слабонервного; если же таковой сим не удовлетворится, то может на этих же страницах покончить чтение моего романа — и я, в таком случае, только почту своим долгом извиниться перед ним в том, что утруждал его прочтением этого несколько длинного предисловия.

Всеволод Крестовский

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ СТАРЫЕ ГОДЫ И СТАРЫЕ ГРЕХИ

I

КОРЗИНКА С ЦВЕТАМИ

5 мая 1838 года, часов около девяти утра, у подъезда дома князя Шадурского остановилась молодая женщина и дернула за ручку звонка. Судя по ее наружности и костюму, в ней нетрудно было узнать горничную из порядочного дома. Она бережно держала в руках корзинку, покрытую широким листом белой бумаги и перевязанную вдоль и поперек широкою розовою лентою. Из-под бумаги пробивались свежие и душистые цветы.

Через минуту в двери щелкнул замок, и на пороге появился толстый швейцар, в утреннем дезабилье, с пологою щеткою в руках, и, увидя совершенно незнакомую женщину, спросил весьма нелюбезным тоном:

— Кого надо?

Женщина слегка изменилась в лице и, торопливо отдавая корзинку, проговорила слегка дрожащим и будто тревожным голосом:

— Передайте князю и княгине... тут цветы... Скажите, что от бельгийского консула... Приказали кланяться и отдать...

— Ладно, будет отдано! — ответил швейцар уже менее суровым тоном (вероятно, слова «от бельгийского консула» были тому причиной) и, приняв с рук на руки корзинку, скрылся за захлопнувшейся стеклянной дверью.

Женщина опрометью бросилась бежать до первого попавшегося извозчика, прыгнула, не торгуясь, в дрожки и быстро исчезла за углом улицы.

Швейцар, в ожидании пробуждения своих господ, поставил корзинку на массивную, резную дубовую скамейку, служившую необходимым дополнением к великолепным сеням с мраморными колоннами княжеского дома, и принялся за свою утреннюю работу — подметать гранитный мозаичный пол.

Вдруг, через несколько времени, в сенях, неизвестно откуда, послышался слабый крик

младенца. Швейцар был очень изумлен этим совершенно необычайным обстоятельством и стал прислушиваться. Крик повторился еще, и на этот раз уже совершенно явственно из принесенной корзинки.

— Вот-те и бельгийский консул!.. Эко дело какое! — пробурчал себе под нос маститый привратник и тотчас же бросился на улицу, вдогонку за неизвестной женщиной. Но это была уже совершенно тщетная попытка, так как той и след давным-давно простыл. В раздумье о случившейся «оказии», потряхивая головою и разводя руками, возвратился он в свои сени и, поднявшись вверх по роскошной лестнице, кликнул, с подобающей таинственностью, княжеского камердинера и камеристку княгини.

Все втроем остановились они перед таинственной корзинкой, но никто из них не осмелился дотронуться и раскрыть ее — «на барское-де имя прислано», и потому на тройственном совете своем положили они — доложить обо всем немедленно же господам.

Камердинер направился на половину князя, а камеристка в спальню княгини.

— Ваше сиятельство!.. а ваше сиятельство!
Бог милости прислал...

— А?.. что?.. — пробормотал князь спросонок.

— Бог милости прислал вашему сиятельству, — почтительнейше повторил камердинер.

— Какой милости?

— Корзинку с цветами-с...

— Что ты врешь? какую корзинку?

— От бельгийского консула... приказали кланяться и отдать вашему сиятельству.

— От какого бельгийского консула? — в недоумении допытывал князь, протирая заspanные глаза. — Что это, ты пьян, что ли?

— Никак нет, ваше сиятельство, а только я докладываю, что от бельгийского консула... бог милостью посетил... корзинка с цветами...

Князь Шадурский глядел во все глаза на своего камердинера и только пожимал плечами.

— Да объяснись ты, братец, по-человечески. В чем дело?

— Младенец-с...

— Какой младенец?

— Надо полагать, подкидыш... В корзинке этой самой положен... Мы без вашего сиятельства не осмелились...

— А!.. — произнес князь Шадурский, и личные мускулы его как-то кисло передернуло от заметного неудовольствия. Князь понимал и догадывался о том, чего не понимал и не мог догадаться его камердинер.

— Княгиня знает? — торопливо и озабоченно спросил он, подымаясь с постели.

— Мамзель Фани пошла докладывать их сиятельству.

— А!.. — и лицо князя опять передернуло.

Когда камеристка доложила о случившемся княгине, то княгиня ничего не сказала ей на это, и только как-то саркастически и коварно улыбнулась, но так легко, что эту улыбку почти невозможно было подметить... Казалось, что княгиня, подобно князю, понимала и догадывалась о том, чего не понимала ее горничная, и нельзя сказать, чтоб супруги остались особенно довольны посетившей их божией милостью.

— Поздравляю вас, князь, с приращением вашего семейства, — сказала княгиня при

входе мужа в ее будуар, и сказала это так мило и любезно, что все колкие шпильки произнесенной ею фразы показались Шадурскому втрое колючее, так что он, закусив от досады нижнюю губу, процедил ей в ответ сквозь зубы весьма сухим и холодным тоном:

— Мне кажется, что это относится столько же и к вам, сколько ко мне... Корзинка прислана на наше общее имя.

— Я, по крайней мере, нисколько не виновата в этом, — столь же колко и как бы про себя заметила княгиня.

Шадурский пристально и сухо посмотрел ей прямо в глаза.

— В этом — да, нисколько! но в другом... — произнес князь с немалою выразительностью и остановился.

— В чем другом? — с живостью перебила его жена, — в чем?..

— Вы сами очень хорошо понимаете, о чем я говорю; так не заставляйте же меня хоть ради приличия называть вещи настоящими их именами! — сказал, он, не сводя глаз с лица жены, и потом добавил: — Пять месяцев назад меня не было в Петербурге... Да, потом, вы

очень хорошо должны помнить, что три месяца я один без вас прожил в деревне.

Княгиня смутилась и покраснела. Теперь ей, в свою очередь, пришлось глотать мужнины шпильки. Она сидела на каленых угольях и, видимо, искала случая дать другое направление разговору.

— А где же корзинка однако? что это ее не несут? — сказала она, озабоченно поднимаясь с места.

Корзинка была внесена камеристкою в комнату. Княгиня сама развязала узлы розовой ленты и приподняла лист белой бумаги.

Все втроем с любопытством наклонились над корзинкою. Там, среди цветов, лежала девочка, родившаяся, по-видимому, дня два-три назад. На ней были надеты сорочка тончайшего батиста и чепчик, отороченный настоящими кружевами. Лежала она, со всех сторон, как пухом, обложенная белою и теплою ватой. При ней находилась записка, весьма лаконического содержания: «Родилась второго мая. Еще не крещена», — и только. Склон букв ложился в левую сторону, очевидно, для того, чтоб нельзя было узнать, чья рука писа-

ла записку. По всей обстановке этой корзинки можно было предположить, что дитя принадлежало не совсем бедной матери и что, значит, не голод и нищета, а другие, неизвестные причины заставили ее расстаться с своим ребенком.

Подкидыш немедленно же был сдан на руки камеристке, до приискания ему более определенного положения, и унесен из будуара княгини, которая опять осталась с глазу на глаз со своим мужем. Несколько времени оба молчали. Видно было, что и тот и другая крепко задумались о чем-то в эту критическую минуту.

Княгиня первая прервала неловкое молчание.

— Что же вы намерены делать с этим ребенком? — спросила она. — Ведь, кажется, надо объявить, что ли, кому-то об этом.

— Вздор!.. Никому ничего объявлять не надо, а надо просто... — и князь опять остановился и задумался.

— Что же надо? — переспросила его жена.

— Надо нам объясниться с вами! — наконец выговорил он, собравшись с силами.

— Извольте; я готова...

— Дело вот в чем, — начал князь, как бы приискивая более удобные, подходящие выражения, — дело вот в чем: у нас с вами, княгиня, есть наш собственный сын и наследник моего имени — князь Владимир Шадурский, и потому... я не желаю, чтобы в доме нашем находились и воспитывались, рядом с нашим сыном, какие бы то ни было посторонние дети. Вполне ли вы меня понимаете? — спросил он, придавая как бы особенное значение этому последнему вопросу.

Княгиня потупила глаза и утвердительно кивнула головою.

— Не угодно ли вам будет отправиться за границу? — как бы неожиданно и бесцельно спросил он.

— Пожалуй... я подумаю...

— То-то, подумайте... А об участии этого подкидыша вы не беспокойтесь, — добавил он, вставая и выходя из комнаты. — Я сделаю для него все, что могу.

II МАТЬ

Проскакав по выбоинам петербургской мостовой со всею возможною скоростью, на какую только способна полузамороженная извозчичья кляча, дрожки повернули в более глухую часть города и остановились в малолюдном Свечном переулке, перед небольшим деревянным домом. Сидевшая в них женщина поспешно и не разбирая сунула в руку извозчика какую-то ассигнацию, причем тот не преминул вернуть обычное: «Маловато!.. на чаек бы надо». Еще поспешнее соскочила она с дрожек и, тревожно оглядываясь назад и по сторонам — словно боясь погони, — скрылась в низенькой калитке деревянного дома.

Пробежав через дворик по настланным, ради грязи, доскам, она остановилась у небольшого флигелька, на стене которого была прибита скромная вывеска с надписью: «Неватте — повивальная бабка», и осторожно постучалась в дверь. К ней вышла женщина чистоплотно-немецкой наружности, в бе-

лом чепце и любопытно, чуть не к самому носу, подставила ей, с вопросом, свою востренькую физиономию.

— Что, спит?.. Можно войти? — шепотом спросила ее приехавшая, хотя этот шепот ровно ни к чему не был тут нужен.

— Нет, не спит, все вас дожидается, — отвечала ей, также шепотом, немка. — Слава богу, что скоро приехали, а то я уже за нее боялась: очень много уж она беспокоилась...

Отворив осторожно дверь, женщина на цыпочках вошла в темную комнату больной. При виде ее больная с нетерпением приподнялась на подушках и с жадным ожиданием, пытливо вперила в нее свои черные, выразительные глаза.

— Ну что, Наташа? — с замиранием сердца спросила она. — Снесла?

— Ничего, слава богу, все хорошо... ничего... Снесла и отдала.

— Взяли они? — с возрастающим нетерпением допрашивала больная.

— Надо полагать, что взяли... Не выкинуть же младенца на улицу, — как-то деревянно рассудила в успокоительном тоне Наташа.

— Слава тебе господи! — с восторгом прошептала больная, и слезы закапали из ее прекрасных глаз.

— Что же вы плачете? Ведь все, слава тебе господи, удалось как не надо быть лучше! — утешала ее, между тем, Наташа, стараясь показать участие, в котором, однако, более проницательный человек мог бы подметить все ту же деревянную подкладку не то что равнодушия, а какого-то скрытого недоброжелательства.

— Я не от горя, Наташа; я от радости. Я теперь почти совсем ведь счастлива... Ведь, понимаешь ли ты, я могу, буду у них видать ее... хоть издали, хоть как чужую, а все-таки видеть, знать... ведь все же лучше, чем совсем не видать-то!.. Что делать!..

Наташа равнодушно, как совершенно посторонний человек, слушала эту исповедь больной, полную и радости, и надежд, и грусти.

— Ну, а что там... у нас, дома? Не слыхала ты? — неожиданно спросила больная после минутного раздумья.

— Ничего... все, кажись, пока спокойно, —

ответила с маленькой запинкой Наташа, с запинкой потому, что на самом деле было далеко не спокойно. — Да вы не тревожьтесь, — прибавила она, — авось, бог даст, все как-нибудь обойдется.

Больная раздумчиво покачала головой.

— Едва ли, Наташа!.. не верится мне что-то! — со вздохом сказала она. — Уж где там обойтись!.. Мне, верно, на роду написано не знать ни покоя, ни счастья... Вот и ребенок мой в мае родился — верно, тоже весь век будет маяться, бедняжка...

— Это все одни пустяки; так только... старые люди занимаются — болтают. А то вот увидите, все перемелется — мука будет, — рассеянно заметила Наташа, как человек, которого занимают совсем посторонние и давно уже преследующие его скрытые помыслы.

Больная сначала закрыла глаза ладонями и потом махнула рукой, сделав головою такое движение, как словно хотела бы отогнать преследующую ее мысль.

— Ну, что думать об этом?.. — сказала она, стараясь обмануть самое себя как бы беззаботностью и равнодушием. — Умела сделать

грех, умеи и нести его!.. А вот что-то он не едет? И не пишет ничего...

— Авось, нынче заедет... Нынче-то уж, кажись бы, наверное должен был заехать!

— Да что ж он до сих-то пор ждал? зачем он до сих пор не приезжал ни разу?.. Ведь вот уж третий день сегодня, как я здесь!.. Ведь я писала ему... Он знает! — с тоскливым и недоумевающим укором спрашивала больная свою горничную, словно бы та могла ей дать какой-либо ответ на это и разрешить ее сомнения.

— Нет, уж после сегодняшнего — непременно приедет! — утешала Наташа тоном очень искусно подделанного участия.

— Дай-то бог, дай-то бог! — отвечала больная все с тем же недоверчивым покачиванием головы. — Грустно мне без него, Наташа, очень грустно!.. И что я за сумасшедшая! — продолжала она минуту спустя как бы сама с собой. — И за что я только так полюбила его! Как ведь полюбила-то! все позабыла, на все решилася!.. И за что все это? — сама не знаю... Так, как ты думаешь, Наташа, приедет? — неожиданно добавила она.

— Непременно приедет! Вот подождите, увидите сами!

— Ну, буду ждать!

Но больная тщетно прождала целый день: он не приезжал. Она мучилась, теряясь в догадках, и, конечно, всем этим страшно вредила своему положению. Наконец, к вечеру она получила письмо. От кого? — это была для нее совершенная неожиданность.

III

ТАЙНЫЙ ПРИЮТ

За три дня до описанного нами происшествия с корзинкой в кабинет старой княгини Чечевинской, одетой в траур по мужу, вошла ее дочь, княжна Анна, что вызвало на лице старухи знаки видимого неудовольствия: она терпеть не могла, чтобы кто-либо неожиданно прерывал мирное течение ее занятий. Это было утром, часов около двенадцати. Занятия старой княгини по утрам состояли в проверке приходо-расходных книг и расчетов, в перечислении наличных денег и т.п. Княгиня — если взглянуть на нее с оборотной

стороны медали, то есть с той, которая, будучи сокровенной принадлежностью души, ускользает или умеет прятаться от постороннего светского глаза, — была то, что называется кулак-баба, да притом и просто-таки снабжена от матери-натуры достаточною долей скупости. Под старость, и особенно с тех пор, как покойный князь Чечевинский растратил, и растратил, по мнению княгини, самым эксцентричным образом, больше чем две трети своего состояния, эти качества в ней усилились весьма заметно. Но предаваться им она любила келейно, в кабинете, без помехи чьих бы то ни было посторонних глаз, — она старалась, чтоб не заметили ее наклонности, — и потому неудивительно, если неожиданный приход дочери вызвал на ее лице оттенок неудовольствия.

— Что тебе, — зачем ты меня беспокоишь? Ты знаешь, что я этого не люблю... — проговорила она, подвигая на лоб очки и поспешно закрыв расчетную книгу.

— Я к вам... мне надо...

— Что тебе надо?.. Ничего не надо!.. от вас только одно беспокойство...

Старухе, видимо, хотелось поскорее избавиться от постороннего лица.

— Я получила записку от Зины. Она просит меня приехать, — ответила княжна, с трудом скрывая в лице невольные знаки какой-то страшной внутренней боли.

— Зачем это?.. — возразила старуха. — Ведь они всем семейством, кажется, хотели быть к нам нынче вечером, — разве ты забыла?

— Я знаю... Но она пишет, чтоб я приезжала к ним с утра, а потом все вместе и будем к вечеру... Она очень просит — ей что-то очень нужно...

— Пустяки какие-нибудь!.. Закладывать экипаж, беспокоить людей и лошадей понапрасну — и все из-за пустяков! Как будто нельзя обождать...

— Я пешком пройду...

— Этого только и недоставало! Пешком... очень хорошо!.. Все-таки... человека беспокоить — ливрею надевать... Да куда тебе ехать? взгляни, бога ради, на тебе лица нет — так ты бледна, — прибавила она, взглянув на лицо девушки, которое действительно сквозило

страшную болезненную бледностью...

— У меня голова болит немного... На воздух выйду, так и пройдет.

— Ну, хорошо, хорошо, только не беспокой меня пожалуйста; у меня бездна дел... Прикажи человеку проводить себя.

— Меня моя горничная проводит.

— Это еще что за новости? Что ты чиновница, что ли?

— Да она у меня отпросилась сегодня на целый день, так ей все равно... а человека что же беспокоить, — возразила княжна, стараясь последним своим замечанием подделаться в такт матери.

— Скажите, как велико беспокойство!.. Вздор, прикажи человеку. Ты уже одета? — спросила она, оглядывая платье дочери. — Могла бы одеть попроще что-нибудь — хоть старое траурное платье; утром ведь не к чему. (Это был тоже голос скупости.)

— На мне и то довольно простое платье, — возразила дочь.

— Ну это хорошо... бережливость никогда не мешает, — продолжая оглядывать княжну, заметила старуха. — Что это оно на тебе как

будто дурно сидит?

— Нет, ничего... это вам так кажется...

— В талии как будто... что-то неловко!..

— Нет, ничего... я в корсете... оно сидит как нельзя лучше.

Талия княжны, действительно, донельзя была перетянута корсетом.

— Ну, хорошо, хорошо! только оставь меня, не мешай мне, пожалуйста, — поспешила отделаться старуха и по уходе дочери сейчас же опять принялась за работу.

Вернувшись к себе в комнату, княжна в изнеможении опустилась в кресло.

— Ну что?.. как? — спросила поджидавшая ее тут горничная.

— Приказала проводить человеку... Что делать с этим, уж я и не знаю!.. — через силу отвечала княжна, очевидно подавленная каким-то большим горем.

— Ну это еще ничего... Я пойду прикажу Петру... этот мой — не выдаст! Уж я обделаю, вы не беспокойтесь!

— Только как я пойду?.. Мне кажется, я не в силах... — с отчаянием проговорила княжна.

— Ничего, до кареты-то дойдем! — ободряла ее горничная. — Вы не сидите только, а старайтесь ходить полегоньку: ходить-то лучше, сказывают.

И она шмыгнула из комнаты отдать Петру приказание княгини.

Через десять минут княжна Чечевинская вышла на улицу в сопровождении ливрейного лакея.

— Ты, Петя, ступай себе, куда знаешь! — вполголоса сказала ему горничная, нагнавшая их за углом.

— Да куда ж я пойду? проводить велено...

— Ну, леший! не твое дело! Сказано — ступай, так и ступай!.. А через час вернись; да смотри у меня: молчок! а проврешься — так только ты меня и знал!

Лакей любезно ухмыльнулся в ответ на приказание горничной и, отстав от княжны шагов на двадцать, незаметно свернул себе в сторону, до ближайшего трактира.

— Он ушел? — спросила княжна, когда горничная поровнялась с нею, и, получив удовлетворительный ответ, тотчас же спустила на лицо густой черный вуаль.

— Я решительно не в силах идти! — сказала она, остановившись в изнеможении. — Далеко еще до кареты?

Горничная в ответ кивнула головой на угол и побежала в том же направлении.

Полчаса спустя извозчичья карета со спущенными шторами, ехавшая все время с большой осторожностью, шагом, остановилась в Свечном переулке, у ворот деревянного дома.

Княжна и горничная вошли в sereneкий надворный флигелек с знакомой уже читателю скромной вывеской — «Неватте».

— Вам надо раздеться, сударыня, и лечь, вы так утомлены, — говорила востроносенькая женщина в белом чепце, с немецко-чистоплотной наружностью, заботливо помогая княжне скинуть ее платье. — Боже мой, да вы в корсете! — чуть не с криком добавила она и с выражением ужаса покачала головой.

— Что делать? надо было скрывать, — ответила Наташа. — Я уж и то все платья по ночам, тайком, понадставляла.

— Но это нехорошо, это очень нехорошо! — продолжала покачивать своим чепчиком

немка.

— Скажите, может все это окончиться к вечеру? — спросила ее княжна.

— Это как бог даст, — ответила она, в затруднении, пожимая плечами.

— Но мне необходимо надо быть сегодня к вечеру дома.

— Это очень опасно...

— Что делать, но если иначе нельзя!

— Конечно, бывает иногда и так, но это очень опасно, говорю вам. Впрочем, посмотрим; может, вы еще и не в силах будете... теперь еще неизвестно... Но только вы очень рискуете, сударыня... Ваш корсет много беды тут наделал. Вы в первый раз? — спросила она.

— В первый.

— Ну, так почти наверное, что нельзя. Надо будет остаться... Вы будете слишком слабы, уж поверьте моей опытности.

— Что же мне делать! Боже мой, что делать мне!.. Это, значит, узнают... Я не скрою!.. — с отчаянием говорила княжна, ломая себе руки, тогда как сильные схватки болей донимали ее ежеминутно, еще увеличи-

вая собою невыносимое страдание нравственное. У немки на глазах показались слезы. Она только пожала плечами и продолжала раздевать больную.

— Все бы ничего, только вот старая барыня... беспокойства много будет, если не вернемся к вечеру, — заботливо проговорила Наташа и поспешила отвернуться, чтобы скрыть невольно порывавшуюся на губы усмешку: она как будто была бы рада, если б княжна не вернулась к вечеру.

— Ну, мой грех, мой и ответ! — с решимостью проговорила княжна. — Я знаю, что надо делать. Есть у вас чернила и бумага?

Немка подала то и другое. Княжна села к столу и написала две записки: запечатав, она отдала их горничной, с приказанием отправить тотчас же на городскую почту.

— И как это вы, право, так, до последней минуты ходили! — удивлялась немка, укладывая больную в постель.

— Я ничего не знала... я думала, еще не время... Сегодня утром внезапно почувствовала, и то она мне сказала, а я и не знала бы, — ответила княжна, указав на Наташу.

Немка вышла из комнаты сделать необходимые приготовления.

— Она знает, кто я такая? — шепотом спросила княжна по-французски.

Горничная отрицательно покачала головою.

— Ты как ей сказала?

— Сказала, что вы просто так... девушка среднего круга, что надо скрыть от родных... ну, и ничего.

— Она не расспрашивала больше?

— Тридцать рублей дала в задаток, так и спрашивать не стала: «Это нам все равно», — говорит.

— Ну, слава богу!.. Только что-то будет дома, как нынче вечером Шипонина с дочерью приедет!.. Ведь я сказала, что к ним пойду...

— Ай, ай, как же вы это так, не подумавши! — заботливо заметила Наташа.

— Где уж тут было думать! Я себя-то не помнила! Что первое взбрело на ум, то и сказала.

— Неравно узнают, — продолжала та притворно опасаться.

— Не узнают, если письмо раньше вечера дойдет; а если и узнают, так...

Княжна на минуту остановилась в тяжелом раздумье.

— Лишь бы он любил, а до остальных... Бог с ними! Мне все равно! — добавила она с глубоким и тяжелым вздохом.

Часов около шести вечера в комнате с закрытыми ставнями, сквозь щели которых слабо пробивался тонкий луч дня и сливался с матовым светом настольной лампочки, впервые раздался крик новорожденного младенца. Больная, услышав этот первый звук жизни своего ребенка, тоже слабо, но радостно вскрикнула и, изнеможенная страданием и избытком волновавших ее чувств, тотчас же впала в легкий обморок.

IV

УДАР ФАМИЛЬНОЙ ГОРДОСТИ

Просчитав еще около часа по уходе дочери, княгиня встала с места, очень довольная собою и своими «делами». Она была скупа и на деньги, и на платье, и на кусок. Впрочем, приличие всегда соблюдала с отменною строгостью. Кодекс приличий и всемогущее «*que dira le monde*»[4] властвовали над душою старухи в равномерной степени со скупостью и скопидомством. Она покорялась им всем существом своим и всем существом трепетала перед роковою силою этого страшного что скажут?.. С тем уж она родилась, те понятия всосала с молоком матери, на том воспитывалась, прожила век свой и, под конец, почти что на том и помешалась. Ее дом, ее образ жизни, образ мыслей — все это могло служить, на глаза людей и близких и посторонних, образцом безукоризнейшего приличия, и все это заставляла ее делать неизлечимая болезненная боязнь этого «*que dira le monde*». Если бы что-либо в жизни княгини хотя на

шаг отступило от установленного кодекса условий и приличий, если бы хотя малейшая вина легла на ее фамильное достоинство, старуха решительно не перенесла бы этого. Для нее уже был один подобный удар в ее жизни, — удар, нанесенный ее мужем, который, увы! часто позволял себе непростительные отступления от приличия, но княгиня скрыла этот удар в сердце своем и сумела довольно удачно замаскировать его перед обществом. Впрочем, об этом еще речь впереди.

Это была женщина даже с замечательной силой характера. Быв уже замужем, она сильно влюбилась в одного великосветского франта, *ant jaune*[5], как их тогда называли, блиставшего в десятых годах; но не только что ему, а, кажись, даже самой себе не призналась в этом и задавила в душе своей чувство, не дав о нем светской молве ни малейшего намека, ни малейшей догадки. Она, например, совсем не любила своего мужа, но всю жизнь осталась безукоризненно верна ему. Вы думаете — отчего? сознание долга? — нет, не столько долга, сколько боязни этого что скажут? Она не допускала, чтобы о ней, кня-

гине Чечевинской, осмелился кто-либо заикнуться с легкой улыбкой. Она не могла представить себе без ужаса свою фамильную репутацию с каким-либо темным пятнышком; репутация ее должна была быть чиста как кристалл — того требовал кодекс условий, усвоенный ею еще с раннего детства. И действительно, темное светское сословие, как известно, не щадящее почти ни одного имени хорошенькой женщины, умолкало перед именем княгини Чечевинской. В течение всей ее жизни о ней не ходило ни одной темной сплетни, и все глубоко уважали ее за ее безукоризненно чистую репутацию, а для самой княгини это был источник неисчерпаемой внутренней гордости.

По положению своему в свете она держала дом свой на соответственную ногу. На посторонние глаза скупость ее была решительно незаметна. Она умела в этом отношении поддерживать достоинство своего рода и состояния. Но зато, с глазу на глаз со своей душой, княгиня постоянно мучилась неотступным призраком расходов и издержек, всегда, впрочем, поневоле склонявшимся перед другим, силь-

нейшим призраком: que dira le monde. Она, например, без посторонних постоянно приказывала дочери носить скромное шерстяное платье — на том мудром основании, что «бережливость никогда не мешает, и почему знать, что еще может случиться и ожидать ее в жизни». Она даже себе очень часто отказывала в прогулке — на том основании, что неравно еще шина в колесе кареты лопнет или ось сломается — придется отдавать в починку и деньги платить, да и ливрея новая у лакея и армяк у кучера от излишнего употребления будут портиться и приходиться ветхость, а новые делать — опять-таки деньги платить. В отношении дочери она маскировала этот последний расчет тем, что «зачем излишне и людей и лошадей беспокоить», — следовательно, выставляла причину, достаточно филантропичную и делавшую честь ее прекрасному сердцу. Так и теперь, по уходе дочери, она стала обдумывать, что не к чему лишний кусок к обеду готовить, и потому, под предлогом нездоровья, приказала сделать себе только бульон куриный, из коего мясо подать себе под легким соусом. Все эти мело-

чи доходили в ней до болезни, до мании какой-то; но, что всего страннее, княгиня очень хорошо сознавала это и потому тщательно старалась скрывать от всех свой недостаток, покоряясь своей другой, равносильной и уже известной читателю мании — что скажут?

Была у нее одна только слабость, перед которой иногда смирялась даже и мания скупости; эта слабость — слепая, безграничная любовь к своему сыну, которому она кое-когда даже деньги, кроме положенного содержания, давала и который сумел себя поставить в несколько независимое положение. Он жил в доме матери, но на отдельной квартире, которая нужна была ему в сутки минут на десять, не более, потому что застать его можно было везде, кроме дома. Сынок кутил, давал векселя на весьма порядочные суммы и прикидывался пред матерью положительным сыном, а мать ничего не подозревала и души в нем не чаяла.

Пообедав очень скромно куриным бульоном, старуха удалилась в свою молельню (она очень была благочестива) и принялась за чтение какой-то душеспасительной книги, над

которой вскоре и задремала, что продолжалось до того времени, пока ей не объявили о приезде m-те Шипониной с дочерьми и племянницей. Племянница эта и была та самая Зина, подруга княжны Анны, к которой та и отпросилась нынешним утром.

У престарелой m-те Шипониной, кроме хорошенькой племянницы, были еще три нехорошенькие и престарелые дочери — три перезрелые и потому злющие девы, которых за глаза называли тремя грациями. Отличительные черты их были: наивная скромность, строгая нравственность, голубиная невинность и сентиментальная любовь к небесному цветку. Кроме этих трех, без всякого сомнения прекрасных качеств ходили о них еще слухи, будто каждая злющая великосветская сплетня истекала невидимым образом непременно из источника трех граций. К этому последнему источнику пылали они еще больше любовью, чем к небесному цветку.

Хозяйка очень любезно вышла в гостиную к приехавшему семейству и после обычных приветствий, не находя между ними своей дочери, спросила несколько удивленным то-

НОМ:

— А где же моя Анна?.. Или вы, mesdames [6], ее дома бросили?

Те не совсем ясно поняли последнюю шутку старухи.

— Как дома? — спросила одна из трех граций.

— Ну да, дама, — продолжала любезно-шутливым тоном княгиня. — Я ее что-то не вижу с вами.

— А где она, в самом деле? — спросила хорошенькая Зина.

— Вы это должны лучше знать, — отшучивалась княгиня. — Впрочем, неужели это она прямо к себе прошла?.. какая глупая! — нежно-материнским тоном добавила она, хотя внутренно и вознегодовала на дочь за сделанную ею неловкость.

— Поди, попроси княжну поскорее сюда, к нам, — приказала она вошедшему на ее звонок человеку.

Тот пошел и через минуту воротился, объявив, что княжны нет дома.

Княгиня встревожилась.

— Что же это значит? Где же вы ее остави-

ли, mesdames?.. Что с нею? Уж не больна ли она?.. Скажите мне, бога ради!

— Извините, княгиня, я не совсем понимаю вас, — возразила удивленная Шипонина.

— Как не понимаете! Да ведь она у вас же была?

— Когда?

— Сегодня! С двенадцати часов утра отправилась! — с возрастающим беспокойством доказывала княгиня.

Три грации вытянули шеи и ядовито наострили уши.

— Нет! она не была у нас сегодня, — ответила Шипонина.

— Но ведь вы ей писали? — продолжала старуха, обращаясь к Зине.

— Я?.. нет... да, я ей писала, — в замешательстве ответила Зина, понявшая, что тут, должно быть, нечто не совсем-то ладно, и не захотевшая выдать подругу, хотя решительно не знала, в чем дело.

Три грации подозрительно поглядели на хорошенькую Зину, которую они ненавидели от всей своей кроткой души.

— Кто проводил княжну? Позови сюда! —

обратилась княгиня к лакею, и через минуту вошел Петр, бледный как скатерть.

— Ты провожал Анну Яковлевну?

— Я, ваше сиятельство.

В это время княгине подали письмо с городской почты.

Княгиня дрожащими пальцами быстро сорвала печать, стала глазами пробегать письмо и, мгновенно побледнев, без звука, как сноп, рухнула на пол.

Удар ее фамильной гордости был нанесен.

Все тотчас же бросились к бесчувственной старухе; поднялась беготня, суматоха, и в этой-то суматохе одна из трех граций ловко подхватила с пола полученную записку, и в то время, как княгиню уносили на руках в ее спальню, быстро и жадно пробежала ее глазами.

На желтоватом лице ее заиграла злорадная улыбка.

— *C'est charmant! c'est charmant!*[7] — шепелявила она каким-то захлебывающимся шепотом, закатывая под лоб свои крысиные глазки.

— Что? что такое? — приступили к ней,

вместе с матерью, две остальные грации.

— После... после скажу вам все! — с наслаждением проговорила она, роняя письмо на прежнее место, и потом, приняв вид оскорбленной нравственности, присовокупила весьма величественным и даже строгим тоном: — Матап! мы ни одной минуты более не должны оставаться в этом доме!

И семейство граций немедленно же удалилось из дома княгини Чечевинской.

Вот короткое содержание письма, столь поразившего старую княгиню:

«Я солгала, сказав вам утром, что иду к Зине. Если есть время, то найдите предлог предупредить Шипониных, чтоб они не приезжали. Постарайтесь скрыть от всех мое отсутствие, если это возможно... Я не могла признаться вам раньше — вы меня слишком мало любите. Сегодня я сделаюсь матерью».

Подписи не было, но рука княжны. Писано по-французски.

V

КНЯЖНА АННА

Ей исполнилось уже двадцать пять лет; следовательно, она давно перешла ту пору, когда девушки надевают чепец и переименовываются в дам, что обыкновенно случается с ними лет в девятнадцать, в двадцать или около того. А между тем княжна Анна была хороша собою — и все-таки осталась в девушках. Причиною этому послужило одно исключительное обстоятельство, в котором, впрочем, она нисколько не была виновата.

Отец ее, князь Яков Чечевинский, по отзывам того общества, к которому принадлежал по положению своему, был весьма странный человек. Мы скажем вернее: он был русский человек, но человек надорванный. И дед, и прадед, и отец его принадлежали к разряду старых кряжевых натур. Эти же кряжевые свойства перешли и к князю Якову. Отец его, вместо того чтобы отправлять сына в раннем еще детстве для воспитания за границу, что водится-таки за нашими баррами, оставил его

расти и воспитываться дома, у себя в деревне. Первый учитель его был старый дядька, потом старый поп, а затем уже русские учителя и, в силу всемогущего обычая, иностранный гувернер. Князь Яков отправился за границу не начинать, а доканчивать свое образование уже на двадцатом году своей жизни. Был он в нескольких германских университетах, получил даже магистерский диплом и вернулся в Россию, объездив из конца в конец почти всю Западную Европу. В университетские свои годы он познакомился с теориями французских энциклопедистов, но особенно пристрастился к учению масонов и сам был посвящен в каменщики одной ложи. В России для него готовилась уже видная карьера, но он предпочел остаться частным человеком. Вдруг декабрьские события двадцать пятого года весьма скомпрометировали, в известном отношении, личность князя Чечевинского, который был уже в то время женат более двенадцати лет и имел дочку, княжну Анну, и шестилетнего сына. Вся беда, однако, ограничилась для князя только безвыездным жительством в его собственной деревне. Жена и дети отправи-

лись туда вместе с ним. В весьма непродолжительном времени после этой ссылки характер князя заметно изменился. Он сделался угрюм и мрачен, по целым дням не выходил из кабинета или бродил по пустырям, упорно молчал и тоскливо, озлобленно грустил о чем-то. В это же время началась и эксцентричная (по мнению княгини) растрата состояния. Князь отсылал большие суммы на издание каких-то книг, заводил по всему околотку крестьянские школы да больницы, давал деньги своим и чужим крестьянам и многим иным лицам, которые только приходили к нему с просьбой по нужде, либо на какое-нибудь полезное предприятие. Очень многие, конечно, злоупотребляли при этом добротой и доверчивостью князя Якова. Но, при всем том, он не мог терпеть излишней благодарности. Чуть, бывало, начнет кто-нибудь по получении просимого куша: «Благодетель вы наш! чем и как благодарить вас?!» — князь тотчас же нахмуривал брови и тоном, решительно не допускающим дальнейших возражений, произносил: «Ну, будет! довольно!» — и тотчас же уходил в свой кабинет. Таким образом

были растрочены им более чем две трети его состояния. Княгиня все это видела и злилась, мучимая своей природною скупостью. Неоднократно пыталась она вступить с мужем в горячие объяснения по этому поводу, но тот никогда не отвечал ей ни слова, только молча, бывало, взглянет на нее строгим, стальным своим взглядом и сделает новые траты да затоскует еще угрюмее. Все это сносила еще кое-как княгиня; одного только не могла она снести: князь стал пить, — молча, с мрачною сосредоточенностью пить простую водку, запершись в кабинете, один на один со своим стаканом. Она с ужасом узнала об этой новой слабости своего мужа — и эта слабость была уже для нее непереносна: она решительно вопияла против целого цикла всех приличий и условий, созданных себе княгиней, аристократические нервы которой не только что не могли выносить присутствия пьяного человека, но ее корбило даже при одном рассказе о пьянстве и пьяницах. А тут вдруг пьяница, горький, упорный пьяница... и кто же? ее собственный муж, ее — княгини Чечевинской! Княгиня, бесспорно, была умная жен-

щина, но умная аристократическим умом; по этому-то последнему свойству она никак не могла понять своего мужа, и потому она стала внутренне презирать его. Это скрытое, подавленное в глубине души презрение освоилось вскоре с каким-то гадливо-нервным чувством при одной только мысли об этом человеке. Понятно, что при подобных условиях жизнь под одною кровлею делалась невозможна. Княгиня, долго раздумывавшая, как ей быть и что делать, решила наконец оставить своего мужа. Но как оставить? Неужели разъехаться таким образом, чтобы дать повод светскому злословию предполагать не совсем доброкачественные причины этого разъезда или, что еще хуже, заставить его догадаться о причине настоящей, истинной? Самолюбие княгини и ее «*que dira le monde?*» решительно не допускали ничего подобного. Она решила оставить его под предлогом необходимости воспитывать сына в столице и необходимости общества для дочери, княжны Анны. Но в последнем встретила упорное и настойчивое сопротивление со стороны мужа. Единственное существо, к которому он сохранил

видимую привязанность, и привязанность нежную, сильную, несокрушимую, это была его дочь. Ей одной только были доступны движения его сердца; с нею одною только по временам он был разговорчив и откровенен, она одна только имела на него некоторое влияние. Не однажды, например, уговаривала она его не пить и просила дать ей слово, что он будет удерживаться от водки. Князь слова ей в этом никогда не давал, потому что свято чтит его, но от рюмки, действительно, воздерживался некоторое время — и это было для него мучительно: он проклинал себя и свою слабость и все-таки шел к дочери, умоляя ее на коленях и чуть не со слезами простить, не презирать его и позволить ему пить снова. Пьянство обратилось у него в непреодолимую, мучительную страсть — и одна только дочь его ведала, какое неотступное горе топил он в стакане водки... И как становился он ласковее с нею, чувствуя себя перед ней виноватым! Но ласковость свою не любил он показывать перед посторонними глазами, — она выливалась у него наедине с дочерью, в кабинете или в поле. Здесь он рас-

сказывал ей свое прошлое, передавал свои знания, свои столкновения с людьми, житейские опыты, раскрывал перед нею всю свою душу, со всеми ее заветными верованиями и мечтами, и дочка понимала его. Странное дело: еще с колыбели она была более привязана к отцу, нежели к матери — и мать менее любила ее за это. Впоследствии, когда черты лица и характер девочки стали приобретать заметное сходство с чертами отца, эта обоюдная любовь росла все более, а вместе с тем росла и холодность матери, обратившаяся мало-помалу даже в затаенное нерасположение к дочке. В эпоху, когда в князе Якове проявилась его несчастная склонность к пьянству, в этом семействе образовалось нечто вроде двух противоположных лагерей: один составляли отец и дочь, другой — мать с сыном, к которому страстная привязанность ее увеличивалась по мере ненависти к мужу.

Когда она объявила князю Якову, что жить с ним долее не имеет сил и уезжает под известным уже благовидным предлогом, князь только спросил ее:

— А Анна?

— Анну я беру с собою... Ей уже шестнадцать лет, ей необходимо быть в свете.

— Спроси ее, — согласится ли она ехать с тобою?

— Полагаю, что должна согласиться.

— А я полагаю, что, напротив, никак не согласится... Да и я без нее не останусь... нам расстаться нельзя.

Объявили Анне о намерении ее матери. Анна ответила, что не чувствует особенного влечения к свету и предпочитает остаться с отцом, после чего этот последний решительно уже сказал княгине, что не позволит ей взять дочь с собою, не отдаст ее. Княгиня, впрочем, и не тужила об этом нисколько. Для светских расспросов на сей конец она сразу нашла благовидный ответ, что дочь, дескать, осталась с отцом, который ее так любит, — услаждать дни его заточения и т.п. Разъезд их случился в 1829 году, после четырехлетней мученической жизни княгини в деревне; и когда дорожный дормез ее выехал из ворот усадьбы, князь Яков вместе с дочерью как-то легче, как-то свободнее вздохнули.

Князь сам воспитывал свою дочку. Он от-

части следовал системе жан-жаковского Эмиля и держал маленькую княжну как можно ближе к простой, здоровой природе, стараясь, чтоб она прежде всего забыла, что она барышня и княжна. И действительно, мир сказок и песен, мир сельского и полевого быта были знакомы ей в совершенстве. Отец ее был поклонник и чтитель тихой, мирной и чистой древности, и вместе с тем мистик, как масон. То и другое невольным образом отразилось и на характере его дочери. Она мало могла назваться светской девушкой: близость к природе мешала ей сделаться ею и, напротив, помогла развиться впечатлительности, энергии и страстности ее характера. Жизнь ее с отцом была весьма однообразна, и надо было иметь сильную привязанность к нему, чтоб эта скучная жизнь не показалась невыносимой, особенно при непрерывном, мрачном запое отца, который с годами все усиливался, увеличивая и мрачную меланхолию. Таким образом княжна Анна прожила со времени отъезда матери целые восемь лет, почти никуда не выезжая и никого не видя. Ей наконец стукнуло двадцать четыре года.

В это время в соседнее свое имение приехал по каким-то обстоятельствам князь Шадурский. Обстоятельства эти потребовали визита к князю Чечевинскому и неоднократных бесед и соглашений с ним, так как дело было отчасти общее и касалось обоюдных интересов. Княжна Анна, естественно, не могла не встретиться с Шадурским, и к тому же она была слишком хороша собою для того, чтобы тот не обратил на нее внимания. Они познакомились.

Княжна была слишком исключительно поставлена; ее обстановка, жизнь, красота и характер — все это своей оригинальностью бросалось в глаза Шадурскому, который среди светской жизни привык к совсем иным образцам женщин и девушек. Княжна Анна, почти не выдавшая дотоле мужчин, осталась более чем приятно поражена умением говорить интересно и наружностью князя, который вполне являл собою тип великосветского *comme il faut*[8] того времени. Пусть вспомнит читатель, что то было время байронизма. Чайльд Гарольдов, Онегиных и прочих героев, которым старалось все подражать в Евро-

пе и которых пародировали, иногда очень удачно, очень близко к оригиналу, некоторые из наших тогдашних бар. Шадурский принадлежал к их числу. Внутреннюю пустоту, полутатарские инстинкты и мелочное ничтожество свое он как-то удачно умел прикрывать байроническо-великосветскою внешностью.

Со всеми этими данными не трудно было произвести сильное впечатление на душу девушки созревшей, полной силы, здоровья и страсти, но совсем неопытной и незнакомой с жизнью. Задавшись байронизмом, князь, естественно, должен был кое-что почитать, кое-чего понахвататься по верхушкам, так что мог «блистать» поверхностным разговором и, на неопытный глаз, казаться даже умным человеком. Это, конечно, еще усиливало впечатление, произведенное им на девушку.

Российского Чайльд Гарольда в деревне одолевала скука смертная. Все дела да дела, а это вовсе не в привычках великосветского барина. Князю нужно было развлечение. А тут, кстати, и развлечение под рукою. Попечительная судьба и на сей раз позаботилась о прихотях князя. Большие черные глаза княж-

ны Анны ему очень нравились; ее стройный бюст, ее цветущие щеки и губы обещали ему много соблазнительно-приятных ощущений — князь любил-таки льстить своим ощущениям; наконец, вся ее исключительная обстановка как нельзя более заманивала его начать отчасти «байронический» и отчасти «сельский» роман. Отчего же князю и не развлечься на время? Отчего же князю и не пощекотать свое самолюбие сознанием в себе героя? Он и развлекся. С его бывалою ловкостью и ловеласовскою опытностью в делах этого рода ему нетрудно было окончательно увлечь княжну Анну. Князь не думал о последствиях, да и не боялся их. Княжна живет в глуши, в деревне, с пьяным и потому ничего не замечающим отцом; ей нечего бояться общественно-светского скандала: ее никто не знает; ей в этой глуши легче будет схоронить концы печальных последствий; отец ее так любит, что проклинать и затевать шуму, верно, не станет, а сам еще, может быть, поможет скрыть все от посторонних глаз. Сам же он, князь Шадурский, к тому времени уже уедет из деревни, — следовательно, все это

произойдет без него. Да, наконец, что же такое значат для него и самые последствия-то? Ведь он человек женатый, — следовательно, с него взятки гладки. А если и пойдет глухая молва, то для его же самолюбия не зазорная, а, напротив, очень лестная. Значит, о чем же тут и думать? А главное — новый, оригинальный роман, при поэтической обстановке, и он — герой этого романа... как тут не соблазниться?

Князь и соблазнился...

Чайльд Гарольд необходимо должен быть разочарован — без того он и не Чайльд Гарольд. Он дожил до тридцати шести лет и все время скучал своею жизнью. Таковым он прикидывался перед княжною. Он говорил ей о каких-то страданиях, о несчастьи его в своей супружеской жизни, говорил, что рад «своей пустыне» (так именовал он родовое поместье), где наконец, разбитый и усталый, он нашел существо свежее, неиспорченное, чистое, которому и т.д. Одним словом, все те общеизвестные пошлости, которыми щеголяли во время оно наши российские Чайльд Гарольды, но которые для княжны Анны были

новы, казались искренними и заставляли ее еще более симпатизировать ему.

Княжна беззаветно, без оглядки назад и вперед, отдалась ему всей целостью своей девственной любви, всей нетронутой страстью своей природы — страстью, которая так долго, безвыходно зрела в ее сердце. И, естественно, чем дольше зрела она в этой здоровой и сильной натуре, тем сильнее было ее пробуждение.

Князь научил ее скрыть от отца их отношения, да отец, впрочем, и не замечал ничего. Она вся подчинилась нравственному влиянию своего любовника, и Шадурский был счастлив и доволен собою ровно два месяца, а затем...

Затем — он уехал в Петербург.

Спустя полторы недели после отъезда князя в жизни княжны Анны произошла первая катастрофа: отец ее опился и умер от апоплексического удара. Эстафетой дано было знать в Петербург. Старая княгиня Чечевинская с сыном не успели уже на похороны — они приехали поздно и, пробыв в деревне менее недели, увезли в Петербург княжну Анну.

Шадурский никак не ожидал подобной развязки. Это его и озадачило и огорчило. Княгиня Чечевинская была знакома с ним и его женою домами, — следовательно, встреча с княжною становилась для него неизбежной. Он успел уже обдумать, как ему следует теперь держать себя с нею — и бедная девушка с первого раза не узнала своего горячего, нежного любовника в этой холодной, прилично почтительной и сухой фигуре. О старом не было помина и намека, как будто его вовсе и не бывало. Однако она нашла случай объяснить с ним откровенно. Он объявил, что Петербург не деревня, что светские условия и страх за ее безукоризненную репутацию заставляют его держать себя с нею таким образом и что долгие продолжать им старые отношения, до более удобного времени, невозможно. Она сказала ему, что чувствует себя беременною. Князь очень испугался, старался ее, да и себя вместе с тем, разуверить в ее предположении, однако посоветовал на всякий случай, каким образом следует скрывать это от окружающих. Матери своей княжна, и без его совета, никогда не решилась бы от-

крыться, — настолько-то она уже знала свою мать. Он обещал ей изредка, урывками видаться с нею, и когда настанет финал последствий их любви, то позаботиться об участии ребенка и придумать «что-нибудь такое, какой-нибудь исход», который бы не скомпрометировал ее репутацию. Во всем этом для бедной девушки было весьма мало утешительного. Она поняла, что от князя ждать больше нечего и что ей самой придется позаботиться о сокрытии страшных последствий этой связи. Но, разгадав его наполовину, она все еще так сильно любила, что ей и в голову не пришло обвинять его в чем-либо. Если кого и укоряла она во всем случившемся, то это только самое себя. Князь, однако, после этих объяснений тщательно старался не возобновлять их, даже избегать с нею дальнейших, хотя сколько-нибудь интимных, разговоров, и при встрече всегда держал себя самым официальным образом, вежливо и холодно. Княжна с горечью заметила это и уже не докучала ему более собою, стараясь уверить себя, что он делает все это для пользы ее же собственной репутации.

А ему давно уже все это надоело: и его «байронически сельская» любовь и сама княжна с ее привязанностью. Он сильно-таки стал побаиваться скандала и потому решился держать себя совсем посторонним человеком, которого бы не коснулась светская молва. Он знал, что эта молва — страшное обоюдоострое оружие; она могла и польстить его ловеласовскому самолюбию, а могла тоже и поставить его в весьма невыгодном свете как честного, порядочного человека. А кто ее знает, как она, эта страшная, прихотливая молва, отнесется к его милому поступку?

VI

ГОРНИЧНАЯ КНЯЖНЫ АННЫ

Часа два спустя после рождения девочки княжна позвала к себе Наташу.

— Ты поезжай теперь к нам домой, — тихо сказала она. — Я не хочу, чтоб они знали, что ты помогала мне... Тебе и без того много достанется... Я сказала, что ты нынче отпросилась у меня... Впрочем, — прибавила она после раздумья, — делай, как знаешь... Там уж сама увидишь по обстоятельствам, можно ли сказать, где я... или ничего не говорить. Узнай, как и что делается... Завтра утром я жду тебя...

И Наташа простилась с княжною. Она вернулась домой в самый разгар истории, когда старая княгиня, допытывая, где ее дочь, получила с городской почты письмо. Ухаживая и суется вместе с прочею прислугою около бесчувственной старухи, Наташа случайно вошла в гостиную и увидела на ковре записку, брошенную одною из трех уехавших граций. Она поняла, что это было письмо княжны Ан-

ны, и поспешно припрятала его в свой карман.

* * *

Судьба этой девушки была не совсем-то обыкновенна.

В одной из поволжских губерний жил в деревне барин, и жил в свое удовольствие: ездил на тоню ловить рыбу, травил с компанией зайцев, угощал соседей обедами и ужинами и на выборах клал всем белые шары — потому, значит, был благодушный человек. Барин этот доводился княгине Чечевинской родным братцем, и, по родственным чувствам, они искренне ненавидели друг друга еще от юности своя и никогда почти друг с другом не видались. У барина была экономка из его крепостных, которая, несмотря на приближенное свое звание, по беспечности барина так и оставалась крепостною. А у экономки была дочка, которую барин очень любил, очень деликатно воспитывал, баловал, рядил в шелк и бархат, выписывал для нее старушку гувернантку французского происхождения, учил танцевать и играть на фортепиано, — словом, что называется, «давал образо-

вание». Эта-то экономкина дочка и была Наташа. Она с детства еще отличалась капризным, своенравным и настойчивым характером, вертела, как хотела, и барином и дворней — и барин исполнял все ее прихоти, а дворня подобострастно целовала у нее ручки и звала «барышней».

Между тем в один прекрасный день барин накушался свиного сычуга и приказал долго жить, по беспечности своей не отпустив на волю экономку и не сделав никаких распоряжений насчет «молодой барышни». А барин был холост, и потому все имение его перешло немедленно к прямой наследнице — сестрице, княгине Чечевинской, которая и приехала туда вводиться во владение.

Наушничества и сплетни дворни сделали то, что сестрица, ненавидевшая братца, возненавидела и экономку, которую сослала на скотный двор, а дочку ее, в виде особенной милости, оставила при своей особе в горничных и увезла в Петербург.

Когда Наташа пришла прощаться к матери в ее светелку на скотном дворе, та с истерическим всем грохнулась на пол и долго не могла

очувствоваться.

— Вот они что, ироды, наколдовали! — всхлипывала она, обнимая дочку, которая с молчаливым, озлобленным чувством глядела на горе матери. — Чем мы были, и что стали! Всякая посконница — судомойка последняя — и та над тобой нынче кочевряжится, как чумичкой какой помыкает!.. А тебя, краля ты моя распрекрасная, забывши то, как руки допрежь сего целовали, теперича за ровню свою почитают да надругаются!.. Ироды лютые!..

Наташа слушала и мрачно кусала ногти от бессильной злобы.

— Хорошо! — нервически проговорила она. — Мое нигде не пропадет! Будет и на моей улице праздник, буду и я опять в бархате ходить! А уж только и ей, старой ведьме, не пройдет это даром, как она меня унизила! Умирать буду, а не прощу ей этого.

Мать пытливо посмотрела на нее при этой многозначительной угрозе.

— Что же это ты такое задумала, мое дитячко?

— А уж что задумала — это мое дело... Слу-

шай, матушка! — раздраженно прибавила она с сверкающими глазами и необыкновенно одушевленным лицом. — Слушай, что я тебе стану теперь говорить: прокляни ты меня на месте, если я не отомщу старой ведьме и всему ее роду за оскорбление! Прокляни ты меня тогда! Вот тебе мое слово! Уж так их всех ненавидеть, как я, кажется, и нельзя уж больше! До тех пор не успокоюсь, пока не вымещу всего им!..

И прямо из светелки Наташа отправилась к старой княгине.

— Ваше сиятельство, — проговорила она кротким голосом и скромно опустив глаза (она умела хорошо притворяться и владеть собою), — я счастлива и благодарна вам, что вы пожелали приблизить меня к себе... Я очень хорошо понимаю, что я такое... Я умею чувствовать ваше расположение и никогда не позволю себе забытья, зная свое место... Я вам буду верной и преданной слугою... Только позвольте попросить у вас за свою мать.

У Наташи во время ее монолога навернулись даже слезы, которыми она думала тронуть княгиню.

Но тронуть ее вообще было не так-то легко.

— Моя милая, — отвечала ей старая барышня, — на вас и то уж все очень жалуются, что вы при покойнике притесняли всю дворню... Я для матери твоей ничего больше не могу сделать, а тебя, если будешь покорна и услужлива, стану хвалить и поощрять...

После этого решения Наташа, проговорив, что она всеми силами будет стараться, поцеловала руку княгини и вступила в новую свою должность. Много пришлось вынести ей нравственных страданий и всяческих унижений, — ей, которая с детства привыкла повелевать и считать себя полной госпожой, «барышней», — ей, которая и образом жизни, и понятиями, и воспитанием — этим лоском, и бойкой французской болтовней была уже сама по себе истая барышня! Переход был слишком крут и потому ужасен. Но, как девушка положительно умная и с сильным характером, она, поняв всю безвыходность своего положения, сумела сразу переломить себя и только в душе затаила непримиримую ненависть к княгине, с убеждением рано или

поздно отомстить ей.

Она была очень хороша собою. Высокий, статный рост и роскошно развитые формы, при белом, как кровь с молоком, цвете лица, умные и пронизательные серые глаза под сросшимися широкими бровями, каштановая густая коса и надменное, гордое выражение губ делали из нее почти красавицу и придавали ей характер силы, коварства и решимости. На первый же взгляд казалось, что если эта женщина поставит себе какую-нибудь цель, то, какими бы то ни было путями, она достигнет ее непременно. Физиономист определил бы ее так: королева либо преступница.

В описываемую эпоху ей было восемнадцать лет.

Когда после смерти князя Якова молодую княжну перевезли в Петербург, Наташе приказано отныне быть ее горничной, и в самое короткое время она своею вкрадчивостью успела приобрести ее полное доверие, сделаться наперсницей и почти подругой княжны Анны, конечно втайне от ее матери, а для этой последней — даже составляла предмет некоторой гордости. Известно, что большие

барыни любят выписывать себе камеристок из-за границы, преимущественно французенок. Когда старую княгиню спрашивали при случае, откуда она добыла себе такую горничную, старая княгиня не без самодовольства отвечала:

— Своя собственная... из крепостных, из деревни привезена... Зачем отыскивать людей за границей, когда и своих, православных, можно хорошо приготовить?

И вслед за этим не без некоторой патристической гордости прибавляла с улыбкой:

— О, из русского человека можно все сделать! Русский человек на все способен и на все годится!

Таким образом Наташа, никогда отнюдь не выходившая из строгой почтительности и покорства, сумела приобрести даже некоторое расположение самой княгини.

А злоба и ненависть между тем все глубже и крепче залегали в ее оскорбленном сердце.

VII

ПОСЛЕДНЯЯ ВОЛЯ КНЯГИНИ

Обморок старухи Чечевинской был весьма продолжителен и угрожал немалой опасностью. Наконец с помощью доктора ее удалось привести в чувство, хотя она тотчас же впала в беспамятство. Нервы ее были страшно потрясены, и болезнь становилась весьма серьезна. При ней день и ночь неотлучно дежурили три женщины: старая нянька ее сына, ее горничная и Наташа, которые по часам чередовались между собою. Между прислугой ходили разные темные слухи и предположения, но никто, кроме Наташи, не знал настоящей причины этой внезапной болезни, а Наташа молчала и тоже притворялась ничего не знающей. Беспамятство продолжалось двое суток. Наконец, на третьи сутки, в ночь, она очнулась и пришла в себя. У ее изголовья сидела дежурною Наташа.

— Ты знала? — строго и шепотом спросила ее княгиня.

Девушка вздрогнула и, не сообразясь с

мыслями, испуганно недоумевающим взглядом глядела на нее. Матовый отсвет ночной лампочки неровно колебался на ее бледном, исхудалом облике и резко выделял углы носа и скул из затененных глазных впадин, в которых старческие, строгие глаза горели утомленно лихорадочным блеском. Больная была страшна и казалась гробовым привидением.

— Ты знала про дочь, я тебя спрашиваю? — повторила старуха, вперяя в Наташу глаза еще пристальнее, с усилием стараясь приподняться локтями на батистовых, отороченных кружевами, подушках.

— Знала... — еще тише прошептала девушка, в смущении опустила глаза и стараясь оправиться от первого страшливого впечатления.

— Отчего же ты раньше не сказала мне? — продолжала еще строже старуха.

Наташа уже успела окончательно прийти в себя и потому подняла на нее невинный взор и с непритворным, искренним чистосердечием ответила:

— Княжна и от меня скрывала все до последнего дня... И разве смела я сказать вам?.. И разве вы мне поверили бы?.. Это не мое де-

ло, ваше сиятельство.

Больная, с саркастической улыбкой, медленно и недоверчиво покачала головой.

— Змея... — прошипела она, со злобой глядя на горничную, и потом быстро прибавила: — Люди знают?

— Никто, кроме меня, клянусь вам!

— А письмо? — продолжала старуха, припоминая все подробности случившегося с нею.

— Вот оно. Его никто не заметил; я подняла его на полу и спрятала, — сказала девушка, вынимая записку.

— И ты не лжешь, это точно оно?

— Уверяю вас.

— Я хочу удостовериться... Прочти.

Наташа подошла к лампочке и прочитала записку.

— Да, это точно оно, — как бы про себя проворковала старуха, тогда как нервная дрожь пробежала по всему ее телу во время этого чтения. — Сожги его... Или нет!.. ты, пожалуй, обманешь... Поддай сюда лампу — я сама сожгу.

И она дрожащею, костлявою рукою стала

держатъ скомканную бумажку над колпаком лампы и жадными взорами следила, как бумажка коробилась и тлела на медленном огне.

— К кому она ушла? Где она теперь? — снова начала допытывать старуха, когда письмо истлело уже совершенно, и допрашивала так строго и так настоятельно, глядя в упор таким страшным взглядом, что не сказать правду даже и для Наташи было невозможно.

— У акушерки, в Свечном переулке, — ответила она, находясь под неотразимым, магнетическим влиянием этого старческого, пронизывающего взгляда.

— Дай мне перо и бумагу, да придерживай пюпитр... я писать хочу.

И княгиня, едва удерживая в руках перо и поминутно изнемогая от слабости, написала следующую записку:

«Можете не возвращаться в мой дом и не называться княжной Чечевинской. У вас нет более матери. Проклинаю!»

Далее она не имела уже сил продолжать, перо вывалилось из ее руки, и, совершенно изнеможенная, она опустилась на подушки,

прошептал едва слышно:

— Напиши адрес и отправь... сама отправь... утром...

— Я лучше снесу, — возразила Наташа.

— Не смей... Чтоб и видеть ее не смела ты больше, и не поминать мне об ней!..

И с этими словами старуха, изнеможенная волнением, впала в прежнее забытие.

Поручение ее в точности было исполнено Наташей, которая, однако, несмотря на запрещение, все-таки забежала, пользуясь свободными часами, в серенький домик с вывеской «Hebamme».

К полудню княгиня опять очнулась, приказала позвать сына, который, к счастью, на этот раз находился дома, и послала за управляющим своими делами.

Любящий сын тихо и почтительно вошел в комнату матери.

Княгиня выслала вон дежурную горничную и осталась с ним наедине.

— У тебя нет более сестры, — обратилась к нему мать с тою нервическою дрожью, которая возвращалась к ней каждый раз при воспоминании о дочери. — Она для нас умерла...

она опозорила нас... я ее прокляла. Ты мой единственный наследник.

При этих последних словах молодой князек чутко наострил уши и еще почтительнее нагнулся к матери. Извещение об этом единонаследии столь приятно и неожиданно поразило его, что он даже и не поинтересовался узнать, чем и как опозорила их сестра, и только с сокрушенным вздохом заметил, подделываясь в лад матери:

— Она, мама, всегда была непочтительна к вам. Она никогда не любила вас.

— Я делаю завещание в твою пользу, — продолжала княгиня, сообщив ему, по возможности кратче, обстоятельства княжны. — Да, в твою пользу — только с одним условием... чтобы ты никогда не знал своей сестры... Это моя последняя воля.

— Ваша воля для меня священна, — заключил сынок, нежно целуя ее руки.

Управляющий в тот же день формальным порядком поторопился составить духовную, княгиня подписала ее, и таким образом последняя воля ее была исполнена, к вящему удовольствию князька, который в глубине

своей нежной сыновней души сладко помышлял только о том, скоро ли матушка протянет ноги и тем даст ему возможность, что называется, «протереть глаза» ее банковым билетам и поставить, при случае, «на пе» родовые поместья?

VIII

ЛИТОГРАФСКИЙ УЧЕНИК

В тот же самый день в маленькой узенькой конурке одного из огромных и грязных домов на Вознесенском проспекте сидел рыжеватый молодой человек. Сидел он у стола, понадвинувшись всем корпусом к единственному тусклому окну, и с напряженным вниманием разглядывал «беленькую» — двадцатипятирублевую бумажку.

Комнатка эта, отдававшаяся от жильцов, кроме пыли и копоти, не отличалась никаким комфортом. Два убогие стула, провалившийся волосяной диван с брошенной на него засаленной подушкой, да простой стол у окна составляли все ее убранство. Несколько разбросанных литографий, две-три гравюры, два

литографских камня на столе и граверские принадлежности достаточно объясняли специальность хозяина этой конурки. А хозяином ее был рыжеватый молодой человек, по имени Казимир Бодлевский, по званию польский шляхтич. На стене, над диваном, между висевшим халатом и сюртуком, выглядывал нарисованный карандашом портрет молодой девушки, личность которой уже знакома читателю: это был портрет Наташи.

Молодой человек так долго и с таким сосредоточенным вниманием был углублен в рассматривание ассигнации, что, когда раздался легкий стук в его дверь, он испуганно вздрогнул, словно очнувшись от забытья, даже побледнел немного и поспешно сунул в карман двадцатипятирублевую бумажку.

Стук повторился еще, и на этот раз лицо Бодлевского просияло. Очевидно, это был знакомый и обычно условный удар в его дверь, потому что он с приветливой улыбкой отомкнул задвижку.

В комнату вошла Наташа.

— Что ты тут мешкал, не отпирал-то мне? — ласково спросила она, скинув шляп-

ку, бурнус и сядясь на провалившийся диван. — Занимался, что ли, чем?

— Известно, чем!

И вместо дальнейших объяснений он вынул из кармана бумажку и показал Наташе.

— Нынче утром расчет от хозяина за работу получил, да вот и держу при себе, — продолжал он тихим голосом и снова защелкивая задвижку. — Ни за квартиру, ни в лавочку не плачу, а все сижую да изучаю.

— Нечего сказать, стоит, — с презрительной гримаской улыбнулась Наташа.

— А то, по-твоему, не стоит? — возразил молодой человек. — Погоди, научусь — богаты будем.

— Будем, коли в Сибирь не уйдем! — шутливо подтвердила девушка. — Это что за богатство! — продолжала она. — Игра свеч не стоит. Я вот раньше тебя буду богата.

— Ну да, толкуй!

— Чего толкуй? Я к тебе не с пустяками, а с делом нынче пришла... Ты вот помоги-ка мне, так — честное слово — в барышах будем!..

Бодлевский с недоумением смотрел на свою подругу.

— Я ведь тебе говорила, что с моей княжной скандал случился... Мать уж и от наследства сегодня утром отрешила ее, — рассказала с злорадной улыбкой Наташа, — а я нынче у нее в комнате порылась в ящиках да кое-какие бумажонки с собою захватила.

— Какие бумажонки?

— А так — письма да записки разные... Все до одной рукою княжны писаны. Хочешь, я тебе их подарю? — шутила Наташа. — А ты поразгляди-ка их хорошенько, попристальней: изучи ее почерк, да так, чтобы каждая буква была похожа. Тебе это дело знакомое: копировщик ты отличный — значит, и задача как раз по мастеру.

Гравер слушал и только пожимал плечами.

— Нет, шутки в сторону! — серьезно продолжала она, усевшись поближе к Бодлевскому. — Я задумала не простую вещь: будешь благодарен! Объяснять все теперь некогда — узнаешь после... Главное — ты лучше изучи почерк.

— Да зачем же все это? — недоумевал Бодлевский.

— Затем, что ты должен написать несколько слов, но написать под руку княжны так, чтоб почерк похож был... А что именно нужно писать, это я тебе сейчас же продиктую.

— Ну, а потом?

— Потом поторопись достать мне какой-нибудь вид или паспорт, под чужим именем, и свой держи наготове. Да руку-то изучи поскорее. От этого все зависит!

— Трудно. Едва ли сумею... — процедил сквозь зубы Бодлевский, почесав у себя за ухом.

Наташа вспыхнула.

— А любить меня умеешь? — энергично возразила она, вскинув на него сверкающие досадой глаза. — Ты говоришь, что любишь, так сделай, если не лжешь! Бумажки же учишься делать?

Молодой человек в раздумье зашагал по своей конуре.

— А как скоро надо? — спросил он после минутного размышления. — Дня этак через два, что ли?

— Да не позже, как через два дня, или все дело пропало! — решительным и уверенным

тоном подтвердила девушка. — Через два дня я приду за запиской, и паспорт чтоб был уже готов мне.

— Хорошо, будет сделано, — согласился Бодлевский.

И Наташа стала диктовать ему содержание записки.

Тотчас же по уходе ее гравер принялся за работу.

Весь остальной день и всю ночь напролет прокорпел он над принесенными ею листками, вглядывался в характер почерка, сверял букву с буквой, слово с словом, и над каждым штрихом практиковался самым настойчивым образом, копируя и повторяя его чуть ли не по сто раз, пока, наконец, достигал желаемой чистоты; он перемарал несколько листов бумаги и самым упорным, что называется, микроскопическим трудом одолевал каждую букву. Он достиг уже того, что изменил свой почерк; оставалось еще придать ему непри-
нужденную легкость и естественность. От на-
туги кровь бросилась ему в голову, в ушах
звенело, и в глазах давно уже рябили зеленые
мушки, а он все еще, не разгибая спины, про-

должал работать.

Наконец, уже утром, записка была кончена, и под нею подписано имя княжны. Исполнение отличалось истинным мастерством и превзошло даже собственные ожидания Бодлевского. Легкость и чистота отделки были изумительны. Гравер, взглянув на почерк княжны, сличил его со своей работой и сам удивился — до какой степени поразительно было сходство.

И долго после этого любовался он на свое произведение, с тем отрадным отеческим чувством, которое так знакомо творцу-художнику, и лишь здесь-то, над этой запиской, впервые с гордостью сознал в себе истинного артиста.

IX ЕРШИ

— Половина дела сделана! — решил он сам с собою, вскочив с провалившегося дивана после нервно-беспокойного часового полусна.

— Ну, а паспорт? Вот тебе и осечка! — озадачился гравер, вспомнив вторую часть неременного поручения Наташи. — Паспорт... Да... осечка... — долго бормотал он в раздумье, опустив голову и уперев худощавые руки в угловатые колена свои. Наконец, перебирая в уме разное возможное и невозможное, подходящее и неподходящее, набрел он случайно на воспоминание об одном земляке, сапожном подмастерье Юзиче, который, по собственному откровенному сознанию в хмельную минуту, «более чувствует охоты к швецам-рукодельникам[9] и к портняжному искусству, чем к сапожному ремеслу». Малый, значит, отчасти подходящий и в задуманном деле какие-нибудь лазейки указать может. Он уже с год назад был прогнан от

«честного сапожного немца, Окерблюда», за пьянство с буйством и безобразием, да за то еще, что соседнему целовальнику стали уж больно часто «приходиться по нраву» окерблюмовские голенища, подошвы и прочий выростковый и опойковый товар. С тех самых пор Юзич решил, что не следует заниматься таким неблагоприятным ремеслом, за которое хозяева выгоняют в шею да еще вором обзывают всеартельно, а лучше-де призаняться искусством свободным — хотя бы на первый случай карманным, а там швецовым или скорняжным, а затем, при дальнейшем развитии, можно и в ювелиры начистоту записаться[10]. И стал он, раб божий, вольною птицею лыжи свои направлять с площади на улицу, с улицы в переулок, из трактира в кабак, из кабака в «заведение» и все больше задними невоскресными ходами[11] норовил, с тех темных, незаметных лесенок, по которым спускается и подымается секрет, то есть свои, темные людишки, кои не сеют, не жнут и пожинаемое целовальникам да барышникам-перекупщикам сбывают. Полюбился ему как-то особенно душевным образом некий

прият, в просторечии неофициально «Ершами» называемый; там он и резиденцию свою основал, и незаметным образом пристал к ершовскому хороводнику[12]. Любили ершовцы посещать Александринский театр — благо не очень далеко от «Ершей» находится, — и Юзич вместе с ними театралом сделался. Ершовцы же в Александринском театре не столько искусством артистов пленялись, сколько рыболовному промыслу себя посвящали — «удили камбалы и двуглазым[13] спуску не давали».

Вот про этого-то самого Юзича, земляка и сотоварища по первой школе, и вспомнил так упорно задумавшийся Бодлевский. Вспомнил, что месяца три назад встретил он Юзича на улице, зашел с ним в первый же трактир и там, за бутылкою пива, которым великодушно угостил его Юзич, разговорился с ним по душе о превратностях судеб вообще и своих незавидных обстоятельствах в особенности. Совета Юзича насчет хороводника Бодлевский не принял, ибо намеревался посвятить себя искусству самой высшей школы — превращать чистые бумажки в кредитные биле-

ты государственного банка. Юзич, между прочим, радушно пожимая руку на прощанье, сказал своему товарищу:

— А если я тебе, друг любезный, на что-нибудь понадобится или просто повидаться захочешь, так приходи на Разъезжую улицу, спроси там заведение «Ерши», а в «Ершах» Юзича, — там тебе и покажут. Я, брат, там всегда ем. А ежели буфетчик притворяться станет, что не знает такого имени, — наставительно прибавил Юзич, — так ты только шепни ему, что «секрет», мол, прислал, тотчас тебя и допустят.

Все это очень ясно и очень подробно припомнил Бодлевский в эту затруднительную для него минуту, припомнил и воспрянул просветленным духом своим. Надежда на скорое и удачное исполнение второй части Наташиного поручения начала блистать пред ним яркими лучами. Улыбаясь, стал он одеваться; улыбаясь, сбежал с лестницы и, улыбаясь же, фертом пошел по улице, по направлению к Загородному проспекту, в который у Пяти Углов впадает Разъезжая улица.

* * *

Продолжением Разъезжей улицы служит Чернышев переулок. Поэтому и та и другой — не что иное, как одна и та же артерия, соединяющая два такие пункта, как Толкучка, с одной стороны, и с другой — Глазов кабак, находящийся на Лиговке, по Разъезжей же улице, в тех первобытных странах, известных под именем Ямской, где обитает преимущественно староверческая, раскольничья и скопческая часть петербургского населения. Туда же тянется и татарская.

Странное, в самом деле, явление представляют осадки петербургской оседлости. В Мещанских, на Вознесенском и в Гороховой сгруппировался преимущественно ремесленный, цеховой слой, с сильно преобладающим немецким элементом. Близ Обухова моста и в местах у церкви Вознесенья, особенно на Канаве, и в Подъяческих лепится население еврейское, — тут вы на каждом почти шагу встречаете пронырливо-озабоченные физиономии и длиннополые пальто с камлотовыми шинелями детей Израиля. Васильевский остров — это своего рода *status in statu* — отличается совсем особенной, пустынно-чисто-

плотной внешностью с негоциантски-коммерческим и как бы английским характером. Окраины городского центра, как, например, Английская, Дворцовая и Гагаринская набережные, и с другой стороны Сергиевская и параллельно с нею идущие широкие улицы представляют царство различных палаццо, в которых засел остаток аристократический и вечно лепящийся к нему, как паразитное растение, элемент quasi-аристократический или откупной. Впрочем, та часть этого последнего разряда, которая резюмируется Сергиевской улицей, кроме аристократического, имеет еще характер отчасти военный, и именно учено-военный, с артиллерийским оттенком. Но все то, что носит на себе характер почвенный, великороссийский, — все это осело в юго-восточной окраине города, все это как-то невольно тянет к Москве и даже, по преимуществу, сгруппировалось в части, которая и название-то носит Московской.

Загородный проспект и особенно Разъезжая улица с Чернышевым переулком являются самыми живыми, самыми сильными и деятельными артериями этой последней части.

Мы уже сказали, что Разъезжая с Чернышевым соединяют два такие пункта, как Толкучка и Глазов кабак. Поэтому они вечно кишат снующим взад и вперед народом. Но это не народ Невского проспекта, — «чистой публики» вы здесь не встретите. Изящный экипаж, и модный джентльмен, и изящно одетая дама составляют здесь редкое исключение (мы не говорим о Загородном проспекте). Публика Чернышева и Разъезжей в общей массе своей носит сероватый характер, с примесью громкого, крепкого говора и запаха пирогов, продающихся на лотках под тряпицею. Тут все народ, заботящийся о черствых повседневных нуждах, о работишке да куске насущного хлеба.

На всем пространстве этих двух улиц, от Толкучки до Глазова, вы встретите отчасти странные личности, то в чуйках, то в холуйских пальтишках, то отставных солдат с ворохом разного старого платья, перекинутого на руку. Эти странные личности, с пытливым, бойким и нагло-беспокойным, как бы вечно ищущим, взглядом, называются «маклаками» или «барышниками-перекупщиками». Место

действия их не один Чернышев и Разъезжая, — Щербаков переулоч, двор мещанской гильдии, Садовая, лестницы средней и низшей руки трактиров и площадки театров во время спектаклей служат им постоянно ареною деятельности. На театральных площадках, где несколько маклаков стараются перебить друг другу товар, дело иногда доходит до такой запальчивости, что они, подхватывая выносимую им добычу, вырывают ее друг у друга из рук, ломают часы и театральные трубки и рвут платки пополам. Дело зачастую доходит до драки, а в накладе остается все-таки мазурик, у которого вырвали и перепортили добытую им вещь. Маклаки постоянно находятся в тесных и непосредственных сношениях с тем теплым людом, к которому принадлежал Юзич, и эксплуатируют этот люда самым бесчеловечным образом. У тех и у других очень много общего, и, между прочим, этот взгляд, по которому вы очень легко можете признать маклака и мазурика. Таковой характер взгляда вырабатывается жизнью и промыслом, которые ежечасно подвержены стольким превратностям всяческих случай-

ностей.

Если вы — прохожий и несете что-нибудь в руках, маклак тотчас же оглядит вас своим пытливым взглядом — нет ли чего «подходящего», и тихо, но внятно спросит: «Продаете, что ль?»

Если идет приезжий мужичонко, купивший для себя на Толкучке порты, маклак непременно предложит ему сменяться. Мужичонко часто не прочь от такого рода операции. Маклак берет его порты, разглядывает их на свет и так и эдак, выворачивает наизнанку, растягивает материю, трет ее и щупает между пальцами. Это называется «крепость ошмалашить». А мужичонко все время с пытливым недоумением тупо смотрит на все эти проделки, после которых маклак, в озабоченном раздумье, перебрасывая совсем новенькие, крепкие и хорошие порты с ладони на ладонь, словно бы измерявая вес их, с страдательной рожею цмокает языком и цедит сквозь зубы:

— Эх!.. жаль, паря!

— Чего жаль? — тупо вопрошает, с испуганным лицом, ничего не понимающий му-

жичонко.

— «Чего!..» Известно, чего, — тебя жаль! Что дал за порты?

— Сорок копеек на серебро выходит...

— Сорок на серебро?.. Ну, брат, дрянь твое дело! Надули, совсем надули! Экий народ шельмовский в Питере живет!.. Вот, гляди сам — пестрядь-то как есть гнилье выходит.

— Да где же гнилье?

— «Где!..» все-то тебе где!.. Значит, я чувствую, — под пальцами некрепко шуршит — вот те гнилье-то где!

— Эко горе какое! — грустно-досадливо произносит мужичонко, совсем уверовавший в силу приведенного аргумента и ударив руками об полы зипунишка.

— Что за горе! Горю, милый человек, помочь можно, — утешает маклак, успевший своими ловкими приемами сразу огорошить простоватого мужичонку. — Давай, что ли, меняться! Вот тебе порты, так уж порты! как есть в самом разе настоящее дело! Одно слово — красота!.. Пощупай-ко?

— Да что... я ведь не тово... — возражает мужичонко.

— Нет, ты, брат, пощупай! ты разницу, значит, почувствуй, — потому: я на чистоту, из одной только жалости, выходит.

Мужичонко щупает, ровно ничего не понимая.

— Ну, видишь сам теперь! Мозги, чай, есть в голове! — спешит убедить его перекупщик. — Давай, что ли, порты, да в придачу двугривенник менового — и дело с концом! По рукам, что ли! — заключает он, ловя мужичонкину руку и норовя хлопнуть по ней ладонью.

— Да как же это?.. еще двугривенник?

— Вот-те Христос — свою цену беру! с места не сойти! лопни глаза мои!.. Я ведь с тобой по-божескому — поди, чай, ведь тоже хрещенные, и хрест, значит, носим — занапрасну божиться не стану. А беру свою цену из жалости, значит, потому: шельмы — хорошего человека надули! Да и порты же, прах их дери! лихие порты ведь! — износу не будет!

Мужичонко раскошелливается и лезет за двугривенным. Маклак пронзительно устремляет взор свой в глубину его замшевой мошонки, и чуть заметит там относительное

обилие бабок[14] — как оно там, значит, финалы[15] шуршат, либо цари-колесики[16] мало-мальски вертятся, позвякивают — тотчас же дружески хлопает он мужичонку по плечу и говорит ему необыкновенно мягко и задушевно:

— Милый человек! Что мне от тебя деньги брать!.. Я, значит, по душе... Лучше пойдём-ка вот — раздавим косушечку помалости, али пивка пару слакаем. Чем мне деньги с тебя в придачу брать, так мы лучше, наместо того, магарыч разопьём. Идет, что ли?

— Ладно, — соглашается мужичонко, который от косушки никогда не прочь, а сам думает себе: «Экого человека честного да хорошего господь-то послал мне, — совсем бы пропащее дело, кабы не он выручил».

И ведёт маклак мужичонку так-таки прямо в «Ерши». С буфетчиком у них давно уже печки-лавочки — дело зарученое — свои люди — только глазом мигнет, так у того уж и смекалка соответствует: несет он им графин, мужичонку почтенным величает и речь свою с ним «на вы, по чистоте столичной, по политике держит». Мужичонко с нескольких ста-

канчиков, гляди, раскочевряжится, видя такое почтение от питерских к своей сиволапой особе. Напоит его маклак до забвения, заведет его с половым в квартиру[17] и облупит там дочиста, даже и порты в обратную придачу возьмет, да потом и вытолкают мужичонку на вольный воздух прохлаждаться; а сами примутся меж тем «слам растырбанивать», то есть делить на законные доли благоприобретенную добычу.

К такому-то милому месту направлялся Казимир Бодлевский.

* * *

Дойдя до Пяти Углов, он остановился в раздумье, окинув глазами окрестную местность, и, к счастью, увидел будочника, который, опершись на алебарду, сонливо позевывал, прислонясь к стене спиной, поодаль от размалеванной черными и белыми полосами будки. Сей градской страж представился теперь Бодлевскому чем-то вроде путеводного столпа в пустыне, и потому он прямо направился к нему с вопросом:

— А где тут заведение «Ерши»?

Будочник недоверчиво и с проницатель-

ной подозрительностью посмотрел на Бодлевского.

— Какое заведение? — неторопливо переспросил он.

— «Ерши».

— «Ерши»? Нет такого! — недоверчиво ответил он Бодлевскому, продолжая вглядываться в него своими сонными глазами и как бы соображая: «Какого, мол, полета может быть эта птица?»

— Да как же это нет? — с беспокойством заговорил Бодлевский, которого стал покидать светлый луч надежды. — Как же, братец мой, нет, когда мне за верное сказали, что есть?

— А кто сказал-то? — отнесся к нему недоверчивый страж.

— Приятель один сказал...

Будочник ухмыльнулся, и хотя все еще не совсем-то доверчиво, но переменял свой официальный тон на более фамильярный и бесцеремонный.

— А зачем те «Ерши»-то? — спросил он.

— Надо... по своему делу... Приятеля там сыскать надо...

— Ишь ты!.. приятеля... — продолжал страж все с тою же ухмыляющейся харей, но уже без оттенка сомнения и недоверчивости.

— Ну, так что же, служивый? скажи, брат, пожалуйста! Мне некогда...

— Ишь ты, какой скороспелый... А ты дай на уху, так скажу, где ерши водятся.

Бодлевский полез к себе в карман отыскивать какую-нибудь мелочь.

— Что? аль свищет? — с издевкой поддразнил его будочник; но тот, к счастью своему, отыскал в жилете гривну меди и сунул в секретно протянутую руку градского стража, который тотчас же поспешно опустил ее по шву, как будто ни в чем не бывало, и дружески указал ему дорогу.

— Ступай вон наперекоски... Второй дом от угла... Вишь, деревянный-то домишко — вот те и будут «Ерши».

Бодлевский перешел улицу в указанном ему направлении и очутился перед входною дверью деревянного домишки. Над этой дверью коротала свой старческий век полинялая от времени вывеска, где был изображен чайник, бильярд и рыба какая-то, а написано

просто: «Растверация». Надписи же «Ерши», которую Бодлевский ожидал встретить на выставке, он, к удивлению своему, не нашел. В то время граверский ученик еще не знал, что название это усвоено «растверациею» не официально, а придано ей гласом народа. Генеалогию свою неофициальное название это ведет, по сказанию одних, от той причины, что «растверация» некоторое время славилась своею дешевою и отменною ухою из ершей, которых она, будто бы, даже поджаривала каким-то особенным образом; по сказанию других — название «Ерши» имеет смысл метафорический, происходящий оттого, что ершовские *habitués*, или завсегдатаи, больно уж были щетинисты и на язык и на кулаки с теми, кого они в особой потаенной комнате, известной у них под именем «квартиры», лущили в карты и кто вздумывал протестовать против этого очевидного лущения. Во время оно секретная картежная игра весьма сильно процветала в сем достолюбезном заведении.

Домишко этот существует еще до сих пор. В нем все так же помещается заведение, переименованное кличку «растверация» на новую

кличку — «трактирное заведение». Это уже, значит, степенью выше и значит, что прогресс и для него существует, но консервативный глас народа по-старому продолжает именовать его «Ершами».

Прогресс «Ершей» выказался, впрочем, не в одной только подновленной вывеске да в перемене клички. Теперь и сами «Ерши» во всем своем составе подновились, несмотря на то, что более чем двадцатилетний срок времени должен был бы привести ветхий домишко в еще большую ветхость. Теперь они напоминают собою старуху подбеленную и подрумяненную, а в то время находились еще в состоянии старухи неподрумяненной.

«Ерши» — это длинное деревянное, одноэтажное здание со стенами, которые от времени осели в землю, так что окна высятся над тротуаром немного более, чем на пол-аршина. По вечерам эти окна всегда завешивались красными кумачовыми занавесочками, как-товыми и до сих пор продолжают завешиваться. Крыша, приведенная теперь в более благоустроенное состояние, в то время беспрепятственно позволяла бурьяну и различным сор-

ным травам расти в расщелинах своего ветхого и прогнившего до черноты теса. Входная «парадная» дверь, вделанная посреди главного фасада, теперь приходится в уровень с тротуаром, а тогда неопытный посетитель, прежде чем войти, непременно должен был клюнуться в нее носом, особенно по вечерам, если предварительно он не замечал довольно глубокой ступеньки, спускавшейся гораздо ниже уровня тротуара. Теперь и самые полы и самые обои в «Ершах» давно переделаны и возобновлены в более современном вкусе, а тогда стены сохраняли патриархальную живопись — вроде каких-то фантастических деревьев и райских птиц. В настоящее время только одна небольшая комната, выходящая единственным окном своим в маленький садик и смежная с «квартирой», сохраняет пока еще свой тогдашний первобытный вид; серые стены ее разрисованы серою же меловою краскою и являют собою различные картины мифологических сюжетов. В этой комнате искони помещается бикс. Вообще надо заметить, что время, прогрессируя «Ерши» во внешности, во многом способствовало безвоз-

вратной утрате их первобытной оригинальности.

Бодлевский, клюнувшись предварительно носом в дверь, очутился в комнате, носящей наименование буфета. За стойкой стоял высокий, видный и весьма красивый мужчина, лет сорока, степенно благообразного и необыкновенно честного выражения в открытом лице. Высокая лысина его обрамлялась мягкими и курчавыми волосами. Широкая, аккуратно подстриженная, черная борода начинала уже заметно серебриться. Умные, слегка улыбающиеся глаза глядели спокойно, добродушно и в то же время весьма пронизательно. Ярославский тип с первого взгляда давал себя знать в этом субъекте. Белая миткалевая рубаша, белый, как снег, передник и башмаки на босу ногу — эта трагичная чистота и харчевенное изящество среди обычной грязи посетителей и неопрятной обстановки, совокуплявшиеся с внушительной важностью физиономии ярославца, — ясно говорили всем и каждому, что он особа не простая, что он «буфетчик», «старшой», которому подчинены половые и который в своей

особе соединяет всю администрацию заведения. Власть его простирается даже некоторым образом и на посетителей, или «гостей», если б они вздумали учинить что-нибудь неподобающее, вроде буйства и дебоша.

Встретя Бодлевского солидным поклоном — более глазами, чем головой, — он указал ему рукою направо, промолвя:

— Пожалуйста на чистую половину.

Но Бодлевский вместо чистой половины предпочел подойти к его стойке и осведомиться о Юзиче.

В ответ на это осведомление последовал недоумевающий, но втайне весьма осторожный и проницательный взгляд.

— Как вы изволите спрашивать? Юзича-с? — очень вежливо переспросил он, опершись пальцами на стойку и принимая корпусом наклонное положение вперед, что составляет известного рода ярославско-трактирную галантность и буфетческий бонтон. — Юзича?.. Нет-с, такого не знавали...

— Да ведь он у вас тут постоянно бывает! — возражал ему удивленный, по неопытности своей, Бодлевский, для которого каждое

новое затруднение в его поисках было — острый нож, подрезавший радужную нить его надежды.

— Не знаем-с... Может, оно и точно, что бывает — мало ли тут гостей-то перебивает за день! где же нам всех их узнать-то, — посудите сами-с! — отбояривался между тем буфетчик.

— Да меня «секрет» прислал! — ляпнул вдруг без всякой осторожности и нескромным голосом Бодлевский.

Ответом на это опять-таки был взгляд весьма удивленного и подозрительного качества, — взгляд, который предварительно в миг, подобно молнии, обежал все углы комнаты, нет ли, мол, кого лишнего? — и тотчас же уклончиво и неопределенно установился между бровями Бодлевского.

— Как вы изволили сказать-с? — с улыбочкой спросил буфетчик.

— «Секрет» прислал, — повторил Бодлевский.

— Это что же-с такое значит?

Гравер, не ожидавший такого переспроса, смешался и отчасти даже струхнул немного.

— Уж будто вы не знаете? — возразил он несмелым тоном.

— Почему же нам знать-с... Помилуйте-с!.. Мы об эфтим никакого понимания не имеем... Где же нам загадки отгадывать?.. Мы, значит, при своем деле, у стойки стоим, а что касается до чего другого, так эфто не по нашей части.

Бодлевский, видя, что тут ничего не поделаешь, прикусил с досады губу и нервно заходил по комнате.

Буфетчик незаметно, но зорко следил за ним глазами.

— Вам, может статья, знакомый ваш этот в нашем заведении свидание назначил? — спросил он после минуты молчаливого наблюдения.

— Да, свидание, — машинально подтвердил гравер, которого уже начинала шибко пронимать сосущая тоска от видимой неудачи задуманного дела.

— Так вы пожалуйста-с на чистую половино-с, — предложил ему обязательный ярославец, указывая на правую дверь из темных разноцветных стекол, — пообождите там ма-

ненько-с; может, они тем часом подойдут, а может, уж там и дожидаются.

Бодлевский последовал совету буфетчика и прошел на «чистую половину», а этот последний тотчас же, вслед за ним, поспешно юркнул в низенькую дверцу, которая незаметно пряталась в стене, за стойкой, обок с полками буфета, заставленного неизмеримым количеством стаканов и расписных чайников.

Комната, в которую вступил Бодлевский, хотя и представляла собою «чистую половину» заведения, но отличалась весьма грязноватою внешностью. Это была довольно большая зала в пять окон с неизменными красными занавесочками. Доски закоптелых стен покоробились от времени и петербургской сырости. Когда-то они были выкрашены белой меловой краской, и по этому фону смелая фантазия маляра-художника пустила зелено-черные пальмы и папирусы, стоявшие, якобы аллеей, в ряд, как солдаты во фронте; на пальмах и между ними помещались розовые райские птицы, в которых палили из ружей и пускали стрелы из луков какие-то ли-

ловые охотники. Но время набросило на все это свой серовато-бурый колорит. Покоробившийся дощатый потолок по самой середине комнаты представлял широкое, расползающееся, черное, как сажа, пятно, которое образовалось от копоти из висящей на крючке лампы. Вдоль стен и у окон лепились маленькие четырехугольные столики, покрытые грубоватыми салфетками не весьма-то опрятного качества от каких-то пятен, и на каждой такой салфетке была опрокинута вверх дном полоскательная чашка с синеньким ободочком. Расщелистый пол, носивший еще кое-где скудные следы желтой краски, весь уснащался мокрыми, натоптанными следами посетителей, махорочной золой и плесками чаю, которые делали все те же бесцеремонные посетители, предпочитая для этого трактирный пол вместо полоскательных чашек. Атмосфера этого милого приюта, несмотря на вентиляторы в окнах, неисходно была пропитана крепким, першащим в горле, запахом махорки, Жукова и «цыгарок». В довершение всей обстановки, как необходимое украшение к ней, по стенам помещалось несколько старых

портретов и картин, в когда-то позолоченных рамах. Портреты являли собою каких-то генералов в пудре и архиереев в мантиях, а картины изображали нечто из буколико-мифологических и священных сюжетов. И те и другие лоснились местами зеленым лаком, а местами совсем исчезали в густо насевшей на них пыли, грязи и копоти. Бог знает где, как и когда и кем писаны такие картины и портреты, но известно только то, что найти их можно единственно в «ресторациях», и кажется, будто они уж так самою судьбою предназначены для того, чтобы украшать закоптелые стены низшей руки трактиров и харчевен.

Бодлевский хотя и не был избалован жизненным комфортом, но ему еще ни разу не случилось присутствовать в столь милых местах, и потому его немного покорило, особенно когда он, усевшись у крайнего грязного столика, оглядел присутствующих посетителей.

В одном углу, за двумя составленными вместе столами, помещалась компания мастеровых в пестрядинных халатах, с испытанными лицами, на которых установился опреде-

ленный серо-бледный колорит — верный признак спертого воздуха душной мастерской, тесного спанья артелью, непосильного труда и невоздержной жизни. Эту коллекцию небритых и длинноволосых, по большей части украшенных усами физиономий с наглыми взглядами, как бы говорившими: «Мы — не мы, и хозяин — не хозяин!» — угощал пивом такой же пестрядинный халат, вмещавший в себе какого-то спицеобразного мальчонку лет шестнадцати. Мальчонка этот, видимо, желал показать, что взрослый и чувствует свое достоинство — потому: капитал имеет и угощать может. Он то и дело старался представиться пьяным и потому громче всех кричал, поминутно и без всякой нужды ругался, как бы самоуслаждаясь гармоническими звуками этой брани, поминутно размахивал своими истощенными, худыми, как щепки, руками, вообще ломался, «задавая форсу». Компания мастеровых поощряла его то обниманиями, то словами, то, наконец, приятельской руготней и во всю глотку нестройно горланила солдатскую песню:

...и граф Башкевич Ирианский

под Аршавой состоял —

песню, бывшую в то время, ради близкой своей современности, в особенной моде между солдатами и фабричным народом.

Другой угол, на нескольких отдельных столах, занимали извозчики, которые днем очень любят посещать «Ерши» и там чаепитствовать. Двор ершовский, где помещается несколько пойловых колод, в течение дня, то есть пока не начнет смеркаться, постоянно занят извозчичьими клячами и загроможден то дрожками, то санями — смотря по времени года. Клячам этим извозчики задают корму и поила, а себя — «помалости чайком побалывают». В этом втором углу господствовали трезвость, «кипяточек» и до багровости распарившиеся чайком физиономии.

Тут уже был слышен свой особый говор.

За одним столом сообщали, что Игнатку в часть взяли, а Парфену-дяде офицер, в экипаже ехамши, колесо отшиб, а намерднись у одного извозчика лошадь с дрожками мазурики угнали, — только что отвернулся, а они и угнали, проклятые; хозяин теперь вычитать поди-ка станет, а дома-то, в деревне, может, и

голодно и холодно. И начинается по этому поводу разговор про распроклятую жисть извозчичью, питерскую. За другим же столом идет беседа такого рода:

— Ты хозяину как отдаешь? подика-ся, всю выручку? — спрашивает плутоватая харя извозчика из тертых калачей у извозчика еще не тертого, двенадцатилетнего мальчишки.

— Известно, всю! а то как же? — отзывается детским голосенком этот последний, с тяжелым переводом духа, неистово втягивая в себя с блюдца струю горячего чая.

— Эх ты, михря!.. «всю!» — презрительно подхватывает первый. — Пошто же всю отдавать? Ты бы себе каку часть оставлял!

— Ишь ты — себе!.. а грех? — возражает мальчишка.

— Ну так что ж, что грех? — не беда!

— Эвоя — не беда!.. как же!

— А то беда? эка ты репа какая, паря, как я погляжу! В грехе на духу покаешься — и баста! На то и батька, значит, приставлен; а ты бы, по крайности, себе каку деньгу оставил...

— А хозяин ругаться станет?

— Так пошто ж тебе говорить ему, сколько

выручки привез? Если ты, значит, целковый рубль выездил, так отдавай семь гривен, а либо восемь гривен, коли уж почестнее захочешь. Вот так и вертись на этом.

— Да я не умею...

— Не умеешь? а наука на что? Ставь пару чаю — так разом научу!

И мальчишка точно ставит пару чаю и начинает первые шаги своего развития на поприще столь занимательной науки.

Остальную публику составляли два-три дворника, несколько солдат, которые проникли сюда задними ходами, так как с наружных пускать их было строго запрещено, да две-три темные личности, из коих одна, в порванном, истертом вицмундире, углублялась в чтение полицейской газеты.

Нравственное чувство Бодлевского, не искушившегося еще в сладости познания различных трущоб житейских, начинало уже давить и сосать что-то боязливо-неприятное. Ему все казалось, будто кругом его сидят воры и мошенники, может, и убийцы даже; а воображение помогало разрисовывать все это более мрачными красками, хотя обстановка

этой комнаты была не более как обстановка каждой харчевни. Сознание, что и сам он идет на рискованное дело, и эта неизвестность, где и с кем он, и как все это кончится; потом неотступное, томительное чувство одиночества, чувство разобщенности с окружающим миром — все это производило на него особого рода нервное впечатление, так что ему казалось — вот-вот войдет полиция и заберет их всех тотчас или что все эти господа разом накинутся на него, ограбят и убьют, пожалуй... Подобное чувство при первом посещении незнакомого еще вертепа необходимо испытывает каждый неопит, каждый будущий кандидат на Владимирку, только что задумавший свой первый шаг к преступлению.

А из низенькой дверцы в буфете выходил между тем застоечный ярославец в сопровождении темной личности с физиономией отчасти перетревожившейся.

— Ну, полно спать! аль не прочухался еще? ползи, что ль, черт! — говорил он, оборачиваясь в полспины к этому темному субъекту, который подвигался вперед весьма неохотно.

— Да кто спрашивал-то? — слышался его

хриплый, заспанный голос.

— А мне почему знать — тебя спрашивал!.. Возьми зеньки в граблюхи, да и зеть вон сквозь звенья! Может, и фигарис какой![18] — отвечал ярославец, становясь за стойку и принимая такой вид, как будто ничто до его милости не касается.

Темная личность подошла к правой двери, плотно приблизила лицо свое к темным цветным стеклам и осторожно стала смотреть сквозь них в «чистую половину».

— Который это? что в шельме[19] камлотной сидит, что ли? — спросил он, разглядывая посетителей.

— Тот самый... Гляди, не фигарис ли каплюжный[20], — предостерег его буфетчик.

— Нет, своя гамля[21], — успокоил смотревший субъект и смело направился в «чистую половину».

Свидание друзей, как и должно предполагать, было весьма радостно, особенно со стороны Бодлевского. За порцией селянки, сопровождавшейся целым графином померанцевой, он объяснил Юзичу свою настоятельную нужду.

И ни тот ни другой не заметили, как сидевший поодаль неизвестного звания человек все время незаметно наблюдал за ними, стараясь вслушаться в каждое их слово.

Юзич, по выслушании дела, сейчас же скорчил из себя солидно-важного человека, в котором нуждаются и от воли которого зависит надлежащее решение, и стал озабоченно потирать свой лоб, как бы обдумывая затруднительное дело. Мазурики вообще любят в таких случаях напускать на себя важность и детски рисоваться (хотя бы перед самим собою) своим выдуманым значением. Люди всегда склонны обманывать и себя и других тем, чего у них не хватает.

— Это я могу, — наконец заговорил он с расстановкой, стараясь придать каждому своему слову и вес и значение. — Н-да-с... это в нашей власти... Только с одним человечком повидаться надобно... Трудно, но могу — зато уж магарыч с тебя, да и другим заплатить придется.

Бодлевский беспрекословно согласился на все условия, и тогда Юзич встал и подошел дошептаться к той темной личности в виц-

мундире, которая водила красным носом своим по строкам полицейской газеты.

— Другу Борисычу! — проговорил Юзич, подавая ему свою руку. — Клей[22] есть!

— Ой ли, клевый[23] аль яманый[24]? — отозвался друг Борисыч, изобразив на широких губах своих улыбку алчной акулы.

— Небось, чертова перечница! Коли я говорю, так значит клевый!

— А как пойдет: в слам[25] аль в розницу? [26] *

— Известно, в слам! Тебе, коли сам работать станешь, двойную растырбаним[27]. Вот видишь, мухорта[28], что со мной сидел? — пояснял ему Юзич. — Так вот ему темный глаз[29] нужен.

— На кого? на себя? — спросил Борисыч.

— Нет, маруший[30] нужно...

И они ушли в другую комнату — продолжать свое секретное совещание. Через несколько минут Юзич возвратился к Бодлевскому и объявил, что вечером будет все готово, чтобы он к девяти часам являлся в «Ерши», а пока вручил бы ему задаток — «на извозчика, мол, надо съездить в Полторацкий

переулок, в Сухаревский дом, к виленцам[31] из тридцать первого номера, потому: тот, кто станет подделывать паспорт, весь свой инструмент и материал проиграл в трынку одному человеку из виленцев — ну, так и того, значит, надо будет выписать, чтобы с материалом явился».

Замечательно, что мазурики не только с посторонними, но даже и между собою в разговоре о каком-либо отсутствующем товарище постоянно избегают назвать его по имени, а всегда говорят несколько неопределенно, стараясь выражаться более местоимениями: тот, этот, наш, или существительными, вроде: знакомый человек, нужный человек и т.п.

Бодлевский щедро дал задаток и, выйдя за дверь, напутствуемый приветливым (уже без недоверчивости) поклоном буфетчика, опрометью бросился домой, не будучи в силах сдержать свою радостную улыбку, так что узнавший его сонливый будочник только крякнул да ухмыльнулся и послал ему в спину такой смешливо-лукавый взгляд, который как бы говорил: «Погоди-ка, друг любезный, сорвал я с тебя нынче уху с ершами, а попа-

дешься ко мне на лапу, так стяну и леща со щукой».

Х

КВАРТИРА ДЛЯ ТРЫНКИ И ТЕМНЫХ ГЛАЗ

Вечером «Ерши» изменяются, принимая со-
всем новый характер. Это уже не то, что
«Ерши» днем. Как только зажгутся в них коп-
тильные лампы и бросят свои мутные лучи
на всю ершовскую обстановку, так тотчас
ловкая рука побегушника полового быстро
позадергивает красные занавесочки на ок-
нах — и это задергивание служит уже вер-
ным признаком того, что «Ерши» открыли
свою вечернюю деятельность. Главным и, так
сказать, всепритягивающим центром этой де-
ятельности становится степенный, благооб-
разный буфетчик Пров Викулыч, и тут-то раз-
ностороннее и разнохарактерное умение его
поистине становится замечательным.

Как только начнет смеркаться — Толкучка
прекращает свою деятельность. По Черныше-
ву переулку, как стаи черных мух, торопятся

и перегоняют друг друга, в направлении к Пяти Углам, толкучники-сидельцы. Между ними шныряют взад и вперед темные людишки, покончившие свой дневной промысел на Толкучке и не начавшие еще промысла ночного. Кто из них засветло не успел сбыть с рук благоприобретенного товара ни маклакам, ни купцам-поощрителям, тот поблизости несет его в «Ерши», через задний ход, где всегда уже для такого желанного гостя находится насто-роже Пров Викулыч.

Пров Викулыч — человек добрый, рассудительный и не привередник: он ничем не побрезгует и за все даст положенную цену. Неси к нему мягкий товар, то есть меха, — он возьмет с благодарностью, неси красный товар, то есть золотые или иные драгоценные вещи, — тоже возьмет с благодарностью же: табакерку добудешь — и ее туда же; платок карманный добудешь — и на платок отказу нет; словом сказать, Пров Викулыч — человек вполне покладистый и стоворчивый, милый человек, с которым приятно и полезно вести всякое дело. Его и маклаки, известные у мазуриков под именем мешков, весьма уважают, а это очень

замечательный факт, ибо маклаки вообще никого не уважают. Пров же Викулыч заслужил себе от них такую глубокую дань уважения не чем иным, как допущением свободного сбыта. Иные буфетчики и половые, занимающиеся маклачеством, ни за что не пустят «мешка» за порог своего заведения, а Пров Викулыч впускает беспрепятственно. Как же после этого не уважать Прова Викулыча?

Впрочем, ему самому от этого допущения мешков было мало убытку: мазурики все-таки предпочитали к нему нести свой товар для сбыта.

Итак, только что смеркнется и «Ерши» осветятся своими коптилками — к ним начинают стекаться мешки и мазурики. Входная дверь на блоке ни на минуту не перестает визжать, хлопать и напускать в комнату свежего воздуха, который там вообще никогда не бывает лишним. Вместе с мазуриками набивается сюда изрядное количество мастеровых и фабричных, также покончивших свои дневные занятия; увеличивается и элемент военный, которому в вечернем мраке менее представляется опаски от начальства; немного по-

позже начинают мелькать и женские физиономии; зато замечается полнейшее отсутствие извозчиков.

В эту деятельную минуту Пров Викулыч становится вездесущ. Он и за стойкой вежливо кланяется глазами разным посетителям; он и на кухне отдает приказания насчет провизии повару; он и в погреб спустится за новою, непочатою корзиной холодного пива; он и на чистую половину заглянет: все ли де там в порядке; и на половых за нерасторопность прикрикнет, и с гостем красным словцом перекинется; он, наконец, улучит минуту и, юркнув в свою дверцу, очутится на «квартире».

Но пора, наконец, читателю узнать, что это за квартира.

Низенькая, маленькая дверца, в которую так часто юркает Пров Викулыч, ведет из буфета в кухню, где прежде всего бросается в нос чад от масла и пар столбам; а потом уже сквозь эту атмосферу выступают силуэты огромных медных котлов с кипятком и огромной же, словно бы навуходоносоровой печи, которая, пожалуй, и побольше, чем трех

отроков, поглотит. Из кухни налево взору посетителя представляется дверь в однооконную комнату, куда имеют право входа только одни «завсегдатаи» да особы прекрасного пола, дарящие ее почему-то особенною своею симпатией, преимущественно перед прочими чертогами заведения. Поэтому ершовские habitues[32] эту комнату так уж и прозвали «марушьим углом». Здесь, в этом «марушьем угле», можно постоянно найти женщин в количестве нескольких персон, занимающихся мирным чаепитием или не менее мирною руганью и тараторливым перезвоном. Из этой комнатки маленькая низенькая дверца ведет в другую, которая-то собственно и носит наименование «квартиры».

Это даже не комната, а скорее какой-то темный чулан, без окон, но с парюю дверок, содержащихся постоянно на запоре. Вторая дверь выходит в узенький сквозной коридор, из которого вы, по желанию своему, можете спуститься либо во двор, либо в крохотный садик. С внутренней стороны дверь эта представляется как бы заколоченной, но это несколько не мешает ей, в случае нужды, очень

скоро и ловко отпираться и выпускать из себя, во время полицейских осмотров, разных теплых людишек, которым из коридорчика — скатертью дорога либо во двор, либо в садик, да через забор на соседний задворок. С наружной же стороны этой дверки, на верхнем бруске ее, и до сих пор еще можно видеть на-малеванную черною краскою надпись: кварта-тира.

В этой конуре темно — хоть глаз выколи; иначе как со свечой там никто не бывает. В ней помещаются две-три постели, стол да несколько стульев. Под постелями и в углах сваливается все натыренное[33], которое, стараниями Прова Викулыча, редко когда залеживается до следующего утра. Приобретает он тыренное то на смарку трактирного долга, то на хрястанье с канновкой[34], то на какие-нибудь ничтожные гроши, которые иногда нужнее самой жизни уличному вору, когда голодным детям нужно принести хоть корку хлеба. Сбывает Пров Микулыч это тыренное только на чистые деньги, и на деньги немалые. Отсчитывает он в этом случае гро-ник да канику, а получает колесами[35].

Итак, мы уже говорили, около восьми часов вечера темные людишки с «вольным товаром» под полою начинают мало-помалу проюркивать в ершовские ворота, на задний, «невоскресный» ход заведения, и стекаются обыкновенно в смежной с кухней комнате.

Пров Викулыч держит себя в этом случае весьма замечательным образом: он и тут, как всегда и везде, свою особую политику и строгий этикет соблюдает. Всем, например, собравшимся в «марушьем углу» мазурикам очень хорошо известно, что Пров Викулыч занимается спуркой[36], все они именно и собрались сюда не за чем иным, как только пропурить[37] ему тыренное Пров Викулыч, в свою очередь, хорошо знает, что теплые ребята пришли сюда единственно ради его милости, и не однажды уж он со всеми ними дела этого рода обделывал, а между тем Пров Викулыч перед глазами всей этой обычно собравшейся компании никогда не решится явно показать, что он занимается «спуркой» или вообще имеет с ними какие-либо общие дела и интересы относительно вольного товара. «Потому, значит, дело — делом, а честь —

честью, — рассуждает себе Пров Викулыч, — и честь свою, значит, ты никак обронить не моги».

Пров Викулыч в некотором роде сила, «капиталом ворочает», держит в руках своих весь этот темный люд, и потому третирует его несколько en canaille. Он не сразу выходит к ним в «маруший угол», а так себе — урывками, заглянет туда как будто мимоходом, идя по своему делу, и вообще заставляет себя дожидаться.

— Пров Викулыч, дельце есть до вашей милости! — говорит ему обыкновенно какой-нибудь мазурик заискивающим и даже просительным тоном, кланяясь чуть не в пояс.

— Како тако дельце? — суровым голосом важно-занятого человека возражает буфетчик, почти не удостоивая взглядом своего просителя.

— Так-с... просьбица, одна... по секрету-с...

— Ну, да! еще чего не выдумай! Некогда мне тут с вами секретничать-то! — бурчит он себе под нос, с большим неудовольствием. — Ну, да ин — ладно! Пойдем! Эй! Анчутка!

— Чиво-с? — откликается юркий трактир-

ный мальчишка с развращенным лицом и плутовскими глазами, выросший словно гриб из-под земли перед Провом Викулычем.

Буфетчик на это «чиво-с» только глазом мигнет незаметно — и Анчутка опрометью бросается к заднему ходу на сторожку.

За сим следует удаление Прова Викулыча с просителем в секретную квартиру.

А мазурики между тем в «марушечьем углу», ожидая каждый очередь, вполголоса меж собой о своих делах разговаривают. Они в этом отношении менее Прова Викулыча церемонятся.

— Что стырил? — осведомляется один у другого.

— Да что, друг любезный, до нынче все был яман[38], хоть бросай совсем дело; а сегодня, благодарение господу богу, клево[39] пошло! Зашел этта ко Владимирской. Народу за всенощной тьма-тьмущая — просто, брат, лафа!

— Ну и что же ты? маху не дал?

— Еще б те маху! Шмеля срубил, да выначил скуржанную лоханку![40] — самодовольно похваляется мазурик.

— Мешок во что кладет веснухи?[41] — спрашивается в то же время в другой группе, на противоположном конце комнаты.

— Во что кладут! да гляди, чуть не в гро-ник! — ропщет темная личность с крайне истомленным и печальным лицом. — Клей[42] не дешевого стоит; поди-ка, сунься в магазин у немца купить — колес в пятьдесят станет.

— А какой клей-то?

— Да канарейка с путиной[43], как есть целиком веснушные. Так он что, пес эдакий, мешок-то? Я по чести, как есть, три рыжика правлю[44].

— Какими? рыжею Сарою?[45]

— Ну, вестимо, что Сарой, а он, пес, только четыре царя[46] кладет. А мне ведь тоже хрястать что-нибудь надо! жена тоже ведь, дети... голодно, холодно...

И голос мазурика, нервно дрогнув, обрывается, задавленный горькою внутреннею слезою.

В третьем углу — молодой вор, по-видимому из апраксинских сидельцев, тоненькой фистулой, молодцевато повествует о своих ночных похождениях:

— Просто, братцы, страсть! Вечор было совсем-таки влопался![47] да, спасибо, мазурик со стороны каплюжника дождевиком[48] — тем только и отвертелся! А Гришутка — совсем облопался[49], поминай как звали! Стал было хрять[50] в другую сторону, да лих, вишь ты, не стремил[51], опосля как с фараоном[52] справились; а тут стрела[53] подоспела вдогонку — ну и конец! Теперь потеет[54]; гляди, к дяде на поруки попадет[55], коли хоровод не выручит.

— Значит, скуп[56] надо? — озабоченно спрашивают мазурики, ибо это вопрос, весьма близко касающийся их сердца и карманных интересов.

— Значит, скуп! Парень, братцы, клевый, нужный парень! Отначиться[57] беспременно надо.

— Сколько сламу потребуется? — вопрошают члены хоровода, почесывая у себя в затылке.

— Обыкновенно на гурт: слам на крючка, слам на выручку да на ключая — троим, значит, как есть полный слам отваливай[58].

— Надо подумать! — отвечают хоровод-

ные, соображая свои средства на выкуп товарища.

А степенный, важный и благообразный Пров Викулыч меж тем обделывает на квартире свою выгодную спурку.

* * *

В одиннадцатом часу показался в «Ершах» и Бодлевский, захватив с собою весь свой капитал, заключающийся в двадцатипятирублевой бумажке и кой-какой мелочи. Сердце его довольно-таки нервно постукивало. Он не боялся делать ассигнацию наедине, запершись в своей комнате, и боялся теперь предстоящего ему дела, потому что оно должно было обделаться между несколькими сообщниками. Эта черта, на первый взгляд как будто и трусливая, предвещала, однако, в Бодлевском великого будущего мастера. Не боятся сообщничества одни только заурядные мазурики, из которых никогда ничего замечательного не выработается. А в Бодлевском, напротив, таился своего рода гений...

Пров Викулыч, обретавшийся на сей раз за буфетной стойкой, степенно поклонился ему, по обычаю своему, больше глазами, чем голо-

вой, и пригласительно указал рукою на узорную дверь чистой половины, а сам, конечно, не замедлил сию же минуту юркнуть в свою дверцу, на квартиру за Юзичем.

После коротких переговоров о том, что дело будет стоить двадцать рублей, Юзич получил вперед с Бодлевского деньги и ввел его в заповедную квартиру через наружную ее дверку, мимо буфетчика, который сделал вид, будто ничего не замечает. Там на столе тускло горел сальный огарок, едва освещающий фигуры семи человек, сгруппировавшихся вокруг стола, за которым восседал красноносый чиновник — тот самый, что поутру на чистой половине углублялся в полицейскую газету. Он тасовал замасленную колоду карт и умоляющим голосом обращался к рыжему угрюмому господину с портфелем в руках:

— Ну, сделай ты мне такое божеское одолжение! Сорок грехов тебе за это простится, мошенник ты эдакий! — говорил он ему. — Ну, что тебе стоит! Душечка моя! свалюемся на одну игорку.

— Сказано, нет! — зарычал на него рыжий, сверкая исподлобья своими угрюмыми глаза-

ми. — Нашел дурака — сваляйся с ним до дела, а он, пожалуй, отначится, — так я, значит, двойного сламу должен лишиться! Ишь ты вицмундирник какой! губа-то у тебя не дура! Ты прежде дело сделай, а там, пожалуй, стукнемся на счастье.

— Все струмент свой отыграть хочет, — пояснил Юзичу один из семерых, лукаво подмигивая на красноносого чиновника, который, вероятно, чувствуя себя очень огорченным ответом рыжего, только вздохнул от глубины души и смиренно, с видом угнетенной невинности, воздел к потолку глаза свои, как бы говоря этим: «Ты видишь, господи, сколько много и неправо обижен я!»

Никто из присутствующих не поклонился Бодлевскому при входе и вообще не выразил ни словом, ни знаком каким-либо приветствия; но все очень внимательно и бесцеремонно вымеряли его своими взглядами.

Эти семь человек были виленские и витебские мещане, известные в трущобах под общим именем «виленцев» и занимавшиеся специально подделкой паспортов. Профессия эта преемственна и до сих пор продолжается

В Петербурге между выходцами из двух означенных губерний.

— Готово! — сказал Юзич, обращаясь безлично ко всей компании.

— Значит, можно в ход помадку[59] пускать? — спросил чиновник с добродушной улыбкой, в которой, однако, так и просачивалась алчность акулы.

— А ты, голова, зачем мухорта с ветру привел? — бесцеремонно вмешался рыжий, бросая неприязненные взгляды на Бодлевского. — Зачем морды казать? Не всякой ведь роже калитки есть!

— Ничего, мухорт с нами заодно поест, — благодушным тоном успокаивал его чиновник.

— А коли облопается да клюю прозвонит? [60]

— А мы на сей конец не дураки: прикосновенность учиним, к делопроизводству притянем — и выйдет девица того же хоровода. На себя не всяк ведь показывать-то охоч, — возразил на это канцелярски-крючковатым тоном чиновник.

Рыжий, вероятно, восчувствовал силу по-

следнего аргумента, ничего не ответил, только сплюнул в сторону.

Чиновник, потирая свои красные, дрожащие руки, встал с места и с особенным каким-то сладеньким подходцем приблизился к Бодлевскому.

— Нам надо познакомиться, — сказал он весьма любезно. — Вместе уху станем стряпать — вместе хлебать; значит, дело товарищеское. Честь имею рекомендоваться! — призовокупил он, отдавая скромный поклон, — отставной губернский секретарь Пахом Борисов Пряхин. Ныне приватно в конторе квартального надзирателя письмоводством занимаюсь.

Бодлевский при этом последнем сообщении сделал весьма удивленную мину, так что Пахом Борисыч поспешил пояснить ему с обычным добродушным вздохом:

— Что делать-с! бывают обстоятельства, когда всяк человек на предлежащем ему месте к пользе ближнего нужен бывает. А это-с, — прибавил он, указывая на членов своей компании, — это — ближние мои. Так-то-с!..

Бодлевский слегка поклонился, но ближ-

ние не удостоили его поклон ни малейшим вниманием. Они вообще были не совсем-то довольны присутствием при деле постороннего человека.

— Предварительно, — начал опять чиновник, — позвольте попросить у вас рюмку водки, а то у меня трясушка с перепоею: рука нетверда-с. Я, поверьте, не столько для себя, сколько собственно для руки прошу. Позвольте монетку-с!

Бодлевский дал ему сколько-то мелочи, которую чиновник тотчас же опустил в свой карман и, подойдя к полочке, где стоял заранее купленный им же самим полштоф водки, налил себе рюмку и, нацелясь, проглотил ее залпом.

— А теперь — приступим благословясь, ибо всякое доброе начинание напутственного благословения требует, — говорил он со своею улыбкою, творя крестное знамение, и, потирая руки, сел на прежнее место.

Угрюмый рыжий молча положил перед ним портфель и вынул из кармана какие-то две склянки. В одной заключалась жидкость черная, в другой — чистая, как вода.

— Мы ведь — химики: наукой тоже занимаемся! — шутливо пояснил Бодлевскому Пахом Борисыч и вслед за тем скомандовал: — Чижик! на стрему.

Молодой парень поднялся с постели, на которой было развалился, и вышел из «квартиры» в наружную дверку.

— Ну-с, а теперь затыньте-ка[61], братцы, хорошенько! — предложил чиновник остальным — и вся компания тесно стала, локоть к локтю, вокруг стола. — А мы газетку вынем да на столик положим — тут же вот рядышком с портфелькой. Это, извольте ли видеть, — пояснил он Бодлевскому, — собственно, на тот конец делается, если бы, избави нас боже, посторонний человек в нашу келейную беседу ворвался — так мы как будто ничего, яко агнцы какие непорочные, сидим и мирно известия с политического горизонта читаем. Понимаете-с?

— Как не понять!

— Известно-с... А теперь не угодно ли?.. Извольте нам со всей откровенностью, яко пред зеркалом, объяснить: к какому званию и состоянию желаете вы приписать известную

вам особу — по купечеству ли, или в дворянское сословие?

— Я думаю, в дворянское лучше будет, — заметил Бодлевский.

— Всеконечно так! по крайней мере, приобретается право беспрепятственного проезда во все города и селения Российской империи. Посмотрим, нет ли у нас чего подходящего.

И Пахом Борисыч, раскрыв портфель, наполненный всевозможными паспортами, плакатами, увольнительными свидетельствами и иными видами, стал перебирать эти бумаги, не вынимая, впрочем, ни одной из портфеля: все на тот конец — если какая тревога случится, так чтоб немешкотно спрятать их.

— Ага! новенький! — воскликнул он, разглядывая какой-то вид. — Откуда это?

— От одного человека приезжего добыл, — пробурчал себе под нос рыжий.

— Те-те-те! совсем подходящее дельце! Дворяночка-с! — с удовольствием говорил чиновник, продолжая рассматривать вид. — Очевидно, ныне сам господь бог помогает — вот оно что значит благословенье-то! А Вольте-

ры — поди ж ты вон! — другое толкуют! (Пахом Борисыч, видимо, старался блеснуть своим образованием.) Н-да-с... «Дано сие из ярославского губернского правления», — продолжал он, уже читая текст вынужтого им вида, — «дано сие вдове коллежского асессора Марии Солонцовой на свободное прожитительство» и так далее, как следует быть, по надлежащей форме. Здесь, что ли, добыто? — обратился он снова к рыжему.

— В Москве, сказывал...

— Нешто стырен?

— Амба! — лаконически и еще угрюмее обыкновенного выговорил рыжий.

— Амба! — повторил серьезным тоном чиновник, как бы преисполняясь особенным уважением к той бумаге, которую он держал в руках. — Амба!.. так вот как! В домухе опатрулено[62].

— Клевей, брат! почти что на гоппе[63]; у Рогожского, сказывал.

— Ну, это точно что клевей; потому, значит, только и последствий, что в ведомостях пропечатают: такого-то мол, числа усмотрено неизвестного звания и состояния...

— А ты ешь пирог с грибами! — сурово перебил его рыжий. — Видно, с одной рюмки-то мелево расшатало?

— Что ж! Я — ничего! — кочевряжился в ответ на это замечание Пахом Борисыч. — Я только говорю, что отпусти господи рабу твоему, потому что, в силу 332-й и 727-й статей Свода уголовных узаконений, за это надо стрелить.

Едва успел он выговорить эти слова, как удар с размаху по голове, который молча нанес ему рыжий, заставил его стукнуться затылком в стену и, уж конечно, замолчать на минуту — так что он только глазами заморгал от боли.

— Это что же? оскорбление чести, можно сказать... — забормотал оторопелый Пахом Борисыч. — Теперь я и работать не могу: в голове треск и темень... Ей-богу, не могу... Надо, по крайности, рюмку для прояснения...

— Ну, черт, ступай, пей! — разрешил ему рыжий. — Да гляди: если еще раз мелево пустишь — не заставь руку расходиться! — ломату[64] задам добрую.

Оскорбленный Пахом Борисыч молча про-

пустил в себя рюмку, молча воротился на место и молча же принялся за работу.

Он откупорил склянку с бесцветною, чистою жидкостью и вынул из портфеля тщательно завернутую в бумажку рисовальную кисточку.

— Ну, полно, дядинька! развеселись-ко! Стоит из-за пустяков таких? — утешал его Юзич, ободрительно похлопывая по плечу, и Пахом Борисыч действительно развеселился.

— Известно, не стоит! — заговорил он своим обычным тоном, в котором, однако, заметно слышалось чувство собственного достоинства. — Я и внимания не хочу обращать, потому честь и амбицию свою несравненно выше того полагаю. Меня это обидеть не может. Военные за это между собою на поединки выходят, гражданские чины по закону деньгами бесчестие взыскивают, а с него — что взять? Одно остается — простить ему это.

Это означало, что Пахом Борисыч в глубине сердца своего был очень оскорблен.

— Ну, вот ты и прости! — предложил ему Юзич.

— Я и простил!.. — махнувши рукой, про-

изнес Пряхин. — Так вам угодно ли будет известную особу переименовать в Марию Солонцову — вдову коллежского асессора? — обратился он к Бодлевскому.

XI

КАПИТАН ЗОЛОТОЙ РОТЫ

Бодлевский не успел еще в ответ на это утвердительно кивнуть головою, как вдруг наружная дверка быстро распахнулась и в комнату стремительно влетел высокого роста мужчина, статный, сильный и красивый блондин, немного косоватый, с золотыми очками и в форменном военном сюртуке.

Компания испуганно повернула к нему головы, но не тронулась с места: как стояла она, тесно сплотившись вокруг стола, так и теперь осталась.

— Здорово, соколики, виленцы почтенные! Вы это что тут? какими делами занимаетесь? — заговорил он, в одно мгновение подлетая к столу и садясь на стул вскочившего Пахома Борисыча.

— Это что такое? — продолжал он, захва-

тывая одною рукою склянку с бесцветной жидкостью, а другою вид вдовы коллежского асессора. — Это у вас, значит, хлористая жидкость для вытравливания чернил? Хорошо-с! А это чей-то вид — значит, мы тут пачпортики подделываем? Важно! Отменно важно! Ай да молодцы! Что дело, то — дело! Гей! Свидетели!

И блондин довольно резко свистнул. Из наружной дверки появились две лихие физиономии, торчавшие на плечах весьма внушительного свойства.

Рыжий молча подошел к блондину и яростно схватил его за ворот. Остальные в тот же момент поразобрали — кто стул, кто пилку, кто железный лом — и приготвились к защите.

Блондин между тем, отнюдь не изменяя в лице самоуверенно-хладнокровного и спокойного выражения, быстро опустил руки в карманы и вынул пару маленьких двухствольных пистолетов. В наступившей тишине, которою сопровождалась эта сцена, ясно было слышно, как щелкнули на двух взводах курки под его пальцами. Он поднял правую

руку и направил дуло в упор к груди своего противника.

Рыжий опустил его ворот и, презрительно скося на него свои глаза, сверкавшие ненавистью и злостью, молча отошел в сторону.

— Сколько надо будет дать? — глухо спросил он.

— Ага!.. Вот этак-то лучше! и давно бы так следовало! — заговорил блондин, спокойно усевшись на стуле и слегка поигрывая своими пистолетами. — А вы за сколько работаете?

— За одну красную, — ответил рыжий.

— Мало. Мне гораздо больше надо; да, впрочем, вы, милый мой, врете; я ведь знаю вас: вы менее как за беленькую и рук марать не станете.

— Благодарим за комплимент.

Блондин с усмешкой кивнул ему головою.

— Мне надо гораздо больше, — настойчиво и с внушительной расстановкой повторил он, — и если вы мне не дадите по крайней мере двадцати пяти, так я сию же минуту донесу на вас полиции, а вот и двое свидетелей кста-ти.

— Сергей Антоныч! господин Ковров! помилосердствуйте! — откуда же взять нам столько! Как перед богом, так и перед вами говорю! ведь нас десять человек. Да вас трое; да кроме того троим — мне, Юзичу и Гречке — двойной слам следует, — убеждал его умоляющим голосом Пахом Борисыч.

— Гречке за то, что осмелился меня за ворот схватить — вовсе сламу не полагается; вперед наука! — порешил Сергей Антоныч.

— Господин Ковров! — начал снова чиновник, — мы с вами люди благородные...

— Что-о? что ты такое сказал? — презрительно перебил его Ковров. — Себя на одну доску со мною поставил! Ха-ха-ха! Нет, брат, я пока еще на царской службе состою и с мундиром честь свою ношу! Я, брат, себя пороком или воровством каким не марал еще, слава богу! а ты что такое?

— Гм!.. а Золотая-то рота? кто капитаном-то считается?.. — злобно и как бы про себя заметил Гречка.

— Кто считается? Я — поручик Черноярского драгунского полка Сергей Антонович Ковров! Слышали? Я считаюсь! — гордо и вы-

сокомерно сказал он, окидывая компанию своими самоуверенными взглядами. — А вы все еще и не доросли до Золотой-то роты, потому: вы — трусишки! Чупров! — крикнул он одному из своих, — ступай, сними маску с Чижика, а то мальчишка, пожалуй, еще задохнется, и руки развяжи ему кстати, да дай еще доброго подзатыльника, чтоб вперед получше караулил.

«Маска», которую употреблял в подобных обстоятельствах Ковров, была не что иное, как клеенка, вырезанная в величину человеческого лица и с одной стороны густо смазанная липким варом, посредством терпентинного масла приведенным в нетвердое состояние. Ковровские молодцы употребляли этот «струмент» с изумительной сноровкой: обыкновенно делалось так, что один из них, тихо подкрадываясь сзади к избранной жертве, ловким ударом влеплял ей в физиономию липкую клеенку — и жертва тотчас же становилась нема и слепа, задыхалась от недостатка воздуха; засим, если представлялась надобность, скрученные назад руки перетягивались бечевою, и начиналась дальнейшая «по-

мада», смотря по тому, нужно ли было ограбить или совершить что-либо иное.

Золотая рота образовалась в половине тридцатых годов. Первыми основателями ее были три польских дворянина. Она никогда не отличалась многочисленностью своих членов, зато все уж они могли с честью назваться отчаяннейшими головорезами, которые нигде и ни в чем не знали преград для своих самых дерзких подвигов. Настоящий вожак этой шайки, поручик Ковров, был в полном смысле то, что называется *triple canaille*[65]. Дерзкий, храбрый и самоуверенный, он обладал, кроме того, еще красотою, манерами и светским лоском, известным под именем образования. Перед членами Золотой роты, и в особенности перед Ковровым, трепетали все остальные хороводы. Он повсюду имел своих тайных агентов, которые незаметно, но зорко следили за каждым предприятием Мазуров. В момент исполнения такого предприятия на место действия вдруг нежданно-негаданно являлся Ковров с кем-либо из своих и требовал контрибуцию, грозя в противном случае тотчас же донести полиции, — и мошенники,

для того чтобы «смирить ему звонок», неволь-но должны были жертвовать часть сламу, ка-кую он сам заблагорассудил себе назначить. Действуя необыкновенно тонко и ловко во всех своих предприятиях, он вел себя так, что под него никак нельзя было подпустить иголки, и таким образом грабил вдвойне: и мир-ных обывателей града С.-Петербурга, и мазу-риков вместе. Подобный промысел искони су-ществует и в мазурничьем мире: между ними есть разряд людей, которые сами никогда не пускаются на воровство, но промышляют соб-ственно тем, что узнают о всякой покраже, и за одно это знание, за одно отрицательное со-участие свое получают известную долю — лишь бы только молчали да полиции не вы-дали. Впрочем, надо прибавить, что подоб-ных людей в этом мире очень немного, и все они пользуются у самих мазуриков глубочай-шим презрением. Не пользовался им только Ковров, но это потому, что он вообще действо-вал en grand и пускался со своей Золотой ро-той на такие отчаянные, рискованные подви-ги, о каких остальные хороводы и мечтать не дерзали. Мазурики, какого бы разряда они ни

были, вообще очень уважают риск, хитрость и силу, — поэтому они и Коврова уважали, боясь и ненавидя его в то же время до последней степени.

— Кому это пачпорт изготавливаете? — спросил он, взяв со стола бумагу и преспокойно запихивая ее в свой карман.

Гречка кивнул головой на Бодлевского.

— Ага, так это для вас? очень приятно слышать! — сказал Ковров, смеривая его глазами. — Итак, господа, двадцать пять рублей, или прощайте — до приятного свидания в следственной камере.

— Господин Ковров! позвольте с вами говорить по чести! — вмешался опять Пахом Борисыч. — Мы взяли за дело двадцать рублей — вам весь хоровод даст в этом свое честное слово! — ведь не подлецы же мы какие! Ведь не станем же мы из-за двадцати каких-нибудь паршивых рублишек лгать вам и марать честь своего хоровода!

— Вот это — дело! это хорошо сказано! Хорошее слово я люблю и всегда готов уважить! — поощрительно заметил Сергей Антоныч.

— Ну, так сообразите же сами, — продолжал чиновник, — сообразите, что, отдавши вам всю выручку, мы все на шишах должны остаться! За что же нашему труду пропадать занапрасно!

— Пусть вот они заплатят! — сказал Ковров, вскинув глаза на Бодлевского.

Бодлевский снял с себя золотые часы — единственное наследство от своего отца, и вместе с оставшимися пятью рублями бросил их на стол перед Ковровым.

Ковров опять вымерил его глазами и улыбнулся.

— Вы — благородный молодой человек, — сказал он, — вашу руку! Я вижу, вы далеко пойдете.

И он с чувством пожал руку граверу.

— Только надобно вам знать на будущее время, — прибавил он дружески-внушительным тоном, — что я в своих сношениях с этим народом никогда не пользуюсь вещами, а всегда заставляю платить контрибуцию чистыми деньгами. Эй, вы! — крикнул он, обращаясь к компании. — Ступайте кто-нибудь с часами к вашему святоше Прову Викулычу —

пусть он мне разменяет их по совести — слышите ли, по совести! — на две трети того, что стоят: вещь хорошая, в магазине надо шестьдесят рублей заплатить. Да пусть приготовит мне ерша в салфетке[66]; я приду к нему в гости, а иначе — плохо будет! — крикнул он вдогонку удалявшемуся Юзичу, который через минуту возвратился и подал Коврову сорок рублей. Ковров пересчитал и положил себе двадцать в карман, а остальные молча, но с джентльменской улыбкой, возвратил Бодлевскому.

— Одно вынимается, а другое кладется на смену, — сказал он, подавая Бодлевскому вид вдовы коллежского асессора. — Теперь старый плут, Пахомка, может и за делопроизводство свободно приниматься.

— Да что ж тут приниматься? — с улыбочкой заметил Пахом Борисыч. — Вид ведь чистенький, дворянский; особых примет, якобы глаза серые, нос умеренный, писать по закону не требуется — значит, и так сойдет полегоньку. А теперь бы мне вот рюмочку, да потом и за трыночку, — заключил он, направляясь к штофу и на пути пригласительно показывая

Гречке колоду карт.

— Мы с вами будем знакомы; мне ваше лицо понравилось, и потому, надеюсь, сделаемся друзьями, — сказал Ковров, вторично пожимая Бодлевскому руку. — А теперь пойдете — выпьем. Вы мне за стаканом расскажете, для чего вам нужен этот пачпорт, а я, за ваш поступок с часами, зла вам не пожелаю. В этом дает вам свое честное слово поручик Сергей Ковров! Я тоже умею быть великодушным! — заключил он, и новые друзья, в сопровождении всей компании, направились в «чистую половину».

* * *

Ночная оргия в «Ершах» находилась уже в полном своем разливе. Был двенадцатый час ночи. Чистая половина вполне представляла собою смешение языков. Грязь ее обстановки как-то сама собою устроилась к этому заповедному часу ночной ершовской жизни. Публику составляли почти исключительно мазурики, покончившие дневные счета, и с горя, общипанные мешками, а наипаче Провом Видульчем, угарно пропивали ему же свои последние гроши. Подле каждого почти сидела

женщина весьма непрезентабельной наружности. Компания мастеровых — все та же, которая и днем тут заседала, — по сию пору разваливалась на прежнем своем месте, за двумя составленными столиками; только почтенные члены ее, что называется, «лыка не вязали», обретаясь в том вялом состоянии, когда человек становится уже «непомнящим родства». Один только угощатель-мальчонка сохранял еще кое-какие бессознательно-нервные признаки усиленной жизненной деятельности. Он, закрыв свои отяжелевшие глаза, как-то конвульсивно размахивал в беспорядке руками, опрокидывая на скатерть пивные бутылки и стаканы, судорожно мотал головою и по временам с большим усилием выкрикивал какие-то дикие, бессмысленные звуки.

Один только Пров Викулыч посреди этого всеобщего хаоса невозмутимо сохранял свою благоразумную степенность за буфетной стойкой, и чем солиднее казался он, тем резче являл собою этот контраст со всем окружающим. А на «квартире», где, при нагорелом сальном огарке, Пахом Борисыч и Гречка

азартно резались в трынку, шла своя обычная деятельность, под бдительным присмотром и руководством вездесущего Прова Викулыча, не перестававшего с известными интервалами юркать в свою дверцу. Там поминутно приходили и уходили его доверенные люди: ювелиры, которым он продавал золотые вещи; портные и скорняки, покупавшие платья и меха, и, наконец, еще один разряд личностей, преимущественно из евреев, промысел которых состоял в том, чтобы некоторые вещи, какие почему-либо неудобно или опасно было оставить в Петербурге, увозить в Москву и в другие города, где уже они сбывались без всякого опасения и за хорошие деньги. Занятия этого последнего рода требуют особенной честности — и, надо отдать справедливость Прову Викулычу, он умел выбирать людей. Впрочем, честность эта обуславливалась и самой выгодой такого промысла, требующего особенной ловкости, предусмотрительности и сноровки; надо знать — где что, когда и как и кому выгодней сбывается и какими куда путями удобнее добираться.

Между тем говор и восклицания перекре-

цивались меж собою по всем углам «чистой половины» и мешались с звуками песни под аккомпанемент торбана и ложек. Эти последние звуки производили два артиста, которые в то время, к одиннадцати часам ночи, постоянно являлись в «Ерши» развлекать своим искусством ночных посетителей. Торбанист — Мосей Маркыч, сухощавый, высокий брюнет, очень серьезного и меланхолического вида, был точно истинный артист: его пальцы с необыкновенною быстротою и художественным тактом бегали по струнам торбана, и когда увлекался он извлекаемыми им звуками, все лицо его как будто преображалось: светлело или туманилось с каждым музыкальным переходом. Не менее художником в душе был и товарищ его, певец и ложечник — Иван Родивоныч, курносый, рябой, приземистый и широкоплечий костромич, в поддевке и красной рубахе. Когда он своим немножко гнусавым тенорком «отхватывал» какую-нибудь чибирячку[67] — все поджилки и суставчики его, словно на пружинках, ходенем ходили: ходили брови и скулы, ходили плечи, и руки, и пальцы, и коротенькие полешки-ноги; хо-

дила, наконец, грудь и даже самый живот, которыми он выделял удивительные штуки, к общему удовольствию столпившихся слушателей. Мы потому так обращаем внимание читателя на Мосея Маркыча с Иваном Родивонычем, что ему еще придется впоследствии встречаться с этими двумя личностями, составляющими необходимое звено трущобной жизни и даже ее светлую сторону, если в ней таковая только возможна.

*Что ты, черен ворон, вьешься
Над моею головой?*

— чувствительно гнусил Иван Родивоныч, а Мосей Маркыч баском подтягивал ему:

*Ты добычи не добьешься:
Я не твой, нет, я не твой!*

*Мое тело здесь не тлеет,
Тлеет лишь одна душа,*

— еще чувствительнее выводил свои верхние нотки Иван Родивоныч:

*И она-то разумейте.
Сколь ты, Маша, хороша!*

— вторил ему басок Мосея Маркыча. Слушатели оставались в полном восторге.

— Здорово, ребята! — гаркнул с авторитетом лихого ротного командира Ковров, молодцевато входя в комнату под руку с Бодлевским.

— Раз, два, ваше-ство! — крикнули в ответ артисты. Почти вся остальная публика, которой хотя бы и по слухам был только известен Сергей Антонович, почтительно привстала с мест и поклонилась.

— Садись, ребята! пей и гуляй не стесняясь! — снова скомандовал Ковров и обратился к музыкантам: — Ершовскую! да живее!

Мосей Маркыч встряхнул своей черной курчавой головой, ударил по струнам, а Иван Родивоныч звякнул ложками и пошел вприпляску:

*Как на гору, значит, еж ползет —
Под горою горемыка идет.
Ты куда же, куда, еж, ползешь?
Ты куда же, горемыка, идешь?
Я иду-ползу на барский двор,
Ко Агафье свет-Ивановне,
К Серафиме Сарафановне.*

И вдруг, на этом последнем стихе, он как-то конвульсивно встряхнулся всем телом, лихо топнул ногами, еще лише подзвякнул ложками — и вся компания, наполнявшая эту комнату, с гиком, свистом и каким-то жиганьем подхватила вслед за ним, стуча и топая каблуками:

*Ах, ерши, ерши, ерши, ерши, ерши — да
Все по четверти ерши, ерши, ерши — да
По полувершку ерши, ерши, ерши — да
Запушу так и держи, держи, держи!*

— Тук-тук, у ворот! — выкрикнул Иван Родивоныч, стараясь перекричать весь этот шум, гам и топот.

— Кто тут? — спросил его Мосей Маркыч.

— Еж!

— Зачем пришел?

— Попить-погулять, с вашим девкам баловать.

— Что принес?

— Грош.

— Ступай прочь: хвост нехорош!

— Тук-тук, у ворот! — повторил опять Иван Родивоныч.

— Кто тут? — своим заученным тоном снова ответил Мосей Маркыч.

— Еж!

— Что принес?

— Пятак!

— Шишки! идешь не так! — порешил торбанист — и ложечник снова пустился вприпляску:

*Загуляла тут ежова голова,
На чужой стороне живучи,
Много горя принимаючи,
Свою участь проклинаячи!*

— Ах, ерши, ерши, ерши — да все по четверти ерши! — подхватила в ответ ему честная компания с новым неистовым гиком и жиганьем, еще сильнее прежнего приходя в какой-то дикий, шальной экстаз от тех ловких, размашистых телодвижений, которыми сопровождались «Ерши» Ивана Родивоныча.

Оргия в этом роде длилась далеко за полночь. Бодлевский, все щупавший свой боковой карман — там ли его паспорт, вышел на-

конец из заведения, словно в каком-то чаду, с крайне расстроенными нервами. Он чувствовал себя как-то тяжело счастливым; его давило и сознание этого счастья, и чувство неизвестности того, что задумала Наташа, и вопрос: как-то еще все это кончится, и убеждение, что первое преступление им уже сделано. Все эти ощущения свинцовым наплывом ложились на его душу, тогда как в ушах его свежо отдавался дикий отзвук ершовской песни.

XII

КЛЮЧИ СТАРОЙ КНЯГИНИ

Было девять часов вечера. Наташа засветила ночную лампу в спальне княгини Чечвинской и осторожно вышла в смежную комнату приготовить ей перед сном успокоительных порошков, которые только что прописал доктор.

Княгиня все еще была очень слаба. Хотя беспамятство ее и миновалось, но по временам с нею начинали делаться истерические припадки; по временам она впадала в забы-

тъе и то нервно вздрагивала, то продолжи- тельно дрожала всем телом. Мысль об ударе, нанесенном ей дочерью, не покидала ее ни на минуту.

Наташа только что сменила с дежурства горничную старухи. Ей предстояло просидеть над больной до полуночи. В доме княгини всегда господствовала тишина, а во время бо- лезни ее эта тишина удесятирилась. Все ходи- ли на цыпочках и говорили шепотом, боясь кашлянуть или звякнуть в буфете чайной ло- жечкой. Дверные звонки были завязаны по- лотенцами, и вся улица перед домом широко и мягко устлана соломой. К девяти часам до- машние уже расходились по своим уголкам и ложились спать; одна только дежурная тихо сидела у изголовья старухи.

Налив полрюмки воды, Наташа всыпала туда порошок и вынула из домашней аптеки маленькую склянку с бледно-желтоватою жидкостью. Это был опиум. Осторожно осмот- ревшись кругом, она медленно приложила к рюмке горлышко скляночки и влила туда сче- том десять капель. «Будет достаточно», — по- думала она и усмехнулась. Лицо ее, как и все-

гда, было холодно-спокойно, и ни малейшая тень какого-либо ощущения не пробежала по нем в эту минуту.

Старуха, приподнятая под спинку Наташиной рукою, поморщась, проглотила поднесенное ей лекарство — и через несколько минут опиум оказал свое действие: время от времени конвульсивно подергивая нижнюю губою, она впала в глубокий и тяжелый сон. Наташа, чутко вытянув шею, неподвижно и внимательно из-за угла подушки глядела на ее лицо, следя за симптомами одурения, и когда убедилась, что сон окончательно сковал ее члены и что старуха вполне уже лишена на несколько часов возможности услышать что-либо и очнуться, она медленно пододвинула ближе к изголовью большое свое кресло и, не сводя спокойно-внимательного взора с ее лица, тихо запустила руку под нижнюю подушку. Подвигаясь вперед с величайшей осторожностью и не более как на несколько линий, рука ее поминутно останавливалась, чуть только оттенок малейшего нервного движения пробежал по лицу старухи, к которому неотводно были прикованы глаза Наташи. Но

старуха спит непробудно — и рука опять на какие-нибудь полвершка тихо подвигается вперед. Прошло уже около получаса, а глаза горничной все еще напряженно вперялись в сонное лицо, и рука все еще подвигалась вперед под подушкой, уклоняясь по временам несколько в стороны и как бы нащупывая там что-то. Выражение Наташи было в высшей степени спокойно и сосредоточенно, но в этом спокойствии в то же время крылось нечто другое, заставлявшее предполагать, что если — не дай бог — очнется как-нибудь в эту минуту старуха, то другая, свободная рука в то же мгновенье задушит ее горло.

Наконец кончики пальцев нащупали там что-то твердое. «Это он!» — подумала Наташа и остановилась перевести дух. Через минуту, ухватясь за свою находку, рука ее так же медленно и осторожно стала подвигаться назад.

Прошло еще с добрых десять минут, когда, наконец, Наташа увидала маленькую мошонку из разноцветного сафьяна, какими обыкновенно торгует город Торжок наряду с другими своими сафьяновыми и золотошвейными изделиями. В этой мошонке у старой княгини

хранились два ключа, с которыми она никогда не расставалась: днем носила в кармане, а ночью клала к себе под подушку. Один ключ — обыкновенный — был от ее комода, другой — изящный, маленький — от ее запovedной шкатулки.

Около часу спустя ключи эти тем же порядком и с тою же осторожностью были положены на свое обычное место, под подушку княгини.

Наташа тщательно вытерла рюмку своим носовым платком, чтобы в ней не оставалось ни малейшего запаха опиума, и спокойно, как и всегда, досидела часы своего дежурства.

XIII

ОТОМСТИЛА

Старуха проснулась на другой день часу в первом. Доктор, заезжавший уже два раза утром, был даже доволен столь продолжительным сном, которого больная почти не знала со времени полученного ею удара и который, по его мнению, должен был произвести благодетельный перелом болезни.

Княгиня издавна уже сделала себе привычку — переглядывать свои финансовые документы и поверять приходо-расходные книги. Всесильная привычка, образуя собою в человеке нечто органическое, не покидала ее и в болезни; по крайней мере, в то время, когда сознание и спокойствие возвращались к ней, она выдавала ключ от комода, приказывала подать себе заветную шкатулку и затем, выслав дежурную вон из комнаты, предавалась наедине своему любимому занятию, превратившемуся теперь в нечто весьма близкое к детской забаве. Она вынимала свои банковые билеты, именные и безыменные, и — то лю-

буясь их цветными рисунками, то перекладывая с места на место — щупала толщину пачек, пересчитывала их и несколько тысяч наличных денег, на всякий случай лежавших дома, и, наконец, бережно, в порядке, опять укладывала все это в шкатулку. Горничная, возвращаясь в спальню по ее звонку, ставила шкатулку на старое место — и княгиня, после этой забавы, чувствовала себя еще на некоторое время спокойной и довольной.

Дежурные уже успели достаточно познакомиться с этой прихотью, и потому каждодневная подача шкатулки казалась им совершенно в порядке вещей, делом заведенного обихода.

Приняв какое-то лекарство и обтерев лицо и руки полотенцем, смоченным в каком-то освежающем винегре, княгиня приказала прочесть ей несколько молитв с той главой евангелия, которая следовала в нынешний день, и затем приняла визит своего сына. Со времени ее болезни, то есть с тех пор как была сделана духовная, утверждающая его единое наследие, он поставил себе не совсем-то всею обязанностью являться к матери каж-

дое утро минут на пять, причем, ни разу не заводя разговора о сестре, осведомлялся только о здоровье, являл себя почтительным сыном, и, в заключение, нежно, со вздохом сокрушения поцеловав руку, уносился на рысаке поторчать в приемной какой-нибудь танцовщицы или в ресторан.

По уезде сына старуха приказала достать себе шкатулку и, по обыкновению, выслала вон из спальни дежурную женщину.

Это была великолепная шкатулка из черного дерева с инкрустацией изящнейшей отделки.

Ключ щелкнул в замке, пружинная крышка отскочила — и глаза княгини остановились неподвижно, пораженные недоумением и ужасом.

Двадцати четырех тысяч наличными деньгами, которые она сама своими руками положила вчера поверх прочих бумаг, сегодня в шкатулке не было. Всех безыменных банковских билетов тоже не было. Билеты на имя дочери, княжны Анны, тоже исчезли. Оставались только именные — старухи и сына, да кое-какие векселя. На место всего пропавшего

была положена записка с надписью:

*«a Madame
Madame la princesse Tchetchevinsky»*[68].

Пальцы старой княгини так трепетали, что долгое время она не могла развернуть эту записку. Потерянные глаза ее дико бегали, как у помешанной. Наконец ей как-то удалось-таки развернуть почтовый листок — и она стала читать:

*«Вы меня прокляли, прогнали и несправедливо лишили наследства. Я у вас украду мои деньги. Можете доносить полиции; но в то время, когда вы прочтете эту записку — ни меня, ни того, кто по моему поручению сделал покражу, уже не будет в Петербурге.
Ваша дочь
княжна Анна Чечевинская».*

У старухи руки не опустились, но, как нечто совсем ей не принадлежащее, безжизненно брякнулись на ее колени. Бегающие, сумасшедшие глаза остановились, и в них вдруг появилось глубокомысленное выражение. Княгиня делала страшное, нечеловеческое в ее положении, усилие, чтобы собрать

все присутствие духа и владеть собою. Один только слабый, глухой стон вырвался из ее груди, да зубы скрежетали. Она стала искать глазами огня, но лампа была потушена: матовый, синеватый просвет дня, сквозь опущенные гардины, достаточно освещал комнату. Тогда старуха диким, неровным движением, напомиравшим подобные же движения перепуганных обезьян, скомкала это письмо рукою, быстро положила его в рот и конвульсивно, с усилием двигая челюстями, стала жевать его, стараясь проглотить поскорее.

Минута — и письма уже не существовало. Княгиня заперла шкатулку и позвонила дежурную. Отдавши ей спокойным голосом обычное приказание, она имела еще достаточно силы, приподнявшись на локте, глядеть, как та запирала комод, и потом положить к себе под подушку на всегдашнее место торжковскую мошонку с ключами. После этого она опять приказала ей выйти.

Когда спустя два часа, приехавший в третий раз доктор захотел, наконец, поглядеть больную и вошел в ее спальню — там уже лежал только вытянувшийся, окоченелый труп

старухи.

Дочь княгини Чечевинской, последняя отрасль древнего и никогда ничем не запятнанного рода — распутная женщина и воровка!

Наташа отомстила.

XIV

БЛИЖАЙШИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПОКРАЖИ

В тот же самый день, утром к девяти часам, в коммерческий банк хорошо одетая дама представила номера нескольких безыменных билетов. Одновременно с нею молодой человек, тоже весьма изящно одетый, представил билеты именные, на обороте которых был сделан рукою владельницы передаточный бланк: «Княжна Анна Чечевинская». По сличении с подписью того же самого имени в банковых книгах бланк признан действительным — надпись делала одна и та же рука.

К двенадцати часам банковский казначей хорошо одетой даме выдал полтора ста тысяч наличными деньгами, а изящному молодому человеку — семьдесят. Дама подписалась

французской подданной Терезой Доре, а молодой человек — костромским купеческим сыном Иваном Афанасьевым.

В тот же самый день, только несколько позднее, а именно в начале второго часа, по парголовской дороге легкой извозчик вез двух седоков: скромно одетую молодую женщину и скромно одетого молодого человека. К вечеру эти же самые путешественники ехали уже в чухонской ратке по каменистой, горной финляндской дороге, в направлении к городу Або. Вез их вольнонаемный финский крестьянин из-под Парголова, промышлявший извозом.

Через четыре дня хоронили в Невском монастыре старую княгиню Чечевинскую. Провожающих было очень много и между прочими m-me Шипонина с тремя грациями. Все с несколько таинственным любопытством перешептывались между собою. В кругу дам особенно много шептались с тремя грациями. Князь Шадурский тоже присутствовал на похоронах, только без жены — m-me la princesse была нездорова — и тоже с любопытством расспрашивал и шептался. Хоронил старуху

молодой сын ее, все старавшийся сделать официально-печальную физиономию и все забывавший поминутно про это старание.

Княжны Анны на похоронах не было. Когда одна из трех граций с благородным участием спросила молодого Чечевинского, почему ее нет, — тот неопределенно и кратко ответил, что сестра очень больна. Все почему-то ждали на похоронах какого-то скандала; но скандала никакого не было.

Возвратясь из монастыря, молодой князек первым делом открыл заветную шкатулку, которую до этого времени он видал только мельком, и то очень редко. Он ожидал найти там гораздо более, но нашел лишь полтора-два тысяч: сто на имя покойницы, и пятьдесят — на свое. Эти деньги составляли личное ее достояние, полученное в приданое. Молодой князек сделал кисленькую мину — этих денег могло для него хватить года на три, не более. Никто никогда не знал при жизни старухи, до какой именно цифры простирается ее состояние, и потому молодому князьку и в голову даже не пришло — не было ли у нее еще каких-нибудь денег? В счетные же ее книги он,

по безалаберной ветрености своей, даже и не заглянул, считая их сухой материей, где только записывалось со всей аккуратностью, сколько куда истрачено да какие проценты получены.

В этот же день дворник одного из огромных и грязных домов на Вознесенском проспекте снес в квартал отметку, в которой было прописано, что польский уроженец Казимир Бодлевский выбыл за город; а управляющий домом покойной княгини Чечевинской объявил полиции, что крепостная девица Наталья Павлова пропала без вести, о чем он, управляющий, по прошествии трехдневного срока, и доводит до надлежащего сведения.

А в это время уже по Ботническому заливу легко скользило маленькое суденышко некоего финна, отважного мореходца, промышлявшего под рукой невинною контрабандой. Финн стоял на корме, а молодой сынишка его заправлял парусами. На палубе сидели молодой человек и молодая женщина. На груди у женщины висел спрятанный под сорочкой мешочек, хранивший в себе двести сорок четыре тысячи наличными деньгами, а в кар-

манах у той и у другого было по паре заряженных пистолетов — на всякий случай, ради предосторожности против добрых людей. Имевшиеся же при них паспорта гласили, что женщина была дворянка, вдова коллежского асессора Марья Солонцова, а мужчина — польский уроженец Казимир Бодлевский.

Судно прорезывало Ботнический залив по направлению к шведскому берегу.

XV

ГЕНЕРАЛЬША ФОН ШПИЛЬЦЕ

Мы должны будем теперь вернуться к самому началу нашего рассказа, то есть к тому именно дню, в утро которого семейство князя Шадурского посетила божья милость в виде подкинутого младенца.

Выйдя из будуара жены, князь тотчас же приказал закладывать коляску, оделся и поехал к генеральше фон Шпильце. Генеральша фон Шпильце жила в Морской на одном из лучших ее мест. Она занимала большую, поместительную квартиру с немножко стран-

ным расположением и характером комнат. Тут были и зала с колоннами, и гостиная с изящнейшим камином, и великолепная лестница со статуями; и в то же время другая, тоже чистая лестница, только попроще, без швейцара, цветов и статуй, которая вела с другого подъезда в ту же самую квартиру. Только с этой уже стороны квартира генеральши фон Шпильце отличалась не изящно-аристократическим, но удобно-индустриальным характером — и именно была приспособлена к тем условиям, каких требуют так называемые *chambres garnies*[69]: темная прихожая, темный коридор, и не прямой коридор, а какой-то изломанный который шел разными закоулками и зигзагами. Направо и налево по бокам этого коридора помещались разные двери, которые вели каждая в отдельную комнату, очень изящно меблированную разными драпри и весьма покойною, комфортабельною, мягкой мебелью. Каждая из них могла назваться не то кабинетом, не то будуаром, не то гостиной и вообще являла собою какой-то смешанный, но очень милый, удобный и привлекательный характер. На всем

лежала печать роскоши, и опять-таки роскоши не аристократически-показной, а интимно-комфортабельной. Можно было бы подумать, что все это отдается внаймы разным лицам как обыкновенные *chambres garnies*, а между тем жильцов тут никогда не было; комнаты, очень тщательно прибиравшиеся каждодневно прислугою, оставались нежилыми, ибо сама генеральша занимала половину аристократическую. На этой последней половине господствовала прислуга мужская, в ливрейных или черных фраках; вторая же половина оставалась под присмотром исключительно женщин. Три или четыре горничные, весьма милостивые, постоянно молчаливые, скромные и опрятно одетые в простые холстинковые платья, имели обязанностью прислуживать на этом отделении и содержать его в постоянной чистоте и опрятности. Генеральша самолично каждое утро делала осмотр всей своей квартиры, наблюдая, все ли в порядке. Она паче всего любила порядок. Прислуга ее, необыкновенно ловко выдрессированная, являла собою одну только несколько странную особенность: вся она, начиная от

швейцара, отставного усача-гвардейца, наряженного в ливрею, и кончая скромными горничными, при каждом посещении постороннего человека так пронырливо заглядывала ему в глаза, как словно бы прицеливалась, нельзя ли сорвать с него что-нибудь на чай. Вероятно, ее издавна приучили к этому сами же знакомые генеральши фон Шпильце.

Сама генеральша — особа лет тридцати пяти. Зовут ее — Амалия Потаповна. Это очень полная, дородная дама, среднего роста, одетая всегда не иначе, как в шелковое, шумящее, широкое платье. Лицо ее носит чуть заметные следы очень тонких косметик, а черты этого лица являют какой-то смешанный характер. Рыжие немецкие волосы, карие, жирные глаза в толстых веках, с еврейским прорезом, несколько вздернутый французский нос, крупные русские губы и слегка калмыцкие скулы — все это очень неправильное, хотя и характерное в отдельности, в целом являло собою отчасти соединение спеси с пронырливым лукавством и в то же время не было лишено — не то что красоты, а так себе, известного рода приятностей и привлекатель-

ности, которые иногда очень ценят некоторые любители. Генеральша говорила на нескольких языках, но на всех дурно и с каким-то особенным, не совсем приятным акцентом, так что из разговора ее выходил какой-то винегрет, в котором, подобно кускам дичи и говядины, огурцов и картофеля, свеклы и прочей винегретной приправы, мешались между собою фразы и слова французские, немецкие и русские с еврейским оттенком. Кто и что она, за каким генералом была замужем и когда, в какое именно время была — того никто не знал; знали только, что она — генеральша фон Шпильце, и под этим именем испокон веку была всем известна. Как и когда и откуда она появилась на петербургском горизонте — это также для всех была темна вода во облацех; но, казалось, как будто тоже испокон веку она пребывала в сем городе. Некоторые старожилы передавали, и то как темные слухи, что в начале двадцатых годов, то есть во времена своей первой цветущей юности, она пользовалась покровительством одной весьма важной и значительной особы, через что приобрела тогда, вместе с ве-

сом и влиянием, весьма большое состояние. Но что это была за особа, что за вес и влияние и каково состояние, благоприобретенное ею, — об этом никто и никогда не мог дать ясного, положительного ответа. Одни утверждали, будто генеральша фон Шпильце родом эльзасская француженка; другие говорили, что она рижская немка, а не то и чухонка; третьи — что она варшавская полька; четвертые — подозревали в ней житомирскую еврейку; пятые — нежинскую гречанку или жевскую швейцарку; шестые, наконец, выдавали за достоверный слух, что она, во-первых, дочь какого-то киргиз-кайсацкого хана, а во-вторых — симбирская дворянка. Как уж все это вязалось между собою и насколько присутствовала тут истина — сие только одному господу богу известно! Выходила же из всего этого загадочная, но всем известная личность, называемая генеральшей Амалией Потаповной фон Шпильце. И действительно, будучи не то немка, не то француженка, не то еврейка, не то, наконец, русская — она соединяла в своей особе всего понемножку. Даже самое имя ее было какое-то смешанное: Ама-

лия — и вдруг Потаповна! Казалось, как будто коренные представители всех национальностей собрались между собою и каждый бросил свою посильную лепту в общую сокровищницу, из которой и произрос столь замечательный фрукт, как генеральша фон Шпильце.

У ней была бездна знакомых. Серебряная плоская ваза, стоявшая на изящном мозаичном столике в ее гостиной, вечно была переполнена всевозможными визитными карточками. Тут мешались между собою карточки мужские и женские, мешались титулованные имена известнейших фамилий и сильных тузов мира сего — с тузами откупной, золото-промышленной и вообще финансовой колоды; карточка великосветской Дианы — с карточкой известнейшей блестящей лоретки; имена художников и артистов — с именами сынов Феиды и Марса; фамилия строгого, нравственного отца семейства — с фамилией какой-нибудь темной личности, какого-нибудь известного шулера, афериста, шарлатана или *chevalier d'industrie*[70]. Словом, весь свет знал генеральшу фон Шпильце, и она весь

свет знала.

Но приемных дней у нее не было. Каждый, у кого только имелась до нее какая-либо надобность, должен был делать ей визит и писать письмо, в котором испрашивал себе свидание. Тогда генеральша назначала особую аудиенцию, на которой и можно было изложить ей свою надобность. Вероятно, этих различных надобностей было достаточное количество, потому что генеральше приходилось давать ежедневно весьма много аудиенций. Иногда случалось так, что она принимала с девяти часов утра до часу ночи — и всегда посетители один за другим сидели в ее приемной, приезжая каждый в заранее назначенный самую генеральшею час и ожидая, пока ливрейный лакей раскроет дверь и скажет: «Пожалуйста-с!» Иногда же случалось и так, что посетитель, входивший с парадного подъезда, по лестнице со статуями, выходил из подъезда непарадного, дабы избежать какой-нибудь отчасти неловкой или не совсем приятной встречи, что всегда очень обстоятельно умела предупреждать генеральша фон Шпильце. А для этого, в том случае, если у нее

находилась уже с визитом какая-нибудь особа, то о вновь прибывшем посетителе докладывал не лакей, как обыкновенно, а собственная горничная генеральши, которая подходила к ней, будто что-нибудь по хозяйству шептала ей на ухо. Генеральша, подумав и быстро сообразив, тоже шепотом отдавала горничной свои инструкции, которые та уже и сообщала официальному лакею. Круг ее деятельности был очень обширен и весьма разнообразен; она всегда была занята и потому очень дорожила своим временем, избегая на аудиенциях лишних, посторонних слов и давая самые ясные и короткие ответы. У нее был великолепный повар, а в буфете всегда имелся большой запас самых тонких и дорогих вин, но обедов или ужинов генеральша никогда не давала и открытых вечеров не делала. У нее бывали иногда (если предстояла необходимость) вечера интимные, маленькие, на которых присутствовали две-три, много четыре особы, которые сами, по своим надобностям, пожелали бы быть на таком вечере, уже заранее условясь с хозяйкою насчет избранного дня и часа. На больших вечерах и балах боль-

шого света генеральша никогда не показывалась; но инкогнито, в простые дни и вечера, карета ее очень часто останавливалась иногда у подъезда какой-нибудь великосветской львицы или строгой Дианы, недоступной и целомудренно-гордой в блеске общественной обстановки. В это время обыкновенно отдавалось приказание никого не принимать, что и было исполняемо швейцаром, весьма строго до тех пор, пока не кончался интимный визит. А если бы кто-либо из непринятых попытствовал узнать, чей это экипаж стоит у подъезда, то заранее выдрессированный кучер генеральши отвечал лаконически: «Господский», или, еще проще, ровно ничего не отвечая, посвистывал да глазел себе в сторону.

Генеральша была особа, в своем роде, весьма многозначительная. Ее все побаивались, показывали перед нею знаки глубокого уважения, и все почти, хоть раз в своей жизни, чувствовали в ней настоящую надобность. Причина довольно простая: генеральша знала все тайны света, да и не одного только света, — тайны, какого бы рода они ни

были, и мистерии целого города были известны ей в совершенстве. Разные семейные отношения, дела между мужем и женою, приязни и неприязни, стремления и намерения, образ мыслей и убеждения, аферы и проделки и, наконец, вся скандальная потаенная хроника Петербурга — вот те богатства, которыми обладала генеральша. Но при этом, надобно заметить, она решительно была лишена известной женской добродетели, называемой слабостью язычка. Сплетни или болтовни бесцельной, беспричинной никто никогда не слышал из уст Амалии Потаповны: она знала-ведала про себя и никому не открывала своих сведений. Другое дело, если кому-либо представлялась настоящая нужда в этих сведениях, тогда генеральша могла кое-что сообщить или разузнать, разыскать, но и то не иначе, как при сильных побудительных причинах, на которые бы могла рассчитывать на верное.

Какие нити, какие пружины употребляла она для всего этого, читатель узнает впоследствии, когда он более интимным образом познакомится с различными специальными от-

раслями многосторонней деятельности генеральши фон Шпильце.

XVI

РЫЦАРЬ БЕЗ СТРАХА И УПРЕКА

Шадурский давно уже, еще до женитьбы своей, был знаком с Амалией Потаповной и неоднократно имел нужду в ее аудиенциях. Она даже очень благоволила к нему и выражалась о нем не иначе, как «князь Шатурски — *das ist vrai gentilhomme*»[71]. Написав на своей визитной карточке, что имеет самую крайнюю и безотлагательную нужду, он отправил ее с швейцаром наверх к генеральше и минут через десять был принят.

— Вообразите, ко мне нынче утром подкинули девочку! — начал он, усаживаясь подле нее, как добрый и старый знакомый.

Амалия Потаповна ответ на это заменила кивком головы, который словно бы выражал собою: «Так-с!..»

— Я очень не рад такому сюрпризу, — продолжал он.

— А то ж объявить до полиции, — предло-

жила ему генеральша.

— *Fi done!*[72] — махнул рукою Шадурский. — Рад, не рад, а делать нечего: подкинули, так уж и позаботься о ребенке.

— О, ja... aber das zeugt ihr edles Herz[73], — похвалила Амалия Потаповна, изъявляя ему знак благоволения рукою. — А то ж я вам буду находить *une bonne nourrice pour cet enfant, s'il vous plait, monsieur?*[74] * — предложила она.

— Нет, не то! Я бы вас попросил о другом, — возразил Шадурский.

— *Ganz zu ihren Diensten, ganz! ganz!*[75] — любезно поклонилась генеральша, которая, благоволя к Шадурскому «за его изящные манеры», иногда для него даже время свое на лишние слова расточала.

— Я его хочу отдать на воспитание в какие-нибудь хорошие руки и буду просить вас — позаботиться об этом, — предложил он.

— А зачем нельзя? Хоть в минут! Не! *cela est tout a fait possible pour moi!*[76] — согласилась генеральша.

— Чем скорее, тем лучше!

— И то правда! А какие кондиции ваши? —

спросила она, принимая деловой тон, который в миг, и уж как-то невольно, сам собою появлялся у нее, чуть только разговор начинал касаться денег, условий и т.п.

— Я вам дам единовременно десять тысяч, — говорил Шадурский, — распорядитесь ими для этого ребенка, как будет лучше, — уж это вы сами знаете; а мне — чтоб уж больше никогда никаких забот и беспокойств не знать с ним, хоть и не слышать о нем вовсе; десять тысяч, надеюсь, это слишком достаточно и даже роскошно для какого-нибудь подкидыша.

— O, ja! certainement[77], — согласилась фон Шпильце. — Но скажите, vous ne soupconnez personne?[78] * — с подозрительной расстановкой добавила она.

— Personne, madame[79], — ответил, пожав плечами, Шадурский.

— Und haben sie nichts gehort?[80]

— То есть, насчет чего это? — переспросил он.

— Un petit scandale, qui est arrive dans le grand monde...[81]

— Какой скандал? — притворился Шадур-

ский, начав с первых же слов догадываться, в какую сторону клонит генеральша, в намерении выпытать от него что-нибудь подходящее.

— Ах, так вы не слышали? — равнодушно и рассеянно проговорила она.

— Ничего не слышал, а что?

— Нет, а то ж так!

— Однако?

— Non, commerage![82] и говорить не стоит! — поспешила замять генеральша, видя, что он ничего еще не знает, и опасаясь, как бы не обмолвиться чем-нибудь лишним. «Пусть от других сплетни узнают, лишь бы от меня без нужды и без цели ничто не вышло», — было постоянным ее правилом.

Шадурский, оставшийся не мало доволен тем, что она, по-видимому, не имеет на него никаких подозрений, в свою очередь тоже поспешил отклониться от дальнейшего разговора насчет скандала.

— Послушайте, Амалия Потаповна! по старой дружбе у меня к вам будет еще одна маленькая просьба! — сказал он с тем решительным выражением в лице и в голосе, с ка-

ким обыкновенно говорит человек, у которого долгое время не хватало духу начать высказывать что-либо затруднительное или неловкое и которого, наконец, по пересилении самого себя, что называется, прорвало.

— Дело для меня очень близкое и интересное, — добавил он, стараясь говорить и небрежнее и равнодушнее, чтобы смаскировать этим то маленькое волнение, которое заставило посильнее забиться его сердце от некоторой щекотливости предстоящей просьбы.

— Н-ну? — протянула генеральша, вытянув вперед свою мордочку.

— Я бы попросил вас разузнать кое-что... по секрету...

— Ага!.. Je comprend... je comprend bien sa [83], — с живостью подмигнула ему Амалия Потаповна.

— Нет... да вы что думаете? — спросил Шадурский, который искал как бы половчее объяснить ей свое дело.

— Eine dame, glaube ich? jung und charmant? [84] — опять подмигнула генеральша.

— Нет, не совсем так... Мне бы — вот види-

те ли — хотелось бы знать... как вам сказать-то это?.. хотелось бы знать, кто интересовал мою жену в нынешнюю зиму, — выговорил наконец Шадурский, стараясь принужденными улыбками смягчить смысл своей фразы и потупясь, чтобы не встретиться с взглядом генеральши.

Эта последняя, действительно, глядела на него во все свои толстые, изумленные глаза.

— Как!.. — воскликнула она, — *aber sie selbst?*[85] такой прекрасный, красивый мужчина! *Est-ce possible?*[86] *

Шадурский покраснел и еще более потупился. Ему окончательно стало неловко. Он закусил губу и пожал плечами.

— *Non! vous-vous trompez, monsieur!*[87] — сказала она решительным и разубеждающим тоном. — Я ж ничего не знаю, а я бы все знала, кабы что было... *Et dans le monde on n'a jamais parle de cela*[88].

— Да в свете-то, может, и точно никто не знает, — согласился Шадурский, — но... я имею некоторые причины предполагать...

— Да! а то ж я и забыла! Ведь вас не было по зиме! — домекнулась m-me фон Шпильце.

— Ну, вот то-то же и есть!.. Я не то чтобы из ревности... а так собственно...

— Ah, oui, monsieur est un peu curieux! ich verstehe![89] — любезно поддакнула генеральша.

— Ну, понятное дело!.. — подхватил Шадурский. — Спросить ее самое, согласитесь, не совсем-то ловко: может быть, я и ошибаюсь; а между тем хотелось бы знать, кто... Дело прошлое, — продолжал он, как бы оправдывая не то себя, не то супругу, — дело прошлое — и я нисколько не претендую... в наш век... тем более Жорж Занд... Вы понимаете!

— N-nu ja-a!..[90] понимай!

— Тем более, что и сам я не безгрешен бывал иногда, — говорил князь, стараясь улыбаться и думая отговорками своими смягчить дело настоящей, голой истины — и перед генеральшей (как будто ее можно было провести этими смягчениями!), и перед своим собственным самолюбием. Его уж давно-таки помучивал вопрос: кто любовник жены? чем прельстил он ее — умом ли, красотой или положением? и не разыгрывает ли он, муж, перед ним комической роли благодаря незна-

нию своему? Впрочем, надо прибавить, что если бы в этом любовнике нашел он человека, равного ему по положению в свете, то смотрел бы сквозь пальцы на отношения жены, позволяя себе самому гласно делать втрое. Солеe для спасения своего самолюбия, и только потребовал бы, чтобы этот избранный не скомпрометировал перед обществом честь его имени, если не желает подставить лоб свой под дуло пистолета. Но, в то же время, нельзя не прибавить, что ревность оскорбленного самолюбия по временам испускала самовольные и — ох! — какие болезненные крики в его сердце, — крики, которые он старался заглушать, обманывая это же самое самолюбие тем, будто ему решительно все равно, что бы ни делала супруга, и что он почитает себя неизмеримо выше всего окружающего мира и потому смотрит на все презрительными глазами.

— Только — ваше честное слово, что это умрет между нами! — прибавил Шадурский, побаивавшийся, чтобы генеральша как-нибудь при случае, под рукой, не сболтнула кому о его просьбе и о том обстоятельстве, кото-

рое ее вызвало.

Генеральша даже обиделась при этом. И в самом деле, зачем ей болтать в ущерб своим собственным интересам?

— Я надеюсь на вас, по старой нашей дружбе! Вы узнаете обо всем подробнее и обстоятельнее, понимаете? — сказал он заискивающим и ласковым тоном.

Генеральша покивала головой и с нежной сентиментальностью посмотрела на Шадурского.

— O, si jetais votre femme![91] — вымолвила она со вздохом.

— Так что ж бы? — спросил князь, видя, что она приостановилась и недоговаривает.

— Je vous aurais aime! Je vous serais fidele... [92] — томно и тихо проговорила она, покачивая в лад головою, и в заключение опять вздохнула.

Шадурский молча поклонился; но вдруг, сообразив, что эта струнка может быть ему также полезна, вскинул на генеральшу такой взгляд, который очень красноречиво говорил: «А почему знать? быть может, оно еще и будет так!»

Генеральша очень скромно, но кокетливо улыбнулась на это...

Для читателя сомневающегося, — если бы такой нашелся, — мы не можем от себя прибавить, что Шадурский не был первый, да не он и последний, а много, очень много весьма солидных мужей не раз обращались к генеральше с подобными поручениями.

— Итак, вы постарайтесь же обделать; я буду очень, очень благодарен, — сказал князь, подымаясь и глядя на свои часы. — А что касается до подкидыша — так горничная жены привезет его к вам, в моей карете, часа через полтора.

— S'gu-ut![93] — протянула Амалия Потаповна.

— Сегодня же я и пакет с деньгами привезу вам! — присовокупил Шадурский, дружески пожимая ее мягкие, потные руки.

— Sehr gut! — повторила генеральша. — Mais envoyez seulement la voiture nach andren [94] подъезд, — присовокупила она с улыбкой, подмигнув ему глазками, как человеку, которому таинственная роль этого «andren» [95] * подъезда была уже давно и очень корот-

ко знакома.

«Теперь бы надо к ней заехать; успокоить там, что ли... Она писала, а я не собрался еще ни разу, — размышлял сам с собою Шадурский, медленно проходя мимо лестничных статуй. — Неприятно, черт возьми; ну, да один-то раз куда ни шло! Только то скверно, что экипаж открытый: неравно увидят еще как-нибудь... Разве во двор приказать ему там въехать?» — думал он, садясь в коляску и справляясь по письму княжны Анны об адресе ее тайного приюта.

Его сиятельство, тридцатисемилетний муж и соблазнитель, сей гордый, демонический Чайльд Гарольд российский — стыдно сказать! — чувствовал теперь какой-то школьнический, заячий страх за свою романтическую проделку.

На Невском проспекте с ним поровнялся один из известнейших вестовщиков большого света и, грациозно послав ему рукою воздушный поцелуй, поехал, не отставая, рядом.

— Une grande nouvelle![96] — кричал он Шадурскому. — Вы не слышали?

— Что такое?

— Как! Вы спрашиваете, что такое? Вы ничего не слыхали о скандале?

— Ничего...

— Мой бог! Об этом говорит уже весь свет... Это — вещь небывалая!..

— Что же такое?

— *La jeune princesse Tchetchevinsky*...[97]

— Ну?

Сплетник, вместо ответа, сделал руками несколько пантомимных, очень выразительных и понятных жестов.

— Что за вздор! этого быть не может! — с улыбкой возразил Шадурский, хотя сердчишко его и сильно-таки екнуло при этой пантомиме.

— *Mais... comment*[98] быть не может?! Говорят, будто есть особы, которые читали даже письмо ее к своей матери, и предерзкое, пренепочтительное письмо! *Pauvre mere! elle est bien malade pour le moment!*[99] * Это ее убило!

— Кого же обвиняют в этом? — спросил Шадурский.

— *Voila une question!*[100] Конечно, княжну! Помилуйте! Ведь это кладет пятно не только на семейство, *mais... meme sur toute la*

noblesse! [101] [102] Это... это une femme tout-à-fait perdue! *** О ней иначе и не говорят, как с презрением; с ней никто более не знаком, ее принимать не станут!..

— Oui, si cela est vrai... [103] конечно, так и следует! — с пуристическим достоинством римской матроны проговорил Шадурский, трусивший в душе от всех этих слухов и убежденный в эту минуту, что действительно так следует. — Et qui suppose-t-on être son amant? [104] * — спросил он.

— Вот в том-то и загадка, что не знают. Во всяком случае, это — подлец! — заключил благородный сплетник.

— О, без сомнения! — подтвердил Шадурский. А сердчишко его снова сжалось и екнуло при этом роковом слове.

— Но у нее есть брат; он, вероятно, разыщет. C'est une affaire d'honneur [105], — продолжал сплетник.

— Что же, дуэль?

— Или дуэль, или пощечина!

Шадурский даже побледнел немного, несмотря на свое образцовое умение и привычку владеть собою и скрывать свои настоя-

щие чувства.

— Du reste adieu![106] Мне в Караванную! Еду к баронессе Дункельт — узнать, что там говорят об этом, — заключил сплетник и, послав Шадурскому еще один воздушный поцелуй, скрылся за поворотом на Караванную улицу.

— Пошел домой! — закричал между тем этот своему кучеру.

Кучер, получивший за пять минут перед тем приказание ехать в Свечной переулок, остался очень изумлен столь неожиданным поворотом дела и, не вполне на сей раз доверяя своему слуху, обратил вопросительную мину к своему патрону.

— Пошел домой, говорю тебе, скотина! — закричал этот последний, вероятно торопясь сорвать на кучере бессильный гнев свой за слово «подлец», произнесенное сплетником.

Возница тотчас же повернул лошадей в обратную сторону.

«Вот так-то лучше будет», — подумал Шадурский, и через несколько минут коляска остановилась перед подъездом его собственного дома.

— Можешь откладывать: я больше никуда не поеду сегодня! — обратился он к кучеру, и скрылся в дверях не без внутреннего удовольствия за счастливую встречу и за все предыдущее поведение с княжной, которое отклонило всякое подозрение от его ничем не запятнанной личности.

XVII

ДВЕ ПОЩЕЧИНЫ

Шадурский прямо прошел на половину жены. Он хотел сообщить ей, что участь подкидыша обеспечена, полагая в то же время найти у нее своего управляющего, г. Морденко, который ежедневно являлся с отчетами и докладами — утром, в девять часов, к князю, а в первом или в начале второго — к самой княгине. Она с некоторого времени вообще стала интересоваться делами. Шадурский намеревался взять у Морденко десять тысяч, обещанные им генеральше.

Быстрыми и неслышными в мягких коврах шагами подошел он к дверям будуара, распахнул одну половину и вдруг окаменел

на минуту, пораженный странным и неожиданным дивом.

Супруга его лежала в объятиях г.Морденко.

Князь, не двигаясь с места и не спуская с них холодного взора, в котором тускло засвечивалось какое-то ледяное бешенство, стал натягивать и застегивать на пуговку свою левую перчатку, которую, подходя к будуару, уже стянул было до половины руки.

Княгиня, пораженная еще более, чем муж, в первую минуту дрожала всем телом, припав к диванной подушке и закрыв лицо своими бледными тонкими руками. Морденко, ошалелый и немой от страха, глядел во все глаза на это, по-видимому хладнокровное, застегивание перчатки, тогда как рука его машинально и неудачно искала на краю стола принесенные к докладу бумаги. Это был высокий, несколько сутуловатый и сангвинически худощавый мужчина лет сорока, породистый брюнет, с бронзово-бледным, энергическим лицом и глубокими темно-кариими глазами.

Застегнув, наконец, свою пуговку, князь подошел к нему медленными шагами и с размаху дал сильную и звонкую пощечину.

— Вон, животное!.. — тихо прошипел он, скрежеща зубами. — Сегодня же сдать все дела, и чтобы к вечеру духу твоего тут не было!.. Вон!

Уничтоженный, убитый и перетрусивший Морденко отыскал, наконец, свои бумаги, почтительно согнулся и на цыпочках вышел из будуара.

Князь затворил за ним двери.

— Хоть бы это-то из предосторожности сделать догадались! — укоризненно посоветовал он, кидая на жену убийственно-презрительный взгляд.

Княгиня начала уже истерически, но сдержанно и глухо рыдать, не отрываясь от своей подушки.

— С кем?!. с хамом... с холуем... с лакеем!.. И это — русская аристократка! — шипел он задыхающимся голосом.

На этих словах, видно уж чересчур задетая за живое, княгиня словно очнулась и, стремительно вскочив со своего дивана, ринулась к мужу.

— Tu vois par la, miserable, ce que tu as fait de ta femme! Tu es un lache!![107] — злобно

прорыдала она, с наглым трагизмом потрясая руками своими в самом кратчайшем расстоянии от физиономии князя. Это была единственная и как будто оправдательная мысль, на какую только могла она теперь найтись.

Тому это показалось уж чересчур отвратительно. Он позабыл себя от бешенства, и вдруг, в ответ на укоризненное восклицание княгини, раздался хлесткий звук новой пощечины.

Княгиня взвизгнула и навзничь грохнулась на пол...

Шадурский с минуту постоял над нею, молча и холодно глядя на ее рыдания, и тихо вышел из будуара.

Он уже успел овладеть собою.

— Сними с меня эту перчатку! — спокойно и твердо сказал он лакею, войдя в кабинет.

Тот аккуратно исполнил это экстраординарное приказание.

— Брось ее в огонь! — сказал он еще более равнодушным тоном — и лайка тотчас же затлелась в пламени камина.

Князь чувствовал, что он «разыграл хорошо», что он должен быть необыкновенно эф-

фектен и величествен в эту минуту.

Жалкий человечешко!.. он рисовался перед самим собою своим quasi-[108] байроническим демонизмом.

XVIII

КНЯЗЬ И КНЯГИНЯ ШАДУРСКИЕ

Князь Дмитрий Платонович Шадурский и супруга его, княгиня Татьяна Львовна, были уже шестой год женаты. Супружество их могло назваться вполне приличным супружеством. В официальных случаях, когда того требовали обстоятельства, они являлись в свет вместе, или принимали у себя, соблюдая с верным тактом и с самой безукоризненной полнотою все условия, каких требовали этикет и понятия той жизни, в замкнутом кругу которой они вращались. Князь всецело представлялся солидно-вежливым почтительным мужем; княгиня — уважающей своего мужа супругой. Никогда ни малейшего косога взгляда или слова, которые, вырываясь иногда почти невольно из надсаженного сердца, могли бы хоть как-нибудь, хоть чуть заметно

обнаружить их истинные чувства! Друг о друге они относились всегда не иначе, как с полным уважением, — с уважением, заметьте, но не с любовью: настолько они имели ума и такта, чтобы не «изъявлять» любви своей. Да, впрочем, любви-то никакой у них и не было. Взамен ее было уважение к внешнему супружеству: князь уважал жену потому, что она носила его имя; княгиня, не уважая князя, уважала самое имя, которое отнюдь не позволила бы себе скомпрометировать перед «светом». Свет — это фиктивное понятие, между прочим, является чрезвычайно странным в представлении большинства женщин, принадлежащих к нему: они считают светом тот замкнутый круг общества, который организовался здесь, на месте, в Петербурге или в Москве. Авторитет и сила этого света действительно и могучи только на месте. От этого очень часто происходит то, что целомудренные Дианы в Петербурге — перерождаются в шаловливых Киприды в Париже; но, по возвращении, непременно делаются опять целомудренными Дианами — по крайней мере по внешности представляют себя таковы-

ми своему свету.

О княгине пытались кое-что сплетничать, но это были сплетни глухие, темные, не имевшие никакого действительного основания, — и потому им не давали ходу, о них не думали, на них не обращали особенного внимания, считая их только сплетнями, и, наконец, скоро забывали. Сама же княгиня Татьяна Львовна своим внешним поведением не подавала к ним ни малейшего повода: она никого не отличала, никому не давала предпочтения — напротив, была решительно со всеми равна и любезна. Поэтому ей никого не могли исключительно приписать в любовники. У князя Дмитрия Платоновича были кое-какие грешки и по части актрис и по части Диан; но и те и другие, как человек солидный и опытный, он умел окутывать достодолжно-приличным флером. О его грешках иногда интимно поговаривали в том тоне, который мог только приятно щекотать его ловеласовское самолюбие, и никогда никто не заикался в тоне оскорбительном или компрометирующем. На эти грешки смотрели как на легкие и милые шалости, которые за кем же из мужчин не во-

дятся! Главное дело в том, что все формы внешнего приличия отменно были соблюдаемы этою четою, вся внутренняя, домашняя сторона медали отменно скрывалась ими от посторонних глаз, и потому их все уважали, все были довольны, и они сами также были довольны своею внешнею, показною стороною.

Князю Шадурскому пошел уже тридцать восьмой год, княгине — двадцать пятый. Он женился сильно уже поистраченный и поистертый заграничной жизнью; она вышла за него с силами еще довольно свежими; только румянец начинал немножко блекнуть от бессонных ночей, которые она проводила на балах, танцуя до упаду. Татьяна Львовна более всего на свете любила балы и танцы. Князь был хорош собою, и она могла назваться красавицей. Оба были блондины: князь — более с рыжеватым отливом, княгиня — с оттенком пепельным. Он свою блазированную физиономию очень успешно старался устроить на английский покрой; физиономия княгини, когда она была девушкой, напоминала эфирного, непорочного ангела, а когда сделалась

дамой — выражение невинности сменилось характером гордой и недоступной Дианы. И то и другое было вполне прекрасно. Она в раннем детстве была увезена за границу, нарочно для того, чтобы там воспитываться, и возвратилась оттуда восемнадцати лет, ни слова не разумея по-русски, так что когда выходила замуж, то должна была скопировать русскую подпись своего имени для внесения в церковную книгу. Все знания ее в русском языке простирались только до двух-трех молитв, смысла которых она не понимала, а татарин в долбежку, как попугай ученый. Впрочем, знала еще слова: *caracho*, *sirastouy* и *kascha*[109]. Когда во время венчания поп спросил ее обычно-формальной фразой: «Не обещалась ли еси другому?» — то Татьяна Львовна так странно и бессмысленно поглядела на него, что шафер поспешил ей подшепнуть на ухо: «Нет», и невеста, долго не могшая совладать с этим односложным звуком, наконец, с большим усилием выговорила: «Niet-te»[110]. * Однако в три года она довольно порядочно выучилась этому варварскому языку и выражалась на нем с книжной отчетливостью в

звукотроизношении, как истая иностранка, которая по книгам выучилась говорить по-русски. Впрочем, с годами княгиня делала все более и более успехов.

С первого появления своего в свете, тотчас по приезде из Италии, она произвела необыкновенный фурор, бывши сразу же всеми замеченной и оцененной по достоинству. Многие матушки смотрели на нее с завистью, юные и девственные их дочери — с завистью еще большей: первые боялись за отбой женихов, вторые ненавидели опасную и первенствующую соперницу. Молодые дамы приняли ее под свое милостивое покровительство, впрочем, до тех пор, пока она оставалась девушкой. С выходом замуж роли переменились: матушки сделались равнодушны, дочери преданны, а сверстницы-дамы преисполнились дружественной злобой и завистью. Молодые люди, из которых десятка два, если не больше, были влюблены в нее без памяти, все без исключения остались ее поклонниками, как до свадьбы, так и после свадьбы, если даже не усилили свое поклонничество после этого обстоятельства. Почтенные старички, старцы и

старикашки не менее молодых людей изъявляли Татьяне Львовне свое благоволение, а с тех пор, как она надела на себя чепец, очень любили разговаривать с нею о предметах немного игривых, причем масляно улыбались и даже облизывались. Татьяна Львовна, с своей стороны, относилась весьма благосклонно к этим невинным обожателям и также любила разговаривать с ними об игривых предметах. Это было единственное преимущество старцев перед молодежью.

Сердце Татьяны Львовны, по приезде в Россию, пребывало свободным и ничем не заинтересованным: она оставила его в Милане одному молодому итальянскому графу — по крайней мере ей самой так казалось. Из соотечественников влюбленных и невлюбленных никто не удостоился чести быть замеченным ею. Князь Шадурский, однако, не был влюблен, даже и увлечен-то не был нисколько, а женился так себе, почти ради того, чтобы насолить благоприятелю. Татьяну Львовну любил до безумия один флигель-адъютант, лучший представитель военного дендизма того времени, молодой, красивый, пылкий,

отличный и ловкий вальсёр, недурной каламбурист, добрый товарищ и любимец весьма многих особ прекрасного пола. К сожалению, при довольно круглом состоянии, он был человек без громкого титула, а просто старый дворянин, и, вдобавок еще, с вульгарной, плебейской фамилией — Еремеев. Несмотря, однако, на незвучную, беститульную фамилию, он благодаря своим внешним блистательным качествам с гордым достоинством и честью носил титул великосветского льва. Военная молодежь решительно ставила Еремеева для себя образцовым и почти недостижимым идеалом, учась у него носить аксельбанты и перенимая изящные манеры, вместе с изящным покроем сюртуков. Если m-sieur Еремеев был лев военный, то князь Шадурский вполне имел право считать себя львом гражданским. Поэтому последний ненавидел в душе своего соперника и, дружески пожимая ему руку, мысленно посылал его ко всем чертям в преисподнюю, не упуская ни малейшего случая насолить и напакостить доброму приятелю. Видя, что Еремеев страстно влюблен в Татьяну Львовну и, того гляди, сделает ей предло-

жение, Шадурский решился перегородить ему дорогу. Достав себе, за два бала вперед, мазурку молодой красавицы, он успел своим напускным байронизмом и оригинальничаньем блестящей болтовни остановить на себе несколько ее внимание. Затем — в остальную половину мазурки — с десятков ловких, метких и довольно ядовитых фраз насчет Еремеева, брошенных мимоходом, успели на минуту сделать последнего смешным в глазах Татьяны Львовны, так что, когда он, после ужина, явился ангажировать ее на тур вальса, — Татьяна Львовна, поймавшая в этот самый миг тонко-иронический взгляд Шадурского, отказала m-sieur Еремееву. Засим, дня через четыре, в мазурке же, князь сделал ей предложение, и... она обещалась подумать.

Это чистое эфирное создание, этот неземной, обаятельно-идеальный ангел на деле был весьма практически расчетлив. Ангел сообразил, что, во-первых, надо же выйти замуж, чтобы пользоваться свободой независимого положения, а во-вторых — через родителей и посторонних, не светских людей навел некоторые необходимые справки, по кото-

рым оказалось, что состояние Шадурского гораздо круглее состояния еремеевского, и, в-третьих, наконец, несравненно привлекательнее быть княгиней Шадурской, чем m-те Еремеевой. Два последние обстоятельства решили выбор Татьяны Львовны — и через два с половиной месяца хор конюшенных певчих гремел ей «Гряди, голубице».

Еремеев не дождался этого хора: он как только узнал о помолвке, так тотчас же перечислился в армию и через неделю уехал на Кавказ.

Шадурский торжествовал и весь сезон был необыкновенно доволен собою. Да и было чем: во-первых, победил Еремеева и в лице его всю влюбленную великосветскую молодежь, а во-вторых — сделался мужем и обладателем прелестнейшей и блистательнейшей женщины, которой все удивлялись, сходили с ума, завидовали и о красоте которой говорил целый город. Какова пища для его чуткого самолюбия!

Не далее, однако, как через полгода обнаружилась обоюдная холодность молодых супругов, и они же сами первые заметили это.

Ну, и ничего: заметили и разошлись, каждый в свою сторону, как кому было удобнее, определив, впрочем, раз навсегда свои условные отношения перед глазами света, о чем мы уже сказали несколько выше.

Князь Дмитрий Платонович жуировал по сторонам, под известным только флером приличия и скромности, и не обращал решительно никакого внимания на жену свою как на женщину. Это ее сначала бесило. Она чувствовала, что хороша собою и молода и богата страстною жаждой жизни, любви, наслаждения, и между тем остается одна, и все одна, без всякого удовлетворения этому избытку молодой своей силы. Ей было горько, тяжело, она плакала, и не раз-таки вспоминала вульгарную фамилию так романически влюбленного в нее Еремеева. Вскоре у нее родился сын — князь Владимир Шадурский, но это обстоятельство нимало не возвратило к ней сердце мужа и только самое ее развлекло на некоторое время, чтобы через несколько месяцев потом дать еще больший простор тоске и скуке и этой неудовлетворенной жажде переживать свои юные силы. Более четырех лет

длились скрытые страдания молодой, покинутой мужем женщины. Тщеславие Шадурского было вполне удовлетворено женитьбой, — чего еще требовать от него? Любви? Но разве мог он дать то, чего у него никогда и не бывало? Достаточно и того, что он дозволил себе увлечься на некоторое время. Маленькая ревность и маленькие сцены, которые выводила ему сначала супруга, сделали только то, что она ему окончательно надоела. А он к тому же еще так любил напускать на себя чувство неудовлетворенности, так любил показывать, что ему все надоедает в жизни, что все находит он пошлым и ни к чему привязаться надолго не может. Найти себе «друга» весьма легко могла бы княгиня среди окружающей ее и всегда готовой на «дружбу» молодежи; но тут-то искать не хотела Татьяна Львовна. Она знала, что все друзья этого рода на язык невоздержанны и на самолюбие отчасти щеголевато-хвастливы; что при случае, после нескольких бутылок вина в приятельской беседе, ни за одного из них, пожалуй, нельзя бы было поручиться, что он вдруг, par hasard[111], не скомпрометирует как-нибудь

имя тайной дамы своего сердца. А княгиня пуще всего дорожила своим именем. Она, наконец, обратила внимание на мужчину, управляющего, г.Морденко. Энергически красивый плебей (он был из вольноотпущенных отца Шадурского) занял прочное место в сердце княгини. Темный, никому не известный человек, ничтожный управляющий, он поневоле должен быть скромн; лета его давно перешли тот возраст, когда человек любит болтать о своих победах, — значит, похвастаться своими отношениями ему негде и некому, да и небезопасно в рассуждении управительского места. По всем этим соображениям княгиня нашла, что его можно приблизить к себе, — и Морденко всегда оставался глубоко почтителен с нею. Как умный хохол и как человек, прежде всего зашибающий копейку, он понимал, что положение его и очень выгодно, и вместе с тем очень шатко. Поэтому, будучи всегда беспрекословно покорен воле и желаниям своей патронессы, он был крайне осторожен, и одна только случайность — и то по вине самой княгини, слишком стремительно бросившейся к нему навстречу, — сде-

лала возможным такое неожиданное и неприятное столкновение, какое произошло у них с князем Шадурским. Татьяна Львовна, переродившаяся по прошествии четырех лет совсем уже в практическую, ловкую и опытную барыню, умела хорошо скрывать свои отношения, которые особенно укрепились во время отсутствия мужа в деревню. Некоторые услужливые руки из деревенской дворни нашли не лишним сообщить матушке барыне-княгине о грехе или — что то же — о «байронически-сельском» романе ее мужа. Таким образом Татьяна Львовна знала про связь супруга своего с княжною Чечевинскою, тогда как этот последний и не догадывался об отношениях ее к г.Морденко, и только тогда убедился в существовании какой-то связи, когда увидел уже несомненные признаки беременности своей жены. Но... он мог представить себе все что угодно, только не г.Морденко!

Татьяне Львовне пошел между тем восьмой месяц; однако положение ее было заметно только трем человекам: Морденке, камеристке мамзель Фанни и князю Дмитрию Платоновичу Шадурскому.

XIX

НЕОЖИДАННОЕ И НЕ СОВСЕМ ПРИЯТНОЕ ПОСЛЕДСТВИЕ ВТОРОЙ ПОЩЕЧИНЫ

Приняв дела от Морденки, причем во время сдачи разговоры ограничивались только самыми необходимыми деловыми фразами, князь Шадурский мрачно ходил по своему кабинету и с досады беспощадно грыз свои прекрасно обточенные розовые ногти. Стыд, презрение, злоба и ревность одновременно сосали теперь его сердце. Целый день он не выходил из кабинета и даже обедать не садился. Однако подкидыша не забыл отправить в карете, со всеми достоподобными инструкциями, к генеральше фон Шпильце.

Был уже час одиннадцатый вечера, когда в кабинет вошел лакей и объявил Шадурскому, что княгиня изволят просить их пожаловать к себе.

— Хорошо... пошел вон! — проговорил князь и направился было к дверям, но вдруг подумал и вернулся назад.

Через четверть часа — новый посланный, который получает тот же ответ. Но Дмитрий Платонович на сей раз уже не направляется к дверям, а продолжает себе из угла в угол шагать по комнате. Он твердо решил не сдаваться ни на мольбы, ни на убеждения, и потому положил не ходить к супруге. «Все кончено между мной и этой женщиной! и только для света мы — муж и жена!» — мысленно решил он сам с собою, не без наслаждения предаваясь рисовке мрачного трагизма. Прошло еще минут десять — и на пороге кабинета, из-за тяжелой портьеры, показалась сама княгиня. Бледная, больная, с покраснелыми и припухшими от слез глазами, нетвердо вошла она, шатаясь, в комнату и в изнеможении опустилась на кресло.

— Что вам угодно? — сухо, но вежливо спросил князь.

— Я очень дурно себя чувствую, — с усилием проговорила Татьяна Львовна.

— Тем хуже для вас! — ядовито улыбнулся он.

— И для вас столько же: я чувствую, что должна буду выкинуть.

Шадурский опешил.

— Как!.. но это невозможно!.. — бормотал он, совсем растерявшись от этого нового сюрприза.

Княгиня тоже улыбнулась на сказанную им глупость.

— Я чувствую, говорю вам! — подтвердила она. — Я пришла спросить: угодно вам, чтоб это все здесь, у вас в доме произошло?

— Боже сохрани! Как можно в доме? — испугался Дмитрий Платонович.

— Так везите же меня куда-нибудь, — твердо и настойчиво порешила княгиня.

— Но как же это?.. куда?.. я, право, не знаю... — говорил он, в недоумении стоя перед женою.

— Вы, кажется, теряетесь еще больше меня! Стыдитесь! Мужчина! — с злобным презрением проговорила Татьяна Львовна.

Князь, действительно, во всех почти экстренных случаях жизни, если только они производили на него угрожающее или страшливое впечатление, мигом терял присутствие духа и из гордого аристократа Чайльд Гарольда становился мокрой курицей. Однако послед-

нее замечание жены не шутя задело его за живое.

— Извольте, я готов; только куда прикажете? — спросил он, оправившись и даже встряхнувшись немного, почему немедленно же принял опять свой прежний сухой и вежливый тон.

— Куда прикажете! Понятное дело, к акушерке какой-нибудь! — пояснила жена, начиная уже терять терпение.

Князь вспомнил о Свечном переулке — и весь демонизм его тотчас же возвратился к своему хозяину. По правде-то сказать, впрочем, он и не знал, куда б иначе кинуться, если бы не Свечной переулок. Бегать по городу и отыскивать самому, ночью, какую-нибудь акушерку было бы более чем неудобно, да и рискованно в отношении времени для больной. И потому тут ничего уже больше не оставалось делать, как только остановиться на Свечном переулке, давши затем полную волю разыгрываться своему демонизму.

«В довершение всего только этого недоставало! — Думал он, пуская на губы мефистофельски-ироническую улыбку. — Недоставало

ло только свести этих двух женщин под одною кровлею... и где же?.. в каком месте?.. Вот случай-то с его игрою!.. Вот она где, настоящая-то ирония судьбы!» — заключил он мысленно, и с той же улыбкой прибавил вслух:

— Извольте идти одеваться — через десять минут карета будет готова.

Княгиня поблагодарила наклоном головы и холодно вышла из кабинета. Она вполне поняла сего Чайльд Гарольда и потому презирала его. Впрочем, и Чайльд Гарольд не оставался в долгу: он тоже презирал супругу за г.Морденко.

А что, если бы на месте этого г.Морденко был кто-нибудь другой, вроде титулованного камер-юнкера или флигель-адъютанта? Ведь князь, пожалуй что, и не презирал бы тогда свою супругу?

Даже наверное не презирал бы, осмелимся уверить мы сомневающегося читателя.

* * *

— Есть у вас свободная комната? — Я привез больную, — вполголоса и почти шепотом говорил князь востроносенькой немецкой женщине в белом чепце, боясь, чтобы голос

его не услышала как-нибудь княжна Анна. Демонизм и игра в герои все-таки не мешали ему потрухивать неприятного столкновения.

Удобная запасная комната отыскалась тотчас же на противоположном конце от той, которую занимала княжна Чечевинская. Князь высадил из кареты жену свою и под руку ввел ее в предназначенную горницу.

— Бога ради, только поскорей! Употребите все зависящие от вас средства, чтобы это скорее кончилось! — шепотом упрашивал он востроносенькую немку, и, осторожно выйдя в смежную комнату, закурил сигару и преспокойно уселся на диван дожидаться финала всей этой истории.

Прошло часа три. Князь починал уже третью сигару. У него было очень скверно на душе, ибо там боролось чувство оскорбленного самолюбия (в самом деле, неприятно мужу находиться в подобном положении у акушерки) и чувство страха за возможность столкновения с княжной, боязнь, чтобы все это как-нибудь не раскрылось, не было узнано в свете, боязнь титула почтенного рогоносца, — словом, князю было очень нехорошо. Его по

временам била дрожь нервной лихорадки, в особенности когда страдальческие вопли жены становились громче и, стало быть, слышнее в других комнатах серенького домика. Мимо него раза два прошмыгнула востроносенькая немка и раз пять ее помощница. При каждом скрипе отворявшейся двери Шадурский вздрагивал и, весь обданный жаром, тревожно вскидывал глаза на роковую дверь. Немка мимоходом бормотала ему что-нибудь успокоительное, и Шадурский, по уходе ее, повергался в прежнее состояние внутренней борьбы вышеозначенных чувств, боязней и соображений, до нового неожиданного стука дверной ручки. Утомленный всеми этими ощущениями, он уже впадал в легкое забытие. Окружающая обстановка комнаты с немецкими литографиями в рамках, стоны жены, воспоминание всего случившегося в этот день, княжна, Морденко, акушерка, фон Шпильце, подкидыш — все это мешалось между собою и сливалось в какие-то отрывочные, мутно неопределенные образы; пальцы его уже слабели, бессознательно еще кое-как удерживая потухшую сигару; нервно-нойное,

болезненное чувство под ложечкой тоже смирялось и затихало, подобно больному зубу перед усыплением — как вдруг скрипнула дверь...

Князя будто кольнуло что: он вздрогнул, очнулся и поднял глаза.

На пороге стояла княжна Анна. Колебавшаяся пламя свечи, которую держала она, кидало неровный отсвет на ее бледное, встревоженное лицо. Сквозь ночной белый шлафрок видно было, как дрожали ее руки, как тревожно волновалась грудь. Она увидела князя, — и, боже мой, чего только нельзя было прочесть на этом любящем, страдающем лице в одно только мгновение! Тут было и удивление, и безотчетный порыв к нему, и страх, и надежда, и гордое чувство матери, и радость свидания, и горький упрек за невнимание, за равнодушие — много и сильно говорило это лицо, эти глаза, эта улыбка.

— Дмитрий... бога в тебе нет! Можно ли так забыть, оставить меня!.. Дмитрий!.. Милый, ненаглядный... Ты видел ее... видел... нашу девочку, дочку нашу? — лепетала она обрывавшимся от волнения голосом, кинув-

шись к князю и, как слепая, трогая, ощупывая его руками, словно бы хотела убедиться — точно ли это он стоит перед нею?

Князь, бессознательно вскочивший с места при ее появлении, как провинившийся школьник, стоял неподвижно — смущенный, озадаченный, растерянный до последней крайности. Он не мог собраться с мыслями, не мог сказать ни одного слова. А тут еще из соседней комнаты обличающие стоны жены раздаются. Он струсил и искренне желал провалиться сквозь землю.

— Что ж ты не приезжал ко мне?.. Ведь я одна, совсем одна, пойми ты это!.. Я ведь измучилась, ждавши тебя, — продолжала лепетать больная, не замечая, от наплыва своих ощущений, этого неподвижного смущения и холодности князя. — Мне так хотелось видеть тебя, взглянуть бы только на тебя, слово услышать — ведь мне тяжело, невыносимо... я, как в лесу, ничего тут не знаю... А ты — хорош, и не едешь и слова не напишешь!.. Ну, да я не сержусь теперь... я не сержусь... Я люблю тебя... Я — мать. Ну, обними, ну, поцелуй свою Анну!.. целуй меня — теперь ведь мы од-

ни с тобой. Да что же ты стоишь? Что это с тобою? Дмитрий, что с тобою?.. — отшатнулась она через минуту, с изумлением вглядываясь в смущенную фигуру опешившего князя, ни одним словом, ни одним взглядом и движением не ответившего сочувственно на ее беззаветно-искренний порыв.

— Княжна... извините... я не один, я не один... Уйдите... нас могут увидеть... уйдите, княжна... — бормотал он, кое-как собравшись с силами. Слова дрожали, путались на его языке.

— Княжна... уйдите... Да что это с тобою, Дмитрий, что это за слова ты говоришь?.. Господь с тобою, опомнись!.. — еще порывистее отшатнулась Анна, глядя во все глаза на Шадурского.

— Уходите же, бога ради, я вас прошу!.. — настаивал между тем тот, стараясь отвести от себя ее протянутые руки... — Вы забываетесь... нас увидят... что могут подумать?..

Перетрусивший Чайльд Гарольд говорил уже окончательные глупости, которые какими-то проблесками мелькали у него в голове и сами собою, бессознательно как-то, подвер-

тывались на язык.

— Так это-то твой привет матери твоего ребенка? — проговорила она, по-видимому, спокойно, однако, в сущности, с колюче-горьким чувством в душе.

— Я не один... я не один здесь, — повторял князь, со страхом озираясь на дверь, из которой каждую минуту могла появиться акушерка.

— А! ты не один здесь?.. Да, я слышала!.. я по голосу узнала ее... по этим крикам догадалась, что это — ваша жена, — говорила княжна все тем же наружно-ровным и спокойным голосом.

У князя все лицо передернуло, словно от внезапной ожоги. Этого-то только он и боялся... «Черт возьми, узнала!.. Стало быть, не скроется... стало быть, узнают все!» — мелькало у него в голове — и это мелькание прожигало мозг, вызывало краску стыда и хватало за сердце. Паче всего князь страшился, чтобы не пронюхали как-нибудь скандала с его законной супругой.

— Стало быть, кончено. Все кончено между нами. Покорно благодарю, что вы наконец-то

раскрыли мне глаза... Жаль, что поздно немного... Ну, да все равно! Теперь я хочу знать, где мой ребенок, что сделали вы с моим ребенком? — спрашивала княжна уже строгим и холодным тоном.

— Завтра... завтра все узнаете... завтра я напишу... заеду... только уйдите, умоляю вас!.. Уйдите же! — почти крикнул он, выведенный наконец из себя своим отчаянным положением. Он боялся также, чтобы немка не застала его вместе с княжною и чтобы через это не открылся настоящий виновник беременности этой девушки.

Княжна холодной и презрительно-сострадавательной улыбкой встретила его отчаянную выходку.

— Вы очень боитесь моей встречи с княгиней Шадурской? — не без иронии спросила она. — Извольте. Я вас избавлю от нее. Можете быть покойны: того, что происходит с нею в той комнате, через меня никто не узнает: я честнее вас.

Анна направилась к двери. Шадурский на цыпочках шел за нею, стараясь выпроводить поскорее неприятную гостью. В коридоре, ку-

да вышел вместе с княжною, притворив за собой дверь, он почувствовал некоторое радостное спокойствие: «Наконец-то, слава тебе, господи, счастливо отделался, и кажись — навсегда». Тут уже, видя, что главная беда почти миновала, ему вдруг захотелось немножко порисоваться с романической стороны, хоть чем-нибудь скорчить из себя порядочного человека, хоть как-нибудь сгладить гнусное впечатление последней сцены.

— Прости... прости меня, Анна! — нарочно поглуше и подраматичнее прошептал он, стараясь схватить руку девушки.

Она увернулась от князя и отвела его руку.

— Бог с тобой, Дмитрий! — прорвалось у нее рыданье. — Я твоего зла не хочу помнить... Только дочку... Бога ради, дочку мне!

И с этими словами она скрылась за дверью своей комнаты.

Час спустя все уже было кончено.

Княгиня разрешилась мальчиком. Ребенок, несмотря на преждевременное появление свое на свет, был жив и даже здоров.

Шадурский сунул сторублевую ассигнацию в руку немки, бережно укутал в шаль и

салоп свою супругу и почти на руках снес ее в карету, к вящему изумлению акушерки, которая, глядя на все это, только ахала да чепчиком своим из стороны в сторону покачивала.

Ребенок остался у нее на воспитание. Больная, по-видимому, была спокойна и молча сидела, откинувшись в угол кареты.

— Вы никогда больше не увидите вашего ребенка, — холодно и внятно проговорил наконец Шадурский, стараясь сделать голос свой тверже и металличеснее. Он и тут рисовался.

— Но где же этот несчастный ребенок будет находиться, по крайней мере? — слабо спросила больная.

— Этого вы также никогда не узнаете! — порешил Дмитрий Платонович.

— Но это бесчеловечно!

— Совершенно согласен с вашим мнением...

— Наконец, это гнусно — шутить таким образом!

— Не гнуснее вашего поступка! — с улыбочкой в голосе возразил Шадурский. — Впрочем, все, что я могу сказать вам, — прибавил

он минутой спустя, — так это то, что вы были у той самой акушерки и под тою самую кровлею, где находится теперь княжна Чечевинская. Таким образом — вы совершенно сравнялись с этой женщиной. Впрочем, нет! Виноват, вы хуже ее! вы — любовница лакея! — заключил он с ядовитою желчностью и, после этого, во всю остальную дорогу не проронил более ни одного уже слова.

XX

АРЕОПАГ НЕПОГРЕШИМЫХ

Через десять дней после этого происшествия княгиня Татьяна Львовна чувствовала себя уже настолько хорошо, что могла в постели принимать визиты добрых своих приятельниц, являвшихся к ней осведомиться о здоровье.

Для света княгиня была больна какой-то febris[112] или чем-то вроде застужения, воспаления и т.п., — словом, одною из тех болезней, которыми всегда удобно можно прикрыться.

Около ее постели сидели m-me Шипонина

со старшей грацией, сорокалетней девою, баронесса Дункельт и еще два-три дипломата в юбках — особы все веские, досточтимые, авторитетные и вообще очень компетентные в делах мира сего.

Князь Дмитрий Платонович, все время не говоривший с женою, только из приличия отправлял к ней ежедневно своего камердинера осведомляться о здоровье. Теперь же он в первый раз нашел нужным прийти к ней лично — потому, нельзя же: княгиня уже принимала своих приятельниц.

— Как вы чувствуете себя нынче? — спросил он, вежливо целуя ее руку и с видом участия — в той, однако, дозе, насколько это было нужно и прилично.

— Сегодня мне гораздо лучше, — мило ответила княгиня, и мило опять-таки настолько, насколько могло это быть допущено в приличном супружестве.

— Пароксизм не возобновлялся? — с заботливым участием продолжал Шадурский.

— Благодаря бога, нет... Садитесь и слушайте, — предложила ему супруга, указывая на кресло у своих ног. — Мне сообщают чрезвы-

чайно интересные новости.

— Ах, да, да! это ужасно, это невообразимо! — говорил ареопаг компетентных судей. — Мы говорили о скандале...

— Да! скажите, пожалуйста, что это такое? — любопытно подхватил Шадурский. — Я слышал кое-что, но, признаюсь, никак не могу поверить.

— Можете не только верить, но даже верить, как в истину, — докторальным тоном заметил один из дипломатов в юбке.

— Неужели же правда? — воскликнул Шадурский, растягивая в знак удивления свою физиономию, которая так и блистала в это мгновение могучим чувством непогрешимого достоинства.

— К стыду и к несчастью — правда! — отчетливо сказала Шипонина, печально покачав головой. — Я сама видела несчастную мать, сама читала письмо.

Замечательно, что сей достопочтенный ареопаг, говоря о скандале, не только не объяснил, в чем он заключается, но даже в разговоре между собою избегал самого слова «скандал», заменяя его безличными местоимения-

ми то и это. Может быть, «ужасность» самого «проступка», а может, и присутствие сорокалетней девственницы связывали ареопагу органы болтливости.

— Подобной безнравственности никогда еще не бывало в нашем обществе! — горячо разглагольствовала баронесса Дункельт, считавшая десятками своих любовников и в том числе присутствующего князя, который тоже во время оно отдал ей должную дань.

— Неужели после этого кто-нибудь согласится принять ее? — вопрошал один из дипломатов.

— Я надеюсь, что ни одна порядочная женщина не позволит себе этого! — решительным и авторитетным тоном проговорила княгиня Шадурская. — По крайней мере, мой дом навсегда закрыт для нее, как и для каждой потерянной женщины. Я стыжусь, что была даже знакома с нею!

— Конечно, таких поступков прощать никогда не следует: они черным пятном ложатся на целое сословие! — с благородным негодованием заключил Дмитрий Платонович.

И все остальные вполне согласились с его

справедливым мнением.

Таким образом, в силу безапелляционного приговора ареопага непогрешимых, княжна Анна Чечевинская была подвергнута вечному ostracismu.

XXI ПРОБУЖДЕНИЕ

Получив письмо старой княгини, Анна поняла, что все ее связи со светом окончательно порваны. Но ничего, кроме полнейшего и равнодушного презрения, не шевельнулось в ее сердце при мысли об этом разрыве. Да и что ж кроме презрения могло там шевельнуться? Что дал ей этот свет, что нашла она в нем? Один только холод, ни капли искреннего слова, наконец гнусный, вероломный обман — и ничего более. Но в обман она еще не хотела поверить, она все еще старалась обманывать самое себя и ожидала свидания с князем. Но князь не приезжал. В достопамятную для княгини Шадурской ночь княжна, услышав из своей комнаты крики больной, как-то невольно, инстинктивно по-

чувствовала, что это именно звук голоса Татьяны Львовны. «Он тоже должен быть здесь? Что все это значит?» — мелькало у нее в голове. Немка, между делом, вошла навестить и ее. Тут-то, по рассказу ее о внезапном ночном посещении и из ее описания «кавалера» и «дамы», приехавших к ней, княжна догадалась, что это именно были Шадурские. Последовавшая сцена уже известна читателю.

Между тем положение ее было весьма печально. Денег ни копейки, платья — только то, что было на себе; известий после письма матери — никаких, от Шадурского — тоже, и наконец Наташа, обещавшая заложить для нее кое-какие вещи, также пропала неизвестно куда. Последний раз она виделась с нею в утро перед получением письма, и затем словно в воду канула. Немку эти обстоятельства весьма сильно беспокоили, и только по доброте душевной она ничего пока еще не высказывала своей пациентке, что, однако же, не мешало той очень хорошо замечать и чувствовать все это. Она решилась наконец еще раз написать Шадурскому и заклинала его открыть ей, что случилось с их ребенком; но князь

разорвал и сжег это письмо, вместе с предыдущим, дабы не оставлять никаких существенных доказательств своих отношений к ней.

Княжна мучилась и терзалась невыносимо. Эта неизвестность все больше и больше томила ее душу, наводя только мрачные мысли, которые не покидали ее ни на минуту. Она уже от всего отрешилась в своей прежней жизни, и даже от самой мысли о любовнике, в котором так долго не хотела разочароваться и которого наконец стала презирать; одно только привязывало ее к жизни — это жажда узнать, что случилось с ее ребенком, жажда увидеть его еще раз, вырвать из чужих рук и всецело отдать безумной любви к своему младенцу, никогда, ни на минуту не выпускать его из своих объятий. Этот ребенок был для нее все — все ее богатство, все счастье — и радость и мука в одно и то же время. Жажда видеть свое дитя дошла в ней наконец до какого-то отчаяния, почти помешательства и породила наконец непреклонную решимость во что бы то ни стало добиться своей цели, которая вполне уже сделалась для

нее единственной целью всей жизни.

Она написала письмо к самой княгине Шадурской. Это были не слова, а слезы наболевшей, истерзанной души. Она, ни слова не упомянув о Шадурском и о своих отношениях к нему, раскрыла только с полной откровенностью, что она мать подкинутого к ним ребенка, и умоляла сказать ей, где он и что с ним сделалось. Но ответа на это письмо не было. Княжна подождала, или, лучше сказать, всем существом своим протрадала тоской ожидания два дня — и все-таки ответа не было. Она написала к ней новое, еще отчаяннее первого, письмо, отправив его лично с востроносенькой немкой — и результат вышел все тот же.

Тогда княжна Анна оставила свой тайный приют. Она наконец совершенно пробудилась и вполне уже поняла, что такое тот свет и те люди, которые до сих пор ее окружали. Все связи с этой жизнью с той же минуты были окончательно порваны в ее сердце. В нем жило одно только чувство, одно стремление — во что бы то ни стало видеть и отнять своего ребенка, и с этой неотступной мыслью

она впервые вышла за порог серенького домика в Свечном переулке.

XXII ДЕТИ

Слова князя Шадурского о том, что жена его никогда не увидит и не будет знать своего новорожденного сына, были не что иное, как одна только эффектная фраза.

Г.Морденко написал княгине письмо, где извещал о новом своем адресе. Татьяна Львовна ответила тотчас же и, рассказав подробно всю последующую историю, приказала ему разведать под рукой, у кучера, в какую улицу ездил он с господами ночью. Таким образом адрес акушерки из Свечного переулка сделался известен и княгине и г.Морденке.

Муж просил ее готовиться к отъезду вместе с ним за границу, что должно было последовать недели через полторы. Княгиня тайком от него переслала Морденко довольно значительную сумму денег, с приказанием взять ребенка от акушерки и поместить его в хорошие руки. Генеральша фон Шпильце, с

своей стороны, сделала то же самое.

В Средней Мещанской улице, «близ пожарного депо», жил некоторый «бедный, но честный майор» в отставке, «будучи обременен многочисленным семейством и женой, болезненным состоянием одержимой». Это, однако, нисколько не мешало ему брать «на воспитание» посторонних детей. «Бедный, но честный» майор назывался — Петр Кузьмич Спица.

На Петербургской стороне, в Гулярной улице, можно сказать, среди деревьев и знаков сельских, обитал в собственном домишке один из вечных титулярных советников и присяжных столоначальников, по фамилии Поветин. Жил он скромно, тихо и богобоязненно, вместе с женою, но без чад и домочадцев, в коих отказала им попечительная судьба.

К бедному, но честному майору был помещен, стараниями г.Морденко, сын княгини Шадурской, во святом крещении нареченный именем Иоанна Ветхопещерника и того же месяца прописанный в местное мещанское сословие под фамилией Вересова.

К титулярному советнику Петру Поветину, стараниями генеральши фон Шпильце, была отдана на воспитание дочь князя Шадурского, во святом крещении именем святыя Марии Магдалины нареченная и записанная в мещанское сословие под фамилией Поветиной, по восприемному отцу и воспитателю ее.

Пятилетний князь Владимир Шадурский приготавлился, со своим штатом нянек и гувернанток, к отъезду с родителями за границу, где предполагалось начать и кончить курс его воспитания и образования, которое должно было приготовить и дать русской земле русского гражданина.

ВЕЛИКОСВЕТСКАЯ ДИАНА

Был холодный весенний вечер. Петербург Бизобилует ими. По небу ходили низкие и хмурые тучи; с моря дул порывистый, гнилой ветер и заседал лица прохожих мелко моросившею дождливою пылью. Над всем городом стояла и спала тоска неисходная. На улицах было темно и уныло от мглистого тумана. Фонарей, по весеннему положению, не полагалось.

Часов около восьми у подъезда дома князя Шадурского остановилась женщина, закутанная в большую шаль, с густым темным вуалем на лице, и робко дернула за ручку звонка.

— Мне необходимо надо видеть княгиню — отдайте ей эту записку, — сказала она отворившему ей швейцару и вслед за ним вошла на площадку парадной лестницы.

Княгиня прочла поданную ей записку и улыбнулась. В ней загорелось Евино любопытство и желание поглядеть, какова-то стала княжна Анна после всего случившегося с

нею.

— Приси сюда эту женщину, — сказала она человеку и, подойдя к зеркалу, поправила на себе какую-то шемизетку, пригладила отделившуюся прядку волос и, повернувшись вполоборота, оглядела общий вид свой.

Сердце ее билось каким-то особенным самодовольным злорадством. Она даже почему-то была рада этому неожиданному посещению.

Через минуту робко, с замирающим сердцем вошла княжна Анна в будуар Шадурской и только тут, оставшись с ней наедине, подняла с лица свой черный вуаль. Это лицо было бледно, смертельно бледно; на черных ресницах глубоких прекрасных глаз искрились две крупных слезы; бледные и сухие губы чуть-чуть дрожали нервною дрожью. Стройная, высокая фигура ее, охваченная мягкими складками черной шали и платья, походила скорее на призрак, чем на живое существо. Она была грустно, тоскливо-прекрасна, как подсудимая, которая ожидала последнего своего приговора, долженствовавшего разрешить для нее роковое быть или не быть.

Княгиня Шадурская встретила ее вопросительной миной, не забыв предварительно устроить себе холодное и нравственно строгое лицо.

Княжна Анна молчала. Она была слишком смущена и взволнована для того, чтобы сказать что-либо.

— Что вам от меня угодно? — с ледяною вежливостью спросила наконец Шадурская, которая ни сама не садилась, ни посетительнице не указала на кресло.

— Вы это уже знаете, — прошептала бедная девушка.

— Я знаю только то, что поступаю, может быть, слишком опрометчиво, дозволив себе принять вас, — возразила княгиня своим прежним тоном. — Вы должны знать, что более не существуете уже для общества, — и верьте, только из одного христианского чувства я принимаю вас нынче... Только покорнейше прошу, чтобы это был последний раз, — поспешила добавить она.

— Мне света не нужно; мне нужен ребенок мой! — твердо сказала девушка.

— Как!.. и вы решаетесь так прямо гово-

рить об этом? Где же девическая скромность? — благонаравно удивилась княгиня, которой стало уже невмоготу притворяться строгой христианкой, а так и подмывало явиться в настоящем своем образе беспощадно строгой Дианы.

— Зачем говорить слова? — возразила Анна. — Я прошу у вас моего ребенка.

— К сожалению, я ничего не могу сказать вам о нем. Я его почти и не видала.

— О, сжальтесь! не мучьте же меня! — проstonала мать, ломая с мутящей тоской свои руки, и, вдруг зарыдав, опустилась на колени перед гордой княгиней. — Отдайте, отдайте мне его! Скажите, где он! — умоляла она, захлебываясь от глухих и тяжелых рыданий.

— Я уже сказала вам, — промолвила Ша-дурская, не делая ни малейшего движения, чтобы поднять с полу несчастную.

— Вспомните, ведь вы тоже мать!.. Мать... Поймите же меня! — стонала княжна, в испуге подползая к ней на коленях и судорожно ловя ее руки.

— Встаньте, — повелительно сказала княгиня. — Между нами нет и не может быть ни-

чего общего... Вы сами захотели упасть в ту пропасть, которая навеки отделила вас от всех честных и порядочных женщин, — ну, так на себя и пеняйте же! — с жестокой, желчной холодностью говорила она, безжалостно измеряя глазами ползавшую перед ней жертву и более чем когда-либо сознавая в себе все величие своего достоинства.

— И у вас хватает духу читать мне мораль в эту минуту! — с горьким упреком прервала ее княжна Анна.

— Ошибаетесь, я не мораль читаю вам, — сухо возразила княгиня. — Я хочу только сказать, чтобы вы не писали ко мне более писем: они могут компрометировать меня.

Княжна тотчас же после этих слов поднялась с полу и гордо выпрямилась.

— Вы не скажете мне, где мой ребенок? — решительным тоном спросила она.

— В последний раз говорю вам — нет! и покорнейше прошу оставить меня! — поклонилась Татьяна Львовна.

— Так будьте же вы прокляты! все прокляты! — задыхающимся шепотом проговорила княжна, страшно дрожа всем своим телом, и

повернулась к двери.

— Вы слышали, что княгиня Чечевинская скончалась? Третьего дня ее хоронили и... вы — ее убийца! — безжалостно-равнодушно сказала Шадурская, спокойно отходя к своему дивану.

Княжна вздрогнула, на минуту остановилась неподвижно на месте, потупя свою голову так, как будто ожидала сейчас удара секиры, и, вслед за этим, тотчас же молча вышла из будуара.

Морской ветер хлестал одежду прохожих и пробегал по крышам все с теми же пронзительными порывами. Туман и дождливая холодная изморозь густо наполняли воздух, в котором царствовали мгла и тяжесть.

Нева плескалась волнами своими в гранитную набережную, за рекой крепостные часы с безысходною тоскою медленно играли «Коль славен наш господь» и пробили девять. По пустынной набережной шибко шла против ветра высокая, стройная женщина, закутанная в черную шаль, и шла, казалось, без всякой определенной цели, без всякого пути.

— Кажется, недурна, — процедил себе

сквозь зубы беспутный шатун-гуляка и, подумав с минуту, повернулся и пошел вдогонку за молодой женщиной, темный очерк которой с каждым шагом все более и более терялся в холодном и морозящем тумане петербургской ночи...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ НОВЫЕ ОТПРЫСКИ СТАРЫХ КОРНЕЙ

I

ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ

1858 года, месяца сентября, числа не упомяну какого, в «Ведомостях С.-Петербургской Городской полиции», под рубрикой приехавшие, было пропечатано:

ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ

Его сиятельство князь Дмитрий Платонович Шадурский с супругой.

Князь Владимир Дмитриевич Шадурский, гвардии корнет.

Коллежский советник Давыд Георгиевич Шиншеев с дочерью Дарьей Давыдовной.

Баронесса фон Деринг, ганноверская подданная.

Ян-Владислав Корозич, австрийский подданный.

Далее за сим в полицейской газете следовала рубрика: выехавшие, которая для сущности нашего рассказа не представляет ровно никакой надобности, и потому мы оставляем в покое полицейскую газету.

По этой выписке и собственно по году, к которому она относится, читатель может видеть, что от начала нашего повествования до приезда из-за границы вышешпоименованных личностей прошло двадцать лет. Воды утекло много. Старые годы и старые грехи заменились годами новыми и новыми грехами. В жизнь вышли новые отпрыски старых корней. Они-то главнейшим образом и составят предмет предлагаемого повествования.

* * *

За два дня до появления в полицейской газете известного уже вам объявления к Петербургу на всех парах подходил пассажирский поезд Варшавской железной дороги, на которую в то время пересаживались во Пскове из почтовых экипажей, принимавших путников на русской границе.

В одном из отделений первого класса сидели три дамы и четверо мужчин. Все они, оче-

видно, составляли одно общество и, казалось, были более или менее коротко знакомы друг с другом.

Впрочем, беседу их нельзя было назвать общеою, она имела разрозненный и интимный характер, ибо все это маленькое *société* делилось на три отдельные группы.

Первую группу составляли две личности: дама, весьма элегантно одетая в дорожный костюм, с белым тюлевым вуалем на пепельных волосах, который, обрамляя ее довольно полное лицо, придавал некоторую свежесть поблекшей коже. На вид ей было лет за сорок пять, и каждый мало-мальски прозорливый и опытный человек при взгляде на это лицо непременно бы заметил про себя: «Ах, матушка, а и пожила же ты, однако!» Лицо это, видимо, блекло и увядало, несмотря на все старания, на все хитрости и уловки удержать былую свежесть; но всякий бы сознался, что оно во время оно принадлежало красавице гордой, великосветской, ибо на нем и до сих пор еще во всей неприкосновенности сохранялся холодный отблеск характера строгой Дианы. Мужчина, сидевший подле нее, на вид имел

тоже лет около сорока и глядел джентльменом того покроя, который приобретаетя посредством долгого шатания по белу свету, где человек не то что воспринимает, но всасывает в себя характер последней модной картинки, последних модных потребностей, привычек и взглядов. Довольно плотной и красивой наружностью своей он представлял тип того, что называется *bel homme et brave homme* [113], второму качеству в особенности способствовали рыжие усы, густая рыжая борода довольно объемистого свойства и умные пронизательные глаза. Поблекшая ех-красавица, сколько можно было догадаться из некоторых взглядов, улыбок и слов, была заинтересована рыжебородым *bel homm'*ом, а этот в свою очередь интересовался поблекшей красавицей, хотя (внутренно-то), быть может, и вовсе не с той стороны, с какой она предполагала.

У противоположного окна расположилась другая группа: дама на вид лет тридцати, не более, хотя на самом деле ей было тридцать восемь, одетая с такою же элегантно-роскошною простотою, как и первая, с тою только

разницею, что первая уже увядала, а эта еще проходит период второй молодости, блистая созревшей красотой и женственной силой. Высокий, статный рост и роскошно развитые формы, при белом, как кровь с молоком, цвете лица, умные и пронизательные серые глаза под сросшимися широкими бровями, каштановая густая коса и надменное, гордое выражение губ делали из нее почти красавицу и придавали характер силы, коварства и решимости. «Либо королева, либо преступница», — сказал бы физиономист при взгляде на это лицо.

Подле нее расположились в довольно интимных позах двое стариков, и нельзя сказать, чтобы красота и маленькое кокетство их собеседницы не производили на них должного воздействия: старческие улыбки и масляные взгляды красноречиво убеждали в силе впечатления. Один из стариков являл из себя мужчину еще довольно бодрого; его небольшой рост, приземистость и некоторая коренастость говорили в пользу его здоровья; одет он был весь в черное; белье отменной тонкости и белизны; на шее красовался, даже

и в дороге, орден Станислава, на брюшке массивная золотая цепочка, на пальцах многочисленные перстни. Дорогая артистической работы палка и золотая табакерка составляли атрибуты этой особы. О лице его распространяться много нечего; разве сказать только то, что оно носило плебейский, армянско-восточный характер и старалось бакенбардами своими походить на лица солидно-влиятельных петербургских чиновников. В другом старце, напротив, с первого же взгляда невольно давал себя чувствовать прирожденный аристократизм, которым весь он был проникнут. Но, несмотря на этот аристократизм, *pur-sang*, несмотря на солидные годы (ему было под шестьдесят), в старце проглядывало нечто комическое, нечто не совсем-то солидное, что происходило от желания молодиться и выглядеть юношей, даже в некотором роде гаме-ном: пестрый, легонький галстук, коротенький пиджак, полосатые панталоны, легкие, изящные ботинки и, наконец, стеклышко в глазу ясно изобличали в нем если не былого ловеласа, то, во всяком случае, настоящего любителя балета и стереоскопных картинок.

Во всей фигуре его было что-то истощенное, болезненное, в лице порою мелькало даже нечто идиотическое. Старец страдал размягчением мозга. Члены этой последней группы для препровождения времени играли в «чет или нечет». Оба старца, скомкав в кулаке по ассигнации, наперерыв старались, чтобы собеседница угадала четное или нечетное число. Она, смеясь, весьма небрежно и кокетливо произносила то или другое слово — и каждый раз ассигнация которого-либо из старцев переходила в ее дорожную сумку. Там уже лежало немалое количество этих выигранных ассигнаций.

Третью группу составляли: молодая девушка, смуглая и некрасивая собой, и молодой человек, наружности, напротив, весьма красивой, в которой, несмотря на европейский партикулярный костюм, сквозило нечто кавалерийско-военное. В восточном типе девушки ясно сказывалось фамильное сходство с кавалером Станислава, а в молодом человеке — с пепельно-кудрой, полной дамой в белом вуале и со старцем-гаменом. И девушка и молодой человек мало как-то интересовались друг

другом — совершенный контраст двум остальным группам. Девушку больше занимал роман Поля Феваля, а молодого человека — красота собеседницы двух старцев. Его более тянуло все к этой последней, чем к своей соседке, но незаметный взгляд пепельной дамы каждый раз останавливал его подле некрасивой девицы. От зоркого взгляда рыжебородого джентльмена не ускользал этот немой разговор, и он каждый раз только чуть-чуть улыбался про себя какой-то двусмысленной улыбкой, незаметно перекидываясь взглядом с собеседницею старцев.

Наконец пепельная дама не выдержала и подозвала к себе молодого человека.

— Вольдемар, ты забываешь наш разговор, — сказала она ему тихо, весьма близко подвинувшись к его лицу.

— Какой это, маман? — спросил он небрежно.

— Наши планы...

— Но ведь это скучно!

— То от тебя никогда не уйдет, а тут — состояние... Ты забываешь...

— Brigadier, vous avez raison![114] — шутли-

во ответил он, целуя ее руку, и уселся на прежнее место, затем чтобы снова не обращать почти никакого внимания на смуглую девицу.

— Господа, мы у пристани — конец игре! — сказала красивая дама своим обязательным старцам, захлопывая пружину дорожной сумки.

— Игре, но не знакомству, баронесса? — заметил гамен и вставил стеклышко.

— Так не забудьте же имя... генеральша фон Шпильце, — весьма тихо сказала княгиня рыжему джентльмену, выходя с помощью его из вагона.

Тот ответил молчаливым, но многозначительным пожатием руки.

На платформе все это маленькое общество, перезнакомившееся между собой за границей и еще теснее сплоченное теперь путешествием, весьма дружески продолжало болтовню и прощанье, в ожидании своих людей и экипажей. Наконец кавалер Станислава вместе с некрасивой девицей сели в щегольскую двухместную карету, запряженную кровными рысаками; в столь же щегольской коляске поме-

стилились гамен с пепельной дамой и молодым человеком, а рыжебородый джентльмен и баронесса — в наемном экипаже, и со всеми чемоданами отправились вдвоем в отель Демута.

— Ну, как твои дела? — спросил он ее в карете.

— Успешны; девятьсот тридцать в выигрыше, да впереди тысяча шансов: трем дуракам головы вскружила. А ты как?

— Так же, как и ты... Вообще петербургский сезон, кажется, обещает... У тебя не бьется сердце? Нисколько?

— Да чего ж ему биться? — удивилась она.

— Как! а воспоминания?.. Тогда и теперь — боже мой, какая разница!

Баронесса опять улыбнулась своею презрительною мимикой и ничего более не ответила.

Кажется, не для чего прибавлять, что рыжебородый джентльмен, которого баронесса фон Деринг называла своим братом, был Ян-Владислав Карозич, как значилось в отметке полицейской газеты. В кавалере Станислава и его некрасивой спутнице тоже нетрудно

узнать коллежского советника Давыда Георгиевича Шиншеева с дочерью Дарьей Давыдовной. Зато редко бы кто, после двадцатилетнего расстояния, решился признать в ослабленном гамене, в этом полушуте гороховом, страдающем размягчением мозга, прежнего гордого Чайльд Гарольда и великосветского льва — князя Дмитрия Платоновича Шадурского.

Sic transit gloria mundi...[115]

II

СТАРЫЙ ДРУГ — ЛУЧШЕ НОВЫХ ДВУХ

На другой день, утром часов около одиннадцати, Карозич спустился из своего номера в общую залу — пробежать свежие новости. Едва отыскал он в куче русских и иностранных газет «Independence Beige», как к нему очень учтиво подошел неизвестный, но весьма изящно одетый господин, с висками и черненькой бородкой a la Napoleon III, и с предупредительной галантной вежливостью

спросил по-французски, с несколько еврейским акцентом:

— Вы приезжий иностранец?

— Так точно. Я поляк... А вам что угодно?

— Я комиссионер, к вашим услугам... Если вам нужно в сенат или другое присутственное место, на биржу, к банкирам, осмотреть ли город и достопримечательности, указать ли магазины, сделку промышленную устроить, свести с каким-нибудь человеком, — одним словом, все, что касается до петербургской жизни и потребностей, — я ваш покорнейший слуга, можете пользоваться моей специальной опытностью. Я в этот час утра постоянно пью здесь мой кофе.

Комиссионер проговорил все это быстро, но необыкновенно плавно, отчетливо, сознавая собственное достоинство, и с последним словом своего монолога выжидательно поклонился.

— Очень рад, — ответил Карозич, — мне нужно будет узнать один адрес.

— Адрес? и это могу! — подхватил комиссионер, — мне почти все дома в Петербурге и все адреса сколько-нибудь замечательных

лиц вполне известны.

— Генеральшу фон Шпильце знаете?

— Амалию Потаповну? Боже мой, да кто ж ее не знает! Так этот-то адрес нужен?

— Этот самый; вы меня очень много обяжете, если сообщите...

— Отчего же не сообщить? Всегда могу! Конечно, вы могли и сами узнать в адресном столе, но это не совсем-то удобно и мешкотно для иностранца, и притом вы не знаете даже, где адресный стол помещается, тогда как я могу сообщить сию же минуту, — значит, вам двойной выигрыш: время и спокойствие.

— Ну, так сделайте одолжение: мне очень нужно знать.

— Хорошо, хорошо, с удовольствием. А не угодно ли вам осмотреть Эрмитаж, например, Исакиевский собор, к Излеру вечером отправиться? Последнее в особенности я вам рекомендую.

— Мне нужен адрес, только адрес, и пока больше ничего! — с легкой настойчивостью возразил Карозич, ясно заметив, что господин отлынивает от дела и старается заговаривать о вещах посторонних.

— Ах, однако, мой кофе совсем простыл, да и газету еще не дочел я! — скороговоркой пробормотал комиссионер, быстро направляясь в противоположный конец комнаты, к своему месту, откуда весьма любезно кивнул из-за газеты Карозичу:

— Извините, я одну только минуту.

Но прошло и целых десять, а он все еще не двигался с кресла, уткнув нос в свою газету, и словно совсем позабыл не только об адресе, но и о существовании самого-то Карозича.

Этот последний, наконец, понял, что предвзвительно надо дать денег, а потом уже спрашивать, что нужно, и потому, вынув из кармана бумажник, направился к столику комиссионера.

— Ваша специальность — ваш труд, — начал он, сжав в кулаке трехрублевую ассигнацию. — Всякий труд должен вознаграждаться. Поэтому, так как я неоднократно буду еще пользоваться им — позвольте мне...

За недоговоренной фразой последовала обычно секретная передача, вроде известных передач за визит малознакомым докторам.

— Ах, помилуйте, что вы! как будто уж и

нельзя без этого? Мне очень совестно, право, — смущенно заговорил комиссионер, пряча в карман (тоже маскированно и незаметно) полученную бумажку. — Извините меня, я так заинтересовался политикой: из Италии весьма интересные новости, — прибавил он, радушно пожимая его руку. — Так вам нужен адрес т-те фон Шпильце? Позвольте, я вам запишу: «Большая Морская, дом № 00, имя — Амалия Потаповна». Вам ее самое нужно видеть? — спросил он, отдавая клочок.

— Ее лично.

— Ну, так ступайте в правый подъезд, где швейцар стоит, а в левый не ходите...

Карозич хотя и не понял, почему это не должно ходить в левый подъезд, если есть необходимость лично до самой генеральши, однако, не продолжая далее расспросов, решил последовать совету комиссионера.

* * *

Лишние двадцать лет на плечи хоть кого изменят. Генеральша фон Шпильце тоже отдала свою дань времени. Хотя на калмыцко-скуластом лице ее все так же лежал слой очень тонких косметик, но это уже была на-

беленная и нарумяненная старуха пятидесяти пяти лет от роду. Дородная полнота ее разбухлась в тучность. Одни только широкие шелковые платья шумели на ней по-старому. Впрочем, и рыжие немецкие волосы, и карие жирные глаза в толстых веках так же пребывали в благополучной неизменности; зато вздернутый французский нос — увы! — преобразился в сущую картошку и напоминал плохо пристегнутую пуговку. Но апломб, важность и манера держать себя с клиентами и посетителями, как и во время оно, остались все те же, если еще не усилились, ибо, как известно, ничто столько не способствует к умножению в человеке гордости, важности и самолюбивого апломба, как сознание своих преклонных лет, своей почтенной и безукоризненной старости. А m-me фон Шпильце не только старость, но и всю жизнь свою считала вполне почтенною и безукоризненною.

Генеральша осталась очень удивлена, когда ей передали визитную карточку с надписью «Jahn Wladislaw Karosicz» — имя, ей совершенно неизвестное. Это ее весьма заинтересовало, так что она решилась тотчас же при-

нять его.

— Я к вам от княгини Шадурской, — начал Карозич, отдав ей джентльменски изящный поклон. — Она просит вас принять меня под свое покровительство, — добавил он с мило игривой улыбкой.

Генеральша осмотрела всю его фигуру испытующим взглядом.

— Княгиня принимает это дело близко к своему сердцу? — спросила она неторопливо.

— Весьма близко, сударыня.

— Очень рада быть ей полезной, только попросите княгиню приехать в модный магазин, здесь же, в этом самом доме — вы, вероятно, заметили внизу?..

— Зеркальные стекла? — подхватил Карозич.

— Он самый. Попросите княгиню переменить свою портниху и вперед заказывать шляпки и платья внизу. Скажите ей, что послезавтра в два часа я сама буду там ожидать ее, а вас попрошу явиться ко мне за полчаса до ее приезда.

Проговорив это, генеральша слегка поклонилась солидным, сдержанным поклоном, ко-

торый ясно говорил: «Можете удалиться», — и Карозич тотчас откланялся.

* * *

— Ба! Это вы?! Вы здесь?.. Какими судьбами?.. Вот неожиданная встреча!.. давно ли?

Карозича внутренне передернуло от этой действительно неожиданной встречи, застигшей его врасплох на лестнице генеральши фон Шпильце, однако он весьма любезно улыбнулся и еще любезнее пожал протянутую ему руку.

— Ну что? Как дела, батюшка мой? Верно, швах, коли в Россию перебрались! О, родина святая! Какое сердце не дрожит, тебя благословляя! Признайтесь-ка, ваше, верно, тоже немножко встряхивалось, когда через заставу переезжали? Впрочем — pardon! — с этой стороны я ваших качеств не знаю! — бесцеремонно говорил Карозичу его знакомец, не выпуская руки его из своих радушных ладоней.

— Ну, что Баден-Баден, рулетка? Что cercle des lapins, cercle des roignards?[116] — продолжал он, остановясь на площадке.

— Да что, в самом деле плохо, — вздохнул Карозич. — Принужден был уехать.

— То есть как же это? мит гросс шкандаль?

— Ну, нет, это уж последнее дело; но... надо было сохранить честь своего имени — благо-разумие того требовало, — сквозь зубы проце-дил Карозич.

— Это правильно. Однако что же мы сто-им-то тут? Отправимтесь лучше позавтракать к Дюссо, да потолкуем, — предложил незна-комец, взяв Карозича под руку и сводя его с лестницы. — Я вас сегодня не выпущу, зане мы друг другу зело полезны быть надлежим. Эй! швейцар, — крикнул он мимоходом от-ставному усачу в ливрее, — скажи генераль-ше, что я к ней после заеду, а теперь кликни мою коляску.

Знакомец Карозича — высокий блондин, с великолепной русой бородой и усами, немного косоватый, в золотых очках, казал-ся мужчиною лет сорока восьми, впрочем, необыкновенно крепким, бравым и бодрым. Одет он был столь же джентльменски модно, как и Карозич, только во всей фигуре его как-то сразу давала себя чувствовать старовоен-ная, кавалерийская складка. Это был также один из числа наших знакомых — Сергей Ан-

тонович Ковров.

— Ну, что, вы все еще по-старому продолжаете держаться теории экономистов-собственников и принципа одиночности? — поллушутливо расспрашивал Ковров, трудясь над холодной пуляркой за завтраком, который был подан нашим знакомым в одном из отдельных кабинетов ресторана Дюссо.

— Я нахожу это практичнее, — прожевал Карозич, в глубине души крайне досадовавший на свою встречу.

— Вы ошибаетесь. Совсем отживший принцип! Деятнадцатый век, батюшка мой, — век социализма, и я нахожу гораздо практичнее теории ассоциаций.

— То есть в отношении зеленого поля?

— О зеленом поле нечего и говорить: тут уж без крепкой и, заметьте, хорошо организованной ассоциации и шагу ступить нельзя. Но нет, я нахожу, что и во всех остальных отраслях индустрии она необходима в наше время.

— А языки? а малодушие? — с улыбкой заметил Карозич.

— Стало быть, вы полагаете, что по посло-

вице: «Один в деле — один и в извороте», гораздо лучше выходит? Не спорю; тут, конечно, есть своя доля справедливости; но ведь для этого у нас — голова, а в голове мозги; — надо рассудить да зорко разглядеть сначала, кого принимаешь в долю, каков он, значит, гусь из себя выходит. Люди, батенька мой, в этом случае берутся не зря, а с разбором. Он у меня, каналья, сперва сорок искусов да двадцать мытарств пройдет, прежде чем я-то приму его. Вот оно что-с!

— Все-таки это менее надежно, — возразил Карозич.

— Зато более гуманно! — отпарировал Ковров. — Сами едите — давайте есть другим! а иначе — что ж это? своего рода плантаторство, эксплуатация. Да и наконец, черт возьми, мне без риску скучно работать! да и не то что «скучно», просто — гадко! противно! Вот что-с! Я вам скажу откровенно: для меня то дело, где нет ни малейшего риску — не дело, а дрянь!

Карозич улыбнулся.

— Ну вот, вы улыбаетесь, а улыбаться тут, право, нечему: я говорю дело, — заметил Ков-

ров. — Вспомните два года назад в Гамбурге, когда и вам и мне порознь весьма-таки плохо приходилось — ну, не встретиться мы на ту пору, не узнай по случайной старине друг друга да не соединись наконец вместе — что бы вышло? Ведь, слава богу, если бы только конечное разорение, а могло бы ведь и сырыми стенами попахнуть.

— Это так, — вздохнул Карозич после минутного размышления.

— Ну вот вам и ассоциация! Пример, кажется, довольно нагляден. А теперь позвольте вас спросить — вы приезжаете в Петербург в первый раз после двадцатилетнего отсутствия, — ведь вы все равно что в чужой город приехали. Спрашивается: как вы начнете свою деятельность без связей и поддержки со стороны ассоциации?

— У меня есть уже некоторые знакомства в свете, — пояснил Карозич.

— Кто это? Генеральша фон Шпильце, что ли?

— Положим, хоть бы и она.

— Хорошо-с. Персона доброкачественная, в некотором роде ингредиент, необходимый в

делах мира сего. А что вы скажете, батенька мой, — заговорил он вдруг, неторопливо повышая тон и пристально прищурясь на Карозича, — что вы скажете, как если, при посредстве той же самой благодетельной генеральши, вас в одно прекрасное утро административным порядком из городу вон отправят. Что вы мне скажете на это?

— То есть как же это, однако? — в недоумении откинулся Карозич на спинку стула.

— А так-с, что эта самая генеральша — особа весьма многосторонняя, и связи у нее почище наших с вами. Генеральша сия — изволите ли видеть, — пояснил Ковров, медленно прожевывая кусок и в то же время не переставая наблюдать своего собрата, — генеральша сия есть в некотором роде меч, и меч не простой, а обоюдоострый, и чего для нас с вами невозможно сотворить, то она созидает весьма легко и удобно.

— Но у меня ведь не одна генеральша, — защищался Карозич, — у меня есть много и других — людей порядочного общества и людей состоятельных, с которыми я был знаком за границей, а ведь это, согласитесь, поле до-

вольно широкое.

— Да, но все это общество столько же ваше, сколько и мое, — возразил Ковров, — вам еще нужно вступать в него здесь, в Петербурге, тогда как я уже давным-давно член этого общества, живу в нем и действую. Как видите, шансы немножко неравны. И, наконец, я — человек открытый и, как порядочный человек, буду с вами откровенен: я вам буду вредить в этом обществе, да и во всяком, где бы вы ни показались.

— Это, однако, почему же? — полухмуро, полуулыбаясь спросил Карозич.

— Потому, — объяснил Ковров, — что вы — сила, вы — такая же сила, как и я; вы так же умны и почти так же опытны, как и я. Порожнь мы будем только мешать и портить друг другу; вместе — мы можем обделывать великолепные дела. Не спорю, вы в свою очередь также можете мне нагадить и подстроить невкусную каверзу, но пока — большинство шансов на моей стороне: вы одни, одни, не забудьте! а у меня — целая партия... Если, впрочем, вы приехали сюда с целью сделаться мирным гражданином, забыть свое про-

шное, то помогай вам господи! — прибавил он, дружески взяв Карозича за руку. — Я вам мешать и смущать вас не стану; если же нет, то выбирайте сейчас между враждой и дружбой. Кем мне прикажете считать вас?

Карозич с минуту нахмурился, провел по лицу ладонью и, наконец, решительно сказал ему:

— Другом!

— Оно гораздо удобнее для обоих. Теория ассоциации, значит, торжествует! Bravo! Я радуюсь столько же за идею, сколько за вас самих, — говорил Ковров. — Поверьте, милый Карозич, нам выгоднее быть друзьями; положим, — продолжал он, — в то время, как вы только выступали на поприще, я уже был капитаном, но... время и люди уравнили нашу опытность, недаром же я и тогда еще предрек, что вы далеко пойдете. Но, знаете ли, хотя вы в тысячу раз сдержаннее, уклончивее, сосредоточеннее меня, — я, черт возьми, слишком открыт! — но это, мой милый, отнюдь не мешает мне очень тонко понимать вас и видеть насквозь вашу внутреннюю: видите ли, как я бесцеремонно и простовато откровенен

с вами?

— То есть вы мне даете этим понять, что надо мной и моими поступками будет контроль? — серьезно спросил Карозич.

— Да, мой друг, маленький тайный контроль, вы не ошиблись! И это, поверьте, нелишнее с такою силою, как вы!

— Значит, вы мне не доверяете? — сухо, оскорбленным тоном спросил Карозич.

— Нисколько, равно как и вы мне, надеюсь, — очень просто и равнодушно ответил Ковров.

— Но ведь я над вами контроля не утверждаю?!

— Потому что не имеете возможности; а будь у вас средства да надежная партия — тогда, позвольте мне в том уверить вас, непременно бы учредили и даже постарались бы меня, как лишнего человека, что называется, подвести под амбу.

Ковров при этом сделал весьма выразительный жест столовым ножом.

«Амба!»... При слове «амба» в памяти Карозича мелькнуло как будто что-то знакомое, но далекое, когда-то и где-то им слышанное и

давно позабытое. Однако из выразительного жеста ножом он понял, что такое означает «подвести под амбу», и личные мускулы его слегка передернуло.

— Успокойтесь, с вами этого не случится, если вы не шпион, — утешил его Ковров. — А шпионом вам быть здесь, кажись, несколько мудрено, если принять в соображение ваше прошлое и вашу заграничную жизнь. Да, наконец, оно и менее выгодно... Вы сколько раз меняли свое имя и паспорт? — неожиданно прибавил он. — Раза три было ведь.

— Что же из этого? — недовольным тоном возразил Карозич.

— Я ни разу! Я как был, так и есть отставной поручик Черноярского полка Сергей Антонов сын Ковров. Ergo: я ловчее вас, и однако вот предлагаю вам, как благородный человек, дружбу, равное значение и равную долю в барыше и в несчастьи.

— Хороша дружба, — иронически заметил Карозич.

— *Coute que coute, mon cher*[117]. Товар лицом продаю, — пожав плечами, согласился Сергей Антонович. — Со временем, когда мы

нашими общими аферами запутаемся с вами в один неразрывный гордиев узел, эта дружба может перейти в дружбу Кастора и Поллукса — истинную, настоящую, если который-нибудь из нас не захочет сделаться Александром Македонским. А теперь, для доброго начала, мы с вами задушим одного младенца невинного.

— Младенца? — выпучил глаза Карозич.

— Да, задушим младенца в честь нашей дружбы и союза! — подтвердил Ковров. — Это на моем собственном argot значит распить бутылку шампанского. Хоть я этого брандахлысту и никогда не употребляю, но на сей раз готов сделать исключение.

— Итак, договор решен и подписан! — пять минут спустя заключил Сергей Антонович, чокаясь с Карозичем стаканами. — Мы с вами старые друзья, а старый друг и по пословице — лучше новых двух выходит!

III

ПРОМЕЖУТОК

Читатель до сих пор остается в полной неизвестности относительно судьбы некоторых лиц, брошенных автором двадцать лет тому назад, кто на судне контрабандиста среди Ботнического залива, кто — среди приготовлений к отъезду за границу, кто — так себе, позабытым в толкотне и суетне Петербурга. Что, например, случилось с беглянкою Наташей и ее спутником Казимиром Бодлевским? Что поддельвала во все это время почтенная чета Шадурских? Что, наконец, остальные? Об остальных еще речь впереди, судьбу их читатель узнает в надлежащем месте: о Шадурских же с Бодлевским и Наташей мы намерены поведать вкратце сию же минуту, для чего собственно и начали эту главу.

Судно перерезывало Ботнический залив по направлению к шведскому берегу. Поздно вечером прокралось оно на стокгольмский рейд, и отважный финн в легком челноке, лавируя в тени между крутыми смолеными бо-

ками многочисленных судов, — дело было для него привычное, — причалил со своими пассажирами к берегу в одном укромном местечке, близ одной укромной таверны, куда редко проникала бдительность таможенных надсмотрщиков. Бодлевский, заранее приуговоря надлежащую, весьма скромную сумму для расплаты за провоз, очень жалостливо стал уверять финна, посредством пояснительных жестов, мин и русских слов, насколько тот мог понимать их, что он весьма бедный человек и даже не имеет возможности заплатить вполне условленные деньги. Недочет был невелик, всего каких-нибудь два рубля, и добродушный финн оказал ему великодушие: хлопнув его по плечу, назвал добрым камрадом и сказал, что с бедным человеком спорить не станет и услугу оказать всегда готов. Он даже приютил его с Наташей на ночлег в укромной таверне, под своим покровительством. Финн был в самом деле очень честным контрабандистом. На другое утро, окончательно простившись со своим поднадутым перевозчиком, наша чета направилась в дом английского консула и выпросила себе ауди-

енцию. Здесь уже главным деятелем явилась Наташа.

— Мой муж — поляк, — говорила красавица, сидя против консула в его кабинете, — я же сама по отцу — русская, по матери — англичанка. Мой муж замешан в политических делах; ему предстояла Сибирь, но нам случайно удалось бежать в то самое время, когда явились его арестовать. Теперь мы политические беглецы и отдаемся правительству и защите английских законов. Будьте человеколюбивы, приютите нас и отправьте в Англию!

Обман, посредством хитро сплетенных и очень правдиво рассказанных подробностей дела, удался как нельзя лучше — и через два три дня первое же попутное судно под английским флагом увозило в Лондон совершенно счастливых путников.

Бодлевский уничтожил и свой собственный паспорт и вид вдовы коллежского асессора Марии Солонцовой, который был нужен Наташе только на всякий случай, пока она находилась в пределах России. В Англии гораздо удобнее казалось им назваться новыми именами. Но, в новом положении, и с этими

новыми именами явилось одно большое неудобство: решительно нельзя было пустить в ход своих капиталов, не навлекая на себя весьма опасных подозрений. Разностороннее искусство лондонских мошенников известно всему свету: в клубе их Бодлевскому, который не замедлил свести там необходимые и приятные знакомства, удалось еще раз добыть себе и Наташе удивительно подделанные паспорта, опять-таки с новыми именами и званиями. С ними-то несколько времени спустя и появились они на континенте. Молодость и страстная охота пожить и насладиться ключом кипели в обоих; в горячих головах роилось много золотых надежд и планов: хотелось, во-первых, пристроить куда-нибудь понадежнее свои капиталы, потом поехать по Европе, избрать себе где-нибудь уголок и поселиться для мирной и беспечальной жизни. Может быть, все это так бы и случилось, кабы не карты и не рулетка, да не желание ненасытно приумножить на счет фортуны свои капиталы — и попали они, рабы божии, в лапы одной доброй компании, агенты которой обыгрывали их и в парижском Frascati, и в

Гамбурге, и на различных водах, так что не прошло и года, как Бодлевский в одну прекрасную ночь вполне мог применить к себе известное изречение: «Яко наг, яко благ, яко нет ничего». Впрочем, год-то прожили они блистательно, появление их в каждом городе производило некоторый эффект, и в особенности с тех пор, как Наташа стала титулованной особой: в течение этого года ей удалось приобрести, по случаю, очень дешево австрийское баронство, конечно, только на бумаге. Спустив все свое состояние, Бодлевскому ничего более не оставалось, как только самому вступить в члены той же самой компании, которая так успешно перевела в свои карманы его деньги. Красота Наташи и качества Бодлевского явились аргументами такого рода, что признать обладателей их своими сочленами компания нашла весьма полезным. Дорого заплатила чета за науку, зато наука пошла впрок и стала приносить порою плоды весьма обильные. И пошли тут дни за днями и годы за годами, ряд самых мучительных, тревожных ночей, целый ад сильных ощущений, волнений душевных, самых тон-

ких и ловких хитросплетений, вечная гимнастика ума ради уловок, обмана и изворотливости, целый цикл афер и мошенничества, целая наука хоронить в воду концы и вечный призрак суда, тюрьмы и... может быть — эшафота. Бодлевский, с его упорным, настойчивым и сосредоточенным характером, достиг высшей школы в искусстве вольтов и тому подобных штук. Он мог обыграть на чем угодно: и на зеленом поле ломберного стола, и на зеленом поле бильярда, в лото, в кегли, в орлянку. Тридцати лет от роду, он казался старше по крайней мере десятью годами: эта жизнь, эти упорные усилия и вечная работа ума, вечная тревога ощущений перешли в нем в какое-то фанатическое служение своему делу — факирство перед своим идолом. Он явно сохнул физически и старел нравственно, одолевая все трудности своей профессии, и только тогда успокоился и просветлел духом своим, когда во всех многообразных отраслях своего призвания достиг последнего совершенства, почти идеала. С этой минуты он переродился: он помолодел, он самоуверенно и солидно ободрился, даже поздоровел весьма

заметно, и именно с этих пор принял вполне уже джентльменский вид и выдержку. Что касается Наташи, то жизнь и стремления, общие с Бодлевским, вовсе не имели на нее такого сильного, сокрушающего влияния, как на этого последнего. Ее гордая, решительная натура принимала иначе все эти впечатления. Она отнюдь не переставала расцветать, хорошеть, наслаждаться и пленять собою. Все то, что вызывало столько глухой внутренней борьбы и нравственных страданий у ее любовника, в ней встречало полнейшее равнодушие, и только. Происходило это вот отчего: решаясь на что-нибудь, она всегда решалась сразу и необыкновенно твердо; весьма немного времени ей нужно было на очень верное и тонкое соображение, чтобы быстро взвесить все выгоды и невыгоды дела — и затем уже без устали непреклонно и холодно идти к задуманной цели. Первая цель ее жизни была месть, потом — блеск и комфорт, расплата за них — может быть, плаха. Наташа твердо знала, что это так, да иначе почти и быть не может, и потому, вступив на избранный однажды путь, уже постоянно остава-

лась спокойной и равнодушной, продолжая блистать и пленять собою мошенников и честных. Ее ум, образование, ловкость, находчивость и прирожденный такт дали ей возможность за границу, везде, где она ни показывалась, быть постоянно в среде избранного аристократического общества, да и место-то занимать там далеко не из последних. Многие красавицы завидовали ей, ненавидели, злословили ее — и все-таки искали ее дружбы, потому что она почти всегда первенствовала в обществе. Ее дружба и участие казались так теплы, так искренни и нежны, а ее эпиграммы так ядовиты и безжалостно колки, что каждое злословие меркло перед этим солено-ядовитым огнем, и, стало быть, ничего уже лучше не оставалось, как только искать ее дружбы и расположения. Если, например, в Бадене дела шли хорошо, то всегда можно было наверное предсказать, что по окончании водного сезона Наташа будет в Ницце или в Женеве царицею сезона зимнего, явится львицею львиц и законодательницей моды. И она и Бодлевский всегда держали себя так умно, так осторожно, что ни малейшая

ть не ложилась на честь и достоинство вымышленного имени Наташи. Бодлевскому, впрочем, раза два приходилось перекрещивать себя в новые клички и совершать внезапные экскурсии с юга Европы на север, но таков уж был самый род его занятий, что необходимо требовал этих внезапных перемен местностей — иногда по чутью денег и выгодной аферы, а иногда и по чутью полицейских комиссаров. Доселе все ему сходило с рук благополучно и до «чести его имени» неприкосновенно, как вдруг открылся один маленький подложец; дело пустячное, да беда — произошло-то оно в Париже: могло судом и галерами попахнуть, — и вот новая, необыкновенно быстрая перемена паспорта и новая экскурсия — в Россию, возврат на родину, после двадцатилетнего отсутствия, с именем новым, почтенным и никакою фальшью не запятнанным.

Таким-то вот образом в полицейской газете значилось, что прибыли в С.-Петербург Ян-Владислав Карозич с баронессою фон Деринг.

* * *

Очередь за Шадурскими.

Жизнь этой великосветской четы представляет весьма немного интереса в течение двадцатилетнего промежутка. Нравственный удар, нанесенный князю господином Морденко, был, конечно, очень силен; но это оттого, что нанес его именно господин Морденко. Что касается до его супруги, то «он помирился с ней по размышлении зрелом», ибо, прежде всего, приличие было сохранено, тайна происшествия не нарушена, отъезд за границу еще более укрепил эту тайну, и князь Дмитрий Платонович остался совершенно доволен, насколько могло только простираться довольство в подобном положении. Но княгиня Татьяна Львовна совершенно не удовольствовалась такою развязкою. Она не простила мужу второй пощечины и с этих пор считала себя вправе поступать и распоряжаться собою, как ей угодно. До истории с г. Морденко и до этой пощечины они полагали, что уважают друг друга, а после сих многозначительных обстоятельств начали полагать, что перестали друг к другу питать уважение. Впрочем, жили вместе и все внешние формы соблюдали неукоснительно по-прежнему; значит,

внакладе осталось одно только фиктивное чувство взаимного уважения, от которого ни тому, ни другому теплее или холоднее не было, и, следовательно, можно сказать с достоверностью, что течение их жизни нимало не изменилось, за исключением разве того, что супруги в отношении своих сердечных дел совершенно перестали чиниться друг перед другом, особенно же во время своих заграничных поездок. Разница между ними замечалась только та, что супруга занималась своим сердцем, ни на минуту не переставая быть строгой Дианой, занималась им в камер-обскуре приличия, где для ее только глаз отчетливо и ясно мелькали фигуры какого-нибудь гарсона или виконта, ее парикмахера и оперного тенора. Супруг же изображал все это въяве, стараясь приобрести славу женатого повесы и ловеласа, подобно тому как прежде старался приобрести славу российского Чайльд Гарольда, но, увы! вследствие означенных стараний, под старость дней своих достиг размягчения мозга и комической наружности модного гамена. Словом сказать, эта обоюдная жизнь в течение двадцатилетнего

промежутка не была ни возмущена, ни потрясена чем-либо особенным и, отличаясь известными читателю качествами, шла себе ровно и гладко по колее обыденной пошлости. Но в этот же самый промежуток успел вырасти и отлиться в особую форму сын их.

IV

КНЯЗЬ ВЛАДИМИР ШАДУРСКИЙ

У князя Владимира в детстве не было детства, не было того, что мы привыкли обыкновенно понимать и называть детством. Оттого-то и в юные годы у него не было юности. Он остался каким-то странным выродком. У него не было детства, говорим мы, и оттого никогда впоследствии не было зрелости. Князем Владимиром еще и в колыбели уже все любовались. С тех пор, как только не стал он проносить ложки мимо рта и начал кое-как смыслить человеческие слова, ему постоянно приходилось слышать необыкновенные похвалы и восторги в свою пользу. Все восхищались его наружностью, называли красавцем, и действительно он был красивый ребен-

нок. Всякая его шалость и всякая вовсе не красивая выходка служили поводом к похвалам и восторгам. Мальчишку, например, возьмет кто-нибудь поласкать на колени, а он ручонкой или зубами цапнет за щеку, и начинаются «ахи»: «Ах, какой смелый ребенок! quelle independance![118] И какой умный ребенок, как он все это понимает!» и т.п. — бесконечные рассказы об уме, смелости и тому подобных прекрасных качествах. Князьку хочется в песке покопаться, а его останавливают: «Mon prince, mon prince, que faites-vous! est-ce convenable?[119] * Это прилично детям мужика или чиновника какого-нибудь, а не княжескому сыну!» — и князь, убежденный последним аргументом, перестает копать. Затем, например, хочется ему чего-нибудь такого, что никак не может быть удовлетворено в данную минуту, — князь тотчас же хлоп на пол! начинает злиться, терзать свое платье, с криком и плачем, катается по паркету, брыкаясь руками и ногами, а окружающие предсто-ят в изумлении, взирая на эти проделки, и удивляются: «Какой необыкновенный, силь-ный характер у этого ребенка, какая настой-

чивость!»

Около пятилетнего возраста его личные качества начали выясняться рельефнее. Обозначались они по большей части в Летнем саду, на этой первой арене детской общественной жизни, куда отправлялся он на гулянье вместе со своей нянькой и гувернанткой. Подходит к нему мальчик и приглашает играть. Князек окидывает его смелым взглядом и говорит: «Я не пойду играть с тобою: у тебя панталоны грязные». Мальчик отходит от него сконфуженный, огорченный, чтобы дать место другому, одетому столь же изящно, как и князек. Второй зовет его играть точно так же.

— А вы кто такой? — спрашивает князь.

— Я?.. Ваня...

— А ваш папа кто?

— Он... офицер...

— Он князь или генерал?

— Нет, не генерал...

— А!..

И маленький князек не обращал более ни малейшего внимания на офицерского сына. Он сразу примкнул к кружку аристократическому, куда, впрочем, привела его гувернант-

ка, ибо в Летнем саду няньки и гувернантки, принадлежащие аристократическим семействам, всегда держатся отдельно, составляют свой кружок и с остальными не мешаются. В кружке детей аристократической породы маленький князек сразу одержал верх над остальными детьми. Он разыгрывал роль маленького царька и деспотствовал в играх, как ему было угодно. Из девочек старался всегда выбирать ту, которая лучше всех одета, красивее всех лицом, выше ростом и старше годами. В детях такого характера необыкновенно рано пробуждаются бессознательные инстинкты.

Однажды на даче он дал пощечину ровеснику своему, сыну садовника, за то, что тот не смел по его приказанию выдернуть из грядки какое-то растение. Княгине Татьяне Львовне это показалось уже слишком для такого ребенка, и она пожелала внушить своему сыну пример христианского смирения.

— Проси у него прощения! — сказала она ему, подозвав обоих.

— У кого? — с удивлением спросил маленький князек.

— У этого мальчика... ты его обидел, и я требую, чтобы ты просил прощения.

— Madame! vous oubliez, que je suis le prince Chadoursky![120] — гордо ответил князек и, круто повернувшись, отошел от своей матери. Княгиня ничего не нашлась возразить против такого сильного и неоспоримого аргумента.

И это говорил шестилетний ребенок! Таким образом, маленький Шадурский с самого раннего возраста был убежден в трех вещах: во-первых, что он — князь и что равных ему никого нет на свете; во-вторых, что он — красавец, и в-третьих, что он может желать и делать все, что ему угодно, ибо за красоту и за те качества, которые почитались в нем милыми и умными, ему многое прощалось. Однажды его побили, т.е. драку начал он первый и хватил за ухо того же садовничьего сына. Садовничий сын, спустивший ему прежнюю оплеуху, на этот раз распорядился иначе и порядком-таки помял задирчивого князька, надававши ему в свой черед оплеушин. С князьком в тот же день сделалась нервная горячка, и долго после этого обстоятельства не мог он

слышать о садовничьем сыне и его побоях без того, чтобы не задрожать всем телом и не за- сверкать глазами от бессильной злости и оскорбленного самолюбия. Урок этот послу- жил ему единственно в том отношении, что он на будущее время не дрался уже без разбо- ру, а вступал в бой только с слабейшими себя. Его упражняли в гимнастике, которая ему приходилась очень не по нутру: он был изне- женный мальчишка. Но когда ему сказали, что гимнастика развивает силу, князек пре- дался ей со всем жаром, имея тайную цель — уничтожить садовничьего сына, как только сделается силен. Хотя уже этого садовничьего сына давным-давно не было на месте, но кня- зек по временам с детским злорадством пре- давался мечтам о том, как он отыщет этого негодяя и каким образом и сколько именно раз будет бить его. Эти мечты всегда сопро- вождались злостным раздражением и слеза- ми. Восьми лет от роду он прекрасно болтал по-французски и по-английски, с трудом по- полам понимал по-русски, ловко гимнастиро- вал и ездил на лошади, грациозно танцевал, стараясь подражать словам и манерам взрос-

лых, отменно хорошо знал, что у m-me N. фальшивые волосы, а у m-lle M. три вставных зуба, о чем подслушал однажды у кого-то и потом постоянно сплетничал другим; а не знал ни читать, ни писать, и заставить его учиться не было никакой возможности. Сведения его об отечестве простирались, впрочем, настолько, что он знал qu'il y a un pays, qui s'appelle la Russie, habite par des moujiks [121].

Знал он также, что есть на свете Paris et les provinces[122], а когда его спрашивали, что же это за provinces[123], князек отвечал: «On dit, que c'est Tamboff»[124][125]. Этим и ограничивались пока все его научные познания. Впрочем, ради беспристрастия мы должны сообщить, что и в двадцать лет их прибавилось весьма немного против прежнего. Вообще маленький князек знал много такого, чего дети не должны знать, и не знал того, что все дети обыкновенно знают. Это была какая-то тройная смесь пародии на взрослых, enfant terrible [126] и барчукского тупоумия. Десяти лет от роду он был сдан на попечение почтенного старца-гувернера, monsieur Поро или

Сосо*****, что, впрочем, совершенно все равно. Monsieur Poro был старичок добродушно-почтенного вида, отменной нравственности и без масляной улыбки не мог видеть свежих, розовых щек молодых мальчиков и девушек, что, без сомнения, относилось к его добродушию. Monsieur Poro плотно кушал, безмятежно почивал и умеренно водил гулять своего питомца, но — как ни бился и как ни старался — за букварь усадить его не мог. Однажды, возвращаясь к себе в комнату, старец застиг в ней своего воспитанника, который предавался прилежному рассматриванию коллекции игривых картинок с подписями и объяснениями весьма двусмысленного свойства. Старец сначала было испугался, потом принял вид суровый, а потом не выдержал: мгновенная суровость уступила место обычному благодушию, и на лице его заиграла масляная улыбка. Князек, с покрасневшимся лицом и сверкающими глазками, стал упрашивать старца прочесть ему подписи, чтобы вполне уяснить себе смысл и значение картинок. Monsieur Poro прочесть ему все сразу не захотел, ибо смекнул, что это любо-

пытство и эти литографии могут послужить благим и завлекательным предлогом для обучения молодого князька чтению и письму, и действительно, первый урок был дан им тотчас же по подписям, которые так хотелось узнать питомцу. Старец убедил его никому не говорить об этих занятиях и обещал, если воспитанник сумеет молчать, показать ему впоследствии множество картинок и книжек еще лучше настоящих. Таким образом князь Владимир выучился читать по игривым картинкам.

Ему было не более двенадцати лет, когда он читал уже «La Justine» маркиза Сада. Это было одно из первых сочинений, которые прочел он благодаря библиотеке Monsieur Роро. С одним из томов «La Justine» поймала его однажды сама княгиня Татьяна Львовна.

— Что это у тебя за книга? Как ты смеешь это читать? Кто тебе дал ее?

— Signor Rigotti, — резко и смело ответил мальчик, смотря в глаза своей матери.

— Лжешь! не может быть! Я скажу твоему отцу и monsieur Роро, какие ты книги читаешь, безнравственный мальчишка! — возму-

тилась княгиня, ибо signor Rigotti, певец итальянской оперы, был в то время близок ее нежному сердцу.

— А вы разве читали ее? — невозмутимо спрашивал юный князек.

— Я не читала, но я знаю!.. Я непременно пожалуюсь и гувернеру и отцу, я все расскажу им! — волновалась княгиня.

— А когда так, так и я расскажу! — возразил князь Владимир.

— Что ты расскажешь, дерзкий мальчишка?

— Вы думаете, я боюсь их? Нисколько не боюсь! А вот я знаю, что у вас с Риготти! — нагло ответил он. — Я знаю... я видел... и тоже все расскажу отцу, и... и всем расскажу!

Княгиня, никак не ожидавшая подобной развязки, разрыдалась, подверглась продолжительному припадку истерики, но про «Justine» маркиза Сада никому не сказала ни слова.

Двенадцатилетний мальчик понял, что с этой минуты мать до некоторой степени у него в руках, что поэтому он может командовать ею и еще более делать все, что ему угод-

но. Четырнадцать лет он тайком посещал вместе с добродетельным и на вид пуританически строгим monsieur Роро различных героинь загородных балов и места вроде знаменитого Rue Joubert, № 4. В эти молодые годы князь Владимир Шадурский был уже развращен совершенно, развращен так, как иному не приходится и в сорок лет развращаться. Словом сказать, это был вполне достойный ученик достойного monsieur Роро. Все это, в совокупности с блистательною наружностью, с потворственными восторгами и отношениями к нему окружающих, сделало из князя эгоиста, деспота, вспыльчивого человека, циничски развратного втайне и элегантно-приличного въяве. Никогда не встречая противоречия своим прихотям, он не знал, не понимал, что значат слова «нельзя» и «невозможно», — для него все было «можно», все было доступно и достижимо, стоило только пожелать хорошенько. Это убеждение поддерживалось еще более сознанием того, что он богат и знатен. Воспитание и образование свое князь Владимир получил преимущественно за границей — в Париже и в Италии.

К двадцати годам прибыл он, наконец, в Россию, с тем чтобы поступить на службу в кавалерию. Все окружающие его — а он сам более всех — были убеждены, что ему стоит только захотеть, и он весьма легко и удобно сделается чем угодно: и бюрократом, и администратором, и финансистом, и дипломатом, и по любой из этих отраслей непременно займет пост видный и соответственный его званию и положению в свете; но князь Владимир предпочел военную службу, ибо, во-первых, ему более всего нравился блестящий мундир, а во-вторых, — более всего на свете, после себя самого, любил он лошадей, собак и оружие. С протекцией да с помощью известных убедительных аргументов выдержал он кое-как, с грехом пополам, экзамен и надел красивую форму. Форма окончательно развязала ему руки, и вступление свое на жизненное поприще князь Владимир ознаменовал тем, что через полторы недели после приобретения полной самостоятельности проиграл на бильярде десять тысяч серебром да на пятнадцать надавал векселей в разные руки.

Он положительно стал блистать в петер-

бургском обществе. Его кровные лошади и великолепные экипажи красовались на Невском проспекте, на Дворцовой набережной и на Елагинской стрелке — повсюду, где только хотя сколько-нибудь пахло beau mond'ом. Толпа приятелей, сеидов и поклонников всегда окружала молодого князя, ибо рада была поесть на его счет у Дюссо, покататься рядом с ним в его лондонском тюльбюри и с независимым видом поглазеть на француженок из его литерной ложи. Князь олицетворял в своей особе тип новейшего великосветского денди военного покроя. К женщинам относился он пренебрежительно и при своем непомерном сластолюбии измерял женские достоинства не чувством и умом, а единственно их стоимостью, количеством бросаемых на них денег. Двадцатипятилетний молодой человек выработал себе какой-то старческий, гнусенький взгляд на эти отношения: он ни разу не любил, ни разу даже влюблен не был порядочно, потому что слишком рано привык покупать себе наслаждения, а брать их чувством не мог, не умел и вообще считал слишком скучным и продолжительным.

Последняя заграничная поездка его, вместе с отцом и матерью, ясно показала этому почтенному семейству, что состояние их приходит в расстройство. Княгиня Татьяна Львовна, которая вернее всех понимала настоящее положение дел, составила в голове своей верный план поправления обстоятельств. Мишенью для своих целей она мысленно избрала дочь господина Шиншеева, уже известную читателям некрасивую девицу, которую мечтала соединить узами законного брака с своим сыном и через то наложить искусными маневрами некоторые узы на состояние Давыда Георгиевича Шиншеева. План атаки был открыт ею князю Владимиру, но этот последний как-то мало обратил на него внимания, хотя и признавал всю его практическую справедливость. Князя Владимира в то время более всего занимала баронесса фон Деринг, которая казалась столь обольстительной двум старцам и в особенности расслабленному гамену. В отношении этой обольстительной особы молодого князя разбирала сильная досада за то, что она видимо отдавала преимущество не ему, а его поврежденному ба-

тюшке. Впрочем, молодой князь, не теряя отчасти из виду планов своей матери — в будущем, но не в настоящем, — надеялся на успех и у баронессы фон Деринг.

V

РАУТ У ШИНШЕЕВА

Месяц спустя по приезде Давыда Георгиевича все его знакомые получили великолепно литографированное, на атласной бумаге, краткое послание, приглашавшее их провести вечер в его доме.

Давыд Георгиевич очень любил представительность и блеск, поэтому давал обеды, балы и, кроме своих обычных *jours fixes*[127], делал иногда большие рауты.

Около десяти часов вечера половина широкой улицы перед его домом сплошь была заставлена рядами экипажей. К ярко освещенному подъезду то и дело подкатывали щегольские кареты, из которых, мгновенно мелькая перед глазом изящной ножкой и блестящей головкой, выпархивали дамы, подобрали свои платья, и тотчас же исчезали в па-

русине подъезда. Подъезжали и извозчичьи кареты-мастодонты, изрыгая из своих темных пастей также хорошеньких женщин; подплетались, наконец, и дребезжащие дрожки несуразных ванек, с которых одиноко и необыкновенно быстро спрыгивал какой-нибудь господин, уткнув кончик носа в поднятый воротник пальто, торопился расплатиться со своим автомедонтом и еще проворнее скрывался за парусину, как бы боясь, чтобы кто не заметил его общипанного ваньку. У подъезда важно распоряжались красивые гороховые, бородатый дворник и помощник швейцара. Сам же швейцар, особа очень жирная и надменно-важная, с гладко выбритым подбородком, двумя ярусами возвышавшимся над бантом белого галстука, красовался в своем блистательном костюме на внутренней площадке сеней, близ пылающего камина, и при каждом новом посетителе слегка дергал ручку проведенного вверх звонка, выкрикивая имя новоприбывшего.

Тонкое, чуть заметное благоухание еще внизу охватывало обоняние гостя и сопровождало его вверх по изящно-легкой, бело-

мраморной лестнице, убранный дорогими коврами и декорированной древними вазами, статуями, экзотами, цветущими камелиями и целым рядом ливрейных лакеев, неподвижно стоящих в некотором расстоянии друг от друга по широким ступенькам и на двух верхних зеркальных площадках.

Целая анфилада освещенных комнат открывалась с обеих сторон площадок, и в этой анфиладе мелькали черные фраки, шлейфы роскошных платьев, блестящие мундиры, красивые бороды и красивые усы, пышные куафюры и пышные плечи — и носился над всем этим какой-то смутный, мягкий шелест, в котором мешались между собою и нежный свист шелковых платьев, и разноречивый говор, и легкое звяканье шпор, и где-то в отдалении виртуозные звуки рояля.

Давыд Георгиевич, по приезде из-за границы, в первый раз парадно принимал гостей в своем вновь отделанном доме. Он внутренне очень гордился эффектом, который производит на посетителей это изящное великолепие. Его самого слишком сердечно занимали и радовали переходы от ярко освещенных зал

к умеренным гостиным, украшенным настоящими гобеленами, китайскими болванчиками и этрусскими вазами, дорогими бронзами и еще более дорогими картинами. Он любил думать, что понимает толк в искусствах, традил на искусства огромные деньги, и, действительно, среди дюжинных произведений, купленных им от шарлатанов за настоящих Тицианов, Ван Дейков и Поль Поттеров, красовались и настоящие, неподдельные Гвидо Рени, Дель Сарто, Каламы и др. Почти каждая из них была освещена особо принаоровленными для картин лампами, и на каждой великолепной раме неукоснительно присутствовала дощечка с знаменитым именем художника. Но более, чем гостиные во вкусах Людовика XIV, XV, Renaissance и Империи, более чем маленькая комнатка со стрельчатым сводом и разноцветным окном, в стиле *Moyeu age*[128], освещенная вверху одним фонариком, Давыда Георгиевича занимала обширная столовая, вся из резного дуба, в русском вкусе, с полками, где теснились севрские фарфоры, богемский хрусталь, старое, тяжелое серебро и золото в стопах, кубках и блюдах, — столовая,

украшенная картинами Снейдерса и медальонами, из которых выглядывали чучела медвежьих, кабаньих, лосьих и оленьих голов. Еще более радовала его диванная в персидском вкусе, мягкая, низенькая мебель которой, составляя резкий переход от дубовой столовой, в соединении с приятным розовым полумраком, господствовавшим в ней, так манила к лени, неге и послеобеденной дремоте. Этой последней в особенности помогал ровный и тихий плеск фонтанов, бивших рядом с диванной, в роскошном зимнем саду Давыда Георгиевича.

Общество, собиравшееся на его обеды, балы и рауты, носило на себе несколько смешанный характер; в нем не было ничего исключительного, ничего кастового, и, несмотря на то, каждый член этого общества непременно желал изобразить, что он привык принадлежать к самому избранному и высшему кругу. Сам Давыд Георгиевич, почитая себя в некотором роде финансовой знаменитостью, любил окружать себя тоже знаменитостями всевозможных родов, но более всего льнул к титулам и звездам, питая к ним некоторую

сердечную слабость. Благодаря своему богатству он считал себя человеком, принадлежащим к великому свету. В его гостиных, в его приемной и в кабинете всегда было разбросано несколько визитных карточек с титулованными и великосветскими именами, хотя самые густые сливки аристократического общества, сливки, держащие себя слишком замкнуто и исключительно, вообще говоря, не были знакомы с золотопромышленно-откупным Давыдом Георгиевичем, и только некоторые из пенек от этих сливок, вроде князей Шадурских, достаивали его своих посещений. Большая же часть титулованных имен, красовавшихся в доме г.Шиншеева, принадлежала людям, посвятившим себя различным промышленным, акционерным и тому подобным спекуляциям. Впрочем, молодые и холостые люди *grand mond'a* почти все, за весьма немногими исключениями, ездили в дом его и упитывались отменными яствами и питьями его стола. Рядом со звездами и титулами вы бы могли здесь встретить разных тузов и знаменитостей брэнного мира сего. Тут ораторствовал о благодетельной гласности и ли-

беральных реформах известный патриот Василий Андреевич Штукарев, умилялся духом своим и г.Термаламаки, Эмануил Захарович Галкин рассказывал с чувством, что он «из-тинный зловянин». Тут же, скромно покури-вая драгоценную сигару, с благодушной иронией улыбался на все это известный барон — царь наших финансов, всегда самым скромным и незаметным образом одетый в черное платье. Давыд Георгиевич с него-то именно и брал пример в своей солидной, постоянно черной одежде. Рядом с этими господами помещались некоторые тузики мира бюрократического, обыкновенно предпочитавшие более одежды пестро-полосатые и всегда следовавшие самой высшей моде, благодаря тому отпечатку лица и правоведения (это не то, что университетский отпечаток), который, не сглаживаясь «по гроб жизни», всегда самоуверенно присутствует в их физиономии, манерах и суждениях. Они с большим апломбом рассуждали в умеренно-либеральном тоне о self-governement[129] и сопрано Бозио, о политике Росселя и передавали слухи о новом проекте, новых мерах и новом изречении, bon-

mot[130] Петра Александровича.

Все эти господа составляли преимущественно публику кабинета Давыда Георгиевича — кабинета, украшенного бюстами некоторых весьма высоких особ и картинами двойного содержания: одни изображали некоторые баталии, прославившие оружие русского воинства; другие представляли сюжеты более игриво-пикантного свойства. Было даже одно изображение, всегда очень тщательно задернутое шелковой шторкой.

Комната, отведенная под библиотеку Давыда Георгиевича, представляла зрелище другого рода. Какие книги заключались в этих великолепных дубовых шкапах — Давыд Георгиевич по большей части не ведал; он знал только, что богатые переплеты их стоили очень дорого, да знал еще, что на карнизах шкапов красовались бронзовые бюсты семи древних греческих мудрецов, певца богоподобная Фелицы[131] да холмогорского рыбака[132]. Знать же что-либо более этого Давыд Георгиевич не находил нужным. На огромном овальном столе, занимавшем всю середину этой комнаты, были разбросаны изящные

альбомы и кипсеки, краски, кисти и прочие принадлежности живописи. Вокруг стола сидело несколько известных наших художников, которые украшали своими рисунками альбомы Давыда Георгиевича. За плечами каждого из них поминутно менялись группы мужчин и хорошеньких женщин, с любопытством заглядывавших сквозь лорнеты на рождающиеся рисунки наших знаменитостей.

Общество артистов, приглашаемых на всевозможные рауты — по большей части не ради приятных их качеств, но собственно ради увеселения почтеннейшей публики, — делилось на две категории: тут были артисты-боги, которых нужно было упрашивать сыграть что-либо и они милостиво снисходили на просьбы общества; и были артисты-пешки, парии, которым обыкновенно говорилось: «А что бы вам сыграть нам что-нибудь!» — и артист скромно пробирается на цыпочках вдоль стенки, с футляром под мышкой, и с неловким смущением начинает потешать равнодушное и невнимательное общество. Между артистами этой последней категории обыкно-

венно всегда есть один или два, покровительствуемые хозяином, и всеми ими вообще никто не занимается, а лакеи смотрят на них свысока, причем иногда обносят чаем. Артисты эти, исполнив свою должность, то есть отыграв перед почтеннейшей публикой, робко стушевываются или, как говорят они обыкновенно, «уходят вниз покурить», куда, в случае надобности, за ними посылают человека: «Пооди, мол, братец, кликни там артистов».

Но вот наступает некоторый антракт; в обществе залы несколько затих разноязычный говор, как будто источник попугаечной болтовни начинает иссякать понемногу. Минут десять тому назад только что отзвучал «неподражаемый» *ut-diez* Тамберлика, когда он, к общему прочно-сдержанному аханию и восторгу, пропел свое «Скажитэ ей» и «Ее уш нэт», — и казалось, что из-под сводов этой двусветной залы не успел еще испариться отзвук его *ut-diez'*a, как толпа хорошеньких женщин уже обступила рояль и кидает томно-просящие взгляды на одного молодого «любителя» из восточных человеков, с наружностью французского парикмахера, который

может петь а la Тамберлик и а la Кальцорали. И вот упрощенный и умоленный «любитель», поломавшись предварительно перед дамами, начинает петь. Дамы тают и приходят в восторг.

Но не успевает он еще кончить свой плохо спетый романс, как вдруг

*Ва-а-зьми в ручки пи-и-иста-
ле-этик!*

— раздается неподдельно-мужицкий голос из соседней гостиной — и вся толпа спешит в эту комнату «посмеяться» рассказам Горбунова из невиданного и только по этим рассказам знакомого ей простонародного быта.

Не увлеченными общим потоком остаются только два графа: граф Скалозуб да граф Редерер — две гениальные и аристократическо-артистические звезды большого света. Подле них пребывают также не увлеченными подсевшие к ним два литератора невеликосветские: один фельетонист, обличающий в демократическом журнале икнувшую губернаторшу, другой — кисло-желчный публицист, карающий в газетах монополию, откупа

и аристократизм «с демократическо-социальной точки зрения». Оба они слушают, как граф Редерер (артист, карикатурист, бонмотист, поэт и фокусник вместе) и граф Скалозуб (французско-нижегородский литератор) обдумывают экспромтом некоторый сюрприз к отъезду графини Александрины, — сюрприз, заключающийся в некоторой *proverbe* [133] куплетами, танцами, живыми картинами и превращениями, на четырех языках.

— Ах, это очень остроумно, прекрасно, бесподобно и так тонко вместе с тем! — восхищаются и поддакивают два литератора невеликосветские, прислушиваясь к речам двух литераторов великосветских.

— *N'est-ce pas?* [134] Вы находите? — откликаются им с благодушной улыбкой два графа.

— Экое абсолютное, китайское тупоумие! Не постигаю, как могут быть у людей подобные кретинические интересы! — шепчет публицист фельетонисту, отходя с ним от двух графов к сигарному столику и пряча незаметным образом в свой карман хозяйскую сигару.

— Аристократишки, баре! уж я ведь хоро-

шо знаю их! — презрительно отвечает фельтонист публицисту и тоже зорким оком своим норовит стянуть хорошую сигару.

«Ва-азьми в ручки пистолетик» производил на публику очень утешительное действие, и только три грации, наши старые знакомки mesdemoiselles Шипонины, не были им довольны» *parceque ca sent trop le moujik*[135]. Три грации, коим в сложности было около ста семидесяти лет, так и продолжали именоваться, по преданию, тремя грациями и сохраняли во всей неприкосновенности свои локоны, свою сентиментальную любовь к небесно-голубому цвету и добродетельную целомудренность весталок, почему всё боялись, что их кто-нибудь похитит. Они по-прежнему продолжали сплетничать и страстно посещать общество, хотя уже и не под эгидой своей матушки, по смерти которой с неприятною горестью называли себя всем и каждому «трия сиротками».

— Как дела? — тихо спросил Бодлевский, улучив удобную минуту и садясь в кресло рядом с баронессою фон Деринг.

— Как видишь, произвела общий эф-

фект, — столь же тихо ответила баронесса, но ответ ее сопровождался такой рассеянной миной и столь равнодушным видом, что можно было подумать, будто она произносит одну из самых общих, ничего не значащих фраз.

Надо прибавить, что этот вечер был первым парадным и официальным выездом баронессы в общество петербургского beau monde'a[136]. И действительно, ее красота, соединенная с таким живым умом и любезностью и облеченная в такой восхитительный наряд, произвела общий, весьма замечательный эффект. О ней заговорили, ею заинтересовались, и первый же вечер доставил уже ей несколько весьма хорошо позированных в обществе поклонников.

— А я все более около солидных капиталов, — продолжал Бодлевский. — Нынче мы в ролях практических деятелей дебютировали. Ну, а те что? — прибавил он, незаметно скосив глаза в сторону старого Шадурского, который на другом конце комнаты лорнировал баронессу, стоя рядом с самим хозяином, и, казалось, вел разговор о ней же.

— В паутинке, — коварно улыбнулась она.

— Значит, скоро и мозги сосать можно?

— Скоро, — затащить только покрепче... Однако здесь не место для таких разговоров, — сухо прибавила баронесса, и Бодлевский почтительно удалился.

* * *

Татьяна Львовна Шадурская втайне очень тревожилась. Ее нежное внимание и матерински аристократическая любезность очень тонко были обращены на Дарью Давыдовну Шиншееву. Ей так хотелось видеть ее соединенною узами законного брака со своим сыном, что это желание сделалось, наконец, любимую и заветною мечтою княгини Татьяны Львовны, старавшейся даже при этих мечтах позабыть о своем прирожденном аристократизме. Да и как не мечтать, если через соединение их является возможность привести в хорошее положение свои колеблющиеся дела или, по крайней мере, раз навсегда отвязаться от князя Владимира, который перестанет безвозвратно пожирать родительские деньги на свои прихоти и расходы. Татьяна Львовна знала, как действовать на слабую струнку Дарьи Давыдовны. Дарья Давыдовна была очень

некрасива, неловка, неграциозна и до болезненности самолюбива. Самолюбие с честолюбием могли почесться ее отличительными качествами, ибо они же оставались отличительными качествами и ее бабушки, нигде и никогда не разлучавшегося со своим Станиславом. При этих двух свойствах ее души судьба, вдобавок, наделила ее еще весьма влюбчивой и пылкой натурой. К сожалению, Дарья Давыдовна постоянно влюблялась в столь аристократически блистательных молодых людей, что ни один из них не обращал на нее никакого внимания. И самолюбие Дарьи Давыдовны вечно уязвлялось. В князя Шадурского она почему-то не влюбилась, но выйти за него замуж была бы весьма не прочь — для приобретения соответственного положения в большом свете. Не прочь бы от этого был и коллежский советник Шиншеев. Одна беда: молодой князь Шадурский, на их взгляд, решительно не оказывал никакой склонности к женитьбе, Дарье же Давыдовне дарил свое внимание ровно настолько, насколько требовали приличия, ибо все оно было поглощено надменно-холодною красотою баронессы фон

Деринг, — красотою, которая под своей ледяной оболочкой заставляла иногда предполагать нечто противоположное. Вот это-то обстоятельство — это чересчур исключительное внимание — и тревожило так княгиню Шадурскую. Оно отдаляло осуществление ее заветных целей. Княгиня не терпела баронессу, не терпела за ее красоту, еще не успевшую поблекнуть, за своего мужа и особенно за сына, отдававших ей такое исключительное предпочтение, а между тем она принуждена была принимать ее, сама ездить к ней и оказывать самую дружескую любезность, ибо сердце Татьяны Львовны расположилось чересчур уж нежно в пользу брата баронессы — Владислава Карозича. Все эти обстоятельства в общей сложности и тревожили ее так сильно.

Княгиня случайно сидела в уединенном уголке одной из гостиных, откуда могла через растворенную дверь очень хорошо обозревать все, что происходило в смежной комнате, где помещалась ее антипатия — баронесса фон Деринг, тогда как самое ее совершенно заслонял от посторонних глаз роскошный трельяж, весь опутанный картинно-пол-

зучими растениями. Ей очень хотелось, чтобы в ее уединение заглянул Карозич, но Карозич не догадывался о желании княгини, которая вдруг, обок с собою, услышала за трельяжем весьма интересный для нее разговор. По голосам она узнала графа Редерера и графа Скалозуба.

— Полюбуйся-ко, это очень интересно, — говорил один другому, подходя к двери. — Оба Шадурские — старец-молокосос и молокосос-старец — изволят таять перед баронессой.

— Ах, это в самом деле очень любопытно! — отозвался другой со смехом. — Вот прекрасный сюжет для водевиля! Напишем-ка! Водевиль под названием: «Два ловца за одним зверем, или Папенька и сынок — соперники».

— Bravo! — подхватил Скалозуб. — Брависсимо! Я сочиню куплеты, ты сделаешь музыку, и поставим у княгини Александрины на сцену.

— Но ведь все узнают, догадаются, — возразил Редерер.

— Пусть узнают! Зато смеху-то сколько будет, смеху! Ведь это очень комично!

И два графа солидно прошли в смежную комнату продолжать на более близком расстоянии свои наблюдения для будущего водевиля.

Слова обоих графов с первых же фраз их разговора словно ножом резнули по сердцу Татьяну Львовну. Она бросила глаза в сторону баронессы и с горечью увидела подле нее своего супруга, оперевшегося на руку князя Владимира. Ей сделалось жутко, тем более жутко, что она очень хорошо понимала, насколько, в самом деле, было комического в этом соперничестве сына и батюшки. Намерение двух графов касательно водевиля побудило ее серьезно и немедленно переговорить со своим сыном.

— Я отнимаю от вас одного поклонника, — любезно улыбнулась она баронессе, подав руку князю Владимиру и отводя его от красавицы.

Красавица ответила столь же любезным кивком головы, который в сущности означал, что ей это решительно все равно, а князь Владимир не без удивления вскинул вопросительный взгляд на свою матушку.

— Мне надо серьезно переговорить с тобою, — тихо сказала она, уводя его по анфиладе комнат к зимнему саду, который представлял более удобств для интимных разговоров. — Ты ставишь себя в весьма неприятное и смешное положение, — продолжала княгиня, приняв озабоченно-строгий и холодный вид. — Над князьями Шадурскими, слава богу, до сих пор никто еще не смеялся, а теперь начинают, и имеют полное право. Я не назову тебе, кто говорил, но вот что я слышала сию минуту.

И она от слова до слова передала ему разговор двух графов. Молодого князя сильно так переделернуло. Он был и взбешен и сконфужен в одно и то же время.

— У тебя ни на грош нет самолюбия, — заключила княгиня уже с некоторою желчью в голосе. — Она на тебя и внимания не обращает, а ты, как мальчишка, вздыхаешь перед нею! Это стыдно, князь! Я, признаюсь, была о вас лучшего мнения.

Княгиня договаривала свою грозную проповедь, выходя из темной, извилистой аллеи лавровых и миртовых деревьев. Молодой

князь, совершенно уничтоженный, слушал ее, закусив свою губу и немилосердно комкая в руке замшевую перчатку. Вдруг на одном из поворотов, в самом устье этой аллейки, оба они невольно остановились в приятном изумлении.

Шагах в пятнадцать расстояния, на чугунной скамейке, сидела незнакомая им женщина. Она, очевидно, ушла сюда освежиться и отдохнуть от жара залитой огнями залы. Беспредельное, тихое спокойствие ясно выражалось в ее полуутомленной улыбке, в ее больших голубых глазах и по всей ее непринужденно-грациозной позе. По обеим сторонам скамейки и вокруг небрежно закинутой головки молодой женщины необыкновенно эффектными пятнами на темном фоне окружающей зелени выглядывали белые венчики нарциссов и лилий. А над этой головкой в виде не то навеса, не то какого-то фантастического ореола, красиво рассыпались прихотливо-зубчатые листья экзотов — пальм и папирусов, бананы и музы, перевитые игриво-смелыми побегами цветущих лиан, кисти которых тихо колебались в воздухе, спускаясь

очень близко к головке отдыхавшей под ними женщины. Голубые лучи от матового шара солнечной лампы, спрятанной в этой купе растений, пробивались сквозь просветы широких, длинных и лапчатых листьев и падали необыкновенно прихотливой, неясной сеткой на лицо и бюст красавицы, черные волосы которой, несмотря на свое роскошное обилие, были зачесаны совершенно просто, и вся она, такая чистая и прекрасная, среди этой зелени напоминала античную Дриаду — как та мраморная нимфа, на которой дробилась крупными алмазами струя фонтана и которая легким изгибом своего тела и изящным поворотом головы, казалось, хотела любопытно заглянуть в лицо отдыхавшей красавице.

Шадурские с минуту оставались в том молчаливом онемении, которое всегда производит на человеческую душу внезапный вид необыкновенной красоты. Оба они, скрытые в тени миртовых ветвей, не были видны.

— Что, какова? — самодовольно прошептала княгиня.

Шадурский только головой покачал, с дилетантским наслаждением рассматривая

сквозь pince-nez[137] незнакомую женщину.

— Кто это? — едва слышно спросил он.

— Не знаю и никогда не встречала.

— Странно... Une femme inconnue[138]...

Очень странно!.. Надо будет узнать непременно!

— А как хороша-то?

— Изумительно!

— А кто лучше: баронесса или она?

— Какое же тут сравнение! — ответил князь, пренебрежительно двинув губою. — И как это я до сих пор не заметил ее! Vraiment c'est un sacrilege de ma part![139] — продолжил он, тихо поворачивая назад в темную аллею, чтобы появлением своим не потревожить уединенный отдых красавицы.

— Послушайте, господа, не знаете ли вы, кто эта дама? — спрашивал он полчаса спустя у двух своих приятелей, когда поразившая его особа появилась в зале, под руку с Дарьей Давыдовой.

— Знаем, — отвечали в голос оба приятеля, из которых один в своем кругу звался просто Петькой, а другой, с академическим аксельбантом, — князем Рапетовым.

— Кто же она? Скажите мне, бога ради!

— Никто! — с глупым нахальством прохотал Петька.

Рапетов серьезно покосился на него.

— Ее зовут: Юлия Николаевна Бероева, — сказал он.

— В первый раз слышу, — заметил Шадурский.

— Не мудрено: elle nest pas des notres[140], — объяснил Петька. — Муж служит чем-то у Шиншеева, а Шиншеев, говорят, ухаживает за женою и на вечера свои приглашает, как декорацию, ради красоты ее.

— Donc e'est une conquete facile![141] Примем к сведению, — фатовато заметил Шадурский.

— Ну, не совсем-то «facile»![142] — возразил Рапетов. — Вы слишком скоры на заключения, любезный князь, позвольте вам заметить.

— Это почему же? — с усмешкой обернулся Шадурский. — В вашем тоне как будто маленькая ревность есть! — шутливо прищурился он на Рапетова.

— Ревности нет никакой, а если хотите

знать, почему вы тут ничего не добьетесь, мой милый ловелас, так я вам объясню, пожалуйста.

— Очень интересно послушать.

— Госпожа Бероева — честная женщина; любит немножко свой очаг, много своего мужа и бесконечно своих детей, — отчетливо-докторальным тоном проговорил Рапетов.

— И потому? — снова усмехнулся Шадурский с самоуверенным задором.

— И потому — ухаживайте-ка вы лучше за баронессой фон Деринг! Это, кажись, благонадежнее будет.

— Благодарю за совет! — с колкою сухостью пробормотал князь Владимир. — Только мне сдается, что через несколько времени и я, в свой черед, посоветую вам — не давать опрометчивых советов.

— Это, кажется, вызов? — спокойно спросил защитник Бероевой.

Князек немного осекся; он совсем не ожидал подобного оборота, ибо вызова и в помышлении своем, опричь романов, никогда не имел.

— Какой там вызов! Есть из-за чего! — по-

старался улыбнуться он с натянутой небрежностью. — Я только говорю про то, что не прочь на деле доказать вам... ну хоть la possibilite d'une conquete[143].

— Коли есть охота — не препятствую, — коротко поклонился ему Рапетов.

— А я пари держу, что ничего из этого не выйдет, — вмешался Петька. — В наш положительный век женщины, брат, только на карман полагаются, — пошло сострил он и сам расхохотался.

Самолюбие князя было сильно задето, в особенности же подстреканиями Петьки.

— Пари? Идет! на сколько? — предложил он, протягивая ему руку.

— Ужин с квасом у «Дюсы», — сторговался тот.

— Ладно! Князь Рапетов, разнимите руки.

— Можете разнять сами, господа, — ответил Рапетов с заметною сухостью. Между такими порядочными и честными людьми свидетелей не надо, — добавил он, отходя от приятелей.

Пари состоялось без его посредничества.

* * *

— Граф Каллаш! — возгласил человек, стоявший у главного входа в большую залу.

При новом и почти неизвестном, но громком имени многие взоры обратились к дверям, в которые должен был войти новоприбывший. Легкий говорок пробежал между присутствующими:

— Граф Каллаш...

— Кто такой?..

— Венгерское имя... Как будто что-то слышал.

— В первый раз появляется?

— Что это за Каллаш? Ах, да, это одна из старых венгерских фамилий!..

— Интересно!..

Подобные вопросы и замечания беглым огнем перекрещивались между собою в многочисленных группах гостей, наполнявших залу, когда в дверях ее появился молодой человек...

Он замедлился на минуту, чтобы окинуть взором окружающую обстановку и присутствующих; затем, как бы чувствуя замечания и взоры, устремленные на его личность, но совершенно «игнорируя» их, без застенчиво-

сти, ровной и самоуверенно-скромной походкой прошел через зал; Давыд Георгиевич с приятной улыбкой поспешал ему навстречу.

Люди опытные, привыкшие к обществу и приглядевшиеся к жизни и нравам большого света, часто по первому шагу очень верно судят о той роли, которую будет играть человек в среде их. Люди опытные по первому взгляду молодого человека, по первой походке его, по тому, как он только вошел в залу, решили уже, что роль его в свете будет блистательна, что не одно женское сердце затрепещет впоследствии при его появлении и не одна-то дендическая желчь взбудоражится от его успехов.

— Как хорош! — смутным шепотом пронеслось между дамами. Мужчины по большей части молчали, некоторые только пощипывали кончик бакенбарда, и все вообще делали вид, что не замечают нового гостя. Одно уже это могло похвастаться блистательным началом самого верного успеха.

Действительно, наружность его нельзя было оставить без внимания; между тысячью молодых людей он все-таки был бы заметен.

Высокий, стройный рост и необыкновенная соразмерность всех членов так и напрашивались на сравнение с Антиноем. Матовая бледность постоянно была разлита по его красивому, немного истомленному лицу. Высокий лоб, над которым от природы висели заброшенные назад черные волосы, и тонкие сдвинутые брови носили печать страстно-тревожной и постоянно напряженной мысли. Цвет глубоких, немного запавших глаз определить вполне было невозможно. Это были какие-то темные глаза, которые порою загорались южно-лихорадочным огнем, чтобы вслед за тем потухать и заволакиваться тем неопределенным туманом, сквозь который, кажется, чувствуешь глубину бесконечную. Небольшие усы и небольшая же узкая борода отчасти скрадывали неприятно саркастическую улыбку, сдержанно мелькавшую иногда на его сладострастно очерченных губах. Естественная грация хороших манер и вполне скромный, но необыкновенно изящно сделанный костюм довершали наружность молодого человека, который — несмотря на всю свою кажущуюся скромность, где таилось, однако, глубокое,

гордое сознание своей силы и достоинства, — несмотря на эту кажущуюся мерку под общий ранжир, на желание незаметно затеряться в толпе, — был все-таки замечен и оригинален. Таково уже, значит, магнетическое влияние силы и красоты человеческой. Лет его, точно так же как и глаз, определить вполне было невозможно — казалось около тридцати, но могло быть гораздо меньше или значительно больше. Он сохранил наружность человека молодого, но с тем благородным отпечатком, который показывал ясно, что тут было пережито, перечувствовано и переиспытано вволю. Более тонкий психолог и физиономист в этом холодном, мало выдающем свои помыслы лице, быть может, разгадал бы, вместе с сильной волей и непреклонной энергией, натуру гордую, упорно-страстную, неблагодарную, которая берет от людей все, что захочется, требует от них это все, как должное, и за то даже головой никогда не кивнет им. Таков был граф Николай Каллаш.

Граф явился совершенно новым светилом в петербургском обществе, на горизонте которого появился не более недели. До этого вече-

ра его видели только два раза в опере да раз на Дворцовой набережной. Проходя по зале с Давыдом Георгиевичем, он то кланялся кивком головы, то протягивал руку шести-семи личностям, с которыми познакомился дня за два, у Сергея Антоновича Коврова, где сошелся с ним и г.Шиншеев, езжавший к Коврову играть в карты. Давыд Георгиевич тотчас же представил его своей дочери и некоторым из самых высоких звезд и знаменитостей обоего пола, на которых к концу вечера граф произвел самое выгодное впечатление. С Тамберликом он очень разносторонне говорил на итальянском языке об опере; с одним из attache английского посольства, который неизменно показывается всюду с неизменным стеклышком в глазу и слишком бесцеремонными позами, весьма остроумно рассуждал по-английски о последней карикатуре Понча, с графом Редерером и Скалозубом — по-французски о русской литературе и могуществе русской державы; с тузами мира финансового вставлял весьма практические замечания о каком-то новом проекте какого-то общества. Наконец, блистательным образом разыграл

ноктюрн собственного сочинения, причем некоторые артисты-боги остались приятно изумлены, а дамы даже совсем забыли своего идола из восточных чело­веков; после ноктю­рна шутя набросал в альбоме премилый эскиз в какие-нибудь четверть часа; за эскизом про­шел в комнату, где на зеленом поле шла зна­чительная игра, шутя поставил значитель­ную карту и проиграл; проигравши, скромно вынул из бумажника пачку ассигнаций, от­считал, что было нужно, доложил еще часть золотом и равнодушно удалился от стола, словно бы подходил туда не более как выпить стакан лимонада.

Граф Каллаш — новое лицо с аристократи­ческим именем, граф умен, остер, образован, граф так талантлив и так хорош собою, и, на­конец, граф так богат, так мило, так джентль­менски умеет проигрывать. Граф не мог не произвести самого блестящего впечатления, и сильнее всех это впечатление отразилось на некрасивой Дарье Давыдовне, которой он оказывал предпочтительное внимание при каждом удобном, подходящем случае.

* * *

Княгиня Шадурская спустя несколько времени после разговора с сыном вернулась на свое старое уединенное место — за зелень трельяжа. Вскоре подле нее появился Бодлевский. Он был не в духе, по временам досадливо пощипывал бороду и явно старался принять угрюмо-рассеянный вид, отвечая княгине только односложными словами. Это, наконец, ее встревожило. Беспокойство и маленькая ревность копошились в ее сердце.

— Что с вами? Отчего вы так рассеянны, так не в духе? Не скрывайтесь, отвечайте мне! — говорила она, устремляя на него с нежным участием свои влюбленные, хотя и не юные взоры.

Бодлевский только пожал плечами.

— Отчего вы не были вчера там... в Морской? Я ждала вас, — продолжала княгиня с беспокойно-ревнивой ноткой в голосе. — Послушайте, Владислав, вы два раза уже не были там... Я знаю... Я уже... надоела вам, не правда ли?

Бодлевский вскинул на нее притворно удивленный взгляд; княгиня горько улыбнулась.

— Вы удивляетесь моим словам... удивляетесь, конечно, до какого унижения может дойти женщина, — с горечью говорила она. — Я знаю, я не молода, мне уже тридцать семь лет (княгине было за сорок пять), поэтому вам кажется смешною любовь старухи... Вам нравится кто-нибудь лучше, моложе меня... Слушайте, не скрывайтесь!

— Перестаньте, княгиня! в мои года позволительно иметь более прочные привязанности, — ответил Бодлевский, поцеловав ее руку.

Лицо княгини просияло.

— Ну, так что же! О чем вы задумываетесь, что тревожит вас? — пристала она с большей энергией.

— Мало ли что может тревожить меня! — загадочно проговорил Бодлевский, уклоняя в сторону неопределенный взгляд.

— Скажите, откройте мне, — настаивала она.

— К чему же? Это вас нисколько не касается.

— Мне кажется, я имею некоторое право на вашу откровенность, — с укорливой улыб-

кой заметила Татьяна Львовна. — Наконец, я хочу, я требую, чтобы вы сказали мне.

Бодлевский молчал, как будто обдумывая что-то и словно борясь сам с собою.

— Я жду, — настойчиво повторила княгиня.

— Извольте, если это вас так интересует! — выговорил он наконец с тем полным вздохом, который иногда обозначает у людей решимость. — Видите ли... я проигрался в карты, а мой банкир не прислал еще Капгеру телеграмму на выдачу мне денег... Я, впрочем, уже телеграфировал ему, но... ответа нет... Вот что тревожит меня, и вот почему вчера я не был там, — заключил Бодлевский, стараясь не глядеть на княгиню.

— Только-то и всего? — удивилась она. — И вы молчали, вы не могли прямо сказать мне тотчас же!.. Сколько вы проиграли?

— Десять тысяч, — сквозь зубы процедил Бодлевский.

— Приезжайте завтра туда, в магазин; около двух часов я привезу деньги.

— Но, княгиня...

— Без всяких но!.. Я не люблю возраже-

ний... — сказала она с такой кокетливостью и с такой милой миной, что Бодлевскому не оставалось ничего более, как только вновь поцеловать ее руку, в знак своего полного согласия.

Это были первые деньги, добытые им от княгини.

«Экой дурак! не хватил цифры побольше! — рассуждал он мысленно, слушая влюбленные речи пожилой красавицы. — Экой дурак, а она бы дала непременно! Впрочем, мое от меня не уйдет и впоследствии», — успокоительно заключил он свое самоугрызение.

* * *

Молодой Шадурский изъявил Давыду Георгиевичу желание быть представленным Беровой. Г.Шиншеев тотчас же исполнил это желание, и князь Владимир через полчаса успел уже надоесть ей до зевоты своей пошло-ловеласовской болтовней. Князь Владимир помнил, что перед ним женщина «не его общества», и потому отчасти держал себя не совсем так, как стал бы держаться перед особой своего круга. Берова это поняла и раза два довольно тонко оборвала юного ловеласа, но

именно потому, что это было тонко, юный ловец не домекнулся о настоящем значении ее слов или не желал домекнуться. Петька, не перестававший наблюдать за своим приятелем, от души радовался его неудаче, предвкушая уже наслаждение выигранного ужина. Это только бесило молодого Шадурского. Зевок Бероевой и случайно пойманная при этом ирония во взгляде князя Рапетова, наконец, торжествующая улыбка Петьки, кося его самолюбие, в то же время разжигали до злости настойчивое желание добиться своей цели.

— Так или иначе, рано или поздно, но я выиграю пари! — говорил он Петьке, стараясь решительной самоуверенностью тона прикрыть вопль самолюбия и донимавшее его бешенство.

— А я уж было думал, что ты после кораблекрушения повезешь меня кормить ужином, — со вздохом обманутой надежды заметил ему Петька.

* * *

— Обделывай скорее свои дела, Наташа, обделывай! — самодовольно потирал руки

Бодлевский, уезжая в карете со своей сестрой, баронессой фон Деринг, с шиншеевского раута. — Я тебя порадую, — говорил он, — завтра мы начинаем осуществлять наши проекты: десять тысяч у меня в кармане!

— Как так?.. — изумилась Наташа.

— Очень просто: старуха Шадурская к двум часам привезет их к генеральше фон Шпильце.

Баронесса, вместо ответа, обвила руками шею Бодлевского и поцеловала его в лоб.

VI

КЛЮЧИ СТАРОЙ КНЯГИНИ

По Большой Подьяческой улице уже несколько дней сряду прохаживался неизвестного звания человек и все останавливался перед воротами одного и того же каменного дома. Подойдет, поглядит, нет ли билетов с известною надписью «одаеца комната», — видит, что нет, и пройдет себе далее. Неизвестного звания человек аккуратно два раза в день совершал свои экскурсии по Большой Подьяческой улице: пройдет раз утром и не

показывается до вечера; пройдет раз вечером и скроется до следующего утра. Наконец, на седьмые или восьмые сутки, труды хождений его увенчались успехом. У ворот болтались, прикрепленные кое-как жеваным мякишем хлеба, две бумажки. Одна гласила, что «одаца квартера о двух комнатах с кухней», а другая изображала об отдаче «комнаты снебелью ат жильцов». Прочтя это извещение, неизвестный человек тотчас же повернул назад и быстро направился к канаве, куда, очевидно, влекла его настоящая причина восьмидневных хождений. Эта настоящая причина привела его в Среднюю Мещанскую улицу, под ворота грязно-желтого, закоптелого дома, где безысходно пахло жестяною посудой и слышался непрерывный стук слесарей и кастрюльщиков. Означенная причина заставила его подняться в третий этаж по кривым, обтоптаным ступеням темной, промозгло-затхлой каменной лестницы и войти в общипанную дверь небольшой, но скверной квартиры, убранной, однако, с неряшливым поползновением на комфорт. По всему заметно было, что квартира служит обиталищем

особы, не отличающейся целомудренностью своих привычек.

— Кто там? — послышался резко-сиплый, неприятный голос женщины из-за притворенных дверей другой комнаты, откуда разило смешанным запахом цикория, зажженной монашенки и табачищем.

— Все я же-с! — крикнув, отвечивал неизвестного звания человек.

— А, Зеленьков! Войди сюда!

— Оно самое и есть: Иван Иваныч господин Зеленьков! — проговорил тот, входя с кабацким разлетцем, потряхивая волосами, подергивая плечами и вдобавок подмигивая глазом, что в сложности выходило препротивно.

— Что, пес этакой! — с ругательной любезностью обратился к нему сорокалетний нарумяненный лимон в распашном шелковом капоте и с крепкой папироской в зубах. — Опять, поди-ка, ни с чем пришел?

— Ан вот-с нет, коку с соком принес! — поддразнил языком Иван Иванович.

— Говори дело: есть билеты?

— Пара! — крикнул господин Зеленьков и

с торжествующим видом вытянул два свои пальца к носу нарумяненного лимона.

— Слава тебе, тетереву! — с удовольствием улыбнулся лимон. — А то уж мне куды как надоело ходить-то с докладами каждое утро! Подходящее, что ль? — обратился он к Зеленькову.

— Самая центра! потому как одна от жильцов комната при небели, а другая — фатера на всю статью, с кухней и две комнаты при ней.

— Ладно! Это, значит, годится, — сказал лимон и, зажегши с окурка новую папиросу, принялся, размахивая руками, шагать по комнате, тою особенной походкой, с перевальцем, которая у особ подобного рода называется «распаше». Иван Иванович тоже вынул из кармана обсосанный окурок сигарки, очевидно, про запас припрятанной, подул на него, закурил и небрежно расселся на линиялом штофном диване.

— Таперича ты вот что, — заговорил лимон, делая свои соображения, — в эфтим самом доме живет...

Неопрятная особа, остановившись на этих

словах, подошла к туалетцу и, вынув из ящичка клочок бумаги, прочла написанное на нем.

— Живет Егор Егорыч Бероев, а у него жена Юлия Николаевна, — продолжала она. — Так ты вот что, как будешь нанимать квартиру, либо комнату там, что ли, старайся вызнать наперед, по какой лестнице живет этот самый Бероев, и коли квартера придется по той самой лестнице, бери ее беспрерывно.

— Значит, фатеру брать? — спросил Иван Иванович.

— Фатеру, либо комнату — это один черт выходит; платеж ведь не твоего кармана дело, так и рассуждать тебе нечего. Ты, главное, старайся узнать, по какой лестнице; а там, коли бог поможет на наше счастье сиротское, что придется эта квартера по одной лестнице, так ты и занимай ее сразу.

— Это мы, Сашенька-матушка, можем; капиталу в голове настолько-то хватит! — похвалился Зеленьков, потряхнув волосами.

— Опосля этого, — внушала Сашенька-матушка, — как ты переедешь туда, говори всем, что был господский человек; господа, значит, вольную написали, и теперь, как ты при сво-

ем капитале состоишь, так хочешь заняться по торговой части.

— Это столь же очинно можно! — согласился Иван Иванович. — Коли господский, так и господский, я не перечу. Оно к тому же у меня и рожа ничего... как следует быть... одно слово — холуйственная-с, — так это сюда же дело подходячее и, значит, нам на руку, — говорил Зеленьков, охорашивая перед зеркалом свои белобрысые жесткие усы, придававшие его физиономии действительно нечто ухарски-лакейское и именно холуйственное.

— Потом, — продолжала Сашенька-матушка свои наставления, — сойдишь ты мне беспрерменно в приятном знакомстве с прислугой этих самых Бероевых; коли там куфарка либо горничная — сам уж будешь видеть, — так ты постарайся до марьяжу знакомство довести, чтоб она, значит, к тебе ходила беспрерменно в гости; подарков да кофиев не жалея, потому — опять же, говорю, не твоего карману дело. Ты только знакомство амурное своди поскорей, а я к тебе теткой на новоселье приеду и навещать стану, и ты ко мне каждый день в аккурат являйся с лепортом насчет де-

лов этих самых. Ну, вот тебе и все пока! А это на задаток, — заключила она, вручив Ивану Ивановичу трехрублевую ассигнацию. Иван Иванович философски посмотрел на зеленую рубашку ассигнации и горько улыбнулся.

— Александра Пахомовна! — заговорил он униженно-обиженным протестом. — Что же это такое значит? Какой же я такой выхожу вольноотпущенный человек и при своем капитале состою, а костюмчика по званию своему не имею — и сейчас всякий меня мазуриком обзовет. А вы взгляньте-с: ведь, сюртучок-то у меня — масляница! весь засалимшись, словно резиновый непромокаемый, лоснится. Так это на что же похоже-с?

Александра Пахомовна с серьезным видом оглядела весьма неказистый костюм господина Зеленькова.

— И теперича вы знаете, — продолжал господин Зеленьков, — что я завсегда как вам, так и их превосходительству по гроб жисти своей преданный раб, и о костюмчике не для себя собственно выговариваю; потому мне это дело не стоящее, мне все равно, в чем ни ходить: Зеленьков и в рогожке щеголем будет

и всегда будет — «Иван Иванович Зеленьков», а костюмчик пристойный, собственно по вашему же делу, требуетца — так вы подумайте-с и на гардероп мне вручите.

Александра Пахомовна подумала и вручила на гардероб три пятирублевых бумажки, с внушением не пропить их.

Господин Зеленьков не без достоинства ответил, что он дело свое завсегда понимать может и, откланявшись с обычно-ухарскими ужимками, направился на Толкучку — покупать себе новое платье.

В тот же самый день, к шести часам вечера, он переехал в комнату, отдающуюся от жильцов, которая, на сиротское счастье Александры Пахомовны, пришлась как раз над квартирой Бероевых.

* * *

Это все совершилось спустя две недели после раута Давыда Георгиевича Шиншеева, а побудительной причиной к совершению послужили нижеследующие обстоятельства.

Князь Владимир Шадурский провел скверную ночь: уязвленное самолюбие лишало его сна, взбудораженная досада и до детскости

капризная, избалованная настойчивость в своих желаниях, — настойчивость, в этом случае пока еще совершенно тщетная, бессильная, не давали ему ни минуты покоя; он все думал, как бы этак гласно, героически, донжуански достичь своей цели, чтобы натянуть нос и Рапетову, и Петьке, — и все-таки ничего не выдумал...

Между тем полнейшая невозможность встретить в скором времени Бероеву, очевидный неуспех у нее, слишком заметная, даже как будто презрительная сухость князя Рапетова и ежедневно возрастающее подтрунивание Петьки заставили его через три-четыре дня решиться на последнее, слишком рискованное средство: он поехал к генеральше фон Шпильце. Генеральша обещала уведомить его о результатах, и на другой день утром князь Владимир получил письмо лаконического содержания, — в нем значилось только шесть письменных знаков:

2000 p.c.

Князь, не думая ни минуты, схватил перо и на той же бумажке написал: «Согласен». Бу-

мажка с тем же самым посланным отправилась в обратное путешествие, а господин Зеленьков получил приказание выжидать объявления о квартирах у ворот указанного ему дома.

VII

«НА ЧАШКУ КОФИЮ»

Иван Иванович Зеленьков благоденствовал. Он уже около месяца занимал свою «комнату снебилью», а хозяйка его апартамента — курьерская вдова Троицына — оказывала ему всякое уважение, потому что Иван Иванович Зеленьков при самом переезде своем в новое помещение вручил ей сразу вперед за месяц свою квартирную плату. Это обстоятельство, паче слов самого Зеленькова, убедило курьерскую вдову Троицыну, что постоялец ее — человек отменный, точный и взаправду при капиталах своих состоит. Иван Иванович казался ей истинным щеголем, да и самому себе таковым же казался: он носил набекрень пуховую шляпу вместо прежней потертой фуражки; драповая бекеша с немец-

ким бобриком предохраняла от стужи его брентное тело, которое в комнате украшалось темно-зеленым сюртуком с отложными широкими бортами и металлическими пуговицами, шелковым жилетом и широкими панталонами невыразимо палевого цвета. Иван Иванович аккуратно каждое утро посещал мелочную лавочку, где проводил полчаса и более в приятных разговорах с приказчиком. Приказчик тоже оказывал Ивану Ивановичу уважение и удовлетворял его расспросам. Всем петербургским жителям уже давным-давно известно, что мелочные лавочки служат своего рода клубами, сборными пунктами для всевозможной прислуги. Иван Иванович Зеленьков успел заслужить благоволение и от этих посетителей, ибо рассказывал им разные истории, балагурил и иногда почитывал «Пчелку». Зоркое око его вскоре заметило между многочисленными посетителями курносую девушку Грушу, отправлявшую обязанности прислуги у Бероевых. Курносая девушка Груша, солдатская дочь, являла собою вполне порождение Петербурга: она могла быть и горничной, и кухаркой, и бело-

швейкой, и всем чем угодно, и в сущности ничем. Хотя курносая Груша никакими особенно приятными качествами души и наружности не отличалась, однако Иван Иванович начал преимущественно перед нею «точить свои лясы». Курносая Груша сначала отвечала молчанием, пренебрегала лясами Ивана Ивановича, отвергивалась от своего искателя, а потом, видя такое его постоянство, начала улыбаться, отвечать на лясы лясами же, и наконец мягкое сердце ее не выдержало. Приятные качества Ивана Ивановича вполне победили курносую Грушу, особенно, когда он, догнав раз ее на лестнице, подарил шелковый фуляр, а в другой — золотые сережки. Груша вдруг ощутила потребность более обыкновенного подняться наверх к курьерской вдове Троицыной то за одолжением спичками-серинками, то за угольками. Наконец она появилась и в апартаментах гостеприимного Ивана Ивановича. Иван Иванович с тех самых пор, как уловил в свои сети некрепкое, но доброе сердце девицы Груши, и сам несколько изменился: он по утрам, перед тем как отправляться к Александре Пахомов-

не с отчетом о своих действиях, неукоснительно забегал в цирюльню, где приказывал брить свою бороду, уснащать гонруазом усы и покруче завивать коками свои белобрысые волосы. Разноцветные галстуки также стали принадлежностью его костюма. Словом сказать, грязненький Иван Иванович Зеленьков преобразовался в совершенного сердцееда ради курносой девушки Груши.

Однажды утром он встретился с нею в мелочной лавочке и сказал с поклонцем:

— Послушайте, Аграфена Степановна, как я собственно желаю решить судьбу насчет своего сердца, так не побрезгуйте нониче ко мне на чашку кофию — притом же моя тенька будут.

— Очинно приятно, — отвечала Груша и обещала быть беспременно.

Когда к шести часам вечера она вошла к господину Зеленькову, комната его уже представляла вполне праздничный вид. На окошке не валялось ни сальных огарков, ни оторванных оловянных пуговок, ни сапожной щетки, ни даже полштофов, — все это было выметено, вычищено и запрятано куда-то. Пе-

ред высокоспинным волосяным диваном стоял покрытый расписной салфеткой стол; на столе — самовар с кофейником, сдобные булочки с сухарями, селедка и огурцы с копченой колбасой, пряники и орехи с малиновым вареньем. Все это было разложено на тарелках, между которыми возвышались штоф и бутылка.

На диване восседала Александра Пахомовна, одетая скромнее обыкновенного, хотя и с неизменной папироской в зубах. Иван Иванович почтительно сгибался перед нею на стуле, уткнув между колен свои сложенные пальцы.

— Вот-с, тетенька, и они-с! позвольте рекомендовать, — с торопливою развязностью вскочил он при входе Груши.

— Честь имею представить, — продолжал Зеленьков, расшаркиваясь и размахивая руками, — Аграфена Степановна, очень хорошие девицы, а это — моя тетенька!

Тетенька с величественной важностью поклонилась Аграфене Степановне, а Аграфена Степановна очень сконфузилась и не знала, как сесть и куда девать свои руки.

— Садитесь, пожалуйста! без церемонии! — шаркал и лебезил Иван Иванович. — Чем угощать прикажете? Тут всяких питаньев наставлено, — кушайте-с!

Обе гостьи тяжело откланивались, но к питаниям не прикасались.

— Тетенька-с!.. Аграфена Степановна! Сладкой водки не прикажете ли-с, али тене-рифцу? Выкушайте рюмочку, это ведь легонькое, самое дамское!

Гостьи жеманно отказываются; Иван Иванович, однако, не отстает, атакуя их с новою силой, и наконец побеждает: гостьи выкушали по рюмке сладкой водки и посмаковали тене-рифцу.

— Ах!.. ах, разлюбезное это дело! — восторженно умиряется, и сам не зная чему, Иван Иванович, причем егозит на стуле, всплескивает руками и щелит свои и без того узкие масляно-бегающие глазки.

— Нет, черт возьми! — вскакивает он с места и, схватив со стула гитару, запекает разбито-сладостным тенорком, со своими ужимками:

И вы, ды-рузья, моей красотки

*Не встречали ль где порой?
В целом нашем околотки
Нет красоточки такой!
Эта девушка-шалунья,
Эфто Грунюшка-игрунья —
Только юбка за душой!*

Тетенька сосредоточенно курит папироску, пуская дым через ноздри; Аграфена Степановна конфузится и краснеет, а Иван Иванович снова уже швырнул на диван гитару и в каком-то экстазе, ударяя себя кулаком в перси, говорит:

— Тетенька! распропащий я человек, потому — круглый сирота! И при моем сиротстве горьким, только вы одни у меня и остались... Добродетельная, можно сказать, сродственница! Хоша я и при своем капитале, однакоже проживаю в уединении. Только и услады одной, что чижа вот с клеткой купил, и преотменно, я вам скажу, поет, бестия, индо все уши прожужжит! Одначе ж он не человек, а как есть по всему чиж, так и выходит глупая он птица; а мне, при таком моем чувствии к коммерческим оборотам, требуетца теперича подругу. Правильно ли я полагаю, Аграфена

Степановна?

Аграфена Степановна потупилась, покраснев еще более прежнего. Тетенька ободрительно улыбнулась и с важностью приступила к расспросам:

— Вы, значит, здесь в услужении проживаете, при своих господах?

— По наймам... внизу тут — у Бероевых, — ответила Груша, кое-как оправляясь от смущения и радуясь, что настал разговор посторонний.

— По наймам?.. Так-с. А сколько жалованья вам кладут они?

— Три рубля в месяц да полтину на горячее. Только двое прислуги: куфарка да я при барыне и при детях.

— Так-с. Стало быть, господа-то небогатые?

— Где уж там богатые! Живут себе поменьку.

— И большое семейство?

— Нет, не так-то: сам хозяин, да жена при нем, да двое детей: мальчик и девочка.

— Значит, четверо. А сам-то — в чиновниках али так где служит?

— Он, этта, сказывали, по золотой части

какой-то у Шиншеева, — богач-то, знаете?

— Слыхала. Так это, стало быть, место доходное?

— Уж Христос их знает! Слышала я точно, что другие больно уж наживаются, а он — нет; одним жалованьем доволен. И притом же должность его такая, что на месте не живет, а побудет, сколько месяцев придется, здесь с семейством, а там и ушлют в Сибирь на полгода и больше случается. Вот и теперь уехавши, недель с пять уж есть. Барыня-то одна осталась.

— Гм... А может, он и получает какие доходы, да куда-нибудь на сторону их относит? — с подозрительно-лукавою миной спросила тетенька.

— Ах, нет, как можно! — совестливо вступилась Груша. — Он всякую копейку, что только добудет, все в семейство несет, даже и оттуда, из Сибири-то, присылает. Нет, для семейства он завсегда большой попечитель.

— Ну, а как живут-то, не ругаются?

— Ой, что вы! душа в душу живут. Вот уже шесть годов они женаты, да я пятый год при них служу, так верите ли богу — ни разу то-

ись не побранились между собою; а чтобы это ссоры, неудовольствия какого — и в помине нет! Очень любят друг дружку, уж так-то любят — на редкость, со стороны смотреть приятно. И такой-то у них мир да тишина, что во век, кажися, не отойду от места. И мать такая хорошая она; деток своих до смерти любит; обоих сама выкормила.

— А может, так, одно притворство? — попыталась тетенька смутить рассказчицу. — Может, у нее какие ни на есть амурсы на стороне заведены! Ведь тут у нас это не на редкость бывает!

— Ну, уж нет! — с гордым достоинством, горячо перебила Груша. — Может, у других где — оно и так, а у нас не водится! Наша-то без мужа ровно монашенка живет, все с детьми занимается, сама обшивает их да учит шутём в книжку читать, и коли куда погулять выйти, так все с детьми же. Нет, уж такой-то домоседки поискать другой! Вон, этта, как-то бал ономясь у Шиншеева был. Так что ж бы вы думали? Муж еле-еле упросил поехать, а то сама и слышать не хотела: что, говорит, там делать мне? А не ехать тоже нель-

зя, потому — сам Шиншеев просить приезжал.

— Что ж, разве она образованности не имеет, если ехать не хотела? — опять ввернула тетенька свое замечание.

— Нет, она очень, можно сказать, образованная, — оступилась Груша, — все в книжку читает и на фортепьяне до жалости хорошо играть умеет и на всяких языках доподлинно может, — это сама я слышала. А только не любит этого, балов-то. Она, чу, сама барского рода, у родителей жила в Москве, да родители разорились, в бедности живут, так они теперича с мужем, при всех недостатках, от себя урывают да им помощь оказывают.

— Что ж, это хорошо, — похвалила тетенька, затягиваясь папироской. — А почему это сам Шиншеев приезжал к ним звать-то? — продолжала она. — Уж он, верно, даром, для блезиру, не позовет ведь служащего, потому какая ему компания служащий?

Груша на минуту раздумчиво остановилась.

— Верно, уж он это неспроста! не ухаживает ли он за самой-то, подарков каких, гляди,

не делает ли тайком от мужа-то? — допытывала Александра Пахомовна.

Груша опять подумала.

— Это было, — утвердительно сказала она. — Шиншеев-то больше норовил приезжать к нашей без мужа. Приедет, бывало, детям игрушек, конфет навезет; а она, моя голубушка, сидит, словно в воду опущенная. Раз я таки подслушала, грешным делом: сидит, эта, он у нее да и говорит: «Хорошо будет, и мужу вашему хорошо; а теперь, хоша он и честный человек, а вы в бедности живете; лучше, говорит, в богатстве жить». Так она индо побледнела вся, затряслась, сама чуть не падает, и уйти его попросила. Всю-то ночь потом проплакала, так что просто сердце изныло, на нее гляючи. Он ей опосле этого браслетку прислал золотую, с камнем разным — так что ж бы вы думали, моя матушка? Назад ведь ему отослала: я сама и относила ведь! Право!..

— Стало быть, она дура, коли от фортуны своей отказывается, — солидно и с сознанием полной своей правоты заметила тетенька.

— Нет, не дура, — возразила девушка, — а

только в законе жить хочет да Егора Егорыча своего любит, только и всего. А мужу про Шиншеева не сказала, — продолжала Груша, — потому — горячий он человек и мог бы места своего решиться. Отчего ей и труднее, что все сама в себе переносит. Вот и теперь: тоскует, сердечная.

— К чему же тосковать-то? — апатично спросила Александра Пахомовна, наливая кофе.

— Как к чему, дорогая моя! Шуточное ли дело теперича, нужда какая!.. Должишки у них есть, — ну, платят по малости; в Москву тоже посылают, самим жить надо. Егор-то Егорыч теперь уехал, когда-то еще пришлет денег, богу известно, а ей ведь всего пятьдесят рублей оставил; выслать обещался, да вот и не пишет ничего, а она убивается — уж не случилось ли чего с ним недоброго?

— Ну, у Шиншеева бы спросила, — посоветовала тетенька.

— Да, легко сказать-то, у Шиншеева! — возразила Груня. — У него уж и так они сколько жалованья-то вперед забрали — чай, отслуживать надо! А спросить еще совестится,

особливо знавши то, как приставал-то он. Да и скареда же человек-то! — с негодованием воскликнула девушка. — Сперва, этта, давал-давал деньги, а теперь и прижался: пушай, мол, сама придет да попросит; пушай, мол, надоест нужда, так авось с пути свернется. Вот ведь каково-то золото он! Мы хоша люди маленькие, а тоже понимаем. А она к нему — хоть умри, не пойдет, — продолжала Груня. — Теперича управляющий за фатеру требует, сами кой-как перебиваемся вторую неделю; Егор Егорыч не пишет, — так она уж, моя голубушка, сережки брильянтовые да брошку свою продавать хочет, чтобы пока-то извернуться как-нибудь.

При этом последнем известии внезапная мысль пробежала по лицу Александры Пахомовны. Она в минуту сообразила кое-что в мыслях и неторопливо приступила к новым маневрам.

— Так вы говорите, что она очень нуждается... Гм... это видно, что женщина, должно быть, хорошая, даже вчуже слушать-то жалко, — заговорила она, с сострадательной миной покачивая головою. — Вы говорите, что

она даже вещи продавать хочет? — продолжала тетенька. — И хорошие вещи, брильянтовые?

Груня подтвердила свои слова и заверила в достоинстве брильянтов.

— Барыня сказывала, что мало-мало рублей двести за них дать бы надо, — сообщила она.

— Так-с, — утвердила тетенька. — В этом я могу, пожалуй, помочь ей.

Девушка с удивлением выпучила глаза на Александру Пахомовну.

— Теперича ежели продать их брильянтикам, — продолжала эта последняя, — так ведь они работы не ценят и за камень самое ничтожество дают вам. А вы вот что, душенька, скажите вашей барыне, коли она хочет, я могу продать ей за настоящую цену, потому у меня случай такой есть.

— Это точно-с! у тетеньки — случай! — поддакнул, крякнув в рукав, Иван Иванович.

— Потому как я состою при своей генеральше в экономках, — говорила тетенька, — и не столько в экономках, сколько собственно при ее особе, можно сказать, в компаньонках

живу, так надо вам знать, что генеральша имеет свои странности. Ну, вот — просто не поверите, до смерти любит всякие драгоценности, и везде, где только можно, скупает их по самой деликатной цене, потому — это она не по нужде, а собственно прихоть свою тешит. Так если вашей барыне угодно будет, — заключила Александра Пахомовна, — я могу генеральше своей сегодня же сказать, и она даже, если вещи стоящие, может и более двухсот рублей дать — это ей все единственно.

Совершив таким образом последний маневр, тетенька успокоилась на лаврах и, закурив новую папироску, окончательно уже предоставила поле посторонней болтовни Ивану Ивановичу Зеленькову.

Груша в тот же вечер передала Бероевой предложение зеленьковской тетки.

VIII

НЕОЖИДАННЫЙ ВИЗИТ

На другой день, около двух часов пополудни, во двор того дома, где обитали господин Зеленков и Юлия Николаевна Бероева, с грохотом въехала щегольская карета и остановилась у выхода из общей лестницы. Ливрейный лакей поднялся вверх и дернул за звонок у дверей Бероевых.

— Дома барыня?

— Дома.

— Скажите, что генеральша фон Шпильце приехала и желает их видеть по делу.

Известие это застигло Юлию Николаевну в ее маленькой, небогатой, но со вкусом и чистотою убранной гостиной, где она, сидя в уголке дивана, одетая в простое шерстяное платье, занималась каким-то домашним рукоделием; а у ног ее, на ковре, играли двое хорошеньких детей. Мебель этой комнаты была обита простым ситцем; несколько фотографических портретов на стенах, несколько книг на столе, горшки с цветами на окнах да пиа-

нино против дверей составляли все ее убранство, на котором, однако, явно лежала печать женской руки, отмеченная чистотой и простым изяществом вкуса. В этой скромной домашней обстановке, с этими двумя розовыми, светлоглазыми малютками у ног она казалась еще прекраснее, еще выше и чище, чем там, на рауте, в пышной фантастической обстановке тропического сада. Мирно-светлое, благоговейное чувство невольно охватило бы каждого и заставило почтительно склонить голову перед этим честным очагом жены и матери. Стоило поймать только один ее добрый, бесконечно любящий взгляд на этих веселых, плотных ребятишек, чтобы понять, какую великою силой здоровой и страстной любви привязана она к своему мужу, как гордо чтит она весь этот скромный семейный быт свой, несмотря на множество скрытых нужд, лишений и недостатков материальных. Она умела твердо бороться с этими невзгодами, умела побеждать их и устраивать жизнь своего семейства по возможности безбедно и беспечально. Она глубоко уважала мужа за его твердость и донкихотскую честность. Чи-

татель знает уже несколько обстоятельств Бероевых из добродушной болтовни курносой девушки Груши. В пояснение мы можем прибавить, что Егор Егорович Бероев — бывший студент Московского университета и во время оно учитель маленьких братьев Юлии Николаевны — женился на ней, не кончив курса, в ту самую минуту, когда разорившегося отца ее посадили за долги в яму, а старуха мать готова была отправиться за насущным хлебом по добрым людям. Эта женитьба поддержала несколько беспомощное семейство, которое перебивалось кое-как уроками Бероева, пока, наконец, он по рекомендации одного богатого школьного товарища получил место по золотопромышленной части у Давыда Георгиевича Шиншеева. Делец он оказался хороший, Давыд Георгиевич имел неоднократно случай убедиться в его бескорыстной честности и потому поручал ему довольно важные части своей золотопромышленной операции. Обязанности Бероева были такого рода, что требовали ежегодных отлучек его в Сибирь на промыслы, а Давыд Георгиевич, по правилу, свойственному почти всем людям

его категории, эксплуатируя труд своего работника, попридерживал его в черненьком тельце относительно материального вознаграждения. Он всегда был необыкновенно любезен с Егором Егоровичем, приглашал его к себе на вечера и обеды, сам иногда ездил к нему, не без тайных, конечно, умыслов на красоту Юлии Николаевны, но весьма туго делал прибавки к его жалованью, несмотря на то, что не задумался бы кинуть несколько тысяч в вечер ради баронессы фон Деринг. Бероев же, считая вознаграждение за свой труд достаточным, по донкихотским свойствам собственной натуры, и не помыслил когда-либо об умножении своих достатков. Жалованье его сполна уходило на нужды семейства, а так как этих нужд было немало, то и в кассовой книге Шиншеева значилось, что этого жалованья забрано Бероевым уже вперед за три месяца. Неожиданная отлучка в Сибирь, спустя неделю после шиншеевского раута, захватила его врасплох, так что он мог уделить только очень незначительную сумму из своих прогонов, надеясь извернуться и выслать ей деньги в самом скором времени. Но...

должно быть, изворот оказался неудачен, и Юлия Николаевна уже несколько времени находилась в весьма затруднительных обстоятельствах, которые, наконец, вынудили ее на продажу двух вещиц, не почитавшихся ею необходимыми. Она искала только случая, как бы сбыть их по возможности выгоднее. В таком-то положении застиг ее визит Амалии Потаповны фон Шпильце.

Не успела она еще опомниться от недоумения при новом, незнакомом имени и значении самого визита, как в комнату вошла уже генеральша, в белой шляпе с перьями, завернутая в богатую турецкую шаль, с собольей муфтой в руках, украшенных кружевами и браслетами, и, с любезным апломбом особы, знающей себе цену, поклонилась Юлии Николаевне.

— Я слышала, вы желаете продать брильянты? — начала она своим обычным акцентом.

Юлия Николаевна вспомнила слова Груши, сообщившей ей вчера о предложении зеленъковской тетки, и потому отвечала утвердительно, прося присесть свою гостью.

— Могу смотреть их? — продолжала гене-

ральша, незаметно оглядывая обстановку гостиной.

Бероева вынесла ей из спальни сафьянный футляр с брошем и серьгами.

— Ah, cela me plaît beaucoup! — процедила генеральша, любуясь игрою брильянтов. — Je dois vous dire, que j'ai une passion pour toutes ces bagatelles...[144] Это ваши малютки? — с любезной нежностью вдруг спросила она, делая вид, что сердечно любитесь на двух ребятшек.

— Да, это мои дети, — ответила Бероева.

— Ah, quels charmants enfants, que vous avez, madame, deux petits anges!..[145] Поди ко мне, моя душенька, поди к тетенька! маленька, — нежно умилялась генеральша и, притянув к себе детей, поцеловала каждого в щеку. — O, les enfants c'est une grande consolation! [146] * А тож я это понимаю... сама мать! — покачивала головой фон Шпильце и в заключение даже глубоко вздохнула. — Мне нравятся ваши безделушки... Я хочу купить их, — свернула генеральша на прежнюю колею, снова принимаясь любоваться игрою камнейев. — А что цена им? — спросила она.

— Заплачены были двести восемьдесят, а я хотела бы взять хоть двести, — отвечала Бероева.

— O, se n'est pas cher![147] — согласилась Амалия Потаповна. — Така деньги почему не дать! Я буду просить вас завтра до себя, — продолжала она, возвращая футляр вместе со своей карточкой, где был ее адрес. — *Demain a deux heures, madame*[148]. Я пошлю за ювелир и посоветуюсь с племянником, а там — и деньги на стол, — заключила она, любезно протягивая Бероевой руку.

Юлия Николаевна со спокойным, светлым и довольным лицом проводила ее до прихожей, где ожидал генеральшу ливрейный гайдук с богатой бархатной собольей шубой.

IX ВЫИГРАННОЕ ПАРИ

На следующий день, в назначенное время, Бероева приехала к генеральше.

Петька, предуведомленный молодым Шадурским, нарочно в это самое время прохаживался там мимо дома, чтобы быть свидетелем ее прибытия, и видел, как она, расспросив предварительно дворника, где живет генеральша, по его указанию вошла в подъезд занимаемой ею квартиры. Петька все это слышал собственными ушами и видел собственными глазами. Теперь в его голове не осталось ни малейшего сомнения в существовании связи между Бероевой и Шадурским. Он сознал себя побежденным.

Лакей проводил Бероеву до приемной, где ее встретила горничная и от имени Амалии Потаповны попросила пройти в будуар: генеральша, чувствуя себя нынче не совсем здоровой, принимает там своих посетителей.

«В будуар — так в будуар; отчего ж не пройти?» — подумала Бероева и отправилась

вслед за нею.

— Ах! я отчинь рада! — поднялась генеральша. — Жду ювелиир и племянник... Племянник в полчаса будет — *les affaires l'ont retenu*[149], — говорила она, усаживая Бероеву на софу, рядом с собою.

— *Et en attendant, nous causerons, nous prendrons du cafe, s'il vous plait, madame!*[150] Снимайте шля-апа! — с милой, добродушно-бесцеремонной простотой предложила генеральша, делая движение к шляпным завязкам Бероевой.

Юлия Николаевна уступила ее добродушным просьбам и обнажила свою голову.

— Я эти час всегда пью ко-офе — *vous ne refuserez pas?*[151] — спросила любезная хозяйка.

Бероева ответила молчаливым наклонением головы, и генеральша, дернув сонетку, отдала приказание лакею.

Будуар госпожи фон Шпильце, в котором она так интимно на сей раз принимала свою гостью, явно говорил о ее роскоши и богатстве. Это была довольно большая комната, разделенная лепным альковым на две поло-

вины. Мягкий персидский ковер расстился во всю длину будуара, стены которого, словно диванные спинки, выпукло были обиты дорогой голубою материею. Голубой полусвет, пробиваясь сквозь опущенные кружевные занавесы, сообщал необыкновенно нежный, воздушный оттенок лицам и какую-то эфемерную туманность всем окружающим предметам: этому роскошному туалету под кружевным пологом, заставленному всевозможными безделушками, этому огромному трюмо и всей этой покойной, мягкой, низенькой мебели, очевидно, перенесенной сюда непосредственно из мастерской Гамбса. В другом конце комнаты, из-за полуприподнятой занавеси алькова, приветно мигал огонек в изящном мраморном камине, и выставлялась часть роскошной, пышно убранной постели. Вообще весь этот богато-уютный уголок, казалось, естественным образом предназначался для неги и наслаждений, так что Юлия Николаевна невольно как-то пришла в некоторое минутное недоумение: зачем это у такой пожилой особы, как генеральша фон Шпильце, будуар вдруг отделан с восточно-француз-

скою роскошью балетной корифейки.

Человек внес кофе, который был сервирован несколько странно сравнительно с обстановкой генеральши: для Амалии Потаповны предназначалась ее обыденная чашка, отличавшаяся видом и вместимостью; для Бероевой же — чашка обыкновенная. Когда кофе был выпит, явившийся снова лакей тотчас же унес со стола чашки.

Прошло около получаса времени, и в будуаре неожиданно появился новый посетитель, которому немало удивилась Бероева.

Это был князь Владимир Дмитриевич Шадурский.

— Меня прислал ваш племянник, — обратился он к генеральше, успев между тем и Бероевой поклониться, как знакомый. — Он просил меня заехать и передать вам, что непременно приедет через полчаса, никак не позже...

— Il ne sait rien, soyez tranquille[152], — успела шепнуть генеральша Бероевой.

— Вы мне позволите немного отдохнуть? — продолжал Шадурский, опускаясь в кресло и вынимая из золотого портсигара то-

ненькую, миниатюрную папироску. Генеральша подвинула ему японского болванчика со спичками.

Князь Владимир курил и болтал что-то о новом балете Сен-Леона и новой собаке князя Черносельского, но во всей этой болтовне заметно было только желание наполнить какими-нибудь звуками пустоту тяжелого молчания, которую естественно рождало натянутое положение Бероевой. Амалия Потаповна старалась по возможности оживленно поддакивать князю Владимиру, который с каждой минутой очевидно усиливался выискивать новые мотивы для своей беседы. Генеральша не переставала улыбаться и кивать головою, только при этом поминутно кидала украдкой взоры на лицо Бероевой.

— Что это, как у меня щеки разгорелись, однако? — заметила Юлия Николаевна, прикладывая руку к своему лицу.

— От воздуху, — успокоительно пояснила генеральша и бросила на нее новый наблюдательный взгляд.

— Ваше превосходительство, вас просят... на минутку! — почтительно выставилась из-

за двери физиономия генеральской горничной.

— Что там еще? — с неудовольствием обернулась Амалия Потаповна.

— Н... надо... там дело, — с улыбкой затруднилась горничная.

— Pardon! — пожала плечами генеральша, подымаясь с места, — Je vous quitte pour un moment... Pardon, madame![153] — повторила она снова, обращаясь к Бероевой, и удалилась из комнаты, мимоходом, почти машинально, притворив за собою двери.

Князь продолжал болтать, но Бероева не слышала и не понимала, что говорит он. С нею делалось что-то странное. Щеки горели необыкновенно ярким румянцем; ноздри расширились и нервно вздрагивали, как у молодой дикой лошади под арканом; всегда светло-спокойные, голубые глаза вдруг засверкали каким-то фосфорическим блеском, и орбиты их то увеличивались, то смыкались, на мгновенье заволакивая взоры истомной, туманной влагой, чтобы тотчас же взорам этим вспыхнуть еще с большею силой. В этих чудных глазах светилось теперь что-то вакхиче-

ское. Из полураскрытых, воспаленно-пересохших губ с трудом вылетало порывистое, жаркое дыхание: его как будто захватывало в груди, где так сильно стучало и с таким щёкотным ощущением замирало сердце. С каждым мгновением эта экзальтация становилась сильнее, сильнее — и в несколько минут перед Шадурским очутилась как будто совсем другая женщина. От порывистых, безотчетных метаний головой и руками волосы ее пришли в беспорядок и тем еще более придали красоте ее сладострастный оттенок. Она хотела подняться, встать-но какая-то обаятельная истома приковывала ее к одному месту; хотела говорить — язык и губы не повиновались ей более. В последний раз смутно мелькнувшее сознание заставило ее обвести глазами всю комнату: она как будто искала генеральшу, искала ее помощи и в то же самое время ей почему-то безотчетно хотелось, чтобы ее не было, чтоб она не приходила. И точно: генеральша не показывалась больше. Один только Шадурский, переставший уже болтать, глядел на нее во все глаза и, казалось, дилетантски любовался на эту опьяняю-

щую, чувственную красоту.

Но вот он поднялся со своего кресла и пересел на диван, рядом с Бероевой. По жилам ее пробегало какое-то адское пламя, перед глазами ходили зелено-огневые круги, в ушах звенело, височные голубоватые жилки наливались кровью, и нервическая дрожь колотила все члены.

Он взял ее за руку — и в этот самый миг, от одного этого магнетического прикосновения — жгучая бешеная страсть заклокотала во всем ее теле. Минута — и она, забыв стыд, забыв свою женскую гордость, и вне себя, конвульсивно сцепив свои жемчужные зубы, с каким-то истомно-замирающим воплем, сама потянулась в его объятия.

Долго длился у нее этот экстаз, и долго смутно ощущала и смутно видела она, словно в чаду, черты Шадурского, пока наконец глубокий, обморочный сон не оковал ее члены.

* * *

В тот же самый вечер проигравший пари свое Петька угощал Шадурского ужином у Дюссо и, с циническим ослаблением слушая столь же цинический рассказ молодого князя,

провозглашал тост за успех его победы.

Х

СЧАСТЛИВЫЙ ИСХОД

Было семь часов вечера, когда Бероева очнулась. Она раскрыла глаза и с удивлением обвела ими всю комнату: комната знакомая — ее собственная спальня. У кровати стоял какой-то низенького роста пожилой господин в черном фраке и золотых очках, сквозь стекла которых внимательно глядели впалые, умные глаза, устремленные на минутную стрелку карманных часов, что держал он в левой руке, тогда как правая щупала пульс пациентки. Ночной столик был заставлен несколькими пузырьками с разными медицинскими средствами, которые доктор, очевидно, привез с собою, на что указывала стоявшая тут же домашняя аптечка.

— Что же это, сон? — с трудом проговорила больная.

Доктор вздрогнул.

— А... наконец-то подействовало!.. очнулась! — прошептал он.

— Кто здесь? — спросила Бероева.

— Доктор, — отвечал господин в золотых очках, — только успокойтесь, бога ради, не говорите пока еще... Вот я вам дам сейчас успокоительного, тогда мы поболтаем.

И с этими словами он налил в рюмку воды несколько капель из пузырька и с одобрительной улыбкой подал их пациентке. Прошло минут десять после приема! Нормальное спокойствие понемногу возвращалось к больной.

— Как же это я здесь? — спросила она, припоминая и соображая что-то. — Ведь, кажется, я была...

— Да, вы были у генеральши фон Шпильце, — перебил ее доктор. — я и привез вас отсюда в карете, вместе с двумя людьми ее. Бедная старушка, она ужасно перетрусилась, — заметил он со спокойною улыбкой.

— Скажите, что же было со мною? Я ничего не помню, — проговорила она, приходя в нервную напряженность при смутном воспоминании случившегося.

— Во-первых, успокойтесь, или вы повредите себе, — отвечал доктор, — а во-вторых —

с вами был обморок, и довольно сильный, довольно продолжительный. Мне говорила генеральша, — продолжал он рассказывать, — что она едва на пять минут вышла из комнаты, как уже нашла вас без чувств. Ну, конечно, сейчас за мною — я ее домашний доктор, — долго ничего не могли сделать с вами, наконец заложили карету и перевезли вас домой — вот и все пока.

— Вы говорите, что она только на пять минут уходила? — переспросила больная.

— Да, не более, а воротясь, нашла вас уже в обмороке, — подтвердил доктор.

— Стало быть, это сон был, — прошептала она. — Какой сон? не знаю, не помню... только страшный, ужасный сон.

— Гм... Странно... Какой же сон? — глубокомысленно раздумывал доктор. — Вы хорошо ли его помните?

— Не помню; но знаю, что было что-то — наяву ли, во сне ли — только было...

— Гм... Вы не подвержены ли галлюцинациям или эпилепсии? — медицински допрашивал он.

Больная пожалала плечами.

— Не знаю; до сих пор, кажется, не была подвержена.

— Ну, может быть, теперь, вследствие каких-нибудь предрасполагающих причин... Все это возможно. Но только если вы помните, что был какой-то сон, то это наверное галлюцинация, — с видом непогрешимого авторитета заключил доктор.

«Сон... Галлюцинация — слава богу!» — успокоенно подумала Юлия Николаевна и попросила доктора кликнуть девушку, чтобы осведомиться про детей.

Вошла Груша и вынула из кармана почтаamtскую повестку.

— Почтальон приносил, надо быть, с почты, — пояснила она, хотя это и без пояснения было совершенно ясно.

Юлия Николаевна слабою рукою развернула бумагу и прочитала извещение о присылке на ее имя тысячи рублей серебром.

— От мужа... Слава тебе, господи! — радостно проговорила она. — Теперь я совершенно спокойна.

— Однако дней пять-шесть вы должны полежать в постели, — методически заметил

доктор, убрав свою аптечку и берясь за шляпу. — Тут вот оставлены вам капли, которые вы попьете, а мы вас полечим, и вы встанете совсем здоровой, — продолжал он, — а пока — до завтра, прощайте...

И низенький человек откланялся с докторски солидной любезностью, как подобает истинному сыну Эскулапа.

— В Морскую! — крикнул он извозчику, выйдя за ворота — и покатил к генеральше фон Шпильце.

* * *

— Nun was sagen sie doch, Herr Katzel?[154] — совершенно спокойно спросила его Амалия Потаповна.

— О, вполне удачно! могу поздравить с счастливым исходом, — сообщил самодовольный сын Эскулапа.

— Она помнит?

— Гм... немножко... Впрочем, благодаря мне, убеждена, что все это сон, галлюцинация.

— S'gu-ut, s'gu-ut![155] — протянула генеральша с поощрительной улыбкой, словно кот, прищуривая глазки.

— Ну-с?! — решительно и настойчиво приступил меж тем герр Катцель, отдав короткий поклон за ее поощрение.

Амалия Потаповна как нельзя лучше поняла значение этого выразительного «ну-с» и опустила руку в карман своего платья.

— Auf Wiedersehen! — поклонилась она, подавая доктору кулак для потрясения, после которого тот ощутил в пальцах своих шелест государственной депозитки.

Амалия Потаповна поклонилась снова и торопливой походкой стала удаляться из залы. Сын Эскулапа еще торопливее развернул врученную ему бумажку: оказалась радужная.

— Эй, ваше превосходительство! пожалуйте-ка сюда! — закричал он вдогонку.

Генеральша вернулась, вытянув шею и лицо с любопытно-серьезным выражением.

— Это что такое? — спросил герр Катцель, приближая депозитку к ее физиономии.

— Это? Сто! — отвечала она с таким наивно-невинным видом, который ясно говорил: что это, батюшка, как будто сам ты не видишь?

— А мне, полагаете вы, следует сто?

— Ja, ich glaube[156], «сто».

— А я полагаю — триста.

— Зачем так? — встрепелулась Амалия Потаповна.

— А вот зачем, — принялся он отсчитывать по пальцам, — сто за составление тинктуры, сто за подание медицинской помощи, да сто за знакомство с вами, то есть мою всегдашнюю долю, по старому условию.

Генеральша поморщилась, вздохнула от глубины души и молча достала свое портмоне, из которого еще две радужные безвозвратно перешли в жилетный карман Эскулапа.

— Вот теперь так! и я могу сказать: auf Wiedersehen! — с улыбкой проговорил герр Катцель и, поправляя золотые очки, удалился из залы.

ДВА НЕВИННЫХ ПОДАРКА

Доктор Катцель, несколько дней сряду навещавший Бероеву, нашел, наконец, что она поправилась и может встать с постели. Хотя Юлия Николаевна чувствовала некоторую слабость в ногах и по временам небольшую дрожь в коленях, но доктор Катцель уверил ее, что это ничего не значит, ибо есть прямое, нормальное следствие бывшего с нею припадка, которое пройдет своевременно, после чего, ощутив в руке приятное шуршание десятирублевой бумажки, он откланялся с обычной докторски солидной любезностью.

Позволение встать с постели пришлось как нельзя более кстати для Юлии Николаевны: это был день рождения ее дочери. Прежде всего она оделась и поехала в почтамт — получить присланные деньги. Муж писал ей, что оборот, который он предполагал сделать, удался совершенно и, вследствие этого, высылаются деньги; что вскоре и еще будет выслана некоторая сумма, ибо промысловые дела

идут отлично, а с весной на самых приисках есть надежда пойти им еще лучше. Все это могло задержать Бероева на неопределенное время и поэтому он полагал, что вернется едва ли ранее семи-восьми месяцев.

— Лиза, что тебе подарить сегодня? — приласкала Бероева дочку, возвратясь из Гостиного двора с целым ворохом разных покупок.

— Что хочешь, мама, — отвечала девочка, кидая взгляд на магазинные свертки, откуда между прочим торчали ножки разодетой лайковой куклы.

— Я тебе с братишкой привезла гостинец, по игрушке купила, — с тихой любовью продолжала болтать она, лаская обоих ребятшек. — Отец целует вас и пишет, чтобы я тебе, Лиза, для рождения подарила что-нибудь! Чего ты хочешь?

— Не знаю, — застенчиво сказала девочка, кидая новый взгляд на соблазнительные свертки.

— Видишь ли что, — говорила Юлия Николаевна, — ты теперь девочка большая, умница, тебе уже пять лет сегодня минуло. Я для тебя хочу сделать особенный подарок.

— Какой же, мама? — любопытно подняла на нее Лиза свои большие светлые глазенки.

— А вот постой, увидишь. Когда я сама была маленькой девочкой и когда мне, точно так как тебе, минуло пять лет, так папа с мамой подарили мне старый-престарый серебряный рубль. Он и до сих пор еще цел у меня. Поддай мне вон ту шкатулочку с туалета...

Дети бросились за маленькой полисандровой шкатулкой.

— Вот видишь ли, какой он старый, — продолжала Бероева, показывая большую серебряную монету еще петровского чекана, — старее тебя и меня, старее бабушки с дедушкой, да и прадедушки вашего старее: этому рублю сто пятьдесят два года, — видишь ли, какой он старик! Так вот, я теперь дарю его тебе.

Лиза обвила пухлыми ручонками ее шею и принялась крепко целовать все лицо: нос, рот, глаза, подбородок и щеки, как обыкновенно любят выцеловывать дети.

Она была в восторге от подарка, целый день не выпускала его из рук; ночью положила с собою спать под подушку, рядом с новой куклою, и только на другой день к вечеру

спрятала в свою собственную шкатулку — на память.

* * *

Прошло около двух месяцев со дня внезапной болезни Бероевой. Семейная жизнь ее текла мирно и тихо, в своем укромном углу, среди занятий с детьми, кой-какого рукоделия книг с нотами. Почти нигде не бывая и почти никого не принимая к себе, она жила какою-то вольною затворницею, переписывалась с мужем да московскими родными и была совершенно счастлива в этом ничем не смущаемом светлом покое, словно улитка в своей раковине. Одно только, что изредка тревожило ее, это — воспоминание о внезапном припадке у генеральши фон Шпильце, — воспоминание, которое всегда ставило ее в тупик и посеяло страх: что, если начало этой болезни, этих галлюцинаций, есть еще у нее в организме и разовьется впоследствии до серьезных размеров Бероева была убеждена, что это — галлюцинация. Мужу она ничего не писала пока о случившемся, зная, что это его будет постоянно грызть и тревожить.

Между тем к концу второго месяца ее под-

стерегал страшный, неожиданный удар: она явно почувствовала и явно убедилась, что припадок не был галлюцинацией, что все испытанное ею и казавшееся сном была голая действительность, дело гнусного обмана, коварная ловушка, западня, в которую, когда потребуется, ловила честных женщин генеральша фон Шпильце. В ней поселилось теперь твердое убеждение, что это так, хотя существенных доказательств она никаких не имела и не могла разгадать всех нитей и пружин этой дьявольской интриги. Бероева почувствовала себя беременною. Горе, стыд, оскорбление женского достоинства и ненависть за поругание ее лучших, святых отношений одновременно закипели в ее сердце.

«А если она не виновата, если я сама причиною всему, если во мне самой загорелось тогда это гнусное желание», — думала иногда Бероева, и эта мысль только усиливала ее безысходное горе. Были минуты, когда она ненавидела и презирала самое себя, обвиняя только себя во всем случившемся. И это естественно — потому что, не имея никакого понятия о трущобах подобного рода и агент-

ствах добродетельной генеральши, ей и в голову не мог прийти заранее обдуманый план: назначение господина Зеленькова, счастливая мысль мнимой тетушки Александры Пахомовны и все прочее, что послужило к осуществлению прихоти молодого князя. Она была слишком хороший и честный человек для того, чтобы допустить явную, неопровержимую возможность такого черного дела. И вот эта-то двойственность в предположениях — то обвинение себя самой, то подозрение на генеральшу и князя — мучила ее нестерпимо. И между тем она должна была терпеть, молчать и таиться. Образ мужа и эти веселые дети стали для нее каким-то укором; чем нежнее были письма Бероева, чем веселее и счастливее ласки ребятишек, тем больше и больше давил ее этот укор, хотя и сама себе она не могла дать верного отчета: что именно это за укор и почему он ее донимает?

«Как быть? открыться ли мужу? — приходило ей в голову. — Открыться, когда сама не знаешь и не помнишь и не понимаешь, как было дело, — какой дать ему ответ на это? Себя ли винить, или других? Поселить в нем со-

мнение, быть может, убить веру в нее, в жену свою, отравить любовь, подорвать семейные отношения, и наконец — этот будущий ребенок, если он останется жив, — чем он будет в семье? Какими глазами станет смотреть на него муж, который не будет любить его? И как взглянут на нее самые законные дети, когда вырастут настолько, что станут понимать вещи?» Вот вопросы, которые неотступно грызли и сосали несчастную женщину. Наконец — худо ли, хорошо ли — она решилась скрывать, скрывать от всех и прежде всего от мужа. «Пусть будет, что будет, — решила Бероева, — а будет так, как захочет случай. Если откроется все, и он узнает — пусть узнает и поступает, как ему угодно, но я сама не сделаю первого шага, не напишу и не скажу ни слова».

Таково было ее решение, которое не покажется странным, если вспомнить сильную, страстную любовь этой женщины к мужу и боязнь поколебать ее каким бы то ни было сомнением, — если вспомнить, что у нее были дети, для счастья которых она считала необходимою эту полную, взаимно верующую и

взаимно уважающую любовь. Она предпочла лучше мучиться одна, но не отравлять, быть может, мучениями его жизни. Она решилась лучше скрыть, то есть обмануть, лишь бы не поколебать свое семейное счастье. Из-за одной уже этой боязни у нее не хватало духу и энергии открыть мужу то, что для нее самой было темной и сбивчивой загадкой. В этом случае Бероева поступила как эгоистка, но эгоизм такой сильно любящей женщины и понятен и простителен.

«А если и откроется, — божья воля, — все же не через меня!» — порешила она и все-таки продолжала втайне ждать, страдать и сомневаться.

ХII

ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЯТЕЛИ

Читатель, верно, не забыл еще обещания княгини Шадурской относительно десяти тысяч, которые так бескорыстно и самоотверженно посулила она Бодлевскому на рауте у Шиншеева. Мы должны сообщить, что посул этот не остался одним посулом. На другой день Татьяна Львовна нарочно проснулась ранее обыкновенного, то есть неслыханно рано — в восемь часов утра, тотчас же послала за управляющим, подробно справилась у него о состоянии своих собственных (не общих с мужем) фондов и приказала непременно доставить ей десять тысяч к часу пополудни. Управляющий поморщился, озабоченно почесал у себя за ухом, однако обещал исполнить.

В доме, который занимала генеральша фон Шпильце, нижний этаж отдавался под магазины. В одном из помещений этого этажа находился магазин модный, под какую-то французскую фирмой. Зеркальные окна, изящные станки для платьев, манто и шляпок, изящно

наряженные мастерицы представляли взору посетителя весьма приятную и привлекательную картину. Не будучи компетентными судьями в тонкостях женских нарядов, мы не можем сказать, что именно привлекало сюда заказчиков и заказчиц, особенно последних, но, судя по тому, что перед подъездом этого магазина часто останавливались довольно богатые экипажи, из которых выпархивали любительницы нарядов — и пожилые и молодые, — мы можем предположить, что, вероятно, магазин этот удовлетворял их вкусам и потребностям.

Некоторые утверждали, что содержит его все та же самая неизменная и достолюбезная генеральша, но содержит не официально, а на имя какой-то вышедшей из привлекательных лет француженки, которая, состоя налицо, заправляла делами магазина.

Не беремся опять-таки судить, насколько это достоверно, хотя и не можем не заметить, что в этом предположении заключается некоторая доля истины, если принять во внимание, во-первых, то обстоятельство, что из домашних комнат магазина была проделана

дверь на вторую лестницу генеральши, не на ту, где помещался швейцар и экзоты, а на ту, которая вела во второе и уже известное читателю отделение генеральской квартиры с более индустриально-комфортабельным характером. Во-вторых, предположение о прикосновенности m-me фон Шпильце к магазину получало еще некоторую достоверность и оттого, что вышедшая из привлекательных лет француженка занимала два апартамента во второй квартире генеральши. Вероятно, особе этой было вредно часто спускаться и подыматься по лестнице, потому что некоторые заказчицы, желая переговорить о фасонах и отделках или расплатиться по счету, просили обыкновенно дежурную мастерицу проводить их к m-me Фанни.

Так поступила на сей раз и Татьяна Львовна, приехавшая в условный час с обещанной суммой. Бодлевский уже дожидался ее в отдельном кабинете. Она сполна вручила ему привезенные деньги и только нежно просила при этом не манкировать впредь их свиданиями из-за таких пустяков, как карточный проигрыш, которого в сущности и не воображал

делать Бодлевский.

Бедная Диана! она любила самоотверженно, пылко и боязливо, со страхом потерять взаимность, и потому приносила даже капитальные жертвы. Такова, между прочим, всегда бывает любовь преклонных женщин. Последняя любовь пожилой красавицы и первая любовь семнадцатилетней девушки — две разительные крайности, которые однако сходятся между собою в этом пылком самоотвержении, с тою, впрочем, маленькой разницей, что там самоотвержение и жертвы — моральные, а здесь они — чисто материальные и по большей части касаются «презренного, но благородного металла».

Ощупав полновесную пачку в своем боковом кармане, Бодлевский в тот же день приступил к необходимым операциям. Он нашел большую и прекрасно меблированную квартиру в Моховой улице, с двумя отдельными ходами — для себя и для баронессы, куда переехал с нею в тот же вечер, ибо проживание в отеле Демута, где два номера обходились им шесть рублей в сутки, было весьма накладно. Деньги Шадурской пришлось те-

перь как нельзя более кстати: фонды их находились в столь плохом состоянии, что даже те девятьсот тридцать рублей, которые баронесса выиграла в «чет-нечет» у двух старцев на железной дороге, были уже на исходе. Теперь, с переездом на приличную, независимую квартиру да с таким кушем в запасе, можно было бы приняться за дела на широкую ногу.

На другой день Сергей Антонович Ковров привез к Бодлевскому графа Каллаша.

— Вы, господа, еще не знакомы, — так прошу познакомиться: дольщики и ассоциаторы должны быть вполне известны друг другу, — говорил Ковров, рекомендуя одного другому.

— Очень приятно, — отвечал венгерский граф, и, к удивлению Бодлевского, по-русски, — очень приятно! Я уже имел честь слышать о вас неоднократно... Ведь у вас, кажется, дело было в Париже по части фальшивых ассигнаций?

— О, нет, вы ошибаетесь, любезный граф, — возразил с приятной улыбкой Бодлевский. — Дело это не стоит ни малейшего внимания, — так себе, ничтожный подлог, да и притом же оно тотчас позабылось, так как я

не пожелал присутствовать в ассизном суде.

— А предпочел отвоаяжировать в Россию — это так, это верно! — вклеил свое замечание Сергей Антонович.

— Вообще если у меня и случались в жизни маленькие неприятные столкновения, так это именно больше по части подлогов... Есть, знаете, у каждого свой камень преткновения, — говорил Бодлевский, не обратив большого внимания на ковровскую вклейку. — А у вас, — отнесся он с польской любезностью к графу, — если не ошибаюсь — по части векселей...

— Ошибаетесь! — бесцеремонно перебил его граф. — У меня было разное. А впрочем, я не люблю говорить об этом!

— Равно как и делать? — улыбнулся Бодлевский.

Граф пристально посмотрел ему в глаза.

— Да, равно как и делать, потому что я презираю все это, — твердо сказал он.

— Ба!.. Рисуетесь, милый граф, рисуетесь! — лукаво кивнул Бодлевский. — Презирали бы, так не были бы в нашей ассоциации.

— Это две вещи совершенно разные, — ско-

роговоркой и как бы про себя процедил граф Каллаш.

— Ну, этого я, признаюсь, не понимаю!

— Ах, друг ты мой любезный! — пожал плечами Сергей Антонович, беря обоих за руки. — Да если нам нельзя иначе! Пойми ты: ведь надо же поддерживать честь своей фамилии! Ведь он — граф Каллаш!

— А это настоящая фамилия графа? — осведомился Бодлевский.

— В настоящую минуту — настоящая, — холодно и отдельно отчеканил граф, — а что касается до прошлой, — прибавил он, — то ни вам, ни ему, ни мне самому знать ее не следует.

— А! это дело десятого рода! — почтительным склонением головы удовлетворился Бодлевский.

— Вообще, господа, мы собрались сюда не для того, чтобы экзаменоваться и хвалить личные качества друг друга, — заметил граф Каллаш. — Я по крайней мере полагал, что еду к m-sieur Карозичу для переговоров и условий по общему делу... Я полагаю, — заключил он, вставая с места, — что пора обду-

мать наш проект, и потому желал бы видеть баронессу фон Деринг.

— Баронесса сейчас выйдет, — предупредил Бодлевский и торопливо направился на ее половину.

По первому взгляду, казалось, и он на графа и граф на него произвели не совсем-то выгодное впечатление. Но что до личных впечатлений там, где в виду общий интерес всей ассоциации!

Через пять минут вышла баронесса — и ассоциаторы открыли совещание о предстоящем выгодном деле.

XIII

ИСПОВЕДНИК

— **В**ы не слыхали pere[157] Вильмена?
— O, quel beau style! quelle eloquence,
quelle extase![158]

— Vraiment, cet homme est doue du feu sacre!
[159]

— Поедемте слушать Вильмена!

— Но ведь надо рано вставать для этого?

— Ну, вот! уж будто нельзя успеть к двенадцати часам!

— Да что делать там?

— Как что? Помилуйте! слушать, наслаждаться, prendre des lecons de morale et de religion...[160] И вы еще спрашиваете, «что делать»!

— Но ведь мы не католики...

— О, какой вздор! Это ничего не значит. Dieu est seul partout et pour tous; et de plus tous les notres y sont[161], почти весь beau monde [162] бывает... C'est a la monde enfin[163].

— А! это дело другое! Поедем, поедем непременно!

— Ну, что, как вам понравился Вильмен?

— Oh, superbe, charmant! Nous sommes toutes enchantées и т.д.[164]

Таков был перекрестный огонь восторгов, вопросов, аханья и замечаний, которые с некоторого времени волновали петербургский beau monde. Российские дамы православного вероисповедания, обыкновенно почивавшие сладким и безмятежным сном во время собственной обедни, наперерыв спешили теперь, вместе с петербургскими католичками, слушать элоквенцию реге Вильмена. И точно: слушали и умилялись. Хотя реге Вильмен, случалось, ораторствовал почти по два битых часа, но дамы все-таки слушали и умилялись или, по крайней мере, старались достойным образом изображать вид сердечного умиления. То-то была выставка благочестивых, восторженных, кокетливо тронутых экспрессий лиц и утренних нарядов! Диагональный ли столб солнечного света, падавший из купола вовнутрь прохладного храма, густые ли звуки органных аккордов, сливавшиеся с звучными голосами певцов итальянской оперы, производили на православных

петербургских дам такое умиление, или же умилялись они просто потому, что так следует, потому что «cela etait a la mode»[165] — наверное не знаем, но полагаем, что последнее предположение имеет на своей стороне большую долю вероятия и даже истины.

Когда реге Вильмен, смиренно опустя очи долу и сложив на груди свои руки, пробирался к кафедре, выражение его физиономии носило разительную печать иезуитизма, оно так и напоминало собою одну из гравюр Каульбаха к гетевскому «Reineke-Fuchs», на которой сей знаменитый Рейнеке изображен в ту минуту, как он в иезуитском костюме и в смиренно мудрой позе изволит выслушивать от петуха-прокурора формальное чтение своего приговора. Но, взойдя на кафедру, реге Вильмен преобразался. Когда, ощутивши достаточную дозу экстаза, он кидал громы своего красноречия — облик его принимал совсем иной характер: он напоминал собою грозно-вдохновенный, сурово-фанатический лик Савонаролы. Жесты его принимали величественность пафоса, черные глаза как-то углублялись и метали искры, а громкие фран-

цузские фразы лились неудержимо-театральным потоком.

И дамы плакали и умилялись.

Зато по окончании проповеди и службы или в светской гостиной с реге Вильменом совершалась новая метаморфоза. Здесь как-то сама собою проступала на первый план его умеренная толстота, с маленьким, но солидным брюшком пятидесятилетнего человека, и плавную, изящную речь его всегда сопровождали методическая понюшка душистого табаку «гаре» и самая благодушная улыбка. Он так и напоминал собою блаженной памяти придворных французских аббатов XVIII века. Так и казалось, что вот-вот возьмет он флейту, сядет к пюпитру и разыграет арию моцартовского «Дон Жуана» или из «Волшебной флейты» или продекламирует отрывок из Расина, а не то, пожалуй, под шумок, с самым добродушным видом, расскажет вам нечто во вкусе Лакло и Кребилльона-сына.

Почтенный реге Вильмен считался в Петербурге лицом временно приезжим. У него был какой-то ничтожный официальный

предлог, который именно и послужил ему причиной приезда в Россию; но некоторые лица петербургского католического духовенства не совсем-то его долюбивали и особенного благорасположения сему патеру не выказывали, ибо, помимо официальной его причины, провидели иную, постороннюю цель его пребывания в Петербурге. Они подозревали в добродетельном реге Вильмене тайного иезуитского агента.

Лица эти основали свои соображения частью и на том еще обстоятельстве, что реге Вильмен явился в Россию не один, а со своим слугой, который часто показывался вместе с ним там, где, по всем житейским соображениям, в слуге не было ни малейшей надобности: он сопровождал его и в церковь, и в консисторию, и в коллегию — словом, почти повсюду, куда официально показывался реге Вильмен. Даже и в неофициальных посещениях некоторых светских гостиных этот слуга каждый раз старался втереться в прихожую. Такое ревностное хождение, по-видимому, без всякой нужды, за своим господином и подало повод к догадке о тайной иезуитской

миссии реге Вильмена, ибо известно, что братьям приснодостоинного ордена Лойолы никогда не дается одиночных, самостоятельных поручений: в каждую миссию их отправляют непременно по трое, дабы они наблюдали и выслеживали действия друг друга, о которых своевременно делали бы тайные шпионские донесения своей орденской власти. Таковой-то шпион, всегда равноправный с миссионером брат ордена, часто принимает на себя роль слуги, если обстоятельства не позволяют ему взять роли сотоварища. Третий тайный брат наблюдатель принадлежал к постоянным петербургским жителям. Это был некий благочестивый старичок, получивший особое тайное предписание для своих наблюдений. Догадка на этот раз вполне оправдалась. Назойливый слуга реге Вильмена в сущности был шпион и орденский сотоварищ его — брат Жозеф.

С некоторого времени достойный отец Вильмен стал весьма-таки стесняться наблюдений брата Жозефа и даже не шутя побаивался их, но вскоре его совершенно успокоило одно постороннее обстоятельство: брат Жо-

зеф стал оказывать страстное влечение и сердечную привязанность к российской очищенной, известной тогда под популярным и балладо-романтическим названием Светланы. Маленький прием ее утром продолжался удвоенным приемом к обеду и оканчивался исчезновением брата Жозефа к вечеру. Светский костюм, который носил он в качестве слуги, гарантировал его страстные отношения к Светлане от соблазна людей посторонних. Брат Жозеф после ежевечернего исчезновения часа на три, на четыре очень скромно и тихо возвращался восвояси, кое-как сваливался на свое иноческое ложе и тотчас же засыпал мертвым сном до радостного утра. Братья, казалось, поняли друг друга: они без слов заключили между собою взаимный договор — не препятствовать своим эпикурейским склонностям, ибо эти индивидуальные качества души и сердца нисколько не касались принципов и сущности их иезуитской миссии. Зато в сфере этой последней обоюдное шпионство неослабно поддерживалось полным разгаром.

Реге Вильмен в короткое время приобрел

себе вместе с огромною популярностью довольно значительный кружок католических исповедниц. Он любил чаще всего исповедовать на дому, в молельных или будуарах, где ревностные католички откровенно слагали с себя весь груз своих прегрешений. Pere Вильмен особое внимание оказывал богатым светским дамам и преимущественно богатым старушкам. Все ужасы ада и все блаженство рая фигурировали в его келейных поучениях этим особам, — в поучениях, направленных преимущественно на бренность земных благ и стяжаний и на отречение от них в пользу благ душевных. Посильным результатом поучений было, что несколько благочестивых старушек, устрасясь ужасов вильменова ада и прельстясь его раем, великодушно отказались от имений своих в пользу почтенного ордена, к которому имел честь принадлежать добродетельный pater. В его портфеле уже хранились два-три духовные завещания да наличными деньгами и драгоценными вещами тысяч на пятьдесят с излишком. Все это были благочестивые плоды, собранные им на пользу и процветание заветного ордена.

Реге Вильмен, и сам того не подозревая, нашел себе сильного пропагандиста в молодом графе Каллаше.

Граф Николай Каллаш занял довольно видную роль в обществе. Предположения опытных светских людей, сделанные о нем на рауте Шиншеева, оправдались. Граф блистал в весьма модных гостиных, пользовался приятельством и дружбой лучших из светских молодых людей, имел неограниченный кредит у Шармера, у Никельс и Плинке, у Дюссо и Елисеева; Сабуров поставлял ему ежемесячно лучший экипаж и лучших рысаков своих; две-три лучшие камелии до вражды поругались между собою за право ходить с ним в маскараде; несколько светских барынь с замиранием сердца ждали, кому из них этот Парис отдаст заветное яблоко, и все вообще восхищались его красотой, умом, его французскими стихами, его романсами и рисунками в альбомах. Старушки тоже полюбили его. Одни только мужчины — въяве друзья и приятели — были тайными врагами графа, и иные из них не задумывались под сурдинку распускать про него разные неблагоприятные

сплетни. Но — странное дело! — это только увеличило обаяние графа в глазах женщин. Он знал свою силу, свое могущество над ними и пока пользовался ими для весьма тонкой, красноречивой пропаганды в пользу регё Вильмена, который его же стараниями был обязан большей частью своей популярностью. Не одна из особ прекрасного пола, увлеченная рассказами графа, отправлялась на исповедь или для религиозной беседы к регё Вильмену, и, можно сказать с достоверностью, ни одна из них не выходила от патера без того, чтобы после нескольких визитов не оставить ему своей посильной лепты. И это были не одни католички — весьма многие из русских православных барынь, очень уж возлюбя французское красноречие, делали свои вклады то золотыми вещами, то кой-какими деньгами в пользу разных филантропических целей, выставляемых или Вильменом, или графом Каллашом.

Время шло своим чередом, а французский иезуит, благодаря своим личным достоинствам и ловкой невидимой пропаганде графа Каллаша, приобретал все больше и больше

влияния на умы некоторых из русских барынь.

XIV

НАЗИДАТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ

Реге Вильмен хотя избрал себе для виду, так сказать, официально, скромную келию в одном из тех мест, где обыкновенно останавливается приезжее католическое духовенство, однако секретным образом предпочел нанять для себя, вместе со своим слугой, частную, свою собственную и совершенно отдельную квартиру, взятую третьим братом наблюдателем на свое имя. Сделать это было не трудно, так как третий брат наблюдатель принадлежал к ордену тайно, жил в мире и даже числился на службе в одном из присутственных мест. Квартира нужна была сему добродетельному триумвирату для особых важных совещаний по делам своей секретной миссии. Подозрительная осторожность вообще прежде всего свойственна истинным сынам Лойолы, которые в настоящем случае опасались делать свои совещательные сход-

бища в официальной келии отца Вильмена: там мало ли что случится — их могли подглядеть, подслушать, да и сами они могли подать повод к излишним толкам. Все эти соображения побудили их взять отдельную квартиру. Она была очень невелика, всего-навсего две комнаты с передней и кухней, и вдобавок весьма скромно убрана. Несколько плетеных стульев, ломберный стол да кожаное высокое кресло составляли мебель приемной комнаты. Украшением же ей служили черное распятие да черная библия и несколько католических священных гравюр в простых рамках, между которыми висели два портрета: генерала иезуитского ордена и Игнатия Лойолы — его основателя.

В этом-то скромном жилище преподобного отца появилась однажды баронесса фон Деринг.

Появилась она со своей соблазнительной красотой. Красота эта, казалось, еще увеличивалась от противоположности с богатым, но вполне скромным нарядом, который во время визитов ее к отцу Вильмену всегда был один и тот же: роскошное черное платье и никакое-

го постороннего цвета в аксессуарах. Предстояла она пред ним ревностною католичкою, жаждущей испить живой воды от прохладного источника его поучений. Весь ум тонкого, искусного кокетства опытной в этом деле баронессы был постепенно употреблен ею против своего назидателя. И чем казалась она скромнее, недоступнее, тем распалительнее действовало кокетство ее на воображение сластолюбивого старца. Она открылась ему, что с тех пор, как поучается откровению религии в его высоких беседах, ею овладела одна заветная мечта, к осуществлению которой стремится всем сердцем, но... но осуществить которую может единственно содействие Вильмена. Эта мечта — самой сделаться иезуиткой и своим влиянием, своей красотой и положением в свете тайно вести иезуитскую пропаганду.

— Мне недостает только одного, — говорила она с пылающими глазами и порывистым чувством католическо-религиозной экзальтации, — мне недостает знания... знания тех идей, правил и принципов, на которых зиждется храм иезуитизма; я не знаю приемов,

которыми успешнее можно действовать; помочь в этом может мне только мой добрый исповедник и наставник.

Уловка удалась как нельзя лучше. Умная, влиятельная и прекрасная пропагандистка иезуитских интересов, пропагандистка в России — была для монаха чистейший клад, упустить который он почел бы великим прегрешением. Старческая страсть к молодому, сильному и красивому телу помогала еще при этом закрыть ему глаза, чтобы не иметь никакого сомнения или недоверия в своей прозелитке.

Через несколько таких визитов и поучений крепость его сердца со всем гарнизоном нравственных сентенций и благоразумного опыта сдалась на капитуляцию незаметно осаждавшему неприятелю. Неприятель был своего рода паук, опутавший вконец иезуитскую мушку. Патер Вильмен совсем забывался перед своей искусительницей и, приуговляя в ней почву для уразумения иезуитской пропаганды, откровенничал с нею даже о таких вещах, которых бы никому, кроме пославших его, открывать был не должен. И все

это нравственное кораблекрушение произвела в нем одна только грешная красота его духовного чада.

— Мы — члены великой семьи. Я — тайный агент великого ордена, — открывался он баронессе со своим обычным красноречием. — Нас много: наше братство непрерывною сетью покрывает всю Европу и Азию и Америку, но... нас мало в России. У нас нет родины, нет отечества, наша задача — мир. И он будет наш, потому мы — сила! Мы уже были несколько лет тому назад в России, мы были сильны[166], имели тайное, но огромное влияние; наши коллегии украшали многие города, например, в Орше — какой монастырь принадлежал ордену! А здесь, в Петербурге, у нас тоже был свой дом, мы уже взяли было в руки воспитание русского юношества, мы готовы были совсем вкорениться в России; но... нас выгнали за границу! Однако мы снова вкоренимся здесь, потому мы — сила, мы живые корни, родник, который как ни заваливай камнями, а он все-таки просачивается. Нас гонят и преследуют, а мы меж тем строим громадные дворцы, держим в руках несмет-

ные капиталы, — и мы победим, потому у нас великая задача и великий дух. Мы достигнем, что в мире не будет ни России, ни Франции, ни Германии, ни папы, а будет едино стадо и один пастырь, будет один наш орден и один генерал-командор...

— Вот, — продолжал он, вынимая из портфеля длинный реестр, — вот плоды моей недолгой пропаганды в России! Я здесь всего четвертый месяц, а между тем приобрел уже в пользу ордена четыре завещания от одного старика и трех праведных старушек-полек. По этим завещаниям нам отказано полтораста тысяч, и все эти записи составлены нами и помощью одного тайного нашего брата... есть тут один старичок... я через своих познакомился и сошелся с ним... А вот в этом хранилище, — говорил он, указав глазами на черную шкатулку, служившую фальшивым пьедесталом для распятия, — хранятся посильные приношения деньгами и вещами на пятьдесят три тысячи. Вот мои плоды! — восторгался старик, пожирая сладострастными глазами роскошный бюст баронессы. — А мои клиенты, мои духовные дети, которых я с

каждым днем приобретаю здесь! В нынешний приезд свой, надеюсь, не мало завербовал новобранцев в нашу духовную паству.

До слепоты влюбленный старец и не воображал, какую ловушку приуготовил сам себе своей откровенной болтовнею. Надо отдать справедливость баронессе: чуть ли это была не единственная женщина, которая так ловко умела превращать в мягкий воск таких хитрых и крепких иезуитских кремней, да еще и лепить из них все, что угодно, по своему произволу.

Она, впрочем, показывала вид, что совсем отреклась от себя и своей воли, что она вся, и нравственно и физически, подчинена влиянию и воле монаха и с религиозным фанатизмом, беспрекословно готова исполнять все, по первому его слову, по первому взгляду, — и реге Вильмен в самодовольном ослеплении воображал себя полным владыкой над своей фанатически преданной и покорной прозелиткой.

XV

ИСКУШЕНИЕ

После пятинедельного знакомства баронесса делала уже третий визит реге Вильмену не в обычную пору. По взаимному соглашению они условились видеться друг с другом вечером, с девяти часов, так как в эту пору наступали исчезновения брата Жозефа. Реге Вильмен третий раз уже находил благоприятный предлог удалять на несколько часов свою иезуитскую прислугу, состоявшую из весьма пожилой и непривлекательной женщины французского происхождения. В отсутствие ее он сам, лично, впускал и выпускал свою тайную посетительницу.

Квартира его находилась во втором этаже одного каменного дома и четыремя окнами своими выходила на улицу. В угольной, смежной с приемною, комнате, служившей реге Вильмену для отдохновения после его теологических занятий, баронесса уже третий раз находила прекрасно зажаренную холодную пулярку и холодную бутылку доброго шам-

панского. Добрый реге Вильмен был уроженец Шампаньи, и потому нет ничего мудреного, что он любил шампанское и пулярки.

Третий раз уже он разделял с баронессой свою скромную трапезу, и на сегодня решительно не заметил, как она, зажигая свою сигаретку, словно невзначай переставила свечу со стола на окошко.

Вдруг с внезапным шумом растворились двери, и в комнату быстро влетели три неожиданных гостя.

— Муж!.. Боже! мой муж! — пронзительно взвизгнула баронесса и цепко повисла на шее несчастного патера.

— Да, муж, изменница! — закричал во все горло Бодлевский, стараясь придать своему голосу возможно большую громовность. — Муж, который пришел сюда с законною властью! — продолжал он, указывая на стоявших среди комнаты посторонних господ.

Весь дрожащий и ошалелый от страха, патер поднял глаза свои по направлению руки мнимого мужа и с ужасом увидел русского полицейского офицера и, за ним, городского сержанта.

— Простите! пощадите!.. Он обольстил меня! — истерически кричала между тем баронесса, не отрывая рук своих от шеи Вильмена.

— Тише... тише... Бога ради, не кричите так — вы меня погубите! — умолял перепуганный иезуит, тщетно стараясь выбиться из крепких объятий.

— Как!.. ты старик, и ты забыл свой сан! ты громишь порок проповедями и обольщаешь чужих жен! — усиливал свой голос Бодлевский. — Людей сюда, свидетелей!

— Тише же, тише... Берите все, что хотите, только не губите меня... ради бога! ради моих седин! — умолял Вильмен трепещущим голосом.

— Послушайте, крик напрасен, — посреднически обратился к двум сторонам полицейский надзиратель. — Я здесь законная власть и законный свидетель, следовательно, сейчас же могу без шума кликнуть понятых и составить акт на месте преступления. Но дело вот в чем, — продолжал он, стараясь успокоить и мужа и любовника. — Зачем вам ссориться и подымать уголовное дело, которое во всяком случае окончится весьма скверно для бедного

старика?.. Он уже и так наказан! Он предлагает мировую сделку, говорит, что вы можете взять, что угодно, — не помириться ли вам и в самом деле? Пощадите его честь и его седины!

Бодлевский и слышать ничего не хотел, продолжал кричать и бесноваться и каждым воплем своим повергать в неисчерпаемую пучину ужаса реге Вильмена, который умирал при мысли, что на крик могут собраться люди, может случайно воротиться брат Жозеф и увидеть его в таком виде, застать в таком положении... При одной мысли у несчастного трещала и кружилась голова, захватывался дух и сжималось сердце.

— Все, все берите... — безумно повторял он, вырвавшись, наконец, от баронессы и указывая свидетелям своего позора на заветный пьедестал под распятием.

— Плачь, плачь, несчастный старик, проси, умоляй его, чтоб он сжалился, иначе тебя ждут позор, уголовный суд и каторга, — говорил надзиратель, силою ставя иезуита на колени перед Бодлевским и нагибая для поклона его голову. Затем он снова, вместе с Виль-

меном, принялся убеждать неумолимого супруга.

Баронесса все время продолжала рыдать в истерике и тем только увеличивала крик и суматоху.

Наконец, после долгих убеждений и после того, как злосчастный патер открыл свою черную шкатулку, Бодлевский согласился на мировую.

— Мы поделимся самым честным и безобидным образом, — говорил полицейский офицер, проверяя реестр иезуитских приобретений. — Четыре завещания и вещи на шесть тысяч оставим вам, а остальные сорок семь тысяч наличными деньгами — уж извините, святой отец, — возьмем себе, по законному праву, за бесчестие.

Старик был огорошен случившимся, так смущен и перепуган, что даже не нашелся ничего возразить на это требование и безусловно согласился отдать свои деньги.

— А для верности, — продолжал офицер, — садитесь и пишите под мою диктовку, что вы на любовной сделке заплатили сорок семь тысяч мужу обольщенной вами женщины.

Это хотя и никому не покажется, но останется, для верности, в кармане барона фон Деринга.

Совсем убитый патер и на это согласился, не прекословя, и машинально стал писать под диктовку полицейского. Он считал каким-то сверхъестественным чудом и карой неба внезапное появление трех неизвестных сквозь лично им самим замкнутые двери. Патер и не подозревал, что в сем брэнном и грешном мире существуют некие инструменты, «перьями» и «фомками» у мошенников называемые, а в просторечии известные под общепринятым именем отмычек и ломиков, с благодетельной помощью которых всякая дверь растворяется бесшумно и беспрепятственно.

— Теперь, padre, вы можете благословить и отпустить нас с миром, — сказал надзиратель, почтительно подставляя руку под отеческое благословение pere Вильмена.

Но pere Вильмен не двигался с места и глядел на все безумными глазами.

— Благословите же, padre, — настойчиво повторил полицейский.

— Dominus vobiscum[167], — бессознательно пролепетал иезуит, машинально делая в воздухе какое-то бессильное движение рукою.

— Ну вот, теперь позвольте пожелать вам покойной ночи и приятных сновидений, — заключил, откланиваясь, офицер — и вся компания немедленно же удалилась, и через минуту на улице послышался грохот быстро удалявшейся четырехместной кареты.

Нечего, кажется, прибавлять, что роль полицейского разыграл переодетый Сергей Антонович Ковров, а хожалого сержанта — весьма удачно гримированный граф Каллаш.

Ассоциаторы поровну разделили между собою благоприобретенные деньги, а добродетельный иезуитский агент через неделю незаметно скрылся из Петербурга.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ДВА УГОЛОВНЫХ ДЕЛА

I

У СПАСА НА СЕННОЙ

Была пятница — день постный.

На Сенной площади торговля кончилась, ибо со спасовской колокольни давно уже пробило шесть — урочный час для прекращения зимней торговой деятельности на Сенной.

С левой стороны этой площади (если направляться от Невского к Покрову) дремали какими-то безобразными глыбами навесы мясных, зеленных и посудных рядов, укутанные на ночь грязными рогожными полостями; с правой — тянулась неопределенная, слившаяся в одну гряду, масса розвальней с рыбой и сеном, над которою, подобно частоколу, торчали поднятые вверх оглобли. Самая площадь, то есть центр торговли, давно уже спала, а вдоль Садовой улицы, рассекающей Сенную на две разные половины, подобно

быстрому потоку реки, пронизывающей своим течением воды большого и тихого озера, кипела неутомимая деятельность: укутанные кое-как и кое во что пешеходы шлепали назад и вперед по лужам; извозчичьи сани глубоко ухали в ухабы, наполненные грязной и жидкой кашицей песку и снегу; громыхали проносящиеся кареты, которые направлялись к Большому театру. По краям площади, в громадных, многоэтажных и не менее улицы грязных домах мигали огоньки в окнах и фонари над входными дверями, означая собою целые ряды харчевен, трактиров, съестных, перекусочных подвалов, винных погребов, кабаков с портерными и тех особенных приютов, где лепится, прячется, болеет и умирает всеми отверженный разврат, из которого почти нет возврата в более чистую сферу, и где знают только два исхода: тюрьму и кладбище. По этим окраинам Сенной площади тоже кипит своего рода жизнь и деятельность. Вон хрипящие звуки трех шарманок: одна из них поет, с аккомпанементом слепца-кларнетиста, бесконечную «Лучинушку»; другая сипит под бубен и разбитые выкрикивания шар-

манщика развеселую песню «Вдоль как по речке еще ль по Казанке», — песню, которая особенно нравится гулящему люду Сенной; третья — итальянской конструкции, с флейтой — вибрирует «Casta diva», и все эти разнообразные, разнокалиберные звуки стоят в мглисто-неподвижном воздухе гнилого вечера и — своим диким диссонансом — какую-то кричащую тоскою врываются в душу: в этих диссонансах, среди этого мрака, вам невольно слышится убийственный голод и холод, — это какие-то вопли отчаяния, а не музыкальные звуки... Но не одни шарманки оглашают собою окраины Сенной; из низеньких подвалов темного Таировского переулка, как из глухой пропасти, порою вторят им то скрипка с клавикордами, отжившими мафусаилов век, то подобный скрипу несмазанной двери голос беззубой женщины:

*Моя рушая коша да
Вшиму городу краша!*

— на мгновение донесется вдруг оттуда с попутным порывом ветра и тотчас же затеряется в закоулках торговых навесов да в высо-

ких выступлениях и углах каменных громад, — затеряется и смолкнет, заглушенное громаханием карет, ухабным уханьем ванек и другими не менее выразительными звуками. Вон, на другом конце площади, около знаменитого Малинника, раздается крупный говор и руготня, которые с каждой минутой становятся все громче и крупнее, собирают кучку праздных прохожих зрителей; кучка растет, прибывает и превращается наконец в целую толпу, из середины которой разлетается во все концы обширной площади тараторливая женская перебранка, издали очень похожая на кряканье всполошенных уток. Что это за крики и что за толпа? На что она смотрит и порою раздражается таким поощрительным рыготаньем? Пьяная драка... клочья... кровь... Вон раздается призывной свисток полицейского-хожалого, которым он зовет на помощь подчаска, а в эту самую минуту, с противоположной стороны, у Полторацкого переулка, новые крики... «Караул! караул!» — слышится оттуда, и, судя по короткому, обрывающемуся выкрику, можно с достоверностью предположить, что человека взяли за горло и душат...

Вы смущены этим криком? Он скверно, зловеще подействовал на ваше ухо и болезненно на ваше сердце? Но вот прошла минута — и его не слышать, он донесся до вас только урывком, на одно мгновенье, после которого успел уже, подобно всем этим разнородным звукам, затеряться и утонуть в обычном гуле городской жизни...

И вот надо всеми этими звуками, надо всей этой невеселой картиной мрачной, слякотной площади низко висит непроницаемо черное, сырое небо, и сыплет легкий снежок, который, не успев еще долететь до земли, превращается в мелкий, морозящий дождик.

* * *

Был восьмой час на исходе.

На гауптвахте шагал по платформе часовой с ружьем, укутанный в свою сермягу, а против него, с другой стороны улицы, мокли и дрожали разнородные группы нищих на паперти Сенного Спаса. В церкви кончалась служба. Нищих на этот раз собралось изрядное количество: завтра родительская суббота — значит, сегодня за всеобщей изобилие купчих и прочих молельщиков, щедрых на

подавание по случаю предстоящего помина родителей и сродников.

Вот группа простоволосых, босоногих девочек и мальчишек, от пяти до двенадцати лет, в лохмотьях, со спущенными рукавами, в которых они отогревают свои заоченелые от холода руки, то есть одну какую-нибудь руку, потому что пока левая греется, правая остается протянутой к вам за подаванием. Текут у них от холода не то слезы из глаз, не то из носу посторонние капли; и стоят эти дети на холодном каменном помосте не по-людски, а больше все на одной ноге толкуются, ибо пока одна ступня совершает свое естественное назначение, другая, конвульсивно съежась и скорчась, старается отогреться в висящих лохмотьях. Чуть выходит из церкви богомалец — эта орава маленьких нищих накидывается на него, разом, всей гурьбой, невзирая на весьма чувствительные тычки и пинки нищих взрослых, обступает его с боков и спереди и сзади, иногда теребит за платье и протягивает вверх посинелые ручонки, прося «Христа ради копеечку» своим надоедливо-пискливый речитативом. Она мешает ему идти,

провожает со ступеней паперти и часто шагов на двадцать от места стоянки преследует по мостовой свою жертву, в тщетном ожидании христорадной копеечки. Копеечка, по обыкновению, выпадает им очень редко, и вся орава вперегонку бросается снова на паперть, стараясь занять более выгодные места, в ожидании новых богомольцев. Это — самый жалкий из всех родов нищенствующей братии. Не один из этих субъектов успел уже побывать в исправительном доме, откуда выпущен на поруки людей, с которыми сходятся в стачку по этому поводу нищие взрослые, всегда почти эксплуатирующие нищих малолетних. Все эти мальчишки и девчонки, еще с пелен обреченные на подобную жизнь, являются будущими жертвами порока и преступления; это — либо будущие кандидаты в тюрьму и на каторгу, либо добыча разврата, который застигает их очень рано, если еще раньше разврата не застигнет их смерть. Часто случается, что нищая девочка, едва дойдя до двенадцатилетнего возраста, а иногда еще и раньше, начинает уже в мрачных трущобах Сенной площади, за самую ничтожную плату,

отдаваться разврату.

Нищие взрослые держат себя несколько солиднее малолетков. Если проходит богомолец не подающий, взрослые встречают его только протянутой рукой и просительным склонением головы. Но чуть изъявит он малейшее желание совершить обряд христианского милосердия, взрослые точно так же обступают со всех сторон доброхотного дателя, и несколько десятков сморщенных, грязных рук, с громким христорадничаньем, жадно протягиваются к нему во все промежутки и скважины сплоченной толпы, где только может протискаться промышленная пятерня пальцев. Часто случается, что доброхотный датель, после такого маневра со стороны нищей братии, по приходе домой не доискивается платка, кошелька или часов с цепочкой. Эти обступания целым кагалом производятся преимущественно за вечерними и всенощными службами, где рано наступивший мрак зимнего вечера по возможности скрывает такие эволюции нищей братии от зоркого ока полицейских хожалых, имеющих иногда обыкновение забирать ее в арестантские си-

бирки. Истинная бедность и нищета редко показывается в среде патентованных надворных и «притворных» (то есть стоящих в церковных притворах) попрошайек. Истинная бедность и нищета прежде всего совестлива, застенчива и робка; она держится одиноко, отдельно, и если решается обратиться с просьбой к прохожим, то просьба эта звучит прямым физиологическим голодом и действительной нуждой.

Первый план между взрослыми попрошайками занимают бабы. Те же платья, как и у малолетних, те же кое-как сшитые лоскутья и расползающиеся швы лохмотьев, тот же официально-нищенский, как песня, выработанный и заученный речитатив, и на руках — завернутые в тряпки младенцы, часто, за неимением собственных, взятые напрокат. Вот стоят две безобразные, безносые старухи, которых во время оно не пощадила отвратительная болезнь, но пощадила смерть, дозволив им перейти летами за ту грань, где на Сенной по большей части оканчивается промысел разврата и начинается промысел нищенства. Они не успели добыть себе младен-

цев напрокат, а потому, вместо них, завернули в тряпье по полену и баюкают его, как ребенка. Впотьмах не видно, да и кто станет заглядывать, что там такое лежит у старухи!

Второй план, ближе к притвору, заняло все то, что посильнее физически. Тут горбятся и хромаются попрошайки мужского пола с ходебщиками на построение. Третий план, в самом притворе, завоевала себе аристократия нищенства, всегда отличающаяся какими-нибудь особенностями и по преимуществу уродством. Вон в самом мрачном, темном углу дрожит и жметесь высокая, худощава старуха с вытянутым длинным носом и впалыми глазами, которые зорко высматривают добычу, клочок черных с сединою волос выбился ей на лоб из-под мокрого платка и придает еще более дикий вид этой и без того уже дикой физиономии. Она тоже что-то кутает в лохмотья, но это не ребенок и не полено — это безобразная старуха-карлица-идиотка, которую она, как младенца, держит у себя на руках для привлечения людского сострадания. Идиотка очень мала и страшно худощава, седые космы волос ее спутались в беспорядке и мешают

смотреть тупым бельмам навывате. Трусливо-порывистые ужимки и движения сопровождают каждый взгляд идиотки, которая, чуть выдается ей спокойная минута, быстро схватывает в рот бахромку платка своей няньки, либо втянет туда же клочок своих собственных волос, либо, наконец, с аппетитом принимается жевать комочек штукатурки, сколупнутой ею от мокрой, отсыревшей стены. Нищая старуха со своею странною ношею боится быть все время на виду; она прячется и жмется в темном углу от людских, а наипаче полицейских взоров, но это прятание заставляет ее еще зорче высматривать добычу. Чуть появится в дверях доброхотный датель, нищая с идиоткой бросается с быстротой и ловкостью дикой кошки в толпу собратов и, продираясь вперед, подставляет изможденную, высохшую руку. Едва эта морщинистая рука ощутит на заскорузлой коре своей ладони поданную копейку, как уже старуха с тою же быстротою удаляется в темноту своего обычного места, из которого она, словно паук из гнезда, жадно кидается на добычу.

Вот у внутренних церковных дверей рас-

положился не человек, а какое-то подобие человека, скорее намек на человеческий организм, безотрадно представляющийся взорам в виде кривого, горбатого и безногого существа, которое держится на деревянных колодках, прикрепленных к бывшим лядвям, а ныне обрубкам человеческого тела, обрубкам выше колен, и движется с помощью рук, заменяющих ему ноги. Вся фигура его необыкновенно живо напоминает ежа или дикобраза, а в маленьких, глубоко ушедших глазах, которыми существо это поводит из стороны в сторону, светится что-то мышинное. «Господи, Иисусе Христе, владычица тифинская!» — бессознательно произносит оно с каким-то вывистом своим фальцетным голосенком и правая рука его при этом необыкновенно быстро болтается, как бы торопясь наделать возможно большее количество крестных знамен. «Касьянчику-старчику Христа-а ради!» — выпевает он дрожащим голосом, силясь повысить вытянуть за подаянием свою руку, и подаяние по большей части, благодаря выгоде первого места, попадает прежде других в ладонь Касьянчика-старчика. Касьянчи-

ку-старчику никогда не удалось бы занять лучшего нищенского места, если бы у него не было сильной и близкой поддержки. Поддержка эта являлась в образе соседа и со товарища его, известного под именем Фомушки-блаженного. Ражий, коренастый мужчина лет тридцати пяти, росту выше чем среднего, плечистый и плотный — он представлял действительно весьма внушительный и надежный оплот для такого жалкого существа, как Касьянчик-старчик. Фомушка никогда не мылся и никогда не стригся. Порыжелая бархатная скуфейка, на манер монашеской, частью прикрывала спутанные длинные космы его рыжих и жестких волос. Одутловато-мясистые жирные щеки и клюквенно-пухлый нос служили первыми характерными признаками его лупоглазой, отчасти свиной физиономии; физиономия эта украшалась рыжею щетиною вместо усов и клоками неопрятной бородищи, которая отдельными щепотьями произрастала у него в различных направлениях. Стальной обруч, заменяя собою пояс блаженного, охватывал в талии его черную хламиду, которая также старалась походить

на монашескую рясу. Полы хламиды, висая оборванными клочьями, были насквозь пропитаны обильным слоем уличной грязи, которая, не будучи никогда счищаема, заскорузла тут в виде целых пластов, комков и наростов. От этого костюма и от самого Фомушки разлило на три шага невыносимым смрадом. Но в этом смраде и в этой грязи своей Фомушка находил особенную усладу, а почитатели его относили все это к подвижничеству. Фомушка бойко и независимо стоял себе на своем месте, ежеминутно почесываясь и тяжело сопя носом на весь притвор церковный. Вся остальная братия чувствовала достоподобное почтение к его внушительному кулачищу, с которым, в самом деле, нехорошо бы было повстречаться в пустом, уединенном месте.

Совершенный контраст с Фомушкой-блаженным представляла кривошейка — vis-a-vis [168] ежа-Касьянчика — женщина лет за сорок, с выражением благообразно-постного смирения в желтоватом лице. С головы ее спускался большой черный платок, а остальной костюм, отличаясь своею опрятностью, составлял нечто среднее между костюмом мо-

нашек и полусветским платьем мирских странниц, возлюбивших хождение по обителям. Особа эта, подобно Фомушке-блаженному, покровительством которого пользовалась наравне с Касьянчиком-старчиком, составляла своего рода авторитет и была известна под именем Макриды-странницы. Она резко отделялась от остальной братии, к которой ее даже и нельзя было причислить. Макрида стояла с книжкой — и, стало быть, подвизалась добродетельными сборами на построение храма. Говорила, будто ей по этому поводу сонное видение было. Эта Макрида-странница купно с Фомушкой-блаженным и Касьянчиком-старчиком составляли одно целое, как бы одну семью и преследовали одни и те же цели.

Позади всех этих групп разнородной нищей братии ежилась от холода еще одна новая личность, которая, крадучись кошачьей походкой, прохаживалась за спинами своих товарищей, видимо стараясь быть незамеченной ими. Но нищие вообще народ очень зоркий: крадущуюся личность они встречали и провожали градом крупных насмешек, от которых та отбивалась стоически терпеливым

молчанием. Эта личность являлась в виде высокого, длинного, сухого старика в ветхом халатишке, подпоясанном дырявым фуляром. Энергически сжатые губы и брови, нависшие над тускло-неподвижными глазами, придавали ему какое-то странное, бессердечно-черствое выражение, которое сосредоточенно присутствовало без малейшей перемены на его пергаментно-бледной, выцветшей и давно небритой физиономии.

* * *

Служба кончалась; из церкви повалил народ.

Вышел благочестивый блюститель порядка, и толпа нищих ребятишек, издали еще завидя приближение врага, на время его прихода разбежалась в темные закоулки поблизости церкви, а нищие взрослые постарались притвориться не нищими, и сделали вид, будто тоже выходят из церкви. Но блюститель порядка скрылся во мраке — и публика паперти заняла свои прежние роли.

Вышел чахоточный купец и сунул грош в руку Касьянчика-старчика.

— Не площай! — ткнул его пальцем в голо-

ву Фомушка и протянул к дателю свою широкую лапу. Макрида потянулась туда же с книжкой, на переплете которой «для близире»[169] лежало несколько медяков. А в это самое время высокий сухощавый старик в халате, пользуясь теснотою, образовавшейся вокруг дателя толпы, незаметно стянул грош с макридиной книги и, с судорожной поспешностью сунув в карман, протянул из-под локтей какого-то нищего обе руки, в надежде, что подающий купец примет их за две отдельные руки двух отдельных личностей и в каждую положит по грошу. Эта проделка иногда удавалась худощавому старику, но она-то именно и вызывала бесконечные насмешки и покоры попрошаек. Едва Фомушка-блаженный очутился за спиною купца, как его тяжеловесная лапища легонько дагнула загривок старика.

— Ты что, леший? опять двурушничать? — просопел он ему шепотом.

Старик только окрысился, защелкал зубами да часто замигал веками со злости и перебрался подалее от блаженного.

Вышла молодая купчиха, охотница до раз-

дач, — и на паперти повторился тот же самый процесс. Старик, в отдалении от Фомушки, снова двурушничал.

Вышла купчиха пожилая, толстая, сонная, с благочестиво-тупым и забито-апатическим выражением в лоснящемся от поту лице, и, как к знакомой, приветливо обратилась к Макриде:

— Здравствуй, Макридушка, здравствуй, голубушка! — заговорила она на полужалобный распев. — Приходи-тко завтра на блинки... родителей помянуть... Не побрезгуй... да вот — и блаженного уприси с собою,

Фомушка при появлении этой особы мгновенно преобразил выражение своей физиономии, сделав его необыкновенно глупым и бессознательно улыбающимся, что означало у него вступление в амплу юродивого.

— Раба Степанида! — забормотал он, крестясь. — Ангели ликуют, на Москве колоколам трезвон... Ставь столы дубовые, пеки кулебяку с блинами: я те, раба Степанида, к небеси предвосхищу.

— Предвосхищи, Фомушка, предвосхищи, блаженненький! — слезно умилялась низко-

любая толстуха, уловив только звукопроизношение, но не поняв значения последней фразы юродивого, и сунула пятак в его лапу.

Ободренный Фомушка уже нараспев, скороговоркой доканчивал свою мысль:

— Предвосхищу, мать моя, предвосхищу, идеже вся святии упокоются; на венчиках красные, христосские яйца, в яйцах Фомушкина копеечка мотается — тук-тук-тук молоточком!

При фразе насчет упокоения и молоточка бессмысленный, овечий страх отразился на физиономии толстухи, Макрида, заметив это, толкнула в бок своего приятеля Фомушку и строго повела на него бровями.

— Не печалуйся, раба, не печалуйся! — снова забормотал блаженный. — Гряди домой с миром, хозяин твой пьян лежит, надо полагать, бить будет; а ты, раба Степанида, сто лет проживешь.

Раба Степанида успокоилась и вздохнула.

— Это точно что, это ты правильно, голубчик, божью волю предсказываешь, — заговорила она в минорном тоне, — пожалуй, и вправду бить станет, потому надо бить, вер-

но, хмельной воротился да самовару не нашел... Ох-тих-тих! житье-то наше!

— Блаженный, мать моя, в просветлении теперь находится, в просветлении! — благочестиво пояснила ей Макрида. — А то тоже бывает, что на него затмение находит, яко мертв лежит, — это значит: душа его с богом беседует.

— Касьянчику-старчику копеечку Христа-а ради! — прерывает и дребезжащий козелок безногого.

Купчиха, повторив свое приглашение на блинки, оделяет пятаками Макриду с Касьянчиком и продолжает свое тучное шествие далее, с таким же наделом прочей братии. Сухощавый старик, озираясь на Фомушку, из-за чьей-то дальней спины протягивает свои длинные руки.

Из церкви почти все уже вышли, когда на паперти появился невысокого роста плотный старичонко, по-видимому из отставных военных, в серой шинели и в солдатски скроенной фуражке с кокардой. Чувство амбиции и чувство самодовольства оживляли фигуру старичонки, необыкновенно ярко сочетаясь

между собою и выказываясь в свиных глазах и в закрученных кверху, нафабранных щеточках-усах.

— Осипу Захарычу — низжайший поклон! — неожиданно обратился он к худощавому старику. — Что подельваете, батенька, доброго?

— Да вот... страдаю все... почечуй... — как-то глухо, ненаходчиво и болезненным тоном отвечал старик, видимо конфузясь от неожиданной и притом нежеланной встречи. — Молиться вышел, — продолжал он, стараясь неопределенно глядеть куда-то в сторону. — Благолепие — в храме-то... истинно сказать...

— Да что это вы в таком легком костюме-то? а еще больны и не бережетесь, — укорил отставной, с участием покачав головою.

Старик кинул взгляд на полы своего халатика и окончательно сконфузился.

— Это я... так... ничего... «не пецытятся» сказано... торопился к молитвенному бдению... не успел...

— Да! торопился он! — укорливо стали обличать его кое-какие бабенки из нищих, затаратора все разом. — Поди, чай, нарочно натя-

нул на себя!

— Богачей этакой, да чтоб одежины хорошей у него не было.

— Скареда, одно слово!

— Торопился!.. А сам промеж нашего брата двурушничал — только хлебушки сиротские перебивает!

— У самого-то, поди, посчитай-ка добра! Сундуки, чу, ломаются... Тоже ведь — сиротское все!

— Что и говорить! Кащей-человек!

Старик еще в самом начале этого потока обличающих замечаний торопливо поклонился отставному и, стараясь ни на кого не глядеть, бегом спустился со ступеней на площадь.

— Ну, вы, тетки! Чего стоите?! Что младенцев домой не несете?! Поди-ко, переколели все от холоду, — марш домой! Живо! — заговорил самодовольный отставной, обратившись в несколько начальственном тоне к двум бабам с младенцами на руках.

— Петра Кузьмич! господин Спица! майор ты наш милостивый! — просительски закликали бабенки. — Уж уважь ты нас, сирот, —

оставь младенцев-то до завтра!.. Опослеобеден — вот те Христос — принесем!

— Ну, ну, ладно, ладно! без разговоров! это вздор, этого нельзя! — строго отрезал господин Спица.

— Почему ж те нельзя? Мы ведь прокату твоей милости завсягды верно, со всем уважением...

— Неси домой, сказано! — перебил майор, начальственно топнув ногою. — Отдайте там барыне, жене моей, да скажите, чтоб накормила их. А то вы — твари бесчувственные! на нас положились только, так вы мне всех младенцев переморите!

— Да завтра мы бы и за ранней, и за поздней постояли бы... ноне выручки не больно-то казисты; еле-еле гривну в обедню настоишь, — сам знаешь!..

— Врете, колотовки! Завтра родительская, — выручка лихая будет, — поэтому на-завтра прокату — сорок копеек с младенца, коли кто брать хочет! — решительным тоном объявил для всеобщего сведения майор Спица.

— Что ж так дорого? Несообразно больно!

Завсягды по пятнадцати, много-много уж по двадцати брали, а ноне — нака-ся! Сорок! — возражали недовольные нищенки.

— Ну, стойте без младенцев, мне все равно, — заключил майор, показывая намерение удалиться.

— Да что ты, батюшка, больно кочевряжишься со своими младенцами-ту? — заметил ему косоглазый и криворукий слюняй. — Твой товар нашим бабам не больно-то еще и подходящий. Потому у твоих младенцев лицо чистое, а нам на руку то, коли младенцу все лицо язва источила... За язвленного в родительскую точно что — можно копеек тридцать пять, а за твоих больше четвертака не моги!

Майор ответил слюняю только юпитеровским презрительно скошенным взглядом.

— Опять же вон у Мавры и не горлодера совсем, — пояснила одна из заинтересованных в деле бабенок.

— Так что ж что не горлодера?! — возразил недовольный майор. — Ну, щипни его, подлеца, полегоньку, или булавкой чуточку ткни — он тебе и будет кричать сколько хочешь!

— Так как же, Петра Кузьмич, возьми по четвертаку со штуки! — пристали опять бабенки.

— Тридцать пять — и ни одной копейки меньше! — порешил майор.

— Мы те надбавим, ты нам спусти — вестимо, дело торговое, полюбовное... Хочешь тридцать да на косушку в задаток?

Майор колебался. Косушка действовала соблазнительно.

— Ну, уж так и быть, черти! Право, черти! — согласился Петр Кузьмич, махнув рукою. — Себе в убыток отдаю... Вынимай же, что ль, на косушку, да тащи ребят к барыне... Скажи, что я скоро буду — знакомого встретил, чаю напиться зашел...

На гауптвахте барабанщик пробил повестку к вечерней зоре. Публика паперти очнулась и побрела в разные стороны, направляясь преимущественно к Полторацкому кабаку и перекусочным подвалам.

II

ПЕРЕКУСОЧНЫЙ ПОДВАЛ

В промежутке торговых навесов и каменных домов левой стороны образовалось нечто вроде переулка, который в течение дня переполнен группами закусывающего люда. Закусывают на ходу или стоя перед грязноватыми лотками со всякой всячиной. Днем тут — неугомное, непрерывное движение; вечером же царствует тьма и пустота, ибо те же самые, вечно стоящие и вечно бродящие группы серого народа передвигаются несколько дальше — к Полторацкому дому и Таировскому переулку. Тьма перекусочного ряда всегда пребывает неизменною, потому что крыши зеленых навесов заслоняют собою свет газовых рожков. Этот импровизированный переулок служил для нашей братии обычным переходным путем от паперти Спаса до Полторацкого дома.

Мокрый снег пополам с мелким дождем зарядили надолго. Туман и холод... Дикий воздух, дикий вечер, и все какое-то дикое, угрю-

мое...

Вон потянулась нищая братия.

Впереди всех — голодную походкою и частыми, широкими шагами забирает прямо по лужам высокая, тощая фигура старухи. Она кое-как прикрывает дырявым платком свою идиотку. Идет потупясь, ни на кого не смотрит, и только сжимает в кулаке несколько собранных грошей, словно боясь, чтобы у ней кто не отнял их. Вслед за этим, далеко опередившим остальных, авангардом подпрыгивали мальчишки и девчонки, разбрасывая ногами брызги во все стороны; тянулись и ковыляли убогие кривыши, костыльники, сухоруки, немтыри и так называемые слепенькие. Салопницы — также аристократия нищества — отделились гораздо раньше и пошли вразброд: кто на Вознесенский, кто в Гороховую; зато ходебщики «на построение» оставались при главном корпусе кривышей и костыльников, купно с Фомушкой-блаженным и Макридой-странницей. Шествие всей этой оравы убогих, грязных, дырявых заплат и вопиющего о хлебе безобразия замыкало собою, в виде арьергарда, безногое, цепко ползущее

существо, какое-то пресмыкающееся, скорее гном, нежели человек, — гном, напоминающий черного большого жука, что с тяжким усилием, медленно и бочком, забирает вперед своими неуклюжими лапами. Это был горбатый еж, называющий себя Касьянчиком-старчиком.

— Фома, а, Фома! — пискнул он своей болезненно-надорванной фистулой, остановясь на краю широко разлившейся лужи, словно таракан, обведенный кружком воды.

Фома не слышал и продолжал шлепать сапожищами.

— Фомка-черт! — с раздражением крикнул безногий, пустив ему вдогонку рыхлый комок снега.

— Я-у! — отозвался каким-то лаем блаженный.

— Кульком хочу, — чижало ползти: лужица... — отрывисто и с передышкой пояснил свою надобность Касьянчик.

Фомушка-блаженный захватил безногого своею сильной лапицей и, словно куль муки взвалив его сразу к себе на спину, зашагал через лужу кратчайшим путем к главному кор-

пусу.

— Ночуем ноне как? По купечеству к кому, что ли, пойдем, али так, в ночлежных? — осведомился старчик за плечами.

— Не! Увеселиться желаю! — порешил блаженный, что означало у него всеночный загул в честной компании. — А тебе только бы кочерыжки свои распаривать по хозяйским лежанкам, — презрительно укорил он безногого, спускаясь с ним в преисподняя перекусочного подвала по обледенелой и сплошь забитой нанесенным снегом лестнице.

— Сала! Сала!.. Горшков! Молока! — завопил Фомушка продавщицким речитативом, вприпрыжку вертясь по подвалу со своим кульком-Касьянчиком.

— Продай молока! Молока давай! — приступила к нему почти вся сбродная орава детей и взрослых, и к спине старчика потянулось несколько десятков рук и ручонок, причем каждая норовила дернуть, щипнуть или колупнуть безногого.

— Стоп-машина! — скомандовал Фомушка, подняв кверху указательный палец. — Вам чего? Молока?

— Молока, Фомушка, молока! — опять приступила орава.

— погоди, народ! Еще не доили быка! — сострил блаженный, спуская на пол Касьянчика — и орава дружно зарыготала.

В перекусочном подвале столпилось изрядное количество народа, так что становилось весьма тесновато и душно.

Подвал являл собою низкую, почти квадратную комнату со сводами, узенькие тусклые оконца которой приходились как раз под потолком, в уровень с тротуаром, ибо стены этой комнаты были выведены в земле под уровнем уличного грунта. Правый угол занимала огромная русская печь, пылавшая красными языками жаркого пламени, которое заменяло собою освещение. Там нагревались чугуны с похлебкой и горохом и шипела на сковороде салакушка. Пареная треска, вместе с горьким запахом жарящегося масла и кислой, квашеной капустой исполняли этот триклинийум такого аромата, что у голодной оравы нищих от аппетита судорожно передергивало скулы. Пар от печи, масла и дыхания валил густыми клубами в настезь растворен-

ную дверь, служившую с улицы, между прочим, проводником грязи, дождя и снега, которые свободно залетали сквозь нее в этот приют голодных отрепьев петербургской жизни. Низенькие стены, по которым убийственная сырость расписала свои темно-зеленые жилы, потеки и целые оазисы прыщевидных пырышков-грибков, украшались, кроме этой естественной живописи, еще и суздальскими литографиями, где сквозь густые слои сурика и охры с трудом можно было разобрать «Геенну огненную» и «Царя Соломона-премудрого».

У печи возился повар, скорее похожий на пароходного кочегара, чем на повара, и в суровом молчании удовлетворял требования своих потребителей, зачерпывая жестяным ковшом кому похлебки, кому гороху, причем предварительно взималась условная плата, — полторы копейки с порции. Немногие места у стен на скамейках были уже заняты, так что большинство должно было стоя лакать свою похлебку прямо из деревянных посуды. В одном углу сидела высокая старуха и кидала огрызки своей идиотке, которая, не разбирая, пожирала их с торопливой жадностью шар-

маночной обезьяны.

Вообще весь этот подвал представлял какую-то дикую берлогу, озаренную красным отблеском мигающего пламени, — берлогу, где совершалось не менее дикое кормление голодных зверей. Тут насыщали себя только парии нищенства, которые не могут тратить на свое пропитание зараз более полутора или много двух копеек. Все же прочее забирало в подвале только перекуску, вроде студня, бычачьих гусаков да трески пареной и, завернув эти снеди если не в бумагу, то в полу одежды, отправлялось ужинать в Полторацкий, который являл в себе несравненно более комфорта, ибо, по естественному своему предназначению, изобиловал водкой, вмещал приятное общество и даже иногда оглашался звуками приватного гитариста.

III

ПОЛТОРАЦКИЙ

В Полторацкий надо было не спускаться в преисподняя, но подыматься почти что в бельэтаж, и вот туда-то, под предводительством Фомушки, направилась теперь из перекусочного подвала ватага ходебщиков, калек и убогих.

Чуть перед этой компанией завизжала на блоке гостеприимная дверь кабака, чуть только обдало ее спиртуозными испарениями, как вдруг свершилось великое чудо: слепые прозревали, немтыри получали прекрасный дар слова, кривыши выпрямлялись, сухорукие, костыльники и всякие другие калеки убогие нежданно-негаданно исцелялись, становились здоровыми, крепкими людьми, и вся эта метаморфоза, все это чудо великое совершалось вдруг, в одно мгновение ока, от одного лишь чудодейственного веяния Полторацкой атмосферы. Один только еж — Касьянчик-старчик — не изменял своему убожественному горбу и безножию — и то потому,

что в самом деле был человек горбатый и безногий.

— А! Грызунчики! Грызуны! Грызуны[170] привалили! Много ль находили, много ли окон изгрызли[171]? Псковские баре, витебские бархатники! Ах вы, братия — парчевое платие! Наше вам, с кипятком одиннадцать, с редькой пятнадцать! Добро пожаловать, грызунчики! Милости просим, камерцью поддержать!

Таков был приветственный взрыв восклицаний, которыми полторацкие завсегда и встретили нищенскую ораву, не перестававшую один за другим подваливать к стойке, с лаконическими требованиями косушек. Некоторые из братии недостававшую сумму денег дополняли карманными платками; один даже предъявил очень хороший портсигар, что, без сомнения, составляло негласные трофеи «притворного» стояния. Трофеи эти мгновенно исчезали за кабацкой стойкой.

Сивушный пар; густая толпа перед стойкой; многочисленные группы за отдельными столиками; крупный, смешанный говор, женские восклицания, порою хлест побоев и

вопли; копоть от непокрытой стеклянным колпаком лампы; в стороне — маркитант с горкой разных закусок, преимущественно ржаных сухариков, ржавой селедки и соленых огурцов, раздробленных на мелкие кусочки; наконец, шмыганье подозрительных личностей с темным товаром; суетливая беготня подручных да подносчиков, собирающих порожние посудины, и обычные отвратительные сцены вконец опьяневших субъектов, из которых некоторым тут же гласно-всенародно обчищают карманы, сдирают одежду и обувь, — вот та мутная, непривлекательная картина, какую с первого взгляда представляет знаменитый в летописях петербургских трущоб кабацк Полторацкий.

Нищие расселись как попало: кто на подоконник со своим студнем, кто, за недостатком столов, даже и на полу, в уголок при-ткнувшись; одна только компания Фомушки, состоявшая из Макриды с Касьянчиком и криворукого, косоглазого слюня с двумя немтырями, заняла отдельный стол для своей трапезы. Эти ужины нищей братии возбуждали сильное неудовольствие маркитанта, ви-

девшего в них подрыв своей коммерции.

В компании Фомушки шел разговор о двурушничаньи худощавого старика-халатника в то время, как к блаженному подошел одетый в партикулярное платье высокий рыжий человек, угрюмого выражения в злобных глазах исподлобья, и бесцеремонно опустился подле него на скамейку, отодвинув для этого, словно какую вещь, Касьянчика-старчика.

— Чего тебе, Гречка? — отнесся к нему своим обычным лаем Фомушка.

— Ничего; звони[172] знай, как звонилось, а мы послушаем, — отрезал Гречка и расселся таким образом, что явно обнаружил намерение слушать и присоединиться к разговору.

— Надоть ему беспременно ломку, чтоб не двурушничал, — продолжал косоглазый слюняй.

— Кому это? — осведомился Гречка.

— Хрыч тут один есть, — такой богачей, сказывают, а сам промеж нас кажинную субботу за всенощной христорадчичает, — так вот, говорю, ломку ему надо.

— Какой богачей?

— А вот — Фому спроси, он его знает.

— Какой-токой богачей-то? — повторил Гречка, отнесясь к блаженному.

— Есть тут такой, — неохотно отвечал этот. — Морденкой прозывается... скупердяище, не приведи бог.

— Все это одна жадность человеческая, любостяжание, — заметила Макрида в назидательном тоне.

— Да богачей-то он как же? — добивался настойчивый Гречка.

— А тебе-то что «как же»? Детей крестить хочешь, что ли? Небось, на зубок не положит.

— Нет, потому — любопытно, — объяснил Гречка.

— Любопытно... ну, в рост капитал дает под проценту да под заклад — вот те и богачей?

— И много капиталу имеет?

— Поди, посчитай!

На этом разговор прекратился, и Гречка сосредоточенно стал что-то обдумывать.

— Подь-ка сюда! — хлопнул он по плечу блаженного.

Они отошли в сторону.

— Половину сламу[173] хочешь? — вполго-

лоса предложил Гречка.

— За какой товар? — притворился Фомушка.

— Ну, за вашего... как его... Морденку, что ли?

— А как шевелишь, друг любезный: на сколько он ворочает? — прищурился нищий.

— Косуль пять[174] залежных будет — и ладно.

— Мелко плаваешь!.. Сто, а не то два ста — вон она штука!

Гречка выпучил глаза от изумления.

— Труба!..[175] Зубы заговариваешь![176]
* — пробурчал он.

— Вот те святая пятница — верно! — забожился Фомушка.

— Ну, так лады[177], на половину, что ли?

— Стачка[178] нужна, — раздумчиво цмокнул блаженный.

— Вот те и стачка, — согласился Гречка. — Первое: твое дело — сторона; за подвод[179] половину сламу; ну, а остальное беру на себя: я, значит, в помаде[180], я и в ответе.

— А коли на фортунке к Смольному затылком[181], тогда как? — попробовал огорошить

его Фомушка.

Гречка презрительно скосил на него свои маленькие злые глаза.

— Что — слаба, верно? — усмехнулся он. — Трусу празднуем? Не бойся, милый человек: свою порцию миног сами съедим[182], с тобою делиться не станем, аппетиту хватит!

Фомушка подумал. Товарищ казался подходящим и надежным.

— Миноги, стало быть, за себя берешь? — торговался он.

— Сказано съем! — огрызся товарищ. — Мы-то еще поедим либо нет — бабушка на дворе говорила... Раньше нас пуцай других покормят; много и без нас на эту ваканцию найдется, а мы по вольному свету покружимся, пока бог грехам терпит, — рассуждал он, ухмыляясь.

— Ну, коли так, так лады! — порешил Фомушка, и ладони их соединились.

— Майора Спицу знаешь? — продолжал он уже интимным тоном. — Этот самый майор, значит, первый ему друг и приятель... От него мы всю подноготную вызнаем насчет нашего клею.

— Как, и ему тырбанить?[183] — с неудовольствием насупился Гречка. Он уже считал деньги Морденки в некотором роде своею законною собственностью.

Фомушка свистнул и показал шиш.

— Нас с тобой мать родная дураками рожала? — возразил он. — Больно жирно будет всякому сдуру тырбанить — этак, гляди, и к дяде на поруки[184] до дела попадешь. А мы вот так: у херова[185] дочиста вызнаем, потому как он запивохин, так мы ему только селяночку да штоф померанцевой горькой — и готово.

— Ходит![186] — согласился и одобрил Гречка. — А где же поймать-то его? — домекнулся он. — Надо бы работить[187] поживее.

— В секунт будет! — с убеждением уверял блаженный. — Он, значит, осюшник[188] на косушку сгребал, за младенцев заручился — и теперича нигде ему нельзя быть, окромя как на Сухаревке.

— Стало быть, махаем, — предложил Гречка.

— Махаем! — охотно согласился Фомушка, — и два новых друга немедленно же уда-

лились из Полторацкого.

IV

СУХАРЕВКА

Высокая надворная стена четырехэтажного дома, который с уличного фасада смотрит еще несколько сносно, представляла почти невозможное и весьма опасное явление. Человеку свежему и непривычному трудно было бы взглянуть без невольного ужаса на этот угол, выходящий на первый из многочисленных и лабиринтообразных дворов Вяземского дома. Представьте себе этот угол, образуемый двумя громадными каменными стенами, который дал трещины во всю вышину четырехэтажного здания, и, вследствие этих трещин, вы видите, как покособило эти две соприкасающиеся стены, как одна из них выдалась вперед, наружу — цемент не выдержал, и связь между кирпичами двух соседок порвалась, — того и гляди, что в один прекрасный час вся эта гниль, вся эта насквозь пробрюзгшая стена рухнет на вашу голову. Она и то разрушалась себе понемножку. Штукатурка

давным-давно отстала и почти вся отвалилась. Нет-нет, да, гляди, упадет откуда-нибудь новый кусище, обнаружив после себя неопределенного цвета кирпичи, которые, словно червь, источила и проела насквозь прелая сырость. Вместе со штукатуркой валится иногда и гнилой кирпичик. В крепкие морозы вся стена бывает покрыта слоем льда, а в оттепели — извилистыми потеками воды, которую источают из себя эти самые кирпичи до новой заморози. И вот к этой-то стене прилажена снаружи каменная лестница, более удобная для увеселительного спуска на салазках, чем для восхода естественным способом, ибо вся была покрыта толстым слоем намерзлой и никогда не соскабливаемой грязи. Лестница эта, примыкавшая левою стороною к стене, с правой стороны своей не была защищена никакими перилами, а вела она довольно крутым подъемом во второй этаж этого огромного дома, так что в темную ночь, в особенности хмельному человеку, не было ничего мудреного поскользнуться или взять немного в сторону, для того чтобы неожиданно грохнуться вниз и разmozжить себе голову о камни. Но,

несмотря на это видимое неудобство, по головоломной лестнице то и дело спускались и поднимались разные народы во всякое время дня и ночи. Лестница оканчивалась наверху узенькой и точно так же ничем не огороженной площадкой перед входной дверью, которая вела на коридор, в благодатную Сухаревку.

Гниль и промозглая брюзгость — вот два необходимые и при том единственные эпитеты, которыми можно характеризовать и все и вся этой части Вяземского дома. Прелая кислота и здесь является необходимым суррогатом воздуха, как и во всех подобных местах, куда струя воздуха свежего, неиспорченного, кажись, не проникала еще от самого начала существования этих приютов. Некрашенные полы точно так же давно уже прогнили, и половицы в иных местах раздались настолько, что образовали щели, в которых могла бы весьма успешно застрять нога взрослого человека, а уж ребенка и подавно. Ходить по этим полам тоже надобно умеючи, ибо доски столь много покоробились, покривились, иные вдались внутрь, иные выпятились на-

ружу, что на каждом шагу являли собою капканы и спотычки каждому проходящему неوفиту. Грязные, дырявые лохмотья и ключья какой-то материи заменяли собою занавески на окнах, а эти последние отличались такою закоптелостью, что в самый яркий солнечный день тускло могли пропускать самое незначительное количество света; по этой-то причине мутный полумрак вечно господствовал в Сухаревке. Рваные, поотставшие и засыревшие обои неопрятными полотнищами висели по стенам в самом неуклюже-безобразном виде. Вся остальная обстановка со всеми харчевенными атрибутами как нельзя более гармонично соответствовала этим обоям, полам и занавескам.

В средней, то есть наиболее чистой комнате — если только можно применить к ней слово «чистая», ибо и тут стояла полуразрушенная, почерневшая от копоти и сажи голландская печь, — восседали две личности, уже несколько известные читателю. Это были майор Спица и Иван Иванович Зеленков, сохранивший еще доселе свой «приличный костюмчик» и неизменно «халуйственную» фи-

зиономию. Оба знакомца разговаривали о чем-то, как видно было, весьма по душе. Майор взирал на Ивана Ивановича милостивым оком веселого Юпитера, ибо Иван Иванович угощал майора пивом.

— Доброму соседу на беседу! — подойдя к столу вместе с Гречкой, сказал Фомушка, обратившись к майору. — Примешь, что ль, в компанию, ваше высокоблагородие? Штоф померанцевой поставлю, потому — сказано: ныне увеселимся духом своим.

Сладостное известие о померанцевой подействовало, как и надо было ожидать, достойным, то есть самым благоприятным, образом. Фомушка с Гречкой присоединились к обществу майора. Две-три рюмки еще более умаслили надменно-свиные глазки господина Спицы и развязали ему язык. Он стал уверять Фомушку в своей истинной любви и дружестве.

— А ведь мы двурушника-то побьем — вот те кол, а не свечка, коли не побьем! — сказал между прочим Фомушка, ударив кулаком по столу...

Гречка притворился, будто не знает, о ком

и о чем заводит речи блаженный, и потому поинтересовался узнать, кто этот двурушник. Фомушка сообщил. Зеленьков очень изумился.

— Как?.. Так неужто он милостыню собирает? — воскликнул он.

— А ты его знаешь? — спросил блаженный, который имел привычку тыкать всем и каждому без разбору.

— Очень даже, можно сказать, коротко, — амбициозно заметил Иван Иванович, несколько задетый этим тыканьем.

Фомушка налил ему рюмку. Амбиция господина Зеленькова смягчилась: он почувствовал даже некоторую всепрощающую теплоту относительно Фомушки.

— Знаком, стало быть? — в виде пояснения спрашивал последний.

— Личным пользуюсь... комиссии всякие справлял, как, значит, закладывать поручали господишки разные.

— К самому, стало быть, хаживал?

— Хаживал, и на фатере бывал; а живет же мерзостно — скупость-то что значит!

— Большую фатеру держит?

— Три комнаты да кухня.

— Бобылем живет, али есть кто при нем?

— Окроме куфарки — никого; две персоны, стало быть; да сын иногда захаживает.

Фомушка слегка толкнул Гречку. Тот как бы невзначай крякнул: «Смекаем мол». Но от зоркого глаза Ивана Ивановича это незаметное движение не ускользнуло. «Что-нибудь да неспроста», — сообразил он мысленно и покопился на Спицу, но захмелевший майор очень благодушно почивал, откинувшись на спинку стула.

— А недурно бы эдак тово... запустить лапу в сундучок к Морденке-то? Кабы добрый человек нашелся! — прицмокнув языком, схитрил Иван Иванович, не относясь собственно ни к кому из присутствующих.

— Соблазн! — со вздохом и столь же безотнositельно откликнулся Фомушка.

Гречка ни словом, ни знаком не выразил своего участия в мысли Зеленькова; он только сдвинул свои брови да понуро потупился.

Прошла минута размышления.

— А где он живет? — неожиданно спросил блаженный.

Зеленьков быстро, но пристально вскинул на него сообразительный взгляд.

— Н... не знаю, право, где теперь... давно уже не был... не знаю... Слышал, что переехал, — нехотя отвечал он каким-то сонливо-апатическим тоном и для пущей натуральности даже зевнул.

Фомушка опять толкнул локтем своего соседа и наполнил рюмки.

— Это вы для меня-с? Чувствительнейше благодарен и на том угощении, — отказался Иван Иванович, решась быть осторожнее.

— Да ты пей, милый человек... будем мы с тобою други называться, — убеждал нищий, насильно тыча ему расплесканную рюмку.

— Душа меру знает... Как перед богом — не могу, — вежливо расшаркался Зеленьков с видом сердечного сожаления и застенчиво стал тереть обшлагом свою пуховую шляпу.

— Ну, была бы честь предложена — от убытку бог избавил, — полуобидчиво заключил блаженный и с размаху хлопыстнул одну за другой обе рюмки.

Иван Иванович окончательно расшаркался и отошел к китайскому бильярду, именуе-

тому во всех заведениях этого рода «биксом».

— А ведь мухортик-то[189] — штука, — вполголоса отнесся блаженный к своему товарищу. — Смекалку, ишь ты, как живо распространил... Из каких он?

— Надо полагать, из Алешек[190], — сказал Гречка.

— А может быть, из Жоржей[191].

— Гм... Может, и оно! Я его кой-когда встречал-таки... Коли из Жоржей, так, стало быть, на особняка идет[192], — размышлял Гречка.

— А мы его, милый человек, захороводим [193], потому — польза.

Гречка подумал и согласился на это предложение. Фомушка пожелал проверить свои соображения и узнать обстоятельнее, кто и что за птица сидевший с ними человек, для чего растолкал почивавшего майора.

— Отменный человек, полированный человек, — хрипло пробормотал майор, пытаясь снова уснуть безмятежно. Остальные сведения, кое-как добытые от него Фомушкой, заключались в фамилии Ивана Ивановича да в том, что Иван Иванович — человек нигде не служащий, а занимающийся разными комис-

сиями.

— Дело на руку, — решили товарищи и отправились к Зеленькову с бесцеремонным предложением на счет морденкиных сундуков, основываясь на его же мнении, что недурно бы запустить туда лапу.

Подобный опрометчивый поступок со стороны таких обстреленных воробьев для человека, незнакомого с нравами и бытом людей этого разряда, может показаться более чем странным. А между тем, невзирая на великую свою хитрость и осмотрительность, заурядные мошенники отличаются часто совсем детскою, поражающею наивностью. Но в этом случае не совсем-то наивность и опрометчивость руководили поступком двух приятелей. «Он нас не знает, мы его не знаем; деньги нужны всякому — никто себе не враг; а попадется да проболтается — знать не знаем, ведасть не ведаем; и с поличным люди попадают, да вывертываются благодаря незнакомке, так и мы авось увернемся, бог милостив». Таким или почти таким образом формулируются соображения мошенников в обстоятельствах, подобных настоящему. Убеждение, что

смелость города берет, и возможность отпереться и не сознаваться при самых очевидных уликах помогают им сходиться для общего дела с людьми почти им неизвестными, но в которых они провидят известную дозу существенной пользы.

Иван Иванович, никак не ждавший столь прямого подхода, сначала было опешил, даже перетрухнул немного: «Что-то вы, господа, какие шутки шутите?» Потом, видя, что товарищи отнюдь не шутят, а очень серьезно и обстоятельно предлагают ему весьма выгодную сделку, Иван Иванович впал в своего рода гамлетовское раздумье: «Быть или не быть?» — решал он сам с собою.

— Ты, милый человек, не бойсь, ты только подвод сделай, укажи да расскажи, а делопроизводством другие заниматься станут. Наше дело с тобой — сторона; мы, знай, только деньгу получай, а черную работу подмастерья сварганят, — убеждал блаженный.

— Они в деле, они и в ответе, — пояснил Гречка.

Иван Иванович колебался. «Хорошее дело — деньги, а хороший куш и того лучше;

брючки бы новые сделать, фрак, жилетку лохматую, при часах с цепочкой, и вообще всю приличную пару... пальто с искрой пустить, кольцо с брильянтом. В Екатерингоф поехать... вина пить... Хорошо, черт возьми, все это! А попадешься? Что ж такое — попадешься? Дураки попадают, а умный человек никогда не должен даже этого подумать себе, не токмо что допустить себя до эдакова поношения, можно сказать!»

Такие-то соображения и картины относительно разных удовольствий и костюмов молнией мелькали в голове Зеленькова.

— Кабы мы тебя на убийство подбивали, ну, ты тогда не ходи; а то мы не убивать же хотим человека, а только денюжат перехватить малость, стало быть, тут греха на душу нет, — убеждал блаженный.

«И в самом деле, — согласился мысленно Иван Иванович, — ведь украсть — не убить! А в эвтом деле кто богу не грешен, царю не виноват?»

— Кабы он еще был человек семейный, в поте лица питайся, — продолжал Фомушка, пуская в ход свое красноречие, которое обык-

новенно очень умиляло людей, верующих в его подвижничество и юродство, — ну, тогда бы посягнуть точно что грех: у нища и убога сиротское отъяти. А ведь он, аспид, кровопийца, неправым стяжанием владеет; а в писании что сказано? — лихоимцы, сребролюбцы, закладчики — в геенну огненную! Вот ты и суди тут!.. Ведь он не сегодня завтра помрет — с собой не возьмет, все здесь же оставит, волками на расхищение — так не все ль одна штука выходит? Лучше же пущай нам, чем другим, достается.

— Это точно что, это вы правильно, — мотнув головой, поддакивал Иван Иванович, и в конце концов дал свое согласие на дело. Перед ним еще ярче, еще привлекательнее замелькали разные брючки, фрачки и тому подобные изящные предметы.

ПАТРИАРХ МАЗОВ

В это время мимо вновь созданного триумфвирата прошел самоуверенно-тихой и степенно-важною поступью благообразный маститый старик в долгополом кафтане тонкого синего сукна. Видно было человека зажиточного, солидного, который знает себе цену и умеет держаться с ненарушимым достоинством. Этот высокий лысый лоб, на который падала вьющаяся прядка мягких серебристых волос, эти умные и проницательные глаза, широкая и длинная борода, столь же седая, как и волосы, наконец строгий и в то же время благодушный лик придавали ему какой-то библейский характер — кажись, так бы взять да и писать с него Моисея, какого-нибудь пророка или апостола. При появлении его некоторые из присутствующих почтительно встали и поклонились. Старик отвечивал тоже поклоном, молчаливым и благодушным.

— А, патриарх!.. Се патриарх грядет, — воскликнул Фомушка и, скорчив умильную ро-

жу, с ужимками подошел к нему, заградив собою дорогу.

Старик приостановился и медленно поднял на него свои полуопущенные взоры.

— Что чертомелишь-то, кощун! дурень! — тихо сказал старик внушительным тоном и строго сдвинул свои седые, умные брови.

— Потому нельзя, никак нельзя иначе, — оправдывался нищий.

Старик более не удостоил блаженного никаким словом, но слегка отстранил его рукою и прошел в смежную комнату, откуда сквозь затворенную дверь слышна была циническая песня, которую горланили около десятка детских голосов.

— Ваше степенство! Пров Викулыч! не откажи в совете благом — дело есть, — остановил его в дверях вновь подскочивший Фомушка и подал знак своим двум товарищам, чтобы те следовали за ним в смежную комнату.

В этом высоком, сановитом старике читатель может узнать старого знакомого — ершовского буфетчика, Пров Викулыч, по всей справедливости, мог носить титул патриарха

мазов[194]. Несколько лет назад он оставил свою буфетческую должность и «отошел на покой». Известно было, что он сколотил себе весьма изрядный капиталец; но где и как хранились его деньги — того никто не ведал. Он, будучи одиноким человеком, занимал со своею кухаркою небольшую, но опрятную квартиру в одном из соседних домов, и главным украшением жилища его служило «божие милосердие» в серебряных окладах, с вербными херувимами, страстными свечами, фарфоровыми яйцами и неугасимой лампадой. На полке присутствовали избранные книги, служившие постоянным и любимым чтением хозяину. Тут были святцы, Четьи-минеи в корешковых переплетах с застежками и два тома из свода законов — десятый и пятнадцатый. Пров Викулыч был отменный начетчик, искусный диспутант и великий юрист. Он с полным убеждением и верою исполнял обряды религии, очень усердно посещал в каждый праздник храм божий, соблюдал среды и пятницы и все посты, а говел четырежды в год неукоснительно. И это — по чистой совести — никто из знавших его не мог бы на-

звать фарисейским лицемерием: все сие творил он по внутренним побуждениям совершенно искренно. Великим грешником также себя не считал, ибо в жизнь свою не сотворил ничего против заповедей «не убий» и «не укради»; а перекупку заведомо краденых вещей, которую с переменою звания совсем оставил, он не почитал подходящею под восьмую заповедь, тем более что все стяжание свое намеревался по смерти завещать в разные монастыри, буде сам не успеет принять сан монашеский, о чем всегда любил мечтать с особенной усладой душевной. Любимым занятием Прова Викулыча были религиозные препирания с раскольниками; здесь он входил в истинный, даже ожесточенный пафос, особенно когда мог побивать противника на основании текстов писания. Капитала своего Пров Викулыч не трогал, а жил, так сказать, на общественном иждивении. Мы уже сказали, что он был великий юрист. Всевозможные статьи, параграфы и пункты, особенно пятнадцатого тома, были знакомы ему в совершенстве. Знанием всей казуистики, всех ходов и закорючек полицейских и судебных мест вла-

дел он с замечательною прозорливостью. Но «хождений по делам» и стряпчества Пров Викулыч на себя не принимал. Он обучал только проходящих к нему за советом мошенников. Если который из них попадался под следствие — учил всевозможным отводам, указывал тайные лазейки и все те пункты закона, которые хотя мало-мальски могли послужить в пользу подсудимого. Следуя словам писания, которое повелевает посещать в темнице заключенных, он навещал иногда знакомых арестантов для осведомления о ходе их дел и подачи благих советов. Если арестанту хотелось на поруки, Пров Викулыч, как личность ни в чем зазорном не замеченная и под судом и следствием не состоящая, являлся поручителем, даже деньги свои давал иногда в долг, когда подсудимый мог отделаться взяткою, а наличных не имел. И, кажется, не было примера, чтобы деньги эти впоследствии ему не возвращались. Если задумывалось какое-нибудь ловкое, сложное и рискованное предприятие, знакомые мошенники почти всегда предварительно шли к нему за советом. Пров Викулыч сметливым оком своим соображал и

обдумывал дело, давал опытный и умный совет, как ловчее, тоньше и безопаснее его обдирать, приводил закорючки и пункты, которые могут служить и pro и contra[195] в данном случае, и как скоро предприятие удавалось — получал свою долю благодарности. Таким-то способом и жил он на общественном иждивении. Крайне осторожный и осмотрительный, он сохранил себе официально «честное имя» и был твердо уверен, что никогда и ни в чем не попадетсЯ. Если б вы назвали его мошенником, он бы до глубины души оскорбился, ибо с полным убеждением почитал себя честным человеком и истинным христианином. «Возлюби ближния своя», — неоднократно повторял он, как свое нравственное убеждение, и на этом основании помогал мошенникам, раздавал нищим милостыню. Жоржи чтили в нем истинного своего благодетеля и называли патриархом мазов.

*Мое тело — тело бело
Разгуляться захотело...*

— отхватывали сильные детские голосенки в отдельной, непроходной комнате, когда за

порог ее ступили Пров Викулыч и компания Фомушки.

Опрокинутые стулья, чайный прибор, пивные бутылки и водка служили признаками оргии, происходившей в этом уголке. С десятков мальчишек, от десяти до пятнадцатилетнего возраста, в разнокалиберных костюмах, наполняли небольшую горницу. Некоторые из них были положительно пьяны. Посредине происходила пляска. Двенадцатилетний мальчик отхватывал вприсядку трепака перед женщиной, еще молодой и даже недурной когда-то, на которой однако уже неизгладимо лежало отталкивающее клеймо разврата. Ее испитое, горящее хмельным румянцем лицо вполне гармонировало с такими же испитыми лицами мальчишек. Подле танцующей пары ухарски восседал на табурете один взрослый и своими восклицаниями поощрял безобразную пляску.

— Цыц, вы, чертенята! Брысь под печку! — топнул на них Пров Викулыч. — У добрых людей пятница, а они срамные песни орут!

— Беса плясовицею и скаканием тешат! — промолвил от себя богобоязненный Фомушка.

Ребятишки немного притихли, взрослый почтительно привстал с табурета, плясунья удалилась за двери даже с некоторой робостью, потому что Пров Викулыч баб не любил.

— Что у вас за кагал тут жидовский? — несколько благосклоннее спросил он, с достоинством рассевшись на диване.

— А вот — звонков[196] обучаю... Хотите — икзамет можно сделать? — с улыбкой отозвался взрослый, красивый парень лет двадцати пяти, в камлотовом пиджаке.

— Не «икзамет», а экзамен, слово греческое, — докторально-педантически и совсем уже благосклонно поправил патриарх, любивший иногда щегольнуть своим знанием и начитанностью.

Камлотовый пиджак, сознавая ученое превосходство патриарха, скромно ухмыльнулся и провел рукой под носом.

— Ну, делай, пожалуй; а я погляжу, да вот с добрыми людьми покалякаю, — согласился старик, приглашая компанию Фомушки подсесть к дивану.

Фомушка «сделал уважение» ему рюмкой

мადеры, которою всегда эти господа угощают таких сановитых людей и которую очень любил Викулыч, хотя сначала и отказывался пригубить по случаю пятницы. Затем, представя ему Зеленькова, Фомушка вполголоса приступил к изложению задуманного дела с Морденкой, а камлотовый пиджак начал экзаме́н.

Он поставил табурет посредине комнаты и вынул из кармана ременный жгут.

— Вы, новички, слушай! — обратился он к трем мальчикам, из которых один, бледный, худощавый ребенок лет десяти, стоял позади всех у окна и не то со страхом, не то с удивлением глядел на все происходившее в этой комнате.

Видно было, что он дичился, что все это казалось ему странным и чем-то новым, невиданным.

— Слушай! — повторил камлотовый пиджак. — Вот Сенька будет у меня форточничать, а вы — чур! — глядеть да учиться! Когда, значит, пойдем на работу и случится при эфтим деле в форточку пролезть, так надо, чтоб было аккуратно и без шуму. А коли нашумим,

ребятки, так березовой каши в части похлебаем! Ну, Сенька, полезай! — скомандовал он плясавшему мальчишке. — Да гляди у меня, пострел: буде чуточку только сдвинешь табурет — жгут!

Сенька скинул сюртучонок и ловко полез между ножками и нижней перекладиной табурета. Камлотовый пиджак — жгут наготове — в наблюдательной позе стал над мальчишкой.

Сдвинул.

Раздался удар по спине и крик, слившийся со смехом мальчишек.

— Ах ты, девчонка!.. Он еще голосить тут вздумал!

— Да ведь больно... не приноровишься сразу... — простонал со слезами на глазах пролаза, вскочив на ноги.

— Затем и бьют, чтоб было больно, — пояснил ментор. — Даст бог, на Конной попадешься к Кирюшке[197] в лапы — еще больнее будет — значит, с младости приучаться надо.

Мальчик, убежденный этим аргументом, полез опять и опять сдвинул на полвершка табуретку. Новый, еще сильнейший удар, но

на этот раз уже ни малейшего крика.

— Молодец!.. Валяй сызнова, да делай на-чистоту! — ободряет ментор — и ученик его с изумительною ловкостью пролезает наконец между ножек — туда головой, а потом обрат-но ногами — ни на одну линию не сдвинув табуретки.

— Молодец, Сенька! ай да молодец! — вос-клищает ментор, приходя в истинный вос-торг. — Пошел, налей себе стакан водки в на-граду.

Пров Викулыч слушает Фомушку с компа-нией и в то же время, самодовольно поглажи-вая свою прекрасную бороду, с благоволивой улыбкой смотрит на искусство юного Сеньки. Одно только не совсем-то нравится ему: «За-чем мальчуга водку дует? — потому: пятница, и опять же нравственности ущерб, хотя, с дру-гой стороны, трудно и не испивать в этом положении». Так рассуждает Пров Викулыч, а камлотовый пиджак уже представляет на его благоусмотрение новые плоды своей ланка-стерско-педагогической деятельности. Он сел на табурет, положил к себе в карман доволь-но узких панталон кошелек с деньгами и

кликнул нового мальчишку.

— Начинаю! — сказал мальчишка и, немного засучив рукав, осторожно запустил пальцы в карман учителя.

Через минуту он подал ему кошелек.

— Ну, брат, чистота!.. Вот уж подлинно, можно сказать, золотая тырка[198], — изумился ментор, — гляди-ко, корт, без ошмалашу[199], прямо полез, да еще говорит: «Начинаю», и хошь бы чуточку трекнул[200]... И знаю ведь, что тащит, бестия, а хошь убей — ничего не слышал!..

— Чисто! очень чисто! — похвалил Пров Викулыч, который успел уже выслушать план задуманного дела и дать надлежащий добрый совет, сущность которого читатели узнают в надлежащем месте.

— Первый хороший праздник, — сказал камлотовый пиджак молодому воришке, — я тебя беру с собой в Казанский. Это — словно бы уж и не жулик, а целый маз выходит. Пшел, собака, выпей водки!

— Клугин! — обратился Сенька к своему ментору. — Скажи Прову Викулычу, что мы нынче новичка привели.

Клугин вывел из толпы бледного ребенка в пестрядинном халате, того самого, который озирался на все с робким изумлением, и подвел его к патриарху.

— Как зовут? — отнесся к нему этот последний в том солидно-благодушественном тоне, как относятся обыкновенно законоучители ко вновь поступившим гимназистам.

— Миколкой, — чуть не задыхаясь, ответил мальчуга.

— Из мастеровых, надо полагать? — продолжал Викулыч, взглянув на его пестрядинный халатик.

— Сказывал, у сапожника в ученьи жил, да убёг от него третёвадни, — объяснял бойкий Сенька. — Мы нонче дрова таскать лазали, и видим — в пустой конуре собачьей сидит кто-то... Смотрим, а это он... Ну, вытащили да и привели... Голодный был...

— Есть родители али сродственники какие? — допрашивал новичка Пров Викулыч.

Мальчик дрожал и готов был разрыдаться. Нижняя губа и подбородок его нервно трепетали — предвестие близких, но сдерживаемых слез.

— Не бойся, милый, отвечай... Мы худа не сделаем, — погладил его по головке Викулыч. — Есть, что ли, родители?

— Нету... никого... — с трудом ответил несколько ободренный мальчик.

— Кто ж тебя в ученье-то отдал?

— Господа отдали...

— Так... А зачем же ты убежал от хозяина?

— Бил меня... все бил... есть не давал.

— Как же он тебя бил-то?

Мальчик отстегнул халат и показал грудь, плечи и часть спины. Ременная шпандра оставила на них синяки полосами. Видно было, что эта хозяйская шпандра без разбору и долго и часто гуляла по его тщедушному телу: не успевали сглаживаться полосы старых побоев, как поперек их накипали новые синяки.

— За что же это он так? — продолжал Пров, покачав головою.

— За разное... Пьяный все больше... Молочник вот разбил... в лавочку долго бегал... клейстер переварил, — припоминал он причины побоев, а слезы не выдержали и показались.

— Ну, не плачь, малец, не пускай нюни! —

утешал его старик, подымаясь с места и откланиваясь присутствующим. — Поживешь с нашими ребятами, поправишься, молодцом станешь.

— Хочешь водки? — предложил ему Клу-гин по уходе патриарха. — Хвати-ка стакан, веселее будешь.

Ребенок отнекивался.

— У! бабье какое! Учи его, ребята! лей ему в глотку! — скомандовал опытный педагог, и мальчишки разом накинулись на своего нового товарища, схватив его за голову и руки.

— Пей, а не то к хозяину сведу! — пострадал ментор, у которого одним из первоначальных педагогических приемов было систематическое приучение питомцев к пьянству, разврату и праздной жизни.

Угроза насчет хозяина подействовала сильно: несчастный мальчик, весь дрожа от наплыва столь разнородных ощущений, с отвращением проглотил большой стакан водки и без чувств повалился на пол.

— Ур-ра-а! — закричали мальчишки — и через минуту опять появилась там испитая женщина, и опять раздавалась прежняя пес-

ня.

Таким-то вот образом из неиспорченного ребенка, которого разные хозяева ни за что ни про что истязали и морили голодом как последнюю собаку, приуготовляется негодяй и воришка, а впоследствии, быть может, кандидат на каторжную работу, которого мы, в пылу благородного негодования и с утешительным сознанием своей собственной высокой честности, будем клеймить своим презрением, говоря, что поделом вору мука и что закон еще слишком снисходителен к подобным негодьям.

Я полагаю, что мы будем совершенно правы, сограждане! Не правда ли, и вы ведь полагаете то же?

VI НИЩИЙ-БОГАЧ

На другой день за вечернею службой Морденко по-вчерашнему слонялся в притворе за спинами нищей братии и по-вчерашнему же двурушничал, с каким-то волчьим выражением в стеклянных глазах, которое появлялось у него постоянно при виде денег или какой бы то ни было добычи. Фомушка на сей раз не донимал его тычками. И однако Морденко все-таки спустился с паперти раньше остальной нищей братии, преследуемый градом критических и обличительных замечаний со стороны косоглазого слюня и баб-попрошаек. Угрюмо понуриив голову, шел он в своем дрянном, развевающимся халатишке, направляясь к Средней Мещанской, где было его обиталище. Саженьях в десяти расстояния за ним шагал высокий человек, ни на минуту не упуская из виду понурую фигуру старика.

У ворот грязно-желтого дома, того самого, где обитала Александра Пахомовна, мнимая тетушка Зеленькова, и где неисходно пахло

жестяною полудой, старик Морденко столкнулся с молодым человеком.

— Здравствуйте, папенька, — сказал этот последний тем болезненно несмелым голосом, который служит признаком скрытой нужды и подавляемого горя.

Неожиданность этих слов заставила вздрогнуть старика, погруженного в свои невеселые думы. Он исподлобья вскинул тусклые глаза на молодого человека и глухо спросил его ворчливо-недовольным тоном:

— Что тебе?.. Чего пришел, чего надо?..

— Я к вам... навестить хотел...

— Навестить... Зачем навещать?.. Не к чему навещать!.. Я человек больной, одинокий... веселого у меня мало!..

— Да ведь все ж... я сын вам... повидать хотелось...

— Повидать... а чего видать-то? Все такой же, как был! Небойсь, не позолотился!.. Участие, что ли, показывать?.. Зачем мне это?.. Разве я прошу?.. Не надо мне этого, ничего не надо!..

— Я к вам за делом...

— Да, да! знаем мы эти дела, знаем!.. Денег,

верно, надо?.. Нет у меня денег. Слышишь ли: нету!.. Сам без копейки сижу!.. Вот оно, участие-то ваше! Только из-за денег и участие, а по сердцу не жди.

У молодого человека сдержанно сорвался горький и тяжелый вздох.

— Хоть обогреться-то немного... позвольте, — сказал он, тщетно кутаясь в свое холодное, короткое пальтецо, и видно было, что ему тяжела, сильно тяжела эта просьба.

— Разве холодно?.. Мне так нисколько не холодно, — возразил старик, — и дома не топлено нынче... два дня не топлено.

— Ну, бог с вами... Прощайте, — проговорил юноша и медленно пошел от старика, как человек, которому решительно все равно, куда бы ни идти, ибо впереди нет никакой цели.

Тень чего-то человеческого раздумчиво пробежала по бледно-желтому, неподвижному лицу Морденки.

— Иван!.. Эй, Ваня! вернися... Я уж, пожалуй, чаем тебя напою нынче, — сказал он вдогонку молодому человеку.

Тот машинально как-то повернулся назад

и прошел вслед за стариком в калитку грязно-желтого дома.

Высокий человек, неуклонно следовавший за Морденкой еще от самой паперти Спаса, сделал вид, будто рассеянно остановился у фонаря, а сам между тем слушал происходивший разговор и теперь вслед за вошедшими юркнул в ту же самую калитку.

В глубине грязного двора, в самом последнем углу, в который надо было пробираться через закоулок, образуемый дровяным сараем и грязной ямой, одиноко выходила темная лестница. Она вела во второй этаж каменного двухъярусного флигеля, где находилась квартира Морденки. Низ был занят под сараями и конюшней.

— Постой-ка... надо вынуть ключи, — сказал он, остановясь у входа, и достал из-за пазухи два ключа довольно крупных размеров, захвативши их в обе руки таким образом, чтобы они могли служить оружием для удара.

— Лестница темна, неровен час, лихой человек попадетя, — пробурчал Морденко и осторожно занес уже было ногу на ступеньку,

как вдруг опять остановился...

— Ступай-ка ты, Иван, лучше вперед... а я за тобою.

Молодой человек беспрекословно исполнил это желание подозрительного старика.

— Разве вы Христину отпустили? — спросил он, нащупывая ногами ступеньки.

— Нет, держу при себе... нельзя без человека; уходить со двора иной раз приходится, — пояснил Морденко, отыскивая на двери болт с висящим замком.

— Да где ж она у вас теперь-то?

— А я ее запираю в квартире, пока ухожу — так-то вернее выходит, по крайности знаю, что не уйдет... А тебе-то что это так интересно? — вдруг спросил он подозрительно.

— Так. Вижу, что вы с ключами...

— То-то — «так» ли?.. У вас все «так»... А на свете «так» ничего не бывает.

Он отомкнул сначала висячий замок, а потом другим ключом отпер уже самую дверь и вошел с сыном в темную комнату, откуда пахнуло на них сыростью кладовой, где гниет всякая рухлядь.

Высокий человек, как кошка, неслышно

все крадучись за ними, вошел наконец в нижние сени, где плотно прижался к стене. Сюда долетел до него и последний разговор с сыном.

* * *

Растрепанная, заспанная женщина внесла в комнату сальный огарок.

— А ты зачем палила свечку? Я разве за тем покупаю, чтобы она у тебя даром горела? — обратился к ней с выговором Морденко.

— Чего горела?.. Где она горела?.. И то впотьмах цельный вечер сидишь, — проворчала чухонка.

— А вот я удостоверюсь, вражья дочка, я вот тебя поймаю! Ты думаешь, у меня не замечено? Нет, брат, шалишь!..

И найдя на окне бумажную мерочку с отметиной, Морденко приложил ее к огарку; пришлась враз — и старик успокоился: Христина точно просидела в потемках.

— Поставь-ко самовар нам... обогреться хочу, — сказал он ей более дружелюбным тоном; но Христина не оказала к дружелюбию особенного расположения: это глуповатое,

скотски терпеливое существо пришло наконец в некоторое негодование.

У Морденки люди обыкновенно не выжидали более двух недель; одна только Христина как-то умудрялась выносить свою пытку уже в течение трех месяцев, да и у ней начинало лопаться терпение. Она находилась чисто в плену, в заточении у Морденки. Уходя рано утром за провизией, он запирали ее на ключ в своей квартире. То же самое было, если шел куда-либо по делу или вечером в церковь, — последнее в особенности хуже всего, так как он запрещал жечь свечку, и несчастная чухонка принуждена была сидеть в совершенной темноте часа два или три сряду. Вырваться и уйти от него было весьма затруднительно, потому что расчетливый старик отбирал обыкновенно паспорт и прятал его в потаенное, ему одному известное, место. Отходы прислуги совершались почти всегда со вмешательством полиции, которая вынуждала наконец Морденку к расчету и отдаче паспорта. Оставаясь один в своей квартире, он становился совершенным мучеником, сидел запершись на все замки, боялся, что кто-ни-

будь войдет и убьет его, еще больше боялся отлучиться из дому, потому что, пожалуй, ворвутся без него лиходеи в безлюдную квартиру и оберут все дочиста. Тогда он сквозь форточку посылал дворника за майором Спицей, обитавшим в том же самом доме, и умолял найти ему какую-нибудь прислугу. Майор, старый однодомчанин с Морденкой, был, кажется, единственный человек, сохранивший к скупому аскету несколько благоприятные отношения в силу особого обстоятельства, о котором вскоре подробно узнает читатель. Майор обыкновенно брал на себя поручение Морденки и доставлял ему какую-нибудь старую Домну или Пелагею, чтобы эта неделя через полторы сменилась, по майорскому же отысканию, какую-нибудь Матреной или Христиной.

Итак, Христина не оказала особенного расположения к дружелюбному тону Морденки.

— Чего тут самовар?.. Лучше печку затопить — третий день не топлена, — протестовала она, — крыс морозим в фатере... жить нельзя... пачпорт мой подавай сюда — уйду совсем!..

— Уйди, уйди; я погляжу, как ты уходить станешь, — кивая головой, полемизировал Морденко.

— Думаешь, не знаю, куда ты в халатишке шатаешься? Христорадничать ходишь, милостыней побираешься!

— Дура, и видно, что дура! — возразил Морденко. — Побираюсь... ну, точно что побираюсь, так ведь это богоугодное и душеспасительное дело, потому — унижение приемлешь! Вот и ты — поругай побольше, а я со смирением выслушаю; тебе-то — мучение вечное, а мне — душе своей ко спасению.

Христина в кухне закопошилась с самоваром; Морденко ушел в другую горницу переодеться. Халат служил ему только для вечерних хождений на паперть Сенного Спаса; для дневного же выхода в люди или по делам старик имел костюм совершенно приличный, состоявший из синего сюртука старинного покроя, узких панталон и старинного же покроя пуховой шляпы с козырьком, какие лет пятнадцать тому назад можно еще было встретить на некоторых старикашках; зато костюм домашний, обыденный представлял нечто со-

всем оригинальное. В него-то именно облекся Морденко в другой горнице. Это была грязная рубаха, заплатанное нижнее белье, больничные шлепанцы-туфли на босу ногу и какая-то порыжелая от времени шелковая женская мантилья — очевидно, из заложенных ему когда-то и невыкупленных вещей, — которая совершенно по-женски была накинута на его сутуловато-старческие плечи.

В комнате был страшный холод, пар от дыхания ходил густыми клубами, но старик оставался как-то нечувствителен к этому холоду, тогда как сын его, кутаясь в пальтишко, дрожал как в лихорадке; эта затхлая сырость понимала гораздо хуже сырости уличной. Морденко вышел из другой комнаты с жестяным фонарем и переставил в него из подсвечника сальный огарок. Комната осталась в густом полумраке; по стенам легли радиусами три светлые полосы, на потолке тускло замигали пятнами несколько кружков — отсвет от дырочек на крышке фонаря.

— Так-то лучше, безопаснее, — заметил он, — а то, оборони бог, заронится как-нибудь искра — пожар случится — все погорим... Что

дрожишь-то? или тебе в самом деле холодно? — обратился он к сыну.

Тот, в затруднении, не ответил ни слова.

— Жаль, затопить нельзя: вчера только что топлена, а у меня правило — через день... регулярность люблю.

— Ан врешь, не вчера, а третёводни! — оспорила его Христина из кухни.

— Ан врешь, вчера!

— Ан третёводни!

— А побожись!

— Чего «божись» — сам без божбы знаешь!

— Врешь, меня не надуешь, у меня записано... Сейчас справку наведем, — говорил он, взяв с окна какую-то тетрадочку и просматривая по ней свои отметки. — А ведь и вправду третёводни... ошибся... Ну, так, стало быть, затопим.

И он пошел к изразцовой печке.

Морденко, кроме кухни, которая служила и прихожею, занимал квартиру в три комнаты. Первая, в которой теперь находится он с сыном, служила приемной. Это была большая горница в три окошка, сырая, закоптелая и почти пустая. Посредине стояли стол да три

стула; у окна — клетка с попугаем; по стене, близ печки, сложено с полсажени сосновых дров. Дверь с висячим замком вела в смежную однооконную комнату, называвшуюся спальней; из этой смежной комнаты виднелась дверь в третью, замкнутая большими замками на двух железных болтах и печатанная двумя печатями. Это была кладовая, где хранились заложенные вещи.

На столе появился наконец грязнейший зазеленелый самовар; Морденко насыпал в чайник каких-то трав из холщового мешочка.

— Чаю я не пью, — пояснил он при этом, — чай грудь сушит, а у меня вот настой хороший, из целебных, полезных трав... летом сам собираю... оно немного терпко на вкус, зато для желудка здорово и греет тоже — никаких дров не нужно.

В печке между тем затрещали четыре полена, но сырые дрова не загорались, а только тлели и вскоре совсем потухли. Морденко воспользовался этим обстоятельством и поспешил закрыть трубу. Из печки повалил едкий дым. «Авось, после чаю скорей уберется, как глаза-то заест», — подумал старик, взгля-

нув сквозь свои круглые большие очки на закашлявшегося сына. В нем как-то странно боролось человеческое чувство к своему ребенку и нелюбовь к обществу, желание отделаться поскорей от лишнего человека.

— Что дыму-то напустил?.. Зачем трубу закрываешь? Угар пойдет! — огрызлась на него Христина.

— Дура, молчи!.. Угар... что ж такое угар! Жар в комнате вреден для здоровья, а небольшой угар — ничего не значит, ибо комнаты большие — разойдется.

— Вот так-то и всегда!.. Эка жисть-то чертовская! — ворчала Христина, удаляясь в свою холодную кухню.

В это время что-то странное стукнуло в форточку, словно бы о стекло хлопнулись два птичьих крыла.

Морденко обернулся и как-то загадочно проговорил с улыбкой:

— А!.. прилетел!..

— Кто прилетел? — отозвался Ваня, покоясь на окошко.

— Он прилетел...

И с этими словами, старик, кряхтя и каш-

ля, отворил форточку. В нее впорхнуло какое-то странное существо и, хлопая крыльями, уселось на плечо Морденки. В полумраке сначала никак нельзя было разглядеть, что это такое. Оно поднялось на воздух, с шумом описало несколько тяжелых кругов по комнате, шарыгая крыльями о стены, задело попугаячью клетку и снова уселось на плечо.

«Безносый», — неожиданно крикнул попугай, встрепенувшись на своем кольце.

Морденку очевидно утешило это восклицание.

— А ты не осуждай! — с улыбкой обратился он к попугаю в наставительном тоне. Птица, сидевшая у него на плече, продолжала хлопать крыльями и, как бы ласкаясь, вытягивала свою странную, необыкновенную голову, прикасаясь ею к шее старика. Вглядевшись в нее, можно было догадаться, что это голубь, у которого совершенно не имелось клюва: он был отбит или отрезан так ловко, что и следов его не осталось; торчал только один высунутый язык, и это придавало птичьей физиономии какой-то необыкновенно странный и даже неприятный характер.

— Это мои друзья, — говорил старик, качая головой, — больше друзей у меня нет никого — только Попочка и Гулька... На улице птенцом нашел, сам воспитал, сам вскормил, а он теперь благодарность чувствует...

И старик подставил голубю наполненную какою-то мякотью чашку, в которую тот окунул свою бесклювую голову и таким образом кормился. Этот голубь вместе с попугаем гуляли прежде на воле по всем комнатам; но однажды между ними произошла баталия, и попугай откусил голубю клюв, так что этот уже поневоле должен был за дневным пропитанием прилетать к старику.

И эти три существа составляли между собою нечто целое, совершенно замкнутое в самом себе, изолированное от всего остального мира; даже полудикая Христина звучала между ними каким-то диссонансом, который, несмотря на всю свою дикость, все же таки хоть как-нибудь напоминал жизнь человеческую, ближе подходил к ней, чем эта странная троица. Голубь никогда не издавал воркованья, ниже какого звука, кроме хлопанья крыльев; попугай, напротив, был птица обра-

зованная и любил иногда по часу крякать целые фразы, коим обучал его Морденко.

Временем старик начинал бояться даже свою Христину: чудилось ему, что она «злой умысел на него держит», и он запирался тогда на замок в свои комнаты, не имея в течение суток никакого сообщения с кухней. Впрочем, на ночь он и постоянно замыкался таким образом.

И вот тогда-то, оставаясь уже вполне принадлежащим своему особому миру, делаясь живым членом своей собственной семьи, помещался он обыкновенно в глубокое старинное кресло; голубь садился ему на плечо, попугай вертелся в клетке — и были тут свои ласки, шли свои интимные разговоры, начиналась своя собственная жизнь.

«Разорились мы с тобой, Морденко!» — пронзительно кричала птица из своего заточения.

— Разорились, попинька, совсем разорились! — со вздохом отвечал Морденко, глядя и целуя бесклювого Гульку. И голоса этих двух существ до такой степени походили друг на друга своею глухотою и хриплой дряхлостью,

что трудно было отличить — который был попугай, который Морденко; казалось, будто это говорит одно и то же лицо.

Человек, кажется, не может зачерстветь и одеревенеть до такой степени, чтобы не питать хотя сколько-нибудь живого чувства к живому существу. Часто человеконенавидцы привязываются к какой-нибудь собаке, кошке и т.п. Я слышал об одном убийце, который «в тринадцати душах повинился да шесть за собою оставил». Этот человек, без малейшего содрогания клавший «голову на рукомойник» людям, то есть резавший и убивавший их, во время своего заключения «в секретной», до такой степени привязался к пауку, свившему свою ткань в углу над его изголовьем, что когда этого убийцу погнали по Владимирке — он затосковал и долго не мог забыть своего бессловесного, но живого сожителя по секретному номеру. Одну из подобного рода странных привязанностей питал Морденко к двум своим птицам. Он совсем не любил сына; иногда только мелькали у него кое-какие проблески человеческого чувства к этому юноше, но и те мгновенно же угасали. Любил он толь-

ко голубя да попугая; полюбил также под старость и деньги, к которым сперва был почти равнодушен. Но привязаться к ним заставило его одно исключительное обстоятельство.

Впрочем, здесь отнюдь не была любовь денег для денег, своего рода искусства для искусства, — нет, Морденко был лишен этой мании Кащея и Гарпагона. Он в деньгах видел только средство к достижению своей цели, но не самую цель.

* * *

Морденко во всю свою жизнь не мог позабыть одного оскорбления — пощечины князя Шадурского, полученной им в присутствии Татьяны Львовны — единственной женщины, в отношении которой у него шевельнулось когда-то нечто похожее на человеческое чувство, шевельнулось единственный раз в течение всей его жизни. В первую минуту он даже не понял этого оскорбления; в первую минуту он до того потерялся, до того струсил встречи со своим бывшим барином, что пощечина только ошеломила его и еще более обескуражила. Да и что мог он сделать? Ответить князю тем же? Такая мысль и в голову

не могла прийти ошеломленному Морденке, который очень хорошо еще помнил себя холопом, крепостным его сиятельства, благодетельствованным его высокими милостями до звания управляющего. Морденко все-таки был раб в душе и в минуту рокового столкновения постигал только то, что перед ним стоит сам его сиятельство.

Нравственное значение пощечины понял он позднее, когда все уже было покончено с князем, когда, переехав из княжеского дома на свою собственную квартиру, сделался уже вполне лицом самостоятельным. Тут только, в тишине да в уединении, вдумался он в смысл предшествовавших обстоятельств — и в душе его закипела вечная, непримиримая ненависть к Шадурскому. Это столкновение перевернуло вверх дном все планы, всю карьеру, всю судьбу Морденки, который сколотил себе на управительском месте некоторый капиталец, мечтал о мирном приумножении его, мечтал со временем взять за себя «образованную девицу дворянского происхождения», дочь коллежского асессора, стало быть в некотором роде штаб-офицера. Самолюбие

его рисовало уже привлекательные картины, как разные «господа» будут приятельски жать ему руку, заискивать, приезжать на поклоны, потому что он будет человек богатый, денежный — капиталом ворочать станет, — как будет обходиться с ними «запанибрата», даже иногда, при случае, в некотором роде третировать этих «господ», он — бывший лакей, вольноотпущенный человек его сиятельства. Все это были сладкие, отрадные мечты, питавшие и поддерживавшие его самолюбие; а известно, что ни одно самолюбие не способно расширяться до таких безобразно громадных, невыносимых размеров, как самолюбие холопа, пробивающегося из своей колеи в денежное барство. Близкие отношения с княгиней еще более возвысили его высокое мнение о себе. Хотя при посещении знакомых князя он и должен был почтительно подыматься с своего места и почтительно отвечать им поклоны, чего те знакомые не всегда удостоивали и заметить, однако это не мешало самолюбивому хохлу тем более презирать их, мечтать о том, что, дескать, «поклонитесь нам когда-нибудь пониже», не мешало считать себя

чем-то особенным, необыкновенным. Он признавал только двух человек: себя да князя Шадурского, не упуская случая вставлять повсюду свою любимую фразу: «мы с князем»; остальное же человечество втайне презирал и игнорировал, хотя и не осмеливался еще, по положению своему, высказывать это въяве. «Только бы капиталишку сколотить, а там уж я вам покажу себя!» — злобствовал он порою.

И вдруг все это здание, воздвигаемое им с таким примерным и долголетним терпением, с таким ловким тактом и осторожностью, рухнуло в одну минуту, от одного взмаха княжеской руки. Прощай мечты о панибратстве с господами, о всеобщем уважении и заискивании, о благородной и образованной девице! — все это растаяло яко воск от лица огня, и от прежнего Морденки, управляющего и поверенного князя Шадурского, тайного любовника самой княгини Шадурской, остался ничтожный мещанинишко, вольноотпущенный человек Морденко. Вся прислуга, вся дворня княжеская, которую он держал в струне, которая лебезила перед ним, стараясь всячески угодить, и трепетала одного его взгляда, ибо

он мог сделать с каждым из них все, что ему угодно, стоило только шепнуть самому князю, — теперь эта самая дворня знать его не хочет, шапки перед ним не ломает, с наглостью смотрит в глаза, подсмеивается, не упускает случая сделать какую-нибудь дерзость, насолить чем ни попало — с той самой минуты как пронюхала, что он более не управляющий. Каждая последняя собака норовила теперь хоть как-нибудь обляять его, хоть чем-нибудь насолить ему за прежнее долготерпение и поклоны. Вся дворня ненавидела втайне этого деспота: не могла забыть и простить ему того, что он — «свой брат-холоп» — так вознесся над прежними своими сотоварищами. Да, много пережил Морденко в одни только сутки, с минуты роковой встречи! В волосах его с одной ночи появилось значительное количество седяков, лицо осунулось и похудело, и сам он весь осунулся, погнулся как-то. Ему неловко было поднять глаза, на людей взглянуть: боялся встретить ненависть и наглую насмешку.

В тот же день перебрался он на свою отдельную квартиру, в Среднюю Мещанскую

улицу, где и поднесь проживает.

Он думал, что княгиня любит его. В преж-нее еще время, являясь к ней иногда с докла-дами (не более, как управляющий), умный и сметливый хохол понимал, в чем кроется суть настоящего дела: видя тоску одинокой, покинутой мужем женщины, замечая часто следы невысохших слез на ее глазах, он постиг, что у нее есть свое скрытое горе, причи-на которого кроется в ветреной невниматель-ности князя. Он понял, что эта женщина оскорблена, — оскорблена в своем чувстве, в своей молодости, в своей потребности жить и любить. Ему стало жалко ее. Княгиня, прове-ря отчеты, часто замечала остановившийся на ней сострадательно-симпатичный, груст-ный взгляд управляющего. Ей некому было высказаться, вылить свое горе, чтобы хоть сколько-нибудь облегчить душу. Жаловаться родным или приятельницам — княгиня была слишком горда и слишком самолюбива для этого. Однажды только намекнула она мате-ри своей о холодности мужа.

— Ну, что же, мой друг, это пустяки! Кто из них не ветреничает? Они все такие, на это не

надо обращать внимания... Старайся сама чем-нибудь развлечься и не думай об этом.

Таков был ответ ее матери, после которого Татьяна Львовна закрыла для нее свою душу. Приятельницам своим, как мы говорили уже, она не решилась бы сказать из гордости и самолюбия. Раз как-то в ее присутствии одна из великосветских приятельниц открылась в подобной же холодности своего супруга другой, общей их приятельнице, и именно баронессе Дункельт.

— Милая, ты слишком хороша собой, чтобы сокрушаться о такой глупости, — отвечала баронесса. — Хорошенькой женщине стыдно даже и признаваться в этом: значит, она сама виновата, если не сумела удержать привязанности мужа. Смотри, как я, полегче на эти вещи: за тобой многие ухаживают в свете — выбирай и даже почаще переменяй своих друзей: право, будет недурно!

Татьяна Львовна, готовая уже было сочувственно протянуть руку оскорбленной приятельнице и сама рассказать ей свое такое же горе, прикусила язычок после практических слов баронессы Дункельт. Совету ее, однако,

она не последовала по той причине, что о баронессе ходили весьма несомнительные слухи о том, как она ужинает по маскарадам, уезжает оттуда с посторонними мужчинами и даже посещает *con amore*[201] квартиры своих холостых друзей. Княгиня, как известно уже читателю слишком уважала носимое ею имя, и потому в результате этого разговора для нее осталась прежняя замкнутость, прежнее одинокое, безраздельное горе.

Однажды нравственное состояние ее под гнетом этих мыслей и ощущений дошло до нервности почти истерической. Морденко явился со своими отчетами. В это утро она уже в третий раз замечала на себе его грустно-сочувственный взгляд.

Княгиня наконец вскинула на него свои пристальные глаза.

— Что вы на меня так смотрите, Морденко?

Управляющий вздрогнул, покраснел и смутился.

— Скажите же, зачем вы на меня так смотрите?..

— Извините, ваше сиятельство... я... я ни-

Чего... Я...

— Вам жалко меня? — перебила она, взявши в обе свои ладони его мускулистую, красную руку.

Морденко опустил глаза. По этой жилистой руке пробегала нервная дрожь.

— Ну, скажите прямо, откровенно, вам жалко меня? — повторила она особенно мягко, и в голосе ее дрогнули тщетно сдерживаемые слезы. На глазах показались две крупные росинки.

— Да, жалко, ваше сиятельство, — с усилием пробормотал управляющий.

— Ах, жалеите меня!.. Меня никто не жалеет! — зарыдала она, бессознательно прикинув голову к своим рукам, которые все еще держали, не выпуская, пальцы Морденки. Эти пальцы увлажнились ее истерическими слезами.

— Вы у нас такая молодая... такая хорошая, — говорил управляющий, почтительно стоя перед княгиней.

Ему в самом деле было очень жутко и жалко ее в эту минуту.

— Хорошая я... Вы говорите: я хорошая, я

молодая? — подняла она опять на него свои глаза. — За что ж меня не любят?.. За что же он оставил меня?

— Бог не без милости, ваше сиятельство... Вы все-таки законная их супруга... не крушитесь! все же к вам вернутся, полюбят...

— Кто полюбит?.. Он?.. Пускай полюбит, да я-то уж не люблю его!

— Зачем так говорить, ваше сиятельство!

— Нет, уж будет!.. довольно с меня! Я много молчала и терпела, а теперь не стану!..

— Да ведь этим не обратите сердца-то их к себе.

— И обращать не хочу!.. Я люблю, Морденко, да только не его! Слышите ли вы — не его!

И она опять зарыдала истерическими слезами.

Это был последний пароксизм, последняя вспышка ее женского чувства к своему мужу. Он именно с этой минуты и мог бы вернуть к себе ее любовь, которая еще всецело принадлежала ему, все бы могло быть прощено и забыто этою женщиною, если бы только он обратился к ней. Но... князь Дмитрий Плато-

нович и не домекнулся о той глухой борьбе, которая кипела в сердце его супруги. Она по- дождала, поглядела, — видит, что ничто не берет, — оскорбление еще пуще засело в ее душу — да со злости сама и отдалась Морденке, единственному человеку, проявившему к ней участие...

Морденко думал, что она любит его. В голове хохла загвоздилась мысль, что отношения их могут продолжаться и после разрыва с князем. Этим он думал сначала мстить своему бывшему патрону и потому, перебравшись на новую квартиру, тотчас по городской почте уведомил княгиню о своем новом помещении. Татьяне Львовне это извещение послужило поводом только к разузнанию, где находится ребенок. Князь Шадурский, оставя его на время у акушерки, думал съездить туда сам с приказанием отправить его в воспитательный дом. Он хотел только обождать несколько дней, чтобы опять не столкнуться как-нибудь с княжной Чечевинской. В это время к Морденке подоспели письмо и деньги княгини, вследствие чего он и предупредил князя, взял ребенка и поместил его в дру-

гие частные руки. После этого уже все было кончено между ним и княгиней. То маленькое чувство кровной аристократки к кровному плебею, которое затеплилось было в ее душе, разом угасло после полученной им пощечины. Быть может, оно бы могло еще продолжаться и впредь, ибо она ждала, она надеялась, что ее любовник ответит на оскорбление тем же самым ее мужу. Морденко вместо того струсил, согнулся — и с этой минуты она уже презирала его. Ей было стыдно перед собою за свою связь, за свое ошибочное мнение, будто он «достоин ее». Вторая пощечина князя сделала только то, что княгиня, остававшаяся верной супругой своему мужу до Морденки и немного было полюбившая самого Морденку, со злости вполне уже последовала теперь практическому совету баронессы Дункельт и стала дарить свою привязанность каждому, кто только мало-мальски имел честь понравиться ей. Этим она мстила своему мужу за все, чем он был не прав перед ней. Таковою мы уже видим ее в настоящее время — таковою и изображаем в нашем рассказе. Черты довольно непривлекательны; но

прошу покорно каждого из вас безусловно обвинить единственно только женщину в ее разврате, — женщину, которая во время своей еще честной жизни видит добрый пример мужа, постоянно слышит добрые советы довольно легкого свойства, и эти советы дают ей все, начиная с родной матери и кончая приятельницами. Бросайте после этого в нее камень!

Окончательный разрыв с княгиней произвел на Морденку сильное впечатление. Это было для него первое и последнее разочарование. Он инстинктивно догадывался, что причиной разрыва должна непременно служить все та же проклятая пощечина. Злость его мучила, грызла, подступала к горлу и душила. Он заболел разлитием желчи. Сознавши раз, что все старое кончено, что к прежнему нет уже возврата, а виной всему случившемуся — одна только прихоть, каприз скучающей барыни, которая вдобавок не имеет к нему, «пострадавшему», ни малейшего чувства, — он возненавидел их всех до последней степени, на какую только способна душа человеческая. Паче всего вопияли мечты самолюбия о

панибратстве с господами, о всеобщем почтении. С этими грезами тяжелее всего было расстаться.

Тогда Морденко вздумал мстить.

Но как мстить? Что может сделать он, ничтожный мещанин, темный вольноотпущенный, раздавленный холоп, что может сделать он его сиятельству, князю Дмитрию Платоновичу Шадурскому? Убить его? — за это в Сибирь пойдешь, плети примешь, да и что это за мщение убийством? Хлопс человека — и все покончено мгновением! Нет, надо мстить так, чтобы он чувствовал, мучился, каялся, ненавидел бы, злился на тебя до бешенства — и все-таки ничего бы с тобою поделаться не мог. Надо, чтобы он почувствовал все то, что я теперь чувствую — это вот будет месть, так уж месть! Не то что убийство!

Морденко думал-думал и наконец выдумал.

Через несколько времени в полицейских ведомостях появилось объявление, гласившее, что в Средней Мещанской, дом такого-то, в квартире № 24, ссужаются деньги под залог золотых, серебряных и иных вещей. Заклады

принимаются с восьми часов утра до двенадцати ночи.

VII

БЛАГОДЕТЕЛЬ РОДА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО

Этим объявлением Морденко вступил в новый фазис своей жизни, сопричтясь к многочисленному классу петербургских благодетелей рода человеческого.

Кто не знает этих благодетелей? Кому из петербуржцев хоть раз не приходилось иметь с ними дела? Не знаете их вы, баре, питающие себя у Дюссо и Мартена, содержащие Берт и Луиз; но не знаете потому, что у вас есть свои собственные, особые благодетели, благодеяния коих суть гораздо горче тех, что выпадают на долю люда мелкоплавающего. Впрочем, одно стоит другого. Все эти Бланы, Розенберги и Кохи — родные братья Беков, Карповичей, Алтуховых и прочих. Разница та, что первые ареной деятельности избрали почву элегантную, вторые — почву голода и холода, плача и скрежета зубного. Первые да-

ют вам деньги под верное обеспечение на пять и даже на десять процентов в месяц, так что за тысячу рублей вы через год уплатите две тысячи двести и все-таки будете благодарны Блану и Коху за его благодеяние. Вторые — под залог вещи, стоящей пятьдесят рублей, дадут вам пятнадцать, много двадцать и возьмут непременно уже по десяти процентов в месяц. Для первых обеспечение бывает двоякого рода: либо это собственность, дом, земля, фамильные драгоценности; либо очень скверная, в высшей степени безнравственная, воровская проделка, состоящая в том, что корнета, занимающего деньги, заставляют, *sine qua non*[202], подписываться на векселе ротмистром, несовершеннолетнего — совершеннолетним и т.п. Это по большей части делается с богатыми наследниками, после чего такой опрометчивый господчик совсем уже попадает в лапы ростовщика, который стращает его уголовной палатой, вопиет о подлоге, с наглостью изображает себя невинной, обманутой жертвой и тянет уже со своего клиента сумму, какая заблагорассудится. Бывали примеры, что за двадцать пять тысяч

через три года отдавали сто, лишь бы выручить подложную подпись, которую заставляли их делать в нетрезвом виде благодаря ростовщичьему завтраку с обильными возлияниями.

Обеспечение ростовщиков второй категории состоит исключительно из вещей. Доброму вору — все впору: неси к нему платье, мех, белье, золотую или серебряную вещицу — благодетель рода человеческого тотчас же примет не обинуясь, оценит вещь сам, по собственному благоусмотрению, и выдаст ничтожную сумму, часто с вычетом «законных» десяти процентов за месяц вперед. Тут долгих сроков не бывает: месяц, полтора, много три, и затем — проститесь со своею вещицей навсегда, буде не выкупите в срок, определенный самим благодетелем. Разница между ростовщиками большой и малой руки та, что первые начинают дело с капиталом в двадцать пять тысяч, вторые — с тысячи, а иногда и того меньше. В результате через пять-шесть лет у первых оказывается уже капитал во сто, у вторых в десять тысяч. Уличного воришку, крадущего у вас из кармана платок

или табакерку ради голода, вы считаете него-
днем, подлежащим законному наказанию. Рос-
товщику — вы любезно протягиваете руку,
любезно разговариваете с ним, считаете его в
самом деле благодетелем рода человеческого
и, сами давая ему связывать себя по рукам и
ногам, как бы говорите: «Ограбь меня, батюш-
ка, будь благодетелем, обери вконец!» — и
благодетель, стоящий вне закона, обирает
вас, да и сам не шутя считает себя доброе-
дельным и нравственным человеком, ибо он
помощь вам оказывает, богу молится, храм
господень по праздникам посещает и душу
свою питает назидательным чтением библии
и книг высокого, духовно-нравственного со-
держания.

* * *

У Морденки было сколочено пятнадцать
тысяч капиталу. Но, на первый раз, он начал
дело только с тремя. Через год у него было до
шести, еще через год — до десяти. Легко со-
ставляется состояние ростовщика, но трудно
дойти до такого состояния, и не всякий мо-
жет, ибо для этого надо родиться. Морденко,
может быть, и не был рожден с ростовщичь-

ми наклонностями, но сделался самым злейшим из петербургских ростовщиков, квинтэссенцией этого благодеющего мира. Больше сухости и бессердечия, более эгоистической преданности своим интересам, в жертву которым приносилось все, вряд ли можно бы было встретить. Ни малейшего человеческого движения, ни малейшего сострадания к своему должнику — один только расчет, расчет и расчет.

Как же, однако, совершается с человеком такая резкая метаморфоза?

А вот как.

После появления в полицейской газете известного объявления о принятии в заклад различных вещей Морденко несколько успокоился. Цель его новой жизни была уже определена, верный план мести за пощечину рассчитан как нельзя лучше. Время должно было привести его в исполнение. Перед этой задачей своей жизни все остальное попятилось назад на последнюю ступень, все это принималось Морденкой потоплику, поколику могло служить его главной цели, быть подходящим для его главного интереса. Как дрогнуло его

сердце, когда у дверей квартиры его раздался первый звонок, возвестивший о первой вещи, принесенной ему в заклад! Он вышел в приемную; там печально стояла красивая женщина, одетая очень бедно. Лицо ее показалось даже как будто несколько знакомым ему. От всей фигуры ее веяло скромным, благородным достоинством, по лицу же нетрудно было разгадать, что на душе ее лежит какое-то большое горе.

— Вы публиковали, что принимаете вещи в заклад, — начала она, поклонясь Морденке.

— Так точно, сударыня, принимаем...

Она сняла с шеи золотую цепочку, на которой висел массивной работы золотой крестик, и подала ее ростовщику. Морденко внимательно осмотрел пробу, принес из другой комнаты маленькие весы, вроде аптекарских, и бросил вещь на одну чашку. Женщина не следила за всеми этими эволюциями: она сидела на стуле у окна, подперши ладонью подбородок, и неопределенно глядела во двор. Морденко мимоходом вскинул на нее несколько взоров. Лицо ее все более и более казалось ему знакомым; он старался припом-

нить, где и когда видел эту женщину.

— Я могу, сударыня, дать вам за эту вещь двадцать пять рублей, — вежливо сказал он.

— Только двадцать пять?! — изумилась она. — Помилуйте, за нее ломбард даст семьдесят пять: она заплачена двести.

— В ломбарде сегодня не принимают: прием будет послезавтра; а больше дать не могу.

На глазах ее навернулись слезы.

— Бога ради, — сказала она дрогнувшим голосом. — Бога ради, дайте мне больше... Это все, что я имею... моя последняя вещь.

— Надо быть, фамильная? — заметил Морденко, взглянув исподлобья на женщину. Ему было жаль ее. Он уже подумывал: «Не дать ли, в самом деле, больше? Вещь она — тово... стоящая».

— Это... благословение моего отца... — с трудом наконец решилась выговорить женщина. — Мне она очень дорога, не хотелось бы потерять ее...

— Так вы лучше уж снесите ее в ломбард: сохраннее будет, — посоветовал он.

— Но ведь вы же сами говорите, что сегодня нет приему, а мне необходимо сегодня

же... Бога ради, помогите мне!

Тот тон, которым сказаны были эти последние слова, сильно шевельнул душу Морденки: он понял, что эта женщина стоит на страшном рубеже, что не помощи он ее нужде, ее голоду — быть может, завтра же она махнет рукою и пойдет на улицу продавать самое себя, свою красоту, свою молодость. Сердце его сжалось... «Дам-ка я ей без залога денег», — мелькнуло в его голове. Он уже запустил было руку в свой боковой карман, как вдруг брови его судорожно сжались и энергическое лицо передернулось нервным движением. «А моя цель, а мщение? — встал перед ним роковой вопрос. — К черту сострадание! Этак ведь допусти себя с первого разу, так потом и пойдет... Всех нищих ведь не наделишь копейкой!»

— Больше двадцати пяти рублей никак не могу, сударыня, — сухо поклонился он.

— Она не пропадет у вас? — решительно спросила женщина.

— Это будет зависеть от вас, — ответил он с прежнею сухостью.

Та стояла в решительном раздумье.

— Ну, нечего делать!.. давайте двадцать пять.

Морденко вынул из ящика две записные книги. В одну внес он число, месяц, год и сделал пометку: «№ 1», причем рука его нервно дрогнула. «Первый номер! сколько-то их будет потом?.. Благослови, господи, начало!» — подумал он в эту минуту. Затем обозначил название вещи и сумму — 25 р.с.

— Пишите расписку, сударыня, — предложил, он подав другую книгу и обмакнув в чернила перо.

— Что же нужно писать? — спросила женщина.

— Я вам сейчас продиктую... Пишите: «Такого-то года, такого-то числа и месяца я, нижеподписавшаяся, заложила господину Морденке собственно мне принадлежащую золотую цепочку, с золотым крестом, за двадцать семь рублей пятьдесят копеек». Пишите прописью, сударыня, словами, а не цифрами.

— Как за двадцать семь? Ведь я... за двадцать пять?.. — в замешательстве спросила женщина.

— А законные проценты, как вы полагае-

те? — улыбнулся он. — Мне-то ведь жить чем-нибудь надобно?.. Без профиту нельзя-с.

Женщина поникла головой и опять опустила перо на бумагу.

— «За двадцать семь рублей пятьдесят копеек», — продолжал ростовщик своим казенным тоном. — Написали-с?

— Готово.

— Извольте продолжать, сударыня: «сроком на один месяц, по прошествии коего, буде не внесу в уплату вышеозначенной суммы, то лишаюсь всякого права на обратное получение оной вещи...»

— Но... как же это так?.. Помилуйте! — изумленно вскинула она на него голову.

— «...то лишаюсь всякого права на обратное получение оной вещи», — докторально-методическим и сухим тоном повторил Морденко.

Женщина вздохнула и написала требуемое.

— Далее-с... «и обязуюсь нигде не искать судом на такие действия господина Морденки, признавая их, с своей стороны, совершенно правильными». Теперь выставьте, судары-

ня, внизу, в сторонке-с, год, число и час. Который час у нас теперь? — добавил он, взглянув на карманные часы. — Без семнадцати минут одиннадцать. Итак, напишите-с: «десять часов и сорок три минуты пополуночи».

— Это для чего же? — спросила женщина.

— Для того-с, что как ежели через месяц явитесь в означенный срок с уплатой, то и вещь свою получите, — объяснил ростовщик и подал своей клиентке несколько ассигнаций и несколько мелочи, присовокупив: — Перечтите-с!

— Вы ошиблись, — сказала та, пересчитав врученную ей сумму.

— Никак нет-с, сударыня, я не могу ошибиться, — улыбнулся он, с несокрушимым сознанием полной своей непогрешимости.

— Но тут только двадцать два с полтиной?!

— Так точно-с: двадцать два с полтиной.

Проценты за месяц вычтены вперед.

— Но ведь в расписке уже написаны проценты?

— То само собою, а это для верности, на тот конец, ежели вы не выкупите вещь — так за что же пропадать моему законному? Согласи-

тесь сами!..

Женщина горько улыбнулась, Морденко ответил тоже улыбкой, только самого ростовщически-любезного свойства.

— Теперь не угодно ли вам подписать свое имя, фамилию и звание, — предложил он.

Женщина, очевидно, пришла в большое затруднение. Она колебалась. Морденко опять подал ей обмокнутое перо.

— Зачем же это? — нерешительно спросила она.

— Помилуйте-с, как же это «зачем»? Ведь это документ... без того силы не имеет.

Женщина взяла перо, и Морденко стал следить за ее рукою. «Княжна Анна Чечевинская», — прочел он и отшатнулся. Теперь уже он вспомнил, почему ее лицо показалось ему знакомым, и на губах его мелькнула злорадная улыбка. Морденко видел ее раза два у Шадурских и знал от Татьяны Львовны об отношениях Анны к своему патрону. «А!.. барская кровь!.. — подумал он с нервическою дрожью. — Это неспроста... Сам бог помогает моей цели... Начало доброе!» И он в волнении стал ходить по комнате, не заметив даже, как

княжна молча ему поклонилась и вышла за двери. Морденко был мнителен и суеверен. В этой случайности он видел доброе предзнаменование, нечто таинственное, мистическое, и с этой минуты уже твердо дал себе клятву — до конца преследовать свои цели. Прошел месяц, княжна не явилась за выкупом, и цепочка навсегда осталась у Морденки, который хранил ее как первый памятник своей индустрии, как начало задуманной мести. Да, ему трудно было только начало, трудно было задавить только первый человеческий порыв своего сердца, а потом уж стало все легче и легче, так что через год, когда много уже довелось ему видеть в своей квартире и скорби, и нужды, и горя, и слез человеческих, сердце его было уже сухо и глухо, и сам он весь зачерствел, превратясь в какую-то ходячую железную машину, в автомата, выдающего деньги и принимающего заклады. Теперь уже ни один стон человеческий не в состоянии был дойти до его сердца, ни одна горькая слеза не могла прожечь черствую кору, под которой гнездилась только одна мысль, одно лихорадочное желание — отомстить его сия-

тельству князю Шадурскому.

Привычка — дело великое! Но паче всего и легче всего можно привыкнуть к человеческому горю и страданию. В подобной школе человек скорее всего становится закоренелым циником. Так привык и Морденко к сценам, почти каждодневно повторявшимся у него в квартире.

Сына своего тотчас же по взятии от акушерки поместил он к майору Спице. Отсюда его знакомство с Петром Кузьмичом, который, имея свою специальную отрасль промышленности, дававшую ему кое-какой доход, не приходил с Морденкой в столкновение по части ссуд и вкладов, а потому оба сии мужа и состояли в благоприятельских отношениях. Они иногда навещали друг друга, но Морденко чаще заживал к майору под предлогом взглянуть на сына, а в сущности затем, чтобы даром напиться чужого чаю. К сыну он был совсем равнодушен, даже втайне находил, что лучше бы было, если б мальчик поскорее протянул ноги; тогда, по крайней мере, за воспитание не платить бы, и сумму, данную на этот конец княгиней, отчислить

навек к своему капиталу. Но мальчик жил, и — волей-неволей — приходилось его одевать, обувать и платить за ученье. В отношении этого ребенка в сердце отца существовала какая-то странная двойственность: иногда пробивалась в нем теплота родительского чувства, голос крови, иногда же беспричинно переносил он на него свою ненависть к «барыне-матери», которая все-таки родила этого ребенка на свет, все-таки он сын ей приходился. Из этого источника и истекала его постоянная холодность.

Время шло — дни за днями, годы за годами — капитал ростовщика накоплялся и принес уже плоды сторицею против своей первоначальной стоимости, а вместе с тем накоплялась и ненависть. Это уже было единственное живое существо, наполнившее собою, если можно так выразиться, весь организм старика. Вне этого чувства и вне задуманного плана для него ничего не существовало. Капитал его возрос уже до двухсот тысяч, а он, еженедельно сводя свои счета, все еще бормотал своими старческими губами: «Мало... мало... мало...» и все еще считал недостаточ-

ным для осуществления своей цели...

Это постоянное преследование одной и той же мысли перешло у него наконец в род помешательства. Он никому никогда не высказывался в ней — и тем-то, стало быть, сильнее и глубже развивалась его *idée fixe*. Под влиянием ее он состарился преждевременно, погнулся, высох как мумия, пожелтел как пергамент. По временам на него находил страх смерти, и он мучился, терзался и до иступления молился богу, чтобы не послал ему смерти преждевременной, ранее окончания задуманной цели. Страшно бы было взглянуть тогда на эти сверкающие глаза и шевелящиеся губы посреди почти мертвенно неподвижного лица полоумного старичишки. Думая, что денег все еще мало и мало, он стал отказывать себе во всем, даже в необходимом — в пище, в одежде, в тепле, и под конец сделался отчаянным скрягой, даже начал ходить по вечерам за христорадною милостынею, мечтая этими скудными грошами пополнить свой капитал.

В Петербурге есть несколько особого рода магазинчиков, приютившихся большою ча-

стию по подвальные этажи на улицу. В маленьких окнах этих магазинчиков вы можете увидеть и хорошую картину, писанную масляными красками, и оружие в дорогой оправе, бронзу и хрусталь с севрским фарфором, женскую шляпу и мужской пиджак. Тут же лежит черешневый чубук рядом с отделанным в кружева зонтиком и биноклем, разбросаны всевозможные безделушки, вроде яшмовых пресс-папье, костяных точеных шахмат, малахитовых подсвечников и тому подобных вещей комфортабельного домашнего обихода. Войдите внутрь магазинчика (дверь обыкновенно с пронзительным колокольчиком), и вы увидите куски материй, лампы, статуэтки, блонды и кружева, меха и книги, женские платья, несколько настенных и столовых часов, мебель и даже цветы. Вы бы наверное не поняли, что это за сброд продается тут, если б не вывеска над входом. А вывеска эта обыкновенно гласит, что «здесь покупают, перепродают и берут на комиссию различные вещи», а иногда она ограничивается весьма остроумным и лаконическим: «Продайте и купите». В эти-то магазинчики преимущественно сбыва-

ют ростовщики остающиеся у них за невыкупом вещи, которые иногда сбываются ими и в другие руки — ювелирам, портным, меховщикам и тому подобным ремесленникам. Продается вещь всегда за цену вдвое или втрое больше той суммы, какая была отпущена под ее залог, и все-таки покупатель остается в барышах очень хороших.

Морденко все свои вещи точно так же сбывал в одну из подобных лавчонок, с хозяином которой вел дела уже в течение многих лет, и оба были как нельзя более довольны друг другом, ибо, при взаимной помощи, сильно приумножили капиталы свои.

Пятнадцать лет спустя после начала ростовщической деятельности в руках Морденки появилось несколько значительных векселей князя Шадурского. Долгие годы слишком роскошной жизни понизили кредит князя Дмитрия Платоновича. Многие заимодавцы его с некоторого времени стали весьма придумываться в возможности получения с него всей суммы сполна со следуемыми процентами. Морденко, не перестававший исподволь наблюдать за ходом денежных дел и обстоя-

тельств своего ех-патрона, ловко воспользовался минутой раздумья этих заимодавцев и понемножку стал скупать у них, по выгодной для себя цене, векселя князя. Дмитрий Платонович, узнав об этом, очень обеспокоился и послал к Морденке своего поверенного — проведать, с какою целью делается им эта скупка и что он намерен предпринять. Морденко, во всяком случае ожидавший со стороны князя подобных вопросов, принял на себя умильно-огорченный вид и с чувством видимого чистосердечия просил передать своему «благодетелю», что он не забыл, сколь много был взыскан, во время оно, княжескими милостями, благодаря которым имеет теперь некоторый капиталец; но что в жизни его было «некоторое обстоятельство», вследствие которого он сознает, что бесконечно виноват перед своим благодетелем и, чувствуя угрызения совести и искреннее раскаяние, желает хоть сколько-нибудь загладить свою прошлую вину.

— Скажите его сиятельству, пусть они не изволят беспокоиться, — говорил он поверенному. — Я взысканиями своими тревожить их

не стану, а скупил бумажки эти по той собственно причине, как проведал я, что недоброжелатели их сиятельства хотели было потеснить моего благодетеля, — так пускай же лучше находятся бумажки эти в моих руках, чем причинят огорчение князю. Я с ними делать ничего не хочу.

Прошло более двух лет. Морденко, действительно, ничего не предпринимал против князя: он был спокоен, потому что векселя перед отходом в его руки уже протестовались прежними заимодавцами, стало быть, для него имелось впереди еще десять лет полного спокойствия. Не тревожился также и Шадурский, увидевший из двухлетнего бездействия своего бывшего управляющего подтверждение слов, сказанных им поверенному.

VIII

ИВАН ВЕРЕСОВ

Доводилось ли вам когда-нибудь наблюдать характеры людей, с детства потерявших отца и мать, выросших на чужих руках, в чужих людях, лишенных материнской ласки, заботы и влияния? В таких характерах, соответственно личному темпераменту, господствуют две резкие противоположности.

Сангвиник как-то спартански закаляется в этой суровой житейской школе. В нем развиваются сильный, стойкий, энергический характер, железная, непреклонная воля. К людям у него какое-то инстинктивное недоверие, иногда и некоторая мизантропия даже; он ни в чем на них не полагается, потому что верит только в себя и в свои силы. Он не согнется ни пред какой грозой, и без протекций, без поддержки пробивает себе дорогу в жизни своим умом, своими боками. Такие люди — по преимуществу вечные борцы нашей жизни; им ничто не дается даром: каждый шаг, каждый глоток свободного воздуха

они должны отстаивать и брать себе с бою, должны завоевывать себе право жить. Из них, при счастливом направлении, часто выходят государственные мужи, полководцы, законодатели; ими же, при направлении неблагоприятном, укомплектовываются сибирские рудники и каторжные арестантские роты.

Лимфатик представляет явление совершенно противоположное. Мне сдается, что именно про него-то и была сложена пословица: «На бедного Макара все шишки валятся». Это — человек приниженный, робкий, забитый, никогда не смеющий гордо поднять свою голову, смело возвысить свой голос. Его удел — вечно терпеть, вечно томиться своим одиночеством и пассивно выносить суровые тычки людей и житейских обстоятельств. Все, что может выйти из него для жизни, — это честный труженик, который тихо и незаметно сойдет в могилу среди своих кропотливых и часто неблагодарных занятий. В нем, точно так же как и в первом, с младенчества засело недоверие к людям, даже боязнь людей, но сердце его всегда остается мягким, добрым, сострадательным. Первый для дости-

жения своей цели не задумается свалить десятки, сотни людей, чем-либо замедляющих его ход. Второй — даже мухи никогда не обидит. Он никогда и ни с чем не борется, как баран на заклание, подставляет свою безответную голову; протест его слаб, сокрыт в глубине его души и разве тем только иногда проявляется, что бедняга либо запьет себе мертвую, либо руки на себя наложит, но... никогда никому не выскажется. Сердце его часто полно любовью, хочется кому-нибудь протянуть свои братские объятия, и случается, что во всю его неприглядную жизнь никто не откликнется на эту любовь — так весь век и пройдет в тщетных исканиях. Это наши тихие, смирные обыденные люди, разыгрывающие в жизни плачевную роль библейского козла отпущения.

К этой последней категории принадлежит сын Морденки и княгини Шадурской — Иван Вересов.

Вскормлен он был у майора Спицы на соске да на коровьем молоке и, как известно уже читателю, с самой минуты своего рождения на свет лишен материнской ласки и заботы. У

майора имелись свои собственные дети, так что майорше и со своими-то пострелятами по горло было возни, а маленькому приемышу, по обыкновению, доставались первая колодушка и последний кусок. Ходил он, кое-чем прикрытый от влияния стихий, вечно в обносках: старая рубашонка и старые башмачонки его сверстников для него сходили за новые, да и за то еще воспитательскую руку в благодарность целовать заставляли. Бывало, майорские пострелята на шумят, на шалют, разобьют что-нибудь — а первому все же Ваньке достается. Когда же подросли все они настолько, что мало-мальски смыслить стали, так и сами начали то щипком, то тычком ублажать своего сотоварища. Ребенок вечно чувствовал свое одиночество и с этих уже пор приучался видеть людскую неправду.

От отца тоже не видал ласки, потому — если тот и придет к майору проведать своего сынишку и внести следуемую за воспитание сумму, так первым вопросом у него было: «Не шалит ли, постреленок? а буде шалить, так драть его, каналью, розгачами да дыхание слушать: жив — дери его снова!» Во всем этом

было очень мало утешительного — недоставало родной души, привязаться сердцем не к кому.

Раз как-то вздумал он приласкаться к отцу — тот поглядел с суровым удивлением: черты ребенка живо напоминали черты матери, — Морденку зло разобрало.

— Это что за нежности! С чего это? притворяться, поди-ка, вздумал? Врешь, меня не надуешь! Садись-ка лучше за букварь! — проворчал он — и ребенок с этой минуты боялся уже подходить к нему.

Другой раз, возвращаясь домой, застал он его на дворе в слезах: остальные ребяташки дразнили своего сотоварища.

— Чего нюни распустил? — остановился Морденко.

Мальчик отнекивался.

— Ну, отвечай, не скрывайся!

Оказалось, что они его побили.

— А! побили? А ты не дерись, веди себя скромненько, не задирничай! Вот пойдем-ка к Петру Кузьмичу, пускай он тебя взъерепенит по-военному, для острастки, да и своих пострелят тоже, чтоб не дрались!

Но пострелятам ничего не досталось, а Ванюшку по уходе родителя точно взъерепенили на все четыре корки, потому — жаловаться не смей.

Другого бы все это ожесточало, а забитого Вересова только пуще запугивало да, как улитку, заставляло еще сильнее замыкаться в свою тесную раковинку.

Очень рано, между прочим, стал занимать его вопрос: почему это у других детей есть матери, а у него нет? отчего это нет? где она находится? зачем про нее никто никогда не упоминает? Однажды как-то он решился спросить об этом отца, в одну из редких минут его ласковости.

Отец тотчас же нахмурился и отвечал:

— У тебя не было матери.

— Как же это не было?.. У других есть ведь.

— То — другие, а то — ты!.. У тебя не было, и молчи, значит.

— Она умерла? — решился мальчик еще на один вопрос.

Морденко задумался, помолчал с минуту и отрывисто ответил:

— Умерла.

— Как же она умерла?.. отчего умерла?

— Молчать! — закричал он, стукнув кулаком по столу так, что мальчик, весь дрожа, в испуге отскочил от него на несколько шагов — и с тех пор расспросы о матери более уже не возобновлялись.

Однажды старик пришел к майору в особенно приятном расположении духа.

— Ну, Ваня, поди сюда! — обратился он к сыну. — Тебе теперь пошел десятый год, грамоте ты знаешь, каракули тоже строчишь кой-как — пора, брат, в науку. Отец вот за тебя ходи тут да клянчай, да кланяйся у начальства в прихожих, чтобы сынка на казенный счет приняли, а сынок, пожалуй, и не чувствует... А все зачем? — чтоб из тебя человек вышел, а не болваном бы вырос. Учись же, каналья, а станешь лениться — три шкуры спущу, заморю под лозанами!.. Ступай одевайся!

И, наградив сына родительским благословением, он тотчас же отвел его «в казну», где и сдал на попечение дежурного чиновника.

Этою «казною» было училище театральной дирекции.

Для Вересова началась новая эпоха, новая

жизнь, несколько лучшая в материальном отношении, но в сущности столько же неприглядная, как и прежде. Одели его в синюю курточку и повели пробовать голос; голосу не оказалось никакого, слуху тоже; вместо скрипичного *ut* Ваня издал звук, напоминавший скрип несмазанной двери; учитель выругался, класс откликнулся хохотом — и сконфуженного Ваню послали вон из учебной комнаты, с замечанием, что в хоры он совершенно негоден. Те же результаты были и в музыке и танцах. Наука батманов и всевозможных па оказалась решительно неприменимой к большому и вдобавок сильно застенчивому мальчику, который от нетерпеливых криков француза-учителя и смеха товарищей терялся уже окончательно, делаясь действительно смешным и жалким. Оставалась последняя надежда — на искусство драматическое. Спустя уже года четыре по вступлении в школу ему предстояло в первый раз выйти на подмостки домашнего школьного театра.

Готовил роль добросовестно, надеялся отличиться, и — провалился. Как вышел на сцену да увидел блестящие первые ряды, как

услышал в последних рядах сдержанное хихиканье товарищей — так до того оробел и потерялся, что, смешавшись на первом же слове, стал истуканом и уже не произнес больше ни одного звука. Занавес тотчас же было велено опустить, учителю сделан строгий выговор, а Вересов отправлен в карцер для исправления. Насмешки удесятились с этой злосчастной минуты и не прекращались до самого выпуска из заведения.

Это полное фиаско так подействовало на мальчика, что он заболел. Отец, дня через два придя в дирекцию узнать, каков был дебют, нашел сына в лазарете и страшно озлился.

— Ишь ты, барская кровь! неженка какой! — ворчал он стоя перед его постелью. — Болеть умеешь, а трудиться нет!

Вересов ничего не отвечал ему на эти укоры и лежал, с головой укутавшись в байку. Отец постоял, плюнул и ушел; а между тем в голове сына гвоздем засели его слова — «барская кровь». Вспомнил он, что в детстве еще Морденко под сердитую минуту презрительно обзывал его иногда «барчонком» — и в душе мальчика тревожно возник прежний во-

прос: кто же наконец была его мать, и отчего ему не говорят про нее? Почему фамилия отца — Морденко, а его — Вересов? И уж отец ли он ему?

Чем дальше вдумывался он во все эти вопросы, тем более терялся; по одним соображениям казалось, что Морденко точно его родной отец, даже некоторое фамильное сходство убеждало в этом; по другим — Вересов склонен был думать, что он не сын ему, что тут кроется какая-то тайна, загадка, которую тщетно силился он разгадать. Но ничего не узнал он ни до выхода, ни после выхода своего.

Выпустили его из школы, как неспособного, «на выход», то есть на бессловесные ампула народа и гостей, и назначили четырнадцать с полтиной в месяц жалованья. На эту сумму надлежало ему жить; нанимать комнату, кормиться и «прилично одеваться».

Отец ни одной копейкой не помог ему при выпуске и жить к себе тоже не принял, так что Вересов первое время должен был ходить ночевать все в ту же театральную школу. Старый скряга ограничился одним только роди-

тельским наставлением, что «ты, мол, теперь взрослый человек, получаешь казенное жалованье, стало быть, приучайся жить аккуратнее и не ропщи. Уж если старшие положили тебе такое жалованье, значит, и с ним жить можно: я, мол, в твои лета и того не имел. Ступай себе с богом, а от меня помощи не проси: я баловству не потворщик».

И стал себе Вересов с тех пор перебиваться из кулька в рогожу.

Был у него один только талант — рисовать и лепить, — и он отдался ему с жаром, не пропуская ни одного класса в рисовальной школе, а у себя дома почти все время проводил над куском глины или за картоном. В этом искусстве видел он для себя единственный честный кусок хлеба, единственный исход из своего грустного положения. А положение в самом деле было донельзя грустное. Чтобы хоть как-нибудь хватало денег дотянуть до конца месяца, расплатиться с лавочником и квартирной хозяйкой, он принужден был работать на уличных продавцов гипсовых статуэток. Но знаете ли вы, как ничтожно оплачивается этот труд? Есть в Петербурге несколько

антрепренеров, из немцев и из наших православных, которые ведут торговлю гипсовыми вещицами. Всякий из них имеет двух-трех несчастных, закабаленных художников, да кроме того держит еще нескольких ходебщиков, которые, шатаясь по городу, обязаны сбывать его товар покупателям. Каждая Венера или Нимфа, проданная за целковый, наверное была приобретена антрепренером за десять, много за пятнадцать копеек серебром. Мелкие же вещицы оплачиваются тремя, а иногда и одной копеей. Но, несмотря на столь скудную плату, места у антрепренеров постоянно заняты охочими работниками, так что приходится еще добиваться постоянных заказов, и к каждому антрепренеру обыкновенно похаживают два-три голодные бедняка, в ожидании милостивого позволения брать постоянную помесичную работу, которая, в общей сложности, приносит труженику пять-шесть рублишек в месяц. Из-за этих-то вот пяти-шести рублишек и бился Иван Вересов.

В последнее время ему особенно круто пришлось. Жалованье в дирекции забрано

вперед; антрепренер требует вылепки каких-нибудь новых фигурок, потому что старые Венеры да Купидоны уже надоели; буде не выдумает новых, то совсем перестанет пользоваться заказами. Хозяйка тоже требует за квартиру, не топит печку и грозит выгнать, если не принесет хоть сколько-нибудь деньжишек. Вересов уже вторые сутки не обедал; его начинала бить лихорадка. Боязнь заболеть и через то окончательно лишиться заказов у антрепренера побудила его обратиться к одному товарищу по рисовальной школе. Товарищ, на беду, сам сидел без гроша, но, к счастью, пользовался обедом в кредит. Вересов, утолив кое-как свой двухсуточный голод, нашел у товарища целый портфель фотографических снимков с замечательнейших статуй европейских музеев. Издание было изящное и стоило порядочных денег, а к товарищу попало по случаю очень дешево. Разглядывая фотографии, Вересов схватился за возможность вылепить по ним новые группы, и, вместе с этою счастливою мыслью, представилась ему перспектива получения денег и новых заказов от антрепренера. Он выпросил

себе у товарища на время, для работы, его дорогое издание и, уже совсем почти успокоенный, пошел было к себе домой, как вдруг вспомнил угрозу хозяйки выгнать его с квартиры и повернулся в обратную сторону.

«Без денег нечего и думать возвращаться. А хорошо бы теперь прямо засесть за работу — да как работать в холодной комнате и без свечи?» Размышляя таким образом, пошел к своему антрепренеру — но не застал его дома; значит, и эта надежда лопнула. Оставалось последнее и уже самое крайнее средство — попросить у отца.

Вересов долго не решался; но ведь не бродить же целую ночь по улицам в одном холодном пальтишке, и — нечего делать — он направился к Средней Мещанской.

Встреча его с Морденкой у ворот грязно-желтого дома уже известна читателю.

IX

ЧАЮЩИЕ ДВИЖЕНИЯ ВОДЫ

Едва успел старик налить себе стакан настою из целебных, пользительных трав, как в прихожей раздался стук в наружную дверь.

— Алчущие и жаждущие, — заметил он не без довольной улыбки.

Вошла бедно одетая женщина с лицом, истощенным заботою и нуждою.

— Чем могу служить? — произнес Морденко свою обычную в этих случаях фразу.

— Пришла вещь свою выкупить.

Лицо ростовщика приняло угрюмый оттенок: он очень не жаловал выкупов.

— Фамилия? — отрывисто спросил Морденко.

— Иванова.

— Что заложено?

— Кольцо обручальное.

— Это, матушка, не ответ. Мне надо знать, какое: золотое или серебряное? У меня ведь не одна ваша вещь хранится, — внушительно

выговаривал он.

— Золотое, — сообщила женщина.

— Когда было заложено?

— Месяц назад.

— Ровно месяц?.. Стало быть, сегодня срок... Хорошо, поглядим, поищем, — говорил он, вынув из ящика большую конторскую книгу и отыскивая в ней нужную ему запись; женщина с спокойным равнодушием следила за его указательным пальцем.

— Что ж вы, матушка, понапрасну меня беспокоите? — с неудовольствием поднял он на нее свои свиные очки.

Женщина чутко встрепенулась.

— Срок вашему закладу давно уже прошел, а вы требуете, сами не зная чего!

— Как прошел?! да ведь ровно же месяц?! — тревожно изумилась та.

— Гм... месяц... Извольте взглянуть! — Он подал ей другую книгу, по величине и виду совершенно равную первой. — Это ваша расписка? ваша рука?

— Моя... Что ж из этого?

— Месяц истек вчера... прошли уже целые сутки... Стало быть, вы изволили просрочить

и, по закону, лишаетесь своей вещи! — С этими словами он запер книги в свой ящик и сухо поклонился выкупщице.

— Господи!.. Да неужели же вы за такую малость захотите отнять у меня вещь? — тихо проговорила она.

— Я не виноват, сударыня, я не виноват... Сами на себя пеняйте — зачем просрочили... Я люблю аккуратность и точность; двух минут против срока не потерплю; а делай-ка я поблажки, так самому с рукой ходить придется... Не могу, матушка, извините!

— Так неужели ж ему пропадать за два целковых?

Морденко пожал плечами.

— Я вам сделал одолжение, — возразил он, — я вам оказал доверие, а вы доверия моего не оправдали... сами просрочили, да сами на меня и плачетесь. Это, матушка, нехорошо-с! Эдак я от вас в другой раз, пожалуй, и не приму закладу.

— Да уж мне и закладывать больше нечего — последнее снесла, — проговорила женщина с глубоким вздохом и какою-то подавленной, горькой иронией.

— Это уж ваше дело, матушка, ваше дело; вам уж про то и ведать.

— Да ведь это — обручальное... это ведь навек человеку! — приступила она к нему с мольбою.

— Для меня это все единственно, матушка, все единственно, — возражал Морденко. — Я уж тут ничего больше не могу для вас сделать и прошу вас — оставьте меня, пожалуйста!.. Я человек хворый, а вы меня раздражаете... Уйдите лучше, матушка, уйдите!..

Женщина с минуту еще молча стояла на своем месте. По щекам ее катились обильные крупные слезы; она тихо повернулась и тихо ушла из квартиры Морденки.

Вся эта сцена произвела на Вересова томительно-тяжелое впечатление. Сердце его болезненно сжалось и щемило. Он на себе самом чувствовал печальное положение ушедшей женщины.

— Вот и делай людям добро! вот и одолжай их! — расхаживал Морденко по комнате. — Сами же нечестно с тобою поступят, а потом мытарем да лихоимцем, процентщиком обзывают!.. Мытарь... А мытарь-то господу богу

утоден был — вот оно что!..

Не успел он еще кончить своего монолога, как в прихожей раздался стук в двери.

— Эх их нелегкая там разносила!.. Что ни говорят, а все к мытарю... все к мытарю ползут!.. Ох, люди, люди — фарисеи вы!..

В комнату робко вошел мужчина и, отнеся почтительный поклон, остановился у дверей. Морденко, взглядываясь, поднял на него свой фонарь — и луч света упал на рыжую физиономию пришедшего, осветив особенно его глаза, которые как-то озабоченно бегали в разные стороны, словно бы искали чего. Наружность нового гостя и преимущественно его странные глаза показались старику подозрительными.

— Что надо? — весьма нелюбезно возвысил он голос, запахивая на груди порыжелую мантилью.

— К вашей милости, — несмело и тихо заговорил рыжий, что — на опытный глаз — не совсем-то согласовалось с его внушительной фигурой. — Явите божеское одолжение, не дайте помереть с голоду...

— Я, брат, подаяний не творю: не из чего.

Ступай себе с богом — бог подаст! — перебил Морденко, замахав рукою.

— Я не за подаянием, — поспешил объяснить пришедший, — я собственно по той причине, что не откажите принять в заклад... вещь принес... с себя заложить хочу.

— Какая-токая вещь там? — приподнялся Морденко, опершись об стол кулаками. Пришедший скинул свое кургузое пальто и стал расстегивать жилетку.

— Вот ее самую заложить хочу.

— Жилетку-то?.. Нет, брат, не принимаю! — решительно отказался Морденко.

— Что ж так, ваша милость? За что эдакая напасть на бедного человека? — взмолился рыжий. — Ведь вы же платье всякое берете. За что же-с мне-то отказ?

— Не то что платье, милый человек, а и пуговицу медную, гвоздик железный приму, — внушительно пояснил ему старик, — принеси ты мне костяшку от порток — и на ту отказу не будет: положенную цену дам, потому и пуговка и костяшка в своих деньгах ходит; а ты не в пору пришел — я не в пору не приму! Вот тебе и сказ!

— Будьте благодетелем! Ребятишки малые не емши сидят! Не откажите! — жалобно умолял рыжий со слезами в голосе.

— Чего тут, друг любезный, «не откажите!» — уж отказал; стало быть, и просить нечего! Ступай себе с богом! — порешил Морденко, — и рыжий удалился.

По уходе его старик еще тревожнее зашлепал своими туфлями из угла в угол; физиономия просителя шибко казалась ему подозрительною, недоброю, так что он только ради этого обстоятельства и отказал его просьбе; а с другой стороны известная уже скаредность и жадность напевали другую песню: «Эх, брат, напрасно отказал!.. жилетка все ж таки вещь; за нее дашь грош, а возьмешь гривну!» И вследствие всех этих соображений старик был теперь недоволен и жизнью, и людьми, и собою.

Вересову стало больно и тяжело оставаться с ним дольше. После двух виденных им сцен он решился уже не заикаться старику ни о своей нужде, ни о своей просьбе. «Будь что будет; пойду и так к хозяйке!», — решил он и минуту спустя по уходе рыжего распростился

с Морденкой.

Спускаясь по темной лестнице, он наткнулся в самом низу на какое-то живое существо и, взгляды несколько пристальнее, различил, что кто-то сидит на нижней ступеньке, подперев руками свою голову. По голосу, которым этот кто-то отозвался на оклик, Вересов узнал в нем рыжего.

— Что вы здесь делаете? Зачем вы сидите здесь? — с участием спросил его молодой человек.

— Да идти некуда, — ответил рыжий голосом, полным отчаянного горя. — Домой не пойду... неохота глядеть, как дети помирать станут...

Вересову как-то стыдно стало в эту минуту, что он сын Морденки: он жалел и презирал его в одно и то же время.

— Спасите, выручите меня! — обратился к нему рыжий. — Ведь вы сынок ихний, вас они послушают... мне хоть сколько-нибудь бы денег... Ей-богу, в канаву, в прорубь ки- нусь!..

— Пойдемте! — решительно сказал ему Вересов, в минуту обдумавший что-то. — Пой-

демте... Мне самому дозарезу нужны деньги, авось успеем, тогда поделимся с вами.

Морденко сильно озадачился и даже струсил от этого неожиданного возвращения сына вместе с подозрительным рыжим.

— Папенька, дайте ему денег под жилетку, — начал Вересов в сильном волнении. — Побойтесь бога: у человека дети помирают!.. Если вам мало жилетки, так вот — альбом с фотографиями! он стоит рублей пятьдесят... Примите его в залог и дайте нам сколько-нибудь... я сам теперь в страшной крайности — на квартиру показаться не смею.

Старик молча развернул альбом, пересмотрел на свет жилетку и подал сыну записную книгу, проговорив:

— Для порядку пиши расписку: «Мы, нижеподписавшиеся», и далее...

Выйдя в другую комнату, он стал оттуда диктовать продолжение. Возврат сына и его слова до того поразили старика, что он не нашел причины к отказу, да притом и заклады оказались хорошими, особенно альбом фотографий, так что Морденко спешил только поскорее разделаться со своими посетителями и

потому, без дальних разговоров, отправился в смежную горницу — доставать деньги.

Пока молодой человек сидел, погруженный в писание расписки, рыжий напрягал все свое зрение, чтобы следить за стариком, который, продолжая диктовать, чиркнул спичку и зажег огарок. Смежная комната осветилась. Рыжий переместился на такой пункт, с которого ему удобнее было обозревать комнату и следить за движениями старика. Сквозь притворенную дверь он заметил два болта, замки и печати на дверях, ведущих в заднюю горницу, и видел, как Морденко снял с себя толстый кожаный пояс, носимый им на теле под сорочкой, и стал рыться в этом потайном чемоданчике. По известному всем шелесту рыжий догадался, что в чемоданчике мирно покоились ассигнации.

— За жилетку полтинник, да за альбом два рубля, итого три рубля; а расписку пиши в три рубля тридцать, — сказал Морденко, войдя через минуту в комнату с зелененькой бумажкой в руках.

Сначала расписался Вересов, а за ним приложил свою руку и рыжий.

«Виленский мещанин Осип Гречка», — гла-
сила подпись рыжего.

— Выкупать будете вместе, что ли? — спро-
сил Морденко, отдавая деньги.

— Я выкуплю все, — вызвался Вересов, — а
жилетку вы им потом возвратите.

Через минуту дворник выпустил их в ка-
литку и видел, как они вместе спустились в
мелочную лавочку, помещавшуюся в том же
самом доме, толкуя о том, что надо разменять
деньги и разделиться поровну.

В лавочке спросили они себе по фунту сит-
ника с колбасой, тут же на месте и закусили
им, и, поделив между собою сдачу, очень дру-
желюбно простились друг с другом.

Х

ГОЛОВУ НА РУКОМОЙНИК

— Сев, вею, руки грею, чисто брею — не потею! — с припляской, потирая ладони, ворвался Гречка в заднюю комнату Сухаревки, где вчерашний день происходило секретное совещание с патриархом Провом Викулычем во время ланкестерского обучения звонков.

— Что звякало-то разнuzдал?[203] Чему обрадовался? — степенно покачал головой владыка. — «Помни день субботний», сказано!

— Ну, уж ты, ваше степенство, проповеди-то отложи до завтрава; ноне клей[204] есть! Я про дело повестить пришел, — возразил ему Гречка, подавая руку Зеленькову и Фомушке, который в этой уединенной комнате, вместе с советчиком-патриархом, поджидали его прихода.

— От двурушника, что ли? — обратился к нему блаженный.

— Оттоль-таки прямо и прихрял[205]! Все как есть, по совету его степенства, исполнил:

дети, мол, помирают, примите жилетку взаклад! — рапортовал Гречка.

— Стало быть, по патриаршему изволению и благо ти есть! — заметил Фомушка.

— Прижался в сенях, смотрю — женщина какая-то идет... к нему, значит, прошла, а я себе жду, — продолжал рыжий. — Глядь, через мало времени выходит все та же самая женщина. Сама идет, а сама плачет, ну вот навзрыд рыдает, просто сердцу невтерпеж... Ах ты псира[206], думаю, старая! при древности-то лет да народ эдак-то грабить! И столь мне это стало обидно, что, думаю себе, не будет же тебе, голубчику, спуску! и сейчас поднялся наверх.

Гречка стал сообщать компании свои дальнейшие действия и наблюдения, и компания вполне одобрила столь блистательно исполненную им миссию.

— Только вот что, братцы! Все бы оно было рахманно,[207] да в одном яман[208] выходит — загвоздка есть! — прицмокнул языком рассказчик. — Старик шишку-то[209] на себе ведь носит, поясом она у него сделана, при теле лежит. Как быть-то тут?

— Нелады, барин! — озабоченно отозвался блаженный. — Бабки, стало быть, финажками [210] так в ем и набиты? Умен, бестия: боится, чтоб не сворочили, при себе содержит... Нешто бы на шарап[211] взять? — предложил он после минутного раздумья.

— Не дело, сват, городишь, — заметил на это благоразумный Викулыч. — С шарапом недолго и облопаться да за буграми сгореть [212]. Лучше пообождать да попридержаться — по-тиху, по-сладку выследить зверя, а там — и пользуйся.

— А не лучше ль бы поживее? приткнуть [213] чем ни попало — и баста!.. У меня фомка востер!.. — похвалился Гречка.

— Лады! — согласился блаженный. — По крайности дело потише обойдется, и расправа короче.

При этих словах Иван Иванович Зеленков, догадавшийся, в чем заключается смысл последнего предложения Гречки, невольно вздрогнул и изменился в лице.

— Слаба! — прищурясь глазом, кивнул на него блаженный, сразу заметивший эту внезапную бледность. — Что ж, брате мой, это уж

не дело! По-нашему — взялся за гуж, не говори, что не дюж, товарищества не рушь и от дела не отступай.

— Правильно! — подтвердил Гречка. — Думали варганить так, а выходит эдак; стало быть, божья воля такая, чтоб быть тому делу, и как есть ты наш товарищ, так с обществом соглашайся.

— Да что тут долго толковать! — перебил блаженный. — Именем господним благослови, отче, хорошее дело вершать, — лиходеев вниз по матушке спущать! — отнесся он к Викулычу, подставляя как бы под благословение свою руку.

Пров медленно поднялся с места и отрицательно покачал головою.

— Нет, судари мои! — сказал он решительно. — На экое дело нет вам моего благословения: это уж уголовщиной называется — дело мокрое, смертоубийство есть.

— Да ведь мы все ему же как бы получше, поспособнее хотим, — оправдывался рыжий, — потому, ежели обокрасть его, все равно с тоски повесится, руку на себя наложит; без капиталу ему — ровно, что не жить.

— А мы ему же в облегчение, — поддакнул Фомушка, — от великого греха душу его стариковскую слободим, да еще мученический венец прияти сподобим; по крайности, кончина праведная.

— Уж быть тебе, кощуну эдакому, быть кончену Кирюшкиной кобыле[214], попомни мое слово! — постучал пальцем о край стола Викулыч. — И благодарности мне своей не несите: не надо мне, не хочу я с крови благодарность принимать; и не знаю я вас совсем, и про дело ваше не слышал, советов я вам не давал никаких — слышите?

— Это — как вашей милости угодно будет, мы и втроем повершим, а за вами уж будем благонадежны, не прозвоните, коли ничего не знаете — это верно! — сказал Гречка, запирая двери за ушедшим Викулычем.

— Как же вершать-то станем? Кто да кто? — совещался Фомушка, относясь к обоим сотоварищам.

— Я и один покончу, дело нетрудное, — вызвался Гречка. — Барахтаться, чай, не будет, потому — стар человек.

— Да ведь впервой, поди-ка?

— Что ж, что впервой? Когда ж нибудь привыкать-то надо! Авось граблюха[215] не дрогнет...

— Так надо бы поскорей, не по тяжелой почте, а со штафетой бы отправить.

— Чего тут проклажаться, — послезавтра утром раненько, часов эдак в шесть, и порешу.

— А чем полагаешь решить-то? — полюбопытствовал блаженный.

— На храпок. Взять его за горлец да дослать штуку под душец, чтобы он, значит, не кричал «к покрову!» Голову на рукомойник [216] — самое вольготное будет, — завершил Гречка, очень выразительно махнув себя поперек горла указательным пальцем.

ХІ ФИГА

Условились так, что Гречка один отправится на дело, покончит кухарку и старика, заберет все наличные деньги и все драгоценности, которые могут быть удобно запрятаны за голенища и в карманы; мехов же и тому подобного «крупного товару» забирать не станет, чтобы не возбудить в ком-либо разных подозрений, и с награбленным добром явится в Сухаревку, в известную уже непроходимую отдельную комнату, где его будут поджидать Фомушка с Зеленьковым и где, при замкнутых дверях, произойдет полюбовный дележ. Сговорившись таким образом, товарищи расстались.

Два человека уходили из Сухаревки в совершенно противоположном настроении духа и мысли.

«Коево черта я стану делиться? Из-за чего? — размышлял Гречка, направляясь в ночлежные Вяземского дома. — Один дело работать стану, один, пожалуй, миноги жрать, а с

ними делись!.. Нет, брат, дудки! Шалишь, кума, в Саксонии не бывала. С большим капиталом от судей праведных отделаемся, — как не отделаться нашему брату? иным же удастся; а ежели и нет, так по крайности знаешь, что за себя варганил, за себя и конфуз принимаешь... все же так обидно... Коли клево сойдет — латы зададим: ты прощай, значит, прекрасная мать Рассея. Морген-фри, нос утри! А вы, ребята теплые, сидите в Сухаревке — дожидайтесь! — так вот сейчас я к вам взял да и пришел! Как же!» — и Гречка, махнув рукою, очень выразительно свистнул.

А Иван Иванович сильно волновался и беспокоился. Убить человека — не то, что обокрасть... Стало быть, очень опасное дело, если сам патриарх возмутился и от благодарности даже отказался... А кнут? А Сибирь? Ивана Ивановича колотила нервная дрожь: в каждом проходящем сзади его человеке он подзревал погоню; думалось ему, что их подслушали и теперь догоняют, схватывают, тащат в тюрьму, — и он ускорял шаги, торопясь поскорее убраться от мест, близких к Сенной площади, стараясь незаметнее затереться в

уличной толпе, а сам поминутно все оглядывался, ежился и вздрагивал каждый раз, когда опережавший прохожий невзначай задевал его рукавом или локтем. Для бодрости он зашел в кабачок и порядочно выпил; но бодрость к нему не возвращалась. В страшнейшей агитации, словно бы преступление уже было совершено, закутался он с головой в одеяло и чутко прислушивался к каждому звуку на дворе, к случайному шлепанью чьих-то шагов, к стуку соседних дверей — и все ждал, что его сейчас арестуют. Охотно соглашаясь принять пассивное участие в воровстве, он ужасался мысли об убийстве.

Замечателен факт, что многие мошенники, считая простое воровство ровно ни во что, признавая его либо средством к пропитанию, либо похваляясь им как удачью, с отвращением говорят об убийстве и убийцах — «потому тут кровь: она вопиет, и в душе человеческой один токмо бог волен и повинен». Такое настроение мыслей, сколько мне удавалось заметить, господствует по большей части у мошенников, не успевших еще побывать в тюрьме, ибо мошенник до тюрьмы и тот же

мошенник после тюрьмы — два совершенно различные человека, и для этого последнего убийство уже является делом очень простым и обыкновенным, как факт удали или кратчайший путь к поживе. Так цивилизует мошенника наша тюрьма. И в этом нет ровно ничего мудреного, потому что тут уже человек приходит в непосредственное и постоянное соприкосновение с самыми закоренелыми злодеями. Впрочем, об этом предмете и подробнее и нагляднее читатель узнает впоследствии.

Наконец Иван Иванович заснул. Но и во сне ему не легче было. Все эти брючки и фрачки, все эти пальто с искрой, о которых он столь сладостно мечтал, представлялись ему забрызганными кровью. «Вот это на фрачке — Морденкина кровь, а на жилетке — кухаркина, а это ваша собственная, Иван Иванович господин Зеленьков», — говорит ему квартальный надзиратель. И видит Иван Иванович, что везут его, раба божьего, на колеснице высокой, со почетом великим, — к Смольному затылком; Кирюшка в красной кумачовой рубахе низкий поклон ему отдает:

«Пожалуй, мол, Иван Иванович господин Зеленков, к нам за эшафот, на нашей кобылке поездить, наших миног покушать, да не позволите ли нам ваше тело-бело порушить?» И трясет Ивана Ивановича злая лихоманка, чувствует он, как ему руки-ноги да шею под загривком крепкими ремнями перетягивают, как его палачи кренделем перегнули, да тонку-белую сорочку пополам разодрали... И редко-редко, размеренно стучает сердчишко Ивана Ивановича, словно помирать собирается... Вынул Кирюшка из мешка красное кнутовище, и слышит Иван Иванович, как зловеще посвистывает что-то на воздухе: это, значит, Кирюшка плетью играет, руку свою разминает, изловчается да пробует, фористо ли пробирать будет. А сердчишко Ивана Ивановича все тише да реже ёкает. Ничего-то глазами своими не видит он, только слышит, что молодецки разошелся по эшафоту собачий сын Кирюшка и зычным голосом кричит ему: «Бер-регись! Ожгу!» — сердце Ивана Ивановича перестало биться, замерло — словно бы висело оно там, внутри, на одной тонкой ниточке, и эта ниточка вдруг порвалась...

Он проснулся в ужасе, весь в холодном поту.

— Господи! спаси и помилуй всяку душу живую! — крестясь, прошептал он трепещущими губами. — Нет, баста! будет уж такую муку мученскую терпеть!

Глянул Иван Иванович в окошко — на дворе еле-еле свет начинает брезжитья... На какой-то колокольне часы пробили шесть. «Ровно через сутки покончат его, сердечного... человека зарежут», — подумал он и при этой мысли снова задрожал всем телом.

Иван Иванович скорехонько вскочил с постели, оделся и, трижды перекрестясь, вышел со двора.

Теперь уж он знал, как ему быть и что надо делать.

* * *

Бывали ли вы когда-нибудь рано утром в конторе квартального надзирателя? Помещается она по большей части в надворных флигелях, подыматься в нее надобно по черной лестнице — а уж известно, что такое у нас в Петербурге эти черные лестницы! Входите вы в темную прихожую, меблированную одним

только кривым табуретом либо скамьей да длинным крашеным ларем, на котором в бесцеремонной позе дремлет вестовой, какой-нибудь Максим Черных или Хома Перерепенко; во время же бдения этого Черныха или Перерепенку можно застать обыкновенно либо за крошкой махорки, либо за портняженьем над старыми заплатами к старому мундиру. Следующая комната уже называется конторой. За двумя или тремя покрытыми клеенкой столами сидят в потертых сюртуках, а иногда во фраках, три-четыре «чиновника». Подбородки небритые, голоса хриплые, физиономии помятые — надо полагать, с перепоею да с недосыпу, и украшены эти физиономии по большей части усами, в знак партикулярности, ибо владельцы этих усов занимаются здесь письмоводством «приватно», то есть по найму. Двое из небритых субъектов занимаются за паспортным столом, заваленным отметками, контрамарками, плакатами и медяками. Один субъект с серьезно нахмуренной физиономией (опохмелиться хочется!) очевидно напускает на себя важности, ибо он «прописывает пачпорта» и под ко-

мандой у него состоит целая когорта дворников в шерстяных полосатых фуфайках, с рассыльными книгами в руках. Другой субъект — физиономия меланхолическая — занимается копченьем казенной печати над салым огарком; он, очевидно, под началом у первого, который небрежно и молча, с начальственно-недовольным видом швыряет ему бумагу за бумагой для прикладки полицейских печатей. Другой стол ведет «входящие и исходящие»; за третьим помещается красноносый письмоводитель, постоянно почему-то одержимый флюсом и потому подвязанный белым платком; он один по преимуществу имеет право входа в кабинет самого квартального надзирателя. Обстановка этого кабинета обыкновенно полуофициальная, полусемейная: старые стенные часы в длинном футляре, план города С.-Петербурга, на первой стене — портрет царствующей особы; наконец, посредине комнаты — письменный стол с изящною чернильницей (контора довольствуется оловянными или просто баночками); на столе — «Свод полицейских постановлений» довершает обстановку официальную.

Обстановка неофициальная заключается в мягком диване и мягких креслах, в каком-нибудь простеночном зеркале, у которого на столике стоит под стеклянным колпаком какой-нибудь солдатик из папье-маше, с ружьем на караул, да в литографированном портрете той особы, которая временно находится во главе городской администрации. Этот портрет имеет целью свидетельствовать о добрых чувствах подчиненности квартального надзирателя, и потому с переменой особ переменяются и портреты.

Немного ранее восьми часов утра в прихожую конторы начинают набиваться разные народы. Хома Перерепенко так уж и не подметает полов — «потому, нехай им бис! все едино загыдят!» Вот привалила целая артель мужиков разбираться с маслянистым, плотным подрядчиком и в ожидании этой разборки целые два часа неумоимо переругивается и считается с ним. Вот два плюгавых полицейских солдата привели «честную компанию» всякого пола и возраста, звания и состояния: тут и нищие, забранные на улице, и пьяницы-пропойцы, подобранные на панели, и «бу-

яны» со скрученными назад руками, и мазурики, несколько деликатнее связанные попарно «шелковым шнурочком» повыше локтя. Тут и немецкий мастер Шмидт с своим подмастерьем Слезкиным: Шмидт, как некую святыню, держит в руках клок собственных волос — доказательство его побоища с «русски свин» Слезкиным, а «русски свин» всей пятерней старается побольше размазать рожу свою кровью — «чтоб оно супротив немца чувствительнее было». Тут же зачем-то появилось и некое погибшее, но скверное создание в раздувном кринолине; и мещанка Перемыкина поближе к дверям конторы протискивается, всхлипывая нарочно погромче, все для того же, чтобы до сердца начальство пронять, потому — пришла она просить и «жалиться» на своего благоверного, что нисколько он ее, тигра эдакая, не почитает, а только все пьянствует, и — эва каких фонарев под глазами настроил, индо раздушил да расплющил всю, и потому надо, чтобы начальство наше милостивое в части отпороло его, пса эково!.. При этом она всем и каждому очень пространно повествует о своем горе несооб-

разном. Один за другим появляются красивые городовые в касках и молодежато проходят «с рапортициями» в самую контору. Тут же, наконец, присутствует и Иван Иванович Зеленков, забравшийся сюда с самого раннего утра, к сильному неудовольствию заспанного Перерепенки. Иван Иванович, с выражением гнетущей мысли в лице, нетерпеливо и озабоченно похаживает от угла до угла передней. Он просил, умаливал и давал четвертак на чай Перерепенке, чтобы тот разбудил надзирателя «по самоэкстренному делу», но Хома Перерепенко оставался стоически непреклонен, потому — «их благородье почиваты зволят, бо поздно поляглы, и нэма у свити ни якого такого дила, щобы треба було взбудыты ихню мылость». Так Иван Иванович ничего с ним и не поделал; но Гермес надзирательской прихожей, умиловленный зеленковским четвертаком, особо доложил об Иване Ивановиче «их благородию», когда «оно зволыло проснуться».

Надзиратель — лет пятидесяти, плотный и полный мужчина высокого роста, с густыми черными бровями и сивыми волосами, кото-

рые у него были острижены под гребенку, с осанкой выпускного сокола, — восседал в большом кресле за своим письменным столом. На нем были надеты персидский халат и бухарские сапоги. Пар от пуншевого стакана и дым Жукова, выпускаемый из длинного черешневого чубука, наполняли комнату особенным благоуханием. Надзиратель имел очень умный, пристальный и пронизательный взгляд, носил бакенбарды по моде двадцатых годов, т.е. колбасиками, кончавшими протяжение свое неподалеку от носа, говорил густым басом, по утрам очень много, очень долго и хрипло откашливался и поминутно отплеывался.

С известной уже и столь идущей к нему осанкой встретил он робко вошедшего в кабинет Зеленькова.

— Ты зачем? — бархатно прозвучал его густейший бас.

— По самоэкстренному делу, ваше скородие... секрет-с... Прикажете припереть двери-с...

— А ты не пьян?

— Помилуйте-с... могу ли предстать не со-

ответственно...

— То-то, брат! Пьянство есть мать всех пороков!.. Притвори двери да сказывай скорей, какое там у тебя дело.

— Большое-с дело, ваше скородие... С одного слова и не скажешь: очинно уж оно экстренное.

— Да ты не чертомель, а говори толком, не то в кутузку велю упрятать!

— Вся ваша воля есть надо мной... Злоумышление открыть вашей милости явился...

— А... стало быть, опять в сыщики по-старому хочешь? в фигарисы каплюжные?

— Что ж, это самое разлюбезное для меня дело! — ободрился Зеленьков. — Однажды уж мы своей персоной послужили вашему скородию в розыскной части, и преотменно-с, так что и по сей момент никто из воров не догадался — право.

— А ведь ты, брат, сам тоже мошенник?

— Мошенники-с, — ухмыльнулся, заигрывая, Зеленьков.

— И большой руки мошенник?

— Никак нет-с, ваше скородие, шутить изволите: мы в крупную не ходим, а больше все

по мелочи размениваемся; с мошенниками — точно что мошенник, а с благородными — благородный человек... Я — хороший человек, ваше скородие: за меня вельможи подписку дадут, — прибавил Зеленьков, окончательно уже ободрившись и вступив в свою всегдашнюю колею.

— Да ты кто такой сам по себе-то? — шутил надзиратель, смерть любивший, как выражался он, «балагурить с подлым народом».

— Я-то-с?.. Я — природный лакей: я тычками взращен! — с гордостью и сознанием собственного достоинства ответил Иван Иванович.

— Дело!.. Ну, так сказывай, какое злоумышление у тебя?

Иван Иванович многозначительно ухмыльнулся, крикнул, провел рукой по волосам и начал вполне таинственным тоном:

— Бымши приглашен я известными мне людьми к убийству человека-с, и мне блеснула эта мысль, чтобы разведать и донести вашему скородию...

— И ты не брешешь, песий сын?

— Зачем брехать-с?.. Я — человек махонь-

кий: мне только руки назад — вот я и готов. А убийство, извольте ли видеть, сочиняется над Морденкой, — еще таинственнее прибавил Зеленьков, — извольте знать-с?..

— Знаю... Губа-то у вас не дура — разумеете тоже, где раки зимуют...

— Это точно-с, потому — какой же уж это и мошенник, у которого губа-дура, так что и рака от таракана не отличить!

— А уж будто бы, в душе, так и отказался? Кушик-то ведь, брат, недурен? Поди, чай, просто-напросто струсил? а?

Зеленьков вздрогнул и на минуту смешался. Сокол смотрел на него в упор и затрогивал самые сокровенные, действительные мотивы его души.

— Ну вот, так и есть! По глазам уж вижу, что из трусости фиггой[217] стал! — и надзиратель, в свою очередь заигрывая с Зеленьковым, с усмешкой погрозил пальцем.

Иван Иванович опять ободрился.

— Помилосердствуйте-с, ваше скородие, — отбояривался он, — кабы это еще обворовать — ну, совсем другое дело, оно куда бы ни шло... а то — убийство — как можно!.. дели-

катность не позволяет... Ни разу со мной такого конфузу не случилось, и при всем-с том за такой проступок Страшному ведь суду подвергаешься.

— Так, господин философ, так!.. Ну, так скажи, фи́га, как и чем его приткнуть намереваетесь — верно, насчет убоины да свежанины? а?

— Так точно-с, ваше скородие, пронизательно угадать изволили! Так точно-с, потому, значит, голову на рукомо́йник, — ухмылялся господин Зеленков, гнусенько подлещаясь к выпускному соколу. — Да позвольте, уж я лучше расскажу вам все, как есть, по порядку, — предложил он, — только вы, ваше скородие, одолжите мне на полштоф, и как я, значит, надрызгаюсь дотоле, что в градус войду, так вы явите уж такую божескую милость, прикажите сержантам немедленно подобрать меня на прищепте и сволочить в часть, в сибирку, за буйство, примерно, и безобразие, потому, значит, чтобы пригласители мои на меня никакого подозрения не держали, а то — в супротивном случае — живота решат; как пить дадут — решат, ваше скоро-

дие!.. Одолжите стремчаговый[218].

И ощутив в руке своей просимую сумму, Иван Иванович, совершенно уже успокоенный, приступил к своему обстоятельному рассказу.

XII ОБЛАВА

На следующий день, еще до рассвету, когда Иван Иванович покоился уже безмятежным сном в арестантской сибирке, к желто-грязному дому в Средней Мещанской торопливо подходили четыре человека. Это были сокол и его приспешники — три геркулеса в бронях сермяжных.

Один из хожалых был оставлен в дворницкой для наблюдения за воротами и охранения этого пункта; остальные, вместе с соколом и дворником, поднялись на лестницу Морденки. Надзиратель чиркнул восковую спичку и внимательно оглядел местность; один из хожалых постучался в дверь.

— Кто там? — раздался заспанный голос кухарки.

— Дворник... воду принес, отворяй-ка.

Послышался стук отпираемых замков, крючков и засовов. Городовые отстранились на темный, задний план. Чухонка, приотворив немного дверь и увидя незнакомого человека в форме рядом с домовым дворником, боязливо и подозрительно спросила:

— Чего нужно?

— Нужно самого господина Морденку.

— Да вы с чем? с закладом, что ли?

— С закладом, тетушка.

— А с каким закладом? Красные вещи али мягкий товар?

— И то и другое.

— Что-то уж больно рано приходите... Ну, да ладно! мне все равно... Сказать пойти, что ли...

С этими словами она подошла к двери, замкнутой большим железным болтом, и мерно стукнула в нее три раза. Ответа не последовало. Через минуту она столь же мерно стукнула два раза. Это был условный телеграфический язык между Морденкой и его прислугой, посредством которого последняя давала ему знать о проходящих. Делалось это или

ранним утром, или поздним вечером, то есть в ту пору, когда Морденко запирался. Три удара означали постороннего посетителя, последующие два — «интерес», то есть, что посетитель пришел за делом, стало быть, с залогом; один же удар после первых трех оповещал, что посетитель является выкупить свою вещь.

В ответ на два последние удара из глубины комнаты послышался старчески продолжительный, удушливый кашель, и глухой голос простонал:

— Лбом толкнись!

Послушная чухонка немедленно исполнила это странное приказание и слегка стукнулась лбом об двери.

— Это что же значит? — спросил ее удивленный надзиратель.

— А то, батюшка, что, надо так полагать, скоро совсем уже с ума спятит; хочет знать, правду ли я говорю, так для этого ты ему лбом стукнись...

Сокол только плечами пожал от недоумения; вероятно, вслед за соколом и многие читатели сделают то же, ибо им покажется все

это чересчур уже странным и диким; но... таковым знавали многие то лицо, которое в романе моем носит имя Морденки и которое я описываю со всеми его эксцентричными, полупомешанными странностями.

Как только Христина стукнулась об дверь, послышалось из спальни медленное, тяжелое шарканье туфель и отмыкание замков да задвижек в первой двери, что вела из приемной в спальню. Затем снова удушливый кашель и снова шарканье — уже не по смежной комнате.

«Морденко, здравствуй!»

— Здравствуй, милый! здравствуй, попинька!

«Разорились мы с тобой, Морденко!» — крикнул опять навстречу хозяину голос попугая, очень похожий на голос самого старика, который, по заведенному обыкновению, не замедлил со вздохом ответить своему любимцу:

— Разорились, попинька, вконец разорились!

— С кем это он там разговаривает? — любопытствовал сокол у кухарки.

— С птицей... это он каждое утро...

«Господи, что за чудной такой дом! лбом стучаются, с птицами разговаривают — нечто совсем необыкновенное!», — размышлял сам с собою надзиратель.

— Отмыкай у себя! — сказал Морденко, и Христина взялась за железный засов той самой двери, об которую стучалась, и отодвинула его прочь; в то же самое время Морденко с другой стороны отмыкал замки и задвижки и точно так же снимал железные засовы.

— Это у вас тоже постоянно так делается? — спросил надзиратель, с каждой минутой все более и более приходя в недоумение.

— Кажинную ночь, а ино и днем запирается.

— Ну, признаюсь, это хоть бы и на одиннадцатую версту ко всем скорбящим впору, — пробурчал надзиратель.

На пороге появился Морденко с фонарем и ключами, в своем обычном костюме — кой-как наброшенной старой мантилье.

— Что вам угодно? — спросил он с явным неудовольствием.

— Есть дело кое-какое до вас.

— Заложить что-либо желаете?

— Нет, я не насчет закладов, а явился собственно предупредить вас... Позвольте войти?

— Да зачем же... это... входить?.. Можно и здесь... и здесь ведь можно объясняться, — затруднился Морденко, став нарочно в самых дверях, с целью попрепятствовать входу незваного гостя.

— Мне надобно сообщить нечто вам, именно вам — по секрету... Вы видите, кажется, что я — полицейский чиновник?..

— Не вижу; мундир этот ничего особого не гласит: может, и другого какого ведомства, а может, и полицейский — господь вас знает... Я зла никому никакого не сделал...

— Да против вас-то есть зло!.. Позвольте, наконец, войти мне и объясниться с глазу на глаз.

Морденко видимо колебался: он не доверял незнакомому человеку, пришедшему в такую раннюю пору; наконец, бросив вскользь соображающий взгляд на тяжелую связку весьма внушительного вида и свойства ключей, он проговорил с оттенком даже

некоторой угрозы в голосе:

— Ну, войдите... войдите!.. буде уж вам так хочется объясниться.

Надзиратель вошел в известную уже читателю приемную комнату и поместился на одном из немногих, крайне убогих стульев.

— Не известно ли вам, — приступил он к делу, — не было ли когда на вас злого умыслу?

Морденко встрепенулся, остановясь на месте и раздумывая о чем-то, склонил немного набок голову, неопределенно установив глаза в угол комнаты.

— Был и есть... всегда есть, — решительно ответил он, подумав с минуту.

— Не злоумышляли ль, например, на жизнь вашу?

— Злоумышляли. Вот скоро год, как у наружной двери был выломан замок... Я отлучался из дому — у меня все на болтах, на запоре: коли ломать, так нужен дьявольский труд и сила, от дьявола сообщенная, а человеку нельзя, невозможно; так в мое отсутствие и своротили. А двери вот в эту комнату выломать не удалось — силы не хватило... Так и

удрали. Об этом и дело в полиции было... следствие наряжали и акт законный составили.

— Ну, так вот и нынче на вашу жизнь злоумышляют, — любезно сообщил надзиратель.

Морденко нахмурился и пристально, серьезно посмотрел на него.

— А!.. я это знал! — протянул он, кивая головой. — Я это знал... А вы-то почему знаете?

— Я-то... Я был извещен.

— А кто известил вас?

— Это уж мое дело.

— Нет-с, позвольте!.. Ваше дело... А зачем вы пришли ко мне? Кто вас послал? — допытывал он, строго возвышая голос. — Есть у вас бумага какая-нибудь, предписание от начальства, по которому вы явились не в обычную пору?

— Нет, бумаги никакой не имеется, — улыбнулся надзиратель со своей соколиной осанкой.

— А!.. ни-ка-кой!.. Никакой, говорите вы?.. Так зачем же вы без бумаги приходите? Почему я должен вам верить? Почему я могу вас знать? А может быть, вы именно и держите

злой умысел на меня? — наступал на него весь дрожащий Морденко, тусклые глаза которого светились в эту минуту каким-то тупым и кровожадным блеском глаз голодной волчихи, у которой отымают ее волченят. Он поставил свой фонарь и судорожным движением крепко сжал в кулаке связку ключей.

«Ого! — подумал про себя квартальный, — да тут, пожалуй, раньше чем его убьют, так он меня, чего доброго, насмерть по виску хватит».

— Как вам угодно, — сухо поклонился он, поднявшись со своего места. — Я пришел с моими людьми только предупредить вас и, может быть, преступление... Но если вам угодно быть убитым, в таком случае извините. Люди мои спрятаны будут на лестнице, и мы, во всяком случае, успеем захватить, кого нам надобно... хоть, может быть, и несколько поздно... Извините, что потревожил вас. Прощайте.

Тон, которым были произнесены эти слова, и присутствие домового дворника в прихожей рассеяли несколько сомнения Морденки.

— Нет, уж коли пришли, так останьтесь, — проворчал он глухим своим голосом, в раздумчивом волнении шагая по комнате и не выпуская из руки ключей.

— В таком случае, — предложил надзиратель, — позвольте уж ввести моих людей и разместить их, как следует. Одного мы спрячем в кухне, а другого в этой комнате.

Он указал на спальню.

Морденко с тоскливою недоверчивостью подумал с минуту.

— Вводите, пожалуй! — махнул он рукою.

Люди были впущены в квартиру и спрятаны. Кухарке отдано приказание — впустить немедленно и беспрекословно каждого, кто бы ни постучался в дверь.

— Я знаю... я знаю, что меня нынче убить хотят... Я все знаю! — ворчал Морденко, измеряя шагами от угла до угла пространство своей приемной комнаты.

— А, это очень любопытно, — подхватил надзиратель. — Через кого же вы это знаете?

— Через кого?

Остановка посреди комнаты и долгий испытующий взгляд.

— Через ясновиденье, государь мой... Мне ясновиденье было такое... Я знаю даже, кто и злоумышленники.

— А кто же, вы полагаете? — спросил собеседник, уже сильно начинавший сомневаться, не с помешанным ли имеет он дело.

— Я не полагаю, а удостоверяю! — подчеркнул старик безапелляционным образом.

— Ну, так сообщите; интересно знать.

— Извольте, милостивый государь. Это — она, кухарка, Христина, — указал он на кухню, произнося свои слова таинственным шепотом, — она и приемный сын мой, называющийся Иваном Вересовым — в актерах живет, стало быть, прямой блудник и безнравственник... Они уж давно сговорившись — убить меня, — продолжал он, расхаживая в сильной агитации, — мне сегодня всю ночь такое ясновиденье было, что сын большой топор точит, а она зелье в котле варила. Допросите ее, какое она зелье варила? Непременно допросите!

— Да ведь это только одно ясновиденье, — заметил надзиратель.

— Ну, да, ясновиденье! Потому-то, значит,

она и взаправду варила, что мне царь небесный этакое ясновиденье послал!

— Ну, на сей раз — извините — оно обмануло вас: ни кухарка, ни сын ваш не участвуют здесь. Это мне положительно известно.

— Нет, участвуют! Уж это я знаю, и вы меня не разуверите!.. Положительно... Да, положительно только один господь бог и может знать что-либо; а мне сам господь бог это в ясновиденьи открыл — так уж тут никакие мудрования меня не разуверят!.. Незаконнорожденный сын мой давно уже на меня умысел держит; я вот потому хочу начальство упротить, — чтобы его лучше на Амур сослали... Разве мне это легко?.. Как вы полагаете, — легко ли мне все это? Мне — старику... отцу, одинокому?.. Легко, я вас спрашиваю? — оставился он, сложа на груди руки, перед своим собеседником, и старческий голос его дрогнул, а на сухих и тусклых глазах вдруг просочились откуда-то тощие слезы.

Но прошла минута, он замолчал — только еще суровее, с сосредоточенным видом стал ходить по комнате своими медленными и тяжелыми шагами.

Несколько времени длилось полнейшее молчание, один только маятник стучал да Морденко ходил. Сырость и холод этой квартиры порядком-таки стали пронимать квартального.

— Однако, у вас тово... холодновато... Нельзя ли затопить? — попросил он, поеживаясь и растирая руки.

Морденко при этой неожиданной просьбе искоса взглянул на него, как бы на своего личного врага.

— Затопить нельзя... вчера топлено, — сухо возразил он, — а вот чаю не угодно ли? У меня настой хороший — из целебных трав...

— Нет, этого не хочу, — отказался квартальный, — а нет ли у вас эдак тово... насчет бы водочки?

Старик встрепенулся и так поглядел вокруг себя, словно бы услышал что-нибудь очень оскорбительное для нравственности и даже кощунственное.

— Боже меня упаси! — отрицательно замотал он головой. — Никогда не пью и в доме не держу... В водке есть блуд и соблазн. Я плоть и дух свой постом и молитвой питаю, так уж

какая тут водка!

Квартальный полюбопытствовал оглядеть Морденкину квартиру, что старику не больно-то нравилось; однако нечего делать — пошел за ним с фонарем. «Кстати, — подозрительно думалось ему, — огляжу хорошенько, не хапнул ли чего в спальне тот-то... спрятанный?»

Они вошли в эту комнату. Там особое внимание посетителя обратило на себя висевшее на стене довольно странное расписание:

Понедельник — Картофель.

Вторник — Овсянка.

Среда (день постный) — Хлеб и квас.

Четверток — Капуста кислая.

Пяток (день постный) — Хлеб и квас.

Суббота — Крупа гречневая.

Воскресенье — Суп молочный и крупа ячневая.

— Что это у вас за таблица? — осведомился квартальный.

Морденко немножко замялся и закашлялся.

— Гм... это... гм... э... обиходное расписание стола моего, — объяснил он, — в какие дни

какую пищу вкушать надлежит... Я во всем люблю регулярность — поэтому у меня и распределено.

— Но неужели же этим можно быть сытым? — изумился надзиратель, поедавший ежедневно весьма почтенное количество разных жирных снедей нашей российской кухни.

— Кто, подобно мне, дни свои в посте и молитве проводит, — с глубоким и серьезным смирением заметил старик, — тот и об этой пище забудет... Ибо он насыщен уже тем, что духом своим с творцом беседует.

— А это что за комната у вас под замками и печатями?

Вопрос шел о кладовой.

— Это... гм... гм... Это моя молельня, — поморщился Морденко. — Туда я от сует мирских уединяюсь и дни свои в духовном созерцании провождаю... Там мне господь бог и ясновидения посылает.

«Врешь, старый хрыч, там-то, надо быть, у тебя раки-то и зимуют!» — усомнился про себя выпускной сокол.

Старая стенная кукушка, маятник которой,

словно старик на костылях, спотыкаясь, отбивал секунды, захрипела и прокуковала шесть. Старый попугай в своей клетке захрипел точно таким же образом, и тоже начал куковать. Надзиратель не выдержал и расхохотался. Морденко очень обиделся.

— Над бессловесной тварью грех смеяться, — заворчал он, отвернувшись в сторону, — бессловесная тварь на обиду не может ответить обидою же; а почему знать, может, она тоже чувствует... Он у меня птица умная... все понимает...

Прошло еще некоторое время среди молчания и ожиданий. Надзиратель уже начинал сердиться и подумывать, что следует задать Зеленькову изрядную вступку за ложное показание, как вдруг в наружную дверь слегка постучали. Часы показывали половину седьмого. Все встрепенулись при этом внезапном стуке, у всех слегка дрогнуло сердце. Кухарка пошла отворять, и в ту же минуту раздался ее короткий пронзительный крик и глухой звук падения человеческого тела.

Убийца тотчас же был схвачен и связан двумя силачами.

Гречке не удалось. Зато совершенно удалась облава выпускного сокола.

XIII

ДОЗНАНИЕ И АКТ НА МЕСТЕ

Связанный Гречка молчал — только мрачно глядел исподлобья, поводя вокруг злобными глазами, да тихо покачивался со стороны в сторону, как медведь, пойманный в тенета. Его, хоть и скрученного, не выпуская, держал за шиворот один из городских сержантов. Остальные отправились в прихожую поглядеть, что случилось с кухаркой. Она лежала в обмороке, с раскрытой щекой. Рана, хотя и не очень опасная, нанесена была железным оружием. Вскоре посредством впрыскивания холодной водой женщину эту удалось привести в чувство.

Тогда один из людей был послан за понятыми, которые набираются в этих экстренных случаях из живущих в том же доме. Началось полицейское дознание.

— Кто таков? — спросил надзиратель, взяв у Морденки перо, чернила и лист бума-

ги.

— Виленский мещанин Осип Иванов Гречка, — бойко отвечал связанный.

— Лета?

— Сорок пять.

— Исповедания?

— Ну, уж этого не знаю, а надо полагать — христианской веры.

— Зачем приходил в квартиру господина Морденки?

— Жилетку свою выкупать... у меня тут жилетка в закладе — в полтине серебра заложена.

— Правду он показывает? — отнесся допросчик к Морденке.

Старик молчал, переминаясь с ноги на ногу, и не знал, что отвечать.

— Правду ли он показывает? — повторил квартальный.

— Да уж всеконечно правду, ваше благородие, — отозвался Гречка, — жилетка моя, надо полагать, лежит у него вон в той запертой комнате.

— Там нет никакой жилетки! никакой жилетки нету! — тревожно забормотал встрепе-

нувшийся Морденко.

— Нет, есть! — оппонировал Гречка. — Коричневая, плюшевая, в желтую клетку, с бронзовыми пуговками. Да прикажите отпереть, ваше благородие, так и увидите сами; а то что ж человека за напрасну вязать? Я не разбойник какой, а пришел вещью свою выкупить.

— Так, друг любезный, так!.. А кухарке-то щеку зачем раскроил?

— Сама подвернулась... Она первая с кулачицами на меня накинулась, а я только, обронявшись, призадел ее маленько...

— Что и говорить! Не видал я, что ли? — вмешался державший его городской.

— А ты молчи, милый человек, потому ты по закону не свидетель; а как есть ты наш телохранитель, значит — ты и молчи! — настаивательно поучал его Гречка.

— Ишь ты, законник какой уродился! — балагурил выпускной сокол, с удовольствием потирая свои красные, полные ладони. — Надо быть, на юридическом факультете экзамен держал? а?

— Это что пустяки толковать, ваше благо-

родие! А вы прикажите лучше отпереть ту комнату, потому я вам дело докладываю.

— Пожалуй, будь по-твоему... Господин Морденко, отойдите! — предложил надзиратель, который, занимаясь специально розыскной частью, очень хорошо знал, что к ростовщикам часто приносятся краденые вещи. Он собственно для себя хотел оглядеть коллекцию Морденки в чайнии, не встретится ли там что-нибудь подходящее, за что можно бы уцепиться при случае во многих из производимых им розысков, где часто по одной случайно попавшей нитке разматывается целый запутанный клубок.

Старик еще пуще стал морщиться и замигивать от его предложения.

— Да на что вам она, эта комната? — упрямился он жалобным голосом. — Ничего там интересного для вас нету... Там образа мои хранятся...

— Однако вы слышали показание этого человека? Надо же мне удостовериться! Я — закон! — внушительно произнес он со своей осанкой, — а закон беспристрастен.

— Я не отворю ее, — решительно сказал

Морденко.

— В таком случае, когда придут понятые, я сам буду отворять при свидетелях.

Последний аргумент подействовал. «Пусть лучше уж один оглядит, чем при людях-то — соблазну меньше», — и со вздохом глубокого сокрушения снял старик дрожащею рукой печати, отмкнул висячий и дверной замки, отодвинул засов — и дверь растворилась. Большая двухоконная комната снизу доверху была заставлена шкафами и полками, где хранились всевозможные вещи. Против дверей висела на стене вышитая гарусом картина: какой-то швейцарец с мушкетом. Эта картина, подобно стеклянной раме в киотах, ходила на петлях и, отпираясь посредством особого механизма, открывала за собою целый потаенный шкаф, наполненный золотыми вещами, часами карманными, брильянтами и тому подобными драгоценностями. На вешалках висели меха и множество всякого платья. К каждой вещи был привязан ярлык, на котором старинным почерком помечен номер и сделана лаконическая надпись: «Не укради!»

— Для чего же у вас эти надписи? — спросил следователь.

— А это такой талисман, — пояснил Морденко. — Ежели, оборони бог, заберется сюда мошенник да протянет к ним руку, так рука у него тут же и отсохнет.

— Это вы тоже по ясновиденью?

Морденко состроил кислую физиономию: ему крайне неприятны были все эти вопросы.

— И по ясновиденью, — поморщась, отвечал он с большою неохотою, — и по секрету от одного опытного человека, доброддея моего.

— Ваше благородие! вот моя жилетка! А вот и книжка, которую при мне отдавал им в заклад ихний сыночек! — воскликнул тем временем Гречка, по приказанию следователя введенный в ту же комнату под конвоем городского. Надзиратель очень озадачился последним сообщением преступника, а Морденко пристально поглядел на него весьма многозначительным взглядом, который ясно вопрошал: «А что, не моя ли правда выходит?»

— Кто же были твои сообщники? — продолжал следователь свои вопросные пункты.

— Никаких таких сообщников у меня и не было, ваше благородие, и не знаю я, зачем вы меня это спрашиваете? — твердо ответил Гречка.

— Ну, а Фомка-блаженный?.. Этот как тебе придется? — вздумал огорошить его допросчик.

Гречка вздрогнул, но в тот же миг оправился и уставил на него недоумелые глаза.

— В первый раз слышу имя такое, ваше благородие, — убедительно возразил он, — и никакого такого Фомки не знаю я. Так и запишите.

Гречка строго хранил все условия договора, заключенного в Полторацком.

В эту минуту в комнату вошло новое лицо.

Старик встретил его злобной, торжествующей усмешкой.

— Я пришел выкупить альбом и жилетку — вчера вечером деньги кой-какие получил, — начал Вересов, обращаясь к отцу и не различая еще в слишком слабо освещенной комнате посторонних людей.

— Опоздал, друг любезный, опоздал! — кивал головою старик с какой-то злорадной иро-

нией, — очень жаль, но что же делать, на себя пеняй, — опоздал... Надо бы раньше было, тогда б удалось, а теперь опоздал... опоздал...

— Ваше благородие! — раздался голос Гречки. — Что ж тут таиться. Пишите показание, повинен, мол; а вот и сообщник мой, — прибавил преступник, нагло указав на Вересова, — чай, сами изволили слышать, что пришел мою жилетку выкупать?

Вересов ничего еще не понимал, но уже догадался, что здесь, должно быть, произошло что-нибудь недоброе, страшное. Вспомнил он, что, проходя переднюю, слышал стоны кухарки; теперь же — видит полицию и связанного человека. Он побледнел, смутился и, ослабев, опустился на стул.

— Пишите же, ваше благородие, пока на меня такой стих нашел, а буде не запишете. Так раздумаю и откажусь, пожалуй! — торопил Гречка, в уме которого, при входе Вересова, блеснула такая мысль: «Махну-ка, что молодец, мол, сообщник мой! Отец авось не захочет подымать на родного сына уголовщину и потушит дело, по крайности цел отвертишься». Как задумал, так и махнул!

— Пишите же, ваше благородие, — понукал он, — хоша от вашего акта завсегда в немогузнайку можно отыгратья потом; иначе ж, так как ваша милость при этой оказии ни одной зуботычины мне не закатали, так хочу я по крайности уважение оказать вам: пущай вам за поимку вора Гречки награду пожалуют! Пишите, что в субботу вечером мы с сыном ихним вот на лестнице внизу на убийство уговор держали.

Вошли понятые, между которыми находился и приказчик из мелочной лавки. У Гречки сделан обыск, причем найдено: за голенищем — большой складной ножик, как видно, весьма недавно наточенный; в карманах — небольшой железный ломик с заостренным концом и рублевая бумажка. Во время дознания, в суете, эта бумажка куда-то вдруг исчезла, затерялась, так что никак не могли отыскать. Она покоилась за пазухой Морденки, который, воспользовавшись удобной минутой, очень ловко стащил ее со стола, при мысли, что «вот, мол, ты убить меня хотел, так вот же тебе».

Кроме Осипа Гречки, о случившемся про-

исшествии показали: «с.-петербургский мещанин Осип Захаров Морденко, что «воспитанник» его был всегда груб, дерзок и непочтителен, что он, Морденко, подозревает его, Вересова, в злом умысле на себя, потому что он закладывал вещи вместе с Гречкой, как видно из собственноручной расписки их в записной книге.

Выборгская мещанка Христина Ютсола, согласно Морденке, показала: что самолично впускала и выпускала из квартиры Ивана Вересова с неизвестным ей человеком, за которого она, однако, ясно признает Осипа Гречку.

Дворник дома видел, как в субботу вечером Морденко встретился у ворот с Вересовым и как они, поговорив между собою, вошли в калитку, а непосредственно за ними вошел в ту же калитку высокий человек в коротком пальто. Около часу спустя он же, дворник, выпускал из калитки Вересова с высоким человеком и видел, что спустились они в мелочную лавочку, откуда вскоре выйдя, дружелюбно между собою распрощались и пошли в разные стороны. В высоком человеке дворник признает Гречку.

Приказчик мелочной лавки заявил, что приходившие к нему два человека, в коих он ясно узнает Вересова и Гречку, купили по фунту ситного хлеба и колбасы, меняли трехрублевую бумажку, сдачей поровну разделились между собою, съели купленные ими припасы, причем разговор шел о посторонних предметах, и наконец, дружелюбно простясь, удалились из мелочной лавки.

— Что вы на это скажете, молодой человек? — в начувственно-менторском духе отнесся к Вересову надзиратель.

— Что показания кухарки, дворника и сидельца — суцая правда, — отвечал Вересов голосом, который, видимо, старался сделать спокойнее. Он был очень бледен и слегка дрожал.

— Стало быть, вы при свидетелях чисто-сердечно признаете себя виновным?

— Нет, я невиновен, — с твердым убеждением возразил молодой человек.

— Тут есть явное противоречие, по крайней мере, так учит нас логика, — заметил надзиратель, многозначительно шевельнув толстыми бровями, и, приняв свою повели-

тельную осанку, официально звучным голосом проговорил Вересову:

— Именем закона — вы арестованы!

По этой фразе читатель может судить, что сокол «в часы досуга» был любитель французских романов, из коих и почерпнул свое «имя закона», которым очень любил эффектно поражать в иных подходящих случаях.

XIV

НОВАЯ ГЕРОИНЯ

В уютном и хорошо убранном будуаре горел камин. Языки красного пламени кидали мигающий, колеблющийся отблеск на стены и потолок, с которого спускался посредине комнаты шаровидный фонарик, разливая мягкий матово-синий полусвет на близстоящие предметы.

Перед теплым камином, развалясь в кресле и протянув ноги к решетке, сидел молодой кавалерист и как-то тупо, без малейшего оттенка какой-либо мысли, смотрел на огонь. Видно было, что его донимала одуряющая скука. Сидел он почти неподвижно и только

изредка барабанил по ручке кресла своими удивительно обточенными ногтями.

Позади его, на покрытой дорогим ковром кушетке, лежала молодая женщина и рассеянно рассматривала английский кипсек, облокотясь на свои белые, тонкие, аристократически очерченные руки. Она была бледна или, быть может, только казалась бледною от беспрестанной игры на ее лице света и тени, мгновенных отблесков красного пламени и синего отлива лучей висячей лампы. Светло-русые кудри порою падали ей на лицо, затрудняя рассматривание картинок, тогда она встряхивала красивою головкой и открывала правильный овал миловидного, симпатичного лица, оживленного нетерпеливо-досадливою минкой маленьких губ и таким же выражением в ярких, больших голубых глазках. Во всей ее фигуре сказывалось что-то бесконечно детское, начиная с этих недоразвившихся форм и кончая наивно-капризной игрою лица и движений, которые замечаются у хорошеньких, балованных девочек. Она казалась слабым, тонким, грациозным ребенком, а между тем ей было уже двадцать лет. Глаза ее

как-то машинально блуждали по раскрытому кипсеку и порою с мимолетным выражением тоскливой грусти останавливались на молодом человеке, который вовсе не обращал внимания на ее присутствие, казалось, даже совсем не замечал ее, словно бы ее и в комнате не было, и продолжал себе тупо глядеть на уголья да барабанить по ручке кресла. По глазам этой женщины можно было заметить, что она очень еще недавно плакала.

Часа полтора между ними длилось глубокое непрерывное молчание, и чем дальше тянулось время, тем чаще и тревожнее взглядывала молодая женщина на своего сомолчальника; наконец не выдержала: тихо поднявшись с кушетки и надев мимоходом давно упавшую с ноги туфлю, она подошла к спинке кресла, на котором сидел кавалерист, и облокотилась на нее, наклонив к нему свою головку так, что тихо качавшиеся кудри ее с легким щекотаньем коснулись его красивого лба. Этим шаловливо-кокетливым движением она думала пробудить внимание молодого человека, но он только отмахнул их рукою, как отгоняют надоедливую муху, и по-преж-

нему продолжал тихо барабанить.

Женщина затаила дыхание и чрез его голову заглянула в каминное зеркало, стараясь поймать выражение его лица и встретиться там с глазами молодого человека. Но глаза все так же тупо были устремлены в камин, и на красивой, хотя и несколько поношенной физиономии все так же не появлялось ни малейшего присутствия мысли... женщина пожала плечами и с немой тоской огляделась вокруг. Но в ту же минуту, поборов в себе это проявление тоскливого чувства, попыталась весело улыбнуться и, неожиданно запустив свои тонкие пальцы в волосы молодого человека, загнула назад его голову и звонко поцеловала его в лоб.

— Машка... Что это за телячьи нежности... — апатично пробурчал он себе под нос, скосив глаза и в новом положении своей головы все в тот же огонь камина, как будто там открывалось для него нечто особенно интересное.

Женщина тотчас же опустила руки и минуту стояла в самом нерешительном раздумье.

— Что ты сегодня опять такой хмурый? — наконец произнесла она несмелым голосом, в котором дрожали слезы и душевное волнение.

— Скучно... — сказал кавалерист, зевая и даже не взглянув на нее.

— Скучно... хм... прежде не было скучно... а теперь... Бог с тобой, Володя! — сорвалась у нее тихая, подавленная укоризна.

Кавалерист досадливо цмокнул языком.

— Послушай, Мери, ты, право, надоела мне со своими вздохами! — нетерпеливо проговорил он. — Все одно и то же — это черт знает что, наконец!.. Сперва я не скучал с тобою, а теперь скучаю, — что ж из этого!.. Пожалуй-ста, не говори мне больше таких глупостей: это несносно!

Мери, насильственно задержав в груди прерывистый вздох, молча отошла от его кресла и села на свое прежнее место... В глазах ее показались слезы.

Минуты через две кавалерист вдруг обернулся.

— Ну, да!.. так и знал! — проговорил он с сильной досадой. — Опять слезы... Чего же ты

хочешь от меня, наконец?.. Кажется, все есть: сыта, одета, долги по магазинам заплачены, — чего еще? Чего хныкать-то? глаза на мокром месте устроены? Или прикажешь мне лизаться с тобою, что ли? Это скучно и глупо... прощай!

— Куда же ты?.. Остайся! — стремительно кинулась к нему с нежной мольбою молодая женщина, стараясь заградить дорогу к двери. — Остайся... полно!.. ну, прости меня, ну, я... я буду весела!.. Куда же ты?

— К Берте: она пикник дает сегодня — все наши будут, — равнодушно проговорил он, зашагав — руки в карманы — по комнате.

— К Берте... — почти бессознательно повторила она, совершенно убитая, стоя посреди комнаты.

— Н-да-с, к Берте! — не без язвительности подтвердил он и через минуту, как бы собравшись с духом, начал: — Послушайте, милейшая моя Марья Петровна, я хочу объясниться с вами окончательно. До сих пор я был настолько деликатен, что говорил одними только намеками; но вам неудобно было понимать их, — так теперь я стану говорить с вами

прямо.

Мери, стоя на прежнем месте и нервически не отымая от угла губ своих скомканный батистовый платок, изумленно глядела на него во все свои большие глаза.

— Мне этих сладостей от вас не нужно, — продолжал он, — если угодно играть в буколку, так играйте с кем-нибудь другим, а не со мной. Мне нужна не идиллическая любовница, а содержанка, камелия — понимаете ли? — ка-ме-лия! Этого требует мое положение в полку и обществе. Так если угодно, чтобы наши близкие отношения продолжались — извольте одеваться и ехать со мною в общество камелий, а нет — так черт с вами!

Последнее оскорбление было уже чересчур велико. Сильно закусив нижнюю губу, чтобы не выдать наружу все то, что происходило внутри, Мери тихо отошла к своей кушетке и машинально села на прежнее место.

Кавалерист прошелся еще раза два, искоса кидая взгляды на молодую женщину, и, круто повернувшись, вышел из комнаты.

Мери чутко прислушивалась к его удалявшимся шагам, через минуту она услышала

стук затворившейся за ним двери — и долго подступавшие к горлу рыдания прорвались наконец наружу.

«Так неужели же все, все уже кончено?» — буравил мозг ее неотступный вопрос, и ничто не давало на него утешительного ответа.

XV

ИДИЛЛИЧЕСКИЕ СТРАНЫ ПЕТЕРБУРГА

Петербург имеет свои идиллические страны; целый квартал этого холодного, промышленного, официального города взялся с давних времен разыгрывать роль петербургской Аркадии и не без успеха фигурирует в своем амплуа, убеждая всех и каждого, что петербургская жизнь в одном укромном уголке имеет-таки буколическую сторону.

Страна эта лежит на юго-западной оконечности обширного острова, известного во времена допетровские под именем Койвисари, а в послепетровские — под именем стороны Петербургской. Граничит эта вышеназванная буколическая страна: к северу — речкой Кар-

повкой, к югу — речкой Ждановкой, к западу — Большой Невкой. В полиции известна под именем 2-го квартала Петербургской части; у извозчиков и старожилов — под именем Колтовской. Изобилует многочисленными породами чиновников, от коллежского регистратора до надворного советника включительно, кои подразделяются на бегающих к отправлению служебных обязанностей и не бегающих, то есть покоящихся в лоне семейства своих по окончании поприща служебного. Обитательницы в большинстве своем оказывают пристрастие к кофею и к чесанию языка, обыкновенно насчет ближнего своего или насчет благоверного, невпору загулявшего «среди долины ровныя, в компании прохладной». Достопримечательности страны: Колтовской Спас — очень древняя деревянная церковь; дача с жестяным куполом и еще другая дача, ныне совсем почти заброшенная, зато весьма блиставшая в первой четверти девятнадцатого столетия. Колтовские старожилы помнят еще необыкновенной вышины шест, принадлежавший к этой даче: на него в известное время выкидывался флаг, который

можно было видеть за несколько верст — из окон домов Дворцовой набережной. Теперь уж ничего этого не осталось; дача принадлежит другому владельцу, строение все более и более приходит в ветхость, сад заглох, запустел... одна только деревянная мостовая (тоже достопримечательность Колтовской), служащая ныне на пагубу извозчичьих дрожек, напоминает собою местным жителям то время, когда процветала покинутая дача, когда гремела там знаменитая роговая музыка и с нею вместе вся страна Колтовская.

15 сентября 1864 года Колтовская торжественно праздновала свое обновление: она вымостилась. До этого же времени, без сомнения, составляющего важную эпоху в жизни Колтовской, узенькие улицы и закоулки ее представляли обильное царство густой, глубокой, неисчерпаемой и вовеки невысыхающей грязи. Были места, в которые ни один извозчик не соглашался везти вас, какую бы вы плату ни давали — из опасения застрянуть среди колтовских грязей, где для пешехода требовались особенное искусство и гимнастическая сноровка, чтобы кое-как пробраться

вдоль стен, цепляясь за ставни и заборы. Зато, однако, и по сию пору отважный путешественник-исследователь может открыть такие улицы и переулки, в коих не имеется ни одного строения. За забором с одной стороны — какой-нибудь бесконечный огород; с другой — вечно дремлет заглохший, тихий сад, безмятежный притон тысячи ворон и галок, о чем свидетельствуют их неуклюжие черные гнезда на высоких березах и пронзительные крики с тревожными перелетами под сумеречную пору. Если бы вы спросили меня: проезжал ли когда по такой улице хоть один экипаж? — я почти с уверенностью отвечал бы вам: нет; потому — за каким чертом и кого понесет нелегкая в эту безлюдную трущобу? На улице — ни малейших следов колесной колеи: зимой она занесена глубоким, полуторааршинным снегом; летом — сплошь покрыта обильною растительностью: лопухами, колючим репейником, травой, которая служит безвозмездною пищей для двух-трех коров, неизвестно кому принадлежащих, да для рыжей свиньи с поросятами. Кроме этой дачной публики, вы никого не встретите на

такой улице — хоть простойте там от зари до зари.

Колтовская — по преимуществу страна дворянская, семейственная, тогда как, например, Спасская, бывшая третья Адмиралтейская часть города — по преимуществу плебейская и холостая. В Колтовской, как уже сказано выше, мирно живут всевозможные чиновники со чады и домочадцы. Пройдите хоть по любой улице — и наворотные дощечки поминутно будут гласить вам: дом коллежского секретаря Миронова, дом жены титулярного советника Агафьи Ивановны Упокойкиной, дом надворного советника и кавалера Пахомова и т.д. и т.д. Даже вид самих строений отличается буколически семейственным характером: маленькие домики в три или пять окон, с мезонином, с зелеными ставнями, с неизменным садиком и цепной собакой во дворе. В окнах, за кисейными занавесками, увидите вы горшки с геранием, кактусом и китайскою розою, какую-нибудь канарейку или чижа в клетке, — словом, куда ни обернись, на что ни взгляни — все напоминает царство жизни мирной, тихой, скромной, се-

мейственной и патриархальной. Есть даже такие семейства, которые и знать ни о чем, кроме Колтовской, не хотят, — которые рождаются, кумятся и женятся между собою, между своими коренными колтовчанами. Это — мир совершенно особый, замкнутый, почти совсем изолированный от остальной городской жизни; спокойствие его несколько возмущается только в летние месяцы, когда из города перебираются туда дачники; во все же остальное время безмятежный мир и тишина царствуют над колтовской страной.

* * *

В этой-то буколической стране обитал один из вечных титулярных советников, Петр Семенович Поветин, с женою Пелагеей Васильевной. Супруги были однолетки, то есть каждому по шестидесяти пяти (в эпоху последних событий нашего рассказа), и казалось, что они в один час зачались, в один родились на свет и в один должны сойти со света. Мне нигде не приводилось встречать пары, более созданной друг для друга, чем Петр Семенович с Пелагеей Васильевной. Оба кругленькие, маленькие, у обоих кожа на лице

лоснится красненьким румянцем, и все это лицо как-то постоянно улыбается: улыбаются глаза, брови, ноздри, щеки и губы, так что при взгляде на Петра Семеновича с Пелагеей Васильевной вы сами невольно улыбнетесь и подумаете: «Господи, какие это бесконечно добродушные люди!» Действительно, бесконечное добродушие было отличительным качеством этой четы; все знакомые и соседи звали их не иначе, как голубками, и только некоторые сатирические умы к голубкам прилагали эпитет «сизоносые» — эпитет совсем неосновательно сатирический, ибо если носы Петра Семеновича и его супруги отличались на ряду с пухлыми их щечками некоторою приятною красноватостью, то виновата в этом была одна только создавшая их природа, а никак не та всеобщая причина, что сандалит нос у человека пьющего. И Петр Семенович и Пелагея Васильевна испивали в количестве весьма умеренном: по рюмке сладкой наливки за обедом было совершенно достаточно для того, чтобы увеселить сердца их. Рюмка — это была положенная мера, далее которой никогда не переступали супруги.

Зато, если неоснователен был эпитет, то самое название — «голубки» — придалось им как нельзя более кстати. Оба супруга принадлежали к коренным, исконным колтовчанам, то есть в Колтовской родились, выросли, встретились, слюбились, повенчались и, повенчавшись, зажили себе помаленьку, в ненарушимом мире и согласии. Сожительствовавали они уже около сорока пяти лет, разлучаясь друг с другом только на то время, пока Петр Семенович обретался в «должности», за канцелярским столом, в месте своего служения, и во все долгое время этого супружества соседи их решительно не запомнят, чтобы между Петром Семеновичем и Пелагеей Васильевной вышла когда какая-нибудь ссора или неудовольствие: они вечно оставались довольны друг другом, ибо общность желаний, помыслов и стремлений столь была велика между ними, что решительно невозможно придумать даже малейших поводов к возражениям и размолвке с той или яругой стороны. Жили они, что называется, «своим домком», в наследственном домике Пелагеи Васильевны. Домик был маленький, деревян-

ный, с мезонинчиком. Комнатки походили скорее на клетушки; но клетушки эти отличались необыкновенным уютом, домовитостью, опрятностью, так что в них именно «жилось», тогда как часто в больших и хороших квартирах «не живется», хотя, казалось бы, весь комфорт, все удобства с изысканной предупредительностью сосредоточены в них, так что только бы жить да жить, а все-таки, глядишь, не живется почему-то... Какие-то невидимые лары и пенаты покровительствовали маленькому домику в Колтовской и берегли его спокойствие. На дворе, охраняемом цепною Валеткой, сосредоточивалось все обиходное хозяйство Пелагеи Васильевны: тут были и сарайчики, и чуланчики, и коровничек для буренки, и ледничок для сливок и всякой живности. Тут же в корыте, врытом в землю, безмятежно полоскалось семейство утят, чесался о забор и хрюкал откармливаемый поросенок, рылись в навозной куче куры, пользовавшиеся особенной симпатией домовой хозяйки, которая каждой из них даже отдельное имя присвоила: тут были и чернушка с рябушкой, и хохлушка с мохноножкой, и

ушатка, и желтошейка. Конечно, всю эту живность гораздо удобнее можно бы было закупать на Сытном рынке, но Пелагея Васильевна редко хаживала в рынок — она именно любила «свой домик», свое собственное хозяйство. С другой стороны к надворным строениям примыкал тенистый садик, в котором Петр Семенович копал грядки, сажал кукурузу, постоянно не удававшуюся, и табак, тоже не достигавший полного роста. Тут же у него произрастали разнородные маки, шпанская земляника с клубникой, турецкие бобы и огурцы, пышные подсолнечники и дыни. Петр Семенович собственноручно смастерил, во-первых, маленькую тепличку, а во-вторых — сколотил стол и настлал дерновую скамью под группой трех плакучих берез. В двух-трех клумбах являлось царство резеды, левкоя, настурций, георгины и мальвы, а далее шли яблонька и кусты малины, смородины и крыжовника. 6 августа, когда Колтовская празднует свой приходский праздник, Петр Семенович собственноручно снимал с яблони лучшие плоды и нес их «на освящение плодов земных» к Спасу к обеду. Все оставшиеся

засим яблоки Пелагея Васильевна мочила с брусникой, приготавливая на зиму салат к жаркому. Малина со смородиной шла у нее на изготовление наливок, которые выходили отменно вкусными из-под опытной руки колтовской хозяйки.

Жизнь этой четы протекала с невозмутимым однообразием: вчера — как сегодня, сегодня — как вчера. Утром — встанут себе с петухами, умоются, причешутся, богу помолются и подходят к столу, где уж кипит светлый самовар и ждет разливки кофе в жестяном кофейнике.

— Здравствуйте, попочка!

— Здравствуйте, цыпинька!

Петр Семенович целует ручку Пелагеи Васильевны; Пелагея Васильевна, наоборот, — ручку Петра Семеновича, за сим поцелуются в губы и садятся подкреплять свои силы.

С первых же дней счастливого супружества они почтили друг друга кличками, и эти клички оставались за ними неизменно до конца жизни.

— Вы, попинька, что желаете нынче к обеду?

— К обеду-та? а зажарьте мне, цыпленок мой, курочку с грибками да спеките ватрушечек с лучком.

И к обеду непременно являются означенные блюда.

Когда рюмка наливки взвеселит сладкие сердца престарелых супругов, и они, возблагодарив создателя своего милостивого за насыщение их благами земными, поцелуют ручки и губки друг друга, глаза их увлажняются приятно-веселою негою, и нега эта вызывает новые разговоры:

— Попушка любит свою цыпиньку?

— Любит.

— Очень любит?

— Очень.

— Да?

— Да!.. А цыпинька любит попушку?

— Любит.

— Очень?

— Очень.

— Милая попушка!

— Славный петушонок мой!

И за сим новое лобзание, весьма нежного супружеского свойства.

Странно судьба распоряжается с людьми: она не может дать им полного счастья и всегда вставит в жизнь человеческую какую-нибудь вечную колючку, которая имеет назначение отравлять собою источник человеческих радостей. Это ироническое отношение судьбы отразилось и в жизни колтовской четы добродетельных супругов. Трудно бы было найти двух людей, более их расположенных к супружеской, семейной жизни, более их желавших плодиться, размножаться и населять землю, и — увы! — этому заветному желанию никак не суждено было исполниться. Но от первых до последних дней своего супружества Петр Семенович с Пелагеей Васильевной не переставали утешать себя тщетной надеждой, что авось, бог даст, у них что-нибудь и родится.

— Попушка! — скажет, бывало, иногда Пелагея Васильевна с застенчивым и таинственным видом, положив руку на плечо супруга, — милушка мой, кажется, меня поздравить надо.

— Ну, да, толкуй, — ухмыльнется Петр Семенович, приучившийся уже в течение трид-

цати пяти лет понимать, к чему обыкновенно клонит такой приступ у его дражайшей половины, а самому так вот и хочется всем сердцем, всей душою поверить в истину слов ее.

— А что ж, разве невозможно? — возражает престарелая Бавкида. — И по писанию даже возможно выходит! Вспомните-ка про Захарию и Елизавету да про Авраама с Сарой?

— Ах вы, глупушка-попушка! так ведь на то они и патриархами нарицались и обитали в Палестине, а мы с вами в Колтовской, — вот вы и сообразите тут.

— Что ж, по человечеству все едино выходит... Опять же я чувствую...

И оба ухмыляются, необыкновенно довольные друг другом.

— А как назовем-то мы новорожденного? — спустя несколько минут начинает Петр Семенович, которого так и подмывает свести разговор на достолюбезную ему тему.

— А уж конечно под число: под какое число родится, под такого святого и назовем.

— А я желаю Петром назвать... Пусть его Петр Петрович будет!

— Ну, да! что и говорить! Разве не знаете,

что коли по отцу назвать, так ребенок несчастливый уродится?

— Это все пустяки одни: вон у нас в департаменте Фома Фомич по отцу назван — а какой счастливый! В ранге статского состоит, начальник отделения...

— Ах, вот что, цыпинька! — восклицает Пелагея Васильевна таким тоном, словно бы сделала Архимедову находку. — Окрестим-ка его Фомой, в честь Фомы Фомича! Пускай он будет такой же счастливый! Опять же и для начальства это очень лестно, что в честь его младенца нарицают, — все-таки видно, что чувствует человек.

— Вот что дело, то дело, старуха! — соглашается наконец Петр Семенович, и засим начинаются разговоры «о приданом» для новорожденного. Впрочем, Пелагея Васильевна на сей конец давно уж обеспечена: у нее бог весть с каких пор еще нашито всего вдво-воль — и пеленок, и распашонок, и одеяльце, и подушечка, — все это уже до малейшей подробности сообразил ее предусмотрительный ум, ибо всем она позаботилась, все это имеется у нее в наличности, в комод; одного толь-

ко нет — новорожденного... Для нее истинное наслаждение составляло — перебирать, пересматривать по временам имущество будущего ребенка и ремонтировать его, заменяя новыми погнившие от долговременного лежа-ния вещи. Это была ее заветная мечта, самое заветное наслаждение, источник надежд, ожиданий и огорчений от слишком продолжительной несбыточности этих надежд. Но главное утешение все-таки в том, что Пелагея Васильевна до конца дней своих не переставала с убеждением мечтать об осуществлении в своей особе новой Сары, которая произведет на свет нового Исаака. Об этой заветной мечте знали все соседи, вся улица, и при удобном случае, покачивая головой, непременно замечали:

— Экие чудасеи, прости господи, согрешение одно с ними, да и только! До старости дожили, зубы все почитай стерли, а все еще амуруются... Голубки, одно слово!

Петр Семенович с Пелагеей Васильевной весь избыток своих матримониальных чувств по необходимости изливали на чужих, посторонних детей, один вид которых произ-

водил в них сердечное умиление и сокрушенный вздох о собственном бесчадии. И дети необыкновенно любили их: они, как собаки, инстинктивно чуют добрую душу. Бывало, летним вечером выйдет Петр Семенович на улицу, запросто, по-домашнему, в стареньком халатике, усядется за воротами на скамеечке — и гурьба ребятишек, гляди, вокруг него трется. Мастерит он им петушков бумажных, строгают какую-нибудь палочку, кораблик делает; а Пелагея Васильевна, которая успела уже, нарочно по этому случаю, набить карманы пестрыми лоскутками и каким-нибудь сладким домашним печеньем, с нежностью оделяет ими каждого мальчугана и каждую чумазую девчонку.

* * *

В 1837 году жила на даче в Колтовской одна особа, которую в околотке все звали «генеральшей». Генеральша по соседству познакомилась случайно с «голубками». Хотя знакомство это состояло в перекидке двумя-тремя словами в течение всего лета да в поклоне при встрече на прогулках, однако генеральша знала о сокрушении голубков по поводу бес-

чадия и видела их нежную любовь к посторонним детям. На следующий год, в одно весеннее утро, у ворот маленького домика остановилась щегольская карета, из которой вышла все та же блистательная генеральша и, к крайнему удивлению и переполоху буколических супругов, вошла в их парадную клетушку, носившую обычное наименование «залы». Генеральша предложила им — не желают ли они взять к себе на воспитание маленькую девочку, за которую она будет платить им ежегодно по двести рублей серебром. Предложение это принесло Поветиным радость великую, придясь как нельзя более по сердцу, так что они немедленно же изъявили полное свое согласие. Тогда генеральша вынула назначенную сумму и взяла с Поветиных расписку в получении — «за воспитание девочки». В тот же день, к вечеру, в квартире их поместилась, в мезонинчике, маленькая люлька рядом с кроватью для мамки — и домик огласился пискотней ребенка, необыкновенно гармонически услаждавшей слух чадолюбивых супругов.

— А не правда ли, цыпушка, веселее как-то

стало? — умилялся Петр Семенович, — и канареечка на окне щебечет, и ребенчонок гулит.

И цыпушка от души соглашалась с мнением своего супруга.

* * *

Девочку окрестили и назвали Марьей. Кажется, незачем говорить о том, что росла она в холе, в тепле да в довольстве, что ей все в глаза глядели и наглядеться не могли.

Ежегодно у ворот колтовского домика останавливалась генеральская карета, что на целый день подавало тему для соседских разговоров: генеральша привозила условную плату за воспитание, брала расписку и проводывала девочку. Каждый раз она оставалась не более десяти минут, и несмотря на то, что Пелагея Васильевна, как угорелая, начинала метаться из комнаты в кухню и из кухни в комнату, торопясь приготовить кофе для дорогой гостьи, — дорогая гостья ни разу не сооблаговолила отведать его под кровлей Пелагеи Васильевны.

— Что ж это такое, попчик мой, — с неудовольствием замечала Пелагея Васильевна по

уезде генеральши, — никогда-то моего угощения принять не хочет, словно брезгует... Уж право, мне это не по сердцу... У покойницы матушки (царство небесное!) примета была, коли уж от радушного хлеба-соли человек отказывается — недобрый он, значит, человек...

— Ну, глупел вы эдакой! — миролюбиво отвечает Петр Семенович, торопясь потушить восстающие в сердце супруги сомнения, хотя сам вполне чувствует то же. — Не видала она, что ль, нашего кофею! У нее — чу, такой, какого мы с тобой и отродясь не пивали, у нее — мокка аравийская, а у нас — цикорий... А все ж она доброе дело нам сделала, что девчонку-то отдала: жизнь-то ведь скрасила.

И действительно, это было единственное добрее дело, сотворенное генеральшей фон Шпильце, которая, впрочем, отдавая ребенка, о добрых делах и не соображала, а думала только о том, как бы, в уважение просьбы князя Шадурского, поудобнее пристроить его подкидыша.

Пелагея Васильевна каждый раз выводила Машу напоказ генеральше — и генеральша, глядя ее по головке и целуя в розовую щечку,

не без удовольствия про себя замечала, что девочка все более выравнивается и хорошеет. Однажды, когда ей пошел уже семнадцатый год, Амалия Потаповна с особенным вниманием оглядывала наружность воспитанницы и, выслав ее из комнаты, очень заботливо обратилась к Пелагее Васильевне с советом: беречь и хранить как можно строже ее нравственность, чтобы не вздумала влюбиться, потому — она теперь уже девушка на возрастe... Пелагея Васильевна даже несколько оскорбилась этим предостерегательным советом.

— Что ж, сердце девическое! — возразила она. — Полюбит — так запрету не положишь; на то теперь и годы ее такие. А коли самое полюбит хороший человек, так и замуж возьмет.

На это генеральша с уверенностью заметила, что она сама знает, за кого Маше следует выйти, и «сама будет отыскивать ей хороший жених».

«Впрочем, она еще почти ребенок... слаба... мало развита — надо подождать еще: пускай вполне разовьется — так лучше станет; да и

пристроить ее надо повыгодней, полочей», — мысленно рассуждала Амалия Потаповна, уезжая от Поветиных.

Маша с первых еще лет как-то инстинктивно, по-детски, не возжаловала генеральшу; хотя Пелагея Васильевна и говорила ей, что ее «надо любить, потому — она ей благодетельница», но Маша как-то туго понимала это и оставалась при своем безотчетном нерасположении к Амалии Потаповне.

У нее было мягкое, доброе сердце, которому, впрочем, мудрено бы было и сделаться иным посреди окружающей обстановки — в образе Петра Семеновича с Пелагеей Васильевной. С десятилетнего возраста Машу стали водить в пансион, который держала на Большом проспекте одна старушка-француженка из отставных гувернанток, и эти пансионские годы продолжались у нее до семнадцатилетнего возраста. Стало быть, она училась «понемногу, чему-нибудь и как-нибудь», как учатся вообще наши русские девушки. Впрочем, Пелагея Васильевна приходила в неописанный и даже несколько горделивый восторг, видя, как ее «дочурка» читает разные

книжки, «и даже по-французскому; а говорит-то, говорит с мадамой — хоть ни словечка не понимаешь, а сердцем чувствуешь, что говорит хорошо: без запиночки, эдак складно выходит». Так повествовала Пелагея Васильевна всем своим соседям, не упуская малейшего удобного случая распространиться перед кем бы то ни было об успехах своей воспитомки.

Петр Семенович очень любил «почитать что-нибудь», а Пелагея Васильевна «послушать книжку занимательную». Бывало, под вечер, вставши от послеобеденной высыпки, усядется он за большой «аппетитной» чашкой чая и примется читать вслух, а Пелагея Васильевна с Машей вяжут чулок либо штопают что-нибудь и слушают чтение Петра Семеновича. А Петр Семенович читал всякие книжки, какие только под руку попадались: и «Юрия Милославского», и «Трех мушкетеров», и разные аббатства с тайнствами Анны Радклиф, и водевиль «Жена или карты», и Гоголя, и старый истрепанный номер «Современника» либо «Отечественных записок», — все это поглощалось им с равным удовольствием.

Маша, глядячи на него, тоже полюбила чтение, и читала с наслаждением, с увлечением непосредственного «читателя», все без разбору. Это конечно, не прошло без весьма значительной доли влияния на ее внутренний мир и впечатлительное воображение. Маша всей душой любила свою мирную, тихую, безвестную жизнь с отцом и матерью — так называла она своих воспитателей, которые в двадцать лет безраздельной жизни до того сроднились с нею, что привыкли думать, будто она и взаправду их собственная родная дочь, будто ничто в мире разлучить их не может. У Маши была в мезонине своя отдельная девичья келья, окошками в садик, и в эти окошки засматривали ветви березы и лапчатые листья клена, сквозь которые, бывало, пробивается по весенним утрам горячий луч солнца и обливает комнатку зеленовато-золотистым светом. Комод с зеркальцем и несколькими книжками, бонбоньерка, бюстик Наполеона, железная кровать под белым тканьевым одеялом да столик со множеством коробочек и блюдец с разными семенами, которыми был заставлен и подоконник, рядом с дву-

мя-тримя горшками цветов, — вот и вся обстановка, являвшая скромную горенку молодой девушки. Но в этой скромной горенке жилось беззаботно и счастливо: в ней и молилось по душе, и мечталось по сердцу, и работалось по воле.

А между тем незаметно подступила и та пора, когда впервые смутно, бессознательно начинает ощущаться потребность чувства, потребность молодой жизни, молодой любви... И чувствовала Маша, что душа чего-то просит, как будто чего-то недостает ей, а чего недостает ей, чего просит она — бог весть!.. Нет ясного ответа. Она поняла только, что внутри ее произошел какой-то переворот, но не поняла еще его сущности, не могла еще ясно сознать его и поневоле таила в себе эту смутную просьбу девической души.

Года два спустя после известного уже читателю разговора о хорошем женихе и строгом сбережении девической нравственности генеральша внезапно появилась в квартире Поветиных и безапелляционно объявила, что срок воспитания кончен, что теперь настало время, когда она может взять Машу к себе, по-

этому пусть ее сейчас же одевается и едет.

Слова эти громом пришибли стариков. Они растерялись, побледнели и в первую минуту даже не поняли хорошенько, о чем это говорит генеральша, и возможно ли на самом деле, не в шутку, такое объявление с ее стороны. Однако генеральша не чувствовала в себе расположения к шуткам, ибо ею руководили весьма важные побуждения относительно Маши, и во имя этих побуждений ничто уже не могло изменить ее намерения.

— Матушка!.. Ваше превосходительство!.. не обидьте вы нас, стариков! — со слезами умоляли ее Поветины. — Не надо нам ваших денег... Мы вам отдадим... у нас есть одна тыщонка в сберегательной, да стоношимся еще кое-как, продадим кое-что — все деньги, что потратили вы на нее, с радостью выплатим вам — только не берите вы ее ст нас... Пожалейте вы нас, матушка!..

Пелагея Васильевна, совсем растерявшись от неожиданного горя, даже в ноги кланялась генеральше, руки ее целовала — но все было напрасно: воля Амалии Потаповны осталась неизменной. Она сказала, что везет Машу к

отцу и матери, что теперь подошли такие обстоятельства, когда ее настоящим родителям уже незачем скрывать и можно взять ее открыто в свой дом, что для счастья самой Маши это необходимо, что родители, наконец, имеют на нее законное право, так как Маша находилась у Поветиных только на воспитании за деньги, в чем имеются их собственноручные расписки, и, следовательно, никаких больше разговоров по этому поводу быть не может.

— Что ж, матушка Пелагея Васильевна, — решительно, хотя и с великой грустью, начал старик Поветин, обратясь к жене, — видно, уж так богу угодно... надо смириться... Коли родители свое детище к себе взять желают, так нам с тобой грех противиться сердцу родительскому!.. Дело-то уж оно больно святое да кровное... Тяжело — что делать! — а надо... надо... Ступай, собирай дочурку...

И у старика побежали по щекам горькие слезы: в эту минуту он отрывал у себя самый больной и самый заветный кусок своего сердца.

Генеральша предложила им сто рублей в

награду, но старики наотрез отказались принять эти деньги и только умоляли об одном, чтобы им позволено было навещать Машу у родителей. Генеральша охотно изъявила свое согласие и даже обещала сама заехать за ними и свезти их дня через два или три, когда все уже устроится для Маши в ее новом положении. Молодая девушка совсем обезумела от горя. Она привыкла думать, что живет с родными отцом и матерью, а тут вдруг оказываются какие-то новые... Да и правда ли еще все это? Ей что-то больно не верилось этой генеральше, в отношении которой у нее еще с детства закралось антипатичное чувство. Она и теперь как-то невольно чуяла, что не быть ничему доброму из этой разлуки, из этой внезапной перемены жизни. Но — делать нечего: в слезах, почти без чувств, почти совсем больную положили ее в генеральскую карету; дверца захлопнулась, и колеса грузно потащились по клейким колтовским грязям.

У ворот стояли двое стариков. Пелагея Васильевна дрожала как в лихорадке и бессмысленно глядела по сторонам каким-то убитым, пришибленным взглядом; Петр Семенович

смотрел во след удалявшейся кареты и долго еще осенял ее крестными знамениями. Соседи выглядывали из окон и форточек, делая догадки и соображения: что бы это такое могло у сизоносых случиться?

XVI

БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ

Делами князей Шадурских заправлял некто Полиевкт Харлампович Хлебонасущенский, надворный советник и кавалер двадцатилетнего беспорочия и ордена святого Станислава третьей степени. Толстенький старец был многоученный энциклопедист по части сутяжничества, крючкотворства, стряпчества, фанатизма, администратизма и тому подобных высокопрактических предметов. Делишки свои обдeldывал необыкновенно тонко и кругло. Поступил к Шадурским непосредственно после Морденки и в течение двадцатилетнего бескорыстного служения интересам княжеской фамилии исподволь сколотил себе капиталчик тысяч во сто. Княжеская фамилия во многих критических казусах об-

ращалась непосредственно к Полиевкту Харлампиевичу, который и ссужал ее из собственного кармана самым благодушнейшим образом, зная, что первые деньги, проходящие прежде всего через его собственные руки, первому ему же и пойдут в уплату. Он был знаком со всем светом, ибо в каждом провидел «нужного человека», который — рано ли, поздно ли — на что-нибудь да пригодится. Любил слушать конюшенных и почтамтских певчих, из храмов же предпочитал — Казанский. В мире искусства отдавал предпочтение высоким трагедиям, с большой похвалой относился о «Жизни игрока», «Велизарии» и «Руке всевышнего», которая отечество спасла, не без гордости присовокупляя при этом, что во время оно даже лично знавал Нестора Васильевича Кукольника и многих сочинителей. Из газет любил «Пчелку»; ездил по городу не иначе как в дышле, на паре рыженьких шведок, в широких крытых пролетках, именуемых обыкновенно «докторскими», иногда давал «нужным людям» обеды, на которых по преимуществу красовался цвет губернского правления, управы благочиния и надворного

суда. В заключение можно прибавить, что Полиевкт Харлампович был человек необыкновенно мягкий, приветливый, сладостно улыбающийся, с чувством руки пожимающий и самый ревностнейший христианин.

Вскоре после известного уже читателю происшествия с Юлией Николаевной Бероевой Полиевкт Харлампович появился на секретной аудиенции в приемной Амалии Потаповны фон Шпильце. Он был прислан с весьма немаловажным поручением от самой княгини Татьяны Львовны, которая возложила на него это поручение, зная его тонкие дипломатические способности.

Причина, вызвавшая таковую секретную миссию, была нижеследующего рода.

Молодой князь Шадурский, выиграв с Петьки пари, заключавшееся в ужине у Дюссо, и поставив для этого на карту честь и судьбу женщины, на некоторое время успел удовлетворить свое самолюбивое тщеславие, а затем — снова обратился к баронессе фон Деринг, за которой неукоснительно продолжал ухаживать и его расслабленный батюшка.

Все это крайне досаждало княгине Татьяне

Львовне и повергало ее в немалую печаль. Не говоря уже о том, что она замечала порою двусмысленные, иронические взгляды, которые кидались иногда на двух соперников и которые до глубины души пронзали ее чуткое самолюбие, княгиня Татьяна Львовна имела еще другую, более практическую и тяжело-весную причину боязни за поведение ее сына относительно баронессы фон Деринг. Расслабленный гамен почти совсем не занимался делами, сын его точно так же: они умели только подписывать векселя да поручать Полиевкту Харлампиевичу Хлебонасущенскому, чтобы он откуда бы то ни было достал им денег. Одна только княгиня понимала настоящее положение дел, существенно интересовалась им и изыскивала всяческие средства, лишь бы извернуться и поддержать достоинство и кредит Шадурских в обществе. Задача была нелегкая, стоившая княгине многих горьких минут и размышлений. Но чем более размышляла она, тем неотразимее приходила к заключению, что единственное спасение состоит в женитьбе князя Владимира на Дарье Давыдовне Шиншеевой. Это был бы исход, не

компрометирующий ее сына, за которого теперь приходилось почти каждый месяц то там, то здесь уплачивать весьма значительные суммы. Князь не хотел убедиться никакими резонами, считая решительно невозможным посократить свои широкие потребности, то и дело давал новые векселя, занимал деньги — и деньги необыкновенно быстро проскользали между его рук, уподобляясь воде, в решето наливаемой. Татьяна Львовна неоднократно приступала к нему с решительным объяснением, тщетно усиливаясь втолковать в эту голову весьма некрасивое и опасное положение семейства, если дела будут продолжаться таким образом; но князь Владимир как назло ничего не хотел ни слушать, ни понимать.

— Э, полно, татан! попович выручит! он ведь немало накрал у нас денег, — возражал он ей обыкновенно с изумительной беззаботностью.

— Женись, — настаивала княгиня. — Не все ли равно тебе? Женись поскорее!

— На ком это? на уроде?

— Тут уж нечего думать о красоте: красоту

можно всегда найти и потом, а денег не найдешь.

— Урода я приберегаю на после, *comme dessert, pour la bonne bouche*[219], когда уж совсем плохо придется; а пока еще кредит мой держится — слуга покорный!

— Но ты нисколько не думаешь о нас, — что с нами-то будет тогда?

— Ну, тогда об этом и подумаем.

— У тебя нет ни жалости, ни сыновнего чувства, — укоряла княгиня со слезами материнского чувствительного огорчения, — ты рассуждаешь, как эгоист!

— А что ж, эгоизм — дело недурное, — отшучивался князь Владимир, нимало не поддаваясь на практические доводы своей матушки.

— Если так — так знай же! — попробовала она пустить в ход тяжеловесную угрозу. — Ты вынудишь меня и отца опубликовать тебя в газетах, что мы по твоим векселям неплательщики.

Но князь не смутился.

— *Mersi pour le scandale*[220], — хладнокровно поблагодарил он, — только знайте и

вы, что может из этого выйти. Во-первых, вы замараете мою репутацию, как порядочного человека; во-вторых, испортите мою карьеру; в-третьих, окончательно подорвете свой собственный кредит; в-четвертых, на брак с уродом нечего уж будет и рассчитывать после такого милого скандала *et enfin — que dira le monde?*[221] *

Княгиня, и без этого объяснения понимавшая всю силу столь неотразимых аргументов, увидела, что придуманная ею угроза не попала в цель, и окончательно упала духом.

Да, впрочем, и было отчего. Она знала и видела, что главная причина беспутных трат — баронесса фон Деринг, которой в Петербурге не особенно-то посчастливилось: она не попала в сливки высшего общества и осталась в молоке, то есть в том свете, который составляет слой, лежащий непосредственно под густыми сливками, и к которому, между прочим, принадлежал дом Давида Георгиевича Шиншеева. Так было относительно сливок женского рода; сливки же рода мужского считали даже за некоторую модную честь быть принятыми в кружок баронессы.

Она рассчитывала, что будет введена в высшее общество при посредстве княгини Ша-дурской, но сильно ошиблась в расчете. Княгиня, кажется, скорей бы удавилась, чем решилась бы на такой подвиг в отношении женщины, затмевавшей ее красотой, — женщины, которую она считала своею соперницей во всем, которую ненавидела от всей души и, наконец, благосклонности которой добивались два слишком близкие ей человека — муж и сын. Все это ставило между ними неодолимые преграды относительно ввода в высшее общество. С другой стороны — этому помешала ассоциация Бодлевского и Коврова. Для действия на сливки прекрасного пола ассоциация имела гораздо более полезного агента в лице графа Каллаша, чем в лице Наташи. Прекрасная женщина нужна была для действия на сливки пола непрекрасного, которые, будучи у ее ног, тем удобнее могли попадаться в руки ассоциаторов. Для этого требовалось положение несколько изолированное, независимое, которое трудно сохранить женщине, попавшей в тесный кружок сливок, где каждое действие ее могло подвергать-

ся строгому, беспощадному контролю явных приятельниц — тайных завистниц и соперниц. Наташе весьма удобно было разыгрывать видные роли между сливками за границей, где она действовала одна, с Бодлевским, в Петербурге же, с образованием ассоциации, ей предстояло быть в одно и то же время и светскою женщиной, и необыкновенно тонкой куртизанкой, то есть вечно плыть между Сциллой и Харибдой — положение далеко не из легких; но того требовали ближайшие интересы ассоциации. Она держала себя таким образом, что светская молва никому не могла приписать титул ее любовника, а между тем, благодаря своему исключительному, «эмансипированному» положению и тонко-завлекательному кокетству, Наташа могла всем и каждому подавать эту сладкую надежду. Короче сказать, ее ловкое воженье за нос имело результатом только ущерб для карманов непрекрасной половины сливок аристократических и финансовых. Она составила свой собственный круг, в котором блистали всевозможные титулованные имена мужчин, и между ними — оба Шадурские. Кроме того,

что каждый из ее знакомых проигрывал ей в карты (игру баронесса всегда затевала у себя как бы экспромтом, от нечего делать), и проигрывал весьма значительные куши, она ухитрялась с одного и того же вола драть по две и даже по три шкуры. Мы уже сказали, что почти каждый из этих господ льстил себя тайной надеждой добиться ее благосклонности. На этой-то струнке и играла под сурдинку опытная баронесса. Поводом обыкновенно служил какой-нибудь уединенный визит, интимный прием с глазу на глаз в своем будуаре и, как бы невзначай, между прочим, ловкий подвод разговора на временно затруднительные обстоятельства, сводящиеся к невозможности уплаты по каким-нибудь пустячным счетам (тысячи в три, в пять, а иногда и более). Предупредительный искатель обыкновенно с любезностью предлагал услуги своего кармана; баронесса награждала за это милым пожатием руки, обворожительным взглядом и после некоторого колебания соглашалась на предлагаемый ей «заем», прося только, чтоб эта приятельская услуга осталась в тайне. Искатель, конечно, самым искренним об-

разом давал свое слово и уезжал, вполне уверенный, что получил новый шанс к крепким бастионам ее сердца. Стоило, например, баронессе заметить, что ей очень нравится какая-нибудь драгоценная вещь, виденная ею в таком-то магазине, — и очень часто случалось, что дня через два эта самая безделушка являлась на ее камине или туалете, незаметно поставленная туда, в ожидании будущих благ, рукою предупредительного обожателя. Оба Шадурские были одними из самых ревностных ее данников. Татьяна Львовна все это знала и потому вполне справедливо опасалась за свое состояние, ибо в течение одной только зимы батюшка с сыном починали уже тратить пятнадцатую тысячу на прихоти очаровательной акулы — а что же предстоит еще дальше, если дела пойдут таким образом! Княгиня, конечно, могла бы принять более энергические меры, то есть секретно попросить влиятельных людей о временном удалении сына из Петербурга по каким-нибудь подходящим поручениям, хоть о срочном переводе его на Кавказ, а расслабленного гаме-на увезти, по совету докторов, лечиться за

границу, но... участь ее собственного сердца препятствовала употреблению столь энергической меры: образ Владислава Карозича (Бодлевский тож) слишком нежно царствовал в этом сердце и парализовал собою всякие решительные начинания. Ведь это уж, может быть, последний... последний! и — как знать? — отыщется ли кто-нибудь еще, равный ему по достоинствам и положению, кто бы согласился впоследствии вступить в амплу поклонника ее увядшей красоты?

Стало быть, об энергических мерах нечего и думать, а надо поискать другие, более удобные, которые привели бы к желанным утешительным результатам.

Княгиня знала дилетантскую слабость своего сына к женщинам. Она понимала, что отвлечь его от баронессы может только одна женщина, которая бы явила собою какие-нибудь новые, оригинальные стороны, могущие служить контрастом качествам баронессы, но контрастом столь же обольстительным и завлекательным, как и эти качества. Словом, требовалось увлечение в другую сторону; и его-то предстояло отыскать в возможно ско-

ром времени.

Среди таких размышлений однажды застал княгиню Полиевкт Харлампиевич Хлебонасущенский, явившийся к ней доложить о весьма затруднительном обстоятельстве: по двум векселькам молодого князя надо было произвести плату в три тысячи рублей серебром, да кроме того их сиятельство призывали его, Хлебонасущенского, с требованием взаимы четырех тысконок, которых, как перед истинным богом, нельзя достать.

— Да скоро ли же этому конец? — вспылила княгиня, выслушав представление управляющего. — Куда же поглощаются все эти деньги?

— Вашему сиятельству уж небезызвестно, куда именно, — хитростно ухмыльнулся Полиевкт Харлампиевич, прилизывая ладонью свои височки, — все туда же-с... Конечно, их сиятельство прихоть свою тешат: говорят, что изволили госпоже баронессе в карты проиграть... Оно известно, долг обязательный, а только нашим-то делам тяжеленько становится: не вытянем, матушка, ваше сиятельство, как перед истинным говорю, — не вытя-

нем, потому — квинту натягиваешь, натягиваешь, она тебе пищит, пищит, да и лопнет.

— Я придумала средство — может быть, подействует... слышала я, что тут есть одна особа, которая может помочь... Посоветуемся, — предложила Татьяна Львовна — и вследствие этого совещания Полиевкт Харлампиевич Хлебонасущенский отправился на секретную аудиенцию к Амалии Потаповне фон Шпильце.

— Я беру большое участие в молодом князе, — говорил он ей, — потому как я знал его еще вот эдаким (примерное указание на аршин от полу), так мне известен вполне его характер... Молодой князь нисколько не жалеет себя, здоровью его вред наносится, а родители сокрушаются, в особенности ее сиятельство. А мне, по моей близости к их семейству, поручено, так сказать, спасение молодого князя. Спасение может произойти от особы прекрасного пола, которая сумела бы на время развлечь их душу... Только надо все это обделать как можно политичнее... Княгиня уж не останется в долгу насчет благодарности... А вам, извольте ли видеть, ваше превосходитель-

ство, нужно девицу юную, непорочную, богобоязненную, так сказать, и притом образованную — чтобы, значит, для молодого князя новость в этом предмете была...

Генеральша подумала, сообразила и дала обещание исполнить просьбу Полиевкта Харлампиевича, предварив его, что в случае удачи нужно будет дать за труды три тысячи серебром. Полиевкту Харлампиевичу внутренно очень не понравилась такая почтенная сумма, однако он отвечал, что за этим дело не станет, только, как человек пунктуальный и сообразительный, почел нужным осведомиться, что именно следует разуместь «удачей» в настоящем разе. Амалия Потаповна пояснила, что, по ее разумению, удача будет заключаться в том, если князю понравится избранная ею особа и он обратит на нее существенное внимание. Полиевкт Харлампиевич сообщил, что и по его личному разумению под удачей следует понимать то же самое, и откланялся, заявив надежду, что ее превосходительство не оставит его своим посильным содействием, ибо чрез то самое она поможет совершению даже очень доброго дела насчет

спасения жизни молодого человека.

На другой день Амалия Потаповна поехала в Колтовскую.

XVII В ТЕАТРЕ

Большой театр был полон. Зала горела тысячами огней, радужно игравших в хрустале огромной люстры. Все ярусы лож представляли непрерывную пеструю шпалеру женских головок и нарядов. Если бы наблюдатель захотел проследить по выражениям этих лиц те чувства, которые пробуждают в этих душах звуки итальянской оперы, то увидел бы он слишком большую разницу между низом и верхом огромной залы. В бенуаре и бельэтаже — выставка пышных куафюр, открытых плеч, блестящих нарядов... Одни физиономии блещут бесцеремонным, гордо-самоуверенным нахальством — это оперная принадлежность самых модных, гремящих камелий. Здесь господствует слишком большая открытость бюста, рук, плеч и спины. Здесь из каждой безделки, из каждого брильянтика, лен-

ты, кружевной оборки так и выглядывают убитые на них и нетрудно доставшиеся тысячи. Другие физиономии носят характер элегантной скромности и невозмутимого достоинства римских матрон; они так и стремятся изобразить, будто наслаждаются звуками, но — увы! — внимательный глаз наблюдателя непременно подметит бы, что наслаждение это не истинно сердечное, а деланное, фальшивое, сочиненное, ибо так уже надлежит, так «принято», что хотя бы мы и ничего, кроме страусовой польки, в музыке не смыслили, но, находясь в числе абонентов итальянской оперы, обязаны изображать наслаждение мотивами Россини и Мейербера. Эти физиономии принадлежат Дианам большого света и представительницам золотых мешков.

Переведите свой бинокль ярусом выше — и вы явно придете к заключению, что женские личики как бы говорят своими взглядами:

«И мы тоже абонированы в итальянской опере, потому что и мы тоже принадлежим к порядочному обществу».

Это — ярус блаженного самообольщения и бюрократически превосходительных самолюбий. Наряды что есть мочи стремятся подражать бельэтажу и уравниваться с ним.

Подымайте бинокль выше и выше — и глаза ваши проследят сознательное внимание к музыке, сознательное наслаждение ею. Ложи переполнены зрителями, глаза и шеи тянутся к сцене, в куафюрах отсутствие пышности, в нарядах господство черного и серого цветов; на физиономиях все менее и менее написано дурых претензий, — вы начинаете мириться с оперой, вы приходите к мысли, что здесь не исключительно только выставка волос, бюстов, нарядов и косметик. Но закиньте совсем свою голову, чтобы узреть тропические страны горных мест, где самой судьбой предназначено быть блаженному раю, — и, боже мой, какой искренний, увлекательный, юношески пылкий восторг прочтете вы на лицах этих студентов, кадетов, бедненьких чиновников, гувернанток, учениц консерватории! Вы увидите уже ясно, что не внизу, а вверху помещаются истинные дилетанты и настоящие, искренние ценители музыки, и тем

смешнее, тем жалче покажутся вам роскошно-комфортабельные нижние ярусы.

В изображаемый нами вечер особенное внимание элегантных рядов партера привлекали две ложи. Одна приходилась почти против другой, с тою только разницей, что одна принадлежала бельэтажу, а другая — литерная — приходилась ярусом выше. Из обеих выглядывало по прелестной женской головке, на которые в антрактах были устремлены почти все бинокли черных фраков и блестящих мундиров.

Обе вполне прекрасны, неподдельно свежи, неподдельно молоды, чего — увы! — никак нельзя было сказать про тех Аспазий бельэтажа, которые молодость покупают в косметических магазинах и скорее годятся на амплуа театральных Мегер, чем на роли Фрин и Лаис нашего времени.

— Кто эта особа? — спрашивали в партере, указывая на головку бель-этажа.

— Как! вы не знаете?.. О, *barbare!*[222] да где живете вы после этого?! Не знать хорошенькой женщины в Петербурге!.. Это — танцовщица, *mademoiselle* Брав...

— А чье она приобретение, чья собствен-
ность?

— Князя Желторецкого.

— Il n'a pas un mauvais gout, le prince![223]

— Да вот и он... Смотрите, входит в ее ложу...

— Гм... а ведь недурно быть обладателем
такой женщины?

— Еще бы! А вы слышали, какой он ей
праздник задал?..

— Magnifique, mirobolant![224]

— А там кто такая? вон, видите — в литер-
ной? Une tete de Greuse[225], — говорили, ука-
зывая на другую головку.

— А! в самом деле, это совсем новинка!..
Кто она? с кем она? Кто знает?

Но о последней никто в партере не мог со-
общить надлежащих сведений. Между тем
впечатление было произведено весьма замет-
ное — новинкой заинтересовались.

— С нею кто-то есть, однако, — продолжа-
лись партерные наблюдения, — кажется, да-
ма, — постойте-ка, поглядеть, что ли, в би-
нокль...

— Ба! да это известная генеральша!.. Ну,
так и есть: она!

— Она? те-те-те... Стало быть, дело в купле и продаже.

— Разумеется, так!

— Понимаем...

И говор в таком роде расходится далее, по всему партеру.

Общее впечатление, производимое двумя головками, не бесследно отразилось на молодом князе Шадурском. Самолюбие его, привыкшее сознавать в себе чувство постоянного первенства, тотчас же засосал неутомный червячок. Молодая, почти девочка, mademoiselle Брав являла собою слишком разительный контраст с теми блеклыми женщинами, которые давно уже не представляли ничего нового для князя и людей его категории. Отношения ее к Желторецкому показались Шадурскому чем-то новым, оригинальным и потому уже привлекательным. Желторецкий был его товарищ и даже весьма сильный соперник в общественном положении, поэтому князь Владимир втайне очень его недолголюбивал. Теперь же, видя в театре всеобщее внимание к ложе бельэтажа, слыша этот говор, расточавший похвалы молодой де-

вушке, подле которой в одном из антрактов появился сам Желторецкий, тогда как никто, кроме его, не переступал за порог той ложи, — князь Владимир поддался сильной досаде, подстрекнувшей в нем ревнивые домыслы: «Зачем, дескать, он, а не я первый, выдумал эту штуку? Зачем я несколько месяцев понапрасну торчу у баронессы фон Деринг, тогда как по своему положению мог бы, даже должен иметь свою собственную любовницу, о которой бы все говорили, любовались и завидовали мне?»

Сама судьба являлась на помощь молодому князю. Он не упустил из виду и литерной ложи, где сидела другая, никому не известная, но точно так же всеми замеченная девушка, за которою вырисовывался силуэт генеральши фон Шпильце.

«А чем черт не шутит?» — решил сам с собою Шадурский и тихо удалился из партера.

**СТРАНА ФАНТАСТИЧЕСКАЯ, НО
БЕЗ ПРИМЕСИ ИДИЛЛИИ**

— Eh bien, calme-toi, calme-toi, mon enfant, mon petit bijou!..[226] Ну что ж, ну, зачем плакать? — нежно утешала генеральша фон Шпильце на пути из Колтовской, увозя в карете рыдающую Машу. — Вить я тебе тетенька, родной тетенька, я ж тебе люблю, mon ange![227] * У меня хорошо тебе будет.

Но Маше как-то противны были эти ласки.

— Зачем, зачем вы увезли меня оттуда? — рыдала она.

— А что ж, нельзя иначе; мы вместе жить будем; старики приходить будут, и мы до стариков приезжать будем, — объясняла Амалия Потаповна.

Последнее обещание несколько утешило молодую девушку, так что она уже гораздо спокойнее доехала до квартиры генеральши.

Эта роскошная лестница, швейцар, цветы и вся обстановка великолепного жилища г-жи фон Шпильце произвели сильное и новое

впечатление на Машу: она еще в жизнь свою не видала ничего подобного, ибо вообще о роскоши и богатстве составила себе смутное понятие только по книжкам. Генеральша показала ей предназначенную для нее комнату во втором отделении своей квартиры — и комната эта после бедной девической кельи показалась Маше верхом изящного комфорта. Тотчас же по приезде было послано вниз за модисткой, которая сняла с Маши мерку и принесла целый выбор шляпок, манто и прочих нарядов.

Маша дивилась и не верила глазам своим, не понимая даже, почему все это вдруг так случилось и зачем, по какой причине все это внезапно является к ее услугам только теперь, тогда как до этой минуты она должна была жить в бедном колтовском домике. Что все это значит? и неужели генеральша ей родная тетка, и кто были ее настоящие родители, где они теперь? — допытывала она самое себя — и ни на один из множества подобных вопросов не могла доискаться положительного ответа, ибо генеральша очень коротко, хоть и весьма нежно сказала ей: «Так

нужно было», — и затем, посредством нового притока ласк, отстранила дальнейшие объяснения.

Обеденный стол был накрыт только для двоих, но сервирован так великолепно, что бедной девушке не шутя показалось все это каким-то сном, фантастической сказкой — начиная от массивных серебряных канделябр, от хрустальной вазы с дорогими фруктами и кончая блюдами, которых она никогда еще не едала. Маша едва прикасалась до кушанья (ей было не до еды), но чувствовала, что простому кулинарному искусству Пелагеи Васильевны далеко до этих артистических поварских произведений.

В доме генеральши поражало Машу все, что ни попадалось на глаза, — все для нее казалось новым, невиданным, заставляло вглядываться, размышлять и в первые минуты настолько рассеяло, что тоска разлуки и воспоминание о Поветиных примолкли в ее сердце. Наплыв ощущений, испытанных ею в течение этого дня, был слишком велик и разнообразен, так что ей необходимо надо было успокоиться. Генеральша проводила Машу в

ее комнату и спросила, не хочет ли она почитать что-нибудь? Маша согласилась. Амалия Потаповна прислала ей французский роман — одно из тех произведений, которые завлекательно действуют на молодое воображение, раскрывая перед ним заманчивый мир сладострастных образов и ощущений, и незаметно, капля за каплей вливают соблазнительный яд в свежую, ко всему чуткую душу.

Амалия Потаповна в своей сфере была тонким и опытным стратегиком. Роман действительно увлек молодую девушку, так что она безотчетно поддалась нравственному обаянию тех инстинктов, на которые жгуче действовали эти страницы, необыкновенно быстро и жадно поглощаемые ею. Генеральша несколько раз осторожно, на цыпочках, подходила к ее двери, заглядывала в замочную скважину и каждый раз отходила необыкновенно довольная собою: медикамент действовал — девушка читала.

Часу во втором ночи она закрыла книгу, кончив последнюю страницу, и с сладким чувством необыкновенной истомы и неги, улыбаясь, потянулась на своей новой, элаستي-

чески мягкой постели, ощущая холод чистого батистового белья.

Она закрыла глаза — и в разгоряченном воображении ее соблазнительно зареяли картины только что конченного романа, туманно проносилась целая вереница сцен и образов, из которых каждый вводил молодую девушку в новый, неизведанный ею мир, раскрывая его заманчивые тайны. Ею овладело какое-то странное чувство, странное состояние нервов, так что случайное прикосновение своей же руки к собственному телу заставляло ее как-то электрически вздрагивать и испытывать в эти минуты такого рода небесприятное ощущение, как будто прикасалась и глядя поводила по телу не ее собственная, а чья-то другая, посторонняя рука. Маша крепко обняла свою подушку, прильнув к ней пылающей щекой, и через минуту заснула под неотразимым веянием тех же образов и ощущений.

Проснулась она рано, в комнате было еще темно, только ночная лампа чуть мерцала потухающим светом. Нервы ее поутомонились, и тут-то, в этой предрассветной тишине, на-

пало на нее раздумье. Ей показалось чуждою, холодною, неродною эта роскошная комната, — как будто какая тюрьма, неприветно огородили ее эти оклеенные дорогими обоями стены, — и на Машу напал даже страх какой-то. Представилось ей, что ее навеки разлучили с Петром Семеновичем и Пелагеей Васильевной, что она уж больше никогда их не увидит — и сердце ее мучительно сжалось. «Зачем это она прислала мне вчера такую книгу? Я никогда еще таких не читала, — подумалось ей между прочим. — Что это, хорошая или дурная книга? Отчего это вчера мне было так приятно читать ее, а сегодня как будто стыдно?.. как будто совесть мучит? Отчего я боюсь этой женщины — все какою-то недоброй кажется она мне... Какая моя жизнь здесь будет, что-то предстоит мне тут?» — раздумывала Маша, и чем больше вдавалась она в такие мысли, тем безотраднее представлялись картины этой будущей жизни. Становилось тяжело на душе, подступали слезы. Маша встала с постели, бросилась на колени и долго молилась, без слов, без мысли — одним немым религиозным порывом.

Легкий скрип двери вывел ее из этого экстаза. Она чутко вздрогнула и оглянулась: на дворе уже совсем светло, а у порога стоит горничная генеральши и объявляет, что их превосходительство уже встали, ждут кофе пить и просили поскорее одеваться, чтобы ехать вместе с ними в Колтовскую.

Все сомнения Маши мигом рассеялись, комната снова казалась приветливой и светлой, жизнь такой легкой, веселой, генеральша такой доброй, хорошей женщиной — даже полюбила ее Маша в эту минуту — и она, быстро вскочив с колен, набросила на себя утренний пеньюар, несколько сконфузясь при мысли, что посторонний человек подглядел ее молитву.

Свидание со стариками необыкновенно весело и счастливо настроило Машу на нынешний день. В первый раз в своей жизни она с таким сладостным трепетом подъезжала к родному деревянному домику, в первый раз обнимала такими крепкими объятиями дорогих ей людей. Генеральша уверила, что станет каждую неделю привозить ее в Колтовскую — и Маша была уже вполне счастлива

одним этим обещанием. Немного взгрустнулось ей только тогда, когда поднялась наверх, в свою покинутую комнату, где и зеркальце, и Наполеон с бонбоньеркой, и стол с семенами стояли по-прежнему и, казалось, так приветливо глянули ей навстречу.

«Все по-старому... одной меня только нет!» — подумала Маша и смахнула рукой выкатившуюся на ресницы слезку. Несколько вещей она взяла с собою, на память о прежней жизни.

Потом рысаки генеральши помчали ее по Невскому проспекту, который кипел экипажами и пестрым гуляющим людом. Маше редко доводилось посещать Невский, так что теперь она с детским наслаждением высовывала головку в каретное окно и любопытно оглядывала встречные предметы. Генеральша завезла ее в кондитерскую Rabon и купила конфет в дорогой бонбоньерке; потом заехали они в два-три роскошные магазина, где Амалия Потаповна приказала завернуть для Маши несколько ценных туалетных безделушек, а по приезде домой их ожидал уже по-вчерашнему сервированный стол, которому на

сей раз счастливая девушка оказала гораздо более существенного внимания. Роскошно от-деланное платье, принесенное ей к вечеру из магазина, и объявление генеральши, что они вместе поедут в театр, в итальянскую оперу, довершили ее неописанный восторг. Маша еще никогда не бывала в театре.

Когда она из полуосвещенной аван-ложи вступила в залитую яркими огнями залу, то даже попятилась назад, даже испугалась чего-то — столь поразил ее весь этот блеск, громадность размеров театра, копошащийся внизу партер и ряды лож, униженные зрителями. О звуках нечего уже и говорить. Музыка и голоса, в сочетании с оптическим обманом декораций и блестящими костюмами, произвели на нее такое сильное впечатление, что она млела и замирала в переливах этих мелодий, считая все происходящее перед ее глазами волшебной грезой из какого-то фантастического мира. Сердце сладко и трепетно занывало в груди, яркие образы прочитанного вчера романа с новою силой восстали в ее экзальтированном воображении, и в эти мгновенья впервые сознательно захотелось ей жить,

чувствовать, любить, — любить всю душою, всю волю, всем существом своим.

Дверь в ложу осторожно приотворилась, и в ней показался красивый молодой человек в блестящей военной форме.

— Князь Шадурский, — отрекомендовала его генеральша восторженной и смущенной девушке.

XIX КОНВЕНЦИЯ

— Ты, Marie, слушай, а я выйду, мне жарко, — наклонилась к ней Амалия Потаповна спустя минуты две после рекомендации и, кивнув из-за спины ее Шадурскому, удалилась вместе с ним в аван-ложу.

— Н-ну?.. Was sagen sie denn dazu, mon prince?[228] — обратилась она к нему с улыбкой.

— Кто это с вами? — спросил он шепотом.

— C'est mon eleve...[229] А вам нравится?

— Влюбиться готов.

— Ого!.. так скоро?.. Eh bien, pourquoi pas?

[230]

— Да верно уж влюблен кто-нибудь раньше?

— *Personne, mon prince, personne!*[231]

— В самом деле? Так ведь я готов влюбиться надолго — *matrimonialement*[232].

— *Comme de raison*[233].

— А условия?

— *Avant tout — la modestie: das ist ein edles Madchen, et surtout — une innocence irreprochable*[234].

Глаза Шадурского блеснули тем удовольствием, в котором проявляется достигаемое удовлетворение самолюбия. Эффект, произведенный танцовщицей Брав, подстрекнул его во что бы то ни стало самому добиться того же: «Пускай, мол, и у меня будет женщина, которая станет производить такой же эффект своей молодостью, своим именем моей любовницы; пускай и мне завидуют, как этому Желторецкому!» Одного подобного побуждения было уже совершенно достаточно для того, чтобы князь Владимир стал преследовать вновь загоревшуюся мысль, позабыв все остальное.

— Итак, ваши условия? — повторил он ге-

неральше.

— Условия?.. Ich habe schon gesagt[235].

— Как, только-то и всего? — изумился Шадурский.

— Н-ну, што ишо там?.. Vous voulez en faire votre maitresse, n'est ce pas?[236]

— Понятное дело.

— Ну, и коншин бал!

— А ваш гонорар?

— Фуй... за кого вы меня берете? — оскорбилась генеральша, то есть сделала вид, будто оскорбилась, ибо гонорар был обусловлен уже заранее, в разговоре с Полиевктом Харлампиевичем Хлебонасущенским. В подобных подходящих обстоятельствах генеральша любила иногда изображать собою женщину в некотором роде добродетельную и благородную.

* * *

Наступил антракт. Маша появилась на пороге аванложи. Ее глаза блистали тем живым восторгом, которому поддается чуткая душа под обаянием музыкальных звуков. На лице играла улыбка — это лицо все сияло, все улыбалось, дышало полною жизнью и ярко гово-

рило о том счастья, о тех новых ощущениях, под обаянием которых она ходила целый день и которые шли для нее *crescendo* и *crescendo*[237]. У нее закружилась голова. Прислонясь рукой к дверному косяку, она чувствовала во всем теле какую-то истомную слабость, какое-то легкое качание, будто пол под нею плавно колыхался, и Маша крепче держалась за косяк, потому — ей казалось, что сейчас силы оставят ее и она упадет. Полуоткрытые глаза блуждали по малиновым бархатным драпировкам аван-ложи, мимоходом скользнули по зеркалу — и Маша не без самодовольного удивления заметила, что она никогда еще не была так хороша собою, как сегодня, как в эту минуту.

«Любить, любить надо!» — смутно шептало ее сердце, как будто кто другой переселился в ее душу и говорил ей оттуда эти слова. «Любить, любить надо!» — вслед за своим сердцем повторяла Маша почти бессознательно, чуть слышным шепотом, и невольно как-то остановила глаза на молодом человеке, который тоже не спускал с нее пристального взора и видимо любовался ею.

В ложу вошли двое старикашек — люди высокосолидные и высокозначительные, что било в нос каждому с первого же взгляда на их наружность. Один был гражданин, а другой — воин, и оба в сложности имели за сто тридцать лет.

— Ah, merci, merci, madame! — заговорил один из них сладостно-разбитым, дрожащим голосом, поминутно хихикая. — Vous etes si aimable, si spirituelle!.. Je ne puis oublier jusqu'a presant cette nuit athenienne, que vous nous avez donnee... кхе, кхе, кхе!.. Quelles femmes superbes! Et quelles formes antiques a cette petite poularde de Pauline![238]

Но вдруг, заметив присутствие молодого Шадурского, в некотором роде «молокососа», старец осекся, немножко сконфузился и тотчас же переменял тон и манеру держать себя: папильон мгновенно преобразился в его превосходительство.

— Кто эта особа... с вами в ложе? — солидно спросил он, указав на стоявшую в дверях Машу, которая хотя и слышала его восторги, но не поняла их по причине полного неведения касательно прелестей этой nuit

atheneinne[239], приводившей в такой экстаз почтенного старца.

— Моя племянница Marie, — представила ее Амалия Потаповна. — Барон фон Шибзик, граф Оксенкопф, — указала она затем на обоих старцев.

Маша поклонилась.

«Какие у нее все важные знакомые, все графы да князья, и на визитных карточках в гостиную все больше знатные фамилии», — подумала она в простоте сердечной.

Дрожащий барон подошел к ней и, сладко щурясь, отечески потрепал по ее свеженькой щечке. Через минуту оба старца, так неожиданно стесненные присутствием «молокососа», удалились из ложи, весьма недовольные тем, что нигде проходу нет от этих мальчишек, забывших всякое почтение и дисциплину. Шадурский же, со своей стороны, остался, напротив, необыкновенно доволен появлением старцев, ибо понял причину, приведшую их сюда.

«Значит, она в самом деле замечена всеми, если уж и эти две подагры не задумались притащиться во второй ярус», — решил он сам с

собою и обратился к молодой девушке совсем бесцеремонным, дружеским тоном:

— А мы с вами, mademoiselle Marie, надеюсь, будем хорошими друзьями, потому что отчасти даже родственники... Я тоже несколько довожусь племянником вашей тетушке.

— Ах, какой повес! ах, какой повес! — закатив жирные глазки, качала головой генеральша. — Marie, il est amoureux deja!.. Je vous felicite![240] — пошло вздохнула она.

Девушка сконфузилась и потушила глаза. Пошлость генеральши врезалась каким-то непрошеным диссонансом в ее светлое, поэтическое настроение. «Любить... его бы можно любить, да зачем она говорит об этом?» — мелькнуло у нее в голове.

— Marie, — снова обратилась к ней Амалия Потаповна, — князь предлагайт нам катиться на тройке — за город, а потом к нам ужинать. Ты согласна?

Девушка ответила улыбкой и, воспользовавшись первым аккордом оркестра, удалилась в ложу.

XX НА БРУДЕРШАФТ

Ночь была славная, синяя, морозная — одна из редких петербургских ночей, где по зимам чаще всего господствует туман и прелая слякоть. Небо искрилось необыкновенно яркими звездами; прохваченный добрым морозцем и потому крепкий и белый, снег хрустел и визжал под полозьями лихого троечника, который с ямщицкими покриками, кругло помахивая кнутом, ухарски заставлял своих серо-пегих выносить широкие, красивые сани — только пар валил столбом, да снежная пыль подымалась из-под копыт, и с какою-то бодрящей приятной колючестью иглы этой блестящей пыли резали зарумянившиеся щеки укутанной Маши, которая сидела рядом с Шадурским. Генеральша, ради простора и спокойствия, выбрала себе переднее сиденье, за спиной ямщика. Петербургские троечники знали молодого князя и, ездя с ним, животом не жалели: потому — барин богатый, на водку красненькую иной раз швы-

ряет — только бы ему, значит, удовольствие предоставить.

Мигом оставили они за собой ярко освещенные улицы, мигом промелькнуло перед глазами мрачно-высокое, угрюмо-громоздкое здание 4-й части, напоминающее собою какой-то замок или, скорее, тюрьму. Вот и Циммерманов мост на Обводном канале, а в стороне, направо — очень эффектный вид огромной фабрики, представляющей по вечерам славную иллюминацию, когда все пять или шесть этажей ее заблещут длинными рядами газовых огней в многочисленных окнах. Вот и громадная чугунная арка Триумфальных ворот, в просторечии известных под именем «Нарвских трухмальных», — а там, за воротами, уж и городу конец, там уж пошло Петергофское шоссе с нескончаемым рядом дач по обеим сторонам. Кое-где мелькают огоньки... Песни доносятся откуда-то... Тянется обоз с сеном в город... Вот в стороне три цветных фонаря над воротами одной дачи, и с случайным ветром донеслось оттуда несколько аккордов модного вальса... А тройка мчится себе мимо и мимо, обгоняя других попутных

троечников, с которыми ямщик перекидывается бойким замечанием или выкриком. И видит Маша, что напихано там, в этих попутных санях, много народу, словно сельдей в бочке, мужчин в шубах и женщин в нарядных капорах — и, надо полагать, очень там весело, потому — слышатся оттуда беззаботный хохот и женский визг и пошленький мотив фолишона. Ничего-то подобного не видала еще Маша — а в этот день, как нарочно, ей суждено было испытывать все новые и новые ощущения. Любо ей было впервые так шибко мчаться на тройке, любо глядеть на это глубоко ушедшее, забрызганное звездами небо, на эти высокие деревья, запущенные свежим инеем и облитые бледным светом месяца, который падал и на дремавшую генеральшу. Надо полагать — она спала от усталости, а вернее, что притворялась спящей. Сердце замирало у Маши от ощущения быстрой езды, дыхание чуть-чуть спиралось от бодрого морозного воздуха, а в ушах звенели лихо подобранные бубенцы — и овладело ею в эту минуту такое широкое, удалое чувство, от которого жизнь неудержимым ключом закипает,

восторженная слезка просится на глаза из тяжело переполненного счастьем сердца, — такое чувство, когда душа просит простору, когда человеку птицей хочется быть или так бы вот взять и закричать во всю грудь от этого наплыва светлых, восторженных ощущений, когда, кажись, мира целого мало для того, чтобы высказаться, и хочется всем и каждому броситься на шею, обнять, целовать — до самозабвения, до одури какой-то.

— Господи! как хорошо! как хорошо все это!.. Ночь-то какая славная! — тихо шепчет Маша, закрывая глаза, и слышит, что близко наклонился к ней молодой князь, чувствует, что смотрит он на нее во все глаза — этой радостной красотой любуется. Нашептывает ей что-то внутри, что он красив и молод, что его можно любить, и рисует себе она его черты, все более и более слышит близость его: правую щеку ее холодом опахивает ветер с морозною пылью, а по левой тепло скользит его дыхание. «Вот-вот поцелует... вот поцелует», — трепетно думает Маша, а самое охватывает тревожный страх, боязнь этого поцелуя и в то же время тревожно-застенчивое жела-

ние его.

Но князь, на первый раз, был очень скромн.

— Marie, je veux vous faire encore une surprise[241], — нежно обратилась генеральша к девушке, когда та по приезде с катанья вошла в залу, переодетая в новый изящный пеньюар, заранее дожидавшийся ее в уборной самой генеральши, по желанию которой и было совершено переодеванье. Она, с видом авторитета, внушила на ухо Маше, что «так следует по вечерам между своими, а перед кузеном и тем более нечего церемониться». Маша была столь много счастлива в этот день, и к тому же пеньюар, как новый наряд, настолько занял ее, что без рассуждений, тотчас же исполнила желание Амалии Потаповны, лишь бы в свою очередь сделать ей что-нибудь приятное.

— Какой сюрприз? — подняла она свои удивленные глазки.

— Тетушка хочет отпраздновать ваше новоселье, — объяснил за генеральшу Шадурский, — и потому мы будем ужинать в вашей комнате: там уже и стол приготовлен. Вы, ста-

ло быть, — наша хозяйка; ведите же нас.

Ужин был действительно превосходный. Генеральша не желала ударить лицом в грязь перед молодым князем и потому, заезжая из театра домой перед катаньем на тройке, успела распорядиться обо всем самым предусмотрительным образом.

Три бокала шампанского, выпить которые она убедила Машу, привели эту последнюю в крайне веселое расположение. Глазки ее заблистали еще ярче прежнего, из пересохших губ порывисто вылетало жаркое дыхание. Она чувствовала жажду, а князь советовал утолять ее шампанским, и Амалия Потаповна вполне соглашалась с его мнением, не забывая сама, для примера и поощрения «племянницы», наполнять свою рюмку. Маша чувствовала себя необыкновенно легко и приятно, она уже без застенчивости болтала с князем и генеральшей, звонко смеялась и пела, вскакивала на стул, со стула на диван, прыскалась водой и бегала по комнате. Шампанское было для нее дело непривычное и потому весьма скоро произвело надлежащее действие.

— Ну, я пойду уже спать, а ты, Marie, занимай кузена, — сказала Амалия Потаповна, грузно подымаясь с места, и поцеловала в лоб молодую девушку.

— Послушайте-ка, ma tante[242], мне что-то не хочется ехать домой: лень, да и поздно, прикажите мне там где-нибудь сделать постель, — предложил Шадурский, на что Амалия Потаповна с улыбкой ответила: «Bon»! [243] * — и удалилась из комнаты. Маше после нескольких бокалов шампанского несколько не показалось странным последнее предложение молодого князя.

Она продолжала прыгать, смеяться и не оказывала особенного сопротивления, когда тот, поймав ее за руки, начинал покрывать их поцелуями; ее очень забавляло, если она успевала выдернуть свою ладонь из-под его губ в то время, как они готовились прикоснуться к ней. Ей весело было с каким-то наивно-грациозным, кошачьим кокетством дразнить молодого человека.

— Послушайте, кузина, мы с вами ведь родня — так выпьемте на брудершафт! — вдруг пришла ему фантазия.

— На брудершафт?.. А что это значит, выпить на брудершафт?

— А вот я вас научу. Это значит, что мы поцелуемся и после этого будем ты говорить. Согласны?

— Нет, не хочу... Ведь это только муж да жена говорят, или брат с сестрою...

— А мы с вами кузены — не все ли равно?

— Ну, выпьемте, пожалуй!.. Как же это?

— А вот как, — объяснил князь, налив два бокала. — Давайте сюда вашу руку...

— Натe хоть обе!

— Нет, надо правую, которая с бокалом. Садитесь ближе ко мне — сюда, на диван.

— Ну, а теперь что?

— А теперь мы скрестим наши руки, как кольцо с кольцом, и выпьем... Пейте, кузина! разом только! разом! да и все до дна — вот так! Молодец, кузина!

Маша выпила залпом и весело засмеялась.

— Теперь я тебе буду ты говорить, — заметил Шадурский.

— «Ты» говорить?.. А я-то как же?

— И ты мне тоже.

— Ах, как это странно — «ты»!.. Влади-

мир — ты... Володя. Воля — ты, — словно сама с собою тихо говорила она в полузабытьи, медленно выговаривая слова и как бы вслушиваясь в гармонию их произношения. — А ведь это хорошо ты говорить! — вдруг с живостью вскочила она с места.

— Еще бы не хорошо! только ты постой, ты сиди — мы еще не кончили наш брудершафт! — притянул он ее к себе за руку.

— Как не кончили; да ведь мы уж на ты? — старалась она вывернуться.

— А целоваться-то — разве забыла?

— Э, нет, я целоваться не хочу... не хочу... и не хочу!

— Мало ли чего ты не хочешь!.. Теперь уж нельзя, теперь надо, — говорил он, насильно обняв ее одной рукой за талию, а другой стараясь повернуть к себе ее головку, которую она порывисто и грациозно то опускала низко на грудь, то вдруг закидывала кверху или отводила в стороны, закрывая ладонями свои смеющиеся губки, чтобы увернуться от его поцелуев, покрывавших уже ее глаза, лоб и шею и щеки.

Наконец ему удалось отвести от лица ее

руки, и она, изнеможенная этой борьбой, уже не сопротивлялась более его долготу, впивающемуся поцелую.

Это был еще первый подобный поцелуй в ее жизни, и под неотразимым его обаянием она без сил, без движения, в каком-то чудном забытьи, ощущая все это словно сквозь сон, опрокинулась на державшую ее руку.

Князь чувствовал на этой руке и на своей груди нечастые конвульсивные вздрагивания всем телом молодой девушки, видел томление, разлившееся по ее красивому лицу, — и с видом дилетанта, сделавшим бы честь пятидесятилетнему ловеласу, любовался на свою добычу.

И вот эта добыча чувствует уже, как раскрылся ворот ее пеньюара, ощущает чужую щеку на своем обнаженном плече... болезненное, но бессильное чувство стыда вынуждает у нее последние сопротивления, последние усилия. Она, полная неизвестности о том, что с ней делается, что с ней будет, — без слов, одним только красноречивым взглядом, полным слез, молит его отсрочить роковой миг и старается стыдливо прикрыть свою грудь и

плечи.

* * *

Под утро ее разбудили новые ласки любовника. Здесь только она опомнилась и с криком ужаса вырвалась из его объятий.

— Князь... я — бедная девушка... Стыдно! — через силу проговорила она, давя в груди истерические рыдания.

Но князь был не из стыдливого десятка.

— Прочь!.. подите прочь от меня! не подходите! — возвысила она голос, отстраняя его рукою. — Господи, господа! что они со мною сделали! Как я людям-то в глаза погляжу теперь!.. О, какая подлость!.. Несчастливая я, несчастная! — и она, рыдая, бросилась на свою подушку.

Князю еще никогда не доводилось быть свидетелем подобной сцены. Он испугался, струсил и, став перед ней на колени, начал просить прощения, уверять в своей любви, клясться, что он все это загладит, говорить, что хочет жениться на ней, и все прочие глупые и пошлые слова, которые обыкновенно говорятся подобными героями в такие критические минуты.

Но Маше слышались в его словах искренность и страсть и нежность — она мало-помалу поверила его уверениям, потому что вообще девушке в ее положении легко верится словам и клятвам человека, к которому расположено ее собственное сердце. Его мольбы и кроткие, несмелые ласки успокоили Машу, она доверчиво подняла его с колен и проговорила с глубоким вздохом:

— Ну, что кончено, того не воротишь... Ты от меня взял все — у меня ничего больше нет теперь: так люби же меня.

Бедная душа от той самой минуты покори-лась своей печальной необходимости. Ей как-то и верилось и не верилось князю, что он на ней женится, и скорее даже не верилось — почему? — она сама не знала, а хотелось ей только, чтобы он любил ее, чтобы среди новой жизни ее у тетушки-генеральши была бы хоть одна близкая, теплая и любящая душа, которой бы можно было довериться. И она с детской откровенностью рассказала ему про свою прежнюю тихую и безвестную жизнь в Колтовской, про своих стариков, про то несколько странное участие, которое прини-

мала генеральша в ее судьбе чуть что не с первого дня рождения.

Князь слушал ее с интересом, обдумывая в то же время, каким образом отделает для нее квартиру, куда перевезет ее как свою содержанку. Он, между прочим, сообщил Маше и о своем намерении переселить ее от генеральши, уверяя, что впоследствии и старики к ней переедут и будут жить они по-прежнему все вместе, что непременно случится после женитьбы — стоит только выпросить позволение отца и матери, которые наверно согласятся беспрекословно. Предположение о жизни вместе со стариками так обрадовало Машу, что она разом все простила и все позабыла своему нечаянному любовнику, сердечно привязавшись к нему за это доброе обещание.

Часам к девяти утра он тихо простился с нею, оставя молодую девушку наедине раздумывать обо всем, что случилось в течение роковой для нее ночи. Эту ночь она считала только странной случайностью, — «видно-де уж судьба такая», — и не подозревала, что все это было не более как одним из обыкновенных петербургских способов оболъщения.

XXI

СОДЕРЖАНКА

Князь каждый день начал бывать у генеральши, проводя почти все время с Машей. Амалия Потаповна притворялась, будто ничего не знает и не замечает, говорила с ней о Шадурском как о своем родственнике, восторгаясь его благородными и возвышенными качествами, красотой и прочим, и замечая при этом, что хорошо было бы, когда б он на Маше женился, в чем нет ничего невероятного, потому князь Владимир сам признавался ей, будто влюблен и намерен просить позволения на брак. Все это говорилось для того, чтобы возможно большее время продолжить заблуждение девушки и окончательно поселить в ней любовь и безграничное доверие к молодому князю, который, выйдя из комнаты Маши, в то же утро рассказал генеральше сцену, последовавшую за пробуждением.

Маша, ежедневно слушая эти сладкие напевания Амалии Потаповны и новые уверения Шадурского, все более и более подчиня-

лась их баюкающему действию. Ей уже теперь верилось в возможность их осуществления. Она только скрывала от мнимой тетушки свои окончательно близкие отношения к мнимому кузену, полагая, что та ничего не подозревает, а допускает близость между ними единственно ради родственных отношений. О своих стариках она перестала напоминать генеральше. Жгучее чувство боли и стыда наполняло ей душу каждый раз, как только приходила на ум близость свидания с ними. Маша чувствовала, что у нее не хватит решимости взглянуть прямо в глаза этим честным и прямодушным людям, что с первой же встречи расскажет им все, как было, а это страшно огорчит, даже убьет их окончательно. Ей почему-то бессознательно казалось, что они не так-то легко поверят намерению князя касательно женитьбы, и, может быть, станут увещевать ее забыть его, не видеться с ним более, а это уже она считала решительно невозможным, потому что с каждым днем все более и более привязывалась к нему. Словом, девушка чувствовала, что свидание с ними было бы слишком горько и тяжело для нее,

чувствовала, что она невольно преступила те заветы, которые внушала ей добрая старушка, а все, что исходило из ее помыслов и поступков, она привыкла считать добрым, честным, хорошим и потому в глубине души сознавала себя сильно виноватою перед нею и ее заветами. Все это начинало мучить ее, как только оставалась она наедине сама с собою, и затихало лишь в те минуты, когда приезжал Шадурский. Она всячески отдаляла возможность свидания и была рада, что Амалия Потаповна не напоминает ей про Колтовскую. Ей не хотелось видеть своих стариков до того времени, пока она не станет женою Шадурского. Тогда она поедет к ним, перевезет их к себе и, счастливая, окончательно облегчит свою душу откровенною, честною исповедью. Князь Владимир постоянно был ласков и нежен с нею. Немудрено — он еще впервые обладал такою молодою, чистою девушкою, да и к тому же мечта его о заведении своей собственной содержанки не успела еще осуществиться. А ведь в последнее время он только и наслаждался этою самолюбивою мечтою.

Между тем Полиевкт Харлампиевич не дремал. Амалия Потаповна внушила князю, чтобы он поручил Хлебонасущенскому отыскать и обставить квартиру «для своей новой любовницы» — и князь не без самоодовольной гордости передал это распоряжение управляющему. Юное самолюбие его требовало, чтобы весь свет поскорее узнал, что у молодого князя Шадурского есть своя собственная содержанка. Полиевкт Харлампиевич поусердствовал желаниям князя. Он нанял очень милую, изящную квартиру из четырех или пяти комнат и обставил ее вполне комфортабельно, впрочем, не на чистые деньги: с мебельщиком и иными поставщиками заключено было условие, что мебель, лошади с экипажем и вся утварь домашняя берутся напрокат, с платой помесечно. Молодой князек уж и без этих последних расходов достаточно-таки понагрел карманы Хлебонасущенского, у которого наличных осталось теперь немного, а делать для него новые займы Полиевкт Харлампиевич до времени не находил удобным, так как за княжеским семейством в последние месяцы понакопился весьма из-

рядный должок, который следовало получить ему из первых сумм, имеющих прибыть из имений.

В неделю все было устроено. Князь заехал к генеральше часу в девятом вечера и предложил Маше по-прежнему прокатиться с ним на тройке. Генеральша отказалась от катанья, по причине будто бы головной боли, и отпустила молодую девушку, которую после загородной прогулки князь Владимир привез прямо уже в новую, предназначенную для нее квартиру.

— Вот, Мери, это все — твое; с нынешнего вечера ты живешь здесь, — сказал он, вводя ее в комнаты, походившие на изящную и милую игрушку. — Вот это твоя гостиная, вот столовая, будуар, ванна мраморная — не правда ли, мило?

Девушка глядела на все изумленными и детски радостными глазами.

— Как это ты говоришь, что я здесь останусь, — а тетушка-то? — возразила она.

— О тетушке не беспокойся: это все уж я беру на себя, уж я знаю, что делаю, — успокаивал князь, — ведь я же тебе говорил раньше,

что увезу тебя от нее — ну и увез!

Маше показался несколько странным такой род успокоения, но она смолчала и только задумалась несколько.

Князь заметил это.

— Ну, что же, ты как будто не рада? — спросил он, вглядываясь в ее глаза. — Ведь тут тебе лучше будет — ты теперь полная хозяйка — все это твое, говорю тебе.

— Это все так... А что подумает тетка, когда узнает, что я ушла от нее?

— Опять-таки повторяю — это не твое дело. Тетка знает, что я женюсь на тебе, и женюсь очень скоро; как видишь, даже и квартира для нас готова.

Чем более раздумывала Маша над его словами, тем более казалось ей как-то странным все это.

— А где же старики мои будут? — решила наконец спросить она. — Тут для них ведь нет помещения...

Шадурский не задумался.

— Само собою нет, — сказал он, — для них готовится другая квартира в этом же доме... Теперь она занята жильцами, но скоро очи-

ститися... Одним словом, нечего тебе тут раздумывать и беспокоиться, — воскликнул он весело, — я знаю, что делаю, а вы, во-первых, извольте не рассуждать, во-вторых, снимайте свою шляпу и — марш хозяйничать за чайный стол!

Князь был необыкновенно весел весь вечер: самолюбие его начинало удовлетворяться. Он мечтал, как будет хвастаться теперь перед приятелями своей содержанкой, как будут собираться они иногда в этой самой квартирке, как он введет Машу в общество их женщин, как она будет появляться на улице в щегольской коляске и сидеть в бельэтаже Большого и Михайловского театров; много подобных сладких мечтаний рисовало ему услужливое воображение, и чем отраднее были мечтания, тем веселее становился молодой князь. Он был очень нежен, очень ласков с молодой девушкой и казался ей таким любящим, что она невольно верила всем его словам и обещаниям, прогоняя от себя сомнение и холодный анализ. Да и прогнать-то их не было ничего мудреного, потому что она любила молодой, беззаветно-горячей, первой и

потому верующей любовью.

Целый вечер он строил перед нею планы их будущей семейной жизни и — надо отдать ему справедливость — весьма искусно лавировал между Сциллой и Харибдой, мешая вымышленные мечты о женитьбе и последующей жизни, служившие для вящего обморочения доверчивой девушки, с мечтами действительными о жизни не жены, но содержанки. Впрочем, эти последние мечты открывал он ей весьма осторожно, не проговариваясь, и только урывками, настолько, насколько это было возможно, чтобы каким-либо противоречием не возбудить в ней ненужных подозрений. И девушка к концу вечера была уже совершенно счастлива, мечтала и сама вместе с ним, строя множество воздушных замков, которые он, в свой черед, старался еще как можно более изукрасить; она слушала его игру на прекрасном роялино, пела, смеялась и с детскою радостью разглядывала каждую мебель, каждую драпировку и вещь своей новой квартиры.

* * *

На другой день Маша в нарядной шляпке и

щегоольской шубе каталась, по просьбе и настоянию князя, по Невскому проспекту и Дворцовой набережной. Экипаж и рысаки были вполне прекрасны. Князь почти все время скакал рядом с нею верхом на своей пегой кобыле, составлявшей предмет зависти записных кавалеристов и спортсменов. Чуть усматривал он какого-нибудь приятеля, идущего или едущего навстречу, тотчас же с фамильярной улыбкой наклонялся несколько в сторону молодой девушки и начинал с нею болтать. Проехал Желторецкий, кинул беглый взгляд на Машу и на Шадурского, перекинулся с ним поклоном — и сердчишко князя Владимира екнуло самолюбивою и тревожною радостью. Это были первые публичные минуты его торжества.

Вторые минуты подобного же свойства настали для него в Михайловском театре, куда поехала Маша опять-таки по его просьбе и настоянию. Ей было теперь не сколько неловко сидеть одной-одинешеньке в ложе, особенно во время антрактов, когда на эту ложу устремлялось достаточное количество бесцеремонных биноклей. Она чувствовала застен-

чивое смущение, которое, отражаясь и на ее лице, придавало ей необыкновенно милый и грациозный характер, что заставляло еще более обращать внимание дилетантов, ибо эта застенчивая скромность вновь созданной фаворитки являла слишком выгодный для нее контраст с наглостью записных куртизанок. О ней уже начинали поговаривать как о содержанке молодого Шадурского; одного этого было вполне достаточно, чтобы Маша явила собою интересную новость.

Князь Владимир с совершенно равнодушным видом сидел в партере, будто не замечая этих биноклей, и с тем же самым внешним равнодушием не преминул на несколько минут появиться в ложе Маши. Все сие сделано было с целью, дабы утвердить начинавшее распространяться мнение, что молодая застенчивая девушка — новое приобретение князя.

— Послушай-ка, князь, кто это такая? — спрашивали его потом в партере несколько любопытных и ближайших его приятелей.

— Женщина.

— Это мы видим... и вдобавок — прелест-

ная женщина. А ты, как кажется, весьма близок к ней?

— Не знаю... может быть, — уклончиво ответил Шадурский, нарочно прекратив дальнейший разговор ради пущего эффекта, и, внутренне довольный собою более, чем когда-либо, направился к своему креолу.

Теперь цель его была почти достигнута, самолюбие начинало все более и более удовлетворяться — оно радовалось и ликовало, предчувствуя дальнейшее распространение желанного говора.

* * *

Маша с каждым днем все глубже и сильнее привязывалась к князю. В этой первой и восторженной любви она забыла все остальное, даже ее старики стали для нее теперь как-то дальше и чужее. Боль укора сдавливала ее сердце при мимолетном воспоминании о колтовском домике; но так как новое чувство ее было слишком светло и радостно, то она старалась отгонять от себя эти воспоминания, утешаясь и баюкая себя надеждою, что скоро явится к ним замужнею женщиной и принесет с собою великую радость, которая

вполне вознаградит всех троих за теперешнюю разлуку.

Между тем, чем больше разрасталась ее любовь и чем больше проходило время, тем меньше князь говорил о скорой женитьбе и планах будущей жизни. Вскоре он замолк об этом совершенно, однако по-прежнему был нежен, предупредителен и ласков, показывался иногда на улице рядом с ее экипажем и в театральной ложе, а Маша, поглощенная наплывом своего нежного чувства, казалось, и сама позабыла про свадьбу. Для нее существовал только один идол, на которого она молилась; в каждой повести, в каждом романе, прочитанном ею, в лице героя постоянно рисовался он — прекрасный, возвышенный, храбрый и благородный, и не было той идеальной добродетели, не было того идеального качества, которых бы втайне она не приписала ему. Это была какая-то детски слепая любовь, слившаяся всею своей горячей глубиной с совсем ребяческой, беспечной веселостью, так что Маша необыкновенно стройно и гармонично казалась в одно и то же время и грациозно-прихотливым, наивно-милым ребен-

ком и глубоко любящей женщиной.

Если б меня спросил кто-либо: как, почему и за что, за какие качества, за какие достоинства нравственные, за какой поступок, наконец, полюбила так эта девушка молодого князя? — я бы, признаюсь, пришел в немалое затруднение касательно ответа столь категорического. Есть два рода любви — и любви совершенно искренней, хорошей и честной. Одна любит за что-нибудь и вследствие чего-нибудь, другая — ни за что и без всяких причин. Та любовь, которая зарождается вследствие сознания каких-либо нравственных достоинств человека, не выходит непосредственно из сердца; она первоначально логически складывается в умственном сознании и уже из головы сознательно переходит в чувство. Другая же зарождается непосредственно в сердце, без всякого вмешательства головы, которая начинает работать уже потом, изобретая всяческие достоинства и нравственные совершенства для избранного субъекта. Это именно «влечение — род недуга», по меткому слову поэта. Но спросите вначале у этой последней любви: за что именно она любит? —

и вы никогда не получите иного ответа, как только следующий: люблю за то, что любитесь. И это будет единственно искренний ответ, потому что подобная любовь сама себе цель и причина, сама себе оправдание. Это — любовь чисто физическая. Она — факт, и отрицать ее невозможно, как невозможно и отыскать логически правильных причин, за что и почему именно она любит. Такова была любовь Маши.

* * *

Однажды князь заехал к ней часов около четырех дня и нашел ее очень грустной. Хотя она и старалась не высказывать этого, напуская на себя веселость, однако от его взгляда не скрылся тайно сосущий ее червяк. Расспросы, участие, настояния — ничто не помогло ему понять причину ее скрытой тревоги и грусти. Наконец, после неотвязных и долгих просьб с его стороны, Маша нехотя рассказала, в чем дело.

Дело было в том, что она отправилась гулять одна, пешком, и, торопясь домой, в надежде застать у себя ожидающего князя, обогнала двух, по-видимому, весьма приличных

молодых людей.

— Ба, да это Мери! — сказал один другому. — Обрати, друг любезный, внимание на эту женщину: премилое создание — рекомендую!

— Какая Мери? кто она? — откликнулся другой, идя с товарищем непосредственно вслед за нею.

— Мери — содержанка молодого Шадурского.

— Да?! а он уже разве обзавелся?

— Как же, недели две уж есть.

— А! стало быть, одною камелиею больше.

— Надо полагать, так.

— Гм... А должно быть, она оберет его вконец, как ты полагаешь?

— Если не дура, так оберет, конечно, — *c'est une profession, comme une autre*[244].

— *Eh bien, filons, je veux la voir*[245].

И молодые люди, обогнав, в свою очередь, спешившую Машу, забежали несколько шагов вперед и бесцеремонно оборачивались на нее, оглядывая с ног до головы сквозь *pinces-nez*[246].

Она слышала их разговор, во время кото-

рого кровь бросилась ей в голову, болезненно защемилось сердце стыдом и негодованием и всю ее кинуло в нервическую дрожь. Не будучи в состоянии совладать с собою и желая поскорей избавиться от назойливых лорнетов двух вполне приличных молодых людей, она прыгнула в сани первого встречного извозчика и поехала домой.

— Как бы я желал знать, кто эти господа, чтобы вытянуть их хорошенько хлыстом по физиономии! — вскричал Шадурский, напуская на себя горячность благородного негодования.

— Нет, они правы, мой друг! — возразила Маша, вскинув на него взор свой, необыкновенно оживленный в эту минуту волнением. — Что ж, разве ты не тратишься на меня? разве вся эта комната, все эти безделушки, наряды мои не стоили тебе денег? разве не правда все это?.. Я не хочу, чтобы ты тратился на меня больше. Слышишь ли — не хочу!.. Я не подумала об этом раньше, а словно вот ребенок принимала игрушки... Знаешь ли, когда человеку живется хорошо, так он и глаза на все закрывает, пока не разбудят его. И как

мне это в голову не приходило? — тихо и стыдливо кручинилась она, припав на его плечо и опустя глаза свои в землю.

— Очень сожалею, что теперь пришли такие глупости, — возразил Шадурский. — Я делал все это столько же и для себя, сколько для тебя, мой друг, и тут вовсе нечем так огорчаться.

— Нет, есть чем! Они из моей любви сделали какую-то подлость, считают продажной...

— Экие ведь люди какие есть на свете! — продолжала потом Маша, несколько поуспокоясь от своего волнения. — Все-то они сумеют загрязнить да оклеветать!.. Зачем все это? Ну, что им до нас? чем мы им жить мешаем? кому какое зло мы делаем нашей любовью? Нет-таки, нужно бросить грязью!.. И кто это старается, право?

Бедная, верующая душа и не подозревала, что первый постарался тот, кого она почитала высшим своим идолом, кому отдала все свое сердце.

— Однако все это пора кончить... До свиданья, Маша, скоро никто не посмеет говорить таким образом... Прощай — я еду к отцу, — за-

ключил Шадурский, желая этими словами подать ей надежду на исполнение давно обещанной женитьбы и, стало быть, утешить ее, а в сущности чувствуя только потребность избавиться поскорее от неприятной сцены да от сознания своего двусмысленного нравственного положения после ее последних слов. Это был первый упрек совести, который на мгновение почувствовал он в отношении этой женщины.

Но натура князя Владимира была такого свойства, что не принимала глубоко никаких впечатлений: на первом плане, как известно уже читателю, стояло в ней одно только всепожирающее самолюбие. Едучи домой, он уже размышлял не об этом невольном упреке, а о намерении Маши не принимать от него никаких трат на ее прихоти. Ему любовница нужна была не для сердца, а для света, поэтому она должна остаться такою, как была до последнего дня, то есть показываться в публике в качестве его любовницы. Он, в сущности даже остался очень доволен уличным разговором двух молодых людей: известность такого рода весьма льстила его самолюбию;

не нравилось только мнение насчет того, что если Маша не промах, то оберет его совершенно, ибо этим мнением особа князя характеризовалась в некотором роде близорукой и бесхарактерной пешкой, — самолюбие вопияло.

Однако хочешь не хочешь, а надо чем-нибудь покончить свое фальшивое положение относительно обещанной женитьбы. Князь наконец пришел к заключению, что далее нельзя уже тянуть такую канитель, и потому решил приступить, без откладываний в дальний ящик, к не совсем-то приятному объяснению с Машей.

Остаток дня он употребил на обдумывание этого объяснения, которое надо было устроить как можно ловчее, дабы выйти из него полным джентльменом, сохранив к женщине свои настоящие отношения.

На другой день он нарочно постарался не видаться с Машей и приехал к ней уже поздно вечером, приняв на себя крайне встревоженный, угрюмый и озабоченный вид.

— Что с тобою нынче? — спросила удивленная девушка, когда на ее приветствие он

только крепко-крепко пожал ей руку и, не сказав ни слова, как усталый, опустился в кресло.

— Послушай, Мери, — вперил он в нее долгий, испытующий взгляд.

Девушка чутко вытянула шею.

— Ты всегда была откровенна со мною — стало быть, будешь и сегодня... Скажи мне, ты хочешь быть моей женою?

— Ты это знаешь, — ответила Маша, недоумевая, какой смысл и значение имеет предложенный им вопрос, соединенный с таким экстраординарным вступлением.

— Нет, ты отвечай мне положительно!.. Я этого требую.

— Быть твоей женой... — проговорила девушка в каком-то мечтательно-светлом раздумье... — Да! Я была бы тогда счастливейшей женщиной, — подтвердила она с восторгом, на мгновение сверкнувшим в ее глазах.

— А разве теперь ты несчастна? — неожиданно, нахмуясь, огорошил Шадурский.

Такой внезапный вопрос несколько смутил ее. «Как? Неужели я несчастлива?» — внутренне спросила она самое себя. И эта

мысль отозвалась в ней каким-то нехорошим укором.

— Нет, нет!.. Счастлива, совсем счастлива! — воскликнула она в ответ и ему и самой себе в одно и то же время, влюбленно бросаясь ему на шею, словно бы хотела этим движением затушить сделанный внутренно самой себе упрек.

— Так что ж?.. — ласково взял он ее за руки, стараясь говорить и глядеть задушевнее. — Послушай... Бога ради, будь же ты откровенней! Скажи, чего ты более хочешь: выйти за меня замуж или любить меня?

— Но... послушай...

— Одно из двух! — настойчиво перебил Шадурский. — Да или нет?

Краска гордости выступила на лице девушки.

— Я не понимаю, что ты говоришь, — произнесла она твердым голосом, — ведь вот теперь я не жена твоя... а кажется... умела любить.

— И любишь?

— Да, люблю! — честно и открыто вскинула она на него свои взоры.

— Ты хорошая девушка, — грустно вздохнул Шадурский, наклоняя к себе ее голову. — Ну, а вот скажи-ка мне, любила ль бы ты меня и впредь, если б... вышли такие обстоятельства, если б я должен был отложить нашу свадьбу на неопределенный срок... на очень долгий срок, а может быть... и совсем не жениться на тебе. Тогда как?

— Все-таки любила б, — отвечала Маша вполне просто и с ясным сознанием, что иначе и быть не может.

— И для тебя не было бы оскорбительно имя моей любовницы, имя содержанки? — настойчиво допытывал князь, продолжая ее гладить по голове и играть мягкими кудрями.

Маше вспомнилось вчерашнее уличное столкновение. Она подумала с минуту об этом вопросе и еще ближе, еще нежнее прижалась к Шадурскому.

— Я знаю и люблю только тебя одного, а до других — какое нам дело! — с увлечением проговорила она.

— И ты думаешь, что когда-нибудь не станешь каяться?

— Ах, какой ты странный сегодня! — удив-

лялась Маша, пожав плечами. — Да в чем же мне каяться?.. Любила — ну, и довольно с меня!.. Ведь мы же счастливы... Не разлюби только... да нет! ты не такой, ты не разлюбишь!

И она покрывала его поцелуями, с наслаждением любясь правильными чертами этого красивого лица.

Шадурский успокоился внутренно: тревоживший его вопрос был порешен благополучно. Теперь уже он принял на себя вид негодующий и огорченный, с которым объявил Маше, что свадьба их действительно должна быть отложена на неопределенный срок — до смерти отца, потому что тот и слышать не хочет об этой женитьбе, грозясь лишить его наследства в будущем, поддержки в настоящем и намерен, в случае надобности, просить высшую власть о формальном запрещении вступить ему в брак, несмотря на все усиленные просьбы и мольбы, которыми он, князь Владимир, целые сутки будто бы осаждал своих батюшку с матушкой. Одним словом, рассказанная им история, со многими частными подробностями, была сплетена очень ловко и

изобличала в нем большие авторские и актерские способности.

Маша верила и слушала его совершенно спокойно.

Проводив его от себя, уже поздно вечером, девушка долго еще ходила взад и вперед по комнате. По сосредоточенному и мрачному выражению лица ее можно было предположить, что в этой голове бродят далеко не веселые думы, которые только теперь наедине одолели ее всецело. Главным укором вставал перед нею образ двух колтовских стариков, забытых, покинутых ею, но... чем дальше длилась разлука, тем невозможнее казалась мысль о свидании. Это часто случается с нами. Если мы чувствуем себя перед кем-либо виноватыми и, вместо того, чтобы сразу, скорее покончить дело, медлим личным свиданием, личным объяснением, то чем более будет проходить время, тем тяжелее начнет представляться минута этого свидания, которую мы, наконец, внутренно перед самими собой начинаем отдалять под всевозможными предлогами. Это, конечно, малодушие, но, к сожалению, оно свойственно чуть ли не

большей половине рода человеческого.

Маша долго раздумывала о предстоящем ей положении — официальной любовницы князя Шадурского. Краска стыда кидалась ей в лицо при этой мысли — она предчувствовала, что ей предстоит вынести еще много наглости и много бесцеремонных толков и сплетен от разных вполне приличных господчиков, но — она любила прежде всего и больше всего одного только князя Владимира, и потому все эти невеселые призраки в конце концов ступшевывались перед ее светлым чувством.

— Что ж с этим делать — теперь уже поздно, — решила она сама с собою и покорно склонилась перед своей участью.

XXII

ОСОБЫЙ МИРОК

Петербургская *jeunesse doree*[247], к которой сопричисляются и многие из наших *vieux garçons*[248], делится в своих ловеласовских похождениях на две категории. Одну из них составляют «отшельники камелий», другую — поклонники балета. Впрочем, нельзя сказать, чтобы мужская половина этих двух категорий придерживалась слишком строгой исключительности: часто «отшельник камелий» становится почитателем какой-нибудь богини хореографического искусства, а балетоман — поклонником махровых цветов без запаха. Разнообразие здесь ничему не мешает; означенные же категории составляют, так сказать, только личные симпатии каждого: один отдает предпочтение цветам, другой — прелестным, посвященным искусству па и батманам, подобно тому, как один любит трюфели, другой — омары, из чего никак не следует, чтобы тот или другой стали отказываться от целого обеда, в кото-

рый входят и те и другие снеди. А вот иное дело трюфели и омары, то есть самые снеди. Что касается прелестных ножек и махровых цветов, то можно сказать с достоверностью, что первые отнюдь не смешиваются с последними: они составляют свой собственный, особый, замкнутый мирок, в который допускаются одни лишь посвященные. Посвященным не может быть всякий, причисляющий себя к избранной *jeunesse doree*, — стоит только быть введенным туда кем-либо из прежде посвященных.

Каждая из более выдающихся корифеек-солисток непременно имеет «свою партию», своих поклонников, кои совершают для нее надлежащие идоложертвенные требы — и, боже мой, сколько озабоченности, сколько хлопот выказывают эти балетные факиры в критические минуты своего поклонения! А критическими минутами бывают обыкновенно эпохи перед бенефисом «предмета», или перед дебютом какой-нибудь новой соперницы, или же, наконец, просто так, ни с того, ни с сего, когда вдруг придет богатая фантазия поднести «предмету» драгоценный подарок

либо лавровый венок со множеством великолепных букетов. Глядя то на серьезно-озабоченные, то на пылающие увлечением физиономии этих поклонников, слыша их горячие споры и сообщения «по секрету», с обыкновенно серьезным и важным видом, видя эту суетню, рыскание по городу от одного факира к другому, вы смело подумаете, что это люди, готовящиеся к совершению какого-нибудь государственного переворота, что миру угрожает какая-нибудь опасность или же готовится уж нечто до того великое и торжественное, что у вас не найдется даже и слов надлежащим образом изобразить это великое «нечто», — ничуть не бывало: поклонники заняты приуготовлением пышной овации на послезавтрашний спектакль своему хорошенькому идолу. Для них это дело вполне серьезное, дело первой и величайшей важности, пред которым — круглое ничто все остальные дела бренного мира сего. И добро бы юноши, а то ведь нет: сильную долю в этих казусах берут на себя дрожащие, облизывающиеся старцы, наши *vieux garçons*, наши расслабленные гамены...

А в театре, в театре-то что делается! Боги!.. что это за треск и шум; что за добросовестное отбивание каблуков и ладоней! Взгляните вы на эти первые ряды партера, взгляните сзади — и вы узрите великолепные английские проборы рядом с великолепными и пространными лысынами, волосы всех родов и оттенков, от смоли воронова крыла до тощих седин снеговидных. Взгляните спереди и полюбуйтесь, с каким напряжением, с каким слюняво-сладострастным дрожанием устремлены эти огромные бинокли на одну известную точку — на соблазнительные ножки танцовщицы. Право, можно бы было подумать, что здесь собрался многоученный ареопаг астрономов, сияющихся открыть и разглядеть новую планету.

Картина, поистине, умилительная!

Как в настоящее время у нас существуют муравьиисты и петипатисты, а в последние дни начинают слагаться мадаевисты, так и в былые времена всегда существовали эти различные исты. Каждый сезон, даривший Петербургу новую танцовщицу, производил на свет и новых истов. Так у нас были «розати-

сты», «чериттисты», «ферраристы», «иеллисты», «эйслеристы» и т.д., и т.д. Все это были истинные и присяжные поклонники балета. Многих из них уже нет на свете, а многие еще и до наших дней, достигнув почти семидесятилетнего возраста, остаются неизменно верными своему «любительскому» призванию, которое составляет для них в некотором роде серьезную цель и задачу всей жизни.

Этим-то вот господам известно все, что только мало-мальски может касаться балетного мира. Они посвящены во все закулисные тайны, им «ведомы и знаемы все пути и яругы», которыми нужно добираться до интимности с той или другой жрицею Терпсихоры; они извещаются о всевозможных закулисных интригах, в коих иногда и сами принимают косвенное участие; до них из первых рук доходят всевозможные сплетни, скандальчики и интрижки этого особого мирка. Со многими из жрецов и жриц вышеозначенной музыки эти господа входят даже в духовное родство, идут к ним в кумовья, сватья и посаженные отцы, дабы закрепить узы своего авторитета в закулисном мире. Для этой же самой цели они у

себя по временам и празднества устроят, на которых блещут все *habitués*[249] балетного мира и которые отличаются совсем особенным, своеобразным характером.

Князь Желторецкий, познакомясь с *mademoiselle* Брав, тоже примкнул к этому миру, куда стремятся многие индивидуумы из нашей блистательной *jeunesse dorée*, у которых еще не совсем прорвались карманы.

В этот же самый мирок, совершенно отличный от мира присяжных махровых цветов, хотел и Владимир Шадурский ввести свою Машу, имя которой было англазировано в Мери ради вящего благозвучия.

Они с Желторецким были явные приятели и даже на ты, стало быть, это являлось вовсе не трудным, тем более что сам Желторецкий сделал первый шаг, пригласив его «с барыней» приехать к себе на дачу, где, по прихоти своей Брав, он устраивал для нее катанье с гор и на коньках, а потом ужин с танцами.

Маше не хотелось ехать. Ей так полюбилось свое одиночество, это отсутствие посторонних лиц, что положительно не хотелось расставаться с ним хотя бы не на долгое вре-

мя. Кроме князя Владимира, она никого не желала ни знать, ни видеть, — чувство, хорошо знакомое всем любящим много и сильно. Она чувствовала, что будет всем чужая на этом вечере — и не ошиблась.

Въезд на дачу ярко был освещен пылающими площадками. На дворе теснились кареты и ямские тройки. Из дома раздавалась музыка. В ярких окнах мелькали силуэты гостей.

Маша вошла в большую, старинного покроя, залу с расписным потолком и египетскою мебелью времен консульства. Царица пикника встретила ее очень приветливо и повела к дамам, которые, напротив, оказали ей прием весьма холодный, так что бедная девушка и сама почувствовала холод какой-то во всех членах и томительную неловкость. Дамы бесцеремонно бросали косвенные взгляды на ее наряд; но наряд был вполне безукоризнен, чего нельзя было сказать про наряды этих дам, несмотря на всю их пышную роскошь, яркость, богатство и шикарность. Маша, от нечего делать, поневоле стала наблюдать собиравшееся общество.

Тут были представители и петербургского

спорта, и морского яхт-клуба, и шахматной игры (развлечение вполне элегантно), и клуба английского. Последние преимущественно были известны тем, что вели огромную игру на зеленом поле:

*И выигрывали,
И отписывали
Мелом.*

Более сказать про них нечего, так как дальнейшая биография их обществу неизвестна, а приятная наружность с самоуверенно-приятными манерами служит достаточно убедительным аргументом, чтобы их везде охотно принимали.

В залу, между тем, время от времени входили вновь приезжающие гости; большая часть приглашенных являлась «с семейством» (разумей, с левой стороны): например, граф Алимов и с ним подруга холостых дней его, с нею сестрица или какая-нибудь кузина, еще не пристроенная. Иные появлялись с братцами, дядюшками и матушками, — представители великосветской золотой юности необыкновенно мило и даже с нежной фами-

льярностью относились к этим братцам и дядюшкам своих дам. Они трепали их по плечу, с некоторыми были на ты, что необыкновенно льстило самолюбию братцев и дядюшек: «Вот мы, дескать, каковы! запанибрата с князьями-графами!» — и не отказывались от распития с ними бокала вина или стакана пуншу, к которому особенно оказывали пристрастие дядюшки. Словом, золотая юность смотрела благосклонно на дядюшек с братцами, а братцы с дядюшками — благосклонно и даже иногда сквозь пальцы на золотую юность. И все были довольны и счастливы.

Братцы и дядюшки по большей части пребывали в области буфета и около зеленых столов, а серебряные аксельбанты, шитые венгерки и шармеровские фраки — около сестриц и племянниц.

Терраса, спускавшаяся к широкому пруду, горела разноцветными фонарями; по углам катка пылали смоляные бочки, за купами близстоящих деревьев то и дело вспыхивали бенгальские огни и шарахались в морозную высь длиннохвостые ракеты, при звуках трубачей, гремевших в павильоне разные поль-

ки и марши. На катке раздавался визг и хохот. Золотая юность веселилась.

— Ах, душка, что это вы говорите!.. Ай-ай, девицы, какой противный мужчинка!.. Ай, нет, страсти какие!.. Ай, нет, девицы, умираю!.. Это ужась... до смерти просто смешит! — визжали дамы, перешептываясь по временам одна с другой и с громким хохотом наивничая в ответ на любезности своих кавалеров. В обществе этих дам слышался исключительно русский говор, ибо «по-французскому» они не понимают, — совершенный контраст с махровыми цветами без запаха, где полновластно царит вульгарный жаргон Парижа да изредка немецкие фразы.

Шадурский, боясь, чтобы кто не подумал, будто он чересчур нежный и даже ревнивый любовник, совершенно покинул свою Машу на произвол судьбы и хозяйки и избегал даже часто попадаться ей на глаза; а хозяйка слишком была занята, — во-первых, своим собственным удовольствием, во-вторых, многочисленными гостями и особенно гостьями, составлявшими ее прямое, родное ей общество, — так что Маша весь вечер почти была

одна. Дамы как-то чуждались и не сходились с нею; она же сама, по робости и непривычке к такому большому обществу, тоже держалась как-то в сторонке. Грудь ее томило какое-то беспокойно-сосущее, тоскливое чувство, которое испытывает самолюбие человека, попавшего в чуждое ему общество, вдобавок еще считаемое им почему-то выше себя. В этих случаях один уже вид чужого веселья, при сознании своего полного одиночества наводит на душу тоску невыразимую. Она тщетно искала глазами Шадурского и не находила: князь заблагорассудил удалиться к одному из карточных столов, где потешался над некоим индивидуумом, из категории братцев, который числился прихлебателем в этом обществе и употреблялся на посылки, играя часто роль Гермеса в отношении сердец золотой юности и героинь балета. Этот юноша с очень важным видом отдавал приказания оркестру, поил водкой кучеров и пивом музыкантов, подставлял стулья титулованным господчикам, провожая и указывая им дорогу, когда кому-нибудь из них заблагорассудилось выйти на террасу либо в другое место, и поправ-

лял плохо горевшие фонарики — и все это с необыкновенным сознанием своего достоинства и близости к таким светлым особам.

Маша, закутанная в теплую ангорскую шаль, стояла на террасе, когда к ней подошел расслабленной подагрической походкой один из старцев-гаменов, скрывавших под завитым паричком и нарумяненными щеками свой шестой десяток.

— Что вы, милочка, стоите тут?.. Пойдемте, я вас покатаю, — предложил он бесцеремонно, по праву своего солидного возраста, взяв ее за талию и норовя поцеловать в щеку своими отвисло-мягкими губами.

Маша, никак не ждавшая такого приема, быстро отшагнула от него в сторону и смерила старца холодным и строгим взглядом.

Несколько дам, сгруппировавшихся на другом конце террасы, при виде этого маневра разразились бесцеремонно громким хохотом.

Маша вспыхнула: она не могла понять — над нею или над старцем захохотали они.

— Ох, какая гордая «мадам»! — запахнулся тот в свое богатое меховое пальто, отходя от

Маши и направляясь на противоположный конец, к хохотавшей группе. — Вы, птички, будете добрее ее, вы поцелуете старичка? а? не правда ли?

— Поцелуем, дединька! поцелуем! — защебетали птички.

— Я знал, что не откажетесь!.. Вы ведь любите старикашек...

— Какой вы старикашка, дединька?.. Что это, душка, вы на себя сочиняете? Вы еще совсем молодой — вам все девицы скажут! Вы еще лучше иного молодого будете... Те — мальчишки, а вы — мужчина хоть куда!

— Хе, хе?.. Н-да!.. Мы еще постоим за себя... постоим... Ну, кто же хочет целовать меня?

— Я!.. я!.. я, дединька!.. Я!.. — завизжали все они в один голос, и дединька стал во порядку подходить к каждой из них и со всеми перецеловался в губы.

— Спасибо, девочки, спасибо... мерсі, наградили, не обидели старичка! — говорил он расслабленным голосом, совсем размякнув, как булка в чаю, от этих молодых поцелуев.

— Мы ведь, дединька, добрые, мы не гордые, мы не такие дикие — не то что другие, —

затараторила одна из птичек этой группы.

— Чтой-то, девицы, нынче иные какие недотроги становятся, просто ужаси! Не прикоснися к ним...

— Ну, ну, ну, полно, полно... — уговаривал дединька, по незлопамятности своей уже забывший «обиду» Маши, будучи вполне вознагражден за нее ее антагонистками.

— Да нет, право, дединька, — перебила его шпилька, — мы уж и то сидим себе да думаем: зачем это к нам, к театральным, вдруг посторонние лезут?

— Ну, кто же, кто же посторонний?.. разве я посторонний?

— Да мы, душка, не про вас; вы — наш совсем, с нами в колыбельку, с нами и в могилку, вы — наш родной, дединька, а вот другие...

— Да кто же другие?.. Все ведь свои, ка-жись...

— Нет, уж есть; мы знаем, кто!.. И зачем это?.. Мало им, что ли, содержанок-то по городу? и знакомились бы себе!..

Взрыв бурака, возвестившего начало фейерверка, прервал этот разговор, наполнив

всю террасу визгом и писком невероятным. Все общество из комнат повалило сюда. Маша увидела наконец Шадурского и бросилась к нему. Он стоял рядом с двумя фраками и весело разговаривал с ними.

— Князь, сделайте честь, представьте нас, — заговорили фраки, как только она приблизилась. Шадурский назвал того и другого, прибавя, что оба — его хорошие приятели.

Маша мельком взглянула на них и узнала в обоих тех самых вполне приличных молодых людей, которые так нахально лорнировали ее однажды на улице и выражали весьма нелестное для нее мнение как о «содержанке» Шадурского. В ней закипела наконец какая-то нервическая злость, которая так и подмывала ее высказаться.

— Я вас несколько помню, господа, — начала она дрожащим от волнения голосом, — вы как-то раз очень много оглядывали меня на улице... Помните, князь, я вам тогда еще говорила... Я никак не ожидала, что вы — приятели его.

— Tais-toi prist[250], — осторожно дернул он ее за руку, с шепотом наклонясь к самому

уху, а у самого все лицо передернуло от сильного неудовольствия.

Прятели ухмыльнулись, переглянулись и, как ни в чем не бывало, продолжали прежний веселый разговор с князем Шадурским, который, по-видимому, стал еще любезнее к своим собеседникам, желая сгладить впечатление Машиных слов: оба были сыновья весьма важных и чиновных сановников.

За прудом, на поляне, загорелся фейерверк, приковав к себе общее внимание и взоры.

Маша снова осталась одна.

Сердце ее тоскливо щемило, грудь подымалась от волнения. Она слышала весь разговор птичек и особенно колкие замечания шпильки, которые вполне приняла на свой счет, — да к тому же еще дединька со своими мягкими губами, наконец, поведение Шадурского с двумя его приятелями после ее слов — все это произвело на нее слишком тяжелое, грустное впечатление. Она готова была заплакать. Внутренняя дрожь взбудораженных нервов так и подымала рыдания к горлу. Маша призывала всю силу воли, чтобы удержаться.

«Зачем же он с таким негодованием хотел тогда дать им пощечину хлыстом, а теперь знает и... так любезно говорит с ними?.. Что же это значит?» — думала Маша, испытывая горькое чувство недоумения, которое всегда предшествует первому разочарованию. Ей сделались невыносимы и противны весь этот праздник, все эти самодовольные лица, все это веселье, треск ракет и звуки музыки — и захотелось прочь отсюда, бежать, уехать, как можно скорее, чтоб остаться одной — одной совершенно.

— Друг мой, я совсем больна... Бога ради... увези меня... голубчик, отсюда: уедем... Я не могу... — робко шептала она, взяв Шадурского за руку и сдерживая слезы.

Тот с неудовольствием и досадой повернул к ней голову.

— Что это за капризы еще?.. С чего это?

— Пожалей меня... бога ради... я так ослабла... я упаду сейчас... уедем.

Он подал ей руку и поспешно увел с террасы. Через две-три минуты, когда все еще любовались разноцветными звездами римских свечей и бураков, от треска которых непри-

вычные лошади храпели и бились на дворе, карета князя Шадурского выехала за ворота дачи.

XXIII

ПЕРВОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ

Несколько времени они ехали молча. Маша поминутно взглядывала на Шадурского, и в то время, как свет от редких фонарей, западая в каретное окошко, слабо освещал лицо ее соседа, она замечала, что лицо это было пасмурно, выражало досаду и неудовольствие.

— Володя... ты сердишься? — тихо спросила она из своего уголка.

Князь не отвечал и сделал вид, будто не слышал ее слов.

Девушка наклонилась к нему, как бы желая разглядеть его черты — засмотреть в его взоры, и повторила вопрос свой.

— Я терпеть не могу подобных штук, — сказал он с желчью в голосе, — это пошлые капризы, и больше ничего!

— Нет, не капризы, милый! далеко не ка-

призы, — горячо вступилась за себя девушка. — Если б ты знал, что я вытерпела, если б ты знал, как мне горько было!

И она сквозь слезы рассказала ему все, что было с ней на террасе.

Шадурский упорно молчал, ни одним звуком и движением не выразив участия к ее рассказу.

— Бога ради, — заключила она, кротко припав к его плечу, — бога ради, не выводи ты меня на эти балы, не знакомь ты меня ни с кем!.. Зачем нам навязываться? Пусть их веселятся, а мне и с тобой хорошо; мне, кроме тебя, никого и ничего не надо. Ведь ты слушаешься меня? Да? не правда ли?

Шадурский по-прежнему молчал и хмурился.

— Володя, ты слышишь, что я тебе говорю? — взяла она его за руку после минутного молчания.

Ответа не было. Маша с беспокойством бросила на него несколько взглядов. Такое молчание — отзыв на ее кроткую, полную любви исповедь — начинало становиться обидным, жестоким, оскорбительным. Она,

затаив тяжелый вздох, робко и тихо отодвинулась в свой уголок и во всю дорогу уже не проронила ни одного слова. Слезы невольно потекли по ее щекам, и девушка спирала себе дыхание, закусывала губы, лишь бы не показать ему этих горьких слез. Ей не хотелось, чтобы он заметил их.

Она чувствовала себя нехорошо. У нее в мыслях и в сердце с каждой минутой скапливалось все более и более горечи, а у него на душе было как-то скверно и досадно. Князь злился на Машу — и только на одну ее: он ждал, что появление ее в первый раз среди такого большого общества произведет хороший эффект, что она будет блистать, по крайней мере, наравне с mademoiselle Брав и затмит собою всех остальных женщин; а Маша, вместо того, как-то стушевывалась в течение всего вечера, как-то съежилась и умалилась морально в сравнении с самыми заурядными из героинь балета. В ней не было ни того шику, ни того несколько бесцеремонного лоску, который составляет принадлежность этих дам. Князь не понимал, что подобные натуры могут только сильно и честно любить, но не

блистать. А для него-то именно и требовалось лишь это последнее, потому он и злился на безвинную виновницу оскорбления своему самолюбию и готов был наделать ей бездну мелких, колких неприятностей, но на первый раз удержался, в надежде скоро переработать ее на нужный ему лад — дескать, глупа и дика еще. Но, как бы то ни было, он испытывал первое разочарование в отношении своей любовницы.

Равным образом и она впервые познакомилась с тем же самым чувством, только у Маши оно шло совсем из другого источника. Ей казалось странным, что князь, все-таки оказывавший ей до сих пор везде видимое уважение, решил повезти ее в такое общество, где она не была ограждена от пассажа с мягкогубым старичишкой. Еще страннее показалось то, что, узнав об этом пассаже и о тех грубых, аляповатых намеках, какие делала на ее счет шпилька, он не выразил ни удивления, ни негодования. «Что же все это значит? — думалось ей. — Или я, в самом деле, для него не более как просто содержанка? Неужели же и он — он-то за всю мою любовь

платит мне таким презрением? Быть не может!»

Князь молчал, и, стало быть, ничто не могло опровергнуть эти невеселые думы. Ей было больно, что тот, кого она почитала своим идолом и нравственным совершенством, так грубо, так апатично принял ее задушевную исповедь, ее оскорбление, — оскорбление, нанесенное женщине, которая думала, что она для него — любимая женщина. Хоть бы одно какое слово, один какой знак участия, утешения, — полнейшее ничего — и только!

Он довез ее до дому, постоял, пока отворили подъезд, и, даже не кивнув ей головой, укатил к себе, чуть только наглухо захлопнулись за ней двери.

* * *

С тех самых пор начался для обоих ряд постепенных разочарований, несмотря на которые одна все-таки любила крепко и горячо, а другой не расставался еще с надеждой переработать честную девушку в своего рода камелию, как того требовал идеал, созданный его самолюбием. Маша, однако, упорно отказывалась от дальнейших выездов в общество

женщин нашей jeunesse dorée, что каждый раз непременно бесило Шадурского. Она сделала для него одну уступку: согласилась принимать у себя его приятелей, когда того хотелось князю, не выключая даже и двух вполне приличных молодых людей, хотя внутренне ее весьма-таки коробило от их присутствия да и вообще от всего общества этих «приятелей», которые после нескольких бутылок за ужином либо за завтраком забывали, что перед ними находится женщина, а помнили только в лице Маши «содержанку» и потому далеко не церемонились в своих разговорах и выражениях.

Таким образом дело тянулось около года. Наконец Маша положительно надоела Шадурскому, так что он только искал благовидного предлога, чтобы отделаться от нее окончательно.

Читатель знает уже (из рассказа нашего про тот вечер, когда впервые познакомили его с Машей), какого рода ультиматум предложил ей Шадурский, намереваясь отправиться на пикник к Берте. Вероятно, также не забыто и то гнетущее впечатление, которое

произвели на эту девушку его жесткие слова и насмешки над ее искренним чувством.

Поведение его с нею в последнее время показывало ясно, что он идет к прямому разрыву. Маша видела это, с каждым днем убеждаясь все более и более в близости этого разрыва, в полном исчезновении любви со стороны князя и, несмотря на всю осязательную очевидность фактов, старалась обмануть сама себя, отыскивая для него всевозможные оправдания его поступков с нею и нарочно закрывая глаза, чтобы не так страшна казалась та пропасть, над которой стояла она.

XXIV КИНИК

Лампа начинала тускнеть, а Маша часа полтора спустя по уходе князя уже не плакала, а только по временам надрывисто вздыхала судорожно-глубоким вздохом, как дышится всегда после тяжелых слез, долго надсаживавших грудь. Теперь ей поневоле было уже ясно, что князь ее не любит, но не подозревала она только одного, что он никогда не любил ее. Маша обвиняла сама себя в том, что он утратил к ней чувство, терялась в догадках — отчего бы это могло так случиться, искала причин, выдумывала даже эти причины, которые после некоторого размышления оказывались вполне несостоятельными и даже несуществующими, кроме одной, вполне действительной, настоящей: зачем она, по его настоянию, не сделалась полной камелией.

Ей было страшно решиться на такую жертву, страшно и больно махнуть рукою на все заветное, доброе и честное, что сызмалетства жило в ее сердце, отказаться от сознания

честно любящей женщины и ради одной прихоти человека сделаться записной куртизанкой, вступить в их общество, быть соучастницей этих блистательно-цинических оргий, на каждом шагу подвергая себя зависти, сплетням, клеветам, унижениям и интригам своих новых товарок и бесцеремонным оскорблениям своего человеческого достоинства, которые безнаказанно мог бы нанести ей каждый наглец, непрременный член этих кутежей и оргий, приятель того избранного общества мужчин, что вращаются среди подобных женщин.

И вот теперь, во время долгой, бессонной ночи, когда множество подобных дум перебродило в ее голове, когда сердце ясно говорило ей, что, несмотря на все оскорбления, нанесенные ее чувству любимым ею человеком, она все еще любит его, Маша почти готова была согласиться на эту последнюю и самую тяжелую для нее жертву, лишь бы удержать за собою его привязанность. Ей надо было только знать, любит ли он ее хоть насколько-нибудь. Если любит, так вернется — и тогда первым словом услышит ее полное и по-

корное согласие на все его прихотливые требования; а если не любит, если не вернется — тогда... Маше страшно было подумать об этом; она всей душой, всем существом своим желала верить, что не все еще кончено между ними, и нетерпеливо ждала его приезда.

Целые трое суток, не делая шагу из своей квартиры, провела она словно в каком-то чаду, с часу на час ожидая возвращения князя. Каждый стук подъезжавшего экипажа, каждые шаги на лестнице заставляли ее чутко вздрагивать, с тревожным замиранием сердца бросаться к окну, от окна в прихожую, к двери — и все напрасно. Теперь ей уже захотелось увидеть хоть кого-нибудь из посещавших ее приятелей Шадурского, чтобы расспросить их, узнать, что с ним сделалось, но и из этих господ, как нарочно, ни один не заехал к ней в это время.

Маша наконец села к своему письменному столику и начала писать к нему письмо, умоляя пожалеть ее и возвратиться; но, не дописав даже до половины, положила перо и задумалась.

«Нет, не надо!.. Пожалуй, подумает, что на-

вязываюсь, — подсказал ей внутренний голос женского самолюбия. — Не надо!.. Уж если не любит, так никакие письма не заставят вернуться... не к чему унижаться!»

И разорванный в клочки листок почтовой бумаги полетел под стол, в плетеную корзинку.

Прошло еще три мучительных дня — о Шадурском ни слуху, ни духу. Машу взяла тоска и одурь страшная. Нигде и ни в чем утешения, ниоткуда участия. Мысль о том, чтобы обратиться к «тетушке» фон Шпильце, ей и в голову не могла прийти, потому что в течение того времени, которое Маша прожила с Шадурским, она приобрела настолько опытности, чтобы не сомневаться в значении той роли, которую приняла на себя генеральша, знакомя ее с князем; тем более, что и этот последний признался однажды в своем обмане, когда девушка при каком-то разговоре назвала Амалию Потаповну его теткой. Прирожденный аристократизм князя Шадурского возмутился при одной только мысли о родстве черт знает с кем, когда в том миновала практическая надобность.

— Ты, пожалуйста, не вздумай еще при ком-нибудь сказать это, — остановил он Машу, — она столько же мне родня, сколько мой сапог доводится братцем этой лампе.

— Как... значит, вы меня обманывали? — в недоумении воскликнула Маша.

— Значит.

— Но... как же это так!..

— Очень просто; отчего же немножко и не обмануть хорошенькую девочку, если она нравится, если мы ее даже любим? — объяснил Шадурский, смягчая своею лаской ту неприятную и горькую пилюлю, которую должна была проглотить девушка при столь неожиданном открытии. И вслед за тем, шутя и лаская, он рассказал ей всю историю этого «невинного» обмана.

Маше, как женщине, и притом женщине любящей беззаветно, без размышлений, не пришло и в голову ни малейшего упрека, какой она могла бы сделать своему любовнику за его невинную шутку. Она даже вполне оправдала его в силу совершенно особой женской логики, — оправдала потому, что любила и была убеждена, что и его побудила на та-

кой поступок тоже одна только любовь. Но в силу той же самой женской логики все затаенное негодование и горечь она перенесла сполна и непосредственно на свою мнимую тетушку, к которой еще и прежде никак не могла победить в себе безотчетно антипатичного чувства.

Теперь она ее презирала, испытывая при одной мысли об этой тетушке то нервическое ощущение, которое возбуждает прикосновение к холодной и скользкой лягушке. С отчаяния она надумала ехать в Колтовскую, выплакать перед стариками все свое горе, покаяться и жить с ними вместе, по-старому, в тишине да в безызвестности. Как надумано, так и сделано. Не медля ни минуты, надела она сапог, взяла извозчика и поехала. Это действительно был единственный исход из ее тяжелого нравственного состояния, последняя надежда, облегчение своего горя.

Пока извозчик-ванька усердствовал, погоняя свою лошадку, Маше все казалось, будто едет он необыкновенно тихо; она досадовала и торопила его, потому что самой хотелось не ехать, а лететь скорее в Колтовскую. Вот и

знакомая улица, и родной домик с мезонином виднеется. У Маши как-то болезненно заныло в груди. В каждом прохожем ей чудился сосед или знакомый — и как-то совестно было ей глядеть этим встречным в глаза, словно стыдилась чего. Ей все казалось, что каждый непременно узнает ее, а Маше очень не хотелось, чтобы ее узнавал кто-либо, и потому, только еще подъезжая к Колтовской, она поторопилась опустить на лицо свой вуаль.

С замиранием сердца переступила она за порог калитки, огляделась: ни кур, ни утят, ни Валетки не видать во дворе, и конура собачья полуразрушена, — как будто и признаков нет прежнего домовитого хозяйства. Что же это значит все?

Еще с большей тревогой в душе ступила она на деревянное крылечко и постучалась у двери. Из комнаты доносились до нее гитарные аккорды, и чей-то сиплый бас громко выкрикнул:

— Entrez![251]

Маша вошла в комнату и не узнала скромного и чистенького обиталища своих стариков. Там, где прежде на окнах стояли герани и

кактусы с китайскою розою, ныне помещаются пустые полуштофы, косушки и пивные бутылки; белых кисейных занавесок и следа нет; пол захаркан, засыпан табачною золою и давным-давно уже не мыт; вместо веселого, звонкого щебетанья канареек раздается сильный романс под аккомпанемент гитары:

*И ты, что в горести напрасно
На бога ропщешь, человек!
Воззри, сколь жизнь ведешь ужасно!
Он к Иову из тучи рек.
«Не уезжай, не уезжай, голубчик
мой!»*

Нету также и стариков: вместо них поселился какой-то новый обитатель, который, с гитарою в руках, лежит на диване — офицерская шинель в рукава поверх рубашки, длинные белобрысые усы, красное и одутловатое рыло, а в голове, очевидно, изрядное количество винных паров, о чем свидетельствует стоящий рядом на столе полуштоф и кислая капуста в тарелке.

Маша отшатнулась и стояла, словно пришибленная своим недоумением, не зная, что

и подумать обо всем увиденном ею. Офицерская шинель при ее появлении вскочила с дивана, изобразила наиприятнейшую улыбку, расшаркалась туфлями и прилично запахла.

— М-медам! — произнес хриплый бас, налегая особенно на букву е, вероятно, ради пущего шика. — Же сюи шарме![252]. Чему обязан счастьем зреть...

— Я хотела видеть Поветиных... Петра Семеныча с Пелагеей Васильевной, — несмело сказала Маша, едва оправляясь от первого впечатления.

— Я за них!.. Я за них, налицо, м-медам! Или, может быть, медемуазель? Позвольте честь иметь рекомендоваться: ихний племянник, отставной капитан Закурдайло, по рождению — благородный человек, по убеждениям — киник. Прошу садиться! — говорил он, продолжая шаркать и поминутно запахиваясь.

— Вы... племянник? — едва могла выговорить изумленная Маша.

— Так точно-с; ву заве резон![253] А вас, кажется, это удивляет? Такова была сила обсто-

ательства и законное наследие: у меня есть права и акты.

Последние слова капитана зловещим предчувствием кольнули сердце девушки.

— Где же они... старики-то? — спросила она, желая и в то же время боясь предложить этот вопрос, в ожидании рокового ответа.

— Тетенька моя, Пелагея Васильевна, волею божьею помре, а дяденька, Петр Семеныч, находится в Обуховской больнице в отделении умалишенных.

Известие это до того поразило Машу, что она, с помутившимися глазами, в изнеможении опустилась на первый попавшийся стул.

— Вы, смею предполагать, не воспитанница ли ихняя? — спросил капитан, раскуривая трубку.

Маша не в силах была отвечать и только утвердительно кивнула головой.

— Так-с... слышал... слышал... Стало быть, чувствуете потерю? Это делает вам честь. Не забывай отца твоего и мать твою, даже если бы ты сидел между принцами. Таково мое правило. Не прикажете ли закусить чем бог послал? Нет? Ну, так я один закушу, с вашего

позволения, — заключил капитан, глотая рюмку водки.

— Расскажите... что это... как все это случилось? — обратилась к нему девушка, чувствуя в эту минуту полное сиротство.

— Очень просто: все люди смертны. Я — человек, значит — я смертен. Так говорит философ. Все, что я знаю — ничего не знаю. Наслышан же от соседей таким образом: после отъезда воспитанницы, то есть вас, медмуазель, тетенька Пелагея Васильевна (царство небесное!) впала в тоску; жаловалась, что желает вас видеть, и не знает, где вы обретаетесь и совсем забыли ее. Даже была сна и аппетита лишившись, заболела вскоре горячкою и отошла в предел всевышнего. Так повествуют наши хроники. Дяденька же, Петр Семеныч, после такого пассажа с тетенькиной стороны предался пагубной страсти насчет крепительного напитка и лишился умственных способностей. Вызывали наследников. Я на ту пору, прочтя извещение «Сенатских ведомостей» о вызове наследников и находясь временно в Санкт-Петербурге, предъявил свои права, так как я довожусь тетеньке

родным племянником по мужской линии, — и, по наведении достодожных справок, был введен в пользование. Вот и весь мой анекдот в том заключается.

— Где же она похоронена? — спросила Маша, с трудом глотая подкатывавшие к горлу рыдания.

— Места погребения с точностью указать не могу, но наслышан, что на кладбище Смоленския богоматери. Впрочем, человеку после смерти все равно, где бы ни был погребен он. А вот вам, медам, не угодно ли купить у меня кое-какие остатки мебели? — продолжал Закурдайло, указывая на стол, диван и два-три убогие стула. — Я все сбываю понемногу, потому, говорю вам, я — киник. Меня и в полку все киником звали — и я горжусь. Это все вещи, и потому — излишнее; как человек, я только обязан удовлетворять мои физические потребности, а это все, — заключил он, кивнув глазами на мебель, — это все — комфорт и суета. Я помышляю так, чтобы мне в монахи идти. Как вы полагаете?

— Вы говорите, старик в Обуховской?.. Его можно там видеть? — сказала Маша, подыма-

ясь с места.

— Хоть сию минуту; на это, кажется, запрету там не полагается, — расшаркался Закурдаило и, когда Маша ступила за порог, в прихожую, остановил ее благородно-просительным жестом руки.

— Я не прошу взаймы, потому что не имею привычки отдавать, — начал он с достоинством, — но, м-медам! Отъявленному пьянице и негодяю капитану Закурдаиле на выпивку!.. На выпивку пожалуйста нечто! Нечто на выпивку!

Маша опустила руку в карман и подала ему рублевую бумажку.

Капитан снова запахнулся и стал расшаркиваться.

— Же сии шарме!.. Же сии аншанте де вотр бонте, м-медам![254] и непременно поцеловал бы вашу ручку, если бы вам не скверно было протянуть ее такой ска-атине, как ваш покорнейший слуга. Адью, медам, адью! Ж-же ву занпри![255] *

И капитан любезно захлопнул за нею двери.

— В Обуховскую больницу, — сказала Ма-

ша извозчику, не помня себя от щемящего горя и рыданий.

XXV

XIV ОТДЕЛЕНИЕ ОБУХОВСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

Каждому петербуржцу очень хорошо знакомо по наружности длинное здание на Фонтанке, близ Обухова моста — здание в совершенно бесцветном, казенном стиле, с фронтоном, на котором в высоком слоге изображено: «Градская обуховская больница», вместо «городская», что, без сомнения, составляло бы слог обыкновенный, тривиальный.

Если вы войдете в эту градскую больницу с ее главного подъезда, то, пройдя шагов двадцать по площадке сеней, очутитесь в поперечном коридоре, перед дверью, где прибита доска с надписью: «XIV отделение». Для человека, который, не будучи знаком с назначением этого отделения, переступил бы за порог ведущей в него двери, неожиданно предстало бы, в иную пору, очень грустное зрелище. Первое, что могло бы неприятно поразить

его, — это отчаянные крики ужаса и страдания, корчи и борьба человека, подставленного коротко остриженной, а иногда и совсем бритую голову под холодные струи душа, имеющие назначение освежать его больную голову. Он рвется, мечется под сильными руками трех-четырех служителей и наконец, изнеможенный, покоряется своей участи.

Вид страдания, каково бы оно ни было, неотразимо действует на каждого болезненно-грустным впечатлением; но грустнее всего и обиднее всего для нравственного и разумного достоинства человеческого — это вид умалишенного и его страданий. Грустнее всего то, что, несмотря на всю тяжесть впечатления, вы порою не удержитесь от самой неожиданной и вполне невольной улыбки.

Старуха Поветина умерла от тоски. Когда так нежданно и быстро разлучили ее с Машей, когда эта последняя совершенно потерялась у нее из виду, так что та совсем уже не знала, ни где она, ни что с нею, бедная старуха не выдержала такого испытания и упала духом. Любящая и привязчивая душа ее не сжилась с этим сиротством, затосковала, за-

хирела, и — вскоре одной незначительной простуды было совершенно достаточно, чтобы Пелагея Васильевна, обессиленная уже своим моральным горем и каждодневную скрытую тоскою, отправилась к праотцам, в болотистую почву Смоленского кладбища.

Горе и сиротство старухи были вполне равносильны и для ее мужа. Но со смертью ее тяжелый груз этой печали удесятирился. Поветин остался круглым бобылем и, как известно уже читателю, запил весьма нешуточным образом. За нетрезвость и бесполезность его выгнали со службы — старик сошел с ума.

И вот в одно утро очутился он в ванне, под холодной струей воды, принял эту купель посвящения, которая неукоснительно встречает каждого грядущего в дом умалишенных; затем облекли его в больничный халат серого сукна, на ноги надели шлепанцы-туфли и впустили в длинный, довольно широкий, но полутемный коридор, по одной стороне которого идет ряд дверей с окошечками от отдельных номеров. В одном из них ему указали железную кровать под тощим и довольно грязноватым байковым одеялом и сказали, что

это его место и что здесь он может спать. Старик очень любезно поклонился и не прекословил.

— Скажите, пожалуйста, ведь это здесь родильный дом, не так ли? — отнесся он тотчас же к своему сотоварищу по номеру, который, сидя на кровати перед маленьким столиком, писал какие-то бумаги.

— Здесь-то? — отозвался с необыкновенной важностью и достоинством сотоварищ, тоже весьма уже пожилой человек. — Нет, здесь отделение умалишенных, сумасшедший дом, а не родильный.

— Это неправда, это не может быть, я знаю наверное, что здесь родят; с тем меня и привезли сюда, — оспорил Поветин.

— Что-о? — строго поднялся с места сотоварищ. — Ты осмелился опровергать меня? Ты знаешь ли, кто я таков и какой сан на мне? Я — император! Император Петр Первый, великий преобразователь России, посажен сюда хитростью и происками бунтовщиков-изменников. Кланяйся мне! я доверяю тебе мою тайну — пойдём!

И он, всемилостивейше взяв Поветина под

руку, повел его из номера в длинный коридор, где ходили на свободе человек до двадцати больных. Каких только звуков и голосов не было слышно в этом коридоре!

— Ку-ка-реку-у! — кричит один несчастный, сидя на корточках и воображая собою курицу, которая испорчена злыми людьми и потому поет петухом.

— *La mia letizia!*[256] — раздавалось на противоположном конце, мешаясь с декламацией оды «Бог» Державина.

— Аксеновский паде, поддержи, поддержи на уме! — убеждал пустое пространство четвертый субъект, помешавшийся в роковой момент своей жизни, когда нежданно-негаданно застал свою жену с ее любовником.

— Пой акафист мне, пой! — настаивал пятый, тщедушный человек, приставая к угрюмому дьякону.

— Зачем акафист? Я тебе матку-репку спою, — мрачно отвечивал помешанный дьякон.

— Нет, ты мне акафист споешь! Стойте! — взял он за руки Поветина с императором. — Ангелы и архангелы мои, Варахиил и Миха-

ил! казните его, каналью! жупелом, жупелом его хорошенько!

— Ну, что же, разве это не сумасшедший дом? — очень рассудительно и, по-видимому, совершенно здраво обратился к Поветину император. — Этот несчастный воображает, будто он бог... И я обречен томиться между ними!..

— Да, бог; вы правы! А и устал же я сегодня, господа! ух, как устал — моченьки нету! — сказал, руки в боки, тщедушный.

— Отчего же вы устали? — благодушно отнесся к нему император, как здравомыслящий к помешанному, и толкнул при этом слегка Поветина: дескать, слушай, слушай, какую дичь понесет!

— А как вы думаете? в нынешнюю ночь дважды смахал на небо и к обеду — как видите, вернулся! а к вечеру опять-таки — фить! — ответил тщедушный, взмахнув рукою кверху.

— А далеко это до неба?

— Да, порядочный-таки конец! Прямым путем, по столбовой дороге — сорок пять, а в объезд, пожалуй, верст семьдесят будет.

— Зачем же вы так часто катаетесь?

— Да ведь нельзя же: администрация! Я в переписке с Авраамом; знаю, что там пружина в замке испортилась, а он мне депешу не шлет; ну, я и поехал! Моли меня, человеке, о чем хочешь — все тебе дам, все исполню! — прибавил он, вдруг обратясь к Поветину.

— Да вот... скоро срок мне... на сносях хожу — родить скоро надо, — кланялся Петр Семенович, — так уж нельзя ли, чтобы девочку родить, девочку Машу...

— Этого не могу; не в законах природы, и ты сумасшедший! — серьезно, подумав с минуту, ответил тщедушный. — Для этого я создал женщину, Еву; а вот росту тебе прибавить — вершка четыре или пять — изволь! Это могу хоть сию минуту.

— Ты опять кощунствуешь?! — укоризненно подошел к тщедушному молодой человек очень симпатичной наружности. — Мир создал не ты. Этот мир, эта природа, звезды, солнце, луна, все эти моря и горы, деревья и цветы — ведь все это так хорошо, — говорил он, одушевляясь и постепенно приходя в больший и больший экстаз, — все это так прекрасно, что не могло быть создано грубою ру-

кою мужчины. Мир создала женщина, прекрасная, чудная женщина. Только рукою женщины и могло все это так создаться... Она — моя богиня, я в нее влюблен, я ей поклоняюсь... Я — секретарь создания... Вот вам, люди, завет моей богини: не ешьте мясного, не носите кожаного, потому всякий последний червячок жить хочет; убить его мы не имеем права. У нас есть мед, коренья и плоды. Любите мою богиню, обожайте ее!

В эту минуту тщедушный, оскорбясь пропагандой, которая шла вразрез с пунктом его помешательства, вlepил сильную и звонкую пощечину секретарю создания. Пошла потасовка. Два служителя, мирно игравшие доселе в шашки, вскочили со скамейки и бросились к дерущимся. Тотчас же появились на помощь к ним еще трое, с холщовой сумасшедшей рубашкой, кожаными рукавицами и ножными браслетами.

Через минуту оба бойца были уже лишены возможности продолжать поединок: руки тщедушного человека мигом упрятались в длинные рукава рубашки, а руки секретаря создания очутились в толстейших кожаных

нарукавниках, которые, словно хомут, надевались на шею и плечи и стягивались на поясице крепчайшими ремнями. Секретарь создания в минуты бешеной экзальтации становился необыкновенно силен, так что рубашка оказывалась для него мерою недействительною, ибо прочные швы ее трещали на нем, как опорки. Когда оба увидели себя в невозможности продолжать побоище, то ярость тщедушного обратилась на себя самого: он упал навзничь и стал колотиться затылком об пол, а секретарь, воспользовавшись как-то минутой оплошности сторожей, вырвался из их рук и, кинувшись на своего противника, принялся пинать ногами. В минуту на том и другом очутились ножные браслеты, с которыми они могли только стоять, но уж никак не ходить, почему оба были унесены в темную комнату, обитую мягким войлоком, и пристегнуты ремнями к железным кольцам.

Вся эта сцена и энергическая расправа произвели столь сильное впечатление на старика Поветина, что он не на шутку перепугался и трусливо побежал в свой номер, откуда уже

боялся выходить. И эта боязнь осталась у него постоянной. Он уже и носу не показывал в общий коридор, трепетал при одном виде служителей и с утра до ночи, сидя на своей кровати, перебирал пеленки и распашонки, заготовленные еще покойницею Пелагеей Васильевной в ожидании будущего сына или дочери. Старику не препятствовали захватить эти вещи с собою в больницу, да он бы и не расстался с ними, так как они служили для него теперь единственным развлечением, предохраняя от мучительной тоски. Помешательство его было тихое, кроткое и заключалось в том, что он перебирал, раскладывал, гладил, развешивал и гладил, развешивал и вновь складывал свои ребячьи принадлежности, ожидая скорого разрешения себя от бремени. Он сладко мечтал о том дне, когда родит на свет девочку Машу, уверял всех, что ходит уже на сносях и чувствует, как ребенок играет у него в животе.

Сумасшедшие весьма основательно улыбались на эту идею и, по большей части с искренним сожалением, находили его помешанным.

Маша со слезами бросилась к нему на шею.

Врач, специально заведующий отделением умалишенных, ждал благодетельных последствий для больного от этой встречи.

Но Поветин не узнал свою приемную дочку.

— Ах, наконец-то мне вас привели!.. Ведь вы акушерка? — застенчиво обратился он к девушке.

— Папочка, голубчик, ведь я — Маша! Маша! неужели вы меня не узнаете? — рыдала та, стараясь заставить его поглядеть на себя.

— Маша?.. Нет, ведь это я еще должен сперва родить Машу; вы потрудитесь освидетельствовать меня, — убеждал Поветин.

— Да вы помните, как мы жили с вами в Колтовской — вы, я и Пелагея Васильевна — мама моя?

— В Колтовской?.. Пелагея Васильевна? Цыпушка? Да, да, помню... как не помнить?.. Пелагея-то Васильевна — тю-тю! И Маша, дочка наша — тоже тю-тю... Утки в воду, комарики ко дну!.. Вот, стало быть, я и должен ро-

дить себе Машу снова. Да, это так!.. У меня пленки, у вас распашонки; калоши распрекрасные хороши, сапоги для ноги, — новеньки сосновеньки, березовые; а Пелагея Васильевна тю-тю!..

— Да ведь я не умерла, меня только увезли от вас... Помните генеральшу-то?.. Она и увезла, — говорила Маша, стараясь дать его памяти и сознанию все нити воспоминания о прошлом.

— Увезла?.. — повторил Поветин. — Ну, вот то-то и есть! Поставил бы тире, да чернил нет на пере!.. Увезла да похоронила, и кончен бал, кончен бал, кончен!

Тоскливо глядела Маша на эти мутные глаза, в которых, несмотря на всю кротость и мягкость их выражения, не светилося никакой определенной, сознательной мысли, на всю его жалкую, болезненную и коротко остриженную фигурку, и долго еще старалась она привести его хоть в минутное сознание, но все было напрасно: старик мешался в мыслях и словах, копошился в своем узле и настоятельно просил освидетельствовать его.

— Нет, не удалось, — со вздохом прогово-

рил доктор, безнадежно пожав плечами, и эти слова каким-то тупым отчаянием повеяли на Машу: до этой минуты она все еще ждала и надеялась; теперь ей оставалось только навещать безумного да приносить ему чаю и булку.

Пришибленная чувством этого отчаяния, вышла она из больницы с мучительными угрызениями совести: ей все казалось, что виновата во всем случившемся единственно только она одна, — зачем было оставлять стариков, забыть их, не видеться с ними? И эти угрызения слишком уж тяжело легли на ее душу.

XXVI АУКЦИОН

Маша занемогла. Обстоятельства последних дней сокрушили ее и морально и физически. На третьи или на четвертые сутки болезни она услышала у дверей своей квартиры весьма бесцеремонный звонок и через минуту столь же бесцеремонные и вполне незнакомые ей голоса. Кто-то и зачем-то желал ее видеть, а горничная отбояривалась, как могла, не хотела допустить пришедших до барыни.

Маша позвала ее звонком, узнать в чем дело. Горничная замялась и не находила удовлетворительного ответа, боясь обеспокоить больную неприятным известием.

— Позвольте-с войти, — постучались в эту минуту в дверь будуара, — девушка ваша впускать не желают.

— Кто там?

— Мы-с... надо будет счетец один подписать; дело коммерческое. Из княжеской конторы к вашей милости присланы, от их сия-

тельство-с.

Одного имени князя было уже совершенно достаточно, чтобы Маша с нетерпеливою поспешностью накинула на себя пеньюар и через силу вышла к ожидавшимся. Ей так сердечно хотелось узнать хоть что-нибудь про все еще любимого человека, услышать хоть какую бы то ни было весть про него, которая сменила бы ей собой эту томительную неизвестность.

В гостиной стояли мебельщик, бакалейщик и приказчик от хозяина, помесечно отпускаявшего для Маши экипаж. Дело было в том, что Хлебонасущенский, устраивавший «для метрессы их сиятельства апартамент» и забиравший все нужное напрокат, выплачивал поставщикам деньги ежемесячно из конторы Шадурских. За два месяца до разрыва князя с Машей практический человек пронюхал, что фонды ее сильно падают у Шадурского, и потому позадержал платеж поставщикам, прося их пообождать до следующего срока. А как пришел этот следующий срок, так и отправил их всех к Маше: «Там де получите, а князь больше за нее не плательщик».

— И более ничего не говорили вам про него? — с напряженным беспокойством спросила она.

— Больше ничего.

— Чего же хотите вы теперь?

— Известное дело, насчет уплаты: свое заработное получить желательно.

— У меня денег нет... Я ничего этого не знала... Что ж с этим делать теперь?

— Это не беда-с, коли денег нет... Может, кто другой за вас пожелает уплатить — это ведь дело завсегдашнее.

— Нет, никто не пожелает, — вспыхнула Маша, догадавшись по улыбке, с которой была произнесена последняя фраза, куда бьет намек мебельщика.

— Так, может статься, поручится кто-нибудь?

— И поручиться некому.

— Опять же и в этом роде препятствия нам нет; вы только подпишите нам счетец, тогда мы будем покойны.

— Зачем же это? ведь подпись не деньги?

— А уж это так, для проформу такого требуется, чтобы, значит, быть нам благонадежны-

ми насчет того, что от уплаты не откажетесь.

— Я заплачу; я продам все вещи свои...

— А на много ли вещей-то будет? И в каких качествах они?

— Много: платья, белье, золотые вещи, брильянты, — высчитывала Маша, которая в эту минуту ничего не хотела иметь от Шадурского: даже этот пеньюар — и тот, казалось, теперь будто давит ей горло.

— Что ж, это самое любезное дело, — заметил один из претендентов, — тысячи на полторы хватит?

— Больше, гораздо больше! Хотите, берите сейчас же все, что есть, в уплату? — как-то стремительно предложила девушка.

— Нет-с, это дело не модель, — поступать так, чтобы самим брать, как вздумаешь; а вы вот как-с, — вразумляли претенденты, — вы подпишите эти самые счета маненечко задним числом, а мы завтра же, пожалуй, представим на вас ко взысканию; вещи законным порядком опишут и назначат к продаже с аукционного торга.

— Хорошо, — согласилась Маша.

— Тогда, за уплатой нам, буде выручиться

с продажи остаток какой, — в виде утешения говорил мебельщик, первым подсовывая ей свой счет для подписания, — так он сполна к, вашему же профиту пойдет.

— Мне ничего не нужно, — сухо возразила Маша, выставляя, одну за другою, свои подписи на поданных ей бумагах.

Она говорила и делала все это полубессознательно и совсем почти машинально: в голове ее гвоздем засела теперь одна уже всепоглощающая мысль о совершившемся разрыве, и чуть только успели уйти эти господа, как напряженно-нервное состояние разрешилось истерическим припадком.

* * *

После этого случая Маша прохворала недели две. При ней безотлучно находилась ее девушка Дуня, которая распорядилась и насчет хозяйства, и насчет аптеки с доктором.

Пришел помощник надзирателя с писмоводителем и оценщиком — производить опись, пришли и кредиторы. Доктор, пользуясь болезнью Маши, хотел законным предложением отклонить это обстоятельство; Маша решительно воспротивилась и, требуя как мож-

но скорее опиши, сама указывала и вспоминала горничной вещи, почему-либо позабытые тою при осмотре. Ей все скорее и скорее хотелось развязаться со всем, что хоть сколько-нибудь напоминало Шадурского и время, прожитое с ним вместе.

Казалось, все эти вещи, вся обстановка словно какой невыносимый гнет давили бедную девушку. Менее чем в час с четвертью все уже было описано, и казенные печати приложены.

Дело оставалось только за продажей с аукционного торга.

* * *

С одиннадцати часов утра в квартиру Маши стал набираться особого рода люд, специально посещающий аукционы. Явилась власть, в лице того же квартального помощника с портфелькой под мышкой; явилась сила пассивная, в образе аукциониста с деревянным молотком в кармане; привалила, наконец, и сила активная — особого рода торговое братство, семья маклаков, ходебщиков по аукционам, которые, составляя в самом деле заправскую силу, являются царями каждого

аукциона и ворочают там весьма нешуточными делами. У них есть свои законы, свои обычаи и даже отчасти свой собственный технический язык. Стоит взглядеться в эту толпу, когда она наполняет аукционную комнату: тут и чуйки, и «пальты», костюмы зажиточные и убогие, физиономии одутловато-сытые и тоще-голодные; но на тех и других ярко написана жажда рублишка. Укомплектовывают эту корпорацию обыкновенно толкучники и апраксинцы, которые проторговались вконец и, обанкротившись, примазываются кое-как, ради насущного хлеба, к маклаковскому обществу, куда вступают по большей части племянниками, что обязывает их, за какой-нибудь гривенник или пятиалтынный, справлять подручную работу на хозяев, то есть бегать за ломовиками и отправлять, под своим присмотром, купленное добро в складочные на толкучий рынок. Члены этого братства искони разделили себя на две категории. К первой принадлежат физиономии сытые, в «пальтах» и лисьих купецких шубах; ко второй — физиономии испытые и голодные, в пальтишках и чуйках. Первые ворочают всем

делом и называют себя хозяевами; вторые ба-тракуют и племянничают. Хотя нет того дня, чтобы между членами не выходило ссоры и даже потасовки, однако мудрое правило: «рука руку моет» всевластно царит над маклаковским обществом. Тут же труждающиеся и обремененные прогаром, то есть банкротством, находят для себя в некотором роде мирное и тихое пристанище, ибо аукцион-ный промысел во всяком случае дает своим адептам-племянникам возможность хлеб же-вать, а хозяева иногда сколачивают и капи-тальцы весьма почтенного свойства.

Наконец появились в Машинной квартире и кредиторы с несколькими посторонними покупателями и двумя-тремя толкучными торговками, что торгуют подержанным платьем и разным тряпьем. Таков обычный ха-рактер публики, присутствующей на всевоз-можных аукционах. Помощник с аукционистом взглянули на часы и послали за хозяй-кой. Маша вышла к ним, бледная и смущен-ная: она не ждала такого большого сборища.

Гурьба маклаков встрепенулась — по ком-нате пошел легкий, полупотливый гово-

рок. Аукционист даже с некоторой подобающей торжественностью стал на свое место за столом, постучал для начала молотком своим и, заглянув в реестр, внятно-монотонным голосом начал выкрикивать.

— Шубка на лисьем меху, воротник соболий — три рубля; кто больше?

Корпорация маклаков тотчас же выслала из своей среды пять «выборных хозяев», назначение которых в этом случае — торговаться, то есть справлять службу за «общество», пребывающее на сей конец в полном безмолвии.

Подручный аукциониста вытащил и понес напоказ публике продающуюся вещь.

— Три рубля — кто больше? — повторил аукционист, флегматически постукивая слегка молотком и обводя взорами публику.

— С кипейкой! — пискнул чей-то голос в углу, за многочисленными спинами покупателей.

— Мартын на алтын, а Федосья с денежкой, — пробасил, в виде остроты, один из выборных, и острота эта очень утешила братию.

— Три с копейкой — кто больше?

— Десять рублей!

— С пяточком!

— Гривна!

— Полтинка!

— С семиткой!

— Тринадцать рублей семь гривен — кто больше? — монотонит между тем аукционист.

Из публики, не принадлежащей к маклаковскому «обществу», продирается вперед солидных лет господин с явным намерением набивать цену, чтоб оставить вещь за собою.

— Куды те, лешего, прет? стой на месте! — дерзко ворчат на него ближайšie племянники, нарочно заслоняя дорогу. — Чего толкаешься? барского форсу показывать, что ли, захотел?

Солидный господин оскорбился и подымает перебранку с ближайшим из оттиравших его маклаков. А тем только того и надо. Пускается в ход первая из обычных маклаковских уловок: господина обступают несколько человек и своим смехом да новыми дерзостями неослабно поддерживают начатую перебранку, стараясь во что бы то ни стало от-

влечь внимание солидного господина от молотка аукциониста. А молоток этот меж тем все постукивает себе полегоньку, и не успел еще солидный господин сделать маклакам достодолжное внушение насчет своего ранга и сана, как молоток громко пристукнул последний раз — и вещь осталась за одним из выборных občества в двадцати рублях, тогда как стоила триста. Маклаки утешаются. Господин — с носом; видит, что поддался на уловку, и дает себе слово впредь на таковую уже не поддаваться, а стойко выдерживать характер, не отвлекая внимания от аукциониста. Маклак — народ зоркий: взглянет на физиономию и нюхом чует уже, как лягавая собака, в чем кроется дело.

— Бурнус-манто бархатный, стеганный на гагачьем пуху — два рубля. Кто больше? — снова постукивает аукционист.

— Рубль!

— Пятачок!

— Три копейки!

— Пять рублей!

— Шесть!

— Продал! — замечает, обращаясь к соседу,

маклак, предлагавший пять рублей, что на языке маклаков значит — отступился и больше торговаться не намерен.

— Четырнадцать рублей восемь копеек, — кто больше?

— Десять рублей! — возглашает солидный господин, стоя в кучке маклаков, все-таки не допускающих его продраться вперед к аукционисту.

— С рублем, — спокойно замечает в ответ ему один из выборных.

— Еще десять! — настаивает солидный.

— Еще с рублем, — отпарировал другой выборный.

— Ишь ты — голь, шмоль и компания, а как форсится! — дерзко смеются в глаза солидному господину окружающие маклаки, с целью подстрекнуть его на продолжение торга.

Аукционист придерживается и не выкрикивает вновь надбавившуюся сумму.

Один из выборных исподтишка одобрительно мигает ему глазком: хорошо, дескать, дружище, порадей на мир — не оставим.

— Десять рублей! — горячась, набивает

меж тем антагонист маклаков, явно задетый за живое.

— Забастуйте-ко лучше, ваше благородие, неравно карман у вас с дырам: проторгуетесь.

— Кто больше? — вопрошает аукционист.

— Пятак!

— Пятнадцать рублей! — настойчиво кричит солидный, начиная «зарываться».

— Рублик!

— Еще пятнадцать!

— Продали! — с предательской усмешкой слышится на стороне маклаков.

В конце концов, после пятиминутного торга, незаметно оказывается весьма почтенная цифра.

— Сто сорок три рубля, пять копеек. Кто больше? — кричит аукционист.

Молчание.

— Раз! — удар молотка. — Кто же больше?

— Опять молчание.

— Два!.. Никто, что ли, не хочет? Сто сорок три рубля, пять копеек — больше кто?

Опять-таки полнейшее молчание. У солидного господина начинает сильно вытягиваться физиономия: видит, что зарвался, и снова

попался на удочку.

— Три! — возглашает аукционист, пристукинув молотком. — Вещь за вами, позвольте получить деньги.

В гурьбе маклаков раздается громкий хохот.

— Честь имеем с дешевой покупкой поздравить! — апраксински-вежливо обращаются некоторые из них к своему антагонисту. — Позвольте вам, господин, билетик с адресом наших складов вручить: у нас такое манто при безобидной уступочке за девяносто пять можете получить всенепременно-с!

— Штука-то, братец, важнецкая!.. Лихо на перебой поддели! Вперед не суйся! — слышится говор в гурьбе — и действительно, прочувленный таким образом солидный господин — можно сказать с достоверностью — уж больше не сунется на аукционную продажу и не заставит повторить над собою вторую из обычных маклаковских проделок, известную под именем перебоя.

Маша с полнейшим равнодушием глядела на этот сбыт ее имущества. С выздоровлением прежняя тоска не возвращалась к ней бо-

лее; напротив, ею овладела какая-то бессознательно-рассеянная и глубокая апатия, совершенная нечувствительность ко всему, что бы с ней ни случилось. Этот апатический покой был похож на неодолимый сон человека, которого привели с пытки, но который знает меж тем, что завтра его снова поведут на нее, и убежден, что в конце концов нет спасения и ждет его одна только смерть неизбежная. Она сидела и словно не замечала того, что вокруг нее происходит, — ни этого шума, ни этой тараторливой перебранки, которая поднялась между торговками и маклаками, когда дело дошло до шалей, кружев, мантилий и шляпок.

К двум часам пополудни все уже было кончено. Маклаки, по обыкновению, пошли в трактир вязку вязать, то есть производить между собою свой собственный, круговой торг на приобретенные вещи. Власть забрала выручку для отправки в «надлежащее место» на удовлетворение кредиторов, которых, кроме прежних трех, понабралось еще человека четыре. Управляющий домом явился за получением двухмесячных квартирных денег. Но

с этим Маша уже сделалась сама: все вещи, не вошедшие в опись — белье и платья, она предложила ему взять на квит. Афера была слишком выгодна, чтобы отказаться — и управляющий забрал все остальное имущество Маши, внеся за нее хозяину квартирные деньги. А она даже рада была поскорее развязаться со всем, что напоминало ей о недавнем образе жизни. Когда дело и с управляющим было кончено, Маша случайно заглянула в свой кошелек: от прежних достатков теперь покоилось там пять рублей и несколько копеек, составляющих в данную минуту почти все ее достояние.

— Небиль вам, сударыня, напередки не требуетцы? — обратился к ней кредитор-мебельщик.

— Нет.

— Ну, так вытаскивай, ребята! — обернулся он к приведенным на всякий случай носильщикам. — Да глядите у меня, бережней, об косяки не шарыгай — не попорти!

* * *

Через полчаса Маша прошлась уже по совершенно пустым комнатам. Какое-то неизъ-

яснимо-грустное чувство охватило ее при виде этих оголенных стен и окон. Шаги раздавались резче, голос гулче и звучнее, с явно заметным эхом. И необыкновенно живо, полно и ярко представила себе Маша всю эту уютную, милую обстановку, которая не далее еще как за два, за три часа наполняла эти комнаты; Маша вспомнила князя, его место у камина и первое счастливое время своей жизни в этой самой квартире. И это грустное чувство — чувство хозяина над своим разрушенным пепелищем и минувшим счастьем — заняло в ней еще сильнее, впервые после болезни пробив кору ее безразличной апатии.

Маша отошла к окну и тихо-тихо заплакала горячими и горькими слезами, приложив к холодному стеклу свой лоб и бессознательно глядя на пестревшую движением улицу.

В это время в прихожей опять позвонили, и вошел пожилой господин, весьма джентльменской наружности.

— Что вам угодно? — обратилась к нему удивленная Маша.

— Я... позвольте рекомендоваться: домохозяин здешний — потому...

— Я покончила уже все расчеты с вашим управляющим, — возразила девушка.

— Но, сударыня... я желал бы...

— Квартиру очищу завтрашний же день непременно, — снова перебила она.

— И, помилуйте, что такое квартира? Это все пустяки!.. Я к вам вовсе не с тем намерением...

— Я не понимаю, что ж иначе могло вас привести сюда? — резко спросила его Маша, которой в эту минуту было несносно каждое постороннее лицо и хотелось остаться одной совершенно, в полной тишине и безлюдном молчании.

— Привело сочувствие, — улыбнулся пожилой господин, — сочувствие к вам, ну и... к вашим стесненным обстоятельствам. Я вовсе не намерен гнать вас с этой квартиры, — я, напротив, хочу предложить вам остаться в ней.

— Я не имею средств на это, — сухо ответила Маша, которой эти слова показались одним из двух: либо пошлой и круглой глупостью, либо весьма аляповатой насмешкой над ее положением...

— Вот именно с тем-то я и явился сюда! — самодовольно подхватил хозяин. — Я — человек прямой... пришел предложить вам свои услуги относительно средств и прочего... Вы теперь лишены удовольствия кататься по Невскому — у вас завтра же снова явится пара рысаков, и ложа, и мебель, стоит только пожелать вам, сказать мне одно слово — я человек слишком богатый, для меня это — сущая безделица...

— Я вас попрошу удалиться отсюда, — с вежливой сухостью поклонилась ему оскорбленная девушка.

— Но подумайте, сударыня, ведь вы отказываетесь от собственного счастья; я могу предложить вам вдвое более, чем вы получили от Шадурского.

— Я повторяю вам: извольте выйти отсюда.

— Но ведь — мне кажется — право, все равно у кого ни быть на содержании?.. И что ж тут такого оскорбительного?

— Вон! — возвысила голос Маша, строго и энергично сдвинув свои брови — и в этом жесте, в этих сверкнувших гневом глазах и в

звук ее голоса сказалось столько неотразимо повелевающей силы, что нахальный господин съежился, умалился как-то и, невольно покоряясь этой силе, поспешно скрылся за дверью.

— Кто больше даст... Тоже аукцион своего рода! — с горьким чувством негодования проговорила Маша, злобно закусив нижнюю губу и в волнении шагая по комнате. — Там торгуют вещи, здесь — человека торгуют.

XXVII НА НОВУЮ ДОРОГУ

Лишь в эту минуту обнаружилось перед нею во всей своей цинической наготе то незавидное социальное положение, в котором стояла она даже и в то время, когда князь притворялся влюбленным и называл ее с глаза на глаз своею невестою. Маша убедилась наконец, что служила для него только вещью, которую покупают, когда она нравится, и бросают, как несвежие перчатки, когда пройдет минутная прихоть. Ей сделалось больно за свое человеческое достоинство. Нечего уж бы-

ло закрывать себе глаза по-прежнему и тешиться иллюзиями. После стольких ударов, упавших на нее всею тяжестью своего гнета и сильно надломивших эту свежую натуру, Маша перестала быть беззаботно-милым ребенком и переродилась в женщину, в человека, который просто, прямо взглянул в лицо печальной действительности.

— Что же мне делать теперь? как распорядиться собою? — задала она себе роковой вопрос. — Я ничего не умею, ничему как следует не учена; в няньки — молода, в гувернантки... по совести сказать, не гожусь. Да и кто возьмет? — гувернантка из камелий! На сцену идти — талант нужен; да и с талантом-то попробуй-ка, пробейся!.. Шить в магазины? — это бы скорее всего; да поди, поищи сперва работы! Разве не видала я, разве не при мне приходили к этим магазинщицам такие же несчастные, как я, выпрашивать работы? Что же, находили они работу? брали их, не отказывали им? Как же, дожидайся! Но что делать однако? Распутничать?.. Господи, да неужели же тут нигде уж нет честного куска хлеба? Быть не может! — с отчаянием воскликнула

девушка.

Эта действительность, не прикрытая розовым флером, при первом взгляде испугала ее. Не дешево далась ей борьба со своим внутренним миром, да не дешевою казалась и предстоящая — с действительной и суровой жизнью.

На другой день в холодной, нетопленной квартире сидела Маша на подоконнике, не обращая внимания на то, что от окна дуло чувствительным холодом. Перед нею стояла горничная девушка, которая одна не покидала ее в это время.

— Прости меня, Дуня, — сказала она, протянув ей руки, — я виновата пред тобою... Мне, право, совестно...

— Ой, полноте, Марья Петровна, чтой-то вы, чем это вы виноваты предо мною-то? — перебила несколько удивленная девушка.

— Да как же, за два месяца вот жалованье не заплатила.

— Ну, так что ж, коли нет? откуда ж взять? надо так судить по человечеству. На нет и суда нет. Ведь я тоже чувствую; а вам об этом и беспокоиться нечего.

— Нет, Дуня, все же так нельзя... Это ведь заработанное... Вот у меня осталось тут пять рублей — мне теперь ничего не нужно; возьми их.

— Что вы, сударыня! Господь с вами!.. Я всегда найду про себя копейку: город, слава те господи, не клином сошелся.

— Не клином... Нет, Дуня, клином, да еще каким клином-то! — с грустным одушевлением покачала Маша головою. — Я-то вот вчера и сегодня ходила работы искать, в шести магазинах была — и нигде ничего! В одном — просто отказывают, в другом — говорят, что все уже полно — зайти через неделю предлагают, в третьем — спрашивают, у кого училась да где работала; от известных, вишь ты, принимают только; а в одном — так и вспомнить-то гадко! — оскорблений наглоталась... Француженка содержит; узнала меня: «Что это, — говорит, — из содержанок да в швейки? Мало разве своего дела?..» Э, да и говорить-то не стоит! — с горечью махнула Маша рукою. — А ты воображаешь еще, — «не клином сошелся»!

— У меня два места есть, — сообщила Ду-

ня, — выбирай хоть любое: одно к полковнице на Остров: я еще прежде жила у ей — хорошая очень полковница. Пять рублей в месяц, горячее со стола да фунт кофию отсыпного; а другое место выходит в Коломну, к чиновнице...

— Ах, знаешь ли, Дуня! — радостно перебила ее Маша — и по лицу ее стало заметно, что какая-то внезапная, светлая мысль озарила ее голову, — знаешь что? Тебе ведь не два же места разом брать — дай мне какое-нибудь!.. По-рекомендуй меня: скажи там, что знаешь одну девушку... Я пойду!

Дуня пришла в изумление.

— Чтой-то вы, Марья Петровна, — заговорила она, — ну, разве можно вам в услужение идти? Ни с чем даже не сообразно!

— Отчего же нельзя?

— Да ведь это только нашей сестре впору, а вам-то и дело оно совсем непривычное, да и... неприлично даже.

— Пустяки, привыкну!.. А неприличного — что же тут неприличного? На содержаньи приличней, что ли? Нет, ей-богу, Дуня, рекомендуй меня! Сходи сегодня же; чем скорей,

тем лучше. Я уж порешила.

Маше стало как-то светлей и легче на душе: она увидела, что не все еще хорошее потеряно для нее в жизни, что еще есть честный исход, есть труд — и мирное затишье снизошло в ее душу. О князе и своей недавней жизни старалась она не думать, потому что при каждом мимолетном воспоминании начинало болезненно ныть ее сердце, словно разбеженная рана.

К вечеру того же дня был приведен извозчик, и на его неуклюжие дрожки уложила Дуня скромный и досольно тощий чемоданчик, тюфяк, ущедренный от себя управляющим взамен прежнего роскошно-эластичного, да подушку своей бывшей госпожи, которая, с узелком в руках, отправилась пешком, вслед за извозчиком, в Коломну, к Сухарному мосту, где ожидало ее место. Дуня выговорила ей у хозяйки-чиновницы четыре рубля в месяц жалованья «с горячим», и теперь отправилась вместе, для окончательного устройства ее в новом и непривычном еще положении.

— Ну, господи, благослови! на новую

жизнь да на добрую дорогу! — перекрестилась Маша, выходя за ворота богатого дома, где оставляла столько горечи, любви, воспоминаний — светлых, заманчивых, и столько тяжелого разочарования...

XXVIII

У ДОРОТА С КАМЕЛИЯМИ

Теперь мы попросим читателя вернуться несколько назад к тому самому вечеру, когда князь Шадурский уехал от Маши, объявив, что отправляется на пикник к Берте. Прежде чем катить к Дороте, он завернул домой, чтобы послать за тройкой, и на столе у себя нашел небольшое письмо с городской почты:

*«Сегодня, в час ночи, вас ждут в маскараде. Черное домино, в волосах белая живая камелия.
Маска».*

«Мистификация или нет? — подумал Шадурский, взглядываясь в почерк. — Рука женская, но неизвестно — чья. Во всяком случае, это интересно. Поеду! — решил он и заблаго-

временно оделся в надлежащую для маскарадов форму. — А пока, убить до часу время — к Берте».

* * *

У каждой почти из наших известных камелий бывают в жизни весьма сильные критические моменты, которые проходят и опять возвращаются, чуть не периодически.

Какая-нибудь Клеманс или Берта пользуется покровительством какого-нибудь златорогого барана. Шкура и шерсть этого барана служат для нее в некотором роде руном язовым, и потому Берта сорит себе деньгами направо и налево, кидает их зря, туда и сюда, направо и налево, и справедливо думает, что колхидское дно неисчерпаемо и создано, дабы удовлетворять каждому минутному ее капризу и взбалмошной прихоти. Но вдруг какими-нибудь судьбами златоносный источник иссякает: либо Язон находит Медею, либо руно подверглось чересчур уж неумеренной стрижке — и вот бедный цветок без запаха остается без всякой поливки: Берта сидит на бобах.

Хорошо, если вместо златорогого барана

подвернется на выручку золоторогий бык либо златохвостый боров, — Берта спасена и снова сорит себе деньгами.

Но если не наклеывается ни одно из подходящих животных — положение Берты через несколько времени становится критическим до трагизма. Эти промежутки от одного покровителя до другого суть ее смутное время, период междуцарствия, со всеми его горестями и неудобствами. Берта в унынии — Берта в безденежья, Берта лишается своего кредита. В прихожей ее с самого раннего утра появляются неприятные ей личности: магазинщицы, модистки, каретники, комми из всевозможных лавок, кредиторы, которые во дни сытные любезно открывали ей карманы, а во дни глада нелюбезно предъявляют ей заемные письма. И весь этот тяжкий люд назойливо ползет со счетами, с требованием уплаты. Берта атакована, Берта в осадном положении и, ради требований своего избалованного желудка, обыкновенно весьма прожорливого, принуждена закладывать алчным займодавцам свои кружева, брильянты, серебро и все эти *petits riens*[257], которых в

квартире любой камелии находится всегда вдесятеро более, чем самых обыденно необходимых вещей. Берта наконец в отчаянии, на нее представлено несколько векселей — ей грозит даровое помещение, со столом, освещением и отоплением, в 1-й роте Измайловского полка, в знаменитом Hotel de Tarasoff, где для вящего почета стоит форменная будка и к будке приставлен гвардейский часовой с ружьем. Что тут делать Берте? Как ей извернуться?

Мы, впрочем, взяли почти крайнюю грань злосчастливого положения Берты. Прежде чем достичь до сих красивых степеней, она перепробует разные способы спасения. Тут пойдут в ход и соблазнительные жертвоприношения кредиторам, буде который податлив на этот счет — в некотором роде сцены жены Пентефрия с Иосифами целомудренными, — и обращения за участием к особам, вроде генеральши фон Шпильце; но самым простейшим способом по большей части являются пикники, которые служат также одним из средств для временной поддержки существования камелий, вполне уж увядших.

И вот Берта заказывает в литографии билеты «для входа» на отличной глазированной, бристольской бумаге, засим едет ко всем своим приятельницам и каждой вручает билетов по тридцати; приятельницы, сознавая, что с каждой из них может случиться, если уже не случалась, подобная же проруха, *volens-nolens*[258] навязывают эти билеты приятелям, приятели — своим приятелям, и т.д. Кроме того, Берта и сама не плошает: она тоже раздает их своим приятелям, а некоторым, особенно тароватым, рассылает при особенно милых, любезных и раздушенных письмах. Цена билету от десяти до двадцати пяти рублей; бывает и больше, но, впрочем, редко. Двадцать пять назначают камелии цветущие; десять — камелии увядшие.

И вот таким образом составляется пикник, с ужином и столовыми винами, обыкновенно у Огюста или Дорота. Ужин по большей части скверненький, да и тот подается, из экономии, часу в пятом утра, когда большая часть «гостей» поразъедется или, соскучившись томить свой аппетит, упитается ранее, на свой собственный счет. А в результате у Берты за

покрытием расходов — глядишь — оказывается в кармане несколько сотен. Все ж таки поддержка. У Берты, кроме того, в пикнике кроется и другая, затаенная цель: может быть, кто-нибудь пленится ею, и — счастливый случай — междуцарствию конец, кредиторы долой, существование до нового критического момента обеспечено.

Поэтому камелии очень любят пикники, как средство выручающее.

Такого же свойства был и тот пикник, на который отправился Шадурский.

Народу — не особенно много и не особенно мало; впрочем, красовалось несколько представительных субъектов из гаменов и *jeunesse dorée*[259]. Общество смешанное: кто заплатил двадцать пять целковых, тот и прав, ходи себе полным хозяином и повествуй потом, что я-де был на пикнике с князем N, с графом X и т.д. Словом, все обстояло благополучно: десять музыкантов, что называется, «наяривали» изо всей мочи фолишонный кадрили; какой-то неуклюже тучный господин бегал по всем углам ресторана и навязывал всем и каждому, знакомым и незнако-

мым, билеты на следующий, посторонний пикник; Эрмини стреляла своими громадными серыми глазами; Жозефина как-то изловчалась сентиментальничать по-французски, что, действительно, штука довольно мудреная — французженка и сентиментальность! Жюли, ради своей далеко не первой молодости, брала более насчет скромности; Луиза Ивановна — насчет немецкого «ас!» и шампанского; Прозерпина отчаянно-ловко канканировала и подпевала французские куплеты, а одна французская актриса щеголяла своим знанием русского языка, даже с известного рода пикантностью. Но венец всего собрания является в образе набеленной, нарумяненной и всячески раскрашенной кубышки, которая хотя тоже называется Прозерпиной, но, соответственно весьма преклонным летам своим, известна более под именем бальзамированной египетской мумии, и если годится на роль Прозерпины, то разве только в собачью комедию. И она тоже танцевала, и даже — о, ужас! — канканировала. В качестве танцующих кавалеров фигурировали более купчики да вновь испеченные прапорщики. Одним

словом — повторяем — все было как всегда, ничем не хуже, ничем не лучше, — в конце можно было, по обыкновению, ожидать какого-нибудь легонького скандальчика, и все это обещало некоторый дивиденд злосчастной Берте, которая, несмотря на свои кружева и брильянты, — быть может, взятые напрокат, по случаю спуска собственных, — никак не могла утерпеть, чтобы поминутно не бегать в прихожую, где какая-то кривоглазая особа, немецкой расы, продавала и отбирала входные билеты.

В одной из уютных и довольно изящных беседок зимнего сада, освещенных висячими шарами, заседала компания блистательных молодых людей. Шампанского, судя по бутылкам, добросовестно истреблено изрядное количество. Разговоры шли «завсегдашние», то есть самые обыкновенные, которые, однако, надо полагать, отличаются для этих господ особенною занимательностью и интересом, ибо тема их останется неизменной во веки веков. Это — всегда одна и та же, постоянная и никогда не надоедающая им тема — где бы и как бы они ни сошлись — о лошадях, жен-

щинах, собаках и новом производстве. Надо удивляться только той необыкновенной общности, которая господствует в их понятиях касательно этих разнородных, но достолюбимых предметов.

— Князь! здоровье твоей Мери! — обратился к Шадурскому его vis-a-vis, белогубый юноша, протягивая через стол свой бокал, чтобы чокнуться.

— Это с какой стати? — спросил князь, притворяясь удивленным.

— Эге!.. да ты, брат, тово... Уж не ревнуешь ли? — улыгнулись два-три человека соседей.

— Я?.. Да мне-то что ревновать ее?

— Ну, нет, такую женщину отчего ж и не поревновать немножко... Да, кстати, что ее нигде не видать, что она у тебя поделывает?

— А кто ее знает! — сgrimасничал князь.

— Вот мило! «Кто знает!» Да кому ж больше и знать, как не тебе?

— Я не знаю.

— Ха, ха, ха!.. Почему?

— Да так... Очень просто: я ее бросил.

— Бросил! — это слово вмиг облетело весь стол и привлекло к Шадурскому общее вни-

мание. — Бросил!.. Ну, полно, любезный друг, шутишь! — усомнился один из состояльников.

— Parole d'honneur[260], без всяких шуток... Да и что ж тут особенного? — с достоинством истинно порядочного человека возразил Шадурский.

— А, в таком случае, это — новость. Да, впрочем, за что же? помилуй!..

— А так себе, просто бросил... Надоела.

— Но разве может такая женщина надоеть? — с цинически двусмысленной улыбкой вмешался белогубый юноша, предлагавший выпить за ее здоровье.

— Почему же нет? Как и всякая женщина.

— Однако чем же она успела надоеть-то? Ведь это еще не слишком древняя история?

— Чересчур уж сахару много — тем и надоела, и потом — как-то странно держит себя... будто и в самом деле порядочная женщина, — опять сgrimасничал князь. — Ну, однако, ведь это скучно — тянуть все одну канитель, — добавил он для перемены разговора. — Здоровье моей пегой кобылы, господа!

— Bravo, князь! Это — дело существенное! — подхватила блистательная компания,

единодушно сдвигая стаканы.

— Кто хочет отправиться со мной в маскарад? Сейчас еду, — предложил Шадурский, взглянув на часы.

— Да что там делать, в маскараде?

— А здесь-то что? Скука везде одна и та же, но все-таки разнообразнее.

— Нет, уж оставайся-ка лучше и ты с нами! Стоит ли ездить?.. Погибнем все вместе — «мертвые сраму не имут», так ведь это, кажется, говорится? — уговаривали Шадурского.

— Нет, мне нельзя... Я должен ехать, — значительно возразил этот, и возразил с целью, чтобы дать понять, будто у него есть серьезная интрига в маскараде.

По правде же говоря, и весь разговор-то затеял он с тем, что уж больно хотелось похвастать анонимным приглашением.

— Меня, кажется, собираются мистифицировать, — с иронической миной заметил он, помолчав минуту, и бросил на стол вынутое из кармана письмо маски.

— Кто же это, не знаешь? — любопытствовали некоторые.

— Не знаю... Но по этому письму, по руке,

доберусь потом до правды!.. Знаю только одно, que c'est une femme de monde[261], и, кажется, как будто Варинька Корсарова, — с самодовольной улыбкой сделал он предположение.

— Ты думаешь?..

— Почти уверен, — сказал Шадурский, и сказал таким тоном, что каждый должен был понимать: не почти, а совсем уверен.

— Почему ж ты полагаешь, что это мистификация?

— Н... не знаю... может быть, и нет, — замялся он, и опять-таки замялся таким образом, что выходило — наверное нет.

— Счастливец! — вздохнул белогубый. — Желаю полного успеха! — и сам остался необыкновенно доволен, потому что назавтра есть еще одна новая тема для разговора, кроме лошадей и производства, о том, что Варинька Корсарова влюблена в Шадурского, пишет ему письма, была вчера для него в маскараде и т.д.

Это — самый обыкновенный и самый невинный способ пустить, ни с того, ни с сего, по ветру имя порядочной женщины, — спо-

соб, на который очень падки блистательные юноши подобного сорта.

XXIX

МАСКАРАД БОЛЬШОГО ТЕАТРА

Самые популярные из петербургских маскарадов, бесспорно, маскарады Большого театра. Хотя порою по всем залам атмосфера доходит там почти до банной температуры, хотя в столовой постоянно накурено табачищем до того, что не только съесть что-либо, но идохнуть невозможно, чтобы не закашляться до удушья, хотя, наконец, по всем лестницам распространяется вонь нестерпимая от жарящихся на кухне рябчиков и бифштексов — однако петербургская «публика» весьма усердствует и благоволит к театральным маскарадам. Что в них особенно заманчивого — не знаю; но театральный маскарад служит пунктом безразличного вмещения всех каст и сословий. Вы думаете, например, что эта великосветская дама (блистающая на словах своей наивностью и целомудрием относительно некоторых предметов житейской опытности),

В то время как она с любопытством спрашивает, что такое маскарад, и сожалеет, что никогда не видала его, — вы думаете, она и в самом деле никогда не бывала там? Жестоко ошибаетесь: бывает, довольно часто, почти постоянно бывает; но ездит с предосторожностями и фокусами: она нарочно подобрала себе для этого камеристку одного роста с собой, подобрала глупенькую великосветскую приятельницу, тоже подходящего роста; и вот втроем отправляются в то заманчивое место, о котором в салоне обе говорят, что не имеют ни малейшего понятия. У камеристки в запасе есть несколько пар перчаток и несколько бантиков. Втроем появляются они в маскарадной зале, каждая порознь интригует, кого вздумается, потом сходятся все трое в женской уборной, чтобы перемениться своими домино и капюшонами, отстегнуть какой-нибудь старый и пристегнуть новый бантик и затем снова появиться, в новом образе, среди маскарадной залы. Увы! теперь одной из них нельзя уже притвориться неведением маскарадных таинств, потому что камелия, увидя ее в ложе со своим покровителем, разыграла

сцену ревности и учинила великий скандал, сорвавши в коридоре маску с лица простоватенькой приятельницы целомудренной дамы.

Да, между этими Дианами большого света выходят иногда в маскарадных ложах прелюбопытные стычки, причем каждая злобно и ревниво замечает в глазу другой малейшую соринку, а назавтра, без масок, обе будут казаться милейшими приятельницами и удивляться одна перед другой: что это, дескать, наши мужья находят в этих маскарадах, и уверять одна другую, что обе не имеют о запретном плоде никакого понятия.

А эта престарелая матрона, считающая себе под шестьдесят лет, хотя и говорит, что ей только сорок? Глядя на нее в гостиной и слушая там ее речи, вы останетесь убеждены, что это — пирамида строгой, непоколебимой нравственности, а между тем эта пирамида, скрывши под капюшоном и маской свое разрушающееся безобразие, из темной литерной ложи высматривает себе поклонников, очень юных и вполне ей неизвестных.

А этот почтенный старичок? Весь на пру-

жинах, стан в корсете, шея на подпорках, дабы голова не качалась чересчур уже шибко, лицо и волосы раскрашены, одна нога в гробу, другая на маскарадном паркете.

— Ваше превосходительство! живой покойник! вы зачем пожаловали сюда?

— Отдохнуть от важных моих занятий.

— Так, совершенно правильно: два часа ночи — самое удобное время для отдыха.

— Я, впрочем, больше для внука, — как бы в оправдание замечает старичок.

А внук, должно быть, тоже больше для дедушки, который очень усердно и внимательно лорнирует проходящих под масками внучек.

И он постоянный посетитель маскарада!

Маскарад, как и все в Петербурге, имеет своих «завсегдатаев». Есть личности, которых вы видите везде и повсюду, а другие — которых можно встретить только в маскараде.

Вон — необыкновенно важной, суровой походкой шагает какой-то друз или маронит в национальном своем костюме, которого маски известного сорта называют «туркой». Он — первый из первых посетителей маска-

рада: появляется добросовестно и буквально первым, как только еще начинают зажигать лампы, и уходит последним, когда они уже потушены. Иные из завсегдатаев приезжают «для моциону», другие — «для возбуждения аппетита», третьи — «для сна», чтобы задать где-нибудь в уголку добрую высыпку, четвертые — для искания приключений с особами вроде пирамиды; но пирамиды предпочитают больше приключения с «восточными человеками» из армянской породы, которые тоже расхаживают по зале, в пестрых нарядах, и всеми силами стремятся походить на «конвойных князей», хотя сами только живут в приказчиках по «азиатским магазинам».

Вон — слоняется из угла в угол по зале, по фойе и по всем коридорам плюгавенькая рыжая личность в очках. Это — самый усерднейший из всех усердных фланеров петербургских. Чуть происходит где-нибудь чтение, концерт, лекция, спектакль, даже гулянье — можете быть твердо уверены, что вы встретите этого господина. Надо удивляться только, как хватает времени и терпения, чтобы выработать себе такое исключительное вездесу-

щие, так что просто кажется, будто оно для него священнейший долг, в некотором роде — обязанность служебная. Если бы за ужином он как-нибудь случайно подсел к вам, изъявляя желание вступить в разговор, то не вступайте и удалитесь благоразумно, потому — что за охота говорить с незнакомым человеком? — у вас в маскараде, вероятно, и без того отыщется много своих собственных, вполне вам известных знакомых.

Тут же, вечно окруженный масками, болтает на всевозможных языках наш «вечный жид», который с незапамятных времен живет в Петербурге и чуть ли не был графом Калиостро. Он не стареется и не изменяется ни сколько: таким знавали его наши деды, а быть может — и внуки даже. Иные — бог их прости — говорят, будто Антон Антоныч Загорецкий был с него списан Грибоедовым, другие — называют папашей покойницы Юлии Пастраны.

Вот, между прочим, проходят не совсем-то твердой походкой мрачные физиономии нечесаного свойства, в очках, с претензией на изображение сатирического ума в глазах и

улыбке. Они, вопреки принятому обыкновению, пропагандируют сюртуки и пиджаки в маскараде, стало быть, некоторым образом заявляют свою «борьбу с предрассудками» и «приносят служение прогрессу и обществу». У некоторых из них, как выражение уже самой крайней борьбы с рутинной, а быть может и с коньяком, из-под неопрятного жилета виднеется полоса белой сорочки. Это — жалкая литературная и «обличительная» тля, благодаря которой слово «литератор» сделалось в последнее время каким-то презрительно-ругательным прозвищем.

Вон — шныряет, словно гончая собака, достолубезнейшая личность «всеобщего дядички», которого останавливают на каждом шагу тысяча знакомых и бездна масок. Некоторые из них ради нежности называют его даже «тетичкой». Можете быть уверены, что к концу маскарада «всеобщий дядичка» не успеет еще раскланяться со своими знакомыми — до того их много.

Но всех завсегдатаев не перечтешь. Из женщин можно отметить один только вновь народившийся маскарадный тип, еще не су-

ществовавший в эту эпоху конца пятидеся-
тых годов, к которой пока еще относится те-
чение событий нашего рассказа. Это — особо-
го рода маски, которые называют себя, бог уж
их знает, с какой стати, «нигилистками», хотя
между заправскими нигилистками и ими та-
кая же разница, как... Выберите сами любое
сравнение из двух совершенно противопо-
ложных предметов. Те, по крайней мере,
несмотря на все свои странности, думают о
чем-нибудь серьезном и добросовестно режут
себе лягушек, а эти — всю свою жизненную
задачу полагают в шныряньи по маскарадам,
ходят там с «литераторами», но чуть завидят
какого-нибудь кавалергарда или гусара —
опрометью бросаются к нему и рассказывают
о том, как им надоели литераторы, а когда са-
ми они надоедят кавалергарду, то удаляются
под сень «литераторов» и повествуют о том,
как им надоели кавалергарды. Вообще эти
маски чувствуют влечение к личностям двух
означенных категорий и убеждены поче-
му-то, что это именно и есть нигилизм.

Хотя в нашем маскараде и тени нет того,
чем являются парижские Большой оперы, но

все-таки и это довольно пестрый калейдоскоп. Огни люстр, звуки музыки, бродящая толпа, пестрые наряды, впрочем, с преобладанием черного цвета, шляпы, медные каски, гусарские венгерки и белые султаны уланских шапок, фраки и эполеты, восточные человеки и комические уроды в эксцентричных костюмах, в которые наряжают театральных статистов, наконец, отчаянный канкан, на прищипке которого подвизаются личности обоего пола, составившие себе из этого танца житейскую специальность и получающие «за труды» по два рубля награждения да белые перчатки в придачу, — все это представляет довольно живую, яркую и пеструю картину.

— Так ты дашь место моему мужу? — слышится в проходящей толпе.

— Я уже дал тебе честное слово...

— Ну, если он будет определен, в следующий маскарад — я твоя...

И пара затирается толпою.

* * *

— Я тебя знаю!

— И я тебя знаю.

— А кто я такая?

— Маска, ищущая ужина.

Это один вариант маскарадных разговоров; другой — несколько короче, зато разнообразнее:

— Я тебя знаю.

— Знаешь? Ну, это не делает тебе чести. Убирайся!

Засим можно самым невольным образом подслушать множество фраз, уверений и возгласов:

— Душка штатский, дай рубль на память.

* * *

— Ты мне не верь, я подлец: право, подлец!

— Верю.

* * *

— Знаешь, зачем у тебя усы в струнку вытянуты?

— Зачем?

— Ты воображаешь, что они у тебя стрелы амура; только венгерская помада ведь некрепка: кончики гнутся и не пронзят ничего сердца.

* * *

— А ты читала мой «Переулок»?

— Нет, не читала.

— Ну, стало быть — дура... А ты прочти: это диккенсовская вещь, право. Все в восторг приходят, одобряют.

* * *

— А ты угостишь меня ужином?

— Гм... Коньяку бы выпить...

— А у меня Пунков сегодня был.

— С чем тебя и поздравляю.

* * *

— Так ты меня любишь?

— Люблю... только ты привезешь мне завтра браслетку?

* * *

— А я его обличу!

— Обличи, обличи, каналью! распечатай его на все четыре корки... Коньячку не хочешь ли?

— Можно!

* * *

— Дядичка, ты мне дашь рольку в любительском спектакле?

— А что за рольку?

* * *

— Отчего ты так озабочен?

— Он жену поймал в маскараде.

— Гм... Поздравляю!

* * *

Перекрестный огонь подобных фраз и разговоров во всех концах неотразимо преследует наблюдателя, который под этими черными масками может разгадать по одной только интонации голоса оттенки множества чувств, надежд, желаний, а паче всего пустоты с самолюбивою суетою, одолевающих души человеческие; может догадаться о десятках житейских драм, комедий и водевилей, которые то начинаются, то приходят к развязке под сводами этой большой маскарадной залы.

* * *

К князю Шадурскому подошла маска в черном домино, с белой камелией в волосах, и с молчаливой робостью взяла его под руку.

Князь пристально оглядывал ее фигуру, очерк лица, губ и подбородка, ее глаза и кисть руки, стараясь по этим признакам догадаться, кто бы могла быть подошедшая к нему особа.

По руке ее заметно пробежала дрожь внутреннего волнения, большие голубые глаза глядели из-под маски грустно и томно, а губы как-то нервически были сжаты. Она нисколь-

ко не походила на привычных маскарадных посетительниц, бойких искательниц приключений, и, казалось, была необыкновенно хороша собою.

Шадурский никак не мог догадаться, кто она такая.

— Мне надо говорить с тобою, — начала маска нервным голосом и почти шепотом от сильного волнения.

— Ну, говори, — апатично ответил Шадурский.

— Дело слишком серьезное... Я попрошу полного внимания.

— Это довольно мудрено в маскараде.

— Мне больше негде говорить с тобою.

«Начало весьма недурное и, кажется, обещает», — подумал князь с самодовольной улыбкой, любуясь изящною рукою и стройной фигурой своей маски.

— Ты одна здесь? — спросил он.

— Одна совершенно... Но не в том дело... Пойдем куда-нибудь, где народу меньше.

— В таком случае уедем отсюда, — предложил Шадурский.

— Как уедем?.. куда?.. Ты забываешь, я

должна говорить с тобою, — тревожно изумилась маска.

— Ну, вот и прекрасно! Поедем к Донону, к Борелю, к Дюссо, куда хочешь; там поговорим. Я, кстати же, есть хочу.

— Ты шутишь, а мое намерение видеть тебя — вовсе не шуточное.

— Тем лучше. Я о серьезных делах иначе не толкую, как за бутылкой шампанского.

— Князь!.. Бога ради... — сказала маска умоляющим голосом, в котором прорвалось затаенное страдание.

— Я уже сказал. Не хочешь — как хочешь! — категорически порешил он, высвобождая свою руку, с явным намерением удалиться. Это был не более как ловкий маневр: он заметил по всему, что маска от него не отстанет, что во всем этом обстоятельстве кроется нечто большее, чем обыденная маскарадная интрижка, и, как человек самодовольно-самолюбивый, заключил, что поступками несмелой маски явно руководит страсть к его особе, и только одно неуменье, одна непривычка к делу и новость положения заставляют ее относиться к нему таким странным,

необычным образом. А удобной минутой страсти и увлечения какой бы то ни было хорошенькой женщины почему же ему не воспользоваться? Он только по голосу старался догадаться, кто она: голос этот смутно казался ему как будто знакомым. Князь уж совсем было высвободился от нее, намереваясь подойти к случайно попавшейся навстречу знакомой маске, как вдруг первая стремительно схватила его за руку.

— Я умоляю... останься!.. Ты не уйдешь от меня, — встревоженно заговорила она.

— Ты капризна, — зевая, заметил князь, — это скучно. Если хочешь говорить со мною, так поедем, а иначе — прощай.

Женщина остановилась в раздумье. Это была для нее минута мучительной нравственной борьбы и тревоги.

Князь, отвернувшись, рассеянно глядел по сторонам.

— Я согласна... едем, — едва слышно выговорила она через силу, словно бы давил ее нестерпимый гнет, и, обессиленная этой минутной борьбой, подала ему свою руку.

Шадурский торжествовал, хотя и сам бы

себе не мог дать отчета — почему именно он торжествует.

XXX

ВТОРОЕ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

В карете она молча сидела, завернувшись в салоп, и не снимала маски. Князь насвистывал какой-то куплетец.

— В чем же дело? — спросил он с улыбкой, стараясь отыскать ее руки.

— После, — коротко ответила маска и завернулась еще крепче, стараясь этим движением положить предел его исканию.

— Ну, теперь мы можем говорить спокойно: сюда больше никто не войдет, — сказал он, запирая на задвижку дверь за ушедшим татаринном, который принес им в отдельный кабинет ресторана ужин с замороженной бутылкой вина в серебряной вазе и затопил камин.

Женщина сняла свою маску — и князь Шадурский, при первом взгляде на ее лицо, невольно отшатнулся несколько в сторону от неожиданного изумления.

Перед ним стояла Бероева.

* * *

Читатель помнит, конечно, что одна из невинных шалостей молодого князя Шадурского выпала на долю Юлии Николаевны Бероевой и была разыграна с нею в блестящем будуаре генеральши фон-Шпильце, при непосредственном участии этой добродетельной особы, купно с доктором Катцелем. Вероятно, не забыты также и те печальные последствия, какие шалость эта принесла за собою Бероевой.

Муж ее предполагал вернуться из Сибири не ранее семи-восьми месяцев, но подошли такие обстоятельства с промысловыми делами, что задержали его не на восьми, а на одиннадцатимесячный срок.

Юлия Николаевна, всеми силами скрывавшая от окружающих свою беременность, решилась мальчиком в его отсутствие. Она сказала домашним, что едет недели на две в Москву, к родным своим, оставила деньги на содержание детей и дома, а сама отправилась к одной из петербургских акушерок. Мучительная боязнь подорвать свое тихое, невоз-

мутимое счастье семейное, боязнь за странную участь ребенка, если бы он остался непрошеным членом в семье, и страх за то невольное сомнение, которое, быть может, за таенно заронилось бы в душу так многолюбимого ею мужа, не покинули ее и до последней минуты. Вместе с ними не покинуло и раз принятое решение — скрыть все эти грустные обстоятельства от окружающих и прежде всего от мужа.

Ребенок родился хилый, слабый — и, боже мой, с какою гнетущею тоскою посмотрела на него мать в первую минуту облегчения после родов, когда акушерка поднесла к ней показать его! Какое-то странное, раздвоенное чувство проснулось в ее наболевшей душе: мрачная ненависть к отцу и теплое чувство материнской любви к неповинному ни в чем ребенку.

— Что ж, как вы думаете, отправить бы нам его поскорее в воспитательный? По крайней мере, разом концы в воду? — предложила акушерка.

Бероева до рождения на свет младенца и сама думала то же. Она еще прежде советовала-

лась на этот счет с нею и вполне соглашалась на ее предложение как на самое удобное и благоразумное средство. Но теперь, держа в объятиях своего ребенка, она как-то невольно испугалась, услыша эти слова, словно бы что кольнуло ее в сердце каким-то болезненным укором, — и почувствовала она, что любит этого несчастного мальчика столько же, как и других своих детей, что было бы безжалостно, бесчеловечно бросить его почти на произвол судьбы, на чужие холодные руки, когда завезут и сдадут его в какую-нибудь деревню на воспитание, да и решимости и сил не хватало подавить в себе невольное материнское чувство, отказаться навеки от своего ребенка, вычеркнуть его совсем из памяти и сердца. Душа щемила и надрывалась при одной этой мысли, и стало ей мучительно жаль теперь этого хилого, болезненного мальчика.

— Нет... он такой слабенький, — нерешительно возразила она, глядя полными ожидания глазами на повивальную бабу, потому что думала услышать ее согласие.

— Так неужто ж оставлять его? — спросила эта с холодным удивлением.

— Да, я думаю, оставить лучше будет... Жаль ведь бедняжку.

— Ой, что вы! Есть чего жалеть! Да и стоит ли оставлять-то? Ведь только была бы охота, а этих поросят всегда вдоволь будет, — шутила акушерка.

— Нет, уж я оставлю, — положительно сказала Бероева. — Больно бросить его, да и грех... Посмотрите, какой он больной.

— Да, кажись, не живучий.

— Так уж если умирать ему — пусть лучше умрет на моих глазах... Все же спокойнее, да и совесть не так мучить будет... Мы хоть сколько-нибудь похолом его, — говорила она, тихо целуя младенца.

— Что ж, стало быть, вы его с собой брать хотите? — спросила акушерка.

— Н-нет, — раздумчиво проговорила больная. — Если б вы так добры были... я хотела бы лучше у вас; ведь вы принимаете иногда на воспитание? Я платить вам буду.

— Отчего же не принять? Мы берем иногда, — согласилась акушерка. — Двадцать пять рублей в месяц; деньги ежемесячно вперед; а уход за младенцем — уж вы не беспо-

койтесь — хороший будет, — объявила она, употребив минуту на соображение: стоит ли игра свеч, то есть брать или отказаться?

Бероева пожала ей руку и от души поблагодарила за это согласие.

Ребенок остался у акушерки. Мать очень часто ходила и навещала его. Но надо было подумать, из каких доходов платить за воспитание? Где взять денег на это? Средства Бероевых были довольно ограничены, да и нравственное чувство ее возмущалось при мысли употреблять деньги мужа на чуждого ему ребенка. Первый месяц она попробовала заложить кое-какие вещицы свои и заплатила положенную сумму. Ей пришла мысль переводить статьи в журналы. Она сделала опыт — перевод оказался удачен, но ни одна редакция не согласилась принять его и отказала в работе на будущее время, так как эти «места» бывают постоянно заняты собственными, привилегированными сотрудниками. Тогда Бероева обратилась к модным магазинам, прося у них поденных заказов, — неудача и здесь. Одна только лавка в Гостином дворе вошла с нею в соглашение и за довольно скуд-

ную плату поручила доставлять на себя вышивание по батисту. Все это оказалось весьма ничтожно и далеко не пополняло необходимую на воспитание сумму.

Между тем приехал муж, и с его приездом прекратились и те скудные ресурсы, которые она могла зарабатывать в его отсутствие.

Акушерка, с замедлением платы, стала изъявлять сильное неудовольствие и предупредила, что если дела пойдут таким образом, то она должна будет отказаться от воспитания ребенка и передаст его с рук на руки, по принадлежности — матери.

— Ведь у него же есть какой-нибудь отец, — говорила она, — ну, отец и должен позаботиться, обеспечить...

Бероева рассказала ей все дело — сколько она помнила и понимала его.

— Вы видите, — заключила она, — что я его совсем почти не знаю, а встретиться с ним мне решительно негде.

— Ой, как «негде»? Помилуйте!.. Да вот вам первое место — хоть бы маскарад... Вам, конечно, лучше всего самолично переговорить с ним, напишите ему бильеду, назначьте ран-

деву — он и придет.

Бероева поразмыслила над этим предложением: оно показалось ей достаточно основательным — и она решилась.

Муж ее, вместе с Шиншеевым, должен был ехать на несколько дней в Москву.

Отсутствием его воспользовалась Юлия Николаевна и, дождавшись кануна первого маскарада, написала Шадурскому известную читателю записку.

* * *

— Я не стану корить вас тем, что вы со мною сделали, — бог вам судья за это, — говорила Бероева с полными слез глазами, объяснив уже князю все обстоятельства, — но ребенок... он ведь ваш... о нем заботиться надо.

— Пожалуй, я не прочь, — равнодушно прожевал князь Владимир, запивая шампанским котлету, — только с условием, — прибавил он с двусмысленной усмешкой.

— С каким условием? — выпрямилась Бероева.

— Весьма легким для женщины.

— Князь, говорите яснее, — с строгим достоинством заметила она, сдерживая в себе

то чувство мрачной ненависти, которое почти неудержимо заклокотало в ней с первой минуты маскарадной встречи.

— Я говорю довольно ясно, — ответил он, наливая новый стакан.

— В таком случае, мы не понимаем друг друга.

— Ну, объяснимся еще яснее. Я обеспечу этого... ребенка, — говорил он с прежним невозмутимым равнодушием «элегантно-порядочного» человека, которое все более и более возмущало Бероеву. — Что касается до вас — вы ведь женщина небогатая, можете располагать мною, как вам угодно... А условие — ваша благосклонность.

Глаза Бероевой как-то зловеще засверкали. Раненая волчиха поднялась со своего места.

— Ваше сиятельство, — произнесла она тем нервно-звучным голосом, которым особенно ярко высказывается у человека чувство глубочайшего презрения, — все сказанное вами до такой степени низко и грязно, что мне гадко даже дышать с вами одним воздухом.

Она сделала движение к двери. Шадурский остановил ее.

— Ne vous echauffez pas, madame[262], — сказал он, став между нею и дверью, — я, право, не понимаю, что же тут оскорбительно-го?..

Он, действительно, не постигал, чем может оскорбляться женщина, не принадлежащая к его избранному сословию, жена какого-то господина, служащего в конторе у какого-нибудь Шиншеева.

— Впрочем, — прибавил Шадурский, повинно наклоняя свою голову, — если я сказал что-либо неприятное, беру назад свои слова и приношу тысячу извинений!.. Но послушайте же, — продолжал он, делая поворот на прежнюю тему, потому что чудная красота стоявшей перед ним женщины распалила его голову, и без того уже сильно разгоряченную вином: он не мог теперь уже давать себе ясного отчета ни в словах, ни в поступках. Винные пары сняли ту гладенькую и чистенькую оболочку порядочности и сдержанности, которая так присуща людям этой категории в трезвом их состоянии и по большей части покидает их в состоянии, противоположном трезвости, обнажая всю грубую, животную сторону их

натуры, отменно полированной, но совсем не развитой человечески.

— Послушайте, — говорил он, — вы не совсем правы... Если я соглашаюсь обеспечить ребенка, то ведь только для вас. Почему же я знаю, мой ли это ребенок? И кто меня убедит в этом?

— Подлец! — задыхающимся от бешенства шепотом сказала ему Бероева и сделала новое решительное движение к двери.

Шадурский опять загородил дорогу.

— Подлец? — повторил он с улыбкой. — А, знаете ли, чем каждый порядочный человек обязан ответить хорошенькой женщине, если она даст ему пощечину или скажет подлец? Он должен обнять и поцеловать ее тут же... Pardon, madame: noblesse oblige[263], — говорил князь, внезапно схватив ее в свои объятия и целуя в лицо.

Бероева вырвалась и закричала.

Шадурский, вконец уже опьяненный этим близким прикосновением к женщине, позабыл все и с помутившимися от хмельной страсти глазами бросился на нее снова.

Вся старая ненависть и все те чувства, ко-

торые возбудили в ней его слова, вместе с самосохранением и оскорбленным достоинством женщины — с новой и стремительной силой поднялись в ней в это мгновение. Вне себя схватила она со стола серебряную вилку — и в то время, как Шадурский снова успел уже поймать ее в свои объятия, Бероева с невероятной для женской руки силой вонзила ему вилку в горло и потом в грудь.

Князь Владимир с отчаянным криком повалился на пол. Кровь ручьями брызнула из раны.

В ту же минуту сильным натиском с наружной стороны задвижка отскочила, и дверь отворилась; при виде раненого ужас охватил вбежавших на крик людей.

Бероеву застали стоящею посреди комнаты, с окровавленной вилкой в руке. Она вся дрожала и бессознательно водила кругом мутными, но грозными глазами. Кисть руки так конвульсивно крепко держала свое оружие, что казалось, будто заоченела в этом положении.

Тотчас же явилась полиция.

Когда Шадурского подняли с пола и Берое-

ва увидела кровь, — мгновенный отблеск сознания и какой-то гнетущей мысли тоскливо мелькнул в ее взорах. Она выронила вилку, зашаталась и упала без чувств.

* * *

В то время как раненого Шадурского положили в карету, чтоб отвезти домой, Бероева была уже арестована.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ЗАКЛЮЧЕННИКИ

I

ДЯДИН ДОМ[264]

Между петербургскими каналами есть один, называемый Крюковым. Отличительных достоинств он не имеет, если не считать достоинством его ноголомную набережную. Каждый добросовестный петербуржец, движимый чувствами человеколюбия, конечно, не посоветует ни одному вновь приезжему прогуляться темным вечером по этой гранитной набережной, если только, из личного мщения, не пожелает, чтобы тот свернул себе шею. Эта достопримечательная набережная имеет столь своеобразный вид, что любой человек, не знакомый с геологическими свойствами петербургской формации, ни на минуту не усомнится отнести Крюкову набережную к плачевным следам недавнего землетрясения — до того осели вглубь, расщелились и повывадились торчащими косяками ее

массивные гранитные плиты. Это — память 7 ноября 1824 года[265].

Крюков канал служит границей между нарядной, показной частью города и тою особенною стороною, которая известна под именем Коломны.

Морские солдаты да ластовые рабочие[266] часто под хмельком; лабазники из Литовского рынка, которые прут перед собою двухколесные ручные тележки с кладью; театральные мастодонты-колымаги, развозящие с репетиций балетных статистов и оперных хористок; мелкий чиновничек с кокардой на фуражке, гурьба гимназистов, гуляющий «майстровой человек» да фабричный с Бердова завода — вот характерные признаки уличного движения Коломны. Впрочем, и здесь есть обитатели весьма комфортабельных бельэтажей, даже красуются пять-шесть барских домов, напоминающих «век нынешний и век минувший», но главный-то слой населения все-таки составляют те классы, представителей которых мы только что показали читателю.

Чуть перевалитесь вы через любой из гор-

батох, неуклюжих мостов Крюкова канала, особенно вечером, как разом почувствуете, что вас охватывает иной мир, отличный от того, который оставили вы за собой. Вы едете по Офицерской: улица узкая, сплошные каменные громады, в окнах газ, бездна магазинчиков и лавочек, по которым сразу видно торговлю средней руки; посередине улицы то и дело снуют извозчики; по нешироким тротуарам еще чаще сталкивается озабоченный разночинный народ — и это вечное движение ясно говорит вам про близость к городскому центру, про жизнь деятельную, всепоглощающую, промышленную — одним словом, про жизнь большого, многолюдного города. Но вот узкая улица с ее шумом и суетней впала в окраину громадной площади. Тут движение еще сильнее, еще быстрее. Огни газовых фонарей пошли еще чаще. Яркие освещенные подъезды и еще ярче залитые светом ряды окон двух огромных театров, быстрый топот рысаков, отовсюду торопливое гроыхание карет, ряды экипажей, «берегись» и «пади» кучеров да начальственный крик жандармов — все говорит вам, что элегантный Пе-

тербург торопится убивать свое многообильное праздностью время. Но чуть перевалились вы за горб Литовского моста, как вдруг запахло не центром, а близостью к окраине города. Офицерская улица, кажись, и та же — да не та. Пошла она гораздо шире, просторнее; дома, в общей массе, менее высоки и громадны, где виднеются сады, где постройки деревянные. Свету вдесятеро меньше, народу тоже, и нет ни этого снованья, ни этого грохота экипажей.

В самом деле, какой резкий контраст! Там, за вами — шум и движенье, блеск огней и блеск суетливой жизни, балет и опера, все признаки веселья и праздности; а здесь — тишина, и мрак, и безлюдье; здесь первое, что встречает вас за мостом — это казенно-угрюмое здание городской тюрьмы, которую вечером, подъезжая к одному из двух театров, и не заметите вы в окутавшем ее мраке.

Если бы кто вздумал вообразить себе нашу тюрьму чем-нибудь вроде Ньюгет или Бастильи, тот жестоко бы ошибся. Внешность ее совсем не носит на себе того грандиозно-мрачного характера, который веет воспоминани-

ем и стариной, этим мхом и плесенью истории, этой поэзией мрачных легенд былого времени и эпизодами картинных страданий. Наша тюрьма, напротив, отличается серо-казенным, казарменным колоритом обыденно-утвержденного образца. Так и хочется сказать, что «все, мол, обстоит благополучно», при взгляде на эти бесконечно скучные прямые линии, напоминающие свою правильностью одну только отчетистую правильность ружейных темпов «раз-два!». Но знаете ли, мне кажется, что впечатление нашей тюрьмы чуть ли не будет еще потяжелее впечатления, производимого лондонским Ньюгет или какой-либо другой из средневековых европейских тюрем. Там — эта архитектура, эти воспоминания наводят на вас хотя и тяжелое, но все-таки, благодаря некоторым из исторических эпизодов, своего рода поэтическое впечатление. Здесь же ничего подобного нет, и вот эта-та самая казенность и давит вашу душу каким-то тягуче-скучным гнетом.

Неправильный и не особенно высокий четырехугольник, нечто вроде каменного ящика, с выступающими пузатым полукругом на-

угольными башнями, низкими, неуклюжими, — здание, выкрашенное серовато-белой краской; ряды черных окон за толстыми железными решетками; внизу — форменные будки и апатично бродящие часовые — таков наружный вид главной петербургской тюрьмы. Только два ангела с крестом на фронте переднего фаса несколько разнообразят этот общеказенный скучный вид всего здания. В передней башне, выходящей к Литовскому мосту, вделаны низкие и тяжелые ворота, обок с ними — образ спасителя в темнице и в узах да несколько кружек «для арестантов, Христа ради», и над воротами — черная доска с надписью: «Тюремный замок». В народе, впрочем, он слывет исключительно под именем «Литовского замка» — название, данное от соседства с Литовским рынком.

*Над домом вечногo позора
Стоят два ангела с крестом,
И часовые для дозора
Внизу с заряженным ружьем.
Серо, мрачно... В окне решетка,
За нею — воля впереди, —
Но звук шагов считаешь четко,*

То будто звук: «сиди, сиди!»...

Так когда-то сложил стихи про Тюремный замок один из арестантов, и стихи эти сделались весьма популярны в среде заключенников.

* * *

Около трех часов пополудни со скрипом растворились ворота Литовского замка, за ними завизжали на несмазанных петлях ворота внутренние — железные, решетчатые — и в низкую полутемную подворотню въехал запряженный понурою клячею четырехколесный черный ящик с номером, окруженный шестью штыками военного эскорта. Не успел арестант в последний раз, через маленькое решетчатое оконце ящика, бросить взор «на волю», то есть на мир затюремный, на эту жизнь городскую, как ворота снова захлопнулись с грохотом железного засова — и в сводчатой подворотне стало еще темнее.

Конвойный унтер-офицер отомкнул железную задвижку в дверце ящика и крикнул:

— Живее, вы!.. Марш в контору!

Из двери вылезли три-четыре человека в безобразных серых шапках, а один — в своем

«вольном» партикулярном платье.

Пока тюремный служитель, известный в замке под именем Подворотни, осматривал внутренность фургона и ощупывал возницу: нет ли чего запрещенного, вроде карт, табаку или водки, военный эскорт повел приехавших арестантов по звучному коридору.

— Отвести на второй этаж! — распорядился письмоводитель тюремной конторы, прочтя бумагу, при которой был прислан молодой арестант в «вольном» платье.

— При себе ничего нет? — отнесся он к последнему.

— Ничего.

— Осмотреть! — кивнул письмоводитель.

Один из сторожей выворотил карманы арестанта и приказал разуть ему ноги. Оказались: карандаш, клочка четыре бумажки, какая-то веревочка и в старом портмоне рублевая ассигнация да копеек шесть меди.

Все эти вещи, за исключением медяков, были записаны и оставлены в конторе.

Дежурный повел арестанта через главный тюремный двор, посередине которого стоит голубятня, поставленная на собственный счет

одним из «благородных» подсудимых, ради общего развлечения заключенных. Кое-где за решетками окон виднеются их невеселые лица. Вокруг двора идет бревенчатый палисад более двух сажен вышиною; за ним разбиты маленькие садики, отгороженные одни от другого точно таким же высоким палисадом и служащие единственным официальным развлечением арестантов. То там, то сям в разных концах огромного двора прохаживались часовые с ружьями, а «первое частное», с красными воротниками на серых пиджаках, пилило дрова и таскало их на всю тюрьму, по камерам.

— Деньги есть? — вполголоса обратился «проводжатый» к своему спутнику, покосясь на него вполоборота, что явно обозначало интимно-секретное свойство вопроса.

— Отобрали, — коротко отвечал арестант.

— Экой дурень! И чему вас, право, учат в этих сибирках по частям?.. Отобрали!.. А того не знает, что на этакое дело мутузка[267] есть: замотал в нее сигналацию да и обвяжи поясом по телу: там не щупают!.. Дурень! право, дурень! А сколько денег-то? — спросил он еще

тише.

— Рубль... да шесть копеек еще — эти не взяли.

— Фи! — презрительно свистнул солдат. — Шесть копеек! Туды же — деньгами величается!.. Ну, да бог с тобой, давай уж и их, что ли, сюда, а я словцо такое замолвлю за тебя приставнику!

Арестант отдал, не прекословя.

— Живее, марш! — прикрикнул дежурный, подымаясь с ним по лестнице, на площадке которой, у дверей налево, виднелась каска и штык часового — специальная привилегия татябного отделения, куда сажают «по тяжким преступлениям», и тут сдал приведенного с рук на руки приставнику, дюжему солдату с черными погонами и в высокой фуражке. Коридорный, по приказу последнего, выкликнул из камеры старосту, «сиделого человека» с широкими калмыкими скулами, и поздравил его «с новым жильцом». Приставник показал старосте «новичка», переговорил — где поспособнее посадить его, то есть в каком номере имеется незанятая койка, и, получив надлежащее сведение, вместе с «сиделым че-

ловеком» провел «нового жильца» по коридору, в дверь небольшой конурки, которая зовется «приставницкой». Сюда же был «выкликан» и «дневальный» той камеры, где предполагалось поместить приведенного. В приставницкой обыкновенно совершается переодевание «в новые виды», то есть первое посвящение в жизнь заключенную. Новичка заставили снять с себя вольное платье с бельем, а взамен выдали костюм арестантский.

Через минуту молодой человек очутился в толстейшей дерюге-сорочке, серых штанах грубого сукна и таком же пиджаке.

— Вот ты, стало быть, в егеря поступил, — заметил солдат, указав на черный воротник пиджака и кидая ему плетеные лапти с неуклюжей серой шапкой. — Береги вещи, потому — они казенные: взыскивать будут. Видишь?

И он ткнул пальцем на номер и клеймо, выставленные на каждой принадлежности костюма: «РАЗ. Т.З.».

— Это значит: ты — «разночинец Тюремного замка» — так оно и обозначено, понимаешь? — пояснил дневальный. — А теперь

пойдем на «татебное», к милым приятелям, познакомиться.

За арестантом затворилась дверь предназначенной для него камеры — и хриплое щелканье запираемого замка возвестило ему окончательное вступление в мир новый, своеобычный, оригинальный и мало кому знакомый «на воле».

У вновь приведенного помутилось в глазах: его ошибло этою духотою и вонью, этим прокисло-затхлым и спертым воздухом тюремной камеры. Дневальный дал ему толстую суконную подстилку да тощий тюфячок с подушечкой и указал место на одной из свободных коек, которые тесно идут по двум противоположным стенам. Почти бессознательно стал он оглядывать настоящее свое жилище, избегая взглянуть на лица новых товарищей.

Это была не особенно просторная комната в два окна с давно потускнелыми стеклами, с низким закоптелым сводом и железною печью в углу. Кое-где по стенкам торчали убогие, маленькие полочки с хлебом и «подаяными» сайками да разной посудой, вроде ча-

шек и кружек; кое-где над койками красовались прилепленные картинки и вырезанные из бумаги петушки, то и другое — изделия самих арестантов. На передней стене висели темный образ и лампада, заменяющая собою ночник; в углу — бочонок с водою, а на дверях повыше надзирательской форточки расписаны были ряды цифр и следующие знаки:

В. П. В. С. Ч. П. С.

Это — календарь, лежащий, по приговору членов камеры, на обязанности дневального, который отмечает мелом начальные буквы дней недели и под каждую ставит цифру. Наутро каждого дня стирается цифра, обозначающая вчерашнее число, и так до конца месяца. В камере помещалось тридцать человек заключенных. На двух побрякивали цепи. Это — «решенные»; сидят и ждут себе скорого и дальнего странствования в палестины забайкальские. Иные спят врасстяжку каким-то тяжелым, безжизненным сном, какой мне случалось подмечать доселе у одних арестантов да у людей натруженных. Иные «дуются» в шашки «на антерес», которым служит грош

или милостынная булка. Шашечницу устроить нехитро: взял нож да и наскоблил им клетки на коечной доске, а из соснового полена повыврезывал кружки да квадратики — и готово дело. Несколько человек книжку читают и предаются этому занятию с видимым наслаждением. Книжками снабжает их тюремный священник; но «божественные» если и читают арестанты, то больше под праздник, а в мирские дни предпочитают чтение «с воли» и ищут в нем то, что позанятнее. А с воли может протащить книжку хоть тюремный солдат, хоть любой посетитель; и тут есть всякая книжка: и историческая, и номер старого журнала, и путешествие, и роман, какой попадется; все это поглощается с равным удовольствием, которое выражается в своеобразных комментариях и поощрительных возгласах. Иногда очень уж занятную книжку целая камера, как один человек, слушает, никто слова стороннего не шепнет, никто не спит, никто даже в кости не играет, а об картах на такую пору и помину нет.

А лица, а физиономии? Каких тут только нет, между этими тридцатью существами, ко-

торых случайная судьба свела на неопределенное время под низкие своды тесной камеры и заставила денно и нощно пребывать всех вкупе, нераздельно! Лица старые и молодые, по которым угадаешь все степени человеческого возраста, за исключением детского да глубоко старческого, угадаешь разные национальности и оттенки личного характера в каждом. Вот — открытая, добродушная и красивая физиономия молодого парня. Это — убийца. Спросите его, не официально, а по душе, — за что он содержится?

— А из ружья стрелили, — откровенно ответит вам парень, если только на ту пору будет в добром юморе и захочет ответить.

— Как стрелили? кого?

— А начальства свово стрелили — потому: жонку скрыл по свою милость. Теперичи решенья ждем.

Рядом с ним чухна из-под Выборга. Этого как уж ни спрашивай, вечно получишь один только ответ: «Еймуста», ничего не знаю!» А содержится «по подозрению» будто в убийстве. Но стоит только взглянуть на эту неуклюже обтесанную, словно дубовый обрубок,

приземистую, коренастую и крепкую фигурку, ростом меньше чем в два аршина, на этот приплюснутый книзу череп, на эти узенькие маленькие щелки-глаза и апатично-животное выражение лица, чтобы с полным внутренним убеждением сознать в нем убийцу.

Вон там, в углу, растянувшись, руки под голову, лежит на койке литвин, промышлявший на пограничном кордоне смелою контрабандою. Что за беззаботно-отважная физиономия! А там вот немец, Bairische Unterthan[268], который сидит себе сиднем семь лет уже в одной и той же камере; поступил — ни слова не знал по-русски, а теперь режет, как истый русак, без малейшего акцента: в тюрьме научился.

А это что за крупные, сладострастно очерченные губы? Что за ненормальное развитие задней части черепа? И спрашивать нечего! Сразу угадаешь тебя, богатырь Чурило Опленикович. Только ты не тот хороший Чурило, не древний Дон Жуан земли русской: никакая-то княжая жена Опраксия у души своей тебя не держала, и не было у тебя своей Катерины Микуличны Бермятиной, женки купецкой; и

когда поведут тебя, раба божьего, на место лобное, высокое, так киевские бабы не взмолятся: «Оставь-де Чурилу нам хоть на семена!» — не взмолятся потому, что не горела к тебе ни одна-то душа бабья, ни одно сердце девичье, хотя и тебя, как древнего Чурилу, тоже, быть может, погубила какая-нибудь девка-чернавка. А не горела ничья душа потому, что уж больно неказист ты с поличья, сластолюбие твое было и есть в тебе явление уродливое, болезненное: лютым зверем на меже да в перелеске кидался ты на прохожую, полонил ее себе не красными словами, не ухваткой молодецкою, а насильством да ножевою угрозою. Ну, за то самое, друг любезный, и обретаешься теперь «в доме дядином», вместо дома сумасшедшего.

Рядом с Чурилой пригорюнился еще один обитатель тюремный. Этот — красного петуха пуцал на всю деревню родимую, когда стала она для него пуще ворога лютого. Было время, что вились его кудерки, вились-завивались, да пришла на кудри черная невзгода, сбрили с головы его красу светло-русую и повели в город во солдаты. Из города парень убег; осен-

нею ночью на деревяню вернулся, стукнул под окошко, брякнул во колечко: «Пустите, родимые, сына — обогреться!» Не пустил батюшка — бурмистра испужался; не покрыла матушка — хозяина побоялась. «Ты ж гори огнем, батюшкино подворье, пропадай пропадом, матушкина светлица!» И пошел мытариться по белу свету, разные виды на себя принимал, пока не изымали в городе Петербурге. Что-то думает он да гадает, про то знает одна голова его забубенная, а что наперед приключится и чем кончится — про то бог святой ведает.

Всякого народу в этой камере вдосталь, и есть представители многих родов преступления. Тут и святотатцы, и корчемники, и убогий мужичонко, что казенную сосенушку с казенного бору срубил, и покусители на самоубийство; сидят и за воровство большое, и за «угон скамеек», то есть лошадей, и за грабеж с разбоем; тут же и отцеубийца-раскольник, которого мать родная, старуха древняя, сама упросом-просила отвести ее в моленную и там порешить топором душу ее окаянную, многогрешную, чтобы через страсто-терпную

кончину праведную мученический венец прияти. Сын так и исполнил матерний завет, да и сам помышлял о таком же блаженном конце через своего сына, как до старости доживет, а тут начальство, на грех, не сподобило: таскало, гоняло по разным судам и острогам, пока не попал, какими-то судьбами, в петербургский.

И на каждой из этих физиономий своя печать и своя дума — а дума одна: как бы вынырнуть из дела да из когтей осторожных. Иные лица, впрочем, кроме полнейшей безразличной апатии, ничего не выражают; на других — животная тупость; иные же дышат таким добродушием и откровенностью, что невольно рождается вопрос: «Да уж полно, точно ли это преступник?» Но зато есть и такого сорта физиономии, на которых явно лежит печать отвержения. Приплюснутый сверху череп с сильным развитием задней его части на счет узкого, низкого и маленького лба, узкие же глаза исподлобья, широкие, вздутые ноздри, широкие скулы и крупно выдающиеся губы являются по большей части характерными признаками таких преступников.

Это — преступники грубой, зверской силы и животных инстинктов — совершенный контраст с мошенниками и ворами городскими, цивилизованными, из которых если вы спросите любого: кто он таков? — то можете почти наверное услышать в ответ: «кронштадтский мещанин». Мне кажется, что больше трети петербургских мошенников называют себя кронштадтскими мещанами. Почему же у них такая особенная привязанность к Кронштадту, наверное не знаю, но чуть ли не оттого, что легка приписка в общество этого города. Контраст между физиономией плутяги-мошенника, то есть так называемого «мазурика», слишком легко заметен: у этого последнего умный, хитрый, уклончиво-бегающий и проницательный взгляд, который и всему лицу придает выражение пронырливого ума, изворотливой хитрости и сметки.

Но каковы бы ни были эти тюремные физиономии, сколь бы ни разнообразен являлся их характер, однако на всех них лежит нечто общее, и это именно — тот болезненный серый колорит с легким иззелена-желтым оттенком, который образуется на лице вслед-

ствие тюремного заключения. Воздуха, света, движения просит организм, а их-то вот и нет в надлежащей степени. Впрочем, верхние этажи Тюремного замка относительно представляют несколько более выгодные условия для сиденья, по крайней мере в отношении света. Но попробуйте войти в этаж подвальный, куда вводит вас низкая дверь, с надписью над нею: «По бродяжеству», — вы очутитесь в темном и узком коридоре, в который еле-еле западает слабый дневной свет, проходя через род маленьких стенных труб, прирывающих к крохотным оконцам не более четверти в квадрате, находящимся выше уровня коридорного потолка. Комната в одно окно, щедро заслоненное железною решеткою, и в этой комнате живет порою до двадцати и более человек. Рядом — камера татарская, где группируют их в одну семью «на выседаках»[269].

II ТЮРЕМНЫЙ ДЕНЬ

Да, невеселая это жизнь. Скучно, томительно-однообразно тянется день заключенного — вчера, как сегодня, сегодня, как вчера — и так проходят многие недели и месяцы, а для иных даже и многие годы.

Чуть остановится поутру стрелка замковых часов на цифре VII — во дворе раздаются три удара в колокол. Тюремный день начался — прозвонили утреннюю проверку. Унтер-офицер от военного караула вместе с Подворотней[270] обходят все отделения замка. На двери каждой камеры прибита снаружи красная доска с цифрой, которая показывает число заключенных. Отмыкается замок, и Подворотня начинает считать людей, сверяясь с наддверной цифрой. Если случился ночной побег, отвечает офицер караульный; за побег же, совершенный в течение дня, вина падает на тюремное начальство. Впрочем, арестанты знают «добрых» офицеров и стараются принаравливать дело так, чтоб уж если

бежать, коли можно, в «злое дежурство», — «чтобы, значит, доброго да хорошего человека в ответ под сумление не ввести».

Из прелой температуры, которая в течение ночи сделалась уже совсем банною в этой герметически закупоренной камере, выбегает распотевший народ в настуженные сени — мыться у медных умывален, и это выбеганье на холодок очень нравится арестанту, потому что после долгой ночи даже и воздух сений покажется необыкновенно чистым и живительным: «по крайности — вздохнешь по-свободнее». А дневальный в это время по обязанности подметает пол. Пока арестант умылся да лоб перекрестил — глядишь, прошел уже час времени, и вот в восемь «кипяток звонят». У кого есть щепотка чаю да кусок сахару, тот бежит на кухню с посудиною; у кого нет — добрый человек из товарищей поделится, напоит. После «кипятка» — кто хочет — в школу, а остальные — дрова пилить да воду качать, до одиннадцати часов. В школу, которою служит столовая замка, ходит какой-то чиновник, чтобы учить, а в сущности только перья да бумагу раздавать учащимся,

потому что арестант предпочитает учиться у своего же брата, арестанта-грамотея. И ходят туда они добровольно, по своей охоте, когда десять, когда двадцать, а когда пятьдесят человек. А те, что выгнаны к дровам на работу, отбывают свое дело по задаче: на каждых четырех человек полагается урок — распилить полсажени дров, и кто отбыл задачу раньше одиннадцати часов, тот продирает себе в садик своего отделения. Эти садики очень пришлись по нраву заключенным: они, в большинстве своем, очень любят ухаживать за тощенькими кустиками на садовых клумбах; иные достают себе с воли разных семян и по весне сажают их в землю, растят и холят молодые всходы с необыкновенной заботливостью, и — странное дело! — есть неоднократные примеры, что самые зачерствелые преступники с искренним удовольствием предаются этому буколическому уходу за своими цветами.

Вот как описывается тюремный садик в одной рукописи, создавшейся в тюрьме и весьма популярной между арестантами четвертого этажа, где и слагались помещенные в ней

Песни:

Сел к окну я. — Голубь сизокры-
лый
Прилетел и что-то мне воркует;
О голубке, верно, все о милой —
Как и я, он, бедненький, тоскует.
Взял я хлеба, на окно посыпал —
Не клевал он, к крошкам не касал-
ся...
Я заплакал — и кусок вдруг выпал
—
И вспорхнул мой голубь, испугал-
ся
А внизу-то садик зеленеет,
На кусточках свежие листочки —
И желтеют, вижу, и алеют
Раскрасавчики цветы-цветочки.
В том садочке узники гуляют:
На скамейках там сидят иные,
А другие в косточки играют,
Много их — все больше молодые;
Лица желты, лица у них бледны —
Некрасива серая одежда! — и т.д.

Любимое занятие арестантов во время этих послеурочных прогулок в садике — игра в кости; ей отдается столько же симпатии, сколько и ухода за цветами... Вокруг зеленой

скамейки «отабунятся» несколько человек, и из среды их то и дело вылетает взрыв горячих восклицаний: «Очко!.. куш! двенадцать очков! пятка! шесток!» — и все это с необыкновенным увлечением, с азартом, в котором выражается то удовольствие от удачи, то крепкая досада на проигрыш.

— А что нынче — гороховый день? — интересуются арестанты, замечая, что время близится к обеденному сроку.

— Не надо быть гороховому: день сегодня, кажись, у бога скромный стоит: вторником прозывается.

— То-то; совсем уж смотались с пищей-то с этой, ажно и забыли. Стало быть, щи?

— Кабы щи! хоть и серяки они — эти щи-то наши, — а все ж нутро чувствует, как чемодан напрешь. А то вот Гришка Сапогов на кухню бегал, сказывал — потемчиха[271]!

— Ой, ее к черту! совсем щенячья эта пища, а не людская, право!

— Это точно что! — соглашаются арестанты и, в ожидании потемчихи, апатично тянут время до обеденного часа.

Бьет одиннадцать, и раздается звонок к

обеду. Народ валит в столовую, захватив с собою из камер деревянные ложки и свои порции хлеба. На столах уже дымятся горячим паром большие медные баки — на восемь человек по одному; между баками расставлены жестянки с квасом.

— Го-го! ребята, щами пахнет, словно бы вкуснее: не столь кисло.

— Начальство будет... Верно, начальства ждут...

— Ой ли? радости-веселости мои! давай, на счастье, сламу ловить, ребята — только чур, по разу, не плутай! — раздается говор между арестантами в разных концах столовой, пока гурьба усаживается на длинные скамейки.

— Ну-у! селитра привалила! — с явным неудовольствием замечают кое-где по столам при входе военного караула.

В столовой появляются восемь человек солдат с ружьями и офицером. Четверо становятся у одних дверей, четверо у других, противоположных. Таково тюремное обыкновение, которого весьма не жалуют арестанты: оно оскорбляет их самолюбие.

— Что-то словно к тигре какой лютой при-

ставляют!.. И зачем это, право?

— А затем, чтоб память не отшибло с еды: пожалуй, забудешь, что у дяди на поруках сидишь. Гляди еще, бунту затеешь какую.

— Как же, гарнизон да уланы, что ни есть, первые бунтовщики; это уж завсегда; на то их и караулят.

И много еще слышится у них промеж себя замечаний в подобном же роде. Офицер меж тем шагает себе по среднему проходу вдоль столовой и часто поневоле урывками слышит недовольные речи; поэтому многие из них, зная, что большой караул выказывает точно бы какое-то недоверие к арестантам, входят в столовую не с восьмью, а только с четырьмя людьми, и то лишь ради соблюдения формальности. Арестанты — как дети: им льстит это доверие, они ценят его, ибо очень тонко умеют понимать человечность отношений к себе, которая служит для них первою отличной «добротой, хорошего офицера».

Тюремный начетчик Китаренко (из заключенных же) стоит у наоя и толково читает своим внятнм, монотонным голосом Четьи-минеи, которых, однако, ни одна душа

спасенная не слушает, потому — либо занимается она едою, либо разговор приятный с соседями ведет; Китаренко же читает так себе, «для близиру», чтобы начальство убагуздушествовать, потому — оно раз уже так постановило и, значит, нечего тут рассуждать.

От обеда до двух часов — время вольготное. Двери в камерах не на замке, а только приперты для виду. Арестанты делают визиты: приходят, по соседству, из камеры в камеру, сидят, балагурят, сплетничают. Люди смиренные занимаются чтением либо спать завалятся на койки, а для людей азартных существуют карты да кости, да шашки в придачу. И вот раздается хоровая песня. Это запева-ла Самакин собрал охочих людей в одну камеру и заправляет голосами. А песни здесь не вольные, а свои, тюремные, арестантские — и первая песня поется про Ланцова; слышно, будто он сам про себя и сложил ее, на утеху заключенников. Вторая песня про общую недолю тюремную, про то, как:

*Сидит ворон на березе,
Кричит воин про борьбу.*

А третья песня называется «душевною». Но если вы услышите последнюю, то наверное придете в немалое удивление. Это не более не менее, как «Farewell»[272] байроновского Чайльд Гарольда в искаженном виде. Какими судьбами попали эти стихи в заключенный мир, а оттуда перешли на волю, в мир мошенников, и — главное — почему они так сильно пришлись им всем по душе, что даже самая песня получила название «душевной»? Все три издавна уже составляют любое пение всех арестантов. Попоют они себе до двух часов, а там — от двух до четырех — либо воду качать, либо дрова пилить, да «на этаж» таскать их. В четыре опять «кипяток прозвонят», и хоть спи, хоть гуляй до шести, когда вторично наступает штыковой церемониал в столовой, за ужинными щами либо горохом; а там — после ужина — вечерняя проверка да выкличка — кому назавтра ехать в суд или к следствию; затем внесет дневальный парашку (ушат), и — дверь на запор, на всю долгую ночь, до утренней переклички.

В этом порядке и протекает тюремная жизнь. Изредка разве навестит начальство

какое-нибудь, обойдет два-три этажа — все, конечно, обстоит благополучно — и начальство уезжает... В неделю раз или два подавание кто-нибудь из купечества сайками принесет, да изредка буйство произойдет какое-нибудь или согрубение, — согрубителя суток на пять в «карцью» посадят, хотя вообще буйному народу вольготнее живется, чем смирному; к буйному и приставник и коридорный уважение даже какое-то чувствуют, потому, надо полагать, боятся: с шальным человеком в недобрый час не шути. А в «карцые» житье неприглядное: первое дело — потемки, второе — пройтиться негде, третье дело — ни скамейки, ни подстилки нет: валяйся на каменном полу как бог приведет да услаждайся хлебом с водою. И все-таки, несмотря на все эти неудобства, случаются желающие на «поседки». Иной нарочно мимо идущему начальству (своему тюремному) закричит вдогонку: «Блинник!», или сгрубит чем-нибудь, или в коридор покурить выйдет — лишь бы только посадили его в «карцью». Дело понятное: сидит-сидит человек, денно и нощно, все в том же самом разнокалиберном обществе тридцат-

ти человек — инда одурь возьмет его: уединения захочется, которое в этом случае является чисто психической потребностью. Как попасть в уединение? Просить, что ли? — никто во внимание не примет. Одно только средство: пакость какую-нибудь сделать. Ну, так и делают!

И вот в этом заключается все дневное разнообразие тюремной жизни.

Но чуть после вечерней поверки щелкнет последний затворный поворот дверного замка — в камере спочинается развеселая жизнь заключенника! Покой, простор, отсутствие приставничьего глаза — «гуляй, арестантская душа, во все лопатки!»

III

ПРОДАЖА ПРЕСТУПЛЕНИЙ

— Вот вам, заключенники почтенные, начальство милостивое нового жильца жалует! — обратился дневальный к обитателям одной из камер татейного отделения, введя туда молодого человека после переодевания в приставничкой и указав ему койку.

— Нашего полку прибыло, — заметил на это один из сидящих. Прочие ничего не сказали. Иные, ради форсу, даже не удостоили его взглядом, а иные, кто любопытнее, стали молча, каждый со своего места, глазеть на приведенного.

— А тебе, друг, — продолжал дневальный, обратясь уже непосредственно к новичку, — коптеть — не робеть, судиться — не печалиться, терпеть — не жалиться, потому у нас такой заказ, чтобы пела, да не ела, с песни сыта была. Слышишь?.. Как звать-то тебя?

Молодой человек, пришибленный впечатлением нового своего жилища с его атмосферой и обитателями, сидел как ошалелый, и

либо не слышал, либо не понял вопроса дневального, который ткнул его в бок, для пущего вразумления, и спросил вторично:

— Как звать?

— Иван Вересов, — ответил тот, очнувшись от наплыва своих тяжелых ощущений.

— Ты за кем сидишь? за палатой аль за магистратом, аль, может, за голодной[273]?

— Под следствием... из части.

— А за какие дела?

— Не знаю.

— Ой, врешь, гусь! Чудак-человек, врешь! Никак этому нельзя быть, чтоб не знал, — взят же ведь ты в каком подозрении... Ты не скрывайся — народ у нас теплый — как раз научим по всем статьям и пунктам ответ держать, — гляди, чист выйдешь, с нашим нижайшим почтением отпустят[274], только и всего. Недаром наш дядин домик ниверситетом слывет, мазовой академией называется. Мы с тобой в неделю всю курсу пройдем.

Вересов не поддался на увещание дневального, и это возбудило против него неудовольствие арестантов.

— Ишь ты, брезгует, — ворчливо заметили

иные, — погоди, кума, поживешь — такова же будешь, к нам же придешь да поклонисься! Оставь, Сизой! Ну его!.. Не видишь, что ли, что сам на рогожке сидит, а сам с ковра мечет!

Сизой отошел от Вересова, тоже видимо оскорбленный.

Все это не предвещало ничего хорошего новому арестанту.

Когда он несколько поуспокоился и приобвык к настоящему своему положению, к нему лисицей подсел человек средних лет, с меланхолической физиономией, по имени Самон Фаликов, по профессии крупный вор и мошенник.

— Что ты словно статуя какой сидишь, милый человек, не двинумшись? — начал он с участием. — Ты скажи, по чем у тебя душа горит да что за дела твои? Все мы — люди-человеки, иной без вины копит; стыда в этом промеж себя нету никакого.

Фаликов говорил тихо и явно бил на то, чтобы придать разговору своему интимное значение. Остальные делали вид, будто не обращают на него никакого внимания, а тот,

пользуясь этим, очень искусно строил жалкие рожи и говорил жалкие слова, приправляя их слезкой и сочувственными вздохами.

Вересову показалась очень жалкой и несчастненькой фигурка человечка Фаликова. Ему давно уже не приходилось слышать ласковое слово, обращенное лично к нему, — в памяти оставались свежи только официальные допросы следователя да нуканье полицейских солдат, так что теперь, после жалких слов Самона Фаликова, он весьма склонен был видеть в нем такого же несчастного, как и сам, и рассказать ему свое горе. Так и случилось.

— Эх, милый человек, тебе еще горе — не горе, а только пол-горя! — вздохнул Фаликов. — Ты — как перст, один-одинешенек, а у меня семейство: баба да ребяток четверо, — так мне-то какво оно сладко?

Вересов сочувственно покачал головой.

— Слышь-ко, голубчик, — с таинственным шепотом подвинулся к нему арестант, — сотвори ты мне, по христианству, одолжение! Ты — человек молодой, одинокий... Мы тебя выручим, сгореть не дадим... Уж будь ты на-

дежен, наши приятели так подстроют дело, что сухо будет; много-много, коли под надзор общества маленько предоставят тебя; так ведь это не беда. А теперича по твоему делу невесть еще куды хуже решат тебя: может, заперщен в столице будешь, а может — и тово.

Фаликов приостановился, наблюдая, какое впечатление производят слова его на Вересова; но этот, не понимая, в чем еще дело, смотрел на него недоуменными глазами.

— А я — человек семейный, хворый человек; детям пропитание нужно, — продолжал еще тише Фаликов, — на волю хочется: помрут ведь без родителя... Будь ты мне другом, купи ты мое дело!.. Я тебе пятьдесят рублей за него с рук на руки дам. Выручи ты меня теперь, Христа ради, а уж мы потом, все вкупе, тебя выручать станем.

— То есть как же это купить? — не понял Вересов.

— А вот я теперича, примером сказать, будто бы за кражу содержусь — ну и... таскают меня по судам, — принялся объяснять Фаликов. — Я тебе, с доброго согласия, и продаю свое дело; ты, значит, прими на себя мою кра-

жу и объявись о том следственном... Меня, стало быть, выпустят на поруки, а не то и совсем освободят; а тебе ведь все равно, по одному ли али по двум делам показанья давать... Потом завсегда отречься можешь, скажи: в потемнении рассудка, мол, показание на себя ложное дал. Они за меня, конечно, тут хватятся; а меня — фью! ищи-свищи! И делу капут!

Вересов молчал. Он, по неопытности своей, никак не ждал от несчастенького человека такого подхода и молча удивлялся.

— Так что же, душа, берешь, что ли, за пятьдесят-то целковых? — обнял его Фаликов. — Я тебе, значит, все дело скажу и все дела — как быть, то есть, надо — зараз покажу. Есть тут у меня один арестантик, сам напрашивается Христом-богом: продай да продай; а я не хочу, потому — если уж делать такое одолжение, так я, по крайности, любезному мне человеку сделать желаю. А охочих-то людей на куплю эту у нас завсегда много найдется! Так как же, друг, по рукам ударим, что ли?

— Нет, уж ты лучше тому, другому, продавай, а я не хочу, — решительно отклонился

Вересов.

Арестант поглядел на него пытливо и при-
свистнул.

— Эге, да ты, видно, тово... на молоке-то
жженный! — дерзко-вызывающим тоном про-
говорил он, разом скидая с себя личину угне-
тенной забитости и несчастья, которая своей
кажущейся искренностью успела было обма-
нуть Вересова на первых порах.

Как у ссыльных в Сибирь есть обыкновен-
ные продавать на пути охочему товарищу
свое имя и с именем дальнейшую участь, так
и у тюремных подсудимых арестантов водит-
ся продажа дела, то есть преступления. На эту
проделку ловятся обыкновенно неопытные
новички, которыми пользуются люди, осно-
вательно «прошедшие курсу», ублажая их
обещанием денег и надеждой выпутать впо-
следствии из дела. Если согласие получено,
начинается обучение: как и что показывать,
кого запутывать в дело, кого чем уличать и
как, наконец, отвертываться от прямых ста-
тей закона, применяя в свою пользу разные
пункты и закорючки. Словом, начинается ос-
новательный курс «юридического образова-

ния», которым постоянно отличаются и даже весьма гордятся мошенники, «откоптевшие свой термин у дяди на поруках».

IV

РАЗВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ

...Вечер. Слышно, час девятый на исходе. Дверь давно уже на замке, и коли подойти к ней да послушать в тишине — можно различить, как похрапывает себе коридорный, обреченный по службе на неукоснительное бдение. В камере тоже започивали уж иные, только мало; большая часть ловит свои свободные минуты и предпочитает высыпаться днем. На одном из спящих «ножные браслетки» позвякивают, как перевернется во сне с боку на бок.

Перед образом тускло мигает лампада, и при ее слабом освещении в одном углу собрались игроки. На полу расселся тесный кружок, за ним навалились зрители и с увлечением, жадно следят, как те режутся «в три листика» — любимую игру арестантов.

— Ну, скинь, что ли, кон да затемни став-

ку — по череду! — раздаются оттуда азартные восклицания.

— Козыри вскрышные: вини! бардадым — крести.

— Прошел! — возвещает один и кидает на кон семитку.

— С нашим! — отвечает противник, бросая четыре копейки.

— Жирмашник[275] под вас.

— Ой, барин, пужать хочешь! У самого, гляди, пустая! Ну, да лады — под вас ламошник [276].

— Стало быть, в гору? Да нешто и впрямь тридцать два с половинкой? Ой, гляди, зубы заговариваешь, по ярославскому закону!

— Это уж наши дела.

— Замирил!

— То-то! кажи карты.

— Туз, краля, бардадым!

— Фаля!

— Хлюст, ляд его дери!

— Проюрдонил!

— Мишка Разломай! Водки да табаку давай сюда, псира![277]

И Мишка Разломай с большой предусмотр-

рительностью отпускает играющим свои специальные продукты, получая тут же за них и наличную плату. Больше всех одушевлен один молодой арестантик, прозванный товарищами «Булочкой» за то, что, не имея ни гроша за душою, стал однажды играть на булку подаянную и с этой булки в год разжился игрою на семьдесят рублей — деньги для тюрьмы весьма таки немалые; поэтому смысленый Разломай ему и особенное «поваженье с великатоностью оказывает». Разломай — проныра-человек: он майдан содержит, то есть отпускает в долг разные припасы, а за деньги — водку, вино и карты, иногда верного человека и займы ссудить не прочь за проценты, а запретные продукты свои получает особым контрабандным образом.

Вересову не спится. Заложив руки под голову, лежит он пластом на своей убогой койке. В душе какое-то затишье, в голове — ни одной неотвязной мысли, словно она устала мыслить, а душа занывать тоскою, да и сам-то он словно бы жить устал под этим гнетом неволи, даже тело так и то какая-то усталая потягота разбирает, а сна между тем нет как

нет. Лежит себе человек и поневоле прислушивается к говору арестантов.

Это час, в который они особенно любят потешаться сказками да похвальбой о бывалых приключениях на воле.

— Теперича эти самые фараоны — тьфу, внимания нестоящие! никакого дела не сваришь с ними, потому — порча какая-то напала на них: маленьким людишком нашим брезгуют, — сетует жиденский Фаликов среди собравшейся около него кучки, — а вот в прежние годы — точно, замиряли дела отменные! Был этта, братцы мои, годов с десятков тому, приятель у меня квартальный, Тимофейкиным прозывался. Так вот уж жил за ним, что у Христа за пазухой — помирать не надо! И какие мы с ним штуки варганили — то-ись просто чертям на удивление! Раздобылся я раз темными финажками[278] и прихожу к нему: так и так, ваше благородие, желательнo клей хороший заварить! — «Заварим, — говорит, — я не прочь». Прошлися мы с ним по пунштам. Ведь вот тоже, хотя и власть-человек был, а простой; нашим братом-мазуриком не брезгал. Показал я ему финаги — все как

есть трёки да синьки[279] — и до сотни их у меня было. «Какой же ты с ними оборот шевелить думаешь?» — спрашивает. — «А продавать станем, ваше скородие! Я продавать, а вы — накрывать нас по закону, слам пополам, а барыши выгорят хорошие». Расцеловал меня, право! «Тебе бы, — говорит, — по твоему разуму, не жохом, а министром финанции быть!» — «Много чувствительны, — говорю, — на ласковом слове». И стали мы с ним это дело варганить. Подыщу я покупателя — все больше по торговцам: «Хочешь, мол, за полтину пять рублей приобрести?» — «Как так?» — «А так, мол, темные, да только вода такая, что и не различишь с настоящей-то, а у тебя сойдет — в сдаче покупателю подсунешь». Ну, плутяга-торговец и рад. Условимся на завтра об месте, куда то-ись товар принести. А Тимофейкин при продаже-то и тут как тут! — «Здравия, мол, желаем, на уголовном деле накрываем!» Ну, покупатель, известно, уж и платит, только не губи, родимый, потому — под плети живая душа идет. И этак мы с ним где пять рублей продадим, там сто возьмем, а ино и больше случалось.

— Важнец-дело! Волшебнo, право волшебнo! — с истинным удовольствием замечают арестанты, которым необыкновенно нравятся подобного рода «развивающие» и умудряющие человека рассказы.

— Взятки он шибко брал, бестия, — продолжает поощренный Фаликов, — в квартире у него вещей этих разных — ровно что в любом магазине. Так вот тоже клевые дела с этими вещами-то у нас бывали. Отдаст он мне, примерно, либо часы, либо ложки серебряные с вензелем своим, либо из одежды что, — ну и пойдешь с этим самым товаром на толкун продавать; коли не продашь, так ухитришься в лавку подбросить, в темное место, а он потом нагрянет и — обыск. «А, мол, такой-сякой, ты краденое перекупать? Лавку печатать! в тюрьму тебя, злодея!» Ну, и тут, конечно дело, сдерет, сколько душа пожелает, тоже ведь охулки на руку не клал. Никто себе не враг — и делился потом, честно делился! Да, беда, звания решили и со службы долой, а кабы не это — не сидеть бы мне с вами, братцы! А ты вот слушай да учись у старших, наука-то эта пригодится! — обратился он в за-

ключение к молодому парнишке, лет шестнадцати, который содержался за то, что в ссоре с товарищем хватил его в грудь булыжником чуть не до смерти.

— Поди-ка, скоро двенадцать часов, — замечает кто-то.

— Полночь... скоро домовой пойдет.

— А может, уж и пошел... Страсть ведь теперь на четвертом-то этаже: ведь как раз над ними.

— Н-да, коптел я раз там: натерпелся... Кажинную ночь, как пойдет этта по чердаку — ровно ядра катает, возня поднимается — страсть... Одначе, там уже привыкли.

— Ой, не приведи ты, господи!

— А что, братцы, кабы этак сказку послушать какую, пока сон не сморил? — предлагает кто-то из слушателей, зевая и «печатая» рот крестным знаменем.

— Что сказку, лучше разговоры!

— Нет, сказку смурлыкать не в пример лучше! — почти общим голосом откликается кружок, необыкновенно охочий до этого дела. — Иная сказка десяти разговоров стоит, да и заснешь под нее хорошо — по крайности, во

сне увидишь.

— Ну, сказку, так сказку! Это все едино...
Облако! валяй! — мир приговорил!

Кузьма Облако, человек лет под тридцать, с несколько задумчивым, симпатичным лицом, — необыкновенный мастер сказывать сказки. За что он сидит в тюрьме — этого и сам хорошенько не знает, только сидит давно уж, лет около восьми, и потому в шутку говорит, что давно позабыл свои провинности. Все, что выжил он в заключении, — это тюремные сказки, которые составляют исключительное достояние тюрьмы: в ней они задумались, в ней они сложились, отлились в известную форму, — и через старожилов, вроде Кузьмы Облака, передаются из одного тюремного поколения в другое.

Кузьма Облако любит сказки и от мирского приговора никогда не отказывается. Он хоть целую ночь рад говорить, лишь бы слушали. Поэтому и теперь, встряхнув волосами, Кузьма приосанился, вздохнул как-то особенно и начал.

СКАЗКА ПРО ВОРА ТАРАСКУ

У одного господина был повар Тараска. Тараске — что хлеб сожрать, то вещь своровать. Что ни делал господин, чтобы отучить Тараску от скверной его привычки к воровству — ничто не берет! «Ну, — думает господин, — либо совсем отучить, либо совсем погубить!» Зовет к себе Тараску.

— Что, Тараска, хорошо научился воровать?

— Хорошо, да не совсем. А вот ежели бы вы отдали меня в учение к дяде моему жоху, известному вору, тогда бы я, точно что, вполне научился.

Господин весьма этому обрадовался, что бы, значит, сбыть Тараску с рук, и на другой же день, снабдив его всем нужным, отправил с богом в дорогу. Случился Тараска с дядею жохом и предался практиковке своего искусства. После непродолжительного времени бездействия, наконец, дядя предлагает Тараске в лес сходить. Пошли. Отыскал дядя жох

нужное для себя дерево и, указывая на макушку дерева, начал говорить:

— Видишь на макушке дерева воронье гнездо?

— Ну, хорошо, дядя жох, вижу.

— В котором, значит, ворона на яйцах сидит?

— Она теперича спит, и нужно спод ней яйца те украсть.

— Ну, хорошо, дядя жох, украсть — так украсть.

— Стало быть, учись у меня: я полезу на дерево и скраду их так, что ворона во снях и не услышит.

Полез. Ни мало, ни много — пять минут прошло — глядь, яйца в руках у дяди.

— Молодец, дядя жох! У сонной вороны не шутка яйца красть; а вот ты и не спал и не дремал, а где у те подметки спод сапог?

Дядя глядь — ан подметок и нетути! Пока он лазил, Тараска подметки сгладил, попросту отрезал жуликом[280].

— Ну, брат Тараска, тебя нечему учить — ты сам поучить любого маза можешь.

* * *

Через некоторое время дядя жох позвал Тараску на клей в монастырь, недалеко стоящий. И короче сказать, обчистили они обитель спасенную, и чуть выбрались за ограду — Тараска в задор: давай на месте добычу тырбанить! Дядя — уговаривать, потому: безрассудно делить на месте похищенное, а можно разделить в месте безопасном. Однако Тараска упрям — на своем стоит. Нечего делать, начали дележку, поделили весь клей — дошел черед до настоятельской шубы. Тараска говорит: «Моя! потому — я крал, а ты только принимал кражу». А дядя заверяет, что не тот вор, который ворует, а тот, который принимает, бабкой-повитушкой при краже состоит.

— Когда так, — говорит Тараска, — пойдём к настоятелю, пускай он нас по божеской правде рассудит; и кому, значит, сам он предназначит, тот и владей!

Пошли. А настоятель любил, чтобы ему на сон грядущий сказки сказывали, и об ту самую пору, как притти дяде с Тараской к келье настоятельской, из оныей монах-сказочник выходит. Дядя с племянником и шась туда украдучись. Настоятель совсем уж засыпает, а

Тараска и хлоп его ладонью по плечу:

— Ну, так слышь, отец святой, — говорит ему, — жили-были дядя с племянником и задумали монастырь, обитель честную обокрасть. Выкрали между прочим и шубу настоятельскую. Пошел из-за шубы спор, кому то-ись владать ею. Один говорит: «Моя, потому — крал», а другой: «Моя, потому — принимал». Ну, так слышь, отец святой! ты чу, как думаешь, по правде божеской, по закону, кому краденой шубой владеть?

— Кто крал, тот и владай, — мычит во снях настоятель.

Как порешил он, так дядя жох с Тараской по этому расчету и поделились честно.

* * *

Пошел Тараска к прежнему своему господину. Не по скусу тому этот гость, и зовет он к своей милости Тараску.

— Ну, что, Тараска, хорошо ль теперь умеешь воровать?

— Хорошо ли, худо ли — не хвалюсь, а только не клади плохо.

— А что я велю тебе украсть, ты украдешь ли?

— С нашим удовольствием, охулки на руку не положим.

— Ну, хорошо. Украдешь — твоя фортуна, не украдешь — в солдаты сдам. Видишь, вон поп корову ведет? Выкради ты мне корову, чтобы поповские глаза того не видели.

— Можно, — говорит Тараска, — только дайте мне пару маленьких сапожков.

Дали ему, и пошел Тараска. Вот, поп ведет корову по дороге, а вор пробежал пролеском и, не доходя попа сажен пятьдесят, выбросил сапожок на дорожку. Поднял его поп.

— Ой, кабы парочка — так моему поповскому сыну годилось бы, а как один, так пусть его тут и остается.

А Тараска, следом за ним, поднял сапожок с дороги и побег вперед пролеском. Забежал вперед и, не доходя попа сажен пятьдесят, выбросил сапожок на дорожку. Поднял его поп.

— Экой дурень, не подобрал давишнего! Вот и была бы пара! Ну, да я его найду!

И, за словом, привязал корову к дереву, а сам побег взад по дороге. Тараска, тем часом, веревку пополам, корову за рога и привел на господский двор.

— Ну, молодец, Тараска, — говорит барин, — на тебе отпускную, ступай, воруй себе на волю.

Так вот Тараска оттоле и благодумствует.

* * *

— Важная сказка! — одобряют арестанты. — Только эта уж больно занятная: никак не заснешь с нею, а ты смурлычь другую, про Ваньку-горюна; по крайности, поучительная, ну, и... сон поскорее одолеет.

Кузьма Облаков снова встряхнулся, снова откашлялся, вздохнул и начал.

VI

ВАНЬКА-ГОРЮН, ГОРЕ-ГОРЬКАЯ ГОЛОВА

В некотором огромном и могучем царстве жил парешок-мужичок. А жил он уж более ста лет назад. И был он бобыль, такой бедный, такой бедный, каких и теперь очень много. И звали его Ванькой-горюном и горе-горькой головой, а хозяйства у него — всего-навсего — одна лошаденка да одна тележонка. Промышлял он извозом, жимши близ-

ко города, из коива купцы ездили по базарам в разные села торговать. Возил Ванька-горюн одного скареда седого и знал, что у него казна куды богатая водилась! И казну ту скаред всегда при себе, на теле содержал.

Любил Ванька-горюн одну девку на селе, а она ему: «Не пойду замуж за бедного, пойду за богачея. Накопи казны, да добра всякого, тогда и повенчаемся».

Повез однажды горюн своего скареда на ярмонку. Дорога шла лесом — верст с десятков, если не боле. И вдруг пришла ему благая фантазия — убить старика. Дрожь берет Ваньку — страшно. А дьявол шепчет в левое ухо: «Убей да убей — у него казна богатая; а и Парашка — девка красивая». Призадумался Ванька. «Что ж, — думает, ведь скаред куды стар да древен, скоро помрет — на что ему деньги? а я человек молодой, мне они попригоднее будут». А дух добра, ангел божий, шепчет в правое ухо: «Грех, Ванька-горюн, великий грех! человекоубицей наречешься! Анафема — проклятье тебе будет и от людей и от бога!» А дьявол-то шепчет: «Убей да убей, ты парень молодой, жизнь-то еще большая, грех

замолить успеешь, в монахи на старости можешь пойти! А от людей — бедности не ждать почета; любовь — и та за бедность не любит!» — «И то правда!» — думает Ванька. Соскочил он с облучка, ровно бы в облегченье лошадке, и идет себе сзади телеги, кнутом цветы лазоревы постегивает. А старик сидят да дремлет. «Валяй! — подтолкнул дьявол, — не то проснется сейчас!» Скочил Ванька на задок и набросил петлю старику на шею. На темную пошел, значит. А петля из кнута у него приготовлена была. Лес зашумел, старик захрапел, а воронье-то, воронье-то закаркало — сила! не приведи ты, господи, страсть какая! Тут зараз к старику и курносая[281] подкатила. Схватил Ванька теплый труп, бросил его на дорогу и два раза нарочито переехал телегой поперек старика. Потом обратно вскинул его на телегу и ну шарить под сибиркой да под сорочкой! Нащупал гайтан[282], на гайтане крест крещеный да шмель золоченый висит. Его-то Ваньке и надо! Оборвал эта гайтанчик-то, да как развернул — батюшки-светы! — радужные, пестрые красные, синие, золото чистое, серебро звонкое — так все

это и посыпалось на шмеля!

Дрожит, трясется убийца проклятый, а везет свою жертву в город. Объявил. «Уснул, — говорит, — дорогой, да и упал с передка под колеса». Глянул на Ваньку исправник и позвал в кабинет свой. Не много и не мало они там поговоримши, выходят оттуда вместе. «Поезжай себе, мужичок, с богом домой, — говорит исправник, — а дня через два я тебе вызов дам». Только призывал ли его либо нет — и по сей день неизвестно.

Зажил Ванька на славу. Праздник был на Ванькином селе, девки хороводы водили. Гуляет и Ванька-горюн; сам гуляет, а сам Параньке на ухо шепчет: «Приходи ужотко на задворки, к старому дубу». — «Приду, непременно».

Вот стала, этто, теметь. Устали парни, утомились девки, — разошлись себе, кто по домам, кто по кабакам, а кто и по горохам да по старым овинам...

Стоит древний дуб, словно великан какой, стоит да сучьями по ветру качает — ни дать ни взять как будто руками сам с собой о чем рассуждает.

А под дубом — Иван-горюн, горе-горькая голова, с Параней распрескрасной.

— Пойдешь, что ли, за меня?

— Не пойду я, девка, за бедного, пойду за богачея. Накопи казны да добра всякого, тогда и повенчаемся.

И показал ей тут Ванька-горюн казну свою богатую, преступлением добытую. Пристала: «Скажи, душа, не утай, откуда взял экую кучу?» Крепился Ванька, крепко крепился, — однако облапила девка, лаской всю правду подноготную выведала. А выведавши, сама говорит Ивану:

— Потоль не пойду за тебя, поколь на могилу купца не сходишь и всю ночь до зари не промолишься, и тем прощения себе от бога и от убиенного выпросишь.

Согласился горюн, горе-горькая голова, и пошел в город на кладбище. Ночь — ни зги божьей не видать. Спотыкнулся об могилу об свежую. В могиле — жертва, над жертвою — крест нов тесов деревянный поставлен. Дрожь проняла убийцу окаянного. С трепетом стал Иван на коленки и молится. Сам молится, а сам шепчет:

— Прости ты меня, жертва бедная, кровь неповинная, что я тебя убительски убил!

Как сказал он это — земляной бугор на могиле оселся.

— Отпусти ты мне грех анафемский! Я затем к тебе пришел помолиться, чтобы душу свою облегчить. Прости ты меня, жертва, потому и убийце даже зла за гробом не помнят.

Как сказал он это — черкнула по небу молния, грянул гром, и крест на могиле качнулся.

Не земля стоном стонет, не ветер воем воет — то гудит из могилы голос:

«Кровь за кровь, голову за голову! Через пятьдесят лет ты будешь наказан, со всем родом и потомством твоим!»

И тут сделалось землетрясение. Горемыка ничком лежит на могиле без всякого чувства, а как пришел в себя — утро красное настало. И пошла горе-горькая голова домой, а что головушка думала, то знает только мысль тайная.

Женился Ванька на Параше. А стали звать уж не Ванькой-горюном, горе-горькой головой, а Иван-свет-Иванычем. Соседи и начальство — всякое уважение и великательство ему

показывают, на житье его завидуют. Всего-то у Иван-свет-Иваныча вволю: дом — не дом, хоромы — не хоромы; сам в лисьей шубе купецкой щеголяет, и жена в парче да в атласе. Ну, и дети чередом пошли — славные ребята, просто загляденье. Патриархом в семье, головой-мудрилой на миру стал Иван-свет-Иванович. Не житье ему, а масленица. Держит он, между прочим, двор постоялый.

Заезжает к нему однажды какой-то священник, старичок седенький, благочестивый:

— Ну, хозяин, обогрей, накорми, напои меня, человека заезжего!

Пока пошли ему пиццию приготовить, старик сидит за столом и книжку божественную читает, а книжка та называется «Требник».

Вдруг, этта, взгрянул гром с молонией и слышался с улицы голос:

— Отец Иоанн! выдь из сего дома! Дом сей анафема-проклят есть!

Побледнела хозяйка, почернел хозяин.

Священник глянул в окно — теметь хуже осенней ночи — и опять себе тихо за книгу.

Пуще гром, пуще молонья, а того пуще голос:

— Отец Иоанн! Вон из дома каинского, да не погибнет доброе с недобрым! Пятьдесят лет прошло!

Вышел священник со своим извозчиком из дому, и поехали они, не оглянувшись, куда им следовало. А ехали они за требой.

Вдруг дорогой вспомнил старец, что «Требник»-то забыл второпях на дворе на стоялом.

Вернулись, глядит — а на том месте, где стоялый двор стоял, теперича стоит огромное казенное здание с железными решетками. У железных ворот часовые с ружьями ходят. А недалече от часовых — стол, и на столе книга лежит, та самая, что стариком позабыта была.

И лежит эта книга раскрыта на той самой странице, где читал священник.

И в этой самой книге огненными буквами написана, неведомо кем, эта самая повесть.

И при ней сказано:

«Убийцы, душегубцы, святотатцы, воры, обманщики, негодяи и все подобные им люди должны жить в таких мрачных домах, как этот самый.

И где есть такие люди, там должны быть и такие дома.

И дома эти должны называться острогами и тюрьмами, а люди в них сидящие — арестантами».

На этих словах Кузьма Облако скончал свою сказку.

VII

ПАЛЕСТИНЫ ЗАБУГОРНЫЕ

— Это что ваши-то сказки! — потирая поясницу, обратился к слушателям Дрожин, пятидесятилетний старик, который только что отошел от играющей в углу группы, где он продул все до последней копейки и даже будущую подающую сайку. Дрожин — высокий и лысый старик с крепко-седою, жидковатой бородкой-клином — казался гораздо старше своих лет. Морщинистое лицо его носило на себе следы многих страстей и несчастий, хотя и до сих пор сохраняло какую-то удалую осанку. На лбу и на щеках его можно было разглядеть следы каторжных клейм; а спина — ею в иные минуты любил с гордостью похвалиться этот старик — носила на себе бу-

ровато-синие перекрестные полосы — печать палача, которую он, по словам Дрожина, неоднократно прикладывал к этой выносливой спине человеческой. Дрожин отличался силой, и эта сила, вместе с печатями палача и богатою приключениями жизнью, давала ему какое-то нравственное превосходство перед остальными товарищами по камере и право на первенство между ними, на общее их уважение. Многие не шутя побаивались Дрожина за его силу.

— Это что ваши-то сказки! — заговорил он. — Одно слово — тьфу нестоящее! Сидят в тюрьме, что бабы на печи, да побасками займаются! Наш брат-варнак сказок не сложит, потому — наша бывальщина, что твоя сказка. Чудно да и только!

— На то ты и жиган[283], чтобы всю суть тебе произойти; такая, значит, планида твоя, — заметил ему на это Облако, несколько задетый за живое этим высокомерным отношением к его сказкам.

— Жиган... Не всяк-то еще жиганом и может быть!.. Ты поди да дойди-ка сперва до жигана, а потом и толкуй, — с гордостью отве-

тил в свою очередь задетый Дрожин. — Ты много ли, к примеру, душ христианских затемнил?

— От этого пока господь бог миловал.

— Ну, стало быть, и молчи.

— А ты нешто много?

— Я-то?.. Что хвастать — мне не доводилось, не привел господь, а вот есть у меня на том свете, у бога, приятель, тоже стрелец савотейный[284] был за Буграми, так тот не хвалючись сам покаялся мне в двадцати семи. Вот это уж жиган — так жиган, на всю статью!

— Для чего же каяться в этакое деле? — возразил чухна из-под Выборга.

— А для того, что перед смертью исповедь держал. Поди, чай, на том свете к чертям-то тебе тоже ведь не хочется на крюк, ась?.. Вот то-то же и есть!.. А впрочем, вы — нехристи, чухны, вам ведь все едино, не то что хрестьянам!.. Ну-да, братцы вы мои, это не то что ваша тюремная жисть! — продолжал Дрожин после минутного раздумья, медленно поглаживая рукой по колену и сосредоточенно уставя взор свой на пальцы вытянутой ноги,

словно бы перед ним проносились теперь картины прошлого. — Я вот теперь — куклим четырехугольный губернии[285] и всегда был и есть куклимом; в том и все мои вины состоят государские. Спородила меня мать под ракитовым кустом, сказывали добрые люди, а кто такова — про то и ведать не ведаю. Стало быть, я — божий. Забрили мне было лоб, а я не будь глуп, да и в беги! Изымали. Кто таков? — спрашивают. — «Иван, не помнящий родства». Пытали, пытали — ничего не допытались. Ну, постебали маненько и отправили с посельской за бугры. Поселили меня по край тайги сибирской. Голодно, холодно, рук зацепить не за што — я и убог. Опять изымали и плетьюми постебали, и положили такую ризалюцию, чтобы мне уж не в посельцы, а на каторгу. Тут и пошла моя жисть прогульная. Кажиную весну бегали из каторги на охоту — савотеек стрелять. Изымали опять, и опять постебали, да спровадили опять, и опять постебали, да спровадили за море в Нерчинской...

— Эк тебя часто как! — перебил его Облако, чувствовавший себя в некотором роде оскорб-

ленным, так как Дрожин перехватил теперь его монополию — занимать общество. — Это человеку помереть надо!

— Не бойсь, щеня, от миног курносая не сгрёбает! — похвальбой ответил Дрожин. — Я уж, почитай, и счет позабыл, сколько раз меня того...

— Да ведь страсть? — с живым сочувствием возразил молодой арестант, что помещика из ружья стрелял.

— Никакой страсти тут нету, — с компетентным видом авторитета отвечивал Дрожин, — первые раза, с непривычки — точно что... щекотно. А потом — я даже люблю, как эдак по спинушке-то пробирать начнут — жарко, по крайности!

— Ну, ври, дядя жиган!

— Чего «ври»? Вот как перед истинным!.. Потому — привычка. Сказывали, будто скоро пороть не будут! Это нехорошо, потому больше помирать станут, а поротый не в пример выносливей. Да вот хошь я теперь, к примеру: меня ни зима студеная, ни жары горючие, ни лихоманка голодная — ништо, никакая то-ись болезнь не возьмет. А потому — што поротый.

Так-то оно! и ты, млад-человек, исперва старшего послушай, да потом и спорь, поучившись-то!

Вересов невольно приподнялся на своей подушке и во все глаза с изумлением стал глядеть на старого жигана. Теперь ему воочию сделалось ясно, до какого морального и физического оупения и бесчувственности может доводить человека страшное наказание плетьюми, если в этом истязании человек мало-помалу становится способным видеть какой-то род своеобразного сладострастия и находит приятным ощущение тяжелой боли. Вот она где, высшая ступень уродливой порчи и нравственного омертвения!

— Да ты, дядя жиган, про Сибирь расскажи, потому, — не ровно кому туды в гости на побывку смахать придется, — так чтобы, по крайности, знатье было, — заметил кто-то из слушателей.

— Сибирь... Про которую Сибирь? — возразил жиган. — У нас, по-настоящему, Сибири-то две. Первым делом — батюшка Сибирь-тобольский, а второе — мать Сибирь-забайкальская. Так я тебе, милый человек, про

матушку нашу рассказывать стану.

...Широки, брат, эти Палестины забуторные!.. Реки у нас широкие, — Волга супротив наших — тьфу! Горы наши, слышно, сам черт громоздил, как месиво месил, чтобы стены в аду штукатурить, а леса-то, леса — ух, какие потёмные, привольные! Иной на двести верст словно черная туча тебе тянется, и скончанья, кажись, ему нет. И дерево растет там крепкое да высокое; всякое дерево, а больше все кедр. Этот самый кедр наперед всех взращен был у бога; потому, слышно, ему и прозвание такое по писанию есть: кедр ливанский.

...Сидим мы, брат, по зима-зимским в острогах, жрем пищу казенную, серую, да и с той умудряемся жиру да силы себе набираться, чтобы, значит, к весне бежать посподручнее было. А как придут этта весновки, снега сибирские таять почнут, реки потоп на десяток верст тебе пустят, — ты, значит, и выжидай своего случая. Выгонят куда ни на есть на работу из острога, в поле дерну копать али в лес ломать вишни, — тут ты и удирай. Такое уж у нас абнаковение, чтобы по весне беспрерывно савотеек стрелять. И утекаем

мы партиями: два-три товарища. Запасся хлебушком дня эдак на четыре порцией — и прав. В Нерчинском-то работа чижолоая: руду копать, а на воле хоть и с голоду помрешь, да все ж она какая ни на есть, а воля прозывается. Главная статья — до моря[286] добраться, потому — наш брат-жиган в бегах все больше к Иркутскому путь держит, чтобы поближе, значит, к Рассеюшке любезной. Только до моря-то не близкий путь. Перво-наперво через Яблоновые бугры перебираться нужно — глушь, такая, что не приведи ты, господи! Одни ноги-то — во как поискалечишь себе! а потом — как, значит, перевалился за бугры — тут тебе еще того хуже пойдет — самое распроклятое место — братская степь. За степью леса непродорные. А ты все больше по лесам этим самым скитаешься, — потому — иначе изымают. Нашему же брату ловля по осени нужна, а весной она совсем не резонт. Господи боже ты мой, мука-то мученская какая! Иное место буряты эти — самый что ни есть рассибирский народ! — словно супротив зверя лютого облаву на тебя держат. А ты, знай, иди-хоронись себе по лесам по темным. Дру-

гой раз, где опасливо, и на дерево влезешь, да ночь просидишь, потому — зверье. Много нашего брата зверь лютый потравляет, кабан да медведь, потому — он, зверь этот, до мозгов человечьих лаком, ну и до тела тоже, значит, жрет: мясо-то наше сладкое, говорят, ровно что голубиное. И пуще чем от зверя еще — с голоду мрет савотейник. Пицции никакой, кроме черемши — трава такая вонючая по лесам растет, — водой больше питаешься, а с воды брюхо пучит; ну, слабеет человек. И как только пошагал ты на бугры, так тебе редкий день без того и не пройдет, чтобы на мертвеца не наткнуться. И на степи, и в лесу потом, и по берегу морскому все мертвецы попадают. И это все голодный мертвец. Лежит себе синь-синешенек, оскалимшись, ровно бы смеется над тобою... Иной ободранный, — это, значит, зверь его глодал; смрад идет... Страсти, прости господи!.. Перекрестишься за упокой да и продираешь себе мимо. «Вот, не нынче-завтра, — думаешь, — самому то же будет!» — а сам все дале и дале бредешь. Обувь порвалась, никуда не гожая, — нужды нет, потому — уж планида твоя такая, чтобы муку

эту принимать.

...Вот так-то раз и шли мы с Коряевым, — приятель-то мой. Девять дней не емши были. Я-то еще подбрей, а он совсем уж через силу ноги двигает. На восьмой день сел под дерево и... не видал бы, не поверил! — горько всплакался. «Видно, — говорит, — помирать мне тут! Не могу больше идти». Взглянул ему я на ноги: в кровь поязвлены, распухли все, и само от голоду пухнуть начал. Защемило во мне — жаль его, беднягу, стало; бросить живьем — совесть зазрела: человек ведь, опять же и товарищ. Что тут делать? Сам слаб — того гляди, свалишься; иначе сгребал я его в охапку, взвалил на плечи да и поволок... Как уж волок, худо ли, хорошо ли, а только с роздыхами — день протащил на себе. Заночевали в лесу, Наутресь полегчало ему — «сам, — говорит, — пойду, спасибо за услугу». Ну и пошли. А кругом-то лес, трущоба такая, что ни тропинки нет, ни следа человеческого. Нога во мху что в пуху тонет, трава высокая, почи-тай до носу тебе — коленки на руки захлестывает; путаешься в ней на каждом то-ись шагу, а тут еще сучья эти сухие да ветви колю-

чие — все лицо хвоем поранишь... Упал мой Коряев — «помираю», говорит. Взглянул я — точно, как быть надо, взаправду помирает человек. «Что ж, — говорю, — отходи себе с богом, а я пойду». — «Нет, постой, споведаться перед смертью желаю; будь ты мне, — говорит, — вместо отца духовного, а потом на духу весь мой грех батюшке передай; пуцай его разрешит, коли можно... Я, — говорит, — убивца, я двадцать семь душ хрестьянских загубил... мне место у дьявола в когтях, потому — кровь на мне»... Сказал он это и помер мало времени спустя. А меня голод морит рязанафемский просто! И нашел тут на меня соблазн: топор при себе был — «дай, — думаю, — отрублю кусок мяса у покойника да поем!» Одначе совесть зазрела. Все едино околевать-то придется, так пошто, думаю, лишний грех великий на душу брать? Перекрестил я тут приятеля и пошел. Не доходя дни за два до моря встренулся я с товариством — тоже беглые были, восемь человек, — и доплелись мы кое-как до Байкала, побираючись с голоду травой этой самой да луком полевым. Скрали мы себе ночью лодку негожую.

Что будет, то будет! Коли не скрепчает ветер — переплывем, а подымутся волны — ко дну пойдем. Поплыли. Четверо гребут, пятеро воду выкачивают, потому — коли не выкачивать, в минуту и со скорлупой-то своей дырявой потонешь. Ну, добрались кое как до другого берега — тут уж повольготнее стало, полюднее, и народ-то все милосердый живет, свои православные. Только нет того, чтобы грабить или разбойство чинить какое, а все именем Христовым просишь. И ежели украсть или же — чего хуже — ограбить, так свои же бродяги, не токма что селенцы, убьют беспременно, потому — идешь не ты один, а и за тобою кажинное лето много народу ходит, и, стало быть, из-за тебя все другие пристанища и хлеба куска должны решиться. Поэтому мы в Сибири очень смиренны, и любят нас за то православные-савотейки, и деньгу подают, и в избу к себе примут, а ты им за это на покосах аль на жнитве помогаешь, да бабы еще колдовать просят и подарки за то носят — мы там за колдунов слышем — и все много довольны. Так-то и бродим до осени, а как утренники осенние пойдут, тут уж ты сам но-

ровишь, чтобы начальство тебя изымало да в острог до весны засадило. Вот каковы-то они есть, наши Палестины забугорные!

...Много раз этаким-то манером лататы задал я по Сибири, кажинную весну почитай! Раз я до Томского доходил, раз до Перми, а вот, на старости лет, господь привел и в Белокаменной побывать, да и с вами в Питере покоптеть. Распроклятый этот Питер! Уж как ведь, кажется, хоронился, ан — нет-таки, изловили зверя матерова, волка серо-травленого. Так-то оно, братцы!..

— Да какой черт тебя дергал бегать-то? Сидел бы себе смирно на каторге! — с участием проговорил Кузьма Облако.

— Э, милый человек, уж и как тебе это сказать, сам того не знаю! — развел руками Дрожин. — Вся жисть моя, почитай, в бегах происходит, потому — люблю!.. до смерти, люблю это, и голод, и холод, и страх-то, как облавят тебя невпору, а ты хитростью, не хуже лисицы, хвостом виляешь, — любо мне все это, и только! Теперича меня опять на Владимирку, значит, безотменно решат, и я до матери-Сибири пойду. Я и дойду, а только с первым слу-

чаем убегу — как бог свят, убегу — не могу я иначе: человек уж такой, значит, каленый.

— Да что же тебя это тянет в беги-то?

— Как «что»? — воля! Теперича тебе хочется из тюрьмы-то этой на волю? Ну и мне тоже, говорю — любезное это самое дело!

* * *

Мало-помалу арестанты улеглись, и скоро в камере настала сонная тишина, часто, впрочем, прерываемая азартными возгласами до-рассветных записных игроков.

— Хлюст!.. Фаля!.. С бардадымом! — раздавались хриплые осерчалые голоса до самой утренней проверки, не давая ни на минуту сомкнуть глаза новому жильцу Вересову, который после всех этих сцен и рассказов находился под каким-то нервно-напряженным болезненным впечатлением.

VIII

АРЕСТАНТСКИЕ ИГРЫ

На другой день после тюремного обеда Вересов по-вчерашнему лежал на своей койке. После разговора с Фаликовым он ни слова ни с кем не сказал, и с ним никто не заговаривал. Он робел и дичился, а они, по-видимому, не обращали на него ни малейшего внимания. Вересову как-то дико и странно казалось первому заговорить с ними: как начать, что сказать им? — потому, чувствовал он, что между ним и его товарищами по заключению словно стена какая-то поставлена, которая совсем отделяет его от их мира, от их интересов. Между ними, этими тридцатью заключенниками, как будто есть что-то общее, единое, а он — круглый особняк среди них. И в то же время это отчужденное одиночество среди людей, — среди случайного общества, с которым предстояло неразлучно прожить, быть может, долгое время, — начинало тяготить и все больше и больше давило Вересова.

— А что, братцы, поиграть бы нам, что ли,

как? — обратился Фаликов ко всей камере. — Скука ведь!

— Для чего нет? Вот и жильцу-то новому тоже скучновато, кажись, без дела, — согласились некоторые.

Вересову стало как-то легче, свободнее, когда услышал он этот первый знак внимания к своей особе.

— Эй, чудак, вставай!.. полно дичиться — народ-то все свой да божий, — дернул его за рукав Дрожин.

— Ходи, что ли, поиграть с ними, — ласково обратился к нему же и дневальный Сизой. — Заодно с ребятами познакомишься.

— А после игры уже баста дичиться! — прибавил Фаликов. — Тогда мы все с тобой милыми дружками будем.

Вересов охотно поднялся с койки.

— Что же, братцы, как присудите? — снова обратился Фаликов ко всей камере. — Надо бы сперва, чтобы жилец присягу принял на верноподданство по замку?

— Ну, это опосля! — авторитетно порешил Дрожин. — Сперва давай покойника отпелить! Правильно ли мое слово, ребята?

— Правильно, жиган; покойник не в пример занятнее будет, а присягу на закуску оставим, — согласились почти все остальные члены камеры.

— Кто же попом у нас будет?

— Попом-та? А хоша Фаликов!

— Фаликов! — ну, ладно!.. быть так, ребята?

— Быть!

— Стало: быть, коли на миру порешили. А упокойничком кого положим?

— Да хоть тебя самого, жигана старого.

— Ладно! мне все едино помирать! Ну, теперича вы, певчие, по обе стороны становись: на два клира, значит. А ты, Сизой, как есть ты дневальный — человек начальный, так ты — к форточке на стрёму! Да зёмко стреми, чтобы начальство милостивое не тово!

В минуту вся камера разделилась на две половины, Фаликов свил себе из полотенца крепкий и толстый жгут, а на плечи накинул арестантское одеяло, старому жигану бросили на пол подушку, на которую он лег головой, как покойник, сложив на груди руки, закрыв глаза — и затем началось отпевание.

— «Помяни, господи, душу усопшего раба твоего!» — заговорил в церковный распев Самон Фаликов, становясь в ногах у покойника и принимаясь кадить жгутом, как словно бы настоящим кадилом.

Присутствующие набожно перекрестились.

— Умер родимый наш, умер наш Карпович, — продолжал тем же речитативом Фаликов, обходя вокруг лежащего Дрожина, как обыкновенно делается при отпевании.

*Государь ты наш, батюшка, Сидор Карпович,
Как тебя, сударь, прикажешь погребать?*

— затянул правый клир каким-то мрачным напевом.

*В гробе, батюшки, в гробике,
В могиле, родимые, в могилушке!*

— дружно откликнулась левая сторона.

А поп все ходит вокруг покойника, ходит, крестится с поклонами да кадит своим жгутищем.

Государь ты наш, батюшка, Си-

*дор Карпович,
Чем тебя, государь, прикажешь
зарывать?*

— начинают опять тем же порядком правые.

*Землю, батюшки, землицю,
Землицю, родимые, кладбищен-
скою!*

— подхватывает в голос левый клир, отдавая при окончании каждого стиха поклон стороне противоположной.

*Государь ты наш, батюшка, Си-
дор Карпович.
Как с тобою прощаться-расста-
ваться?*

*— Все с рыданьем, батюшки, с на-
гробным,
С целованьем, родимые с расста-
ношным.*

При этой последнем стихе поп положил над покойником земной поклон и поцеловал его в лоб. За ним по одиночке стали подходить арестанты. Каждый крестился, кланялся в землю и, простираясь над Дрожиным, цело-

вал его в лоб или в губы, смотря по своему личному вкусу и сопровождая все это хныканием, которое долженствовало изображать горький плач и рыдание.

А два клира, меж тем, поочередно продолжают свое мрачное, монотонное отпеванье:

*Государь ты наш, батюшка, Сидор Карпович,
А и чем тебя, сударь, прикажешь поминать?*

— Водочкой, батюшки, водочкой. Сивухою, родные, распрегорькою.

*Государь ты наш, батюшка, Сидор Карпович,
А и чем прикажешь нам закусывать?*

— Нового жильца с почетом! — обратился к двум сторонам Фаликов — и, по слову его, два дюжие арестанта взяли под руки Вересова, так что он даже — хоть бы и хотел — а не мог шелохнуться в их мускулистых лапищах — и, подведя его к покойнику, насильно положили ничком на последнего

*Миногоами, батюшки, миногоами.
Миногоами, родимые, горячими!*

— откликнулся левый клир, и, вслед за этим возгласом, покойник внезапно облапил Вересова за шею, цепко оплел его ногами — и на спину нового жильца посыпались частые нещадные удары жгута. Толпа хохотала. Многие торопились наскоро свивать из полотенцев новые жгуты, стараясь принести свою посылную лепту в пользу спины несчастного Вересова.

— Это для того, чтобы вечная память была, — наклоняясь к его уху, прокричал Фаликов, и вслед за тем, по его знаку, оба хора завывали «вечную память» под аккомпанемент хохота остальной камеры.

Истязание продолжалось до тех пор, пока все не натешились вволю.

— Это, милый, не беда, что вздули, — сказал Дрожин, отпуская Вересова из своих медвежьих объятий, — потом сам над другими будешь то же делать.

Вересов все время не издал ни единого звука, но теперь — весь бледный, дрожащий — поднялся с полу и, как зверь, не разбирая, ри-

нулся на первого попавшегося арестанта.

— Го-го!.. Да ты драться еще! — весело воскликнул Фаликов. — Ребята! отабунься[287]! Колокол лить.

В то же мгновенье нового жильца плотно окружили десять человек, сцепясь друг с дружкой руками, — так что он очутился как бы в живой клетке, — а к ним вскарабкались на плечи еще трое арестантов — и вся группа образовала род акробатической пирамиды. Это было делом одной минуты. Раздался пронзительный крик боли, тотчас же заглушенный песнею:

*Поп Мартын!
Попадья Миланья!
Спишь ли ты?
Звони в колокольчик!
Бим! бам! бом!
Ти-ли, ти-ли, бом!*

Верхние трое, для ступней которых служили пьедесталом плечи десяти нижних арестантов, вцепились в волосы Вересова и, приподняв его таким образом кверху на воздух, стали раскачивать в стороны и постукивать об пол его ногами. Из глаз несчастного сыпа-

лись искры и брызнули крупные слезы. Волосы его трещали под руками его мучителей; грудь выдавливала из себя глухие, короткие стоны от нестерпимой боли этой чудовищной, варварской пытки.

— Лихо язык болтается, да и звонит-то гулко! — острил Самон Фаликов. — Пущай это ему за то, что дела моего купить не желал, окаянный!

— Вот ведь оно тиранство — а люблю! — дилетантски заметил Дрожин, с разных сторон любуясь на картину пытки. — Право, люблю! Меня самого еще куды тебе жутче тиранили! Пущай и другой знает, каково оно жарко!

— Двадцать шесть![288] — громко выкрикнул Сизой, быстро отскочив от своего наблюдательного поста у дверной форточки.

Верхние мигом спрыгнули с плеч, нижние подхватили почти бесчувственного Вересова и, бросив его на койку, разбежались, как ни в чем не бывало.

IX РАМЗЯ

Дверь в камеру отворилась — и в коридоре показался сидельный острожник, староста, вместе с дюжим приставником и новым арестантом.

Это был человек высокого роста; на вид ему казалось года сорок три — четыре, и вся наружность его — глубоко впалые, задумчивые глаза серого цвета, высокий, несколько лысый лоб, широкая черная борода, подернутая значительною проседью, — имела в себе что-то душевное и в то же время сановитое. Взглянув на него, нельзя было не угадать присутствия страшной, железной физической силы в этом сухом, мускулистом теле; вообще в нем сказывался скорее человек духа, чем плоти.

Вызвали дневального Сизого, и вчетвером, по обычаю, отправились в приставническую.

— Ну, стало быть, двух теперь к присяге поведем — любо, ей-богу, — потер себе руки старый жиган.

— К присяге?.. Почеши ногу[289], брат, этого к присяге не поведешь! — с достоинством прочного убеждения заметил молодой убийца «начальства свово».

— Ой ли? Что же он, — ворон какой али нехристь?

— Ни ворон, ни нехристь; а только не поведешь.

— Да ты чего?.. Ты его знаешь, что ли?

— Не знал бы — не сказывал.

— А что он за птица? как прозывается?

— Рамзя.

— Не слышал таковской; надо так думать — заморская.

— Поближе маленько: олонецкая.

— Мм!.. Каков же таков человек он есть?

— А уж это, милость твоя, — благодушный человек, не нам чета: благодетель.

— Фу ты, ну ты — кочевряга! А ты как его знаешь?

— Рамзю-то? Сами с тех мест, олонецкие.

— Олонецкие? Это, значит, те самые молодцы, что не бьются, не дерутся, а кто больше съест, тот и молодец? — с презрительной иронией заметил Дрожин. Вообще весь по-

следний разговор его отзывался каким-то весьма высокомерным тоном. На душе у старого жигана как-то беспокойно и завистливо стало: он почти мельком только видел вновь приведенного арестанта, но с первого же взгляда разом почуял в нем нравственно-сильного, могучего человека, который невольно, хоть и сам, быть может, не захочет, а наверно возьмет первый голос и верх над камерой, вместе со всеобщим уважением, которое до этой минуты по преимуществу принадлежало старому жигану.

— Что ж такое делал Рамзя-то этот, что в благодетели попал? — спросил он прежним тоном, только с значительной долей раздражения, накопившейся после минутного раздумья.

— А то делал, что вот, примером, у меня теперича хоша бы коровенка пала, — принялся объяснять олончанин с тем же достоинством прочного убеждения, — он узнает там стороною, что вот, мол, у Степки Бочарника коровенка пала и ты, значит, через это самое нужду терпишь, — пойдет, купит коровку-то где ни на есть да и приведет к тебе: на вот, вла-

дай теперь ей; а нет — вот тебе денюга: подь да купи. Во какой человек-то он!.. кормилец, одно слово... Да это что: теперь — хлебушка нету у мужика — мужик подь к нему: он даст, а не то опять же денюгу тебе даст. Совсем благодетель наш был, по всему, как есть, право!

— Коли так, за что же его опосля этого в тюрьму-то забили? — раздумчиво, но уже без желчи спросил дядя жиган.

— А верно уж за то самое и забили, — предположил Степка Бочарник, — потому — человек господам согрубление делал, — опять же и супротивность всякую... А только он благодетель нам: вечно бога молить станем, право...

Сизой ввел уже переодетого арестанта. Рамзя вошел с тем кротко-строгим, сдержанным видом, который всегда отличал его сановитую фигуру; первым делом перекрестился на образ и молчаливо отдал степенный поклон на обе стороны.

Арестантам, непривычным к такого рода вступлению в тюремную жизнь, показалось донельзя странным благочестивое движение Рамзи. Многие фыркнули, а многие и прямо

захохотали. Рамзя словно бы и не слышал, и с полным достоинством, спокойно обратился к Сизову за указанием своей койки.

— Сизой! — перебил его жиган. — Ты что это, леший, из-за черт знает чего двадцать шесть орешь? Мы думаем: начальство, а тут всего-то на-все какого-то мазуру оголтелого привели.

Эта выдержка и строгое достоинство, которые с первого шагу проявил в себе Рамзя, снова подняли в старом жигане всю желчь раздражения и боязнь за утрату своего первенства. Он чувствовал, что если самым убедительным способом не поддержит все свое влияние и значение теперь же, на первых порах, то — того и гляди — утратит их безвозвратно. Поэтому-то Дрожин и пустил в ониму дерзкую, оскорбительную выходку против Рамзи.

Но этот последний, не удостоя своего противника ни одним словом, только оглядел его тихим, спокойным взглядом своим и поместился на указанное ему место, рядом с Вересовым.

— Ну, что ж, теперь пора и за присягу, —

предложил Фаликов.

— Вот заодно и другого жильца приведем, — откликнулся Дрожин, с иронией кивнув на Рамзю. — Булочка! становись-ко по правиле, да крест на спину! — продолжал он, обратясь к молодому, ожирелому арестантику с бабьим лицом, который пользовался особенным и даже ревнивым покровительством старого жигана.

Булочка снял с себя все верхнее платье, расстегнул ворот сорочки, закинув с груди на спину свой нательный крест; стал среди камеры, упираясь в пол руками и ногами.

— Ну, вставай, девчонка!

Дрожин скинул с койки ослабевшего Вересова.

— Фаликов, вяжи ему глаза полотенцем.

— Братцы!.. не бейте меня... помилуйте... Христа ради! — через силу простонал Вересов. На глазах его показались слезы.

— Бить не станем, только под присягу подведем — и конец, — утешил его Дрожин.

Фаликов подошел уже к нему со сложенным полотенцем.

Вересов тревожно обвел вокруг камеры

взор, помучонный тоскою... Положение было безысходно. Случайно, с робкой мольбой и смутной надеждой скользнули его глаза по вновь приведенному арестанту и, словно обессиленные, опустились к земле, вместе с поникшею на грудь головою.

Рамзя поднялся со своей койки.

— Оставь его, — сказал он ровным, тихим, спокойным голосом, взяв за руку Дрожина.

Жиган никак не ждал такого внезапного и прямого подхода. От неожиданности он даже оторопел несколько в первую минуту. Вся камера, живо заинтересованная началом столь необыкновенного столкновения, стала в напряженном, молчаливом внимании.

— Да что ты мне за указчик? — азартно поправился Дрожин. — Что хочу, то и делаю!

— Сам над собой делай, что хочешь, а этому — не бывать, — с прежней спокойной уверенностью сказал Рамзя, отводя от него Вересова, которого заслонил собою.

— Да ты что? ты чего? бобу захотел, что ли? — взъелся жиган, показав ему свой кулачище. — Кишки выпущу!.. Проходи лучше, не замай!.. Видали мы и не таковских!

— Видали ль, не видали ль — про то вам знать. А над слабым человеком не велика честь свою силу казать, — ты над ровней покажи.

— Это правильно!.. Что дело — то дело!.. Резонт говорит! — заметили некоторые из арестантов.

Для Дрожина наступил тревожный момент: его значение начало колебаться.

— Да ты что ко мне с проповедями-то? Ты мне смертный конец аль духовный отец? Прочь, мразь! Плевком расшибу — не попахнет! Пусти его! — бешено кинулся Дрожин на Вересова.

Рамзя схватил его за кисть руки и, не выпуская, опустил ее книзу.

Жиган с размаху шибко хватил его в грудь кулачищем; но противник, пошатнувшись немного, только сдвинул слегка свои брови и сжал суховатой, жилистой рукою кисть руки Дрожина.

На лице последнего мгновенно промелькнуло чувство страдания, но он пересилил себя, скрыв свою боль, и, ради посторонних глаз, заставил свои личные мускулы принять

мрачно-спокойное выражение.

Между тем железная рука Рамзи сжимала все сильнее и сильнее.

Глухо раздался второй удар в грудь — и Дрожин заскрежетал с каким-то давящимся от бешенства рыканьем, как раненый зверь; но противник, по-прежнему слегка пошатнувшись, твердо стоял на своем месте. Только чуть заметное судорожное движение передернуло его спокойные брови.

В камере царствовало глубокое, напряженное молчание — слышно было, как тяжело, перерывчато дышал старый жиган, как изредка похрустывали суставы его пальцев. По лицу разлилась болезненная бледность, а он еще старался улыбнуться.

— Ишь ты... жарко... — через силу проговорил он, захлебываясь хриплыми звуками своего голоса и кривя рот насильственной улыбкой — ради поддержания своего достоинства в глазах всех арестантов. Рука его снова замахнулась, но, описав по воздуху какое-то бессильное движение, как плеть, опустилась книзу. Рамзя, ни на иоту не изменяя своему сосредоточенному спокойствию, постепенно

все более и более усиливал свое сжиманье. Казалось, эта рука с каждой минутой как-то цепко впивалась в руки жигана, словно какая-то высшая нервная сила управляла силой его могучих мускулов.

Из-под ногтей Дрожина просочились алые капли крови.

А бледность все сильнее и сильнее покрывала его лицо зеленовато-мертвенным оттенком; налитые кровью глаза начинали безжизненно тускнеть; посинелые губы кривило конвульсивною дрожью.

С глухим стоном он упал перед Рамзей на колена и, надорванно прошептал: «Руку... руку... Христа ради», без чувств повалился на пол.

Рамзя тихо разжал свои пальцы, тихо отошел к своей койке и сел на нее в спокойном раздумье, подперев ладонями лоб.

Рука бесчувственного Дрожина была разможжена и налилась сине-багровыми полосами там, где приходились сжимавшие ее пальцы.

Из арестантов никто не шелохнулся. Над ними еще всевластно царило впечатление

нежданной сцены. Они были изумлены, поражены, раздавлены спокойною силою и волею незнакомого им человека — и теперь, стоя от него в почтительном отдалении, без слов, но общим единоклассным сознанием, каждый про себя, признали его первенство. Один Фаликов перетрусил до смерти и — тише воды, ниже травы — дрожал и прятался за спинами товарищей.

— Плесните, братцы, водой на старика-то, — кротко кивнул головой Рамзя, бросив взгляд на все еще бесчувственного Дрожина.

— Эко дело какое... ведь мне, пожалуй, теперь отвечать за него, — пробурчал себе под нос дневальный Сизой, смачивая водою темя и виски жигана.

— А за этого не отвечать? — строго спросил Рамзя, указав ему глазами на Вересова.

— Да что ж... мы, ваша милость, его не били: мы с ним маненько играли только, — оправдывался Сизой.

— Знаю я ваши игры — хорошие игры!.. И вам не совестно, братцы? — вскинул он свой глубокий, неотразимый взор на всю камеру.

Большая часть арестантов потушили голо-

вы; кто почесал в затылке, а кто ухмыльнулся какою-то застенчиво-оправдательной ухмылкой.

— Жаль мне вас, братья... забыли вы, что людьми прозываетесь, — вздохнул Рамзя, с грустной укоризной покачав головою.

— Да ведь скука, ваша милость, — несмело заметил кто-то из более шустрых арестантов, — сидишь-сидишь — инда одурь возьмет; со скуки больше и бесимся.

— А ты какой веры? — внушительно задал ему вопрос Рамзя.

Арестант смутился.

— Веры-то?.. Да тут всякой есть, ваша милость... А мы все, почитай, больше русской... веры-то.

— Русской... Слышал я, что точно всякие веры бывают на свете, а эково закона, чтобы ближнего своего ради потехи мучить, — не слышал ни в одной вере человеческой... Волк волка — и тот не зарежет мучительно занапрасно, а вы — люди, братцы!

— Какие мы люди!.. мы — арестанты! — с горечью вырвалось у Кузьмы Облака.

Строгое, простое и прямое слово Рамзи, ка-

залось, видимо подействовало на человеческие струны заключенников. Многие не шутя задумались над его укором.

— А за старика не бойся, — прибавил Рамзя, обратясь к Сизому, — за него, коли что, я сам своей головой отвечу.

Между тем Дрожина привели в сознание. Не смея глаз поднять на людей от жгучего чувства стыда и оскорбленного самолюбия, он как-то стесненно, неловко сел на первую койку, словно бы ощущая устремленные на него взоры всей камеры, и мрачно задумался.

Этот человек, стоически переносивший на своей спине удары палача и еще накануне искренно похвалявшийся неестественной любовью к плети, удовольствием при процессе полосования своего собственного мяса, — сегодня в глазах тридцати товарищей упал в обморок от пожатия руки. Но... обессилило его не столько чувство страшной и совсем еще неведомой доселе боли, сколько невозможность сломить своего противника, обессилило сознание нравственного превосходства этого противника, сознание потери своего первенства, значения и влияния на своих то-

варищей. Вот чего не вынесла закаленная душа старого жигана! Коса нашла на камень — и камень сломил ее.

— Ох, кабы топор!.. — с глубокой, тоскливой горестью, глухо и словно бы сам с собою заговорил понурый Дрожин. — Взять бы мне теперь эту самую руку да и отхватить по локоть!.. Не выдержала, проклятая, — выдала старика... Сведите, братцы, в больницу: неможется. А не то — пожалуйста лучше на меня приставнику, хоть за буйство, примерно, — пущай меня в карцью запрут.

Дрожину невыносимо тяжело было оставаться на глазах товарищей, свидетелей его поражения, — хотелось замкнуться наедине, с самим собою, чтобы не видеть лица человеческого, пока не перегорит это чувство стыда, пока не угомонится уязвленное и униженное самолюбие — а угомонится оно, верно, не скоро.

— Пойдем, что ли, я сведу тебя, — подошел к нему Сизой.

Дрожин поднялся медленно, тяжело, как человек, подавленный исключительно своим глубоко-горьким чувством, и, не подымая

глаз, обратился ко всей камере?

— Коли ежели что — начальство, так скажите, что сам невзначай чем-нибудь... ну хоть дверью прищемил. Слышите?

— Ладно, дядя жиган, скажем.

— То-то, не забудьте, да... Простите, коли чем избидел кого...

После этих слов Дрожин замедлился в каком-то нерешительном раздумье.

— Прости уж, что ль, и ты, добрый человек! — поклонился он Рамзе, весь зардевшись при этом поклоне.

Рамзя ответил ему тем же.

— Не попомни, брат, и ты на мне, отпусти зло мое, — совестливо и тихо сказал он, — что ж делать, не хотел я тебя обидеть — ты сам того пожелал... А мне теперь, может, еще тяжельче твоего... Прости, брат!

И после этих слов его дядя жиган, избегая взглянуть на кого-либо, вышел из камеры.

Х ИСТОРИЯ РАМЗИ

Через несколько дней и Вересов и Рамзя свыклись с обиходом тюремной жизни. Старый жиган все еще не показывался в камеру: ему лечили в больнице переломленные суставы. Арестанты безусловно уважали Рамзя, но не боялись, как прежде старого жигана: они полюбили его. Ни в споры, ни в карты никогда не мешался Рамзя. Никто не слышал от него ругательства, насмешки или праздного скоромного слова: со всеми он был тих и ласков, никого не чуждался, никого не презирал. Это именно было спокойное благодушие великой силы. Об одном только скучал он, что праздное время коротать приходится, потому что из татейного отделения не гоняют ни на какую тюремную работу, а кабы дрова пилить или воду качать — он бы один за трех справлялся — такова уж натура у человека была. В церкви, от которой никогда не увертывался Рамзя, он не молился, а если и молился, что весьма вероятно, то наружно не

показывал виду, но стоял все время с глубоким, строгим и сосредоточенно-благоговеи-
мым вниманием. Голос был у него высокий и
чистый, симпатичный. Часто в садике или си-
дя на своей койке, погруженный в какую-то
грустно-светлую, мечтательную задумчи-
вость, он негромко затягивал песню, — не тю-
ремную песню, а из тех, что певал когда-то на
широкой воле. Любил он также стихи петь,
что калики-перехожие по Руси разносят —
про Книгу голубиную, про Асафа-царевича да
про Иосифа, странника прекрасного:

*Ты поди, млад юнош, во чисто по-
ле,
Ты поди, прекрасный, ко своей бра-
тьи,
Снеси ты им хлеба на трапезу.
Снеси им родительское прощенье,
Ты прощенье им, благословенье,
Чтобы жили братья во совете,
Во совете жили бы во любви,
Друг друга они бы любили,
За едино хлеб-соль вкушали.*

Так как случай привел его заступиться за
Вересова в первую минуту своего вступления

в жизнь осторожную, то Рамзя и на все последующее время приголубил его около себя. Больше всех любил он водить разговоры с ним да еще с Кузьмой Облаком и с олончанином Степкой Бочарником, которого еще прежде знавал когда-то на воле.

Часто ночью, когда у майданщика Мишки Разломая море идет разливанное и «три листа» в полном разгаре соберут в «игральный угол» многочисленную кучку любителей, они вчетвером усядутся себе на двух койках, наиболее отдаленных от этого заветного уголка, — и пойдут у них тихие разговоры. Рамзя потому удалялся от Разломая, что водки он не пил и табачного духу сильно-таки недолюбливал.

— Ах, уж скоро ли меня решат-то! — с затаенною тоскою вырвался у него однажды вздох во время одной из таких полуночных бесед. — Кажись, сам ведь во всем повинился, ни одного своего преступления не стаил — чего бы еще? Нет-таки, в Питер вот пригнали за чем-то; здесь еще, слышно, следовать да судиться будем. А уж мне — хоть бы и в Сибирь скорей!..

— Чай, не хочется? — заметил Кузьма Облако.

— А пошто не хотеться-то? — возразил Рамзя. — Вестимо дело, родного места жалко, да ведь и в Сибири люди — живи только побожески, везде сподручно будет... Срок каторги отбудешь, а там на поселение...

— Да ведь идти-то долго и тяжело: в кандалах ведь, — сказал Вересов.

— Эх, родимый!.. Нам ли еще о телесах своих такую заботу принимать!.. Отцы святые во все житие свое в железных веригах ходили, и господа еще славословили; а тут, нам-то, нешто по грехам своим и в кандалах не пройти? — пройдем!.. на то и испытание.

— За что ж тебя погонят? Зла ты никому никакого не сделал?

— Нет, видно, что сделал, коли вот забрали. Без того — по совести надо полагать — не погонят в Сибирь нашего брата... Работал я на мир, — продолжал Рамзя с каким-то свойственным одному ему спокойным увлечением, — одних от обиды огорожал, а других в обиду вдавал — на том-то и зло мое... Знаю и сам, что рукомерло мое с одного боку непо-

хвальное, да что станешь делать? Видно уж, на что душа родилась, то бог и дал.

— Ты господский был, аль нет? — спросил Облако.

— Господский...

— Что ж ты не жил в ладу с господами? Жил бы себе почтенным образом до старости лет; детей бы, внуков вырастал, — с участием заговорил Вересов.

— Хм... это точно что так... А вот ты, чай, в книжках читаешь, как там сказано... Божественное читаешь?

— Случается.

— А читал, что сказано: «Никто не может двема господинома работати, либо единого возлюбит, а другого возненавидит, или единого держится, о другом же нерадети начнет». Это — великое слово, так ты и знай!.. Работал я на мир и мир возлюбил, а мамоне уж опосле этого и работать не приходится.

Вересова порядком-таки озадачил этот смышленный ответ, который показывал в Рамзе глубокую силу убеждения.

— Ты вот хоть никогда еще сам не сказывал — а я так думаю, что надо быть — грамот-

ный, Аким Степаныч? — спросил Облако.

— Грамотный. С измальства еще к грамоти в науку пошел, — отвечал Рамзя. — Отец у нас был, покойник, старец благочестивый и дом в страхе божием соблюдал, и как готовил нас больше по торговой части, так и грамоте беспрерывно учиться наказал: перво, говорит, божественное дело будешь смыслять, а второе дело — по торговой части без грамоты не ни шагу ступить... Так я и обучался у дьячка у приходского...

— Ну, и как же ты от отца остался? жил-то после как? — с любопытством подсел к нему поближе Вересов.

Рамзя поглядел на него тихим, благодушным взором и слегка улыбнулся.

— Тебе, вижу я, — начал он, — историю мою послушать хочется?.. Не столь-то я охочь рассказывать историю-то эту. Ну да вы люди простые, незлобные, опять же и свой брат заключенник, не начальство какое. Да с чего же начать-то — никак не сообразишь... Нешто про то, как я на свою дорогу вышел?..

И он на несколько времени задумчиво подперся рукою.

— Это самое дело, — как бы припоминая, с глубоким вздохом начал Рамзя, — почитай, что с измальства пошло... Был у нас дедко — уж лет под сто старику было, одначе бодрый и в памяти... Бывало, как подойдет это весна, станет древо листвою одеваться, цыкорей замахровеет — так дедко тотчас в лес, и в лесу это у него пчельник... Пчелка жужжит, тишина такая и благоухание!.. Там и келейка была у него срублена, и место изгородью огорожено — хорошо было об вешнюю пору!.. Перво-наперво молитву сотворит; отец Гервасий молебен ему отслужит и все место на четыре стороны и кажинный угол петой водой окропит, затем, чтобы пчелка роилась благодатливо...

Так, бывало, мы с дедкой и днюем и ночуем вплоть до самых заморозков, как ульи в амшаник хоронить время приспеет.

И так мнелюбился душевно этот самый лес, что, кажется, и не вышел бы оттоле никогда: так вот и тянет, так вот и тянет! Моченьки моей нет в деревне — все бы мне это к лесу да к лесу! все бы это мне на тишь да благодать лесную очами своими дивоваться и вре-

мя так провождать...

*Пустыня ты, мати прекрасная!
Ты прими меня, мати возлюблен-
ная!*

Как придет на свет весна красная

—

*Оденутся деревья райскими ли-
стьями,
Запоют птицы голосами архан-
гельскими —*

*И я из пустыни вон не выду,
А тебя, мати пустыня, я не поки-
ну,*

*Разгуляюсь я, млад вьюнош, во
дубравушке.*

*Частые древа со мной будут думу
думати,*

*Мелкие листья со мной станут
говорити,*

*Райские птицы станут распева-
ти —*

*Меня, млада вьюноша, потеша-
ти.*

Вот эта самая песня в те поры у меня с ума не сходила — все, бывало, с дедкой и поем ее. Оттоль-то я и стихи петъ полюбил, как у него научился.

И одно время такое это было, что просто и невесть что со мною сделалось: стал ровно полоумный какой — по шестнадцатому году было. Как разыгралася только эта весна, так меня, ровно силой какой, в лес да в поле! Сбежал парень с села, совсем сбежал; куда и про что — того и сам не понимает, а и на селе никто не ведает.

Дня через два отыскали меня наши ребята, к отцу привели. Засадил меня он дома за работу. Работаю день, работаю два, а самого так и томит истома какая-то, словно тошно становится — ажно обомлел весь: и все-то бы мне в лесу... Пал я отцу в ноги: «Пусти, — говорю, — батюшка-осударь, отпусти во пчельник, на дедкино место! Пчелка без присмотру, без прихолы, а мне невмоготу дома!» (дедка-то об Егорьеве дне богу душу отдал). Подумал отец, да и отпустил меня в лес. Так я лето цельное в лесу провождал, за пчелкой ходил. И вовсе мне это занятие не скучно было: взял я с собою книжек божественных разных; читаю, как свободное время выдастся, а свободного времени в лесу-то много.

Читаю это я, а самому словно чудится это

обитатели всякие благословенные, иноки благообразные, и древа, и цветики тут всякие; кресты на обителях позлащенные, и житие мирное, сподобливое... Все это в юности моей такое помышление на уме у меня было, чтобы мне это беспременно в иноки идти; и кажинный праздник я все, бывало, на клиросе пою и читаю — значит, так уж сам собою, с измальства к божественному житию приобычался... Ну, а потом и ничего: к торговому делу приглядку имел — отец в город посылал торговать, значит.

Вел это самое дело я умеючи. Не поставьте, братцы, в похвальбу, а только скажу, не хвастаясь: не оболгал никого насчет товару и в обман али в сумление какое никого не ввездил, а вел дело по цене, начистоту — и потому самому больше — купцы в городе любили со мною эту камерцию водить.

Только отец об зимнем Миколке преставился. Мы с братом в раздел пошли. Разделили добро честно, по-христиански, и на том порешили промеж собой, чтобы мне — как я, значит, холостой — жить с братом вкупе. К женитьбе я тогда пристрастия не имел никако-

го — так и жили мы. Лето я на пчельнике, а зиму в торгах; а брат при домашнем обиходе.

Над отцом я и псалтирь читал, и опосле этого стал больше еще к божественному чтению приникать — потому: сожаление и печаль в ту пору такая меня брала, что в том все свое и утешение полагал. Стал читать я Евангелие святое — напало тут на меня такое раздумье горькое, что я тебе, милый человек, и сказать не умею. И все-то из сердца у меня выйдет то, что там сказано: «Аще хочешь совершен быти — иди, продаждь имение твое и даждь нищим», — вот все это и мерещится мне; потому — знаю, как сам господь сказал: «Аще кто хочет по мне идти, да отвержется себе, и возьмет крест свой и по мне грядет», — так и не могу спокойно дома сидеть...

— Ведь вот ты, Иван Осипыч, и в книгах лучше нашего читаешь, — прибавил Рамзя, относясь к Вересову со своей обычной строгой и в то же время приветно-кроткой улыбкой, — а знаешь ли, что хоть бы это значило: «возьми крест твой и по мне гряди»? Так вот и не кори меня за то, что пошел я по своему пути...

А на ту пору неурожай был, да погорело у нас на селе дворов с тринадцать. Стал я сме- кать, что тут на мир поработать надо — ну, и продал имение свое, и роздал нищим.

Так вот от той поры это самое дело и пошло со мной...

Стал брат домекать, что я свое добро расточаю. Из этого самого в семье у нас эта свара пошла. Думаю себе: непригоже нам, братьям единокровным, ровно псам каким, нечестиво лаяться. Нечего делать, в раздел идти надобно. Пошли в раздел. Я свои остатки забрал, а в год с двумя месяцами сам остался нищ и убог.

Думал я себе насчет монастыря, чтобы, значит, в иноки идти; однако после такое размышление на меня нашло, что думаю: человек я мирской и миру пользу приносил, равно брату единоутробному; про что же мне отщепить себя от мира? В иночестве мне для своей души спасенье, а миру помощи никакой нет. И надумал я себе, чтобы сначала на мир порадеть, а потом, коли бог грехам потерпит, о душе своей грешной помыслить. Еще пуще навело меня на мысль то безобразие, которое над миром чинилось.

Работа на мир — дело хорошее: и сын человеческий не прииде да послужат ему, но послужити и дати душу свою избавление за многих. Ты вот это уразумей!..

А безобразие вижу я такое, что вот хоть бы иной мужик, раздобревши да разбогатевши, своего же брата, мужика, теснит да презирает, потому — стяжение имеет многое и сам в купцы норовит.

Придет к нему разоренный за помощью, а он насмеется ему и прогонит, а не то на жидовских процентах отпустит. А что теперича бурмистры, головы эти самые, чинят худо нашему брату, мужику серому, особенно который победней да побезответней, — и исчислить-то так просто нет тому конца.

«За что же, думаю, терпит мужик от всех — уж не говорю, от господ иных либо от земских, а то от своего же брата, мужика? Какая тому причина есть, и за что один кичится, а другой преклоняется, когда и в писании сказано: «Довлеет ученику, да будет яко учитель его, и раб, яко господь его»?.. Вижу я, что все это в миру противу божеских писаний творится, дьявольским попущением; ибо забыли

люди, что сказано: «Иже бо вознесется — смирится, и смиряйся — вознесется... Всякая гора да унижится, и всяк долг да возвысится»...

Вот, господин ты мой, так и я попамятовал себе про то, что господь низложит сильные со престол и вознесет смиренные; а позабыл Христовы же слова великие: «Претерпевый до конца, той спасен будет». За то-то вот самое и терплю я теперь, по грехам своим.

— Ну, а преступление же ты какое сгрешил? — перебил рассказчика Кузьма Облако, которому совсем чудным делом казалось, что такой человек попал острожником на татёбное отделение, как тяжкий преступник.

— А такое преступление, — пояснил ему Рамзя, — что уж больно мне стало отвратно все это несчастье да безобразие глазами своими зреть и слова единого не измочь вымолвить противу него... Помочь уж ничем не мог я по той причине, что сам был нищ и убог, и опять же на себя великое нарекание за то за самое от брата и от господ своих принимал, что имение свое расточил понапрасно и глупо...

Смирения во мне мало было, а больше все

удаль бродила и гордость: озлился я противу всего — да во темные леса!..

От тех пор и стал рукомеслом своим заниматься.

Рамзя опустил свою голову и задумался. Когда же через минуту он поднял ее снова, глаза его стали еще светлей, задумчивей и кротче. Он вздохнул облегчающим грудь глубоким вздохом и продолжал:

— Только не загубил я ни одной души человеческой и не уворовал тайно и подло, яко тать в нощи, ни у кого даже верна единого, а шел напрямую!.. И все больше именем Христовым вымогал, потому — наставить на путь истинный всегда желал, и уж редко-редко когда кистенем пригрозишь — и то уж на такого ирода, который многу пакость чинит да еще тою пакостью похваляется и о имени Христовом в соблазн вводит. Да и то самого потом за кистень-то совесть мучает — инда места нигде не найдешь.

И не было у меня разбору никому: господин ли ты, земский ли, священного ли ты звания али воин, али наш же брат мужик — это все едино... Памятовал я только одно: «Все же

вы братья, ест. И отца не назовите себе на земли, един бо есть отец ваш, еже на небесах». Одно слово: коли ты обидчик, лихоимец или теснитель — повинен есть! И никого я не опасался. Одно только, что жить уж мне открыто на деревне было нельзя, а принужден был больше по лесам скитаться — а леса-то мне куды как милы ведь! — либо у мужиков тайно притон имел, и то больше на зиму. Любили они меня, потому Жак и я их всем сердцем своим и помышлением возлюбил и на пользу миру живот свой рад положить.

И как прослышу, бывало, что такой-то господин избидел, к примеру, мужика своего, так я выберу час посподручней — и шась к нему, разузнавши наперво, как и чем избиден мужик.

Войду так, чтобы не заприметил меня никто и чтобы он, значит, тревоги какой поднять не мог. Войду, перво-наперво, по обычаю, на образ перекрещусь трижды, потом самому поклон, и говорю:

— Здравствуй, господин честной! я, мол, Рамзя.

Как узнает он, что — Рамзя, так ажно и

обомлеет весь! Потому — имя мое далече страшно было, и слух такой обо мне повсюду прошел, что зол-человек имени одного моего трепетал и слышать не мог.

— Так и так, — говорю, бывало, — ты, мол, мужика своего тем-то и тем обидел.

— Грешен, — говорит, — избидел.

— А коли так, подавай мужику то, чем избидел ты его.

Ну, и прочту тут ему натацью-то эту... А который шум подымать захочет да заупрямится, так ты ему кистенем пригрозишься, — ну, и примолкнет...

Возьму деньги с него, сколько там понадобится, а не то хлебом или скотинкой, глядя по тому, чем избидел. Ну, и отдаст, и не перечит: так и проводит с поклоном. На глазах у всей дворни проводит ведь — вот оно что!.. И хоть бы кто пальцем тронул — ни один! потому, значит, дворня чувствовала и любила меня по простоте. Муки, бывало, куля три отложу, так ведь — что бы ты думал? — подводу даст и человеку еще проводить прикажет. Вот каковы-то дела дельвались!

Таким-то родом все и боялись меня, а му-

жики благодарствовали.

Денег водилось у меня много, только не про себя, а держал больше про тот случай, как понадобится кому, так чтобы тут же ему и помочь безотменно. На себя же ни единой копейки, ни единого зерна не потратил, а кормили бог да люди добрые; они же и одевали и обували доброхотно, у кого от достатков своих хватало; а коли нет — я не спрошу, и хожу себе, в чем бог сподобил. И не одну зиму студеную в дырявом зипунишке зубами прощелкал, иначе же ничего: жив и здоров, потому — нутро у меня крепкое. Опять же, на то господь и испытание человеку посылает.

Но так как чувствовал я, что ремесло мое с одного боку все-таки непохвальное, так я старался тело свое изнурять стужей и гладом и молитвою — тем и в печали своей облегчение получал...

Таким-то способом девять лет промышлял я — до прошлой зимы, пока не изловили меня.

Стал уж больно лют я обидчикам нашим, и положили они на том, чтобы духу Рамзи не было. Таким-то манером исправник Глотов

образ со стены снимал, что уж во что ни стало бы, а изловит меня, живого или мертвого, беспрерывно — ну, и изловил.

Была у меня мазанка в лесу — дело-то зимою было. Сплю это я в мазанке и вижу такой странный-престранный сон, будто лики небесные невидимо поют: «Блажени плачущие, яко тии утешатся», а я невесть где обретаюсь и за облаком ничего распознать не могу... И вдруг вельми громкий глас с небеси возглашает: «Воспряни от сна, рабе Акиме! се, час твой приблизися!»

И воспрянул я, и тут же восчувствовал, что ныне быть мне взяту. Перекрестился — да будет по слову твоему! — и выхожу из мазанки, чтобы волю господню насчет себя исполнить, — гляжу, а тут исправник с командой воинской. Я поклонился да прямо и пошел к ним: я, мол, Рамзя. Тут меня взяли; потом в острог; с год таскали по разным местам, по следствиям да по судам, валили на меня то, чего и во сне-то не грезилось — это все вороги-то; а теперь, вот как сам видишь: в сем виде, меж вами обретаюсь. Вот и вся моя история.

Конечно, кабы жил я в свое токмо удовольствие, так ничего бы этого не было, — жил бы я на селе и сам бы всякое безобразие чинил и потакал ему... Конечно, не наше дело самим творить суд и расправу, да ведь и то же опять вспомнить надо, что в писании сказано: «Всякое убо древо, еже не творит плода добра, отсекают е и во огонь вметають — тем же убо от плода их познаете их». Ну, да авось, бог даст, все переменится! Слышно, мужикам царская воля не нынче-завтра выйдет, стало быть, моему делу скончание пришло. Я так понимаю. Пословица говорит: все перемелется — мука будет, да недаром же и сам Христос-то сказал: «Мнози же будут перви — последние, а последни — первии». Когда же нибудь и это время настанет.

— Ну, да ведь много, чай, и тебе терпеть-то пришлось? — раздумчиво заметил Облако.

— А мне что терпеть? — с силой глубокого убеждения возразил Рамзя. — Мне терпеть нечего. Сказано: «Не убойтеся от убивающих тело, души же не могущих убити», — стало быть, тут и терпеть-то нечего.

ВЫВОД ИЗ ПРЕДЫДУЩИХ ГЛАВ

Кто бы ни был ты, мой читатель — лицо ли властное и влиятельное, филантроп или нравоучитель, или же, наконец, просто так себе честный человек, но если бы тебе пришла охота посетить Тюремный замок, ради ли простого любопытства или с какой-нибудь предвзятою целью, — ты ничего не увидишь там, кроме внешней, официальной обстановки да бледно-серых, дрябловатых лиц арестантских. Поразит тебя тяжелый воздух, остановят внимание несколько характерных, достопримечательных физиономий, взглянув на которые, ты, под влиянием нового для тебя впечатления, конечно, не замедлишь с проницательным видом воскликнуть: «Какой отъявленный, записной злодей! по лицу уже видно!» — и что же? — почти наверное ошибешься, потому что, может быть, две трети поразивших тебя физиономий будут принадлежать очень добрым, мирным и честным людям, попавшим сюда случайно, в силу

несчастливого стечения обстоятельств. Конечно, есть исключения; но в большинстве своем физиономии самых тяжких злодеев, кроме тупой апатии или голой животности с каким-то оттенком разврата, ничего более не выражают, ибо мрачно-картинные, так сказать, академически-злодейские физиономии суть величайшая редкость.

Как бы ни напрягал ты свое внимание и свою наблюдательность, желая проникнуть в суть тюремного быта, тюремных нравов, тебе едва ли удастся подметить какую-либо действительно характерную, существенную черту. При обходе твоём, равно как и при обходе каждого начальственного или филантропического посетителя, все будет обстоять благополучно, и благодетельный порядок будет царствовать, — словом, тебе останется только умилиться духом твоим, посетовать, пожалуй, о «несчастных» и затем — уезжать себе, с богом, на чистый воздух. Внутренняя суть, то есть все то, что ревниво укрывается от официальных взоров начальства, для тебя останется неизвестно, оборотной стороны медали ты не увидишь, потому: арестант — человек скрыт-

ный и поболее тебя проникательный (неволя учит), человек себе на уме и, стало быть, вечно настороже. Итак, посещай ты тюрьму хоть десять раз сряду, хоть и больше, — тебе волей-неволей придется отложить всякое попечение: всё и всегда перед тобой, повторяю, будет обстоять благополучно.

А между тем это — целая жизнь; целый своеобразный мир кроется под оборотной стороной медали: здесь найдутся — своя история, свои предания, песни, сказки, пословицы, свои нравы и законы, свой язык, который несколько отличается от языка «вольных» мошенников, и, наконец, своя тюремная литература, тюремное искусство.

Да, литература и искусство! Тут возвращаются тюремные песни арестанта Симакина, рисунки образного чеканщика Нечевохина. Вот передо мною лежит теперь довольно толстая, отчетливо написанная рукопись: «Дом позора. Панорама без картин и стекол. Тайные записки арестанта. Соч. Г.Суцовского. Тюремный замок. 1863. Спб.».

Таково ее заглавие. Вещь весьма оригинальная, тем более что, будучи всецело созда-

нием тюрьмы, она совершенно наивно, непосредственно, хотя и весьма ярко, передает почти все нравственное мировоззрение арестантов. В этом заключается ее главный интерес. Читатель прочел уже из нее маленький отрывок в стихах «о зеленом садике». Конечно, цикл этой вполне изолированной литературы, пословиц и сказок и менее изолированных песен весьма невелик и немногочислен, но тем не менее он есть, он существует, он, как органический продукт нашей тюрьмы, отражает в себе ту нравственную сторону жизни и души заключенника, которую не раскроют никакие формальные следствия, никакие присяги с увещанием и без оного.

В самом деле, странная эта нравственная сторона, и невольно призадуматься над нею. Какой-нибудь старый жиган Дрожин — на шестом десятке готовящийся к третьему пешеходно-кандальному путешествию в Сибирь. Поневоле остановишься над такую личностью. Вся жизнь человека проходит в том, что он бежит из какой-то необъяснимой любви к бегам, из смутной инстинктивной жажды «воли вольной». И он не лжет, когда гово-

рит, что в этом только все вины его государские заключаются. Врать ему нечего, потому что сиделые и бывалые арестанты любят скорее наклепать на себя в камере какое-нибудь небывалое и непременно жестокое преступление, ради пущего значения меж товарищами, чем прикидываться смиренниками и «ничевошными». Человек в течение многих лет ежегодно рискует своей спиной, мало того — рискует умереть голодной смертью, потонуть в Байкале, быть растерзану зверем лютым — и все-таки бежит. У иного с бегами соединяется надежда на чего-нибудь, на перемену состояния, что ли; у Дрожина ничего этого нет: он бежит для того, чтобы бежать. Что это за странная потребность? Как хотите, но — потребность чисто психологическая, а может быть — и психиатрическая, и притом весьма-таки сродная русскому человеку. Ведь Дрожин не один — Дрожиных целые сотни, если не тысячи. Не живется на месте; в лесу поймают, затем обычная судейская процедура, затем, бывало, спину исполосуют. И вот дополосовался человек до дикой, неестественной, чудовищной любви к плети, до сладо-

страстия истязаний. Факт невероятный, а между тем все-таки, к сожалению, факт. В нем сильно развиты какие-то своего рода кровожадные инстинкты: он с наслаждением, дилетантски любуется на пытку человека, наслаждается воплями страдания. Ведь, казалось бы, это изверг, чудовище, в котором ничего нет человеческого, — неправда: как бы ни был нравственно безобразен, он все-таки человек. Тот же самый жиган, когда рассказывает про свои Палестины забугорные, вспоминает мрачную поэзию своих бегов — человеком становится. Тот же самый жиган, больной и голодный, стало быть, в том положении, когда каждое существо наиболее склонно к эгоизму и самохранению, волочил на себе целый день умирающего товарища потому только, что человека пожалел в нем. Он же смягчается на мгновение, когда услышал короткий рассказ Степки Бочарника про деяния Рамзи. В нем заговаривают человеческие струны после его поражения — при отходе в больницу, при прощании с Рамзею. Нет, старый жиган все-таки человек, и не совсем еще заглохли в нем хорошие движения. Но он че-

ловек надорванный, порченный, и бездна в нем привитого, наносного варварства. Он до сих пор еще не был убийцей, но легко может им сделаться — и по холодному расчету, и по наслаждению убить человека. А какая причина тому? Что из него выработало этакое зверя? Полосованье, и только одно полосованье.

Замечательно то, что полосованные являются зверьми по преимуществу; от них это качество, как зараза, переходит мало-помалу на остальных товарищей по заключению. Главная причина, стало быть, — сообщество; потом есть еще и другие, столь же, пожалуй, немаловажные причины. Вообще в объективном характере арестантов является странное слияние этого зверства с чем-то детским, наивным, доверчивым. Зверство же само по себе есть прямой продукт нашей русской системы общего заключения. Понятно, почему первую роль в камерах играет физическая сила, здоровый кулак и прошлое арестанта, богатое ловкими приключениями, а главное — отчаянным злодейством. Такой человек, который и в тюрьме готов решиться на все, что угодно, которому нипочем дальнейшая его

судьба, всегда становится большаком не только по своей камере, но и по всей тюрьме. Он играет первую роль, пользуется общим уважением и почти безусловным влиянием на нравственную, непоказную официально сторону арестантов, которые в массе своей необыкновенно склонны подчиняться влиянию силы. Читатель видел уже, как следила вся камера за исходом борьбы Дрожина с Рамзею и как подчинилась она силе и авторитету последнего тотчас же после окончания единоборства. Но Рамзи попадают очень и очень редко, чаще же всего господствуют по камерам Дрожины, — ну, а каков поп, таков и приход, по пословице. Рядом с этим влиянием идет общее озлобление арестантов на свое незавидное положение, лишение свободы и, наконец, на суды, на эту часто невозможную медленность решений. Есть примеры, что сидят по семи-восми и более годов. Эти уже настолько свыкаются со своей жизнью, что им даже тюрьма успеет полюбиться; и вот они уже сами начинают всячески затягивать дело, отдаляя срок решения, лишь бы только не расставаться со своим «дядиным домом».

Большая часть делали это тоже из страха плетей и длинной Владимирки. Вообще же арестант, недавно посаженный, томится своей неволей, томится до болезненной тоски, на которую, разумеется, никто не обращает внимания, томится до ожесточенного сдавленного озлобления. На ком всего безопаснее сорвать свое дело? — конечно, на своем же брате, арестанте, и пуще всего на новичке, с которым еще не определились нравственные связи и отношения. Отсюда и вошли в обиход их игры, зверски-жестокие и полные возмутительного цинизма, которые служат им одним из любимейших развлечений, представляя собою своего рода зрелище, спектакли.

В тюрьме ведь скука смертная, работы почти никакой, а татейное отделение и совсем от нее избавлено. Это называется строгостью присмотра за «тяжкими» преступниками. Сидят, сидят себе люди в полнейшей праздности и бездействии — ну и точно, бесятся со скуки, колокол льют, пальто шьют, покойника отпевают. Эта праздная скука доводит иногда до весьма печальных результатов. Вот, напри-

мер, однажды из окна был пущен «дождевик» в одного из тюремных начальников. К счастью, булыжник только сильно контузил его. Но как вы полагаете, ради чего был пущен камень? Один арестантик подержал со скуки пари с приятелем на полтинник, что он убьет «дождевиком» первого, кто пройдет в подходящем расстоянии по двору. Скука убивает на пари, за пятьдесят копеек, без мести, без злобы, первого попавшегося человека! Ведь уж это, как хотите, факт такого аномалического свойства, который прямо указывает человеку место не в тюрьме, а в больнице умалишенных.

Прямой результат из всего этого — лень, отвычка от работы, затем уже идет боязнь труда и, наконец, неспособность к труду. Выпустят из тюрьмы с волчьим видом — что делать? Легче всего — воровать. И это тем более сподручно, что арестант в тюрьме необходимо приобрел все нужные знакомства, теоретическое знание дела, юридическую сноровку в казуистике полицейских и судебных формальностей — словом, все, чтобы сделаться отменным вором. Недаром же ведь тюрем-

ные мазы почитаются высшими мазами, а сам «дядин дом» слывет у воров «мазовой академией».

А результаты гигиенические? — расстройство груди, тюремный тиф, скорбут и неестественный тайный разврат и порок, явно убивающий душу и тело.

Удивляются иные добрые, филантропические люди, почему это достаточно пробыть в тюрьме весьма незначительный срок, чтобы человек слабохарактерный или без предварительной и прочной закваски нравственной вышел оттуда формальным негодяем, готовым на каждый низкий поступок и преступление? Удивляются добрые, филантропические люди и находят это странным — потому, кажется, и заботы надлежащие о нравственности арестантской они прилагают, и в церковь-то арестантскую гоняют, пастырь поучения читает им, книжки душеспасительные и назидательные выдает на руки. Нет, хоть что хочешь, ничто не берет! — Книжек этих арестанты почти не читают, а читают свои, «которые позанятней», поучений уразуметь не хотят — вообще народ к религии холодный,

хотя промеж себя и верует в бога — и к пастырям особенного доверия не оказывает.

— Ты, гляди, на исповеди не открывайся, — учат они своих новичков, — неравно потом беды какой не вышло бы: ведь он для того и наручников не надевает.

Вот и поди тут с ними!

А между тем какой-нибудь Аким Рамзя одним своим взглядом, одним своим словом, смело-прямым, хоть и негромко сказанным, сразу повлияет в тысячу раз более и благотворнее, чем всевозможные поучения и предупредительно-нравственные меры — «потому: свой брат, а не начальство», говорят арестанты.

Но, повторяем, Рамзя — очень редкое исключение, и единственно благодаря его влиянию Иван Вересов не сделался негодяем и успел сохранить свои честные начала. Сама судьба как будто послала тут на выручку крепкого человека, Рамзю, а без того быть бы ему невинною жертвою нашей системы общего заключения. Впрочем, и наше одиночное вполне стоит общего, если даже не почище его, хотя, конечно, в другом совершенно

роде.

Но об этом после. Настоящая, и без того уже длинная, глава приняла неподходящий к романам характер публицистической заметки. Я вижу, как хмурится лицо иного читателя, и потому спешу принести его благосклонности мое чистосердечное извинение.

XII

В СЛЕДСТВЕННОЙ КАМЕРЕ

Мы в следственной камере. Обстановка известна: это — обстановка любого присутственного места средней руки. Комнаты, оклеенные неопределенного цвета обоями, шкафы с бумагами. Столы с кипами дел и геморoidalными чиновничьими физиономиями, три-четыре солдата в касках и с ружьями, подле темных личностей с Серо-затхлым, болезненным цветом лица, с которыми читатель познакомился уже в «дядином доме»; затем — всякого звания и состояния люди обоих полов и всех возрастов, от воришки и нищенки до элегантнейшего великосветского денди... Тут поэт смело мог бы воскликнуть:

*Какая смесь одежд и лиц,
Племен, наречий, состояний!*

И все это ждет очереди своего дела, все это притянуто к следствию: иной — как истец, другой — как ответчик, третий — как свидетель: всем есть место, до всех есть дело.

Вводят из передней комнаты мужичонку в арестантском сером костюме. Мужичонко на вид — маленького роста; волосы каштанового цвета, длинные, взбитые в беспорядке; безусое и безбородое лицо добродушно до того, что выражение его переходит даже во что-то детское, беспечное, во что-то бесконечно невинное и светлое.

— Кто таков? — раздается голос следователя.

— Из господских... — робко начинает, озираясь по углам, мужичонко.

— Как зовут, сказывай; какой губернии, уезда какого? — подшептывает ему сзади вольнонаемный писец, стоящий тут для того, чтобы выслушать допрос и после записать показание со слов мужичонки.

— Крестьянин... Калужской губернии, Козельского уезда, Иван Марков, — поправляет-

ся мужичонко, однако все еще робким голо-
сом.

— Сколько лет? — спрашивает следова-
тель.

— Двадцать три.

— За что взяли?

— Милостыньку просил, вашеско благо-
родие.

— По какому виду живешь?

Мужичонко заминается и молчит, уставя в
следователя свои глаза, которые при этом во-
просе вдруг сделались глупыми, бессмыслен-
ными и как бы ровно ничего не понимающи-
ми из того, что спрашивают у их обладателя.
Вообще видно, что последний вопрос следова-
теля больно ему не по нутру.

— Что ж молчишь-то, или без глаз хо-
дишь?[290]

Мужичонко при этом вопросе вздрагивает
и, словно очнувшись от забытья какого-то,
встряхивается всем телом.

— Ну, что же? точно? без глаз?

— Есть воля ваша, вашеско благо-
родие!

— На исповеди и у святого причастия бы-
ваешь?

— Не, не бываю...

— Почему так?

— На исповедь не ходил, потому — раскаиваться не в чем, значит, коли пашпорта нет.

— Так что ж, что нет?

— Да как же без пашпорта каяться-то? Знамо дело, без пашпорта и каяться нельзя.

— Зачем в Петербург пришел?

— На заработки пришел... А как вышел срок пашпорту, домой собрался, — продолжал арестант, немного приободрившись и оправившись от первого смущения. — Двадцать пять рублей денег имел, да на серскасельской машине украли и мешок и деньги, — я там жил, значит... Ну, домой вернуться не с чем — я так и остался...

— И давно без паспорта?

— Поболе года уже... да год по пашпорту жил.

— Женат или холост?

— Женат... жену в деревне оставил.

— Как же она там без тебя живет? поди, чай, избалуется?

— А пусть ее балуется!.. мне же лучше!..

Этот ответ немало изумляет следователя.

— Как так? — спрашивает он. — Да коли она там с другим парнем слукавится?

— Что ж, в этом худа никакого нет. Пущай ее слукавится... по крайности, как ежели домой вернусь, так авось, бог даст, работника лишнего в семью родит — мне же подспорье будет... Это ничего, это хорошо, коли слукавилась.

— Ну, конечно, это твое дело!.. Как же ты без глаз-то больше года прожил? Чем занимался?

— В поденной работе жил... То у того, то у другого хозяина, пока держали, где день, где два, а где и неделю — так вот и жил.

— А милостыню зачем стал просить?

— А вот — летось жил я у хозяина на Обводной канаве; порядимшись было дрова к Берендяке на лесной двор таскать, да заболел я тут. Хозяин не стал держать на фатере; говорит: «Помрешь, пожалуй, а мне с тобой и тягайся тогда! — иди, благо, куда знаешь!..» Ну, я и пошел.

— Куда же пошел-то?

— А в кусты...

— Как в кусты?

— А так, в кусты... за Московскую заста-
ву — там и жил в кустах тех.

— Больной-то?

— Да, нездоровый; так и жил.

— А ночевал-то где?

— А все там же, в кустах... был на мне зи-
пунчик такой в те поры; так вот им-то при-
кроешься от холоду, и спишь себе.

— А кормился где и как?

— Да есть-то в ту пору очень мало хоте-
лось мне... Ну, деньжата кое-какие пустяш-
ные были; выйдешь на дорогу — там лавочка
была — купишь себе булочку да и кормишься
день, а ино и два... А то вот тоже травкой пи-
тался...

— Какой травкой?

— А кисленькой... Травка такая есть... ще-
велек прозывается — ею и питался... Ну, а там
ягодка поспевать стала — так ино вот ягодки
али бо листиков там разных пощиплешь —
ну, и ешь себе...

Мужичонко на минуту приостановился и о
чем-то грустно раздумался.

— А потом в здоровье чуточку поправил-
ся, — продолжал он, — вышел из кустов, толь-

ко в силу еще не взошел — работать не мог и места не сыскал себе — по той причине и милостыньку стал просить.

— И долго в кустах ты прожил?

— Да за полтора месяца прожил-таки — не очень долго!

— И ты не врешь?

Мужичонко остался очень удивлен этим последним вопросом. Действительно, он рассказывал все это столь простодушно и с такою детски-наивной откровенностью, что трудно было тут подметить неискренность и ложь.

— Пошто врать! — заговорил он на вопрос следователя. — Я должен со всем усердием открываться; как это было, так и рассказываю... Уж соблаговолите, ваше благородие, отправить меня на родину! — прибавил он после некоторого размышления. — Надоскучило мне тутотко без глаз-то мотаться... Дома отец, али бо мир хоть и всыплют сотню-другую, а все же оно легче, потому — дома; значит, в своей стороне. А чужая сторона, какая она? — без ветру сушит, без зимы знобит. Уж это самое последнее дело.

И мужичонку уводят в другую комнату — записывать его показание, а на место его появляются две новые личности.

— А!.. Божии страннички, мирские ходящие! добро пожаловать! — приветствовал вошедших следователь.

Те по поклону.

Один из них — ражий, рыжебородый, длинноволосый и сопящий мужичина в послушническом подряснике, с черным стальным обручем вместо пояса. Другой — нечто ползущее, маленькое, низенькое, горбатенькое и на вид очень несчастненькое и смиренное. Вползло оно вместе с ражим своим сотоварищем и забилося в угол, как еж, откуда подозрительно поводило своими глазками, словно таракан усиками.

Читатель, конечно, узнал уже обоих.

— Кто таков? — обратился следователь с обычным форменным вопросом к Фомушке-блаженному.

— Кто? я-то?

— Да ты-то!

— Сам по себе! — отрывисто прошамкал блаженный, с нахальством глядя своими

быстрыми плутовскими глазами прямо в глаза следователю.

— Вижу, что сам по себе; да каков ты человек-то есть?

— Божий.

— Все мы божьи; а ты мне объявись, кто ты-то собственно?

— Я-то?

— Да, ты-то!

— Я — птица.

— Гм... вот оно что!.. Какая же птица?

— Немалая!..

— Однако, какая же?

— Да высокого-таки полета...

— А какого бы, желательно знать?

— А по крайности будет — соколиного...

— Ого, как важно!.. Ну, так вот, ваша милость, желательно бы знать чин, имя и фамилию.

— Чью фамилию, мою?

— Ну, разумеется!

— У меня фамилия важная...

— Тем-то вот оно и интереснее.

— Да антерес — не антерес, а только важная. При всех посторонних не объявлюсь, а на

секрете — пожалуй, уж так и есть, уважу!

— Ну, это положим, вздор вы изволите говорить. А вы, мой милый, без штук: фамилия!

— Сказано раз, что важная... А впрочем — ну их! пуцай все знают! — тотчас же раздумал блаженный.

— Вот эдак-то лучше!.. Ну, так какая же?

— Князь Волконский! — дерзко и громко брякнул Фомушка и с самодовольством окинул всю комнату, как бы желая поглядеть, какой это эффект произвело на присутствующих.

— Ну, а паспорт ваш где, князь Волконский? — с улыбкой допытывает егоследователь.

— А нешто у князьев есть пашпорты? — с уверенностью стойкого и законного права вздумал вдруг авторитетно диспутировать Фомушка, заложив руки за спину. — Нас каждый знает! Какие у нас пашпорты? Никаких таких пашпортов мы не знаем, да и знать не должны! Мы странным житием занимаемся, потому — как мы это самое странное житие возлюбили, так по нем и ходим... А что касается звания и фамилии, то так и пиши: князь,

мол, Волконский!

— Ну, а товарищ-то твой, — спросил следователь, кивнув головой на ежа, крестившегося и копошившегося в углу, — тот уж верно князь Трубецкой?

— Это уж пуцай он сам объявляется, — ответил странник, лихо встряхнув своею рыжею гривую, и отступил в сторону, как человек, сознающий, что вполне покончил свое дело и ждать от него больше нечего. Фомушка явно бил на изображение из себя юродивого, сумасшедшего, не без основания полагая, что это поможет ему от беды отвертеться.

— Ну, отвечай, кто таков? — следует тот же вопрос к горбатому ежу.

— Господи Иисусе!.. — слышится из угла, вместо ответа, какой-то свистящий фистуловый шепот, причем искалеченная рука как-то тревожно и торопливо мотается, творя крестное знамение.

— Да отвечай же, кто таков? — понукая, подсказывает ему рядом стоящий писец.

— Не знаю, батенька, не могу знать совсем, — скорбно отвечает еж.

— Ну, а имя как? — допрашивает следова-

тель, которого, очевидно, развлекательным образом занимают эти два интересные субъекта.

— Не знаю, батюшка, ничего не знаю... Люди зовут Касьянчиком-старчиком, а сам я не знаю, отец мой... Господи Иисусе, помилуй нас, грешных! Мати пресвятая!..

И опять та же история.

— Так не знаешь, как тебя зовут?

— Не знаю, батюшка, запомятовал!.. Вот те Христос — запомятовал!

— Говоришь, что Касьяном? а?

— Сказывают людишки добрые, что надобно быть Касьяном; сказывают, словно бы так, родненький!..

— А может, и не Касьяном, а по-другому как? — играет с улыбкой следователь.

— Может, и не Касьяном, родимый, все может! — охотно соглашается старчик. — Может, и по-другому как, а мы об эфтим безвестны, родненький!..

— На исповеди и у святого причащения бываешь?

— Бываю, батюшко, бываю, четырежды в год бываю... По монастырям, отец мой...

— Сколько лет тебе?

— Не знаю, отец мой, ничего не знаю. И где крещен, и где рожон — и того не знаю!

А на вид старчику лет около пятидесяти, если не больше.

— Где же ты проживал, чем занимался, этого не упомнишь ли?

— Ничего не помню, родненький, ничевошеньки! А вот с измалетствия, как себя только запомню, так все больше по монастырям да по обителям честным в странном житии подвизался; а что до всего остального — ничего не помню.

— Ну, а как же вы, голубчики, за всеобщей, на паперти, у купца Верхобрюхова из кармана бумажник вытащили? Как он у тебя очутился за пазухой, да как его тебе товарищ твой — его-то сиятельство — передал? Это как случилось, расскажи-ка ты мне?

— Ничего не знаем, родители вы наши, ничевошеньки!.. Это все по извету злых людей, от диавола, иже плевелы посеваает, внушенному на нас, странных людей, честным и сподобливым житием изукрашенных...

— Ого, каким книжником заговорил!..

Впрочем, друг любезный, ведь ничего не поделаешь: свидетели есть... с поличным пойманы.

— Ничего не знаем, ничевошеньки, отец мой! А что если лжесвидетельством — так это можно! И супротив апостоли эллини нечестивии лжесвидетельствовали; так это нам же душе своей ко спасению... А мы как есть ничего и знать не знаем и ведать не ведаем — хоть под присягу святую идти!

— Да как же бумажник-то за пазухой вдруг очутился?

— Зол человек подсунул, нарочно подсунул, по злобе своей лютой, чтобы нас-то, странных людей, лихой пагубой погубить. Я знаю, кто и подсунул-то: это молодец верхо-брюховский, приказчик его, с ним рядом выходил, и пока, значит, его степенство милостыню честную творил нам, молодец мне и сунь — толпа-то ведь большая, — а сам схватясь за меня с товарищем вкупе, а товарищ-то мой — Христа-ради юродивый, блаженный, он и воды не замутит об оную пору, не токмо что... А теперь этот самый молодец лжесвидетелем супротив нас поставлен. Он мало ли че-

го наскажет! потому: у него супротив нас злоба, — злоба, родитель мой, лютая!

Таким образом Фомушка, в качестве сумасшедшего, сопит да отмалчивается, а Касьянчик-старчик, невзирая на все очевидности, упорно стоит на своем «ничевошеньки» и делает отвод свидетеля, потому: знает и ведает он, что с помощью этих двух закорюк, — пусть будет дело ясно, как дважды два — четыре, — он все-таки выйдет сух из воды.

Начинается затем очный свод со свидетелями кражи, причем, конечно, обе стороны остаются при своих показаниях.

* * *

На сцену выступил привезенный из тюрьмы для неоднократно повторяющихся допросов Иван Вересов и с ним Осип Гречка, который пока еще содержался при части в секретной. Гречка не отступался от первых своих показаний, данных при составлении полицейского акта на месте преступления. Он все еще надеялся, что Морденко одумается, что в нем прорвется кровное чувство отца, которое не допустит его довести дело до уголовной палаты. А Морденко, меж тем, упорно стоял на

своим убеждением в виновности Вересова, доказывая, что он давно уже подозревал «в приемном сыне своем» злостные умыслы против себя, что этот приемный сын всегда был груб, дерзок, непочтителен и безнравствен.

Показания свидетелей точно так же говорили далеко не в пользу Вересова — все это составляло явные улики против него, так что для окончательного обвинения недоставало только собственного сознания его в преступлении.

Следователь решительно становился в тупик. С одной стороны, эта полная гармония в показаниях кухарки, Христины Ютсола, домашнего дворника и мелочного сидельца, подкрепляемая «чистосердечным» сознанием самого Гречки и доводами Морденки, казалось, ясно указывала на слишком очевидные тесные сношения молодого человека с преступником, а следственно и на участие его в преступном замысле. С другой же стороны, один взгляд на честное, открытое лицо обвиненного, на ту неподдельную искренность, которая звучала в его словах, на ту короткую, безропотную покорность, с которой склонялся он

перед постигшей его бедой, невольно поселяли в душе следователя какое-то безотчетное убеждение в его невинности. Он свел его на очную ставку с Зеленьковым, Зеленьков показал, что хотя и видал Вересова раза два у Морденки, в прежнее еще время, но что он, сколько ему известно, в замысле на убийство не участвовал — даже имени его почти не было произнесено в Сухаревке, где происходила при Зеленькове первая стачка. Следователь думал было ухватиться за это показание, видя в нем факт, говорящий в пользу обвиненного, но все-таки должен был тотчас же прийти к убеждению, что показание Зеленькова при настоящем положении дела не имеет ни малейшего значения, так как, по его словам, первая Сухаревская стачка происходила в пятницу, а Гречка настаивал на том, что, встретясь случайно с Вересовым, держал с ним уговор в субботу, и уговор этот держал внизу на лестнице Морденкиной квартиры. Спросили еще у Зеленькова, упоминал ли Гречка имя Вересова в субботу, когда после заклада жилетки вернулся в Сухаревку, доложить о своей рекогносцировке. Оказалось,

что не упоминал. Но и это обстоятельство могло только указывать на возможность того факта, что Гречка нашел более удобным и выгодным для себя сделать преступление в сообществе Вересова, чем в сообществе Фомки-блаженного и Зеленькова, — поэтому, может быть, он так настойчиво и отклонял при допросах всякую солидарность этих двух людей с совершенным преступлением. Так думал следователь. Гречка же, в сущности, не запутывал их потому, во-первых, что дал слово блаженному в случае неудачи принять все дело исключительно на себя, а во-вторых — если не забыл еще читатель — он, возвращаясь из Сухаревки, пришел к соблазнительному заключению, что лучше одному, без раздела, воспользоваться плодами убийства, тем более что, по условию, отвечать-то все-таки одному придется. Наконец, донос Зеленькова оставался для Гречки полнейшею тайной: он мог иметь подозрение столько же на него, сколько и на Фомушку и на всякого другого, кто бы как-нибудь случайно подслушал их уговор и потом донес полиции. У Гречки был все-таки своего рода гонор, воровской point

d'honneur[291]: коли уж раз на стачке дал такое слово — не выдавать, так держись, значит, крепко этого самого слова, чтобы и напередки всякий другой товарищ веру в тебя имел.

— Вы соглашаетесь с показаниями кухарки, дворника и сидельца? — спрашивал следователь у Вересова.

— Вполне.

— Эти показания почти несомненно доказывают ваше прямое соучастие в деле.

— Я знаю, и их, может быть, достаточно для суда, чтобы приговорить меня, — сказал Вересов с тем кротким, покорным спокойствием, которое является следствием глубокого и безысходного горя. — Может быть, меня и действительно приговорят, как тяжкого преступника, — добавил он с тихой улыбкой, в которой сказывалась все та же безропотная покорность.

Следователь поглядел на него с участием.

— Но, бога ради, сообразите, что можете вы сказать в свое оправдание! — предложил он.

Вересов только пожал плечами.

— Я уже сказал, как в действительности было дело. Но... у меня ведь нет свидетелей; слова мои бессильны... Все — против меня. Что же мне делать?!

В комнату вошел священник и поклонился следователю, мягко разглаживая свою бороду.

— Вы меня оповещали. Не опоздал?

— Нет, батюшка, в пору. Вот — стул. Увещание одному молодцу сделать нужно; потрудитесь, пожалуйста.

— Могу! — поднял брови свои батюшка, опускаясь на предложенный стул. — Могу... А какого рода увещанье-то?

— Да вот, кажется, понапрасну оговаривает в сообществе.

— Неповинного?

— Кажется, что так.

— Вот оно что!.. Могу, могу! А где же молодец-то?

В комнату привели Гречку. Конвойный солдат, с ружьем у ноги, остался в дверях; священник отодвинул свой стул на другой конец комнаты, подозвал к себе арестанта и, с расстановкой, методически понюхав табаку, начал вполголоса свое пастырское увещание.

— Сын мой — нехорошо... надо покаяться, надо... покаяние душу очищает... десять праведников не столь угодны господу, сколь один раскаивающийся грешник.

В этом роде длилась его назидательная беседа, но Гречка слушал с каким-то бессмысленным видом — да и слушал ли еще! — он тупо устанавливал свои глаза то на угол изразцовой печки, столь же тупо переводил их на окно, сдерживал зевоу, переминался с ноги на ногу и видимо скучал и тяготился продолжительностью своего стоячего положения. Вотще употреблял батюшка весь запас своего красноречия, стараясь текстом, примерами и назиданием пронять его до самого сердца: сердце Гречки — увы! — осталось непонятым.

— Да вы, батюшка, это насчет чего ж говорите мне прокламацию эту всю? — перебил он наконец увещателя. — Я ведь уж все, как есть, по совести, показал их благородию. А их благородие это, значит, пристрастные допросы делать желают; так опять же насчет этого будьте, батюшка, свидетелем; а я стряпчему за эдакое пристрастие на их благородие жа-

литься могу! Чай, сам знаете, по закону-то духовое увещание — прежняя пытка!

— Зачерствелое сердце, зачерствелое... соболезную, — покачал головой священник, подымаясь с места и не относясь собственно ни к кому с этим последним замечанием. — Мой пастырский долг, по силе возможности, исполнен: извольте начинать ваш юридический, гражданский, — прибавил он, с любезной улыбкой обращаясь к следователю, и, отдав поклон, удалился из камеры так же, как и вошел, мягко разглаживая бороду.

Началась очная ставка. Гречка, с наглым бесстыдством, в глаза уличал Вересова в его соучастии.

— Что же, друг любезный, врешь? Где же у тебя совесть-то, бесстыжие твои глаза? — говорил он, горячо жестикулируя перед его физиономией. — Вместе уговор держали, а теперь на попятный? Это уж нечестно; добрый вор так не виляет. Ведь ты же встренул меня внизу на лестнице!

— Да, — подтвердил Вересов.

— Ведь я же сидел и плакался на батьку-то твоего?

— Да, — повторил Вересов.

— И ты же стал меня расспрашивать, что это, дескать, со мною?

— Да, расспрашивал.

— А я же тебе говорил, что спасите, мол, меня — с голоду помираю, с моста в воду броситься хочу?

— Говорил...

— А ты мне что сказал на это?.. Ну-ка-ся, припомни!

— Я к отцу позвал; сказал, что выручу.

— Ну, да! это правильно! Только прежде, чем к отцу-то звать, ты сказал, что выручишь, буде помогу тебе ограбить, а не то, добрым часом, и убить его. Вот оно как было! Ты ж мне рассказал, что и фатера у него завсегда при замках на запоре состоит, и что деньги он при себе на теле содержит.

— Это ложь, — вступился Вересов.

— А!.. теперь вот ложь! — перебил Гречка. — Ах ты, Иуда иудейская! Аспид ты каинский!.. Ишь ведь святошей-то каким суздальским прикидывается, сирота казанская!.. А откуда ж я могу знать, что деньги-то батька твой в кожаном поясе под сорочкой носит?

Кто ж, кроме тебя, сына евойного, сказать бы мне мог про это?.. Что? замолчал, небойсь?.. Пишите, ваше благородие, — обратился он к следователю, — что остались, мол, оба при своих показаниях. Видите, замолчал! Сказать-то ему больше нечего.

Вересов отвернулся к окну, чтобы скрыть от посторонних глаз навернувшиеся слезы, — тихие, но горькие слезы безысходного, беспомощного, придавленного горя.

— Что ж вы скажете на это, Вересов? — участливо отнесся к нему следователь.

— Видит бог — не виноват я!.. Ну, да что ж... от судьбы не уйдешь ведь!.. — с безнадежным отчаянием махнул он рукою, и голос его не выдержал, трепетно порвался. Он еще больше отвернулся к окну, чтобы скрыть свою новую слезу, невольную и жгучую.

— Позвольте мне, ваше благородие, в тюрьму! — стал между тем просить Гречка. — Что ж меня теперича занапрасно в секретной держать? Я ведь во всем, как быть должно, со всем усердием моим открылся вашему благородию: начальство к нам тоже ведь навещать наезжает, я могу начальству сказать, пото-

му — лишний народ, сами знаете, без дела содержать по частям в секретных не приказано; а я открылся... так уж, стало быть, позвольте в тюрьму.

Следователь махнул рукою — и конвойный увел Гречку с его мнимым сотоварищем.

* * *

В тот же день черный фургон привез в подворотню Тюремного замка новых обитателей. Это были: Осип Гречка, Фомушка-блаженный и Касьянчик-старчик.

XIII

СЕКРЕТНАЯ

Бероева нескоро пришла в сознание. Она решительно не помнила, как ее увозили из ресторана, как доставили в одну из частей, как наутро, за неимением там места, перевели в другую часть, куда, по сделанному в тот же день экстренному распоряжению, было отдано для следствия ее дело. Все это время мысль ее не действовала, нервы словно оконечили, потеряв способность впечатлительности; ее не понимали ни уличный холод,

ни спертая, удушливая духота женской сибирки, где она очутилась на наре, в обществе уличных воровок, нищенок, самых жалких распутниц и пьяных баб, подобранных на панели. Она глядела, дышала и двигалась как автомат, вполне машинально, вполне бессознательно; ни в одном взгляде ее, ни в одном вздохе, ни в одном движении не промелькнуло у нее ничего такого, что бы напомнило хоть легкую тень какой-либо мысли, хотя бы малейший признак отчетливого сознания и чувства. Душа и мысль ее были мертвы, скованы какой-то летаргией, — одно только тело не утратило способности жить и двигаться.

Очнулась она уже «в секретной», после долгого, мертвецкого сна, который одолел ее всею своей тяжестью, победив наконец это более чем суточное напряженно-закоченелое состояние.

Секретные по частям отличаются видом далеко не презентабельным. Это обыкновенно — узкая комната, сажени полторы длиною да около сажени в ширину, с решетчатым, тусклым окном и кислым, нежилым запахом. Мало свету и мало воздуху, а еще меньше

простору; пройтись, расправить кости, размять члены свои уж решительно негде: на полуторасаженном расстоянии не больно-то разгуляешься.

Бероева смутно очнулась и огляделась вокруг. Сероватый и словно сумеречный полусвет западал в ее окошко. Перед нею стоял убогий столик, грязный, пыльный, бог весть с которых пор не мытый и не скобленный; тут же кружка с водою, на поверхности которой тоже плавали пыль да утонувшая муха; в углу стояло ведро под стенным умывальником — и эти предметы, за исключением постели, составляли все убранство секретной.

Бероева чувствовала какую-то усталость и лом в костях и жгучий зуд по всему телу. Она оглядела себя и свое ложе — убогую деревянную кровать с грязной подстилкой, с соломенным мешком вместо тюфяка и такую же подушкой. Брезгливое содрогание неволью передернуло ее члены, когда увидела она то, что служило ей изголовьем... Мириады насекомых, клопов и даже червей каких-то повысыпали сюда из своих темных щелей, почуяв с голоду новую и свежую добычу. Она стала

прислушиваться — все тихо, глухо, не слышать ни говора, ни отголосков уличной жизни; только крысы пицат да возятся за печкой. Одна из этих подпольных обитательниц торопливо пробежала по полу и вильнула чешуйчатым хвостом, мгновенно улизнув под половицу, в свою маленькую норку.

С нервическим трепетом поднялась она с кровати и толкнулась в дверь, но плотно запертая крепкая дверь даже и не шелохнулась от ее толчка — словно бы толчок этот пришелся в каменную стену. Она постучалась еще, и на этот раз посильнее, — ответа нет как нет, и все по-прежнему тихо да глухо. Бероева тоскливо прошлась по своей тюрьме — под ее ступней слегка скрипнула половица — и пискливая возня за печкой, казалось, будто усилилась от этого скрипу да от ее шагов, нарушивших тишину карцера. Из подполья снова выглянула большая серая крыса и, словно котенок, нетрусливо проползла до середины комнаты, понюхала воздух, поводила усиками и, спугнутая новым движением арестантки, шмыгнула в темноту, под ее кровать, где и скрылась уже безвозвратно.

Бероева смутно сообразила теперь свое положение, собрала свои мысли, насколько это было возможно в ее положении, вспомнила все, что случилось с нею, — и тут-то, при этом страшном воспоминании, которое в сущности и было для нее прямым, настоящим пробуждением, возвратом к действительной жизни, при виде всей этой мрачной, отвратительной обстановки, которая, словно могила, оковала ее своей безжизненностью в настоящую минуту — на нее напал какой-то ужас, почти инстинктивно разразившийся невольным, отчаянным криком. Она судорожно и что есть мочи стала колотиться в дверь, не переставая кричать ни на минуту — и через несколько времени надзирательская форточка отворилась. В ней показалось апатичное лицо полицейского солдата.

— Чего орешь-то? что надо? кажись, все ведь есть по порядку! — просипел он крайне недовольным тоном.

— Пусти меня, пусти, бога ради! — кричала она, совсем почти обезумев в этот миг от отчаяния.

— Куды пусти?! Что ты, чего бьешься-то?

— Дети... где дети мои?.. Пусти!.. Я в суд пойду... я к царю пойду... я скажу ему! все скажу, всю правду!.. Отпирай же двери!..

— Ладно!.. никак с ума спятила... Пусти да пусти, а куды я пущу?.. Начальство не велит, с нас тоже взыскивать будут... Сиди лучше добром, коли посадили.

— Да отворишь ли ты, бездушный!

— Какой я бездушный? я не бездушный, а только что нам не приказано — ну, значит, и нельзя. Вот погоди, скоро обед из тюрьмы привезут; я те обедать принесу, поешь себе с богом; а чего уж нельзя, так и нельзя!.. Не моя воля, а будешь бунтовать, дежурному скажу — ей-богу, скажу! — пуцай его сам, как знает, так и ведается с тобой!

Бероева с воплем грохнулась без чувств подле двери.

Солдат поглядел: видит — лежит, не кричит и не дышит.

— Экая барыня какая несообразная, — проворчал он, покачав головою, затем крикнул подчаска, отомкнул дверь — вдвоем перетащили ее на кровать.

— Вспрысни водой малость — може и про-

чухается, а не то дежурному да дохтору доложить придется, — сказал он подчаску, который исполнил все сполна по данному приказанию.

Бероева очнулась — и солдаты снова заперли дверь ее камеры.

Она увидала, что уж тут ничего не поделаешь, что это — сила, которая неизмеримо превышает ее собственные силы и возможность, которая — бог весть что еще будет впереди — а пока, в настоящую минуту, давит, уничтожает собою ее волю, — и она смирилась в каком-то тупом, деревянном отчаянии.

Привезли из тюрьмы обед; а развозят его по всем петербургским частям для содержащихся там арестантов, обыкновенно в продолговатых черных ящиках, куда вставляются сосуды вроде деревянных коробок; в эти коробки опускаются плотно закрытые баки с похлебкой, кладется хлеб в нужном количестве порций, и затем ящики отправляются в ежедневное свое путешествие.

Бероева почти и не взглянула на эту холодную, мутно-серую похлебку, которую солдат так и вынес нетронутой из ее номера. Голод

побудил ее только прожевать несколько комков арестантского хлеба да запить их стоялою водой из своей кружки. Да и эта-та пицца, при ее тяжелом нравственном состоянии, показалась горькой и противной.

В этот день ее никто не тревожил, кроме добровольных и неофициальных обитателей ее камеры. Начинало темнеть — и, под светом петербургских сумерек, стены секретной становились еще мрачнее, холодней и неприветливей. Один только солдат полицейский время от времени отмыкал свою форточку и наблюдал, чем занимается арестантка. Часов около семи вечера, когда совсем уже стемнело, он принес ночник, распространивший новую вонь от своей копоты и дрянного деревянного масла, и затем на всю уже ночь, до утра, замкнул на ключ секретную камеру.

Бероева кое-как застлала своим салопом грязную подстилку с изголовьем и, не раздеваясь, легла на свое скрипучее, арестантское ложе, тщетно стараясь как-нибудь забыться.

Воцарилась опять мертвая тишина и глухое молчание. Только изредка потрескивал нагорелый ночник, а в окно мелкий зимний

дождь барабанил; петербургский ветер иногда с каким-то стоном завывал в трубе, да крысы бегали по полу и отчетливо грызли зубами половицу... В камере сделалось холодно и сыро.

Среди ночи тревожно раздались вдруг частые удары колокола, и поднялся шум на съезжем дворе. В тишине камеры ясно донесся до нее торопливый говор людей, понуканья, возгласы и конский топот; затем, через какие-нибудь пять минут, тяжелый грохот многочисленных колес, затихавший мало-помалу в отдалении — и все опять смолкло.

Бероева заглянула с постели в свое окошко, подняла вверх глаза и увидела в непроницаемой черноте ненастной ночи, как на высокой каланче зловещие фонари подымались.

«Пожар где-то в городе, — подумала она, — может быть, в нашем доме... может, мои дети горят»...

И душа ее сжалась мучительной, смертельной тоской, а фантазия неотвязно и ясно стала рисовать ужасный кроваво-огненный образ пожара и двух ее малюток, задыхавшихся в едком дыму и жарком пламени.

Наутро дверь ее тюрьмы отворилась.

— Где был пожар? — стремительно бросилась она к вошедшему солдату.

— На Охте... амбары, слышно, какие-то горели, — с обычной апатией отвечивал сторож.

— Слава тебе господи! — отлегло у нее от сердца.

— Эка баба какая, нашла чему радоваться! — заметил про себя полицейский, покачав головою.

Бероева взглянула за дверь: там, в коридоре, стоял солдат с ружьем и в каске. Ее повели к следственному допросу.

XIV

ДЕЛО О ПОКУШЕНИИ НА УБИЙСТВО ГВАРДИИ КОРНЕТА КНЯЗЯ ШАДУРСКОГО ЖЕНОЮ МОСКОВСКОГО ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНИНА ЮЛИЕЮ БЕРОЕВОЙ

— Вы — Юлия Николаевна Бероева? — начал следователь обычным официальным порядком с предварительных формальных вопросов.

Арестантка подтвердила.

— Ваше звание? — продолжал он.

— Жена бывшего студента.

— Это не составляет звания. Кто ваш муж — дворянин, купец или из мещан.

— Из почетных граждан.

— Хорошо-с; так и запишем. На исповеди и у святого причастия, конечно, бываете... Под следствием и судом состояли?

— Нет.

— Прекрасно-с. Теперь я, как следователь, должен вас предупредить, что чистосердечное раскаяние преступника и полное его со-

знание смягчает вину, а потому смягчает и степень самого наказания. Факт вашего покушения на убийство князя Шадурского засвидетельствован под присягою достаточным количеством разных лиц. Я отобрал уже показания от прислуги ресторана — и показания их все до одного совершенно сходятся. Потрудитесь, пожалуйста, объяснить, что именно побудило вас решиться на это убийство?

Краска — быть может стыда, быть может оскорбленной гордости — выступила на лице Бероевой.

В это время кошачьей, мягкой походочкой, приглаживая височки рыженького паричка и уснащая физиономию улыбочкой самого благодушно-богобоязненного и сладостного свойства, вступил в камеру Полиевкт Харлампович Хлебонасущенский. Сияющий Станислав украшал его шею, а медалька «да не постыдимся» с двадцатилетним беспорочием — борт его синего фрака; спина его изображала согбение самого приятного свойства — согбение, в котором, однако, кроме несколько почтительной приятности, сказывалась еще добавляющая его летам солидность вместе с со-

ответственным званию и рангу чувством собственного достоинства. Он очень любезно, как знакомому, протянул руку следователю и обратился к нему с любезным же осклаблением:

— Вы, кажется, уж начали допрос подсудимой? Извините, что имел неосторожность прервать... Продолжайте — я вам не мешаю.

Следователь довольно сухо кивнул ему головою из-за кипы бумаг, а Полиевкт Харлампиевич уселся на стуле и приготовился слушать. Он еще вчерашний день явился в следственное отделение с поклонами о позволении присутствовать при производстве дела.

— Потому его сиятельство князь Шадурский, по тяжкой болезни своей, очень желают знать ход причин и обстоятельств.

Следователь поморщился, но ответил:

— Как вам угодно.

Бероева собралась с мыслями, призвала на помощь весь запас своих сил и воли и начала обстоятельный рассказ о происшествии. Она не забыла ни визита генеральши фон Шпильце, явившейся в образе эксцентрической любительницы брильянтов, ни своего посеще-

ния к ней на другой день, ни угощения кофе-ем, ни внезапного появления молодого князя, ни своего странного припадка, следствием которого была беременность.

— Это все очень заманчиво и занимательно, — ввернул свое словцо Полиевкт Харлампиевич с обычно-приятным ослаблением, — но юридические дела требуют точности. Вы можете подтвердить чем-нибудь справедливость своих показаний? У вас есть факты, на основании коих вы живоописуете нам?

— У меня есть ребенок от князя, — застенчиво, но твердо ответила арестантка.

— Хе-хе... ребенок... Но где же доказательства, что это ребенок их сиятельства? И где же он у вас находится?

— Это уже, извините, до вас не касается, — сухо обратился к нему следователь. — Вы можете, пожалуй, наблюдать, сколько вам угодно, за правильным ходом дела; но предлагать вопросы предоставьте мне. Показание это слишком важно, и потому извините, если я вас попрошу на время удалиться из этой комнаты.

Полиевкт Харлампиевич закусил губу и

окислил физиономию, однако — делать нечего — постарался скорчить улыбочку и, несо-лоно хлебавши, с сокрушенным вздохом вы-шел в смежную горницу.

Бероева сообщила адрес акушерки, кото-рый тотчас же и был записан в показание.

— Кроме повивальной бабки, знал еще кто-нибудь о вашей беременности? — спро-сил ее следователь.

Подсудимая подумала и ответила:

— Никто. Я от всех скрывала это.

— Какие причины побудили вас скрывать даже от мужа, если вы — как видно из вашего показания — были убеждены, что обстоятель-ство это есть следствие обмана и насилия?

Бероева смутилась. Как, в самом деле, ка-кими словами, каким языком передать в су-хом и кратком официальном акте вполне вер-но и отчетливо все те тонкие, неуловимые по-буждения душевные, тот женский стыд, ту невольную боязнь за подрыв своего семейно-го счастья и спокойствия, — одним словом, все то, что побудило ее скрыть от всех обстоя-тельства беременности и родов? Она и са-ма-то себе едва ли бы могла с точностью опре-

делить словами все эти побуждения, потому что она их только чувствовала, а не называла. Однако, несмотря на это, Бероева все-таки по возможности постаралась высказать эти причины. Обстоятельство с нашей формальной, юридической стороны являлось темным, бездоказательным и едва ли могло служить в ее пользу.

— Вы хорошо были знакомы с князем? — продолжал следственный пристав.

— Нет, я его видела всего только три раза, — ответила арестантка, — в первый раз на вечере, где мне его представили, потом у генеральши и наконец в маскараде.

— Вы говорите, что написали ему анонимное письмо по совету акушерки?

— Да, по ее совету.

— Хорошо, так мы и запишем. Если показание подтвердится, то обстоятельство это может отчасти послужить потом в вашу пользу.

Затем следователь перевернул несколько листков из дела, прочел какую-то серую четвертушку и снова обратился к подсудимой:

— Медицинское свидетельство говорит, — начал он, держа перед собою бумагу, — что

нанесены две довольно глубокие раны: одна в горло с левой стороны, на полдюйма левее от сонной артерии; другая — в грудь, непосредственно под левой ключицею, глубиною около трех четвертей дюйма. Точно ли вы нанесли эти раны, как показывают свидетели, нашедшие вас с вилкою в руке?

Бероева слегка побледнела и выпрямилась. В ее глазах на мгновение мелькнул отблеск гордого достоинства женщины.

— Да, это правда! — с необыкновенной твердостью проговорила она. — Я не отрекаюсь, я действительно хотела его убить — я защищалась от нового насилия.

Следственное дознание было все сполна прочтено Бероевой, которая каждый ответ по предложенным вопросным пунктам скрепила своей подписью, и затем ее снова увели в секретную, под военным конвоем.

* * *

Полиевкт Харлампиевич, откланявшись следователю, проскользнул в смежную горницу, где работали вольнонаемные писцы с коронным письмоводителем, и, проходя мимо стола того субъекта, которому только что сда-

но было на руки «для подшития» дело Бероевой, незаметно, но многозначительно мигнул ему глазком на прихожую.

Субъект заглянул в комнату следователя, увидел, что тот прилежно занялся другими спешными делами. Пользуясь этим, субъект потянулся и вздохнул, словно бы от тяжелой усталости, вынул из кармана папироску и прошмыгнул на цыпочках, с рессорным качанием в корпусе, за дверь следственной камеры, сказав мимоходом письмоводителю:

— Покурить пойду.

Дока-письмоводитель только ухмыльнулся да головой мотнул: «Понимаем, мол!» И точно, он понимал, потому — был жареный и пареный человек, прошедший огонь и воду и медные трубы, и, по чистой совести, с гордостью мог бы назваться «пройди-светом».

Субъект вслед за Полиевктом Харлампиевичем вышел на лестницу.

— Вы, милый мой, доставьте мне нужную справочку, — начал последний, пожимая руку субъекта, которая ощутила на своей ладони прикосновение свернутой государственной депозитки.

— Какую прикажете-с? — поклонился субъект в любезно-благодарственном роде.

— Адрес акушерки, что показывала Бероева.

— Это могу! И всегда готов с моим усердием...

— Да только поскорее! Нынче же, как кончится присутствие, так прямо ко мне и бегите. Вот вам моя карточка: тут место жительства обозначено. А я уж вам буду еще благодарен.

— Будьте без сумления-с! — успокоил субъект. — Потому я людскую благодарность очень сердцем своим ценю и завсегда понимаю. До свиданья-с!

И к пяти часам в бумажнике Полиевкта Харлампиевича уже покоился адрес акушерки, а в кармане субъекта лежала новая синенькая бумажка, в придачу к таковой же утренней.

XV

СЕМЕЙНАЯ ГОРЕСТЬ И ОБЩЕЕ СОЧУВСТВИЕ

Княгиня Татьяна Львовна Шадурская разыгрывала роль нежной, любящей матери и потому считала нужным раза три в день просиживать по часу и даже более у изголовья своего сына. Она, по случаю трагического происшествия, уже второй день сряду облакала себя в черное бархатное платье — как известно, привилегированный цвет уныния и печали — и находила, что черный бархат к ней необыкновенно идет, сообщая собою всей фигуре ее нечто печально-величественное, и втайне весьма сожалела о том только, что возлюбленный рыцарь ее сердца, Владислав Карозич (Бодлевский тож), лишен возможности восхищаться ею в этом наряде, который столь гармонировал с унылой бледностью лица блекнувшей красавицы. Бледность же она устраивала тем, что в эти два дня румян вовсе не употребляла, ограничась одною пудрою и очень тонкими, дорогими белилами. Она на-

ходила, что особенно интересна в то время, когда, облокотясь на ручку кресла, с такой необычайной нежностью и скорбью устремляла томный взор свой на лежащего сына, не забывая, почти ежеминутно, с подобающей грацией подносить изящный флакон с освежающим спиртом к обеим ноздрям своего аристократического носа. Княгиня, кроме шуток, любовалась собою в этой новой для нее роли скорбящей матери, хотя, в сущности-то, скорбеть было вовсе не о чем, потому что раны князя не представляли никакой опасности ни для его жизни, ни даже для его дальнейшего здоровья. Он бы даже мог и не лежать, но лежанье его входило в тонкие юридические соображения Полиевкта Харлампиевича, и потому надлежало беспрекословно покориться сему тягостному искусству. Князь Владимир даже и в первую минуту катастрофы был вовсе не настолько слаб и болен, как это казалось окружающим и ему самому; он просто-напросто струсил и перепугался; а трусость, соединенная с этим внезапным испугом и подкреплённая винными парами, вконец расстроила его изнеженные нервы. Князь

и вообразил, что он очень опасно ранен и еще опаснее болен. Старый Шадурский, наш ослабленный гамен, ради конвенабельности тоже присутствовал порою у постели сына, особенно в то время, когда приезжали навещать его и осведомляться о «катастрофе» разные особы обоего пола. Княгиня внушила гамену, что он должен казаться опечаленным отцом, и гамен точно во время этих визитов добросовестно старался казаться таковым и, вставляя в глаз свое стеклышко, кисло взирал сквозь него на больного, уныло покачивая головою.

— *Quel grand malheur, quelle catastrophe tragique!*[292] — в минорном тоне восклицали навещавшие особы. — Скажите, бога ради, как это все случилось?

— Не понимаем! — печально пожимала плечами интересная в своем горе княгиня. Гамен тоже пожимал плечами, по примеру супруги, и тотчас же вбрасывал в глаз свое стеклышко. Молодой князь, со своей стороны, в качестве тяжело больного, предпочитал в этих случаях полное молчание, предоставляя поле красноречия либо матушке, либо — в ее от-

сутствие — Полиевкту Харламповичу.

— Не понимаем! — говорила княгиня. — Анонимное приглашение в маскарад... какая-то женщина... бог знает, какая она и кто она! Он так опрометчив, молод... маскарадная интрига... поехал с нею ужинать куда-то, и вдруг она вонзила ему вилку...

В этом месте рассказа на глазах княгини обыкновенно навертывались материнские слезы, и она спешила поднести флакон к своему носу.

Посетители прилично вытягивали физиономии и, вместе с гаменом, сочувственно качали головами.

— Для чего же это сделано? с какой целью? — вопрошали они.

И в этом случае, по большей части, дальнейшим комментатором являлся Полиевкт Харлампович. Он с большою обстоятельностью рассказывал все событие и приводил дальнейшее объяснение на предложенные вопросы.

— Цель очень ясна, — почтительнейше докладывал он, — эта женщина, — жена какого-то мещанина, что ли, — принадлежит, по

всем вероятиям, к известной категории: акула-с, как есть акула алчная!.. Разыграла все это затем, чтобы сорвать с их сиятельства изрядную сумму, будто бы за свое бесчестие по поводу мнимого насилия... Насилие!.. Разве насильно при всей публике поедет кто-нибудь из маскарада ужинать в ресторацию?.. И анонимное послание ее тоже, должно быть, насилие? Помилуйте-с! Возмутительный факт, который следовало бы в настоящее время благодетельной гласности по всем журналам предать... Теперь следствие идет, надо будет на одну доску с этой женщиной становиться! И так, можно сказать, оскорблены какою-то тварью честь и достоинство имени их сиятельства, герб оскорблен! За это — Сибирь-с и кандалы, по закону!.. Ведь бедный князь теперь, так сказать, жертва, мученик неповинный!..

И в этом убедительном роде катился дальнейший поток красноречия Полиевкта Харлампиевича, сладостные глазки которого тоже подчас увлажнялись слезою искренне преданного и чувствительного сердца.

Посетители разъезжались в благородном

негодовании и развозили по городу толки о «катастрофе», с комментариями во вкусе Хлебонасущенского. Некоторые, впрочем, как водится всегда, не могли обойтись и без злословия: говорили с ироническими улыбками о силе победителя женских сердец, которого победила вилкой какая-то маска; но вообще князь Владимир гораздо более обыкновенного обратил теперь на себя общее внимание; о нем заговорили все, и барыни, и камелии, все немедленно признали его очень интересным, сочувствовали его положению и находили самое происшествие весьма трогательным, ужасным и романическим. Вся пучина презрения, порицаний и самых безобразных толков с отвратительными заключениями в великосветском и demi-mond'ном[293] приговоре выпадала, конечно, на исключительную долю какой-то госпожи Бероевой.

XVI

ФАМИЛЬНАЯ ЧЕСТЬ ЗАТРОНУТА

После допроса Бероевой Полиевкт Харлампиевич вернулся прямо к княгине, весьма смущенный и озабоченный. Княгиня только что проводила нескольких посетителей и потому пока еще находилась в комнате сына, вместе с расслабленным гаменом.

— Ну что? какие вести? — подняла она томные взоры на вошедшего.

— Недоброкачественные, матушка, ваше сиятельство, недоброкачественные-с! — кисло сообщил Хлебонасущенский. — Надо поговорить серьезно, посоветоваться всем вкупе с откровенностью... Я, уж извините, распорядился, пока что, до времени, никого не принимать из посторонних.

— Что же такое? — Что там еще, бога ради, говорите скорее! — встревожилась Татьяна Львовна.

Молодой князь весьма бодро и быстро поднялся со своей подушки, вовсе не соответственно положению тяжело больного.

— Да вот что-с! — с некоторым затруднением от щекотливости предстоящего разговора начал Хлебонасущенский, откашлявшись и потирая руки. — Тварь-то ведь эта показывает, будто у нее имеется плод преступной любви и будто виновник плода-то — их сиятельство...

— Как так? — изумилась опешенная княгиня.

— Не могу подлинно знать, а только она показывает это очень настойчиво, — отвечивал почтенный адвокат и ходатай. — Указывает даже местожительство той акушерки, у которой этот плод хранится на воспитании.

Молодой Шадурский изменился в лице.

— Ежели оно истинная правда, — продолжал Хлебонасущенский, — то дело может принять весьма зловредный оборот касательно личности и чести их сиятельства, потому — живая улика налицо, опять же буде акушерка покажет ответственное, то на их сиятельство непременно ляжет юридическая тень подозрения... Это может повредить карьере и гербу...

И вслед за этим вступлением Полиевкт

Харлампович передал всю главную сущность показаний Бероевой.

Мать и сын остались под сильным впечатлением этого рассказа; княгиню он даже вконец поразил своею новостью; один только старый гамен, как ни в чем не бывало, вставил в глаз стеклышко и, как-то старчески облизываясь, спросил плюгавого сатира:

— Et dites donc, est-elle jolie?[294] Хороша она собою?

Но на его неуместный вопрос даже и Хлебонасущенский не обратил в эту минуту достодолжного внимания, а княгиня смерила гамена своим строгим и холодным взглядом.

— Я уж там подмазал кой-какие колеса; мне сегодня же сообщат адрес акушерки, — с хитрым подмигиванием сообщил Хлебонасущенский, — уж вы, значит, ваше сиятельство, для ясности дела, признайтесь-ка мне, как бы отцу духовному, правду ли она показывает-то? было у вас такое дело, или не было?

— Было, — нехотя процедил сквозь зубы Шадурский и тотчас повернулся лицом к стене, чтобы не встретиться с глазами матери и управляющего. В эту минуту, вместе с сделан-

ным сознанием, в нем заговорил слабый отголосок совести.

Надолго ли только?

— Ну, стало быть, все отменно хорошо теперь! — самодовольно потирая руки, заключил ходатай. — Уж вы, значит, ваше сиятельство, на очной ставке с Бероевой говорите на все ее улики, что знать ничего не знаете и никогда никакой интриги с ней не имели; а остальное — в руке божией! Надо надеяться и не унывать, а мы уж механику нашу подведем! будьте благонадежны-с!

Шадурский ничего не ответил, а княгиня позвала Хлебонасущенского и вышла вместе с ним из комнаты.

— Послушайте, мой милый, — начала она ласково и серьезно, — вы понимаете сами, какое это дело... кончайте его, не жалея денег — мы уж вам отдадим... Тут фамильная честь затронута.

— Уж будьте благонадежны-с, матушка ваше сиятельство! — повторил ходатай, чередуя поклоны с улыбками. — Полиевкт Хлебонасущенский недаром уж по этой части мудрецом у самых опытных юристов слывет! будьте

благонадежны-с!

— Вольдемар!.. что ж, она хороша собою!.. а?.. *Quel est le genre de sa beauté — blond ou brune?*[295] Расскажи-ка ты мне, пожалуйста! — приставал меж тем гамен к своему сыну, шаловливо поигрывая своим стеклышком.

Но Вольдемар не почел за нужное отвечать ему что-либо и, лицом к стене, лежал все в прежнем положении.

XVII

ДЕЛЬЦЕ ПОЧТИ ОБДЕЛАНО

Отпустив от себя, с надбавочной пятирублевой благодарностью, субъекта, принесшего адрес акушерки, Полиевкт Харлампиевич тотчас же было приказал закладывать в пролетку пару своих рыженьких шведок, но тут же одумался и отменил это приказание. «На грех мастера нет, — сообразил он с присущей ему предусмотрительностью, — еще, пожалуй, кто-нибудь заметит, что приезжал, мол, на своих лошадях, да как, да что, да зачем приезжал, да потом как-нибудь лишнюю за-

корючку в показания того гляди влепит!.. Все-таки оно сомнением называется, — а лучше на извозчике поеду». И точно, уложив в бумажник полновесную пачку ассигнаций и застегнув с аккуратностью на все пуговицы свой синий фрак и пальто, он взял на улице первого попавшегося ваньку и отправился по данному адресу.

— Я имею к вам некоторое поручение от госпожи Бероевой, — начал Хлебонасущенский, оставшись наедине с акушеркой в ее гостиной. — Мы одни, кажется?.. можно говорить спокойно?..

— Совершенно одни; здесь никто не услышит, — и она вплотную приперла обе двери в комнате. — Вы это насчет чего же?

— А насчет того обстоятельства, которое вам известно...

— То есть что же именно?

«Эге! да ты, матушка, видно, себе на уме! — подумал Хлебонасущенский. — Надо полагать, нашего поля ягода, старый воробей».

— Именно насчет ребенка, — ответил он, наблюдая косвенно, какое впечатление производят на нее эти слова. Но действие слов

никакими внешними признаками не обнаружилось.

— Что же такое насчет ребенка? — уклончиво спросила акушерка, которая думала: «Уж не подсыл ли от мужа?»

— А вот... касательно дальнейшего обеспечения жизни и воспитания, — пояснил Хлебонасущенский.

— Вы, стало быть, родственник?

— Нет-с, но... я посредник в этом деле, беру участие, потому что мне поручено... Ведь госпожа Бероева, как вам очень хорошо известно, не имеет средств сама платить за воспитание.

— Ну, так что же?

— Так вот... эту заботу принимает на себя одно лицо... которое поручило собственно мне это дело и уполномочило переговорить с вами...

— Стало быть, вы хотите, чтобы я взяла на себя воспитание?

— Да, чтобы его продолжали, так как дитя уже находится у вас и так как в этом деле необходимо сохранить полнейшее инкогнито.

Хлебонасущенский полагал, что эти слова заставят как-нибудь прорваться сдержанную акушерку, но та предпочла полнейшее молчание.

«Экой кремень — баба! — с досадой помыслил он в это мгновенье. — Ничем-то ее не проберешь, проклятую!» — и, вслед за своей мыслию, продолжал дальнейшие подходы:

— Средства ее очень ограничены; вы сами знаете, что она не могла даже уплатить вам за последнее время, так что вы совершенно справедливо отказывались от содержания младенца... Теперь это неудобство устранено благодаря вашему доброму совету, которого она послушалась.

Кремень-баба увидела, что посреднику известны такие факты и отношения, каких, по всем логическим видимостям, не мог знать муж, и потому уразумела, что Хлебонасущенский должен быть действительно посредником и поверенным Бероевой.

— Что ж, если вам угодно, я, пожалуй, могу принять на себя воспитание, — согласилась она.

— Очень обяжете, — поклонился Полиевкт

Харлампиевич, — только помните, под условием строжайшего инкогнито... нужно как можно тщательнее скрывать от мужа.

— Это уж конечно, — подтвердила акушерка.

— Итак, если вы согласны, — заключил он, — то я буду иметь удовольствие каждый месяц, считая с нынешнего числа, привозить вам следующую сумму. Угодно вам теперь же получить вперед за месяц?

— С большим удовольствием.

— Сколько прикажете-с?

— Да так, как было условлено, двадцать пять рублей.

«Наконец-то прорвало», — подумал великий законник.

— Потрудитесь получить, — прибавил он вслух, вынимая деньги, — да кстати, там есть еще должок за госпожою Бероевой, так заодно уж, для очистки, и его прикинем! Сколько именно?

— Пятьдесят.

— Итого семьдесят пять рублей! Отменно-с!.. Перечтите и потрудитесь выдать мне расписочку в получении. Оно, в сущности,

можно бы и без этого, но мне, собственно, больше для удостоверения того лица, которое...

— Извольте, я напишу, — согласилась акушерка, и тут же настрочила все, что потребовалось под диктовку Хлебонасущенского.

— Ну-с, теперь, когда я лично удостоверился в тайном нахождении у вас незаконнорожденного ребенка госпожи Бероевой, в чем у меня даже и форменный документ имеется, где вы особо расписались в получении долга за прошлое время, я вам должен сообщить, что госпожа Бероева — уголовная преступница и теперь находится под судом и следствием в тюрьме.

Эта неожиданная перемена тона и еще более неожиданное сообщение произвели такой эффект, что кремень-баба изменилась в лице и, почувствовав, как подкашиваются у нее ноги, опустилась на кресло.

Перед нею, круто выпрямясь, стоял и строго глядел в упор торжествующий практик.

— Госпожа Бероева, — продолжал он в том же роде, — сделала покушение на жизнь князя Шадурского, ее схватили на месте преступ-

ления, и вот она, не далее как сегодняшнего числа, объявила, что задумала преступление по вашему совету и наущению, что вы первая подали ей мысль написать князю анонимное письмо. А знаете ли, чем это пахнет?

— Господи боже мой!.. Да что же я-то тут?.. Я ведь не при чем, — заговорила огорошенная женщина.

— Нет-с, извините, причем! и даже очень причем! Вы — не более, не менее, как сообщница убийцы; и вы не отвертитесь, потому — у меня в кармане доказательство сообщества — ваша расписка. Вы уже тем прикосновенны к делу, что тайно приняли к себе родильницу, тайно оставили у себя незаконный и преступный плод, вы — потворица гибельного разврата; а все это — позвольте вам сообщить — пахнет лишением всех прав состояния и ссылкой в Сибирь, в каторжные работы.

— Ну, до Сибири-то еще далеко, сколько-то там тысяч верст считается! — возразила койкак собравшаяся с мыслями кремень-баба. — Оно несколько далеко!.. А я что ж?.. я ничего... и никаких советов не давала, а только по сво-

ей доброте душевной дала ей уют... Опять же, по-христиански, я никакой родильнице в помощи отказать не могу, на то я и бабушкой называюсь. Стало быть, я тут ни при чем-таки.

— А все-таки она вас в дело запутала — и дело-то скверное, — смягчил несколько тон Полиевкт Харлампиевич, — пойдут таскать по судам да следствиям да по полициям; оно, гляди, и станет в копейку... Да еще, пожалуй, в подозрении оставят. А скандал-то, скандал! ведь это разойдется по городу, вы на много практики своей лишитесь, а это уж и сколь невкусно!..

Кремень-баба призадумалась: в последних словах ее нежданного гостя была-таки существенная доля справедливости.

— Это, пожалуй, что и так, — подтвердила она в раздумье, — да что ж с этим сделать-то!

— А вот в том-то и штука, что сделать-то!.. — подхватил еще более умягченный Хлебонасущенский. — Я знаю, что нужно делать тут; а вы вот хоть и куда какая дока тоже по своим частям, а не знаете!.. То-то оно и есть!..

— Да вам-то что до этого? чего вам нужно? зачем вы явились ко мне? что это за роли вы разыгрываете? — взъелась акушерка, придя наконец в сильную досаду.

Полиевкт Харлампиевич, как ни в чем не бывало, улыбнулся и многозначительно потер свои руки.

— Хе-хе... милая барыня!.. в ярость пришли... а вы не яритесь: это я только с разных сторон ощупывал вас, испытать желал, с кем то есть дело имею — ну, и проник теперь вашу суть... Ведь вы дока, барыня, как я вижу, ух, какая дока!.. Ну, так давайте-ка говорить всерьез! Хотите вы хорошие деньги получить?

— Кто ж от денег прочь? — ухмыльнулась милая барыня.

— Ну, конечно, никто, в ком мозгов хоть на золотник имеется! — скрепил Хлебонасущенский. — Так вот в чем дело! — продолжал он, — эта госпожа точно оговорила вас и запутала; вы это сами увидите через день-два на деле. Стойте вы на одном: что и знать-то ее не знаете, и в глаза никогда не видали, и дел с ней никаких не имели, и ребенка у вас нет и

никогда не было! Чем бы ни уличала она — отвечайте одно: вздор, ложь, оговор, ничего не знаю, ни к чему не причастна! Понимаете?

— Как же не понять!.. Только что ж из этого?

— А то, что извольте получить теперь три радужных, да еще одну — на прислугу вашу, с тем, чтобы вы внушили прислуге-то: пускай то же самое говорит, что и вы, — понимаете? — объяснил Полиевкт Харлампиевич, вынимая из толстого бумажника четыре сотенных. — В этих уж я расписки не потребую, — продолжал он с величайшей любезностью, — потому: они только в задаток идут, а буде исполните удачно мое поручение, то и вновь получить имеете!.. Ну, что, теперь питаете еще такую же симпатию к Бероевой? — шутя подмигнул Хлебонасущенский.

— Какая там симпатия? много их таковых-то! — подхватила милая барыня, вконец очарованная двойкой выгодой: деньгами и успешным выходом из предстоящего дела.

— В прислуге-то уверены? — заботливо осведомился ходатай.

— Ой, да что прислуга! в ней — как в самой

себе! особенно, если вы впоследствии еще что-нибудь для нее прикинете, — успокоила акушерка. — А младенца-то, я полагаю, лучше бы было как можно скорее с рук сбить, — посоветовалась она в заключение.

— Всенепременно!.. Совсем долой его, и как можно скорей!

Затем Полиевкт Харлампиевич приступил к подробному и самому обстоятельному обучению — как и что говорить против всех показаний Бероевой; а после этой назидательной лекции поскакал «к матушке ее сиятельству» с уведомлением, что подкуп акушерки с прислугой обошелся якобы в четыре тысячи рублей серебром — просила, дескать, пять, да уторговал тысчонку ради выгод княжеского семейства, и что засим дальнейшее дельце, по неизреченной милости господя, почти совсем улажено.

XVIII-XXII

.....
•
.....

XXIII

ОЧНЫЕ СТАВКИ

Прошла неделя с тех пор, как с Бероевой снят был первый допрос у следственного пристава. В течение всего этого времени ее никуда не вызывали — она безвыходно сидела в своем секретном номере. Тоска, упорная и долгая, непрестанно глодала ее грудь своими тихо ноющими захватами. У нее сжималось сердце при мысли о детях; о своем положении она менее думала даже, — с воспоминанием о них и совсем забывала его порою. Да и притом у нее все-таки еще мелькала впереди смутная надежда на свободу, на полное оправдание себя при следствии и перед судом. «Ведь есть же на свете правда!» — старалась она уверить себя, и все ждала и ждала исхода.

Но тянулись дни за днями, тянулись долгие бессонные ночи — и на душе арестантки становилось все мрачнее и тяжелее; надежда, мелькая уже гораздо реже, с каждым днем и с каждым часом слабела все больше, а с ней вместе слабели и силы Бероевой. Мрачная комната, со своей суровой обстановкой, подпольными обитательницами, вечной сыростью и холодом по ночам, отсутствие сколько-нибудь мыслящего лица человеческого, за исключением сонливой физиономии молчаливика-сторожа, и неизвестность о дальнейшем ходе своего дела — все это непрерывным гнетом своим ложилось на душу заключенницы, давило на ее мозг такого рода впечатлениями, что она уже крайне близка была к умопомешательству; блуждающие глаза, потерянный вид, нервно-боязливые движения являлись признаками, обличающими начало болезненной мании, к которой так располагает постоянное одиночное заключение. В течение этой недели, казалось, все забыли о ее существовании, кроме сторожа, приносившего ей утром обед да воду, а вечером вонючий ночник. Грязная копоть этого ночника

мутила обоняние и першила в горле; клопы и черви беспрепятственно ползали по ее платью и белью, о перемене которого никто не заботился, так как при съезжих домах арестанты по большей части содержатся в собственном костюме, причем неоднократно бываюТ случаи, что женщины в секретных остаются в одном и том же белье без перемены, по три-четыре месяца, если даже не больше; это белье истлеваеТ до такой степени, что, порождая миазмы, вконец расплзается на теле.

Затхлый воздух, насыщенный нежилоу сыростью, и отсутствие движения в трех-четырехаршинном пространстве, успели уже наложить свое болезненное клеймо на организм заключенной. Грудь ее подалась внутрь, плечи слегка ввалились; все черты ее красивого лица осупились; во всем теле появилась какая-то вялость; глаза поблекли и украсились вокруг буроватую синевою, загораясь блеском только во время ночных пароксизмов нервной лихорадки, которою, под влиянием условий своего заключения, начинала уже страдать арестантка. Еще две-три недели такого существования — и в исходе для Берое-

вой представлялась бы только больница для умалишенных с последним путешествием в болота какого-нибудь из петербургских кладбищ.

Но смутная надежда на доброе окончание дела все еще тлела в ней слабеющей искоркой. Каждое утро она начинала ожиданием, что сейчас раскроется дверь и ее поведут в следственную камеру, где она уличит своих противников во всех их гнусных замыслах и спутанной интриге против нее — в интриге, затаенные нити которой, однако, до сих пор еще оставались для нее темнейшею загадкой.

И, наконец, она дождалась.

* * *

Одурманенная струею свежего воздуха, которым пахнуло на нее из надворного коридора, вышла она, вместе с вооруженным солдатом, в следственную камеру, шатаясь и еле различая затуманенным взором группы каких-то посторонних лиц, как будто несколько знакомых, но каких именно — Бероева не успела ясно разглядеть и составить себе о них какое-либо представление.

Она с трудом переводила дыхание, каза-

лась очень слабою и больною, так что следователь предложил ей сесть и оправиться.

Он был очень угрюм, с оттенком крепко озабоченной мысли в лице, как бы говорившей, что обстоятельства следствия становятся очень темны и запутанны. Первые знаки участия его к арестантке подействовали на нее несколько ободряющим образом, но затем вид этой угрюмой, досадливой озабоченности снова мучительной ноющей болью оледенил и сжал ее сердце. Оно забилося тоской ожидания.

— Вам надо дать теперь очную ставку с госпожою фон Шпильце и другими лицами, — обратился к ней следственный пристав, — вы должны уличить их и подтвердить справедливость ваших показаний.

Бероева тихо взглянула на него взглядом безмолвной благодарности. Эти слова зажгли в ней надежду и убеждение, что ее правота восторжествует, но от ее последнего взгляда брови следователя, казалось, еще больше нахмурились.

— Госпожа фон Шпильце! потрудитесь войти в эту комнату! — возвысил он голос —

и на пороге появилась блистательная генеральша в дорогой шали, с сверкающими кольцами на толстейших коротких пальцах. За нею — в обычно-почтительном согбении, кошачьей поступью пробирался Полиевкт Харлампиевич Хлебонасущенский.

— Я не какая-нибудь! — резко и с самоуверенной гордостью начала Амалия Потаповна своим несколько крикливым полигlossическим акцентом, к следователю в особенности. — Je suis une noble dame, monsieur!..[296] Я известна барон фон Шибзих, граф Оксенкопф, генерал Пупков, сенатор Пшесиньский... я знакома со все князья и графы... Я до шеф-жандарма пойду... Меня нельзя оскорблять — я сама генеральша!..

— Да вас никто еще не оскорбил, — попытался прервать ее следователь; но генеральша не унималась.

— Нет, оскорбиль, оскорбиль! ви оскорбиль! — возвысила она голос, жестикулируя руками. — Меня до полиции призывают, на одна доска со всяки мошенник ставят! Я — благородна генеральша, я ничего не знай, я будет жаловаться! граф Оксенкопф, сенатор

Пшесиньский...

— Это вы можете, а теперь — успокойтесь... У меня мало времени...

— Вы, monsieur, на моя квартир могли приезжать, а не меня звать в roлесі...

— Ну, благодаря вам и то целую неделю тянули; ведь вы на третью только повестку отозвались... у меня, повторяю, времени нет! — возвысил голос и тот в свою очередь.

Генеральша, получив отпор, поугомонилась, и, погрозив еще раз, но уже как бы про себя и притом вполголоса: «О, я будет жаловаться!» — затихла и приняла вид недоступного достоинства.

На очной ставке с Бероевой генеральша фон Шпильце показала, что даже и не знала о ее существовании до того времени, как однажды женщина по имени Александра (звания и фамилии не упомнит), лет пять тому назад проживавшая у нее в услужении и по отходе от места изредка посещавшая ее, генеральшу, явилась к ней в прошлом году и стала рассказывать о том, что она, Александра, узнала про бедственное положение некоей Бероевой, ищущей продать свои брильянты, и предло-

жила генеральше сделать эту покупку, причем сообщила и адрес Бероевой. Горничная обвиняемой, солдатская дочь Аграфена Степановна, повторила при этом свое показание о том, как и где она познакомилась с Зеленьковым и как встретила однажды у него на квартире женщину Александру, которую он называл своею теткою и которую она, после случайного разговора с нею о Бероевой, нигде и никогда больше с того вечера не видала. Показание ее — невольным образом, конечно — во многом не разнилось с теми обстоятельствами, что передавала теперь генеральша фон Шпильце. Зеленьков же повторил, что с теткой своей Александрой (в показаниях он вымышленно назвал ее Ивановной) виделся вообще очень редко, но что в то время он имел намерение жениться на девице Аграфене Степановой и, встретив как-то на улице свою тетку, пригласил к себе, как единственную свою родственницу, чтобы она посмотрела его невесту и дала ему необходимые советы. Далее показывал он, что после этого вечера тетка заходила к нему один только раз, и то ненадолго, причем объявила, что пришла

проститься, так как она нашла себе место в отъезд за границу, куда именно — не сказывала, но обещала писать, однако же писем до сих пор не присылала еще, называла также и фамилию господ, на которую он мало тогда обратил внимания и теперь, за давностью времени, позабыл совершенно.

Справки о местопребывании Александры Ивановой, которые еще раньше, основываясь на показаниях Зеленькова, наводил следователь в канцелярии генерал-губернатора, не привели ни к каким результатам, так как по спискам оказалось несколько Александр Ивановых, проживающих с господами за границей.

В эту минуту Полиевкт Харлампович внутренно торжествовал при виде плодов своего разностороннего и предусмотрительного гения. Келейные уроки и наущения его, которые, за исключением девушки Груши, давал он, вместе с деньгами, всем прикосновенным к делу лицам, не пропали даром. Цель совокупных показаний их развивалась вполне стройно и согласно с планом, заранее им предначертанным.

Вслед за переспросом горничной Аграфены и Зеленькова, Амалия Потаповна фон Шпильце в своих доводах продолжала показывать, что, имея свободные деньги и страсть к хорошим вещам, надеялась она в то же время сделать доброе дело, оказать христианскую помощь нуждающейся, и поэтому поехала по сообщенному ей адресу. Брильянты ей понравились, и она пригласила госпожу Береву приехать к себе на другой день для окончательной сделки. Когда госпожа Бероева явилась по приглашению, то, минут пять спустя, с ней сделался болезненный припадок, кончившийся продолжительным обмороком, причина которого ей, генеральше, неизвестна. Она распорядилась тотчас же послать за своим домашним врачом, господином Катцелем, который тщетно старался привести в чувство больную и, не успев в этом, должен был увезти ее в бесчувственном состоянии на ее квартиру, в карете, одолженной генеральшею. Брильянты по этому случаю остались некупленными и находились при продавщице. Был ли в то время у генеральши фон Шпильце князь Владимир Шадурский, она за

давностию времени не упомнит, но кажется, что не был. Где находится в настоящее время проживавшая у нее женщина Александра — ей неизвестно, ибо с того самого времени она о ней не имеет никаких известий. Самое Береву генеральша не знает и о том, кто она, равно как и об образе ее жизни, сведений никаких сообщить не может.

Амалия Потаповна говорила все это с такою твердостью и непоколебимым убеждением, что казалось, будто сама истина глаголет ее устами. На все доводы и возражения Беревой она только пожимала плечами да улыбалась той убийственной иронией, которая показывает, что предмет, вызывающий эту улыбку снизу вверх, до того уже стоит неизмеримо ниже нас, что в отношении его нет места человеческому слову, а существует одна лишь выразительная гримаса. Вслед за генеральшей выступила к столу следственного пристава маленькая черненькая фигурка в изящнейшем черном фраке, в золотых очках. Это был Herr Katzel, который объяснил, что, будучи призван генеральшей фон Шпильце, нашел у нее в обмороке неизвестную женщи-

ну, в которой ныне узнает подсудимую арестантку, подал ей необходимое медицинское пособие и потом пользовал больную, уже у нее на дому, в течение пяти или шести дней. Симптомов своей болезни она ему не могла объяснить, равно как не мог он от нее добиться и сведений о предварительных причинах. Полагает же по тем признакам, какими сопровождался припадок, что это было когнитивное состояние мозга вследствие обморока. Признаков беременности усмотрено им не было в течение того недолгого времени, пока пациентка пользовалась его искусством.

— Но у меня есть факты, есть доказательства! — воскликнула, наконец, вне себя арестантка, побиваемая на каждом шагу гранитною наглостью доктора и генеральши. — Пусть акушерка подтвердит все, что я рассказывала вам, у нее ребенок мой!..

Вошла акушерка и за нею служанка ее Рахиль. Бероева, с мольбой и надеждой, кинулась им навстречу.

— Бога ради!.. — проговорила она, едва удерживая рыдание. — Бога ради!.. спасите меня!.. Вы одни только можете!.. Докажите

им!..

Но две вошедшие особы, с недоумением отстраняясь от ее порыва, глядели на нее сухим и холодным взглядом, как бы совсем не понимая, что это за женщина и о чем это говорит она.

— Какой я вам спаситель?.. Я вас и знать-то не знаю, кто вы такая, и вижу-то в первый раз отроду! — заговорила акушерка, бойко вымечивая глазами Бероеву.

— Как в первый?!. Боже мой, да где ж это я?!. А ребенок мой?

— Никакого ребенка я от вас не принимала и не понимаю даже, о чем это разговор идет ваш... Я по своему ремеслу занимаюсь, — продолжала она тоном оскорбленного достоинства, — и никогда в таких конфузах не стояла, чтобы по полициям меня таскать да небывалые дела наклепывать... Я человек сторонний и дела мне до вас никакого нет, потому как я, господин пристав, никогда и не знала их, — обратилась она в рассудительно-заискивающим тоне к следователю, для большей убедительности жестикулируя руками, — и теперича из-за такой, можно сказать,

марали на много практики своей должна лишиться, а у меня, господин пристав, практика все больше по хорошим домам — у генеральши Вейбархтовой, у полковницы Ивановой тоже всегда я принимаю; так это довольно бессовестно со стороны этой госпожи (энергическое указание на Бероеву) порочить таким манером порядочную женщину.

Подсудимая собрала весь запас своих сил и твердости: она решилась бороться, пока ее хватит на это.

— Ребенок окрещен в церкви Вознесенья — вы сами мне это говорили — назван Михаилом, наконец он у вас и теперь находится, я узнаю его! из сотни детей узнаю! — говорила она, энергично подступая к акушерке.

Эта состроила притворно-смиренную рожу, явно желая издеваться над своей противницей.

— Во-первых, я вам ничего и никогда не говорила, потому — господь избавил от чести знать вашу милость! — дала она отпор. — Во-вторых, никакого ребенка у меня нет и не было; господин пристав на этот счет даже обыск

внезапный у меня делали и ничего не нашли; а что у Вознесения, точно, крестить мне много доводилось, так это суцая правда — на то я и бабушка. А вы уж если так сильно желаете запутать меня в свои хорошие дела (не знаю только, для чего), так вы потрудитесь назвать господину приставу крестного отца; господин пристав могут тогда по церковным книгам справку навести: там ведь ваше имя должно быть записано; ну, опять же и крестного в свидетели поставьте — пускай уличит меня, ежели я в чем причастна.

Бероева тяжело вздохнула и понурила свою голову: она не помнила в точности числа и дня, в которые окрестили младенца, не знала также, кто его крестные отец и мать, потому что в то время предоставила это дело исключительно на волю акушерки и наконец сама же просила ее скрыть от священника свое настоящее имя и фамилию под каким-нибудь другим вымышленным, что акушерка исполнила, в видах сохранения полнейшего инкогнито родильницы.

— Ну-с, матушка, говорите, доказывайте на меня! — приступила она меж тем к Берое-

вой. — Вот я вся, как есть, перед вами!.. Что ж вы не уличаете? видно, что нечем?.. Да-с, матушка, я недаром ко святой присяге ходила теперь из-за вас, я как перед господом богом моим, так и перед начальством нашим, господином приставом, против совести не покажу! Я — человек чистый, и дела мои все, и сердце мое — начистоту перед всеми-с! А я развращения не терплю и нравам таким не потворщица! Это уж вы, матушка, других поищите, а меня при моей амбиции покорнейше прошу оставить.

Бероеву одолел внутренний ужас от этого наглого цинизма лжи и бессовестности. Она почти в полном изнеможении опустилась на стул и долго сидела, закрыв помертвелое лицо обеими руками.

Рахиль вполне подтвердила показания акушерки, объяснив, что личность Бероевой вполне ей неизвестна и видит ее она только впервые перед следственным приставом, что при ней Бероева никогда не приходила в квартиру ни за советами, ни для разрешения от бремени и что, наконец, никакого ребенка она к ним не приносила и на воспитание не

отдавала.

Эти два показания являлись самым сильным аргументом против Бероевой, потому что, обвиняя фон Шпильце, Катцеля и Шадурского, она, в защиту себя и в подтверждение истины своих слов, приводила свидетельство акушерки и ее прислуги. То и другое оказалось против нее — значит, все шансы на добрый исход дела с этой минуты уже были проиграны.

Теперь оставалось дать ей еще одну и уже последнюю очную ставку.

— Карету привели, ваше-бо-родие! — возгласил приставу дежурный солдат, вытянувшись в дверях камеры.

* * *

— Не угодно ли вам одеться, — предложил вслед за этим следователь, обращаясь к арестантке.

Полиевкт Харлампович поднялся со стула, посеменил да повертелся на месте, как бы отыскивая или припоминая что-то, обдернул борты синего фрака и, раза два кашлянув в руку, улизнул из комнаты.

Через минуту шибко задребезжали по мо-

стовой колеса его «докторских» дрожжек; пара рыженьких шведок быстрее обыкновенного задобрила копытами, направляясь к дому его сиятельства князя Шадурского.

Вскоре после него отъехала от части и наемная карета, в которой поместились: Бероева с следователем и его письмоводитель со стряпчим, да на козлах — дежурный городской во всей форменной амуниции.

* * *

Бероева, накинув на лицо густой вуаль, всю дорогу старалась прятаться в угол кареты, чтоб не обращать на себя мимолетного внимания встречных людей. Ей не хотелось в присутствии двух свидетелей спрашивать пристава, куда и зачем везут ее: она и сама догадывалась о цели этой поездки.

Карета въехала во двор богатого барского дома, предназначенного не для отдачи в наем под жильцов, но для широкого житья на большую ногу одного только аристократического семейства, и остановилась у маленького, непарадного подъезда, в одном из уголков образцово чистого двора, куда указал извозчику ливрейный лакей в красном камзоле и

коричневых штиблетах.

Подымаясь по узенькой, изящно витой мраморной лестнице, Бероева сообразила, что ей, по-видимому, предстоит свидание с самим Шадурским, в его собственной отдельной квартире. Это посещение, по заранее данному распоряжению Хлебонасущенского, было обставлено всею возможною келейностью, чтобы не подать о нем ни малейшей догадки случайным, посторонним людям, которые, пожалуй, могли бы еще перетолковать его как-нибудь не в пользу обитателей барского дома, — потому этих обитателей неприятно коробило при одной уже мысли, что дом их будет посещен «полицией» и что «с этой полицией» придется формальное дело иметь.

Сердце Бероевой медленно, но упруго колотилось в груди с судорожным захватом дыхания, при мысли, что через минуту она станет с глазу на глаз с человеком, который был первым и наиболее тяжким виновником всех ее несчастий, разрушивших ее тихий семейный очаг, ее мир душевный, и которого она ненавидела всеми силами своей души, презирая так, как только может презирать кровно

оскорбленная честная женщина.

«Что-то будет?.. Как-то встретимся?.. Чем-то кончится это свидание?..» — смутно думала она, с трудом поднимаясь на лестницу, потому что ноги не слушались ее и, дрожа, подкашивались на каждой ступени.

Городовой остался в прихожей, а Полиевкт Харлампович вместе с княгиней Татьяной Львовной встретили прибывших в гостиной молодого князя. Хлебонасущенский был официально-серьезен и в высшей степени спокоен, княгиня — бледна и сильно взволнована. Скользя беглым и холодным взглядом по привезенной арестантке, она с поклоном, полным аристократического достоинства и любезности, обратилась к следователю:

— Бога ради, будьте с ним как можно осторожнее!.. он так нервозен... Эта сцена произведет на него сильное впечатление... Доктор сейчас уехал и говорит, что опасность еще не миновала и может возвратиться... Au nom du ciel![297] Я умоляю вас!..

И при этих словах княгиня, с сокрушенным видом великой материнской горести, не без грации поднесла батистовый платок к

своим когда-то прекрасным глазам.

— Будьте покойны, сударыня, — коротко и сухо поклонился следователь в ответ на ее материнскую тираду.

Полиевкт Харлампович с величайшей осторожностью, будто в присутствии тяжело больного, на цыпочках пробрался за дверь смежной комнаты.

— Приготовьтесь, приехали! — шепнул он Шадурскому. — Да смотрите же, говорите так, как я вас учил, а иначе все дело пропало и вам не миновать уголовной палаты!.. Слышите?

Князь Владимир в ответ ему скорчил очень кислую гримасу и, махнув рукой, принял вид и положение тяжело больного.

— Пожалуйте, господа! а вы, матушка, ваше сиятельство, уйдите, удалитесь отсюда! — вполголоса проговорил Хлебонасущенский, высунувшись из-за двери, ведущей в спальню молодого князя.

— Господин Хлебонасущенский! Очный свод этот слишком важен для того, чтобы при нем мог присутствовать кто-либо посторонний, — обратился к нему следователь, не пе-

реступая еще порога княжеской опочивальни. — Потрудитесь выйти из комнаты его сиятельства и не входить туда, пока мы не кончим.

Княгиня, стоявшая позади всех, слегка побледнела при этом, но Хлебонасущенский наружно остался невозмутим.

— Если так угодно вам, господин пристав, — ответил он с ударением, с вежливой почтительностью сгибая свой корпус, — то я могу исполнить ваше желание, во... позвольте сообщить вам, что его сиятельство слишком еще слаб: с ним делаются беспрестанные обмороки; неравно еще случится что-нибудь — нужны ежеминутный присмотр и бдительность, а это свидание, того и гляди, не пройдет даром для его здоровья — таково, по крайней мере, убеждение доктора.

Члены прибывшей комиссии переглянулись между собою.

— Я бы попросил ее сиятельство княгиню присутствовать при этом, — продолжал Хлебонасущенский, сомнительно пожав плечами, — но... княгиня и без того уже так расстроена... ее печаль, ее слезы — все это еще

более подействует на нашего больного... При том же не думаю, чтобы мое присутствие в качестве домашнего человека, присматривающего за болящим, могло принести какой-нибудь ущерб для дела: я ведь не позволю себе вмешиваться в него ни единым словом.

— Можно послать на это время кого-либо из людей, хоть камердинера, что ли, — заметил следователь.

Хлебонасущенский в своей улыбке, соединенной с пожатием плеч, выразил и некоторое оскорбление и собственное достоинство.

— Мне кажется, господин пристав, я не подал вам поводов к подобному оскорбительному недоверию, — сухо заметил он, — впрочем, если опять-таки вам так угодно, то... конечно...

— Нет, бога ради! я ни на кого не полагаюсь, кроме его! — с некоторой стремительностью воскликнула княгиня, обращаясь к следователю. — Сын мой привык к нему с детства, он, как родной, ухаживает за ним во все время этой болезни... Бога ради!.. я умоляю вас, если только возможно... — и княгиня опять приложила платок к своим ресницам.

Пристав снова переглянулся со стряпчим. Этот последний незаметно махнул рукою и тихо проговорил:

— Пускай его!.. вреда ведь особенного не будет — в дело не позволим вмешаться.

— Итак, пожалуйста, господа!.. А вы, ваше сиятельство, все-таки удалитесь лучше отсюда: коли что случится, я уж прибегу, уведомя, — говорил Полиевкт Харлампиевич, вводя прибывших в княжескую спальню.

В этой спальне пахло уксусом и отсвечивало синеватым полумраком, который значительно скрадывал оттенки цвета и выражений лиц присутствовавших. Предусмотрительный Хлебонасущенский до приезда пристава предупредил княгиню, сам опустил оконные шторы и гардины и приказал — будто бы для освежения воздуха — окурить всю комнату уксусом, для чего собственноручно даже поливал его на раскаленные плитки, направляя с ним лакея в разные углы княжеской опочивальни. Словом, вся обстановка соответствовала как нельзя более положению трудно больного человека.

Письмоводитель поместился с походной

своей чернильницей и портфелем у туалетного столика, а Хлебонасущенский стал в ногах у князя, за спинами следователя, стряпчего и обвиненной, чтобы удобнее, в случае надобности, телеграфировать с ним глазами и маленькими жестами.

Князь приподнялся на подушке, причем сделал вид, будто это ему стоило тяжелого усилия; он избегал частых встреч со взорами следователя и в особенности Бероевой, говорил тихо, медленно, с частыми и тяжелыми переводами духа, так что Хлебонасущенский в глубине души своей весьма умилялся при виде этой удачно выполняемой роли.

Бероева почти уже не имела сил сама продолжать доводы и улики: она была слишком растерзана и пришиблена нравственно в одно это утро рядом предшествовавших очных ставок.

Шадурский казался очень взволнованным, голос его дрожал и порою совсем прерывался, причем Хлебонасущенский каждый раз очень заботливо обращался к нему с успокоительными замечаниями:

— Не волнуйтесь, князь... вам это вредно...

Конечно, такое страшное воспоминание, но... выпейте воды, успокойтесь.

И князь прихлебывал глотками воду из стакана и на время принимал вид более спокойный. Положение его, в самом деле, было трудное, щекотливое, потому что совесть немножко скребла за сердце при виде женщины, которую он топит ради спасения собственной репутации. Но князь утешался почему-то мыслью, что Хлебонасущенский, вероятно, и ей не даст совсем уж погибнуть, — что тут, как говорится, и волки будут сыты, и овцы целы, а потому на очной ставке его сиятельство собственноручно подтвердил, что обвинение, будто он был у генеральши фон Шпильце одновременно с Бероевой — ложь, что никогда и ни в какие отношения с Бероевой он не вступал и намерений к этому не выказывал, что видел ее не более двух раз: впервые на вечере у Шиншеева, где был даже представлен ей, но знакомства не продолжал, находя его для себя излишним; во второй же раз — в ресторане, во время внезапного покушения на его жизнь, когда он выразил сомнение в принадлежности ему какого-то неиз-

вестного ребенка, и теперь, со своей стороны, полагает, что эта женщина — сумасшедшая, почему, вероятно, и покушение было совершено ею в припадке умопомешательства. О жизни, занятиях и поведении Бероевой князь никаких сведений, по совершенному незнанию, сообщить не может и в маскараде ее не узнал; поехал же с нею ужинать потому, что, получив предварительно вызывающее анонимное письмо, находящееся ныне при деле, счел ее за обыкновенную искательницу приключений.

Таков был смысл этих показаний, после которых все присутствовавшие невольно нашли князя сильно усталым и взволнованным. Он в изнеможении опустил на подушку и даже застонал немного.

Хлебонасущенский с материнской заботливостью бросился подавать ему воды и запахивать одеяло. Бероева ничего не отвечала, но только посмотрела на князя взглядом столь тихим, пристальным и неотразимым, как суровая совесть, как последний приговор преступнику, что мнимо больного взаправду уж бросило в жар и озноб. Он не мог вынести

этих безмолвно карающих глаз опозоренной женщины и поспешил сомкнуть свои веки.

Минут восемь спустя, когда снова пришедший в себя князь с великим усилием подписал свои показания и очный свод, наемная карета с пятью экстраординарными посетителями ехала уже обратно в часть из княжеского дома.

XXIV

ЗАБОТЫ КНЯГИНИ О СУДЬБЕ БЕРОЕВОЙ И ЕЕ БЛАГОЧЕСТИВЫЕ ПОБУЖДЕНИЯ

Княгиня пошла навстречу Хлебонасущенскому.

— Радуйтесь, матушка, ваше сиятельство, радуйтесь! — вприпрыжку возвестил он ей, потирая ладони, — теперь уже делу конец, и богу слава! чистенько вышло, чистенько!.. больше уж не будут тревожить их сиятельство, и, значит, этак через неделку они могут благополучно отправиться за границу, для поправленья в здоровье своем... Так-то-с, матушка, так-то-с!.. Поливект Хлебонасущен-

ский — уладил.

В тех экстренных случаях, когда княжеское семейство ощущало настоятельную нужду в великом юристе и практике, Полиевкт Харлампиевич, чувствуя силу свою — что без него, значит, ничего не поделаешь, — всегда позволял себе на это время некоторую холуйственно-игривую фамильярность в разговоре и обращении с Шадурскими; но все-таки эта фамильярность не превышала пределов известной почтительности. Словом, это была фамильярность молодого пуделька, которого ласкают за поноску, а впрочем, и поколотить могут — и пуделек, про себя, очень хорошо это понимает и чувствует...

— Скажите, пожалуйста, кто эта несчастная женщина? — осведомилась княгиня, почувствовав сострадание к Бероевой.

— А ничего-с! как есть ничего! — с нагло-паяснической ухмылкой мотнул головой Хлебонасущенский.

— Бедная!.. Мне очень жаль ее, — продолжала соболезновать княгиня, — она так несчастна... горя у нее столько в лице...

— Ничего, пройдет-с!.. «Кто горя не пытал,

Тот жизнью не живал», — сказал один стихотворец.

— Скажите, что же с ней теперь сделают?

— На Конную повезут.

— Куда? — с удивлением переспросила княгиня, не понявшая этого выражения.

— На Конную площадь, Рождественской части, 2-го квартала, где ихнего брата обыкновенно публичному позору предают, — пояснил великий юрист, которого все еще не покидало светлое настроение духа по поводу удачного окончания «малоприятной истории».

Слабонервную княгиню не шутя покорило от этого объяснения дальнейшей перспективы, какая предстояла Бероевой.

— Нет, это уж слишком!.. — быстро воскликнула она, в волнении поднявшись с кресла. — Это наказание ведь все-таки будет связано с нашим именем!.. Я не хочу этого, положительно не хочу!.. Да и для нее тоже слишком жестоко... Она и без того наказана...

— Хе, хе, хе!.. Сострадательное сердце иметь изволите, матушка! — и Хлебонасуценский, при сей okazji отправил в обе

ноздри добрую понюшку душистого табаку, слегка отвернувшись бочком от княгини. — А вы не тревожьте себя понапрасну, — продолжал он, отряхая пальцы, — мы ее сумасшедшею сделаем!

— Как сумасшедшею? — пуще прежнего изменилась княгиня.

— А так-с, как обыкновенно бывают сумасшедшие.

— Я не понимаю вас, мой милый...

— Хе, хе, хе!.. Оно точно что, — хитрая штука, ваше сиятельство; ну, да ведь на то мозги у человека. Я уж эту удочку успел закинуть в показаниях его сиятельства князя Владимира Дмитриевича. Внушил-с! внушил то есть, что покушение и все это прочее, так сказать, сделано в потемнении рассудка, что Бероева, значит, сумасшедшая и оттого понапрасну оговаривает себя и других в противозаконной связи и в ребенке каком-то... Это, значит, ей все в мечтах представлялось, а она за действительность принимает... С таким моим взглядом и медицинское показание доктора Катцеля отчасти согласуется.

Княгиня слушала великого юриста с воз-

растающим изумлением и любопытством.

— А если эта женщина в здравом рассудке? — возразила она.

— Ну, так что ж, что в здравом? Ну, и пускай ее на здоровье!.. Мы в этом ей не препятствуем!.. С богом!

— Так как же сумасшедшею ее после этого сделать?

— А уж у нас на то мастера есть такие... Через освидетельствование обыкновенно это делается; ну, и медики при сем случае тоже... Да это уж пустячное дело, статья третьестепенная!

— И что же потом с нею сделают?

— Обыкновенно что — в сумасшедший дом посадят, лечить будут...

— Но это ужасно! — как бы про себя заметила княгиня, с содроганием, нервно шевельнув плечами.

— Ничего тут ужасного нету, ваше сиятельство, — невозмутимо возразил Хлебонасущенский, — что ж такое? Там очень хорошо содержат, и притом даже очень благородные люди сидят... гимнастикой развлекают их, чтение, музыка даже... пицца хорошая и все

такое — в отменном виде содержатся!.. А ежели супруг пожелает взять ее к себе обратно, то и в этом ему препятствия не окажется: можно будет устроить так. Это даже, я нахожу, прекрасный исход всему делу! — заключил Полиевкт Харлампиевич, — потому — иначе ее репутация сильно пострадала бы, да и в ссылку еще отправили бы, с семейством навеки разлучили бы, а теперь это дело будет и для нас, и для нее безобидно: и закон утолчен, и граждане помилованы. Так-то-с!

На княгиню, однако, эта картина благоденствия в сумасшедшем доме мало произвела утешительного действия. Она сидела, погружаясь в серьезную задумчивость. Из рассказа Хлебонасущенского и из признаний, вынужденных ею у сына, она знала почти вполне настоящую историю, в том виде, как происходило дело в действительности и как извратили его на следствии. С настоящего же часа, после того как сама увидела убитую горем Береву, ей стало жаль эту женщину: голос совести мучительно заговорил в душе княгини, борясь с чувством страха за честь ее сына и ее фамилии. Ей сильно бы хотелось теперь сде-

дать что-нибудь хорошее для Бероевой, чтобы облегчить ее дальнейшую судьбу и тем успокоить внутреннего червяка, который с этой минуты стал сосать ее сердце.

Хлебонасущенский по-своему объяснил себе это тяжелое раздумье.

— Вы, матушка, уж об их сиятельстве не извольте больше беспокоиться, говорю вам! — приступил он к новым утешениям. — Теперь, значит, делу этому дан самый правильный ход. А что если их сиятельство и пошалили маленько, — так ведь что ж с этим делать! — молодость, кровь у них горячая, не уходились еще... С кем грех не случался? Быль молодцу не укор, говорит пословица, а конь — о четырех ногах, да спотыкается; кто богу не грешен? Лишь бы перед царем быть чисту, а бог простит, понеже милосердию его несть конца — неисчерпаемый кладезь, учит нас премудрость... — Полиевкт Харлампович, вспомнив свою семинарскую старину, заговорил наконец в любимейшем своем высоконазидательном тоне. Но и этот поучительный тон не произвел на княгиню желаемого действия, и потому опытный практик тотчас

же сообразил, что время ему удалиться, так как ее сиятельство не чувствует больше охоты предаваться с ним дальнейшим измышлениям и разговорам. Крякнув раза два в руку и по обыкновению обдернув борты фрака, он посеменил на месте и взялся за шляпу.

— Позвольте пожелать полного успокоения, — проговорил он уже более почтительным, официальным тоном, — а мне пора-с... Надо тут еще кой-какие колеса подмазать у бабки-голландки и у прочих.

Полиевкт Харлампиевич откланялся и удалился. Вслед за ним поднялась и княгиня. Отдав приказание никого не принимать, она медленно и задумчиво прошла в свою образную.

Опустясь там в готическое кресло, обитое темно-зеленым бархатом, княгиня долгое время бессознательно как-то созерцала блуждающим взором дубовые резные стены этой маленькой молельни и ее темно-зеленые бархатные драпировки, отделанные золотой бахромой и кистями, в византийско-русском вкусе; потом наудачу раскрыла богато переплетенное евангелие и стала читать.

Чтение это благотворно подействовало на впечатлительные нервы Татьяны Львовны, так что она опустилась на колени и стала молиться перед изящнейшим дубовым киотом, где теплилась день и ночь хрустальная неугасимая лампада перед рядами больших и малых образов, сверкавших золотыми ризами, яхонтом, рубином, алмазами и унизанных прошивными нитями старого жемчуга. У благочестивой владелицы этой маленькой изящной молельни были соединены в одной и той же комнате самые разнообразные предметы христианского поклонения: древний фамильный тельник с мощами и тончайшей работы католические мраморные мадонки, приобретенные ею в Риме и Неаполе, которые прихотливая фантазия княгини поместила о-бок с темными ликами старосудальского православного письма, в богатейших старинных окладах; дорогие иерусалимские четки обвивались вокруг заздравной московской просфоры, а один из великолепных экземпляров французских библий был украшен скромным восковым херувимом и засохшею лозою, которые хранились тут с прошлогодней верб-

ной недели. Княгиня долго молилась и усердно клала земные поклоны. Вскоре глаза ее увлажнились слезами.

Случайно напав сегодня на изречение о любви к врагам и прощении ненавидящих нас, она тепло молилась за Бероеву, за облегчение ее горя и судьбы, а еще более того молилась и благодарила за чудесное избавление от смерти ее сына и, затем, паче чудесное избавление его от пятна гражданского и позора уголовного.

В голове княгини рядом со скорбными помыслами об арестованной женщине сияла теперь отрадная мысль: «Наша фамильная честь спасена, наше имя не запятнано!»

Молитва немного утешила и облегчила ее душу. Княгиня, вместе с тем, приняла твердое намерение облегчить и судьбу Бероевой, даже избавить ее от грядущей суровой развязки, даже помочь ей материально и нравственно, по мере своих сил и возможности. Как, и когда, и посредством чего должны произойти это облегчение, избавление и помощь — княгиня не могла еще сообразить и отчетливо представить себе ни в деталях,

ни даже в главных чертах, но только была твердо и тепло уверена, что все это впоследствии непременно и притом очень скоро. И такое убеждение, успокоив сосущего ее червячка, более всего способствовало облегчению ее сердца и утешительному успокоению духа. Поднявшись с колен, она подошла к зеркалу — оправиться и поглядеться. Капли слез оставили грязноватые следы своих потеков на очень тонкой и дорогой штукатурке ее физиономии. Вследствие этого тотчас же ощутилась безотлагательная надобность в благодетельной помощи белил и прочих молодящих косметик, почему просветленная духом княгиня немедленно же и удалилась, на весь уже нынешний день, из своей уютной и располагающей к религиозному настроению молельни.

XXV

ПРИЕЗД БЕРОЕВА

Егор Егорович Бероев еще в Москве, почти накануне своего отъезда в Петербург, прослышал темные, нескладные вести о каком-то романическом убийстве, сделанном будто бы какою-то дамою в маскараде; говорили, что эта дама имела продолжительную связь с каким-то аристократом и убила его из ревности и т.д. На этот мотив разыгрывались дальнейшие вариации, в подобном же роде. На железной дороге, за Чудовской уже станцией, он снова и совершенно случайно наткнулся на тот же самый рассказ, только в форме более упрощенной и ближе подходящей к действительности. Во время трехминутной остановки на одной из станций промежуточных, когда еще спали все пассажиры в вагоне, Бероев услышал, что упоминали его фамилию, называя женщину, сделавшую убийство. Он поневоле оглянулся. Говорили два гвардейские офицера — драгун и гусар. Один рассказывал другому, как новость, полученную им из

письма, об их общем знакомом князе Шадурском.

— Кто же эта маска? — спрашивал другой.

— Какая-то Бероева... дама замужняя... Говорят, удивительно хороша собою.

— Ну, а муж-то что же?

— Да его нет в Петербурге... Вероятно, раньше еще разошлись.

— Странное обстоятельство!

— Действительно, очень странное.

Но страннее всего оно показалось неволь-но слушавшему Егору Егоровичу, так как до-вольно громкий разговор этот происходил непосредственно за его спиною. Что-то острое болезненно ударило его в сердце после этих случайно пойманных на лету фраз... Берое-ва... очень хороша собою... отсутствие му-жа — обстоятельства, довольно близко подхо-дящие к нему и его жене. Притом же он знал, что есть на свете некто князь Шадурский и что этот субъект был даже случайно как-то представлен Юлии Николаевне на вечере у Шиншеева. Но — связь любовная, убийство и его жена — все это так не ладило между со-бою, представляя такие диаметрально про-

тивоположные понятия, что ему сделалось стыдно, больно и досадно на самого себя за эту возможность минутного сближения, которое пробежало в его голове. «Странная случайность, совпадение фамилии — не более», — подумал он и постарался рассеяться. Но какое-то летучее, беспокойное ощущение, нечто похожее на темное, неясное предчувствие, время от времени врывалось непрощенным в его душу и начало копошиться в мозгу. Он тотчас же с негодованием старался отгонять его; но чуть только поезд подошел к дебаркадеру петербургской станции, им овладело какое-то нервное нетерпение: с лихорадочной поспешностью выпрыгнул он из вагона, торопливо схватил свой чемодан, проклиная медленность багажных приставников, и, уже не помня себя от мучительно жадного нетерпения — увидеть наконец свой угол, жену и детей, приказал извозчику гнать что есть мочи в Большую Подъяческую. Чем ближе подвигался он к этой улице, тем больше усиливались его лихорадка и тревожное колоченье сердца и ощущения, которым под конец уж он поддался безотчетно, будучи не в

силах совладать с ними. Чуть не вывихнув ручку дверного звонка, переступил он порог своей квартиры, и первое, что представилось ему, — испуганно-встревоженное, растерявшееся лицо курносой девушки Груши, — показалось ему вестником чего-то недоброго.

— Где жена? Что дети? — спросил он голосом, который вдруг как-то застрял у него в горле.

Груша — показалось ему — очень смутилась и неопределенно ответила: «там», — мотнув головою на внутренние покои.

Стремительно бросился он в женину комнату. Пусто... Он в детскую — двое ребятишек с радостным криком повисли у него на шее. Тут только, после первой ошеломляющей минуты свидания, заметил он, что глаза детей заплаканы и даже красновато припухли от продолжительных слез, а личики осунулись и побледнели как-то. Жарко обнимая детей и ничего еще не успев различить, кроме них, в этой комнате, Бероев, однако, инстинктивно чувствовал, что в ней никого больше нет, и мгновенно, желая удостовериться, точно ли это так, не обманули ли его глаза, окинул взором

ром всю детскую, но видит опять-таки — нет жены. Мучительная тревога усилилась.

— А где же мама? — пытливо обратился он к обоим.

Дети горько, не по-детски как-то, заплакали.

— Что с вами, детки? о чем вы? чего вы плачете?

— Мамы нет, — едва смогли они ответить, всхлипывая от обильно подступивших рыданий.

— Как нет?! Да где же она?..

— Не знаем...

У него опустились руки и помутилось в глазах.

«Боже мой... да неужели ж это правда?» — подумалось ему.

В дверях появилась и стала в отупелой нерешительности смущенная и бледная Груша. На добродушных глазах ее тоже виднелись капли.

— Аграфена, что все это значит?

Та и совсем уж расплакалась. Дети, увидя это, пуще ударились в слезы и обхватили руки и колени отца.

— Где Юлия Николаевна?.. Ну, что же ты молчишь?.. Отвечай же мне, бога ради! Не мучьте вы меня!..

— Да как и сказать-то — не знаю... Нет их...

— Ушла она куда, что ли?.. Давно ее нет?

— Больше недели уже...

— Так где же она? Говорила вам что-нибудь, как уезжала отсюда?

— Ничего не сказали, а только в часу девятом вечера стали одеваться! Я им платье черное шелковое достала, мантилью тоже... Они пока детей спать уложили и приказали ждать к часу ночи... Только не вернулись... На третий день дворник объявку в часть подал, а в части сказали, что барыня не пропали, а что там уже знают, где они находятся... А как и что? — про то мы неизвестны... Меня тоже звали в часть... спрашивали, только все постороннее, а про дело ихнее ничего не спросили... и не сказывали мне...

Этими словами для Бероева уже все было сказано. Голову его словно какой раскаленный обруч железный охватил кругом и сжимал своими жгучими тисками: «Значит, правда... значит, все это так, все это было...» Коле-

ни его сами собой подогнулись, как у приговоренного к смерти, когда палач взводит его на ступеньки эшафота, и он в каком-то бессмысленном, тупом оцепенении опустился на детскую кроватку, ничего не чувствуя и ничего больше не видя пред собою. Испуганные и затихшие дети со страхом и недоумением глядели на него во все глаза, прижавшись в стороне друг к дружке и не понимая, что это значит, что стало вдруг с их отцом. А он между тем сидел неподвижно, ни на что не глядя, ничего не замечая; наконец, словно бы проснувшись после тяжелого сна, с усилием провел по лицу рукою, осмотрелся и, весь разбитый, пошел вон из дому, не сказав никому ни слова.

XXVI ПЕТЛЯ

После очной ставки с Шадурским Бероева снова очутилась в своем затхлом и тесном карцере. Пока впереди для нее еще мелькала кой-какая смутная надежда на добрый исход, она старалась поддерживать в себе слабеющую бодрость. Теперь же надежда исчезла окончательно, а с нею вместе исчез и остаток этой бодрости. Едва лишь миновала первая, деревянно-ошеломляющая минута последнего удара, нанесенного последним свиданием с Шадурским, едва лишь снова охватили ее четыре голые стены секретного номера, — перед ее глазами со всей осязательной отчетливостью раскрылся весь ужас ее положения, вся грозная сторона будущей развязки: приговор суда, признающий в ней убийцу, публичный позор, эшафот, Сибирь и вечная разлука со всем, что так заветно и дорого ее сердцу...

Ничто не действует столь пагубно на мозг и душу человеческую, как одиночное заключение: притупляя рассудочные и нравствен-

ные силы, оно до чрезвычайности развивает воображение за счет всех других способностей, и притом развивает в самую мрачную, болезненную сторону. Все и вся начинает казаться ужасным, темным, гиперболическим — и человек безотчетно поддается самой последней степени безысходного отчаяния. Это такое положение, с которым никакая пытка не сравнится.

Бероева долго лежала на своей убогой кровати, а в голове ее, среди какого-то звона, шума и бесконечного хаоса, всплывали, тонули и снова выныряли, развертываясь во всей беспощадной наготе, самые тяжелые картины и образы. Она ни о чем не думала, ничего больше не соображала, потому что совсем лишилась даже возможности мыслить; а эти картины и образы как-то сами собою, без всякой воли с ее стороны, как нечто внешнее, постороннее, вставали пред ее нравственным взором и проносились бесконечной, хаотической вереницей.

И это длилось целые сутки. Если бы у нее было зеркало, то, поглядевшись в него, она, наверное, не узнала бы себя и с ужасом отско-

чила, словно бы вместо своего лица ей показалось чье-нибудь другое. От бровей, поперек лба прорезалась у нее суровая складка; широко раскрывшиеся, безжизненно-тусклые глаза ушли глубоко в глазные впадины, скулы осунулись, а в длинной, роскошной косе сильно засеребрились седые нити, и волосы стали падать с каждым днем все больше и больше. Тюрьма разрушала здоровье и красоту женщины, разрушала и душу живую.

Она не плакала, только веки ее были сухо воспалены и ощущалась в них резь, если сомкнуть их или внезапно посмотреть на свет. Да тут и не могло быть места слезам, которые, как бы то ни было, но все-таки облегчают и даже освежают душу, а это глухое отчаяние сушит и давит все в человеческом организме.

Полицейский приставник два раза входил, по обязанности, в ее номер: приносил обедать и потом поставил и зажег ночник, каждый раз, по обыкновению, кидая ей мимоходом два-три слова. Но Бероева не понимала, что и о чем говорит он ей, даже почти не расслышала ни слов, ни шагов его, потому что все звуки сливались теперь в ее ушах в какой-то

смутный, безразличный шум. Погруженная в омут обуявших ее образов, она почти и не различала даже присутствия постороннего человека в своей комнате. Можно бы было подумать, что это не женщина, а какое-то существо из другого мира, либо покончившее все расчеты с землею, либо никогда и не имевшее с нею ничего общего.

Среди ночи нагорелая светильня в истощившемся шкалике начала трещать, помигала с минуту умирающими вспышками, затем отделился от нее кверху последний синий огонек — и в карцере мгновенно разлилась непроницаемая, густая темнота вместе с горьковатым смрадом дымящейся копоты.

В эту самую ночь, еще в блаженном неведении, муж Бероевой на всех парах мчался к Петербургу.

Арестантка не спала. Целый день и всю ночь затем, до этой минуты, она почти неподвижно лежала в одном и том же положении. Но теперь, вместе с могильною темнотою, когда фантазия еще ярче стала рисовать образы сирот-детей и мужа, разлуку с ними и палача на эшафоте среди Конной площади, меж гу-

стой толпы равнодушно любопытных зрителей, ею овладела мутящая тоска, а вместе с тоскою мелькнул и слабый проблеск какого-то сознания.

«Нет, могила лучше... не будешь мучиться, позора не увидишь... лучше, лучше, лучше...»

И, вместе с этою мыслью, Бероева торопливо опустила руку в карман, достала носовой платок и села на постели.

В мрачном и сосредоточенном спокойствии свертела она из платка жгут, накинула его себе на шею и, завязав под горло узел, медленно, но сильно стала затягивать его обеими руками.

Однако операция эта не удалась: она была мучительна, но не привела к счастливой цели, так как в ослабевшей руке Бероевой не оказалось теперь настолько силы, чтобы можно было удобно задушиться.

Но раз напавши на мысль о самоубийстве, Бероева уже не покидала ее. В этой мысли для нее являлся единственный выход из своего положения, и она твердо решила покончить с собою.

Надо было только придумать легчайший

способ. Но за этим дело не стало. Бероева нашла, что повеситься будет, кажись, всего удобнее: надобно только дожждаться свету, чтобы высмотреть, нет ли где в окне или у печной заслонки подходящего зацепа, который бы выдержал тяжесть ее тела. А пока, чтобы не терять даром времени, она в темноте принялась за работу: прогрызая зубами подол своего шелкового платья, отрывала кайму за каймою и из этого материала старательно сплела себе веревку, то и дело пробуя, крепко ли связаны узелки на ней.

Часа через два работа была кончена, поэтому, тщательно запихав себе за лиф импровизированную веревку, Бероева стала несколько спокойнее, как человек, определивший себе окончательную цель, и только ждала желанного рассвета.

Но с рассветом по коридору заходили полицейские солдаты, — того и гляди, приставник или подчасок в форточку заглянет и дверь отомкнет, — время, стало быть, неудобное, придется обождать, пока угомонятся, пока арестантский день войдет в свою обычную колею.

И точно, приставник не заставил долго ждать своего обычного утреннего визита в форточке. Заметив сквозь нее на арестантке изорванное платье, он отпер ее дверь и подозрительным оком окинул всю комнату. В подобных случаях у бывалых полицейских, по опыту, иногда развито чутье удивительное.

Бероева притворилась спящей. Солдат постоял над нею, поглядел на ободранные полы платья, заглянул под кровать, под тюфяком и под подушкой без церемонии пошарил рукою и решил про себя, что дело, мол, неспроста. «Надо приглядывать почаще, чтоб чего еще не скуролесила над собою, а то ведь своей спиной отдуваться придется, коли эдак за нее да взбучку зададут». И приняв таковое решение, солдат удалился из номера.

Час спустя коридорная деятельность полицейских утомилась. Все затихло, не слышать ни говору, ни шагов — удобная минута наступила.

Арестантка внимательно стала оглядывать комнату — нигде нет подходящего крючка или гвоздя; в окне только выдается головка железной задвижки; окно высоко — в рост

человеческий — не достанешь; но та беда, что как раз против дверной форточки приходится. Не смущаясь этим, она затянула петлю, вскочила на стол уже закреплять у оконной задвижки свободный конец своей веревки, как вдруг дверь быстро распахнулась, и полицейский приставник ухватил ее за руку.

— Эге-ге, барынька!.. Дело-то не тово... Зачем на стол влезла?.. Что это в руках?.. Петля?.. Э-э, вон оно что!.. Гусенок! А Гусенок! Подь-ка, позови их благородие, дежурного, скажи, мол: приключение!

Подчасок побежал было за дежурным, но в конце коридора остановился и вытянулся в струнку: дежурный самолично входил сюда, вместе с другим, «партикулярным» человеком.

— Приключение, ваше благородие!

— Какое?

— Не могу знать, ваше благородие!

— Куда ж ты бежал?

— Доложить вашему благородию, что, мол, так и так — приключение.

Поровнявшись с полурастворенной дверью Бероевой, дежурный указал на нее свое-

му спутнику:

— Здесь.

— Ваше благородие! Пожалуйста сюда поскорее! Отойти никак не могу: приключение! — в свою очередь кричал дежурному приставник изнутри номера.

Бероева уже стояла на полу, когда в дверях остановились два посетителя. Солдат, не отпуская, держал ее за руку, на том основании, что «неровен час, затылком, а либо лбом об стену с неудачи хватится, потому примеры-то бывали». Арестантка же, словно бы не понимая, что около нее творится, стояла, глубоко потупив глаза и голову: две неудачи еще упорнее разожгли теперь ее мономаническое искание смерти.

— Что здесь? — лаконически спросил, войдя в номер, дежурный.

Приставник еще лаконичнее, молча, указал ему пальцем на окно, с которого спускалась приготовленная петля.

— Вас желает видеть... супруг ваш... сегодня приехал только, — наклонился к Бероевой дежурный.

Та подняла глаза и отступила в величай-

шем изумлении. Она не чувствовала в себе смелости ни броситься к нему на шею, как бы сделала это прежде, ни даже сказать ему что-либо, и потому, как будто подсудимая в ожидании решения своей судьбы, снова стала перед ним, потупив взоры и опустив голову.

Дежурный вышел из комнаты и мигнул за собою приставнику.

— Притвори-ка дверь да стань у форточки, пусть их одни поговорят там, — распорядился он в коридоре.

Бероев, оставшись с глазу на глаз с женою, подошел к ней, кротко взял за руку, поднял ее голову и тихо поцеловал беззвучным, долгим и любящим поцелуем.

Это движение сделало в ней переворот и мгновенно вызвало к жизни все существо ее: она не одна теперь, она не потеряла еще любви человека, которому раз навсегда отдала свою душу, и, зарыдав, с невыразимым, но тихим стоном, опустила на грудь к нему свою горемычную голову.

Прошла минута какого-то жгуче-радостного и жгуче-тоскливого забытья.

Наконец она нервно и словно бы испуган-

но отшатнулась и спешно отвела от себя его руки.

— Нет, стой... отойди, не прикасайся ко мне! — заговорила она через силу, глухим, рыдающим голосом: ей было больно, тяжело отталкивать от себя любимого человека, тяжело расстаться с этим тоскливо-радостным забытием на его груди, однако она пересилила себя. — Не прикасайся... Скажи мне прежде, ты веришь в меня? — говорила она, ожидая и боясь его ответа. Этим ответом порешалось ее нравственное быть или не быть — судьба ее нравственного и даже физического существования: коль верит, так не страшна дальнейшая судьба, какова б она ни была, не верит — смерть, и смерть как можно скорее.

— К чему этот вопрос? Ведь я с тобою, ведь я люблю тебя! — сказал Бероев, снова простирая к ней свои руки.

— Нет! Это не то. Мне не того от тебя надо! — снова отшатнулась она. — Мало ли что любят на свете!.. Любят, так и прощают, а меня прощать не в чем. Ты мне скажи одно: веруешь ли ты в меня, как прежде веровал, или

нет?

— Да! — открыто и честно подтвердил Бероев.

— Спасибо... спасибо тебе! — тихо вымолвила она, сжимая его руку и снова бросилась на шею, как за минуту перед тем, и долго и сильно рыдала. Но это уже было благодатное, спасительное рыдание, в котором разрешалась вся черствая засуха безнадежного отчаяния, накопившегося в груди этой женщины.

— Ну, теперь слушай! — проговорила она с тяжело вырвавшимся судорожным вздохом, после того как успела вволю наплакаться.

— Я знаю, я уже все знаю! — прервал ее Бероев. — Мне все уже рассказал следователь и показал все дело.

— Это еще не все. Ты знаешь дело, да души-то моей не знаешь пока, перестрадала да передумала-то я сколько — вот чего ты не знаешь!.. Да, боже мой, как и рассказать-то все это! — говорила она, хватаясь за голову, словно бы для того, чтобы собрать и удержать свои мысли. — Я и сама хорошенько не понимаю, как оно случилось, и не знаю, как и что это они сделали тогда со мною!.. Но... вот ви-

дишь ли, — продолжала она, кротко и ласково, с бесконечной любовью смотря в его глаза, — теперь вот, после того, как ты сказал, что веруешь в меня по-прежнему, — я виновата перед тобою... Прости меня!.. Я виновата тем, что скрыла от тебя, что раньше не сказала, тогда бы ничего этого не было... Я усомнилась в твоей вере... Прости меня!

И она, с новыми слезами, покрыла его руки долгими, любящими поцелуями.

— Зачем ты скрыла от меня? — тихо, но без укора и любовно прошептал Бероев, склоня к ее щеке свою голову.

Арестантка горько усмехнулась; но эта горечь относилась у нее не к вопросу мужа, а единственно лишь к самой себе: это был укор, который внутренне она делала себе за свои прежние сомнения и недоверие.

— Боялась, — ответила она вслед за своей горькой улыбкой, — и за себя, и за ребенка, и за счастье наше, за веру твою боялась. Прости, но... что ж с этим делать теперь? Выслушай меня!

И Бероева слезами и любовью вылила перед ним всю свою душу, все те сомнения и

страхи, которые со времени беременности и до последних дней неотступно терзали ее; рассказала все дело, насколько она помнила и понимала его, — и перед Бероевым со всею осязательностью внутреннего, глубокого убеждения встала теперь ее безусловная чистота, неповинность и то эгоистическое, но высокое чувство любви, которое побудило ее скрыть от него всю эту историю и ее последствия.

— И вот — видишь ли, до чего было довело меня все это! — закончила она, указав на висевшую на стене и не сорванную еще петлю.

Бероев при виде этой петли ясно почувствовал, как от внутреннего ужаса холодом мураши у него по спине побежали.

— Пять минут позже — и всему бы конец! — смутно прошептал он, под тем же впечатлением и даже со страхом каким-то покоясь на стену.

— Но теперь уже этого не будет! — с верой и увлечением глубокой любви прервала его арестантка. — Оправдают ли они меня или не оправдают — мне все-таки легче будет, чем до этой минуты. В Сибирь... Что ж, и в Сибирь

пойду, лишь бы ты да дети со мною! Там уж, даст бог, одни мы будем, там, может, губить некому будет! Хуже, чем тут, ведь уж едва ли где можно, а мне и здесь теперь ничего, я и с этим вот помирилась... Ты, мой милый, добрый, ты теперь со мною — больше мне нечего бояться!

XXVII ПРОЙДИ-СВЕТ

Бероев пришел сюда от следственного пристава, который разрешил ему свидание. Следствие было почти окончено, стало быть, препятствий видеться с арестанткой уже не имелось. Уличный холодок освежил его и придал бодрости, когда он вышел из своей квартиры на воздух. Он поехал в часть — узнать обстоятельно все дело; но в части не сообщили ничего положительного, а послали в другую, при которой содержалась арестантка и где производилось следствие. Пристав, с глазу на глаз, в своем кабинете рассказал ему все факты, имевшиеся у него в руках, и потребовал к себе из канцелярии самое дело.

Это обстоятельство весьма заинтересовало собою двух смышленных господ: доку-письмоводителя и того писца, который сообщил Хлебонасущенскому «справочку» об адресе акушерки и на руках у которого хранилось самое дело, так как он, по прямому своему званию и назначению, записывал показания свидетелей, очные своды и прочее. Одно уже то, что Бероев, прося доложить о себе приставу, назвал свою фамилию, показалось этим господам весьма интересным: «новый гусь — новый пух», — помыслили про себя оба и решились наблюдать: «В аккурат и по пункту, чтобы, мол, это значило и что из того произойдет?»

Доку-письмоводитель недаром называл себя жареным и пареным Пройди-светом. Он умел очень ловко принимать разные виды и образы, за что от почтенных сотоварищей и благоприятелей своих удостоился даже раз навсегда особого прозвания.

«Кузька Герасимов — э, брат, это не пес и не человек, это — оборотень, сущий оборотень!» — выражались о нем упомянутые сотоварищи, когда, бывало, соберутся все вкупе, в

каком-нибудь трактирчике, ради братственных прохождений по очищенной и путешествий по пунштам. «Кузька Герасимов — это такой человек, что просто — во!.. Кого хочешь проведет и выведет; в чернила по маковку окунется и сух выйдет, и чист — и еще, гляди, паче снега убелится. А уж как пристава своего закрутил — малина!.. Таким смиренством и чистотой перед ним форсит, что тот и по гроб жизни своей в том убеждении скончает, что Кузька Герасимов — воплощенная честность и добродетель!.. Так, брат, ловко прикидываться умеет!.. Тонко ведет дела свои, бестия, очень тонко! Пристав-то его молодо-зелено еще, к тому же из правоведских, а этот — орел-чиновник, ну, и, значит, знает подход! Кусай его, кто хочет, как орех на зубах — в три века не раскусишь, что он за человек есть, — столь это умеет тонко честностью своею прикидываться, потому — мозги!»

Действительно, мозги у жареного Пройди-света отличались каким-то особенным канцелярски-крючкотворным устройством и весьма тонкою сметливостью, которая собственно и помогала ему очень успешно

разыгрывать роли честного, добропорядочно-го, надежного и неподкупного чиновника в глазах тех, перед кем, по его соображениям, таковые роли надлежало разыгрывать.

Когда пристав так внезапно, во время кей-лейного разговора своего с Бероевым, потребовал к себе следственное дело о его жене, орел-чиновник собственноручно понес его в кабинет своего непосредственного патрона.

— Там просят справочку одну, — начал он, вручив приставу бумаги и называя одно из текущих дел, — оно, я знаю, у вас на столе находится... Позвольте мне переглядеть, я в зале на минутку присяду, чтобы не мешать вам... поищу там себе...

И, взяв со стола целую кипу бумаг, Пройди-свет удалился в смежную комнату, приперев, ради благовидности, и дверь слегка за собою. Близ этой двери он, как бы ненароком, поместился у столика и наострил уши: ладно, все как есть дочиста слышно, что говорится, а этого только ему и требовалось.

После трех часов, едва следователь кончил свои занятия и уехал куда-то, Кузьма Герасимович Герасимов, вместо того чтобы отпра-

ляться в недра семейства своего и садиться за мирную трапезу, махнул на извозчике к Полиевкту Харлампиевичу Хлебонасущенскому.

— Что скажете, батенька? Нет ли чего хорошенького? — озабоченно усадил его великий юрист и практик, прочтя на физиономии оборотня нечто такое, что ясно говорило, будто приход его неспроста и непременно заключает в себе какую-нибудь мерзопакостную закорючку.

— Да все помаленьку двигается... А вот — арестантка наша чуть не повесилась нынче, — пробурчал тот сквозь зубы, напуская на себя соответственную мрачность.

Физиономия Хлебонасущенского изобразила вопрос и холодное удивление.

— Однако не совсем ведь, чтобы уж до смерти? — присовокупил он.

— Помешали, — сообщил письмоводитель, — вовремя захватили, потому — в этот самый момент к ней муж приехал... И я вам скажу, тонкая-с иголка, муж-то ее, может, еще и другой какой оборот в деле выйдет.

— А вы разве слышали что? — с живым интересом перебил Хлебонасущенский.

— Нет-с... я только так, между прочим, — уклонился Пройди-свет, крикнув в руку и со-зерцая карниз потолка.

Но великий практик сразу уже ронял, что дело тут вовсе не «так» и не «между прочим», а что Пройди-свет только фальшивые траншеи ведет, потому — душа его некоторого елею жаждет и требует необходимой смазки.

— Славная у вас квартирка! — снова крикнув, начал оборотень.

— Н-да-с, квартирка так себе, ничего, живет понемножку.

— Отменная-с... Ведь это, поди-ко, даровая у вас, по положению следует в княжеском доме?

— По положению... А что?

— Нет, я только так это... к тому веду речь свою, что необыкновенное счастье в наше-то трудное время казенной квартирой заручиться.

— А у вас разве не казенная?

— Пользовался прежде, но семейство меня удручает: каждый год почти приращение... Ну, и темновато стало, на вольную пришлось перебираться... А уж это что за житье на воль-

ной! Звания того не стоящее... К тому ж и жалованье наше маленькое... Трудновато жить, по нынешнему-то времени, трудновато-с!..

— А вы бы частных занятий каких-нибудь искали себе! — в виде благого совета попытался увильнуть Хлебонасущенский.

— Хм!.. Помилуйте-с! Какие уж тут частные! И служебных — по горло, сами изволите знать... Трудно, очень трудно... Просил было онамедни займы у одного денежного человека, да нет, не дает!.. Говорит, безденежье всеобщее... Ну, оно конечно...

— Займы?.. — как бы бессознательно повторил Хлебонасущенский, глядя ему в переносицу, и затем приостановился. — А ведь это можно устроить, пожалуй! — присовокупил он вдруг, приняв вид самого родственного участия к Пройди-свету.

Тот быстро вскинул на него свои взглядывые глаза.

— Вы полагаете?

— Полагаю... Это я с большим удовольствием мог бы устроить для вас.

— То есть как же оно?.. тово...

— А из собственного источника... Впослед-

ствии, бог даст, сочтемся как-нибудь... Не так ли?

— Оно конечно... и я... тово... чувствительнейше благодарен...

За сим наступило приятное, но немножко неловкое молчание.

— Так позвольте, мы уклонились несколько от предмета беседы: вы, кажись, про мужа что-то говорили?

— Так-с. Приезжал он нынче к следственному о деле справляться, и — я вам доложу — отменно принят был в кабинете, очень образованный и даже, надо полагать, ученый человек, сведениями обладает, ну, и... разговор был-с. Наш-то говорит ему: «По моему, говорит, внутреннему убеждению, она невинна, она защищалась от насилия». Это насчет князя-с. «А только тут, говорит, дьявольская интрига, надо полагать, подведена под нее; я, говорит, имею основание думать, что подводит интригу-то князь Шадурский, то есть собственно господин Хлебонасущенский». Вот оно что-с! «Я, говорит, пытался всячески устранить его, да ничего не поделаешь, пока нет у нас ясных фактов и доказательств, пото-

му — теперь сила у них и в руках и свыше: только нахлобучку за этого барина получил, будто за пристрастные мои действия против князя, да и дело отнять хотели для передачи другому лицу, и никаких, говорит, резонансов моих во внимание не взяли». Вот оно как-с! «Я, говорит, все силы употреблял — и все ничего! Давайте, говорит, вместе действовать, ищите, разыскивайте, помогайте мне, может, что и окажется». И, кажись, у этого Бероева в руках какие-то нити... Горяченько хочет приняться за пружинки, горяченько-с...

Лицо Хлебонасущенского немножко вытянулось. «А, чем черти не шутят?» — подумал он в эту минуту и решился принять свои меры, какие, по соображениям, окажутся нужными.

Кузьма Герасимыч, по относительной маловажности своего сообщения, получил только «серенькую[298] займы» и забожился, что буде окажется нечто, то уведомит, не медля ни минуты.

И точно, в тот же самый день, часов около шести вечера, Полиевкт Харлампиевич получил от него уведомление весьма важного

свойства, которое заставило уже не шутя вытянуться его физиономию.

XXVIII

НАДЕЖДА ЕЩЕ НЕ ПОТЕРЯНА

Успокоив и утешив, насколько хватило силы и умения, свою жену, Бероев вышел из ее номера с невыразимой болью и злостью в душе. Часа два беседы с нею помогли окрепнуть несокрушимому уже теперь убеждению в том, что она от начала до конца послужила неповинною жертвою — сперва гнусной прихоти князя Шадурского, а потом — еще более гнусной его трусости и подлой, подпольной интриги. Височные жилы и глаза его наливались кровью, грудь высоко и тяжело подымалась от судорожного дыхания, и ногти невольно впивались в ладони крепко сжатых кулаков, когда он сходил с лестницы полицейского ареста. Вся злоба, ненависть и жажда мести, какие только могут существовать в сердце человека, кипели у него против Шадурского. Но в то же время воспоминание о петле, которую так неожиданно увидел он на

стене карцера своей жены, это лицо, изможденное глубоким страданием, эти поседевшие в столь короткое время волосы и наконец та скорбь и отчаяние, которые звучали в каждом слове ее рассказа, надрывали его сердце болью и жалостью, почувствовать какие может только безгранично любящий, близкий человек. Эта скорбь говорила ему, что нечего терять ни минуты времени, что надо действовать и спасать — как можно скорее спасти ее отсюда, пока еще уцелели в ней жизнь и рассудок.

Не составив себе никакого определенного плана о том, какие принять теперь меры и как именно начать действовать — он как-то наобум поехал прямо к акушерке. Но посещение это вышло вполне неудачно. Ни мольбы, ни угрозы — ничто не заставило ее признаться в истине дела. Кулак-баба тотчас же сообщила, во-первых, что с этого барина взятки гладки, тогда как Хлебонасущенский уже дал, да и еще дать обещался, а, во-вторых, изменение показания пахнет теперь тюрьмою, если чем не похуже, так как ребенок скраден, а за это, да еще за ложное свидетельство, она са-

ма становится участницей уголовного дела. Вследствие таких соображений она, как и перед приставом, заперлась во всем, очень сухо отвечала Бероеву, плакалась, что ее, неповинную и темную женщину, хотят, бог знает почему, запутать в какое-то скверное дело, и наконец, без дальних церемоний, настоятельно стала требовать, чтобы Бероев тотчас же вышел вон из ее квартиры.

Делать было нечего, надежда лопнула, исхода не видать — и Бероев совсем упал духом.

Выйдя от нее на двор, он чувствовал, как у него подкашивались ноги, как закружило и одурманило голову... Ему сделалось дурно... С трудом дотащился он до подворотни и, в изнеможении и отчаянии, опустив на руки свою голову, оперся ими об стену. Иначе он бы не выдержал и упал бы на месте.

Дворник, который до той минуты, сидя на приворотной деревянной тумбе, флегматически покачивал ногою в лад какой-то песне, что мурлыкал себе под нос, обернулся и поглядел на него с изумлением.

«Что за притча такая?.. Некогда, кажись бы, надрызгаться... Шел к бабке-голланке со-

всем, как быть надо, тверезый человек, а вышел — словно три полштофа сразу хватил... Пойтить поглядеть нешто?»

И он, разглядывая, неторопливо подошел к Бероеву.

— Эй, сударь!.. нехорошо... с утра-то!.. Право, нехорошо. Ну, что стоять-то так?.. Ступайте-ка лучше... пойдём я провожу — извозчика кликну... Потом — не резонт. Э-э!.. Да он никак болен!.. А я думал — пьян, — сообразил он, заглянув в побледневшее лицо Бероева. — Эй, барин... слышьте, что с вами? Больны вы?.. Ась?.. Воды бы испить, что ли... Пойдем, сведу в дворницкую, передохните чуточку, а здесь — нехорошо... Народ ходит.

И, подхватив больного под руку, он осторожно спустился с ним в свою «дворницкую», низенькая дверь которой выглядывала тут же, в подворотне.

Выпив стакан воды, Бероев пришел в себя.

— Надо быть, разговор какой у вас вышел, — принялся толковать с ним дворник, — это, что ни на есть, сволочь последняя — эта самая бабка-голланка. В Христов день с проздравкой придешь — гривенник, сука, отва-

лит, а больше и не жди... Вот в полицию теперь таскают — там, надо быть, в портмуне-то заглянуть ей...

Бероеву явилась внезапная мысль.

— Послушай, брат, — начал он, — не замечал ты, месяца три с небольшим назад, была ли у нее одна женщина... родить к ней приезжала, и жила потом несколько дней?

— Да здесь их много приходит к ней... Это случается. А какая такая женщина из себя-то?

Бероев как можно подробнее и понятнее старался описать ему приметы своей жены.

Дворник раздумался.

— М-да... этта, помнится, кажись, что была... Как же, как же, помню!.. Точно что, приезжала и родила тут... мальчика, сказывали, родила... Она и опосля того приезжала сюда сколько-то разов... Это я теперичи доподлинно вспомнил.

— Где теперь этот ребенок?

— Да у ей, у бабки же должон быть, там оставлен... Она этим делом занимается, воспитывает тоже.

— Его нет теперь там... Верно, отдала куда-нибудь... Ты не знаешь?

— Не знаю, может, и отдала... у них всяко случается!

— Он с неделю назад еще был тут — это я знаю положительно.

— С неделю?.. Пстой-ка, брат... с неделю...

Дворник потупился и снова стал припоминать. У Бероева чуть дух в груди не захватило от ожидания и надежды.

— С неделю... Н-да, точно... Теперь вот, помню... оно и в самом деле, не больше как ден шесть минуло. Стою я этта часу в шестом у ворот, а девка ейная вышла с младенцем — на руках у ей младенец в салопе завернут был. А я еще шутем окликнул ее: «Куда, мол, несет те нелегкая с дитем-то?» — А она ухмыляется: «Гулять, — говорит, — иду». Постояла малость, поглазела так на стороны, да и пошла. А потом через сколько-то времени вернулась, только уж одна, без ребенка. Я себе и подумал: «Верно, снесла куда ни на есть, аль, может, у родителей оставила».

— И этого ребенка ты точно не видел?

— Не видел, точно не видел... Да и зачем? Мне оно ровно что ни к чему.

— А не помнишь, он один в то время был у

нее на воспитании?

— Кажись, что один... Другого-то не чуть было, а по крику надо бы слышать; ну и видишь иной раз тоже, как воду аль дрова принесешь. А видал-то я раз два эдак случаем, точно — одного только.

— И вот в эту неделю его там не было?

— Надо быть, и в самом деле не было, потому, коли бывают у нее эти самые робятки на спитании, так с ними завсегда девка эта ей-ная водится, а все эти дни, кажись, не при деле она: так себе, попусту валандается.

По мере этих расспросов лицо Бероева прояснилось: надежда еще есть — спасение возможно. Это придало ему новую бодрость.

— Ты не заметил ли, — продолжал он наводить на дальнейший след словоохотливого собеседника, — не приезжал сюда около этого же времени один господин, пожилой, небольшого роста, с бакенбардами?

И он постарался напомнить ему фигуру Хлебонасущенского, хотя и сам был знаком с этой фигурой только по рассказу следственного пристава.

Дворник опять потупился и стал сообра-

жать.

— Как же, как же... Три раза был... точно. Эге, да вот оно что! Теперь вспомнил! — внезапно воскликнул он, оживляясь глазами и улыбкой. — Впервой-то, помнится, приехал он на извозчике в тот самый раз, как девка дитю со двора унесла. После него, только что уехал, она чуть не следом и унесла — с полчас времени прошло опосля того, не больше. А потом он два раза на своих лошадях приезжал, парой — рыженькие еще эдакие лошадки, шведочки — хорошие лошадки! Не знаю уж для каких делов, а только точно что был; третёвадни последний раз этта приехал, и долго сидел; я еще к кучеру подошел: «Чьи, мол, такие лошади?» А он, пес, облаял: «Господские», — говорит. «А чьего господина?» — «Мово», — говорит. «А как зовут, мол?» — «Зовут, говорит, зовуткой, бабиной дудкой», да еще нехорошее слово такое ввернул, ляд его дери! А больше с того разу и не приезжал.

Бероев поразмыслил над этим фактом. День последнего приезда совпадал с кануном очной ставки акушерки с его женою. Очевидно, Хлебонасущенский учил ее, как и чем ули-

чать обвиненную.

— А перед этим разом когда еще приезжал, не упомнишь ли? — спросил он.

— Дня-то теперичи доподлинно не упомню, а только, кажись, в этот самый вечер, как бабке надо бы первую повестку получить, значит; этта позыв к приставу в часть. Я ведь и городского проводил к ней с повесткою-то. А после повестки, часа эдак через два, коли не поболе, и барин, значит, приехал, долго опять-таки сидел он тут; я ему потом и калитку отворял, как выпускал-то. Это так, верно будет, это я доподлинно помню.

Новое сообщение дворника опять-таки навело Бероева на мысль, что и это посещение неспроста сделано, а имело целью подготовить акушерку к первому допросу. Все эти факты — если бы дворник не отказался подтвердить их формальным образом, под присягой — могли бы иметь очень хорошее значение и повлиять на благоприятный исход для Бероевой. Заручившись так неожиданно столь важными и драгоценными сведениями, он откровенно высказал этому дворнику все свое горе, показал ему в довольно наглядных

чертах всю главную суть дела, затеянного важным барином против его жены, и дворник простым своим разумом понял, что дело это больно неладное. Видно, в словах Бероева звучало много искреннего и глубокого горя, которое само собою, помимо его воли, выливалось наружу, потому что рассказ этот, видимо, прошиб до самого сердца его собеседника.

— Ах они, ироды лютые! Да это что ж такое? да я первый хошь под присягу пойду, потому — могу улику налицо предоставить. Коли надо — я для этого дела непрочь, не отступлюся, значит. Верно! Так точно вы, сударь, теперчи начальству об эфтим самом объявку подайте, что Селифан, мол, Ковалев так и так, заявить, значит, может. И барыню-то вашу я в лицо признаю, коли покажут мне ее, да и господина-то энтого самого не позабыл еще: рожа-то, хоша и под вечер было дело, а памятна-таки, потому — что дворники, что извозчики — на это самое дело больно горазды, на рожу-то, значит, уж это служба наша, почитай, такая.

На прощанье Бероев, не разбирая, сунул дворнику в руку первую попавшуюся ассиг-

нацию, на которую тот поглядел с видимым замешательством, но не без внутреннего удовольствия.

— Это вы что же, сударь?.. Это уж лишнее... Я, значит, не для того, а по совести, как есть, так и говорю, а депозитку еще не за што бы пока жаловать вам...

Селифан немножко ломался, желая для виду и амбицию свою несколько показать.

— Ну, брат, бери! — откликнулся Бероев, взволнованный нетерпением и радостью неожиданной надежды. — Ты ведь мне точно гору какую с плеч свалил... Только спасай, бога ради! Поддержи меня! Покажи все, как знаешь, по правде!..

— Да уж насчет эфтих делов будьте без сумления, мы и без денег постоим... барин-то вы, вижу я, хороший — ну, и, значит, конец!.. Уж я энту сволочь, голланку-то, допеку, потому скареда ехидная: николи-то с нее, каков он гривенник есть — так и того-то, почитай, не увидишь, хошь бы в самый великий праздник Христов! А за депозитку, значит, коли уж вам охота такая, благодарствуем. Выпьем малость самую за вашу милость, дай бог здоро-

вья!..

И дворник с поклонами проводил его за ворота.

Бероев, прыгнув в санки первого случившегося извозчика, отправился немедленно в часть — передать приставу вновь собранные сведения и порадовать жену доброю надеждою. Он был слишком взволнован в эту минуту, которая казалась ему целым веком, от нетерпения разъяснить поскорей всю истину запутанного дела.

Дворник постоял у ворот, поглядел ему вслед, потом развернул ассигнацию.

— Иш ты — синяга![299] — не без удовольствия мотнул он головою. — Чудак, шальной барин-то какой, синягу, почитай, ни за что отвалил. Ну, да ведь и то — теперичи, значит, в часть меня тягать станут, от дела своо отбивать — так оно за труды ништобы. Да гляди, потом и сотнягу, может, отвалит, коли покажу, значит, как оно есть по совести — это, стало быть, на руку нам!.. Синяга!.. Эко дело какое! Надо быть, горе-то не свой брат... Пойти нешто в харчешку, хлебнуть малость за его здоровье... Право, пойти бы!.. Можно!..

И он, махнув рукою, весело зашагал по направлению к ближайшей харчевне.

XIX

ХЛЕБОНАСУЩЕНСКИЙ И КОМПАНИЯ ПОРЮТ ГОРЯЧКУ

*И — расприкрасная столица,
Славный город Питинбрюх;
Шел по Невскому пропхехту
Сам с перчаткой рассуждал! —*

Пошатываясь, выводил заливчатские нотки Пдворник Селифан Ковалев, возвращаясь к своим воротам из харчевни, около часу спустя по уходе Бероева.

У ворот повстречался он с Рахилью, которая шла из мелочной лавки с какими-то покупками в руках и остановилась, посмеиваясь на веселый вид захмелевшего Селифана.

— Ты чего это, песья дочка?.. а?.. Ты что? Для че бельмы-то вылущила на меня?.. Хмелен я? Ну, так что ж, что хмелен? Слаб человек, грешен человек — потому, значит, я пьян... А вам смешно?.. Вот погоди, завтра же вместе с голланкой твоей — обеих к Иесусу по-

тянут — так ты там зубы-то поскаль!

— Куда-а? — ухмыльнулась, прищурясь на него, Рахиль.

— А туда, где тебе Кузьмину тещу покажут да попотеть заставят — в часть, значит, к следственному. Аль забыла, как намедни звали?

— Зачем в часть? — недоверчиво спросила Рахиль.

— А там уж обозначится зачем!.. Там уж доведает, куда вы с голланкой ребенка-то скрали.

— Какого ребенка?

— А того, что барынька-то у вас на спитании оставила.

По лицу Рахили пробежало беспокойное облачко.

— Чего похмырилась?.. Аль не вкусно?.. Ась? — продолжал меж тем Селифан, загораживая ей дорогу. — Ты думаешь, вам оно с рук так и сойдет? Нет, брат, шалишь! Поперхнешься!.. Неповинного человека не моги заporочить! Правда-то божья выплывет!.. Вы думаете, там ваших делов никто и не знает? Ан, нет, врешь, шельма! — я знаю: Селифан

Ковалев и докажет значит!

— Что ты знаешь-то? Ну, что ты знаешь? пьяная твоя рожа, — беспокойно наступала на него Рахиль.

— А то и знаю, что у вас ребенок был, а теперь нетути, а ты его со двора снесла, а теперича перед следственным обе зарекаетесь: знать, мол, не знаем. А мне оно известно, я на вас, иродов-кровопивцев, и докажу начальству, потому — барин-то добрый — вона, синягу ни за што дал... а от вас, каков он гривеник есть — и того не жди!.. А я выпил, дай бог ему здоровья... и сам завтра с вами пойду... Вот оно что!..

Хмельной Селифан долго еще бормотал на эту тему, только уже сам с собою, потому что Рахиль после этих слов озабоченно и поспешно шмыгнула мимо его — поскорей сообщить своей барыне, что дворник, мол, болтает недоброе что-то.

У страха глаза велики. Акушерка, выслушав и раза три внимательно переспросив свою служанку во всей подробности — насколько та могла передать ей разговор свой, — очень встревожилась и немедленно

послала ее к дворнику, с поручением, чтобы тотчас залучить его к себе на квартиру. Ей хотелось самой разузнать от него, в чем дело, и задобрить какою-нибудь подачкой. Она высунулась в форточку — дворник бродил себе по двору и все еще бормотал про гривенник и синягу.

— Селифанушка! А Селифанушка! Подымись-ко сюда, голубчик!

— Для че вам?

— Надо... Подымись, я тебя чайком попою...

— Ладно! Теперича так и чайком, а то и гривенника николды не дождешься! Некогда ходить мне по чаям... Вот ужо в части повидаемся!

Маневр не удался. Кулак-баба спешно стала одеваться и, встревоженная, поскакала прямо к великому юристу и практику за надлежащими советами — потому, дело такое, что и ума не приложишь.

Едва успела она, запыхавшись, передать ему всю неясную суть полученного ею известия, которое немало-таки озадачило Полиевкта Харлампиевича, как вдруг туда явился

новый, неожиданный посетитель.

У Хлебонасущенского екнуло сердчишко чем-то нерадостным.

— Ну, что скажете, милейший мой Кузьма Герасимович?

— Нехорошо-с... дело тово... весьма экстраординарный оборот! — с внушительной важностью шевельнул бровями Пройди-свет-письмоводитель. — Позвольте объяснить конфиденциально-с?

Хлебонасущенский удалился с ним в кабинет.

— Оно, изволите видеть, дела у нас много... — начал ему рассказывать письмоводитель. — Я прихожу нынче в канцелярию после обеда, соснувши этак с часик. Позаняться надо было бумажонками там кой-какими спешными. Вдруг прилетает этта господчик — Бероев-то этот. Гляжу я, словно бы муха его укусила, себя не чует человек от полноты душевной. «Дома, говорит, господин пристав?» — «Уехавши». — «Скоро будет?» — «К ночи, говорю, надо полагать, вернется, а раньше едва ли. Да вам что, говорю, угодно? Ежели какая-нибудь экстренность по делам, то

либо написать ему потрудитесь, либо мне, говорю, сообщите для передачи, а мы уж немедленно же и зависящее распоряжение сделаем, коли это важная экстренность». Дал я ему тут письменную принадлежность, а он вот что-с изобразить изволил! Не угодно ли пробежать? — закричал Пройди-свет, вытаскивая из бокового кармана свернутый лист бумаги.

Хлебонасущенский поморщился и стал читать, сначала довольно хладнокровно, но потом руки его невольно дрогнули, и физиономия потеряла всякую приятность, ибо значительно вытянулась и побледнела.

Дело казалось нешуточное. Это было формальным образом изложенное письмо на имя пристава о всех обстоятельствах, узнанных Бероевым от дворника, где между прочим и о Полиевкте Харлампиевиче упоминалось.

— Что же вы теперь намерены делать? — слабо спросил он Пройди-света.

— В ихнюю часть телеграфировать будем, чтобы дворника этого назавтра к допросу представить.

— А нельзя ли как-нибудь сделать отвод этого свидетеля?

— М-м... трудновато-с, — призадумался письмоводитель, потирая палец о палец. — Приметы экипажа вашего явственно обозначены, а также и число посещений, — объяснил он. — Могли, значит, кроме его, еще и другие лица видеть — мелочной сиделец, например, — и ежели на повальном обыске окажется, что точно заприметили этих шведочек, то, я вам доложу-с, — для вашей амбиции мораль подозрительная может произойти. Притом же и вы тогда к следственному делу всенепременно будете притянуты. А эту самую персону, что в гостиной у вас теперь сидит, завтра же арестуют вместе с служанкой и по секретным упрячут. Может, и до сознания доведут; особливо, как ежели дворник уличать-то их станет.

Практик в сильном волнении зашагал по комнате: «Господи! Все было так хорошо устроилось, все ехало, как по маслу, можно сказать, к счастливому финалу приближались. Рубикон перешли, и вдруг — дворник какой-нибудь с этим ослом Бероевым все труды и усилия за один мах похерят. Оскорбительно!»

— Задержите телеграмму! — стремительно повернулся он к Пройди-свету, озаренный новой мыслью.

Тот замялся и, ничего не ответив, только за ухом почесал, с улыбкой весьма сомнительного качества.

— Непременно, во что бы то ни стало, задержите! — настойчиво приступил Полиевкт Харлампиевич, который в эту минуту не без основания сообразил, что в дальнейшем деле, при таковом его обороте, будет страдать уже его собственная шкура, не говоря об остальных, а в том числе и о шкуре князя Шадурского.

— Ну, нет-с, оно довольно затруднительно насчет приостановки! — вздохнул письмоводитель, словно бы после сытного обеда, во всю широкую грудь. — Боже борони, что-нибудь окажется — сам под суд попадешь, — продолжал он, — а у меня — жена да дети, и человек я, к тому же, недостаточный, как вам неизвестно: так мне-то оно не тово-с...

— Сколько вам надо? — решительно и без всякой уже церемонии спросил его Хлебонасущенский.

Тот замялся: очевидно, хотелось хватить цифру покрупнее.

— Вы уж лучше на этот счет сами извольте почувствовать и сообразить, сколько бы за такое дело можно положить, без обиды, по совести, — ответил он Полиевкту. — Вы мне, например, назначьте, а я, коли мало, скажу: «мало», а коли много, я — «много» скажу. Так мы это дело по чести, промежду себя, и обстроим.

Хлебонасущенский подумал.

— Радужную...[300] желаете? — предложил он.

Пройди-свет упер в него свои глаза, выражавшие очень ясно: «Гусь ты, братец, точно что гусь, да напал-то на лебедя!»

— Желаете? — повторил тот.

— Мало.

— А две — тоже мало?

— Всеконечно-с... Да уж коли сами спросили, стало быть, чувствуете, что мало!

— Ну, а три?

— Мало! — с сокрушенным вздохом опустил он глаза в землю.

— Ну, а четыре?

— М-м... почти что мало, к сожалению: дело рискованное...

— Пять?

— Это будет достаточно.

— Но я нахожу, что пять уже много.

— Взгляды, знаете ли, бывают различны, и мнения разноречивы, — это даже и в английском парламенте случается. А княжеская касса богата: ее пятьсот рублей на бедного человека не разорят, полагаю.

Хлебонасущенский согласился с этим аргументом и заплатил. Он сам очень хорошо знал, что последнее сообщение Пройди-света весьма и весьма-таки важно и стоит, пожалуй, даже побольше, чем пятьсот рублей, но не мог не поторговаться, потому таков уж обычай, такова натура. Условились — до утра скрыть бумагу от следственного пристава и, стало быть, отсылку вызова предоставить, обычно формальным образом, на его собственное благоусмотрение. По такому расчету времени у Хлебонасущенского все-таки осталось немного — даже менее суток; поэтому он немедленно отправился на генеральный совет к ее превосходительству Амалии Пота-

повне фон Шпильце. Обсудив дело, генеральша в ту же минутку послала за своим вечным фактотумом, Сашенькой-матушкой, мнимой теткой господина Зеленькова, которая по-прежнему продолжала проживать на своем скверном пепелище. Хлебонасущенский, однако, по своей предусмотрительности и осторожности, счел за лучшее уехать ранее прихода этой достойной особы, которой немедленно были сообщены, лично самой Амалией Потаповной, очень важные и секретные инструкции. Результат этих инструкций, равно как и общий результат чрезвычайного совета, читатель узнает непосредственно из глав последующих.

СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ ПОД НОВОЙ
КЛИЧКОЙ

Проснулся наутро Селифан Ковалев часу в пятом и долго сна своего не мог одолеть, к великому неудовольствию водовоза, который, стоя с своей бочкой у ворот, раз восемь уже принимался дергать за ручку дворницкого звонка. Первых четырех Селифан Ковалев и не почувствовал; пятый кое-как отдался в его ухе, на шестом он смутно подумал себе сквозь сон: «Надо быть, звонят», — и на этом вполне справедливом предположении снова было успокоился сном блаженного; но седьмой звонок привел его к сознательному подтверждению предшествовавшей мысли, что точно, мол, звонят.

— Коего черта несет там спозаранок?.. Встать, нешто, отомкнуть ворота, али еще соснуть малость? Пуцдай его звонится!

Наконец пронзительный звон в осьмой раз вполне уже заставил его проснуться. Вскочил Селифан с горячей лежанки, господа бога

мимоходом помянул бормотаньем, почесался, прочухался, и слышит — трещит его головушка, больно трещит: опохмелья, значит, требует.

Пошел он, по утреннему обыкновению, бо-сиком отворять ворота.

— Ты что, леший, не отпираешь? Инда кля-ча промерзла!

— Трещит, брат, тово...

— Шибко?

— Шибко... не приведи бог, то-ись...

— Зашибся, значит?

— Было дело, по малости...

— Опохмелиться надо...

— Это точно что...

— Пойдем?!

— Никак этого невозможно, потому — рано еще: в фартал надо сбегать в девять часов, панель тоже скребсти, дрова таскать... Опосля фарталу смахаю.

— Эвона, «фартал!»... Нешто, пуцай трещит башка до тех-то пор?

— Пуцай ее!!.

— Пройдет до девяти-то, буде тово хва-тишь!

— Никак нет, знаю я в себе эту ризолюцию: хуже, гляди, сделаешь; лучше, как ни на есть обождать; опосля хвачу.

— Ну, шут те дери! Орудуй сам по себе, коли так!

Селифан постоял-постоял, зевнул раз пяток на остром холодке — все-таки трещит окаянная. «Такая, значит, линия и такой предел, что ничего не поделаешь, окромя того, что опохмелиться человеку беспрерывно надо».

На этом он и порешил сам с собою.

Справил, как быть надо, всю свою должность дворницкую: воды да дров по жильцам натаскал, лестницы кое-где для виду подмахнул, панель поскреб и в квартале совершил обычно-утреннее посещение с книгой да с отметками — а все-таки трещит, проклятая, ничуть не желает затихнуть и похмельную чарку настойчиво требует: просто — моченьки нету, хоть ложись да помирай на месте.

Нечего делать, против линии не пойдешь, — и Селифан Ковалев спустился в преисподнюю ближайшей распивочной, хватил косушку, закусил капустой кислой и вышел с твердым намерением приняться за работу. И

точно, принялся — только горит его душа; как ни ретиво старается он грязно-ледяные глыбы с мостовой железным ломом скалывать, а она горит да горит и словно бы все подмывает его: «Не спуститься ли, мол, Селюшка?» — «Нишни, не балуй!» — строго выговаривает он самому себе, а душа и знать не хочет этих строгостей: «Ой, спустимся, Селюшка! ублажимся, голубчик!» Поддался Селифан на это лукаво-сладкое искушение, и перед обедом снова спустился и снова хватил. «Ведь вот каков человек я есть окаянный! — укоризненно мыслит он сам с собою. — И знаю, что не резонт, что коли побежишь по этой самой дорожке, так и удержу на тебя не будет, а не могу, потому — тянет... Лучше бы уж было не ходить и не пить совсем, чем так-то... Эх, грехи наши тяжкие. Слаб человек, прости господи!..»

Разобрало-таки Селифана, и чувствует он, что на взводе состоит и что целый день-деньской ему таким манером промаяться придется: тут и опять-таки ничего, значит, не поде-лаешь, потому линия...

Часу в четвертом, только что прилег было

Селифан Ковалев на свою лежанку задать доброго храпака и затем стряхнуть с себя всю эту блажь похмельную, над ухом его раздался звонок. Хожалый принес ему повестку — явиться назавтра к одиннадцати часам утра вскую часть к следственному приставу, и при сем удобном случае, заодно уж, для порядка ругнул его за пьяный образ, причем дал доброго подзатыльника, в качестве доброго начальника, и удалился с гражданским сознанием верно исполненного долга. После его ухода, едва Селифан опять успел себе сладко растянуться на своем нехитром ложе, раздался вдруг новый звонок. «Эк их расшатала нелегкая!.. Кого вам надо?»

У ворот стоял человек в бекеше с меховым воротником и нетерпеливо постукивал о сапог своей тросточкой.

— Какая здесь, любезный, квартера отдается? — спросил он.

— Да вам какую надо?

— Да ту вон, что у ворот билет наклеен.

— Та фатера — две комнаты и кухня с чуланом.

— А много ли ходит?

— Триста в год.

— Дорогонько... А покажи-ка ее.

— Сичас... Вы ступайте на ту вон лестницу, а я только ключи захвачу.

Господин в бекеше осмотрел квартиру и остался ею доволен.

— Хорошо. Я сегодня же переезжаю сюда, — сразу решил он на месте. — Ты уж, друг любезный, никому больше не показывай. На вот тебе задаток. Довольно будет три рубля?

— Очинно даже довольноно.

— Ну, и прекрасно. А это вот тебе для первого знакомства! — И господин сунул ему в руку рублевую ассигнацию.

Дворник заметил, что бумажник у него не пуст. «Надо быть, исправный жилец будет», — решил он про себя и пожелал осведомиться, как фамилия будущего постояльца.

Господин слегка замялся; но это было одно только мгновение, после которого он с предупредительной поспешностью ответил:

— Петров... Иван Иваныч Петров.

— Так-с. Чиновник-с, полагается?

— Нет... по торговой части — на коммерческой конторе служу.

Дворник поклонился и проводил с лестницы господина, который, спускаясь, повторил свое обещание переехать сегодня же, часу в седьмом вечера. «Потому — человек я холостой, одинокий, — объяснил он, — сборы у меня невелики — всего на один воз только хватит, так у меня дело недолгое, горячее дело».

И они расстались в ожидании переезда.

XXXI

БАЙКОВЫЙ ЛОЗУНГ

Часов около шести вечера, когда Селифан Ковалев ощущал по-прежнему еще некоторое приятное кружение в голове и неприятную трескотню в затылке, к воротам дома, хранимого его бдительностью, подъехал на простом ваньке давишний наниматель, а за ним, шагах в тридцати, остановился бойкий и сильный рысак одного из петербургских лихачей. Высокого роста, плотный человек, завернутый, что называется, по-старокупечески, в хорошую лисью шубу, быстро отстегнул богатую полость изящных, легких санок и, осторожно оглядываясь во все стороны, нетороп-

ливо пошел вслед за господином в бекеше, стараясь не упустить его из виду. Лихач, в некотором расстоянии, тоже подвигался за этим последним.

— Погода... — тихо и как бы сам с собою проговорил человек в лисьей шубе, проходя мимо господина в бекеше, который, разотчтясь со своим ванькой, в эту минуту дергал за ручку звонка.

— Пока серо[301] еще... — столь же тихо и тоже будто сам с собою промолвил господин в бекеше.

— Кажись, снег[302] будет...

— Нишни! Стырься, откачивай дале!

Лисья шуба, словно совсем посторонний прохожий, прошла вперед, и лихачьи санки за ней потянулись.

В воротах показался дворник.

— Кого вам? А, это вы, сударь?

— Я, братец, я... Квартира моя готова?

— Да что ей делается? Вестимо готова, стоит себе.

— Ну, это хорошо... Стало быть, я вот и переезжаю.

— А небиль-то ваша где же?

— А там еще... едет... при ней кухарка моя осталась с ломовиком — укладываются, а я вот вперед их проехал, чтобы встретить, значит...

— Так-с оно... Стало быть, проводить на фатеру прикажете?

— Нет, братец, что там в пустыре-то одному мне делать?.. Они ведь с возом придут не раньше, как через час еще, а мне вот холодно что-то... прозяб я малость — так как бы эдак-то во... чайку бы хватить, что ли?.. Нет ли здесь трактира поблизости?

— Как не быть! — Вот он, на перепутьи!

— А!.. Ну, так вот что, друг любезный! — необыкновенно ласково и задушевно обратилась бекеша к Селифану Ковалеву. — Я уж тебе поклонюсь — помоги ты хозяйство наверх перетащить, как воз-то приедет.

— Отчего же... Это мы завсегда, с нашим почтением... это очинно можно.

— Ну и прекрасно!.. За труды на чай получишь, а пока они там едут, сходи-ка ты мне в трактир да принеси чайку, а я пока в дворницкой у тебя, что ли, посижу, попьем да покалякаем малость промежду себя: ты мне про

соседей порасскажи — новому жильцу ведь все это надо знать, сам ты понимаешь. Смахай-ко! На вот и деньги.

— Да мне недосуг... — никак невозможно от ворот отлучиться, — замялся дворник.

— Ну вот вздор какой!.. Толкуй про ольховую дудку! Отлучиться!.. Ведь не на целый вечер, а всего-то на пять минут. Махай! Я, брат, человек негордый, простой, из мещанства тоже, и своим братом никак, значит, не гнушаюсь и не брезгаю. Как сдачу получишь, такхвати там себе осьмушку: разрешаю, значит! — добавил новый постоялец.

Дворник, с пьяных глаз, почесал задумчиво за ухом, улыбнулся при перспективе чайку и осьмушки и — слаб человек — не устоял против искушения.

Отправился. Высокий мужчина в лисьей шубе, все время внимательно следивший издали за действием бекеша, пошагал теперь на другую сторону улицы и продолжал оттуда свои наблюдения за шедшим Селифаном. Лихач меж тем оставался на прежнем месте.

Господин в бекеше выждал минуты две и тоже отправился вслед за дворником. Прохо-

дя мимо лихача, он промолвил: «Ясно», — и, вслед за этим словом, тот повернул своего коня на другую сторону, к человеку в лисьей шубе.

XXXII

«УТЕШИТЕЛЬНАЯ»

Бекеша вошла в дверь «ристарацыи» под фирмой «Македония».

— А я, брат, раздумал, — сказал он, подходя к Селифану, который стоял у буфета, в ожидании двух чайников — с кипятком и прелым трактирным настоем.

— Что ж так? — отозвался, повернувшись, дворник.

— Да так, вишь... пока что до чаю, водки рюмку захотелось: прозяб я больно. Ты еще не хватил?

— Не хватил пока.

— Ну, так вместе, значит. Эй, почтенный! две большие рюмки бальзаминчику иль померанчику — что у вас тут позабористей? — распорядилась бекеша к буфетчику. — Да вот что: тебя как зовут-то, братец?

— Крещен Селифантом.

— Ну так вот что, Селифанушка, — продолжал он, хватая вместе с дворником по огромной рюмке, от которой последнего, видимо, огорошило, — присядем-ко мы в той-от комнате, да побалуемся, по малости, чаями.

Тот раздумчиво прицмокнул языком.

— Не досуг бы мне это... неравно что по дому случится...

— Ой, чему там случиться! Ведь нам тут не час часовать — в один секунд будем готовы! — ублажала его бекеша. — Пойдем по пунштикам слегка продернем!.. Ну?.. Да и все ж оно в трактире не в пример антереснее, чем в дворницкой. Так ли?

«Пунштики» победили раздумье. Очень уж соблазнительны показались они Селифану.

— Пусти-ка, брат, машину — кадрель из русских песен — да изобрази нам два стакана пуншту позабористей! — распорядился господин в бекеше, приютившись с Селифаном у крайнего, угольного столика в смежной комнате.

Там и сям восседала обычная «публика»: извозчики с чайком да солдат с «душенькой»;

грязнец-чинушка из самых замотыжных: отставной сюртук с медными пуговками и красным воротником, да отдельная группа личностей, напоминавших своею внешностью и приемами гуляющих приказчиков из-под Щукина и купеческих артельщиков.

Машина еще не dokonчила своей «кадрилли из русских песен», а дворник Селифан с новым жильцом, опорожнив по стакану, едва лишь успели приняться за вторые, как в «Македонии» появился высокий плотный человек в лисьей шубе и, осмотревшись по сторонам, направился прямо к столику новых приятелей.

— Ба-ба-ба!.. Иван Иваныч! Дружище! Вот где встренулись!.. Ну, как живешь?.. Сем-ко, брат, и я к твоему столу примажусь. Эй, малец!.. Тащи-ко нам сюда бутылку лисабончику! Аль, может, ты Иван Иваныч, tenerифцу желаешь?

— Можно и лисабончику, и tenerифцу, — согласился Иван Иваныч. — Да ты, Лука Лукич, с чего это натуру-то свою изображаешь так?

— А мы ноне кутим, потому — мы ноне

подряд один с торгов за себя взяли.

Селифан поднялся, с намерением откланяться своему угощателю.

— Нет уж, друг, будем сидеть все вкупе! — удержала его за руку лисья шуба. — Это не модель таким манером девствовать, и ты, значит, компанства нам не рушь.

Селифан не нашелся, чем и как поперечить столь неожиданному и настойчивому заявлению нового гостя. Он грузно опустился на стул и принялся за стакан «лисабончику», который любезно преподнес к нему Лука Лукич, встав со своего места и, ради почету, примолвив: «Пожалуйте-с». Роспит был и лисабончик, распита и тенерифцу бутылочка промеж приятных разговоров. Купец казался сильно захмелевшим, но в сущности было совсем другое: глаза его, когда он мельком, исподтишка, значительно взглядывал на своего собеседника в бекеше, были совершенно ясны и трезвы.

Селифан поднялся было вторично, с намерением поблагодарить да и отправиться во свояси.

Лука Лукич встал перед ним, заградив до-

рогу, и с ухарски-сановитой повадкой распахнул свою шубу.

— Проси ты у меня, милый человек, чего только душа твоя пожелает, и Лука Лукич — моей матери сын — все это тебе с нижаяющим удовольствием предоставит. Хошь сладкой водки? Могу!.. Эй, малец! Сладкой водки французской графинчик предоставь на сей стол по эштафете! А, может, денег хошь? И денег могу, сколько потребуетца. На, получай, доставай себе сам из моего кредитного общества!

И он, выложив на стол замасленный толстый бумажник, усердно стал совать его под нос хмельному Селифану.

— Ты, говорю, получай на свой пай, сколько тебе потребуетца: в эфтим разе препятствия от нас нет! — продолжал он, напуская на себя размашистый экстаз широкой натуры. — Ты все, что хошь, то и бери за себя: только говорю, компанства не рушь, потому я из себя такой человек есть, что никак без этого мне невозможно — люблю!.. Уж как я, значит, загулял, да загулямши на компанию напал — последнюю нитку с себя спущу, лишь

бы эта самая компания пребывала со мною вкуче! Ты объявил мне: каков ты человек есть? звание твое и протчая?

— Двор... н-ник, — едва-едва смог пролепетать ему коснеющим языком Селифан Ковалев и опустил на ладони свою отяжелевшую голову.

Шуба с бекешей многозначительно переглянулись.

— Ну, дядя мой тоже в дворниках жил, — продолжал Лука Лукич, — стало быть, мы с тобою на одном солнышке онучи сушили. Верно! Ты — дворник, а я — подрядчик, и я, значит, желаю с тобою компанство иметь, потому: Лука Лукич — моей матери сын — ночью гуляет. Сторонись, душа! третья миралтейская скачет!

И с этими словами он ухарски опрокинул в глотку довольно крупную дозу спиртуозной жидкости и поставил стакан к себе на голову — ради очевидного доказательства, что в нем не осталось ни капли.

— Что здесь коптеть!.. — продолжал он, окинув глазами комнату. — Отдернем лучше на Крестовский, к Берке Свердлову в гости.

Ходит, что ли?

— Ходит! — охотно согласился Иван Иванович.

— Ну, а коли ходит, хватай его под руку! — скомандовал Лука Лукич, кивнув на угасшего Селифана, которого подхватили они вдвоем под мышки и поволокли из харчевни.

— Карчак! подкатывай! — свистнул высокий своему лихачу и усадил рядом с собою почти бесчувственного дворника.

Иван Иванович ловко вскочил на облучок — и добрый конь шибко тронулся с места.

Но вместо Крестовского острова компания очутилась близ Сенной площади, недалеко от устья большого и широкого проспекта. С одной стороны этого проспекта, вблизи названных мест, высится громадный домище с колоннами, нишами и широким балконом, над которым большая вывеска гласит, что в этом домище обретается просторная гостиница, а непосредственно под этой вывеской — другая, только более скромных размеров, извещает, что тут же имеется и «учебное заведение для девиц», так что желающий может, пожалуй, читать обе вывески разом, совокупя

их в одну. Но это не более как курьезная частности, о которой мы упомянули мимоходом и которая нисколько не касается сущности нашего рассказа. По другой стороне проспекта, немножко наискосок от этой гостиницы, несколько лет тому назад тянулся старый каменный забор, к которому с внутренней стороны примыкали ветхие деревянные пристройки, где помещались конюшни ломовиков и ванек-извозчиков. Так, по крайней мере, гласит изустное предание, хотя оно отнюдь не относится ко дням давно минувшим. Нашелся ловкий антрепренер, который воспользовался фасадом кирпичного забора, то есть значительною частью его, проделал в этом заборе целый ряд окошек и на развалинах конюшен воздвиг животрепещущее здание, чуть ли не из барочного леса, которому торжественно дал соответственное наименование. Это наименование в одно прекрасное утро возвестила окружному люду Сенной площади блистательная вывеска золотом по голубому полю, с изображением чайника и прочей трактирной принадлежности. С первых же дней существования новая харчевня

эта приобрела огромную популярность и образовала свою собственную публику, которая придала ей свое собственное неофициальное имя — «Утешительная». Так она с тех пор «Утешительною» и прозывается. О причинах такой популярности ее не трудно будет догадаться читателю, если он последует за двумя приятелями, которые, подкатив на своем лихаче к наружным, «показным» дверям этого «заведения», втащили туда и дворника Селифана. Здание это напоминает нечто вроде манежа: налево — ход в кабак, направо — длинная зала, освещенная газом и разделенная тонкими перегородками десятка на два чисто лошадиных стойл. Устройство этих перегородочных отделений вполне напоминает конюшню, даже общий проход посередине, во всю длину залы, еще более увеличивает такое сходство. В каждом стойле помещается кое-как сколоченный столишко с двумя деревянными скамьями; за каждым столишкой непременно восседают любезные дуо, трио, квартеты и т.д. Прямо же из главного, уличного входа открывается в глубину широкая, длинная и низкая постройка, тоже носящая

наименование «залы» и сплошь заставленная такими же столами и скамейками. Эта последняя зала является любимейшим пунктом обычных здешних посетителей: каждый вечер она буквально битком набита, так что вы с величайшим трудом должны продираться из конца в конец, буде только пожелаете вступить в это веселое отделение «Утешительной». А вступить туда можно не иначе, как заплатив гривенник за марку, которая, вместе с пропуском за решетку, дает посетителю право потребовать, за счет ее, чего-либо съедобного либо испиваемого, буде стоимость сих продуктов не превысит десяти копеек. Это отделение «Утешительной» вполне играет роль своеобразного *safe chantan* для обитателей Сенной, Вяземской лавры[303] и всех вообще примыкающих и близлежащих трущоб. В «Утешительной» удовлетворяется эстетическое чувство подпольного трущобного мира.

Пар, духота, в щели ветер дует, по стенам, в иных местах у краев этих самых щелей на палец снегу намерзло, а потолок — словно в горячей бане, весь, как есть, влажными кап-

лями унизан, которые время от времени преспокойно падают себе на голову посетителей, а не то в стаканы их пива или чашки чая, и вместе со всеми этими прелестями — чад из кухни, теснота и смрад, — нужды нет! И что за дело до всех этих неудобств! Лишь бы жару поддать песенникам! И вот народ, наваливаясь на спину и плечи одному, ломит массу в самый конец развеселой залы, где на особой эстраде, под визг кларнета и громаханье бубен, раздается любимая «Утешительная» песня:

*Полюбила я любовничка,
Полицейского чиновничка,
По головке его гладила,
Чертоплешину помадила.*

И публика выходит из себя от несдержимого восторга, ревет, рукоплещет и требует на сцену Ивана Родивоныча.

Быть может, вы помните еще этого приземистого костромича, который во время оно отхватывал песню «Ах, ерши, ерши!» в достолюбезном заведении того же имени. Много лет прошло с тех пор, а «коротконожка макарьевского притона» — как обзывают в сих ме-

стах Ивана Родивоныча — нисколько не изменился: все так же поет и пляшет, передергиваясь всем телом и ходуном ходя во всех суставах, только глаза как будто больше еще подслеповаты стали. Иван Родивоныч — поэт и юморист Малинника и «Утешительной». В наших труппах пользуется большою популярностью его песня:

*По чему можно признать
Енеральскую жену? —*

Песня, действительно, очень остроумная, особенно когда дело начинает касаться жены Протопоповой.

И вот, по требованию своей публики, Иван Родивоныч появляется на эстраде и отвешивает низкий поклон с грацией ученого медведя.

— Шаль!.. Черную шаль! — кричит ему публика.

Иван Родивоныч снова кланяется и запева-ет с уморительными ужимками:

*Гляжу я безумно на черную шаль
И хладную душу терзать печаль;
Когда лигковирен и молод я был,*

*Младую девицу я страшно любил.
Младая девчонка ласкала меня —
Одначе ж дожил я до черного дня*

—

— Когда, значит, полтора рубли шесть гривен в кармане осталось. Верно! — прерывает он самого себя в пояснение, а вслед за тем обращается к публике: — Полтора рубля шесть гривен — сколько составит?

Смех и молчание.

— Два рубля десять копеек — умные головы! — отвечает один за всех Родивоныч, и публика остается как нельзя более довольна объяснением.

— А как ты смекаешь, служивая голова, — вдруг обращается он к какому-нибудь солдатику из толпы, — почему это, сказывают бабы, быдто нас с тобой в крымску кампанью англичанин маненько пощипал?

Смех и ожидание ответа. Солдатик слегка конфузится.

— Потому это, друг любезный, так оно случилось, что у его ружья-то аглицкие, а у нас — казенные. Верно! А Христос тогдысь на горе Арарате глядел, как воруют в комиссариате. И

это верно.

Восторг толпы доходит до своего апогея.

А в это самое время ловкие карманники не теряют минуты и торопятся пустить в ход свое искусство, пока публика столь единодушно занята песнями развеселого хора «московских национальных певцов» да едким балагурством Ивана Родивоныча. Воруют уж тут без разбора: и у своих, и у чужих, и у брата родного, и вообще у кого придется, по половице — всем сестрам по серьгам, потому что толпа-то уж больно густа, да и минута удобная для практики в искусстве.

После песенников на эстраду вступает немецкий «бальный оркестр» из пяти-шести человек и исполняет этот оркестр «известнейшие и любимейшие публикой пьесы», как гласят о том обыкновенно маленькие серые афиши.

Но этих злополучных артистов, которые и много дерут и в рот хмельное берут, никто почти и слушать не хочет, ибо публика на сие время предпочитает стойла в зале направо. Там обыкновенно помещается бродячая лотерея — промышленник с корзинкой, напол-

ненной всяческой дрянью по части «галантерейных» безделушек.

— Латарея без проигрыша! билет по две копейки! — возглашает он монотонным речитативом, и публика тотчас же обступает «латарейщика», глядя, как кто-нибудь из охотников пытается свою фортуна. А в то время, точно так же как и при песнях, производится ловкая и незаметная охота на карманы.

Но публика почему-то мало обижается таковою охотою и, как ни в чем не бывало, продолжает усердно посещать концерты «Утешительной», которые часто устраиваются там же самою. Особенно в этом отношении замечателен один Жорж. Голос у него удивительный: высокий и очень симпатичный тенор. Как засядет этот «Жорж» к столу, да подопрет уныло голову ладонью, да как затянет русскую песню, нежно вибрируя и разливаясь голосом на верхних нотках, так толпа и потянется сразу к нему, обступит и слушает, слушает долго, внимательно, ни одного звука мимо ушей не уронит — и только тихие восклицания порою из массы вырываются: «Ай да ляд его дери! Лихо поет, распроединствен-

ный друг!» А приятели Жоржа певца тем часом не дремлют и производят старательные рекогносцировки в карманах заслушавшихся и увлеченных меломанов.

Лука Лукич с двумя сочленами своей компании направился непосредственно в «нумера» «Утешительной», не заглядывая в развеселую залу, и, как человек знакомый и бывалый, выбрал для себя одну из отдаленных и отдельных комнаток. Стол под грязной салфеткой, кривое зеркало, клоповный диван да грязная постель составляли убранство «нумера», в котором поместились вновь прибывшие посетители.

— Нутко, Сенюшка! предоставь-ка нам сюда бутылку самодуринского[304], — приятельски подмигнул половому Лука Лукич, незаметно передавая ему из руки в руку что-то завернутое в бумагу.

Сенюшка побежал исполнять приказание и минут через десять притащил на подносе откупоренную бутылку, по-видимому, хересу, вместе с тремя налитыми стаканами, которые он, ради почету и уважения, собственноручно поставил перед каждым из трех себе-

седников.

Беседа, впрочем, вязалась не особенно ладно и преимущественно шла со стороны Луки Лукича, заключааясь в сладких приставааниях к Селифану Ковалеву, чтобы тот «опрокинул», во здравие его, принесенный стаканчик.

Хмельной дворник с трудом наконец исполнил эту неотступную просьбу — и минут через пять бесчувственным пластом повалился на пол.

Два приятеля тотчас же перетащили его на постель. Иван Иваныч стал прислушиваться.

— Дышит? — спросил Лука.

Тот утвердительно кивнул головою.

— Стало быть, надо темную накрыть?[305]

— Надо.

— Щипанцами за горлец нешто? На храпок его взять?[306]

— Ни-ни... Знаки будут — дело мокрое.

— Ну, так мякотью дыхало принакроем [307].

— Это, пожалуй что, получше будет.

— Лады! По мне — все едино... Затягивай-ко, брат, песню да погромче: неравно очнется да заорет, либо барахтаться станет, все-

таки оно маленько посуше выйдет. А то гляди, как ни на есть, услышит из хозяев кто да прибежит, чего доброго, — тогда напляшешься! Поблажки, чай, не будет, ни за што соришь! На грех мастера нету!

Иван Иваныч откашлялся и громко затынул:

*Ах дербень, дербень Калуга,
Дербень Ладога моя!*

Лука Лукич тотчас же подхватил ему в голос баском, даже, подпевая, каблуками приотпнул, а сам меж тем положил пластом на постели бесчувственного Селифана и плотно накрыл подушкою его лицо. Он сел подле него, с полнейшим хладнокровием, словно бы исполняя какое-либо обыденное дело, осторожно надавливал подушку, стараясь, чтобы в легкие его не могла проникнуть ни малейшая струя воздуха.

По мере того как длилась эта операция, оба приятеля становились сосредоточеннее; Лука нажимал уже молча, вполне серьезно и озабоченно, «чтобы дело в аккурат пришлось», а лицо Ивана Иваныча все больше и больше

покрывалось томительной бледностью, голос дрожал и обрывался, так что ему с трудом приходилось пересиливать себя, чтобы допеть до конца «дела» свою песню, под аккомпанемент которой совершалось это тихое, оригинальное убийство. По выражению его глаз и по той дрожи, которая кривила мускулы его лица, видно было, что ему впервые еще приходится быть свидетелем и участником такого дела и что при виде этой систематически производимой насильственной смерти его пронимает невольный холод ужаса. Сидя у стола, он отвернулся от своего товарища и пел «дербень Калуга», заткнув уши и прикрыв лицо руками, чтобы не видеть этой страшной сцены и не услышать как-нибудь стоны их общей жертвы или ее последнего, глухого хрипенья в подушку. Ему было страшно при мысли, что человек умирает, умирает насильственной смертью — «без покаяния, сердечный, словно пес какой, — слава тебе господи, что хоть не от моей руки, что не я его покончил!» — думал он, боясь оглянуться на приятеля, для которого подобного рода профессия, очевидно, давно уже была делом при-

ВЫЧНЫМ.

Прошло минут семь. Селифан Ковалев сделал несколько бессознательных, конвульсивных движений и содроганий всем телом, но рука, державшая на его лице подушку, была тверда и безмилостна: через две-три минуты после этих конвульсий — на постели уже лежало безжизненное тело.

— Сварганено! — промолвил Лука, подымаясь с постели.

— Теперь, брат, берем его под руки, да и лататы[308] поживее...

На лицо покойного нахлобучили шапку и, подхватив его под мышки, поволокли на улицу, в качестве бесчувственно пьяного человека.

— Эка нализался, скот любезный! Как его теперича домой сволочишь?.. До бесчувствия, почитай... А тут еще — ишь на дворе завируха какая поднялася! Так и метет снежище! Ну, ползи же, что ль, чижало ведь тащить тебя! — приговаривал все время Лука Лукич, усаживая труп Селифана рядом с собою в лихачевские санки и бережно обхватывая его рукою. Иван Иванович поаккуратнее застегнул по-

лость, по-прежнему вскочил на облучок — и рысак стрелою помчался по улице, направляясь к набережной Большой Невы.

— Ух, ты!.. Фю-ю-ю!.. Кати-малина!.. Лихо!.. — кричали и гаркали оба приятеля, изображая собою гулящую братию, и когда они спустились на ледяную дорогу Большой Невы, до слуха полицейского солдата, что стоит на Гагаринском спуске, долго еще долетала песня:

*Как по Питерской, по Твер-
ской-ямской
По дороженьке...*

У Мытнинского перевоза поднялись на берег Петербургской стороны не трое, а двое живых седоков в санях лихача-извозчика.

XXXIII

ТЫРБАНКА СЛАМУ

Эти двое седоков немедленно же возвратились в тот самый номер «Утешительной», где за час было совершено убийство. К ним также присоединился теперь и лихач Карчак, который поставил своего коня на кормеж во дворе трактира.

— Оглядеть бы, братцы, исперва-то комнату хорошенько, чтобы потом как-нибудь низжайшей благодарности не оказали[309], — предложил Лука, снимая свою лисью шубу.

— Это ты в правиле, — согласился лихач, — «береженого и бог бережет», говорится.

— То-то! Однава был этта случай такой, что сварганили молодцы дело, — продолжал первый как бы для пущей убедительности в своем предложении, — и совсем бы, кажись, чисто сварганили, так что и концы в воду, да лих — комнату забыли углядеть, а в комнате-то комиссия опосля на розыске и найди две вещицы: галстух потемного[310] (родные сразу признали) да пуговку от пальта. Прикину-

ли эта пуговку-то на маза[311] — как раз, значит, к пальтишке евойному под остальные приходится, даже на место ее и новую-то, дурень, не догадался пристегнуть. Так от этой самой безделицы и дело все раскупорилось — ни за што сторел человек. Огляди-тко, Карчак, на постели да по полу пошарь!

Но Карчак и без того, сам по себе догадался сделать осмотр, еще по первой мысли об этой предосторожности.

— Чисто! — уведомил он, обшарив углы вместе с мебелью и подымаясь с пола.

— Ну, а коли чисто, значит, и за тырбанку [312] можно приняться. Вали-ко, брат Зеленьков, рыжую Сару на стол! Аль у тебя, поди-ко-сь, чай, все финажками?[313] *

— Финага — барская бабка[314], — заметил Иван Иванович, вынимая бумажник из кармана.

— То-то они, видно, от бар и достались тебе на дело, — подмигнул Лукич, ласкательно хлопывая по бумажнику.

— От крали[315]! — с самохвальной удалью мотнул он головой.

— Это для нас все едино, потому: мы — лю-

ди занятые: сварганили заказ твой чисто — значит и плати по стачке. Только ты ведь, брат, плутяга не последнего разбора — значит этта вор не нашего закалу — как раз, гляди, надуешь.

— Для чего ж ты мараль такую, ни за што, ни про што, на человека взводишь? Это бы уж и обидно, кажися! — оскорбился за себя Иван Иванович.

— Ну, обидно, не обидно — будь хоть по-твоему, — а только, брат, не взыщи, коли попросим тебя, по великатности нашей, разуться да платьишка дочиста перещупать. Ты не красная девушка, да и мы не молодухи, стало быть — не стыдись, душа, раздевайся живее!

— Да для чего ж это... конфуз такой?

— А для того, что мы ревизовать тебя желаем, не скрыл ли ты от нас малую толику деньжищек? Может, они у тебя на пальце где ни на есть у мозоля в тряпице, али в пальтишке за подкладкой прихоронены — почем знать!.. Может, тебе на дело больше было отпущено, а ты икономию в свой карман соблюл.

— Ну, уже это дело лишнее! — вступился

лихач. — По-моему — сколько было на стачке выговорено, столько и получай, а до остального какое нам дело? То уж его монета, значит; а этак-то, по-твоему, ни в одном хороводе спокон веку не делается, потому — оно не в правиле, и никакого закону нет на это.

— Закону... Я сам себе закон и воля! Нам ведь за экой клей[316], того гляди, сгореть придется, так хоть, по крайности, было бы за что! Твоего всего и дела-то — на рысаке прокатить, а я почти что руки окровавил. Это задача неровная. Ты ведь, поди-ко, ежели что у ключая касательство какое выйдет, так скажешь, что и знать, мол, ничего не знаю, стоял себе у панели на улице, а садил на себя троих, думамши, что они пьяного в бесчувствии волокут. — Так ли?

— Так-то так, это что говорить! На себя кто же охоч показывать? — согласился извозчик.

— Ну, так и молчи. А я, как ни на есть, пуще всех в ответе состою; значит, мне и тырбанкой распоряжаться. Разувайся-ко, Зеленьков! Нечего тут задаром бобы на печи разводить!

Зеленьков с большим неудовольствием ис-

полнил требование Лукича, потому — чувствовал себя в амбиции своей оскорбленным за столь явное недоверие. Сотоварищ его произвел самую внимательную рекогносцировку, перещупал все платье, пошарил внутри сапог и, наконец, после всех этих эволюций, пришел к убеждению, что затаенных денег у Зеленькова нигде не имеется.

Совершенная бесцеремонность в отношении к товарищам и полное презрение ко всяким хороудным обычаям и законам были всегда отличительными качествами Луки Лукича, по прозванию Летучего. Сам он не принадлежал исключительно ни к какому хороуду, хотя водил знакомство почти со всеми мошенниками и подчас не отказывался от общих дел с ними, если находил это удобным и выгодным для своей особы. Он был очень силен; прошедшее его отличалось великою темнотою; на лбу его при внимательном исследовании можно бы было набрести на след каторжных клейм, которые на щеках скрадывались черными волосами густо заросшей бороды. Поговаривали, будто Летучий сперва был военным дезертиром, за несколько убийств

наказан шпицрутенном и сослан в каторгу, откуда дважды бежал, и ныне разгуливает по белу свету в образе купца православного. Мелкие мошенники с ним не имели дел: они его побаивались и, показывая знаки великого уважения, старались все-таки держаться от него подальше в стороне, да и Лука Летучий относился к этой мелкой сошке с полнейшим презрением. «Уж если плавать, так плыви с большой рыбой — с Петром-осетром да с Матреной-белужиной, — говаривал он, — а эта мелкая сельдь нам не под пару: с нею лишь конфузом замараешься и только!» Но и крупные мазы недолюбливали Летучего за его наглую бесцеремонность и неуважение к обычным законам, почему и обзывали его за глаза «каинном» и «грабителем». Иван Иванович Зеленьков, получив свыше неперемное повеление — во что бы то ни стало, как можно скорей и ловче покончить дворника Селифана Ковалева — в первую минуту нашелся в страшнейшем затруднении касательно исполнения такого экстренного дела. Через мнимую тетюшку Александру Пахомовну ему было сообщено приказание отыскать и на-

нять надежных исполнителей, для чего тут же вручена и сумма на эти расходы, да заодно уж объявлено, чтобы за самого себя и за свою судьбу он не боялся, ибо на случай неприятных последствий найдется надежная сила, которая сумеет выпутать и отстоять его перед законом. Иван Иванович, заручившись последним обещанием, действительно, не очень-то опасался за свое будущее, ибо уже и в прежнее время, исполняя различные темные поручения свыше, неоднократно имел случай убедиться в чародейственном могуществе этой выручающей силы. Сашенька-матушка вместе со своим племянником составляли одно из самых надежных звеньев обширного министерства генеральши фон Шпильце. Итак, в первую минуту этот племянник нашелся в большом затруднении: как и кого половчее и понадежнее можно выбрать на такое рискованное дело? Но вскоре он успокоился, ибо сметливая сообразительность его натолкнула эти помыслы на Луку Летучего. Человек во всех статьях был подходящий, который за хорошие деньги не откажется по найму придушить кого-либо. Это бы-

ло тем удобнее, что у Летучего постоянно имелся надежный друг и сотоварищ — лихой извозчик Карчак, который обыкновенно сопровождал его во всех отчаянных экспедициях. Иван Иванович не ошибся в своих расчетах: торг был покончен в одной из квартир Летучего сразу, с первого объяснения, заручен задаточной радужной ассигнацией и запит надлежащим количеством крымской.

Теперь все дело заключалось в окончательной дележке.

Летучий развернул бумажник Зеленькова и вынул оттуда пачку ассигнаций.

— Четыреста семьдесят три рубля серебром, — возвестил он, аккуратно пересчитав эту толстую пачку, — двадцать семь рублей от пятисот, значит, замотырил? Проюрдонил [317], пес?!

— На расходы пошли, — оправдался Зеленьков.

— Ну, ин быть по-твоему! — махнул рукою Летучий. — Теперича, по стачке, мне следует триста; сто получил уже задаточных, стало быть, двести осталось. Давай их сюда! Тебе, Карчак, по уговору, капчук [318] идет, —

продолжал он, обращаясь к лихачу и переходя с ним на барышничий argot Конной площади, — загребай свое, да не нудь калыману [319] потому — больше ни кафи[320] не получишь! Сеньке-половому за самодуринские жирмабешь[321] положить придется, а то — коли меньше дать — обидится, да еще, гляди, часом, буфетчику здешнему либо другому кому изболтнет, что мы-де тут клей варили да слам тырбанили, а оно и пойдет этта лишний слух бродить по людям да скипидарцем попахивать[322], ведь это все шельма народ: веры в него нисколько нельзя иметь, а только одно и спасенье, коли глотку потуже заткнуть! Тебе, Зеленьков, по этому расчету, значит, остаточных сто сорок восемь рублей, приходится, — заключил он, вручив сотоварищу бумажник с его долею денег, — получай и провались отселе поскорей, потому — рыло твое очинно уж мне противно!

Иван Иванович со всею тщательностью запрятал свой бумажник и, не кивнув головою, тотчас же вышел из комнаты, окончательно уже оскорбленный последнею выходкою и пренебрежительным тоном Летучего. Иван

Иванович почитал себя человеком «амбиционным и великатым в обращении», потому и обиделся так скоро.

Летучий в ту же ночь беспутно спустил заработанные деньги.

XXXIV

НАКАНУНЕ ЕЩЕ ОДНОГО ДЕЛА НОВОГО И КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ДЕЛЕ ТОЛЬКО ЧТО ПОКОНЧЕННОМ

Было уже около полуночи, когда Иван Иванович Зеленьков поднялся по темной, грязной лестнице грязно-желтого дома в Средней Мещанской и постучался в дверь мнимой тетушки своей, Александры Пахомовны. Он был бледен, взволнован и вообще казался сильно расстроенным.

— Чего дрожишь-то? Или трусу празднуешь, по обнаковению?.. Ох, уж ты мне, горе-богатырь, храбрость несказанная! — оприветствовала Пахомовна своего жданого гостя. — Говори толком: покончили?

— Ох, матушка, покончить-то — покончили, да робость что-то больно берет меня... За-

пропащая теперь моя головушка...

— А ты не робей!

— Вам-то хорошо говорить: «не робей», а мне-то оно каково?.. Ни в жисть еще такого поручения у меня не бывало. Ведь я теперь — бубновый туз в кандалах[323].

— Да ведь я тебе русским языком толковала, что за свою шкуру бояться тебе нечего, кто б там ни был в ответе, а ты в стороне останешься! — вспылила на него Пахомовна.

— Да так-то оно так, а все ж... как вспомнишь этта, как он его, сердечного, подушкой принакрыл, да как мы его потом мертвого заместо пьяного поволокли, так столь это страшно становится, что вот — сами изволите видеть — как оно трясет меня теперича: ведь убить — не обокрасть, матушка, моей душе, значит, на том свете прямо в ад идти надобно.

— И без того угодил бы — это все единственно.

— Спервоначалу-то оно словно бы и ничего не чувствовал, никакого, значит, угрызения этого самого, — продолжал Иван Иванович, — а вот теперь, чем больше, час от часу

все хуже да страшнее становится: мутит меня, как вспомнишь, — все это перед глазами словно бы наяву представляется... Иду я к вам, примером взять, по лестнице поднимаюсь, а самому все чудится, будто покойник-то меня по пятам нагоняет.

— Это пройдет, — успокоила Сашенька-матушка, — это так только покамест — блажь одна с непривычки, невры эти расстроились.

— Нет-с, где уж пройдет! — горестно вздохнул Зеленьков. — Не пройдет, душа моя чувствует...

Сашенька-матушка презрительно скосила на него глаза.

— Что ж ты, небось, повесишься, или пойдешь да на самого себя доказывать станешь? — с явным недоверием и не без иронии спросила она.

— Да уж и право не знаю, как сказать-то вам... — затруднился тот, пожав плечами.

— Небойсь, брат! — возразила ему собеседница, вполне уверенным, положительным тоном, как человек, до тонкости знающий зеленьковскую натуру. — Небойсь, брат! Руки ты на себя не наложишь, потому — не хватит

тебя на это, опять же и начальству доказывать не пойдешь, потому — трус ты большой руки: спинущи своей пожалеешь, ведь уж я тебя знаю, как свои пять пальцев: так только, помалодушествуешь для близиру, а там и забудешь.

Зеленьков не возражал и сосредоточенно раздумывал о чем-то.

— А и запью же я теперь с горя! Ух, как запью! — словно бы сам с собою заговорил он через минуту, уныло качая головою. — То есть вот как!.. Ни в жисть еще так не пьянствовал, как теперь начну! Пущай хоть винищем залью это сумнение свое неотвязное.

— Ну, это статья иная, — согласилась Пахомовна, — только ты, брат, погоди — вином заниматься успеешь и опосля, а наперед надобно будет для ее превосходительства еще одно дельце состряпать.

— Чего там еще? Мало ей одной души, что ли? — с недоумением и досадой уставился он в нее глазами.

— Не о душе речь! Угомонись ты, храбрость подпечная!.. Дело такое, что одна ловкость да хитрость нужна, и только, и опять

же совсем насчет другой персоны касающее.

— Что ж такое?

— А вот завтра узнаешь: утро вечера мудреней, говорится; да мне и самой-то пока вполнину только известно, — ответила она. — Уж вот поутру в Морскую сбегаю, так и рецепт во всей подробности принесу. А теперь вались-ко спать себе. На вот подушку, дрыхни! Я, брат, тебя не выпущу — на ключ замкну, потому — ежели с цепи спустить, в кабак упорхнешь, а там тебя и с собаками не отыщешь! — заключила Сашенька-матушка, удаляясь за свои ширмы.

* * *

На следующее утро пристав совершенно напрасно ожидал к себе дворника Селифана для отобрания от него новых показаний: Селифан Ковалев, конечно, лишен уже был возможности явиться, сам по себе, куда-либо. Следователь написал новый вызов, на который через день получил ответ, что подлежащее лицо пропало, мол, без вести. Эта пропая без вести, независимо от дела Бероевой, немедленно же вызвала розыски местной власти, в непосредственном ведении которой

состоял пропавший как дворник. При этом розыске некоторые из жильцов того дома заявили, что накануне, а равно и в самый день исчезновения, видели Селифана Ковалева в весьма нетрезвом виде, что, впрочем, случилось с ним довольно редко.

На третий же день после сего последнего расследования, которое не привело ни к каким экстраординарным результатам, в полицейской газете, под рубрикой «Дневник приключений», появилось известие, что такого-то, мол, числа на Большой Неве, близ Мытнинского перевоза, в месте, где обыкновенно сбрасываются груды сколотого уличного льда, усмотрено было неизвестного звания и состояния мертвое тело, предавшееся гниению. Тело было занесено снегом, из-под которого обнаружилось оно частью во время наступившей оттепели, а эта оттепель собственно и поспособствовала разложению. Центральная полицейская власть, сообразя донесения о двух изложенных приключениях и имея в виду, что найденное мертвое тело, быть может, есть не кто иной, как пропавший без вести дворник, распорядилась послать в Петербург-

скую часть городского сержанта, под ведением которого состоял пропавший, с тем, что не признает ли его сержант в найденном трупе.

И точно: посланный сразу признал Селифана Ковалева.

Засим, по освидетельствовании его полицейским врачом, последовало заключение такого рода: так как на найденном теле наружных знаков насильственной смерти не оказалось, за исключением незначительного подкожного излияния крови на правой щеке, что могло быть следствием ушиба об лед при падении в минуту смерти, и так как по вскрытии оказалось уже разложение трупа, которое не допустило возможности определить с полной достоверностью присутствие в организме каких-либо веществ, кои бы могли служить причиною смерти неестественной, то, по всей вероятности, дворник Селифан Ковалев умер от апоплексического удара, происшедшего вследствие чрезмерного двухдневного пьянства, о чем, между прочим, свидетельствуют и показания жильцов таких-то и таких-то.

Засим дело о найденном теле оставалось

только продать воле божьей и забвению.

Но не так взглянул на это обстоятельство Егор Егорович Бероев.

Исчезновение и внезапная смерть Селифа на накануне того самого дня, когда он должен был сообщить столь важные показания, явилось в глазах Бероева, а также и в глазах следственного пристава, делом далеко не случайным. Они подозревали в этом факте продолжение той же самой замысловатой интриги, которая так удачно опутала Юлию Николаевну.

В этом смысле была составлена Бероевым новая формальная бумага, где он требовал нарядить отдельное следствие о всех тех обстоятельствах, что ближайшим образом предшествовали этой внезапной смерти.

Между тем, не теряя времени, он сам принялся за розыск. Кидаясь туда и сюда, расспрашивая лавочного сидельца и некоторых жильцов, он не пропустил без внимания ни одного соседнего кабака, ни одного трактира и наконец в харчевне под фирмою «Македония» ему удалось-таки набрести на кой-какой след. В этой харчевне и половые и буфетчик

знавали покойного Ковалева, ибо он почти ежедневно захаживал туда пить чай. Они припомнили теперь, что в последний раз сидел он там хмельной, с какими-то двумя неизвестными людьми, которые, напоив его вконец, увели с собою под руки. Были рассказы и приметы этих людей.

Такое начало розысков могло бы обещать и возможность дальнейшего успеха, тем более, что энергия, с которой действовал Берев, служила ручательством, что он до последней возможности станет преследовать свою конечную цель, но...

Среди этих розысков и хлопот его самого внезапно постигло столь неожиданное обстоятельство, которое сразу прекратило для него всякую возможность к дальнейшему раскрытию истины.

XXXV

ОБЫСК

Прошло два дня с тех пор, как Бероев начал свои хлопоты по делу о смерти Селифана Ковалева, а с минуты исчезновения последнего пошли уже шестые сутки. Все эти дни он мало бывал у себя дома, так как время его проходило между розысками, хлопотами и свиданиями с женою.

Заклученная хотела видеть своих детей — Бероев дважды привозил их в ее секретный номер. Каждый вечер возвращался он домой усталый, разбитый, истерзанный морально, с гнетущею болью и горем в душе, — и вид этих осиротелых и грустных детей наводил на него еще более тяжкую, мучительную тоску. Они не карабкались к нему на шею и плечи, как бывало в прежнее время, не бегали весело по всем комнатам, — и тихие комнаты казались теперь какими-то пустыми, неприветно мрачными, как будто бы из них только сегодня поутру вынесли покойника на кладбище.

Вместо веселого, радостного крика, какой, бывало, встречал его прежде, эти двое детей подходили к нему теперь тихо, несмело, и с какою-то робкою грустью спрашивали:

— Что мама? Ты видел маму сегодня?

— Видел... целует вас, сказала, чтобы не плакали, не скучали, она скоро вернется к нам.

— Скоро?.. В самом деле, скоро?.. Она не плачет там?

— Нет, детки, не плачет... Зачем же ей плакать?

— А как же при нас тогда она так плакала? Она стала такая худая-худая... Папа, ведь она больна там?.. Зачем она там сидит? Отчего она ушла от нас?..

Что было отвечать ему на все эти детски-наивные бесконечные вопросы, которые повторялись каждый раз по его возвращении? Все это более щемило и надрывало его сердце, и без того уже в досталь истерзанное. Он сам укладывал их в постельки, сидел над ними, пока не заснут, старался развлечь их какою-нибудь постороннею болтовнею, но такая болтовня как-то туго и трудно подверты-

валась ему на язык, и разговор невольно и незаметно сводился сам собою все на те же больно хватающие за душу вопросы. Но вот, слава богу, затихли и заснули дети, часто со свежую слезой на пушистой реснице, и для Бероева начинается долгая, болезненно-бессонная ночь, с бесконечными шаганиями из угла в угол по кабинету, с бесконечными думами, которые сверлят и буравят мозг, с гложущей тоскою и леденящим отчаянием...

Было около двух часов ночи. Истомленный Бероев прилег на диван в тяжелом забытьи, от которого, чуть послышится малейший шорох, чуть упадет на розетку кусочек с нагоревшей и оплывшей свечи, или чуть мебель в каком-нибудь углу щелкнет с легким треском и скрипом, — человек уже вздрагивает и как-то лихорадочно просыпается.

Глубокая тишина. Раздраженные нервы, даже и сквозь забытье, остаются как бы настороже, в каком-то напряженном состоянии.

Между тем тишина становится как будто все глубже и глубже, — только карманные часы, брошенные на письменном столе, отчеканивают секунды своим сухим и чуть слыш-

НЫМ чиканьем.

Вдруг в прихожей раздался порывистый и громкий звонок.

Бероев вскочил с дивана, не понимая, что это значит — наяву ль оно так случилось, или только во сне почудилось?

Звонок повторился, только еще громче прежнего.

Из детской вместе с тем послышался испуганный, полусонный крик разбуженного ребенка.

Полный недоумения и тревоги, Бероев сам пошел в переднюю — отворять двери.

— Кто там? — окликнул он.

— Сделайте одолжение, отворите нам поскорее, — ответил вполне знакомый, но официально-учтивый голос.

— Да кто там, однако? Разве это время входить к человеку в такую пору?!

— Отоприте, сударь, потому так приказано, — послышался голос домового дворника.

Бероев отомкнул крючок и отступил в необычайном изумлении.

В комнату вошел мужчина, за ним другой, за другим третий. На каблуках у них звякали

шпоры, сбоку слегка лязгали сабли, которые они старались придерживать рукою, чтобы не наделать лишнего шума. Все трое стали снимать пальто и шинели.

Бероев глянул через их головы за дверь — там в сенях виднелась недоумевающе-любопытная физиономия дворника и торчали два медные шиша от касок.

Теперь он понял, что это такое, но не понимал, каким образом все это может к нему относиться?

— Извините, что мы принуждены тревожить вас в такое время, — вежливо наклонился один из прибывших, по-видимому старший, обтирая душистым платком свои широкие и мокрые от сырости усы и бакенбарды. В то же время он сделал Бероеву пригласительный жест — войти первому из прихожей в комнаты.

Остальные два офицера тоже почли долгом обратить к нему мимоходом и свое извинение, которое, впрочем, с их стороны ограничилось одним только учтиво, но лаконично процеженным сквозь зубы «извините»...

— Сделайте одолжение... — как-то глухо,

бессознательно пробормотал Бероев и, по приглашению, первым вступил в свою гостиную.

— Я имею честь видеть господина Бероева? — отнесся к нему старший, с учтиво выжидательным наклоном корпуса.

— Так точно... Я Бероев...

— В таком случае... позвольте... — Он вынул из кармана свернутую бумагу и подал ее Егору Егорычу. — Потрудитесь взглянуть.

Тот беспокойною рукою развернул поданный ему лист и молча прочел предписание, которым предлагалось произвести в квартире обыск.

— Изволили прочесть? — спросил офицер.

Бероев вместо ответа возвратил ему бумагу.

— Дабы вы не сомневались, что обыск наш имеет быть произведен вполне законно, — продолжал офицер, — то при нем будет находиться господин надзиратель вашего квартала.

Он указал при этом на одного из офицеров.

— Потрудитесь вручить нам ключи от вашего письменного стола, комода и — позволь-

те начать...

— Сделайте одолжение, — опять пробормотал в ответ на это Бероев. Он решительно недоумевал — как, что, зачем и почему производится у него этот обыск?

— Кликните людей, — распорядился старший, обратясь к своему помощнику.

В ту же минуту из сеней вошли два человека, одетые в партикулярные пальтишки. Один из них напоминал своим видом нечто среднее между солдатом и лакеем; физиономия другого сильно смахивала на жидка. Оба стояли у дверей — руки по швам — и ожидали приказаний.

Бероеву предложили: не угодно ли будет ему самому отомкнуть и выдвинуть ящики стола, и затем — посмотреть, как производится обыск.

Тот исполнял без возражений все, что от него требовалось. Начали весьма тщательно перебирать бумаги — до малейшего клочка и оборвыша. Письма, какие были, завернули в один лист, перевязали бечевкой и приложили казенную печать, подле которой должен был и Бероев приложить свою собственную.

Со всеми бумагами последовало то же самое, после чего они были сложены в особенный портфель. Один из партикулярных людишек опытным глазом и рукою осматривал внутри стола — нет ли там каких-либо потайных ящичков. Но таковых не оказалось. В комодке точно так же не усмотрено ничего подозрительного. Другой же в это самое время тщательно перетряхивал книжку за книжкой из небольшой библиотеки Бероева, заголовки которых проглядывал один из офицеров.

— Вы мне позволите закурить? — любезно отнесся к хозяину старший, вынув из кармана папиросницу.

Бероев подвинул ему свечу.

— Не угодно ли вам? — еще любезнее предложил тот, подавая ему папироску, от которой Егор Егорович отказался.

Двое остальных офицеров тоже закурили.

Между тем переборка книг была закончена, и ни одной запрещенной между ними не нашлось.

— Вы извините, но... такова уже наша обязанность, наш долг, так сказать, мы должны будем осмотреть все ваши комнаты, всю

квартиру, — сказал Бероеву офицер, и два джентльмена в пальтишках приступили к новому обыску.

Точно ловкие собаки-ищейки, обнюхивали они все уголки и закоулки комнаты: заглянули под диван и за шкапами, осмотрели, пощупали даже половицы; один из них золу в печке перегреб руками, другой залез в печную отдушину и за заслонкой в трубе пошарил; но кроме пыли, паутины да сажи, оба ничего не вынесли оттуда на руках своих.

Прошли в детскую — все, сколько их было, за исключением двух медных шишаков, которые по-прежнему оставались в сенях, у двери.

Дети, вновь разбуженные и перепуганные появлением незнакомых людей, ударились в крик и слезы. Они тянулись к Бероеву, а этот успокаивал их, как только мог, но дети не унимались.

Между тем обыск шел своим чередом.

Из детской выходила дверь в кухню, а у противоположной стены, в углу, стояла железная печь; обок с этой печью помещался умывальный шкафчик. На шкафчик взлез один из сыщиков и, порывшись в печке, до-

стал оттуда какой-то сверток бумаги, потом большой пакет, стряхнул с них пыль и бросил на пол.

— Есть еще что-нибудь? — спросил один из офицеров.

— Есць, васе благородзие!.. Дерзи-ка, братець, помоги мне, — отнесся он к своему сотоварищу и с помощью его спустил оттуда небольшой литографский камень.

— Это что такое? — изумился Бероев.

— Вам лучше знать, — с улыбкой пожал плечами старший офицер, — а впрочем — это камень.

Квартира была обыскана сполна; но интересных предметов за исключением вещей, спрятанных на печке, нигде более не отыскано. Приступили к осмотру последних. Камень был отшлифован в том виде, как обыкновенно готовят к литографской работе. Сверток заключал в себе три полных экземпляра «Колокола» за полугодие прошлого, пятьдесят девятого года, а в пакете лежали два письма, сильно компрометирующие того, к кому они адресованы, и несколько полулистов почтовой бумаги, переписанных одною

и тою же писарскою рукою и заключавшие в себе несколько копий возмутительного звания. Бероеву теперь стало ясно, что это дело того же самого ума, который сплетает всю эту адскую интригу, обрушившуюся на его семейство, что это — та же самая рука, которая утопила его жену. И теперь, невидимая, чрез посредство посторонней силы давит его самого. Но каким же образом попали сюда все эти вещи? Кто и когда успел подложить их? Где эти тайные агенты, которые служат верным орудием этого дьявольского ума и воли? Где искать и как узнать их, как распутать всю эту черную интригу? Вопросов — целая бездна, но нет на них ни одного ответа, — и он в отчаянии поник головою.

— Господин Бероев, мы должны арестовать вас. Извольте одеваться.

— Я готов, — ответил тихо Бероев.

Меж тем в детской все еще раздавался плач. Перепуганная и ошеломленная Груша не могла ни унять, ни убаюкать обоих ребятшек. Они, словно каким-то детским инстинктом, почуяли, что отцу их предстоит что-то недоброе, и все порывались к нему.

«Пойти — проститься, — подумал Бероев, колеблясь в своем намерении. — Хуже, пожалуй, расплачутся... Лучше уж не ходить... А может, не увижу больше?... Может... Нет, не могу я так!» — И он пошел в детскую.

Один из офицеров направился по его следам и остановился в дверях.

— Спите дети... Бог с вами... успокойтесь... Я — ничего, это все так только... Я ведь с вами, — говорил он, с трудом произнося каждое слово, потому что из груди подступало к горлу что-то давящее, болезненно-горькое, колющее.

— Не уходи от нас!.. Папа, голубчик, милый ты наш! Не уходи! — захлебываясь от слез, рыдали дети.

— Не уйду, не уйду, мои милые... Куда же мне уйти? Я с вами останусь... Ну, полно же плакать, гости уже уехали.

— Нет, они здесь, они в той комнате... не ходи к ним, они страшные.

— Ну, полно же, полно... Я сейчас приду к вам, опять приду... Я только на минуту.

И он силился улыбнуться спокойною, веселой улыбкой, но почувствовал, что это выхо-

дит не улыбка, а какая-то гримаса, которая только кривит его личные мускулы. Долее уже у него не хватало силы и решимости выносить эту сцену. Крепко прижав к груди обоих детей, он по несколько раз поцеловал каждого, с трудом отрываясь от одного к другому личику.

— Господин Бероев, нам — время... потрудитесь кончить, — слышался в дверях посторонний голос, старавшийся соблюсти всю возможную официальную деликатность в интонации.

Бероева покорило нервной дрожью. Поцеловав детей еще один, уже последний раз каким-то болезненно-сильным прощальным поцелуем, он оторвал от своей шеи их ручонки и пошел в другую комнату. В дверях замедлился, как бы вспомя что-то, и подозвал Грушу.

— Я не вернусь, — шепнул он ей тихо, — так если что понадобится — деньги там, в столе у меня... Не оставь детей, Груша, да сходи навестить жену; только ничего не говори ты ей... Прощай!

И он почувствовал, как неудержимо клоко-

чет и подкатывает к горлу какая-то мутящая тяжесть. Голос его порвался, и мускулы лица затрепетали тою дрожью, которая бывает вестником слез, готовых уже хлынуть. Он больно, чуть не до крови закусил свои губы, чтобы не выдать перед глазами посторонних людей всю глубину своего волнения, чтобы не подметили они того глухого рыдания, которое вместе с невольным стоном чуть было не вырвалось из его груди, и, спешно надев шинель да шапку, пошел впереди всех очень быстрым шагом, которому преднамеренно старался придать всю возможную твердость.

— Сироты вы, мои сироты горемычные! — слышался ему уже в передней истерический, надрывающий душу вопль Аграфены, с которым сливались рыдания и крики детей, все еще тоскливо звавших к себе отца, порываясь вслед за ним из комнаты.

Но... выходная дверь захлопнулась, и Берев ничего уже больше не слышал.

У ворот ожидала карета. Он сел в нее с двумя офицерами; один медный шишак поместился на козлах, другой стал на запятки, и лошади тронулись.

Молчание, уличный холод да сырость, и темная-распретемная ночь, с мутно-красноватым отблеском фонарей, с мертвыми улицами и с чем-то свинцово-тяжелым, давящим в воздухе.

...Везут куда-то...

Бероеву сделалось страшно.

XXXVI НА КАНАВЕ

Карета через каменные ворота сделала несколько поворотов и въехала в глубину длинного двора, с левой стороны которого возвышалась кирпичная стена, казавшаяся теперь среди мрака, чем-то вроде громадной глыбы, без определенных очертаний: мрачность этой стены сливалась как-то с мраком самой ночи.

Остановились перед одним из входов. Бероева попросили выйти. Он пошел по лестнице, предшествуемый двумя приехавшими с ним офицерами и в сопровождении тех же солдат. Длинный корпус, по которому особенно звучно раздавался лязг сабель о каменные

плиты, привел их в комнату, очевидно, служившую приемной.

— Я пойду доложу, потрудитесь, пожалуйста, обождать здесь, — сказал старший, указав Бероеву на широкий диван, обтянутый кожей, и вышел в противоположную дверь, с истинно военной грацией, придерживая слегка свою саблю.

Бероев бессознательно стал оглядывать эту чистенькую комнату. Оставшийся с ним офицер, скрестив свои ноги и полуприсев к столу, барабанил пальцами по его борту; два солдата, дисциплинарно вытянувшись, дремали у дверей в стоячем положении. Это ожидание чего-то неизвестного среди тишины, не нарушаемой ни единым словом, казалось нестерпимо долгим и томительным. Наконец сквозь затворенные двери послышались по коридору шаги сначала в отдалении, потом все ближе, и в комнату вошел прежний офицер, вместе с другим, по физиономии и незастегнутому сюртуку которого можно было догадаться, что его сейчас лишь подняли с постели.

— Господин Бероев? — не без приятной улыбки и не без зевоты отнесся он к Егору

Егоровичу.

Тот привстал со своего кресла.

— Потрудитесь следовать за мною.

Вновь пошли по длинному и темноватому коридору, в конце которого дрожало синевато-белое пламя газового рожка. Поднялись по лестнице в следующий этаж, сделали несколько переходов по таким же коридорам и по таким же лестницам и наконец остановились перед дверью, которую необыкновенно предупредительно отворил перед Бероевым офицер, поднятый ради него с постели.

Это была небольшая, но очень милая и опрятная комната, с веселенькими обоями и опущенными шторами. Железная кровать с очень чистым бельем покрыта пушистой байкой, стол со свечой да два-три стула составляли скромную, незатейливую, но довольно комфортабельную обстановку этого уединенного, укромного убежища. Везде и во всем сказывалась предусмотрительная и как бы матерински-заботливая рука.

— Не угодно ли вам раздеться? — предложил офицер Бероеву.

— Нет, позвольте, уж лучше я так, как есть,

останусь, — возразил арестованный.

— Но это, к сожалению, невозможно, — пожал тот плечами, — вы должны раздеться совершенно, что называется вполне, даже снять белье и... прочее.

Бероев не прекословил больше и стал исполнять то, что от него так мягко требовалось.

В комнату вошел человек в партикулярном черном сюртуке, по-видимому, лакей, с физиономией, быть может, и не глупой, но неподвижной и как-то застывшей, словно бы ее вылепили из гипса. Этот человек принес сюда на подносе нечто, покрытое белою салфеткою.

— Быть может, вы не привыкли сами раздеваться, в таком случае он вот может помочь вам! — предложил офицер.

— Нет, зачем же? Это лишнее.

— Как вам угодно. Не смею стеснять вас, но... потрудитесь теперь переодеться в другое платье — для ночи оно гораздо удобнее.

Человек поднял салфетку, которою был покрыт принесенный поднос, и подал Бероеву белье вместе с туфлями и серым халатом, а

снятую одежду сполна унес из комнаты.

— Не смею больше беспокоить вас, — учтиво поклонился офицер, — но, быть может, вы имеете привычку почитать что-нибудь перед сном? Я могу вам прислать газету, из наших или иностранных, если угодно.

— Благодарю вас, мне ничего не нужно, — поморщась, процедил сквозь зубы Бероев.

— В таком случае, позвольте пожелать покойной ночи.

И, отдав легкий поклон, удалился из комнаты.

Однако, несмотря на пожелание этого господина, ночь для Бероева далеко не могла назваться покойною. Когда в душе человека скопляется уже слишком много отчаяния и горя, они либо доводят до сумасшествия и самоубийства, либо же сами себя притупляют — своею собственной силой и бесконечностью, так что человек наконец деревенеет как-то и доходит до абсолютного равнодушия ко всему на свете и прежде всего к своей собственной особе: «Ждать больше нечего, надеяться не на что. Будь что будет, а мне все равно! Пытка — так пытка, смерть — так

смерть!» И такое состояние, по преимуществу, является результатом величайшего озлобления на судьбу и людей, результатом напрасно потраченной борьбы и энергии. В этом положении человек становится способным либо совершенно искренно издеваться над своими собственными физическими и моральными мучениями и в то же время издеваться в глаза над своими инквизиторами; либо же он заковывается в броню такого спокойствия, которое недоступно человеку в его обыденно-жизненном, нормальном положении, ибо это спокойствие не есть истинное, а только кажущееся, оно не что иное, как следствие величайшей напряженности нервов, которые как бы застывают в этом состоянии. Это напряжение — натянутая до последней возможности струна: повернете колокол еще на пол-оборота — и она лопнула. Бероевым овладело состояние именно этого последнего рода.

Спать ему пока еще не хотелось, думать — но о чем оставалось думать? Голова и так уж была чересчур утомлена множеством тех дум, которые роились в ней за последнее время, так что под конец эта голова словно бы уста-

ла и морально и физически от бесконечного наплыва всех этих мыслей. В таком состоянии Бероева как-то рассеянно, безучастно стали занимать внешние предметы его комнаты; да и то, нельзя сказать, чтобы они его «занимали», а просто так себе, нашло на него какое-то пустое, безотносительное, бесцельное любопытство. Он взял свечу со стола и пошел оглядывать свою комнату, углы, окна, двери и пол, — ничто не напоминало в ней о месте заключения: комната как комната, ничем не хуже, ничем не лучше и не особеннее миллионов подобных же комнат в домах частных владельцев. Приподнял он байковое одеяло, приподнял тюфяк — опять-таки ничего, все очень исправно и чисто; на одной только доске заметил выцарапанное ногтем чье-то имя, год и число. «Верно мой предшественник... память по себе оставил», — подумал Бероев, опуская приподнятый край тюфяка, и, окончив на этом осмотр своего помещения, поставил на прежнее место свечу и принялся по диагонали вымеривать шагами пространство пола. Прошло не более семи-осьми минут после этого, как дверь осторожно отворилась, и

вошел солдат с унтер-офицерским характером физиономии и всего наружного склада.

— Вы, сударь, кажись, что-то изволили подтюфячок у себя спрятать? — заметил он в виде вопроса.

— Я? Ничего! — немало изумился Бероев.

— Никак нет-с, вы приподымали сейчас тюфяк, — положительным тоном заверил вошедший.

— Да, подымал... А впрочем, огляди, пожалуйста, — предложил арестованный.

Солдат очень тщательно обревизовал подозреваемое место и, с извинением в том, что потревожил, удалился из комнаты.

«Однако это штука!» — не без значительного удивления подумал Бероев, но в чем именно суть этого секрета, посредством какой хитрой механики открывается этот ларчик или эта «штука» он, несмотря на свой обзор простой обыкновенной комнатки с веселенькими обоями, никак не мог догадаться. Оставалось только прийти к успокоительному заключению, что штука, мол, да и конец. Так он и сделал.

Наутро вчерашний человек с неподвиж-

ной физиономией прибрал постель, принес ему умывальник и затем чаю стакан. Бероев выпил молча, не сказав ему ни слова; тот принес еще, и это точно так же было выпито, тот вернулся с третьим. И все это сопровождалось покойнейшим молчанием как с той, так и с другой стороны. «Очень гостеприимно, — подумал про себя Бероев, — однако, если не сказать ему «довольно», так он, пожалуй, и не перестанет носить?» Выпит и третий, — неподвижная физиономия явилась с четвертым.

— Будет, любезный, будет!.. Спасибо!

Неподвижная физиономия тотчас же удалась с принесенным стаканом и более уже не возвращалась.

Но вскоре после нее пришел новый посетитель.

— Позвольте рекомендоваться, — начал он с величайшей любезностью, — я врач, к вашим услугам.

И засим уселся подле Бероева.

— Как вы провели ночь?.. Хорошо ли вы себя чувствуете?

— Благодарю вас...

— Не нужен ли вам мой совет? Быть мо-

жет, вы страдаете каким-нибудь хроническим недугом, от которого, конечно, вас польвовал какой-нибудь мой collega, в таком случае никак не должно прерывать лечения, и мы с большой готовностью будем продолжать его.

— Я совершенно здоров, — коротко наклонился Бероев.

— А!.. Ну, так до свиданья... Если понадобится моя помощь — всегда к вашим услугам.

И врач удалился с той же любезностью.

Прошло часа два после этого визита, в течение которых заключенный, от нечего делать, по-вчерашнему, машинально мерил шагами свою комнату. Опять приотворилась дверь, и опять-таки новый посетитель, с тою же неизменной и неисчерпаемой любезностью. Это был молодой, изящного вида господин, на котором гражданский вицмундир сидел как-то джентльменски щеголевато, причем его пестрый жилет и широкие панталоны в клетку — черную с белым — изобличали в нем независимый образ мыслей новейшего времени. Эта независимость еще рельефнее выражалась его усами, вытянутыми в струн-

ку, козлиной бородкой и длинными, закинутыми назад волосами. Такая наружность делала его более похожим на какого-нибудь заезжего артиста, художника или на литератора.

— Я к вам!.. Мое почтение! — сказал он с немецким акцентом в выговоре, таким тоном, как будто его приход был приходом доброго, старого и притом давножданного знакомого: — Если хотите, поболтаем немножко. Позвольте присесть.

— Если вам угодно.

— С большим удовольствием!.. Ну, как? Довольны ли вы вашей комнатой? Тепло ли вам? Не нужно ли чего? Да не хотите ли позавтракать? Если угодно, мы даже вместе можем исполнить это. Ей! Подать сюда две котлетки! — сказал он, просунув свой нос и прелестные усы — в скважину чуть-чуть приотворенной двери.

— Благодарю вас, я не завтракаю, — поспешил отклониться Бероев.

— А, вы не завтракаете? Не имеете обыкновения, значит? Ну, как угодно... Ей... Не надо котлеток! Но в таком случае, позвольте-ка

мне все-таки узнать, что вы желаете к обеду? Какие блюда, например, хотелось бы вам выбрать?

— Это все равно.

— Ну, нет, однако, если бы мне предложили на выбор французскую, немецкую или русскую кухню, я бы выбрал по своему вкусу, ведь поросенок под хреном совсем не то, что жареные бекасы. Не так ли?

Джентльмен, очевидно, хотел казаться остроумным, но Бероев в эти минуты менее всего был расположен сочувствовать какому бы то ни было остроумию, и потому просто-напросто ответил, что будет есть то, что подадут.

— Как угодно, — пожал плечами обладатель независимых панталон и либеральной бородки, — мы, по крайней мере, постараемся озаботиться, чтобы это было питательно и вкусно. А позвольте спросить, вы в котором часу привыкли обыкновенно обедать?

— В четыре.

— Очень хорошо-с. Ну, а теперь насчет вин. Какое вино вы предпочитаете?

— Я не стану пить никакого.

— Хм... Но, может быть, вы любите добрую сигару? В таком случае мы можем предложить вам из отличнейших.

Эта беспримерная любезность начинала уже досадливо коробить арестованного.

— Или не пожелали ль бы вы теперь почитать что-нибудь? — продолжал меж тем донельзя обязательный посетитель. — Что вам угодно? «Современник», «Русское слово», «Искру», или из газет которую-нибудь? У нас все есть.

— Вы так обязательны, так желаете угодить моим вкусам, что мне остается только от души благодарить вас за эту внимательность, — сказал он самым вежливым тоном, под которым старался скрыть свое раздражение. — Позвольте же вам сообщить, что я более всего люблю уединение.

Он поклонился, джентльмен тоже, причем обиженно выдвинул свою нижнюю губу, якобы от улыбки, и сухо вышел из комнаты.

Едва ли что более способно надоест и вывести из себя человека, чем эта вечная предупредительная и тонкая любезность. Так оно показалось теперь Бероеву. Ровно в четыре

часа молчаливый человек с каменной физиономией принес обед, который действительно был очень питателен и вкусен. Видно было, что изготовила его привычная и притом поварская рука. Но в этом обеде имелась одна чисто местная особенность: ни ножа, ни вилки здесь не полагалось, ибо эти орудия еды вполне заменялись одною ложкою. Да и притом присутствие их было бы тут вполне излишне, так как и хлеб, и мясо, и вообще все, что подлежит действию столового ножа и вилки, явилось сюда уже заранее разрезанным на кусочки. После обеда ничья уже любезность не тревожила Бероева до самого вечера.

XXXVII

КАКИМ ОБРАЗОМ ВСЕ ЭТО СЛУЧИЛОСЬ

Иван Иванович Зеленьков очень дурно провел ночь на жестком диване Сашеньки-матушки. Но не диван был тому причиной, а словно бы страх да совесть пощипывали за сердце Ивана Ивановича.

— Александра Пахомовна, милостивая моя государыня! Не нудьте вы души человеческой, позвольте слетать... В один секунд предоставляюсь к вам самолично... Коли забожиться — так правда будет!

Таковыми словами на рассвете дня разбудил Зеленьков Александру Пахомовну, но та, с первого просыпу, только погрозилась на него весьма гневными глазами и отвернулась.

— Матушка вы моя!.. Не я прошу — душа моя просит! Она, грешница, чувствует, значит, и горит... — продолжал Зеленьков, тоскливо озирая комнату, — щемит мне это преступление мое, как змея сосет душу... Не с веселья, а с горя великого желаю я напитка это-

го самого... Дайте вы мне грех залить: вопиет ведь он, анафемский!.. Хотя чуточку-то позавыть себя позвольте вы мне!

Пахомовна молчала, закрывши глаза, и делала вид, будто не слышит.

— Ох ты господи!.. лучше уж разрази ты меня, окаянного!.. Нудит меня за душу, — смерть как нудит!.. Ох, батюшки, тошнехонько!.. Ой тоска какая! — время от времени стонал Зеленьков, то вскакивая и садясь на диване, то вдруг кручинно принимаясь бродить по комнате; тер себе грудь и голову, тоскливо озирался во все стороны, словно человек, изнемогающий от жажды, ищущи в бесплодной пустыне хоть единую каплю спасительной воды, и снова, в великой скорби и томлении, кидался на свое жесткое ложе.

Минут с десять молчит Зеленьков, только вздыхает глубоко порою, а там опять вскочит и снова за оханья свои принимается.

— Ой, матушки мои, помираю!.. Голубушка вы моя, добродетельница!.. Взвою я сейчас, вот, как пес какой, слезами взвою, не выдержу!.. Отпустите вы меня, отпустите!..

И он наконец пришел в какое-то дикое ис-

ступление, стал рыдать и колотиться затылком об стену. Александра поглядела на него с изумлением, и видит, что дело это плохое и уж как-то чудно больно выходит, да скорее давай напяливать на себя юбочку с кацавейкой и сама побежала за водкой для Зеленькова, не забыв, однако, замкнуть его в квартире на время недолгого своего отсутствия.

Водка уходила кричащую совесть; Иван Иванович выпил с такой жадностью и наслаждением, как никогда еще ему не случалось, а выпивши, тотчас же повеселел, поправился и стал совсем «человеком». Пахомовна при виде сего самодовольно осклабилась и даже нежность к нему почувствовала.

— Вот теперь как есть мужчина, во всех приятностях своих! — заметила она, строя ему отвратительно нежные глазки и зажигая в зубах папироску. — Только уж больше и в уме не держи пока о виннице этом, потому — говорю тебе — дела нам с тобой нынче еще по горло хватит. Скоро вот бежать в Морскую надо.

И часов около восьми утра, снова замкнув на ключ Ивана Ивановича, она побежала с

докладом к Амалье Потаповне фон Шпильце, а к десяти — Ивану Ивановичу были уже сообщены новые инструкции.

* * *

Кому из петербуржцев не была знакома знаменитая «Толкучка», дотла сгоревшая в духов день 1862 года? Хоть она и возродилась теперь, как феникс из пепла, но это еще феникс молодой, неоперенный, и притом феникс, во многом уже безвозвратно утративший свою прежнюю «прелесть» и свой допожарный характер. Не случись этого пожара, толкучка, наверное, просуществовала бы еще во всей своей неприкосновенности многие десятки, если даже не сотни лет. А теперь приходится изобразить ее картину по одним лишь воспоминаниям.

Место, где ютилась она, осталось то же; это — все прежний, неправильной формы четырехугольник, занимающий чуть ли не более четверти квартала, да уж вид-то толкучки далеко не тот. В былое время на этом пространстве во всевозможных направлениях, по всевозможным лабиринтообразным, кривым и ломаным линиям шли узенькие улич-

ки, переулочки, проходцы, по обеим сторонам которых возвышались животрепещущие деревянные постройки самой отчаянной, невообразимой архитектуры: верхние этажи были гораздо шире нижнего, служившего им основанием, и подпирались всевозможными подпорками, бревнами, досками, и в этих постройках гнездились тысячи лавок и лавчонок, а в промежутках между ними, равно как и площадочках и вдоль переулочков, лепилось друг возле друга, в вечной тесноте и давке, множество прилавков, ларей, лотков, столов, и все это было буквально завалено всяким хламом, о существовании которого вам, пожалуй, может быть, и в голову не пришло бы, но который здесь известен искони под именем «товара», менялся, продавался, покупался и проходил сквозь все двадцать мытарств и девять кругов преисподней, на потребу люда петербургского, на разживу торгашам да на похмелье мазурикам, для коих блаженной памяти толкучка была истинной матерью-кормилицей. Все эти лавки и лавчонки сооружались по традиционной толкучно-апраксинской системе: все они, во-первых,

проходные, для того, чтобы в случае надобности можно было «сквозняка задавать»; во-вторых, свету дневного они недолюбливают; внизу-то еще ничего — свет, пожалуй, и допускается, ибо тут, для виду, предполагается торговля «с зазывцем и начистоту», но чем выше подымались вы — во второй и третий этажи, тем сильнее начиналось господство полумрака, и сей полумрак для знающего человека мог служить признаком того, что здесь поблизости где-нибудь «темный товарец» находится: а темный товарец по преимуществу пользуется уважением толкучников. В тех местах, где между лавчонками остается сколько-нибудь путного пространства, образующего маленькую площадочку, а также и по всем этим улочкам и проходцам вечно снует взад и вперед тот особенный люд, который вы можете встретить единственно лишь на толкучем рынке. Тут уж идет толкотня в полнейшем и буквальнейшем смысле этого слова. Этот люд, от первого до последнего, составляет совсем особенный вид петербургского пролетариата и известен в своих сферах под именем продавцов и покупателей «с рук».

Один несет сюртучонко ветхий или такие же штаны, другой сломанную бритву, третий башмаки или калоши с изъянцем, четвертый предложит вам лампу какую-нибудь, у пятого вы найдете на руках и за пазухой две-три какие попало книжонки без заглавия и переплетов, шестой отзовет вас с таинственным видом в сторону и, озираясь, осторожно вынет из кармана какую-нибудь серебряную ложку или цепочку золотую, с объяснением, что продается, мол, по несчастью, потому: жена или теща померла — хоронить надо, так, мол, не купите ли Христа ради? И если вы, сжалившись над таковым злосчастливым положением продавца, заплатите ему сумму, которая покажется вам действительно вполне ничтожной сравнительно с настоящей стоимостью золотой или серебряной вещи, то, пришед домой, будете приятно изумлены неожиданным сюрпризом: цепочка вдруг окажется медной, ложка — оловянною. Профессия эта называется «обначкою», то есть подменом. Этот народ почти всю свою жизнь проводит «на толкучке», по крайней мере день его сполна принадлежит этому рынку, начина-

ясь открытием торговой деятельности ранним утром и кончаясь с прекращением ее к вечеру. Есть захочется — тут же под боком и «обжорный ряд» к его услугам; спать захочется — в Апраксином переулке «ночлежные» имеются: заплатил за ночь две-три копейки — и спи себе с богом. Таким образом, все насущные житейские потребности удовлетворяются тут же, на месте, и вследствие этого продавцы и перекупщики «с рук» составляют непосредственный и характерный продукт толкучки: они — ее прямое порождение. Но что было всего замечательнее в старой, допожарной толкучке, это — некоторое место, скрывавшееся в одном из грязнейших углов и носившее название «развала». На развале шла, бывало, совсем особенная торговля: тут уже не было ни лавок, ни ларей, ни столов, а просто-напросто товар разваливался на земле, на рогожках. Тут было сборище самого непригодного, старого, заваливающего хлама, всевозможных родов и качеств: черенья от ножей и вилок, сломанные рамы от картин, битая посуда и стекло, рваные книги, полу-сгнившие лоскутья, беспалые перчатки, облуп-

пившиеся портреты, костыли, изъеденное ржавчиной железо, каска без шишака и так далее, — словом сказать, тысяча самых разнообразных, но никуда не годных предметов по всем отраслям житейского обихода. Этот «развал» обрамлялся целым рядом шкафов, ларей и лавок без окон и дверей, представлявших самую пеструю и яркую картину: тут на каждом шагу бросались в глаза зеленые, желтые, синие, красные лоскутья, перемешанные с иным тряпьем всевозможных цветов и оттенков, и все это любезно развевалось по ветру, все это перетасовывалось между собою, являя из себя какой-то невообразимый хаос и кутерьму, особенно когда оно сочеталось с вечным гамом, толкотней и юрким движением толкучего рынка. Тут помещался так называемый «лоскутный ряд», где обретались изношенные фраки, юбки, драпри, бурнусы и всяческие остатки материй и сукон от жилетов, от платья и прочего. Глядя на всю эту ветошь, вы, быть может, подумаете, что все эти держатели подобных лавчонок перебиваются из одного лишь куска хлеба, из насущного дневного пропитания, что это все бедняк — народ,

достойный всякого сожаления и поддержки, — и вы жестоко ошибетесь: большая часть этих торговцев — люди весьма богатые, которые, через несколько лет подобной торговли под толкучим, случается, наживают себе дома и дачи, выдают дочерей замуж за «енералов», и «енералы» эти дерут со своих тестюшек огромное приданое, не гнушаясь тем, что тестюшки раз по пятнадцати, коли не больше, бывали под следствием будто бы «по оговору» в приеме и покупке краденых вещей, на которых собственно они и все благосостояние-то свое построили.

На одном конце «развала» приютилась небольшая лавчонка, снизу доверху заваленная книгами, ландкартами и эстампами. Хозяин ее, маленький горбун с сморщенным лицом вроде печеного яблока, напоминал своею наружностью подземного крота. Напялив на кончик носа круглые очки, он по целым дням молчаливо рылся в грудах своих книжек, перебирая их, прочитывая заглавия, и сортировал по полкам. Каких только книг ни возможно было достать посредством этого горбуна, и чего только ни хранилось на пыльных пол-

как его лавчонки! И он каждую свою книжонку, хотя бы это была самая последняя и заваленная, знал, как свои пять пальцев, знал, что она в себе заключает, в каком месте она у него хранится и какую цену можно запросить за нее с покупателя.

Горбун с сосредоточенным любопытством внимательно переглядывал картинки в одной старопечатной французской книжке и все ухмылялся да потряхивал головой, словно бы эти гравюры представляли сюжеты чересчур уж игривого свойства.

— Здорово, дедушка! — оприветствовал его, хлопнув по плечу, высокого роста видный старик с букинистским мешком за плечами. Горбун между букинистами прозывался дедушкой.

— Здорово, внучек, — с невозмутимой ровностью ответил он, продолжая перелистывать картины, хотя этот внучек скорее бы мог назваться ему братцем.

— Какая это у тебя? — ткнул ему в книгу пришедший.

— Отменная, внучек, могу сказать — антик!.. антик-книжица! Лекон-фесьон сенсер

прозывается, д'юн вьель аббес...[324] Вон оно что! А дальше-то уж и не разберу: глазами стал плох. По картинкам судить, — должно, насчет духовенства: ишь ты, все монахи с монашенками изображены.

— Чудно! — ухмыльнулся «внучек», рассматривая картины. — Право, чудно! И токмо соблазн один выходит... А я к тебе с приятелем: вон он, гляди, каков!.. Да войди ж ты к нам, Иван Иваныч, — кликнул он Зеленькова, который у наружного прилавка разглядывал «божественное» в куче литографированных эстампов.

— Слышь-ко, дедушка! Ты как меня, к примеру, понимаешь? — при этом пришедший букинист снова хлопнул по плечу хозяина.

— Ну, как там еще понимать тебя! Все мы стрекачи-труболеты, одно слово! — отшутился горбун с благодушной улыбкой.

— Нет, ты, дедушка, говори не морально, а всурьез, по-истинному: как ты понимаешь Максима Федулова? Каков я, по-твоему, есть человек?

— Ништо, человек-то ты был бы хороший, да беда — бог смерти не дает, а то ничего бы!..

— Ну, вот, опять ты только на смех ведешь! А ты скажи мне: много ли, мало ли ты со мной камерцью свою водишь?

— Да годов с двадцать будет, пожалуй.

— Надувал я тебя коли? аль заставлял кашу полицейскую расхлебывать? говори ты мне!

— Это что говорить! Николи этого за тобой не водилось.

— Ну, и скольких я литераторов на своем веку презнавал? От скольких сочинителей книжонок в твою лавчонку переправил?

— И это многожды случалось.

— Ну и, стало быть, я человек верный?

— Да ты это как, всурьез? — пытливо вскинул на него глаза хозяин лавчонки.

— С тем и пришел! — с достоинством подтвердил Максим Федулов.

— Ну, как ежели всурьез, то конешное дело — верный, — согласился горбун.

— И можешь ты на меня положиться?

— Сказано: «не надейся убо на князи...»

— Да я не князь, — перебил его букинист.

— А не князь, так грязь — и тово, значит, хуже, — опять отшутился «дедушка».

— Коли грязь, пушай грязь, будь хоть по-твоему! — шутя же согласился Федулов. — Оба мы книжники — и, значит, одного поля ягода.

Старик лукаво усмехнулся и головой покачал; отрезал, мол, здорово.

— Ну да ладно, что тут тары-бары точить! — порешил он, ударив его ладонью в ладонь. — Конешное дело, положуся!.. Да ты насчет чего же это?

— А насчет заграничного звону, — подмигнул ему Федулов.

Старик зорко и осторожно покосился на Зеленькова.

— Чего-с? — протянул он, цедя свое слово сквозь зубы.

— Ты, дедушка, не бойсь его, — кивнул Максим на Зеленькова. — Не сумлевайся: это — человек верный, старинный мой приятель.

Дедушка еще пытливей и зорче поглядел сперва на того, потом на другого и наконец успокоился.

— Чего, «заграничного», говоришь ты? — переспросил он, словно бы еще не вникнул.

— Звону, дедушка, звону, с лондонской ко-

ЛОКОЛЬНИ.

— Нет у меня такого товару. И не соображу, о чем ты это говоришь, — зарекся горбун, отрицательно закачав головою.

— Ну, врешь! Еще намерднись сам же просил: не подыщется ль, мол, у меня попутатель? Вот я тебе и подыскал. У меня есть уже два экземпляра! — показал он из бокового кармана сверток печатной бумаги, повернувшись спиною ко входу — «чтобы не было соблазну посторонним лицам». — Один свой был, другой у товарища добыл, за третьим к твоей милости пришел. Уважь, дедушка, потому — беспременно три надо: в отъезд, слышь ты, взять желают, для пересылки.

— За какое время? — осведомился горбун, сделавшись поговорчивее.

— За прошлой год, полугодие полное требуется.

— Можно! Пятьдесят на серебро, а меньше в цене — ни копейки.

Максим Федулов стал маклачить, прося «уважить насчет спуску», но горбун упорно и крепко стоял на цене, заявленной им с первого разу. Нечего делать, пришлось Ивану Ива-

новичу раскошелиться и дать. Горбун внимательно переглядел на свет каждую ассигнацию, проверил нумера, пересчитал раза два всю сумму на том основании, что «деньга, мол, допрежь всего, счет любит», и наконец после всей этой процедуры, систематически уложил полученные деньги в большой сафьянный и отчаянно замасленный бумажник.

— Ты, Федулов, постой-ка тут с приятелем вместо меня, а я пойду, пошарю, может, здесь, а может — и дома схоронено; не упомяну что-то.

Федулов на это только головой кивнул: «Хитри, мол, «не упоминаю»! Знаем мы тебя!»

И горбун удалился в самый темный уголок своей лавчонки. Разобрав целую грудку книг на нижней полке, которая плотно примыкала к самому полу, он осторожно стал выдвигать ее. Эта полка, имевшая особенное, потайное назначение, подавалась у него взад и вперед на двух желобках, незаметных для постороннего глаза. Выдвинув ее, старик приподнял приходившуюся в том самом месте часть половицы и очутился перед своими тайными и

в высшей степени интересными сокровищами. Тут были у него и масонские, и раскольничьи книги, и рукописи беспоповщинские, и книжки зело нескромного свойства, и, вместе со старопечатными, древними, и запрещенные политические издания. Все это хранилось под половицей, в особого рода деревянном футляре или ящичке, и все это — увы! — сделалось жертвой толкучего пожара 62 года.

Старик, слышно, не пережил своего несчастья и тоже отправился к праотцам, унеся с собою необычайную любовь к книгам и громадную библиографическую память.

Отыскав, что требовалось, он тем же порядком замаскировал свой тайник и мигнул Федулову:

— Это, что ли?

— Во, во, во!.. Оно самое! Давай его сюда...

— Тс... хорони половчее, молокосос!..

— Не вам, хрычам, учить нашего брата!..

Ладно, этак-то теперь не заприметить.

— Добро, проходите отсель поскорее! Нечего вам тут задаром рассиживать!.. Купил товар — и уходи своею дорогою... Да слышь, —

прибавил он озабоченно и торопливо, — коли попутает луканька, что в недобрый час попадетесь вы с этим добром, — я не продавал, и вы у меня не покупали, и знать я ничего не знаю. Слышишь?

— Это уж вестимое дело! Прощай, брат де-душка!

— Ну, то-то... Проваливай, внучек!

И, спровадив своих покупателей, старик снова напялил очки и снова принялся за кон-фесьон сенсер, только что приобретенную им от какого-то гимназиста.

Иван Иванович долго еще бродил по тол-кучему рынку, заходил во множество лавчо-нок, справляясь, не имеется ли где литограф-ского камня, и, наконец, к немалому своему удовольствию, отыскал и его, между всяче-ским сбродом и хламом, рядом с бюстом Кара-тыгина и заплесневелой полуаршинной пуш-кой.

* * *

Пока генеральша фон Шпильце сообщала Сашеньке-матушке инструкции для Ивана Ивановича Зеленькова и пока тот приводил их в исполнение, Полиевкт Харлампиевич не

дремал и усердно работал над дальнейшими деталями своего обширного плана. Теперь уже он непрестанно памятовал, что дело зашло слишком далеко, особенно после убийства дворника Селифана, что буде мало-мальски успокоишься и сядешь сложа руки, то дамоклов меч, того и гляди, упадет ему на голову, да и не ему одному, а пойдет скакать, что называется, по всем по трем, не минуя ни Амалии Потаповны, ни Шадурского, ни Пройди-света, ни акушерки и всех прочих прикосновенных к делу лиц.

Но — «дамоклов меч только висит и никогда не падает», — так весьма остроумно заметила одна французская книжица, и хотя Полиевкт Харлампиевич тоже был не прочь от согласия с этой мыслью, однако, будучи человеком предусмотрительным и заботливым, пользуясь образцовой репутацией честного и добропорядочного гражданина, он неусыпно продолжал работать.

«Ведь вот они, люди, сами себе портят и сами себя топят! — рассуждал он относительно обоих Бероевых. — А все что виновато? Гордость их сатанинская и высокомерие! Христи-

анского смирения перед судьбой, перед роком своим у этих людей ни на волос нет, а это-то и вредит!.. Я желал уладить безобидно, сумасшедшею ее сделать хотел, — и все бы это отменно покончилось. Так нет же! Муженек заварил кашу! Ну, а коли уж заварил, так не взыщи, если больно солоно придется расхлебывать!.. Я — видит всевышний создатель мой — я спасти хотел! — заключил Полиевкт свои рассуждения, — я, насколько возможно, даже добра им обоим желал; но... обстоятельства приняли иное течение: теперь уже спасти их — значит губить и резать самих себя. Пускай же оба идут по своему надлежащему течению!»

И он глубокомысленно засел к своему письменному столу, долго тер лоб свой, долго кусал перо, строчил на большом листе бумаги, зачеркивал, переправлял и снова строчил, пока из-под пера его не вышло новое произведение. Это было нечто вроде воззвания к русскому народу, написанное хотя и весьма витиевато, но неглупо и очень красно.

«Посмотрим, голубчик, как-то ты от этого отвертишься! — злорадно помыслил Хлебона-

сущенский, перечитывая свое произведение. — Прибавить разве еще немного красноты и возмутительного духу этого, или и так оставить?.. Нет, хорошо, кажись, будет и так... Теперь остается только два-три письмаца подходящих состряпать, якобы тут целый заговор и целая тайная агенция имеется, а засим и дело почти готово!..»

И Полиевкт снова принялся за писанье. Вскоре и письма были готовы. Тогда он повез их к Амалье Потаповне фон Шпильце, с тем, чтобы та отдала их переписать надежному человеку на обыкновенной почтовой бумаге. Генеральша обещала исполнить. Она во всем этом деле принимала живейшее участие, чувствуя, подобно Хлебонасущенскому, и над своей головой точно такой же дамоклов меч; поэтому все те обстоятельства, которые мы передаем теперь читателю, являются результатом ее секретных аудиенций и советов с великим юристом и практиком. «Черт знает, из-за каких пустяков и дело-то все началось! — думал в иные минуты Хлебонасущенский. — А ничего, кроме сей тактики, не придумаешь... отступить нельзя, потому — зашло-то

оно уж чересчур далеко... Надо действовать!..»

И они, как уже убедился читатель, точно что действовали.

Приехав от генеральши, Полиевкт Харлампиевич снова заперся в своем кабинете и старательно стал переписывать по транспаранту известное уже возмутительное воззвание, стараясь придать своей руке возможно больший общеписарский почерк. Переписав экземпляров около осьми, он остановился, справедливо подумав, что и того будет достаточно для ясной улики.

На другой день после этого Сашенька-матушка принесла к генеральше литографский камень и три экземпляра «Колокола», уложенные и запакованные сеном в корзине изпод вина; а Полиевкт Харлампиевич явился туда же с пакетом своих прокламаций.

— Что письма? — спросил он.

— Schon fertig![325]

— Вы уж, матушка, по-православному объясните мне, по-российски, а то я не понимаю.

— А зачем не понимай?

— Да уж так. Я всегда желал полным пат-

приотом остаться, потому и не захотел учиться...

Генеральша удовлетворилась сим патристическим аргументом и объявила, что, мол, все уже готово, что она сама скопировала письма эти, и притом буква в букву с оригинала, только руку свою несколько изменила, ибо всегдашний почерк ее отчасти и «там» известен: пожалуй, еще как-нибудь вспомнят или догадаются. Полиевкт Харлампиевич от глубины души своей поцеловал ее пухлую, потную ручку за эту рациональную предосторожность.

— Вы добрый союзник, ваше превосходительство! Вы — дипломат искусный, — восторженно и сладостно воскликнул он, сопровождая этим восклицанием свой поцелуй генеральской ручки.

Теперь — вся предварительная подготовка уже исполнена: камень, «Колокол», два письма и восемь экземпляров воззвания состоят налицо. Главная суть остается, стало быть, в том, каким образом втайне подсунуть все это в квартиру Бероева.

— Надо скорей, и как можно скорей это

сделать! — настаивал Хлебонасущенский. — Этот человек нам положительно вреден! Посмотрите, как хлопочет он, какие тени подозрения старается на нас-то набросить! Каждый день он шибко подвигается вперед, каждый день ведь хоть что-нибудь да уж непременно откроет новенького в свою пользу, — меня обо всем этом досконально извещают... Ждать, говорю вам, невозможно-с; надо сократить этого барина, а иначе — сами сократимся!..

Амалия Потаповна подумала и взяла на себя отыскание средств к тайной подброске. И она действительно отыскала — отыскала, как всегда и во всем, при посредстве своих верных, драгоценных и незаменимых агентов.

* * *

Хотя Иван Иванович Зеленьков давным-давно уже съехал с квартиры, нанятой им в том самом доме и по той самой лестнице, где жили Бероевы, однако знакомства своего и нежных отношений с курносой девушкой Грушей не прерывал и о сю пору, находя это знакомство лично для себя весьма приятным. Курносая девушка Груша отличалась

умом не особенно прочного свойства и сердцем очень чувствительным; поэтому, не вдаваясь в невозможный для нее анализ, что за человек есть этот Иван Иванович, она беззаветно прилепилась к нему всем своим нежным и добрым, простоватым сердцем, будучи вполне убеждена, что «душенька ее Иван Иванович распрекрасный человек и очень даже смиренного нрава». Иногда она отпрашивалась у барыни «со двора» и летела на это время к Ивану Ивановичу, а иногда и Иван Иванович к ней заживал; впрочем, последнее случалось несравненно реже первого, и, таким образом, с самого начала этого знакомства в мелочной лавочке до самых последних событий нашего повествования нежные отношения Ивана Ивановича к девушке Груше не прекращались. И это, как нельзя более кстати, послужило теперь целям Амалии Потаповны и Хлебонасущенского.

Когда Амалия Потаповна на секретном совещании своем с Александрой Пахомовной передала ей о крайней необходимости подброса известных уже вещей в квартиру Бероева и о крайней затруднительности этого пас-

сажа, мысль генеральши упала на всегдашнего исполнителя ее поручений — Зеленькова, и вдруг Сашенька-матушка, к великой радости ее превосходительства, объявила, что это дело более легкое, чем кажется. При сем она с некоторой горечью стала рассказывать о нежных отношениях генеральского агента к березовской служанке, и эта горечь служила признаком тех затаенных, но тем не менее весьма нежных чувств, какие Александра Пахомовна не переставала сама питать к Ивану Ивановичу Зеленькову. Узнавши все эти обстоятельства, генеральша снова посоветовалась с Полиевктом Харлампиевичем и затем отдала новые инструкции своему фактотуму.

Результатом последних было то обстоятельство, что Иван Иванович немедленно же приобрел себе, для большего удобства, широкую шинель, схоронил под сюртуком, у самого сердца, пакет с заветными бумагами, а сверток «Колокола» вместе с камнем опустил в очень вместительный карман шинели, и на следующий день, с восьми часов утра, отправился пить чай в одну из харчевен Подъяческой улицы, которая приходилась почти как

раз против дома, где жил Бероев. Хотя чаепитие Зеленькова продолжалось очень долгое время, однако он не столько занимался чаем, сколько пристальным глазением в окошко, Иван Иванович делал свои наблюдения. Он переменял чай на пиво, а пиво на селянку, что заняло у него добрых часа два времени, а сам меж тем ни на шаг не отходил от своего стола и частенько продолжал поглядывать на улицу.

В одиннадцатом часу он заметил, что из знакомого дома вышел человек с двумя детьми и сел на извозчика.

Человека этого он видел только впервые, но детей признал тотчас же: это были дети Бероевой, которых Иван Иванович неоднократно встречал во время житья своего в этом доме, когда они выходили гулять вместе с матерью или с Грушей. По детям не трудно было догадаться ему, что незнакомый человек — их отец, Егор Егорович Бероев. Поэтому Зеленьков поспешил расплатиться за все истребленные им пития и снеди и сейчас же направился по знакомой лестнице, в знакомую квартиру. Его встретила Груша.

— Ты одна, Груша?

— Одна.

— А кухарка-то где же?

— На рынок только что вышла.

— А барин дома?

— Никого нет дома, одна, как есть.

— Ну, здорово, коли так... Позволь присесть малость... устал я нынче... ходьбы было много.

И он присел в кухне на табурет, не скидая шинели.

Минут пять прошло в обыкновенной перекидке словами. Иван Иванович начал как будто мяться немного.

— Сам-то... с детьми нешто уехал?.. Куда это? — спросил он.

— А к барыне... видеть она их очень жалала, бедная, он и повез.

— Ну, это дело хорошее. Жаль мне твою барыню, уж так-то жаль!.. Подумаешь, беда какая стряслася... А вот что, Грушенька, — перебил он самого себя, — смерть мне что-то пить хочется... Как бы этак пивка хватить, что ли, стаканчик?.. Ась?.. не возможно ли?

— Отчего ж невозможно? Это — пожалуй...

— Да идти в пивную не хочется: устал я что-то... Будь-ко ты такая хорошая, смахай!.. Вот тебе и денег на пару пива, а я пока посижу — фатеру покараулю.

Груша была очень рада, что может хоть чем-нибудь услужить своему возлюбленному, и потому не заставила повторить его просьбу: мигом накинула на голову платок и побежала. А Иван Иванович тем часом, не теряя ни минуты, шмыгнул в смежную горницу, огляделся, — и видит, что печка тут как нельзя удобнее пришлась ему на помощь для исполнения заказанного дела: благо, взбираться не трудно, потому — рядом с ней умывальный шкафчик стоит. Взобраться на него да положить за карниз железной печи бумаги и камень было делом одной минуты, после чего Иван Иванович, как ни в чем не бывало, вернулся в кухню и стал поджидать прихода Груши с парюю пива.

Покалякав с ней минут десять, он простился и пошел, как было назначено, к Александре Пахомовне.

«Ах ты, господи боже мой! — скорбел он, идучи своею дорогою. — И что я за человек-то

анафемский!.. Вертят мною, как хотят, а я молчи... Ведь теперь это, значит, барину этому какая ни на есть беда через меня, подлеца, приключится: без того уж и не подослали бы. И за что, подумаешь? Добро бы он худо что сделал мне, изобидел бы, как ни на есть, а то ведь ровно ничего... и не знаю-то я его совсем... Опять же вон намереди убить человека заставили... Э-эх! Нехорошо, Иван Иванович, плохо!.. А что поделаешь? Уж, знать, судьба моя такая: и не желаешь, а варгань... И что это за сила у них надо мною? С чего они заполонили меня? Совесть-то проклятая, поди-ко, измучает теперь! И ничего больше не придумаешь, кроме того, что получить мне теперь с их превосходительства заработные деньги да загулять... Ух, как!.. Мертвую с горя запью, право!»

И меж тем Иван Иванович хотя и скорбел в душе своей, а все-таки шел к Сашеньке-матушке с отчетом о благополучно исполненном поручении.

* * *

Теперь читатель знает уже наполовину, как все это случилось. Другую половину за-

мысловатого фокуса взялся исполнить уже новый механик.

Механик этот...

Но нет! — насекомое сие столь достолюбезно, столь достопримечательно и настолько является продуктом петербургской жизни, что автор намерен проштудировать его под микроскопом, в надежде, что любознательный читатель и сам не прочь бы познакомиться (только не в жизни, а по портрету) с этим Санкт-Петербургским «инсектом»[326]. Для сей цели автор даже начинает отдельную главу, из коей, между прочим, читатель в надлежащем месте окончательно уже уяснит себе вопрос о том, как произошли все описанные нами в предшествовавших главах происшествия, и — смею надеяться — уяснит все сие без всяких комментариев со стороны автора.

Итак, приступаю.

XXXVIII

ОДИН ИЗ ВЕЗДЕСУЩИХ, ВСЕВЕДУЩИХ, ВСЕСЛЫШАЩИХ И Т.Д.

Насекомое это, по родовым и видовым своим признакам, называется... Но нет, опять-таки нет! Автор, право, затрудняется «в настоящее время, когда и проч.», назвать его «настоящим» именем. Историческое происхождение его теряется во мраке веков. Автор не знает, упоминают ли о нем Зороастр и книги «Вед» (надо полагать — да), но Библия, например, дает уже некоторые указания на его существование в библейский период. У римских историков времен упадка тоже находим довольно обстоятельные сведения об этом виде, и затем, чем ближе подходит дело ко временам новейшим, тем все более можно убеждаться в повсеместном его распространении. Можно сказать с большей или меньшей достоверностью, что под всеми меридианами, где только обитает двуногая порода, водятся и виды означенного насекомого. Но чем страна

«цивилизованнее», тем более шансов для его существования. В настоящее время наиболее совершенствованный вид его водится во Франции и преимущественно в Париже. Однако опытные исследователи утверждают, что и остальная Европа не обижена на сей счет, так, например, между германскими странами, говорят они, будто бы благословенная Австрия представляет соединение условий, особенно благоприятных для акклиматизации сего насекомого. Одни находят его положительно полезным, другие — положительно вредным; но если бы последние, вследствие какого-нибудь *coup d'etat*[327], очутились на месте первых, то автор никак не поручится за то, что они тотчас же не примутся за разведение означенного насекомого, подобно тому как разводятся шелковичный червь, из видов политико-экономических.

Насекомое это не везде одинаково: оно принимает свои оттенки, качества и большую или меньшую степень развития и совершенства сообразно условиям климата, жизни и обстоятельств какой-либо страны. Русская почва не может похвалиться выработкой

вполне удовлетворительного вида сего насекомого, да и слава богу, тем паче, что оно приходит к нам в качестве немецкого товара. По крайней мере, в большинстве случаев это бывает так.

Если бы кто спросил меня, что за человек Эмилий Люцианович Дранг? — я бы ответил просто названием настоящей главы: я бы сказал, что это человек вездесущий, всеведущий, всеслышащий и т.д.

Эмилий Люцианович Дранг (сам он для пущей звучности и громоносности произносил свою фамилию не иначе как Дрранг) — молодой человек лет тридцати двух, одаренный приятною наружностью, а притом надо заметить, что эта наружность — самого независимого свойства. В обществе таких людей обыкновенно называют «приятными во всех отношениях». Эмилий Люцианович белокур, но не то чтобы очень, а так себе, средственно; ростом не высок и не низок, а тоже этак — средственно; носит английский пробор впереди и сзади, что уже служит знаком известного рода фешенебельности, закручивает усы и холит пушистую бороду. По внешнему виду его

можно принять за все что угодно, только это «все что угодно» непременно будет «цивилизованное» и «либеральное». Можно его принять и за либерального проприетера-помещика, и за либерально-отставного военного, а пожалуй, и за либерального литератора, если не за либеральнейшего человека; словом — это наружность, годящаяся для сцены на «цивильные» роли среднего возраста, но никак не на «пейзанские». Одет он всегда благоприлично и даже щеголевато и усвоил себе манеры, вполне соответственные костюму. Происхождение свое скрывает под мраком неизвестности, говоря изредка при случае, что он «сын благородных родителей». Воспитание получил в «каком-то» заведении, где отличался любовью к секретным аудиенциям с начальством, за что неоднократно бывал бит своими товарищами. Ходят слухи, будто служил он в каком-то полку, но, получив за свои приятные качества несколько неприятных прикосновений к физиономии, должен был расстаться с мундиром и избрать другой род общественной деятельности. В настоящее время одни утверждают, будто он служит или

числится где-то, другие же утверждают, будто нигде не служит и не числится, а сам Эмилий Люцианович на этот счет ровно ничего не утверждает. Он просто-напросто «пользуется жизнью» и потому «жуирует». Где бы, когда бы и какой бы ни вышел либеральный протест, он всегда становится на сторону протеста и старается вникнуть, в чем тут кроется самая суть дела, какие его нити и пружины и кто вожаки. В нравственном отношении — он атеист, в экономическом — коммунист, в политическом — республиканец, в социальном — поборник «святого труда», женской эмансипации, коммун и артелей и вообще самых радикальных мер и salto mortale. Таким, по крайней мере, старается он изображать себя при случае, в разговоре, до дела же и до душевной искренности — в Петербурге кому какое дело!.. Приятный, милый человек — и баста.

Эмилий Люцианович Дранг вездесущ. Об этом мы сообщили уже читателю. Куда бы вы ни пошли — можно смело поручиться, что дело не обойдется без встречи с прекрасным Эмилием. Летом вы его встретите на Елагин-

ской стрелке, у Излера, у Ефремова, и в Павловске, и в Петергофе, и на вечерах во всевозможных клубах; зимою — то на Невском, то в Летнем саду, то на Дворцовой набережной. Загляните в любое из питательных заведений: к Палкину, к Доминику, к Дюссо — и вы непременно узрите Эмилия Люциановича, питающего себя если не обедом или завтраком, то уж, наверное, каким-нибудь слоеным пирожком или бутербродом. Эмилий Люцианович — непременно любитель просвещения и ценитель изящных искусств. Ни одно литературное чтение, ни одна публичная лекция не обходится без Эмилия Люциановича, и особенно без того, чтобы он не задал самой яростной работы своим каблукам и ладоням в ту минуту, когда кого-либо из фигурирующих авторов дернет нелегкая ввернуть что-нибудь «либеральное». В театрах вы точно так же столкнетесь с господином Дрангом, который особенно предпочитает те пьесы, где взяточников порицают, рутину и порок бичуют громовыми монологами, и вообще, где новейшие драматурги изображают себя на счет своих благородных и возвышенных чувств каса-

тельно прогресса и прочего. Он даже сам иногда порывается играть на сцене Жадова, Назимова, мыловара из устряловской комедии и вообще роли подобных либеральных и благо нравных юношей. Для удовлетворения своим сценическим порываниям Эмилий Люцианович даже сам устраивает иногда «любительские» спектакли «с благотворительною целью» и через то вступает в конкуренцию с известным мастаком по этой любительской части, который повсюду знаем и ведаем под именем «всеобщего дядички». Паче же всего к маскарадам стремится дух прекрасного Эмилия. Маскарад — его жизнь, его сфера и как бы отечество его. Сколько можно в этой густой, говорливой толпе невольно подслушать любопытного! Сколько от иной болтливой и глупенькой маски можно, якобы ненароком, выпытать интересного!.. Да, Эмилий Люцианович Дранг принадлежит к числу неизменных членов-завсегдаев всевозможных петербургских маскарадов.

Спрашивается, чем же существует Эмилий Люцианович? На какие средства доставляет он себе все эти разнообразные удовольствия?

Из чего он финансирует и жуирует? Где источник его доходов и какие его ресурсы? Для большинства смертных города Петербурга все сии вопросы суть сфинксова загадка, и автор может разъяснить только один из них, да и то лишь отчасти. Для входа во все публичные увеселительные места, а также на чтения и концерты Эмилий Люцианович Дранг постоянно имеет либо «почетные», либо просто бесплатные билеты. Но ради каких уважительных причин таковые имеются у него и притом постоянно — мы объяснить не беремся и считаем за лучшее заблаговременно уже поставить на сем месте благодетельную точку.

Круг знакомства Эмилия обыкновенно обширен. Он в особенности обладает тонким искусством втираться в семейные дома, делаться, что называется, своим, домашним человеком, приобретать благорасположение старушек, становиться на приятельское ты с мужьями и братьями и подлаживаться к молодым бабенкам и девчонкам, которые, называя его своим искренним другом, посвящают его во все домашние тайны и секреты и вообще

конфидируют иногда о таких предметах, на счет которых в иных случаях следовало бы держать язык за зубами.

Он обладает также особенной способностью заводить и случайные знакомства: в вагоне попросит затворить или отворить окошко, потому что дует или потому что жарко, привяжется к этому казусу и разговор затеет, а потом при встрече любезно кланяется; на легком невском пароходе непременно первый подымет либеральный протест насчет того, что долго не отчаливают от пристани или противозаконное число пассажиров напихивают, причем необходимо отпустит гражданскую фразу вроде того, что «и о чем это полиция думает!», и что «этакая мерзость,этакое послабление только у нас возможно», затем опять-таки по сему поводу примажется с разговором к соседу, и опять-таки при встрече любезно раскланяется с ним. Одним словом, это — необыкновенный мастер на уловление знакомства.

Но кроме обширности, круг знакомства Эмилия Люциановича отличается еще и необыкновенным разнообразием. Он знаком

решительно с целым городом. Проследите за ним из конца в конец, хоть на Невском проспекте, и вы увидите, что шляпа его то и дело отчеканивает поклоны, на которые ему отвечают по большей части то любезными, то приятельскими осклаблениями. Люди с титулом и происхождением, купцы, мещане, попы, чиновники, аферисты, студенты, семинаристы, актеры и артисты — со всем этим, можно сказать, повально знаком Эмилий Люцианович. Но преимущественно предпочитает он студентов, академических офицеров и паче всего — артистов с литераторами. Эти последние почему-то пользуются особенною его симпатиею. Со многими он на ты, со многими на вы, с остальными просто на поклонах; но так или иначе, вы можете быть уверены, что только отыщется какое-нибудь теплое местечко, где мало-мальски осядется и начнет ежедневно собираться постоянный приятельский кружок, Эмилий Люцианович Дранг уж тут как тут! Сначала в стороне держится, а потом завяжет какое-нибудь случайное знакомство, по вышеописанным примерам, и непременно успеет примазаться к при-

ательскому кружку — таковы уже свойства его вкрадчивости и уменья. Таким образом, в прежние, но, впрочем, недавние годы он постоянно терся в ресторане Еремеева, который тогда служил сборным пунктом для всех почти русских авторов, для многих артистов, литераторов и тому подобного народа. Во времена же ближайшие он показывался зачастую у «дяди Зееста», в маленьком деревянном домишке близ Александринского театра, и там изображал себя якобы влюбленным, в числе многих, в толстую буфетчицу «Густю». Толкаясь, таким образом, везде и втираясь повсюду, Эмилий Люцианович знал и видел всех и вся. Никто, например, лучше, обстоятельнее и подробнее его не мог бы рассказать какую-нибудь сплетню, какой-нибудь уличный или общественный скандал, какое-нибудь городское происшествие, — он какими-то непонятными, неисповедимыми судьбами знал все это подробнее всех и раньше всех; только строго различал при этом, что именно можно и следует рассказывать и чего нельзя и не следует. И вот, таким-то образом, кроме явной и всеобщей своей характеристи-

ки «милого и приятного во всех отношениях человека», Эмилий Люцианович Дранг вполне мог еще назваться существом вездесущим, всеведущим, всеслышащим и т.д.

* * *

Когда Александра Пахомовна доложила генеральше фон Шпильце, что и последнее, самое трудное поручение выполнено Зеленьковым в точности, Амалия Потаповна немедленно же вызвала своего лакея.

— Бери извозчик и катай на Моховая улиц и Пантелеймон! — озабоченно отдала она ему приказание. — Ты знаешь Эмилий Люцианович, господин Дранг!

— Знаю, ваш-псходительство.

— Говори ему, пускай сейчас летит на меня, отшинь, отшинь нужда большая — дело. Да скорей ты, а то дома уже не будет!

Амалия Потаповна, как видно, хорошо знала привычки прекрасного Эмилия: его, действительно, только утром и можно было застать в своей квартире; во все же остальное течение дня и ночи вездесущий порхал по всему городу, уподобляясь то резвому папильону, то гончей собаке.

Генеральский лакей, слава богу, успел захватить его как раз в ту самую минуту, когда наш гончий папильон юркнул в сани извозчика и вполне уже приготовился искать по свету, где есть уголок и пища для его любознательности.

«Дело... А, дело! Дело — прежде всего, это, так сказать, наш долг, обязанность», — решил Эмилий Люцианович и поскакал к генеральше.

— Н-ну-с, пани генералова!.. Целую ручку, ножки паньски... Что скажете, моя блистательная фея?

Так начал Дранг, вступая в обольстительный будуар госпожи фон Шпильце. Он был на сей раз в добром юморе и, очевидно, искони пользовался известного рода фамиллярностью в отношениях своих к этой особе.

— Фуй! Шилун какой! — скокетничала генеральша, ударив его слегка по ладони. — Хотите фриштыкать? Вина какого?

— От яствий и пития никогда не прочь, — охотно согласился он, принимая при этой фразе позу и интонацию горбуновского «батюшки».

— Фуи-и, шилун! — еще кокетливее повторила генеральша с примесью какой-то благодетливой укоризны во взоре.

Тотчас же принесли холодный завтрак. Генеральша любила-таки покушать всласть и вплотную, а потому приналегла на снеди и вина свои вместе с прекрасным Эмилием, который во время процесса питания, казалось, сделался еще благодушнее.

— Ну-с, моя прелестная сослуживица, повествуйте на ваших двенадцати языцах, какое такое у вас дело до меня имеется? — сказал он, откинувшись в глубокую спинку кресла и принимаясь ковырять в зубах.

Генеральша впоследствии улыбнулась игриво-кокетливым образом и тотчас же сообщила себе солидный и вполне деловой уже вид. Она необыкновенно таинственно сообщила ему, что имеет положительные сведения относительно зловредности некоего Бероева.

— Откуда ж вы их имеете? — несколько скептически спросил ее Дранг.

— А через мой агент...

— Хм... В чем же заключается эта зловредность-то?

Генеральша рассказала, будто ее агент давно уже знаком с прислугой Бероева, ходил часто к нему в дом и однажды, то есть на днях, получил от этого Бероева приглашение к участию в подпольном распространении возмутительных воззваний, которые Бероев будто бы намеревается литографировать в своей квартире. Все это показалось Дрангу несообразным как-то.

— Кто это Бероев? — спросил он с прежним скептицизмом.

— У Шиншеев служийт.

— Гм... понимаю! Это, значит, благоверный той дамы, у которой теперь на шейке уголовщина сидит, а в уголовщину эту, кажись, и моя блистательная фея ein bisschen [328] замешана, так ли-с? — прищурился он на нее пытливым глазом.

Генеральшу неприятно передернуло.

— Ну-у, што ишо там? — процедила она с неудовольствием. — Это завсем сюда не идет.

— А нейдет, так чего же вы ждете? Знаете чуть ли не о целом заговоре и молчите, да за мной посылаете! А вы действуйте сами, — ведь не впервой-с?

— Ай, мне неловко! — замахала руками генеральша.

— Отчего же до этого разу всегда ловко было?

— Ай, как же!.. Тут это дело mit seine Frau.
[329] Мне завсем неловко, завсем неловко.

— Н-да-с, то есть вы боитесь, что ваши действия по этой причине не будут приняты в должное внимание, так ли-с?

— Certes mon bijou, certes, comme de raison!
[330]

— Понимаем-с! Но если вам неловко, то мне еще неловче: я ведь его не выслеживал, не знаю никаких подробностей, этак, пожалуй, того и гляди, как кур во щи влопаешься.

Генеральша объяснила и подробности.

Дранг — руки в карманы — прошелся по комнате и плутовски в упор остановился перед генеральшей.

— Вы уж лучше признайтесь-ка мне, как бы перед либер-готт[331]! — начал он, следя за движениями ее физиономии. — Бероев-то, должно быть, очень опасен для вас по тому делу, так вы этак... тово... на время устранить его желаете, а иным путем — никоим образом

устранить вам его невозможно, не так ли?

Генеральшу снова стало коробить и ежить: она имела дело с очень наглым, очень умным и проницательным господином.

— Ну, а если бы и так? — пыталась она косвенно согласиться в виде вопроса.

— А коли так, то и работайте сами, как знаете! — откланялся Эмилий Люцианович. — Что я, о двух головах, что ли? За ложный донос — доносчику первый кнут, вы это знаете? Этак-то, коли начнется следствие да откроется настоящее дело — вы думаете, нас-то с вами пощадят за наши заслуги? Нет-с, ваше превосходительство: на казенный кошт полярную географию изучать отправят, в гости к моржам да к пушному зверю на побывку прокатимся! Вот оно что-с!

Генеральша погрузилась в досадливые рассуждения: дело срывается и — того гляди — совсем, пожалуй, лопнет. Скверно! А надобно бы работать поживее, потому что Бероев не дремлет и сильно хлопочет о раскрытии истины запутанного дела.

Дранг меж тем продолжал расхаживать по мягким коврам генеральского будуара и, судя

по улыбке, обдумывал что-то небезынтересное.

— Вот что я вам скажу, моя королева! — остановился он перед Шпильце, скрестив на груди свои руки. — Ведь дело с Бероевым, так или иначе, разыграется пустяками, непременно пустяками! Ну, подержат-подержат, увидят, что вздор, и выпустят, даже с извинением выпустят, а я-то что же? Только себя через то скомпрометирую, кредит свой подорву.

Генеральша слушала его во все уши и глядела во все глаза.

— И это еще самое легкое, — продолжал Эмилий Люцианович, — хорошо, если только этим все кончится, а если дело разыграется так, что самого к Иисусу потянут — тогда что? Ведь я, понимаете ли, должен буду все начальство в заблуждение ввести, обмануть его, а ведь это не то, что взять да обмануть какого-нибудь Ивана, Сидора, Петра, это дело обуюдоострое, как раз нарежешься — и похерят меня, раба Божьего, а вы-то в стороне останетесь, вам оно ничего!

— Н-ну? — по обычаю своему, цедя, протянула генеральша.

— Н-ну, — передразнил ее Дранг. — Поэтому, если уж рисковать, так хоть было бы за что. Я ведь материалист, человек девятнадцатого века и в возвышенные чувствования не верую, а служу тельцу златому.

— Н-ну? — повторила генеральша.

— Н-ну, — опять передразнил ее Дранг. — Понять-то ведь, кажется, не трудно! Если уж вам так приспичило во что бы то ни стало припрятать на время Бероева, то выкладывайте сейчас мне пять тысяч серебром — и нынче же ночью он будет припрятан самым солидным, тщательным и деликатным образом.

Генеральша помялась, поторговалась — нет, не сдастся прекрасный Эмилий: как сказал свою цифру, так уж на ней и стоит. Нечего делать, послала она за Хлебонасущенским, посоветовалась с ним наедине, и порешили, что надобно дать. Пришлось по две с половиной тысячи на брата — и Дранг помчался обделывать поручение, в первый раз в жизни ощущая в своем кармане целиком такую полновесную сумму и поэтому чувствуя себя легче, благодуще и веселее, чем когда-либо.

XXXIX ДОПРОС

Вечером щелкнул дверной замок, и в комнату Бероева вошел унтер-офицер с каменно-молчаливым лакеем. Последний держал на руках платье, которое было снято Бероевым при переселении в его последнее обиталище.

— Потрудитесь, сударь, одеться, только поспешите, потому там... ждут, — сказал военный.

Лакей молча, с дрессированной сноровкой, стал подавать ему одну за другою все принадлежности костюма, ловко помог пристегнуть подтяжки, ловко напялил на него сюртук и засим начал складывать казенное платье.

— Готовы-с? — лаконично спросил военный.

— Готов.

— Пожалуйста-с.

И они пошли по гулкому коридору. Приставник, как бы для выражения известного рода почтительности, следовал за Бероевым

на расстоянии двух-трех шагов и в то же время успевал служить ему в некотором роде Виргилием-путеводцем среди этого лабиринта различных переходов. Лабиринтом, по крайней мере, в эту минуту, казались они Бероеву, которого то и дело направлял военный словами: «направо... налево... прямо... в эту дверь... вниз... по этой лестнице... сюда», пока наконец не вошел он в просторную и весьма комфортабельно меблированную комнату, где ему указано было остаться и ждать.

Мягкий диван и мягкие, покойные кресла, большой, широкий стол, весьма щедро покрытый свежим зеленым сукном, на столе изящная чернильница со всею письменной принадлежностью, лампа с молочно-матовым колпаком и на стене тоже лампа, а на другой — большой портрет в роскошной золоченой раме; словом сказать, вся обстановка несколько официальным изяществом явно изобличала, что кабинет этот предназначен для занятий довольно веской и значительной особы.

После трехминутного ожидания в комнату вошло лицо, наружность которого была отча-

сти знакома Бероеву, как обыкновенно бывает иногда очень многим знакома издали наружность значительных официальных лиц. Благовоннейшая гаванна дымилась в руке вошедшего. Расстегнутый генеральский сюртук открывал грудь, обтянутую жилетом изумительной белизны. Довольно красивые черты лица его выражали абсолютную холодность и несколько сухое спокойствие, а манеры как-то невольно, сами собой, обнаруживали привычку к хорошему обществу. Он вошел ровным, твердым, неторопливым шагом, остановился против Бероева и вскинул на него из-за стола, разделявшего их, острый, пронизательно-пристальный взгляд.

— Господин Бероев? — быстро спросил он своим тихим, но металлическим голосом, и притом таким тоном, который обнаруживал непоколебимую внутреннюю уверенность, что на этот вопрос отнюдь ничего не может последовать, кроме безусловного подтверждения. — Вопрос, стало быть, предложен был только так, для проформы и как бы затем лишь, чтобы было с чего начать, на что опереться. Во всяком случае, арестованный не за-

медлил отвечать утвердительно.

— Вы имеете семейство, детей? — спросил генерал тем же тоном и плавно пустил кольцо легкого дыма.

— Имею, — глухо ответил Бероев: ему стало горько и больно, зачем это хватают его за самые больные и чуткие струны его сердца.

— Очень сожалею, — сухо и как бы в скобках заметил генерал.

Бероеву с горечью хотелось спросить его: «о чем?» — однако почему-то не спросилось, не выговорилось, и он ограничился лишь тем, что, закусив нижнюю губу, неопределенно свернул глаза куда-то в сторону. Минута молчания, в течение которой он хотя и не видит, но чувствует на себе неотразимый, вопрошающий и пытающий взгляд, так что стало наконец как-то не по себе, неловко. А глаза меж тем все-таки смотрят и смотрят.

— Я должен предупредить вас, — наконец начал генерал тихо и слегка вздохнув, тогда как магнетизация взорами все еще продолжалась, — я должен предупредить вас, что нам уже все известно, и притом давно. Поэтому, господин Бероев, излишнее запирательство с ва-

шей стороны ровно ни к чему не послужит и только увеличит еще вашу ответственность. Вы, впрочем, не юноша, не... студент, и потому поймете, что порядочному человеку в таких случаях не приходится лавировать, тем более, что это — повторяю — будет совершенно напрасно: нас обмануть невозможно — мы знаем все. Слышите ли, все!.. Между тем полное чистосердечное раскаяние ваше, вместе с откровенной передачей всех известных вам фактов и обстоятельств, значительно послужит к облегчению вашей участи и... даже... быть может, к полному прощению. Вспомните, ведь вы не один — ведь у вас семейство.

Генерал кончил и продолжал смотреть на Бероева.

Этот собрался с духом и начал:

— Если вам, генерал, точно известно все, как вы говорите, — заметил он, — то я удивляюсь только одному: каким образом, зачем и почему я нахожусь здесь?

— Это что значит? — металлически-сухо и внятно спросил генерал, ни на йоту не возвышая голоса, и между тем каждый тихий звук его обдавал невыразимым холодом.

— То, что я — невинен, — столь же тихо и внятно проговорил Бероев, нимало не смутившись: над ним еще всецело царило прежнее чувство абсолютного равнодушия ко всему, что бы с ним ни случилось.

Генерал слегка усмехнулся тою усмешкой, в которой чувствуется как будто и иронии немножко, а больше сожаления, что вот-де глупый запирается, тогда как я сию же минуту могу раздавить его неопровержимыми доказательствами.

И он вынул из кармана ключ, отпер ящик стола и достал оттуда пачку бумаг, обернутую в серо-казенный лист папки, с печатной надписью: «Дело».

— Вам незнакомы эти бумаги?

— Совершенно незнакомы.

— Гм... А эти письма?

— В первый раз вижу.

— Будто?.. Ну, я напомню вам их содержание.

Он развернул одно из писем и стал читать:

«Дело наше двигается. Польские братья работают неутомимо, надо, чтобы все поднялось одновременно, разом, и — мы победили!

Уведомьте, как шла наша агитация в Сибири. Надобно по-прежнему действовать, а вам это удобнее, чем кому-либо. Действуйте, действуйте и действуйте. Письмо это вам передаст З. Рекомендую вам его, как надежного члена и товарища. Передайте ему на словах о результатах вашей последней поездки».

Бероев слушал и не верил ушам своим.

— Я ничего не понимаю... — как бы про себя прошептал он, в недоумении пожав плечами.

— Не понимаете? — быстро вскинул на него генерал свои острые взоры. — Ну, а это?

И он развернул другое.

«Переписывать неудобно, да и не безопасно. Притом же это будет слишком медленно, а дело не ждет: нам надо скорей и скорей. Надо распустить как можно более экземпляров. Постарайтесь лучше добыть литографский камень. М. доставит вам к нему всю необходимую принадлежность, и — начинайте работать вместе».

— Это тоже незнакомо? — спросил генерал по прочтении.

— Вполне, — ответил Бероев.

— А литеры З. и М.?

Тот, недоумевая, пожал плечами.

Брови его собеседника сурово сдвинулись, но голос остался все так же тих, только делался как будто еще тверже и металличеснее.

— Послушайте, господин Бероев, что это, насмешка?

— Насмешка?! — изумленно повторил арестованный и с гордым достоинством отрицательно покачал головой.

— Все эти вещи найдены, однако, у вас в квартире, — продолжал тот.

— При мне, — подтвердил Бероев, — но как они туда попали — не понимаю.

— Послушайте, милостивый государь, — перебил его генерал, нетерпеливо сжимая зубами свою сигару, — если вы намерены разыграть со мною комедию записательства, то...

— Комедию записательства?! — перебил его в свою очередь Бероев. — Для чего, вопрос? Это было бы уже совсем глупо... Я привык несколько более уважать себя для того, чтобы запирацца перед кем бы то ни было и в чем бы то ни было.

— И однако ж...

— И однако ж должен повторить все то, что и до сих пор говорил: более у меня нет оправданий. Скажу только одно, что все это дело — гнусная интрига против меня, — интрига, которую ведет слишком сильная рука, но я еще поборюсь с нею! И... вы тоже, надеюсь, узнаете ее!

Генерал сделал нетерпеливое движение, ему, очевидно, казалось, что Бероев заговаривает не о том, о чем следует, и даже чуть ли не начинает вилять в стороны, дерзко путать нечто, вовсе не идущее к делу, — система, которую генералу случалось иногда наблюдать в подобных казусах, и потому он перебил своего ответчика:

— Вам не угодно иначе отвечать на мои прямые вопросы?

— Я отвечал уже, — спокойно возразил Бероев.

Генерал взглянул на свои часы: он, по-видимому, куда-то торопился, потому что и прежде, во время этого допроса, раза два уже взглядывал на циферблат, и затем громко позвонил в изящный бронзовый колокольчик.

В дверях почтительно остановился молодой офицер в дежурной форме.

— Можете везти, — отнесся к нему начальник, вскинув глазами на Бероева.

— Слушаю, ваше превосходительство.

— Ступайте, — проговорил он, обращаясь к арестованному.

Бероев замедлился на мгновение в глубоком и грустном раздумьи.

— Генерал, — сказал он тихо и как-то понуро потупясь в землю, — вы, конечно, знаете, что с моей женой...

— Знаю. Ну-с?

— Могу я уведомить ее о себе... успокоить хоть несколько?..

— Нет-с.

Бероев больно закусил губу и, круто повернувшись, поспешными шагами вышел из комнаты. В лице его в это мгновение было слишком много горя и боли душевной.

Генерал смотрел ему вслед. Ни одно движение арестанта, ни один мускул его лица, казалось, не ускользнули от этого пронизательного взора.

Когда дверь осторожно затворилась за вы-

шедшим Бероевым, генерал раздумчиво пере-
листавал бумаги, пересмотрел только что
прочтенные им письма и еще раздумчивее
зашагал по кабинету.

«Хм... — размышлял он сам с собою, —
странно одно тут; все эти бумаги писаны, оче-
видно, не его рукою... Ни одного подозритель-
ного письма или каких-нибудь бумаг его руки
решительно не найдено... в прежних и других
делах — по сверке тоже не оказалось, — стало
быть, в тех, кажись, не замешан... Странно!»

И вслед за этим размышлением, походив
еще с минуту, среди каких-то внутренних ко-
лебаний, он снова позвонил в колокольчик.

— Объявите Бероеву, что он может напи-
сать письмо, не касаясь главной сущности
своего дела, — сказал он вошедшему офице-
ру, — только... немедленно же передайте это
письмо по назначению — пусть там доложат
мне о нем сегодня же.

Офицер почтительно звякнул шпорами, и
затем он — в одну дверь, генерал — в другую.

XL ЗА РЕКОЮ

Вновь повели арестанта разными коридорами, через разные комнаты; только все это — казалось ему — будто уже не те, по которым вели его по привозе в это место, да и не те, по которым сейчас проходил он к допросу, а как будто совсем другие, новые. В одной из них он прошел мимо несколько молодых и подпреклонных лет людей. Все они были одеты очень порядочно, иные даже щеголевато, и независимой наружностью своей походили на все, что угодно, только никак не на чиновников. Тут, между этими господами заметил он нескольких разноформенных сынов Марса, и все они очень любезно и весело разговаривали между собою, так что встретить их всех вкупе, в каком-нибудь ином публичном месте, то непременно подумали бы, даже не без некоторого чувства умиления «Какие, мол, славные ребята! Душа нараспашку! Ну, добрые малые, да и конец!» Но теперь Бероев этого не подумал, даже не остановился

на мысли — зачем это и для чего собрались они сюда? — Хотя многие физиономии мелко показались ему как будто несколько знакомы, как будто видел и встречал он их зачастую в разных публичных местах. Но... в Петербурге мало ли кого встречаешь и мало ли у каждого из нас есть эдаких знакомых незнакомцев.

Его привели в одну из комнат, носившую вполне официальный, канцелярский характер добропорядочного присутственного места и предложили четвертушку почтовой бумаги, объявив об известном уже читателю дозволении написать письмо.

«Бога ради, не убивайся, не падай духом, — писал Бероев. — Я арестован по какому-то подозрению, но — ты знаешь меня хорошо, — стало быть, знаешь, что я невинен. Я убежден, что это разъяснится очень скоро, у меня еще есть слишком много терпения и мужества, чтобы доказать свою правоту! Только повторяю — не теряй надежды и мужества ты, моя добрая и несчастная Юлия. Надеюсь скоро видеться с тобою, я добьюсь правды в твоём деле во что бы то ни стало. Напиши к родным в

Москву, чтобы приехали и пока на время взяли к себе детей; они теперь с Грушей; все необходимое у них есть: я оставил деньги. Милая моя! Потерпи бога ради поспокойнее еще некоторое время, и верь, как я верую, что скоро кончатся все наши беды. Прощай, благословляю тебя заочно и крепко-крепко целую. Жди же меня и не горюй; да помни, что твое здоровье, твоя жизнь нужны еще для наших детей».

Бероев писал все эти утешения для того, чтобы хоть сколько-нибудь смягчить тот удар, который нанесет жене известие об его аресте, чтобы хоть немного придать ей бодрости, но сам далеко не был убежден в своих словах: бог весть, еще скоро ли кончится его дело, да и как еще оно кончится! И потому, чем спокойнее был смысл его фраз, чем больше он старался ободрить ее, представляя все дело одним только легким недоразумением, тем тяжелее и больней хватало его за душу чувство тоскливой, безнадежной безысходности. Он знал, что все-таки жена его иссохнет, истадет от тщетного ожидания и неизвестности; но хотел, чтобы эта неизбежная судьба

пришла к ней как можно позднее, хотел во что бы то ни стало замедлить, отдалить ее.

— Письмо ваше будет отправлено, быть может, сегодня же, мы постараемся, — пытался утешить его офицер, передавая свернутый, но незапечатанный листок бумаги одному из своих сотоварищей. — А теперь, — прибавил он с присущею всем им и как-то искусственно выработанной предупредительностью, — нам время уж: потрудитесь отправиться со мною.

Спустились во двор к одному из подъездов. Там уже ожидала извозчичья карета. Офицер пригласил в нее Бероева и сам уселся подле него. Стекла, все до одного, были подняты и шторы опущены весьма тщательным образом. Дверца захлопнулась — и колеса грузно загромыхали по снежным выбоинам мощеного двора.

— Куда вы теперь везете меня? — спросил арестованный.

Со стороны провожатого последовало на это полнейшее молчание.

Бероев подумал, что он не расслышал, и повторил свой вопрос.

Опять-таки одно молчание и больше ниче-

го, как будто с ним ехала мертвая мумия, а не предупредительно любезный джентльмен, каковым он был еще не далее, как за минуту. Бероев понял, что далее распространяться бесполезно, и потому прекратил свои расспросы. Все время ехали молча. Куда держат направление кони, не видно сквозь опущенные шторы, только огонь от фонарей мелькает и исчезает на мгновение, наполняя внутренность кареты то тусклым полусветом, то минутною темнотою. Но вот колеса покатились ровнее и мягче, как будто по деревянной настилке, — надо полагать, через длинный мост переезжают... Сквозь колеблющуюся занавеску на миг мелькнула сбоку, у края каретного окна, бесконечная лента ярких фонарей вдали — мелькнула и исчезла... И опять громыхание мостовой, затем опять небольшая деревянная настилка и — раздался наконец гулко-резкий грохот колес: карета въехала в крытые ворота... Бероев осторожно приподнял чуть-чуть свою штору и мельком заметил золотую ризу образа, вделанного в стену, с горящей перед ним лампадой, и далее — сверкнувшую грань на штыке часового.

Проехав еще некоторое пространство по каким-то обширным дворам, возница остановил наконец лошадей, и офицер поспешно выпрыгнул из кареты, захлопнув за собою дверцу.

Через минуту Бероев услышал голоса подле своего окошка.

— Здравствуйте, батенька? Что скажете хорошенького?

— А вот-с, нового постояльца привез к вам. Потрудитесь расписаться в получении.

— Можно. А куда его? В секретное?

— Кажись, что на тот конец, — там уж написано.

— Эге-ге!.. Ну, да, впрочем, место свободное найдется. Эй! Кто там, позвать приставника!

— Кого прикажете, ваше ско-родие!..

Бероева попросили выйти из кареты и, мимо караульной, повели по каким-то сводчатым коридорам. Впереди и позади его, мерно и в ногу, военною походкой шагали два солдата с ружьями у плеча. Сбоку виднелся сухощавый профиль офицера, не того, однако, с которым он приехал сюда, а впереди шагах в десяти расстояния торопливо ковылял пожи-

лой инвалид, позвякивая связкой ключей весьма почтенной конструкции. Сначала в коридоре как будто кислото припахивало казармой, махоркой да щами с печеным хлебом, а потом, чем дальше подвигались они в глубину этого полуосвященного, мрачной постройки коридора, тем более улетучивались эти жилые запахи, и все казалось как-то глуше, мрачнее и безжизненнее, только шаги солдата, звяканье ключей гулко раздавались под пустынно-звучными сводами.

Вышли на свежий воздух, прошли мимо палисада какого-то небольшого мостика и опять поднялись на лесенку — в новый и такой же мрачный коридор. Бероев мельком заметил в темноте контуры обнаженных деревьев, как будто что-то вроде садика, но затем внимание его тотчас же было отвлечено ковылявшим инвалидом, который остановился наконец у одной из дверей. Визгнул ключ в замке — и крепкие петли слегка заскрипели...

Опять совершился обряд переодевания в казенный серо-суконный халат, и арестант очутился один-одинешенек в своем новом помещении.

Это была просторная сводчатая комната с желтыми стенами. Жарко натопленная печь сообщала воздуху какую-то влажно-теплую прелость, которая имеет свойство в самое короткое время размять человека, меж тем как плиты каменного пола сохраняли присущий им холод. Кровать, табурет да небольшой столик служили необходимою мебелью, и если прибавить к этому умывальник в углу да ночник на стене, который своим беспрестанным миганием до ломоты в висках раздражал глазные нервы, то обстановка этого склепа будет уже вполне обрисована.

Бероев долго, в течение нескольких часов сидел на табурете, подперев руками отяжелевшую голову. Это было какое-то безжизненное, тупое оцепенение, до которого доводит человека мертвящее чувство отчаяния.

Наконец где-то далеко, в воздушной тишине раздалась монотонная прелюдия, разыгранная на малых колокольцах, и вслед за нею удары большого колокола медленно отсчитали полночь. Этот звук, казалось, проникал сюда как будто под землю, как будто в могилу какую.

«Слу-ша-а-ай!» — раздалось где-то наверху, в тяжело-мглистом воздухе, и Бероев судорожно встрепенулся.

— Значит, теперь уже за рекою... — прошептал он, смутно озираясь во все стороны своего склепа, и вдруг зарыдал в первый раз в своей жизни, таким глухим и тяжелым рыданием, от которого «за человека страшно» становится и которого не приведи бог услышать или испытать человеку.

А старые куранты меж тем после полуночного боя продолжали в вышине разыгрывать свою полуночную мелодию, и бесконечное «слушай» долго еще замирало в очередной перекличке на отдаленных бастионах...

У ДЯДИ НА ДАЧЕ

Правую сторону тюремного фасада, вдоль Офицерской улицы, занимает женское отделение. Центр его — круглая башня на углу Тюремного переуллка. Оно составляет как бы нечто вроде *status in statu*[332], в общем строе и порядке «дядиного дома», и потому в среде арестантов слывет под именем «дядиной дачи».

«Дядина дача» почти совсем изолирована от общей тюремной жизни, и только одна контора является звеном, вполне равносильным, как для «дядина дома», так и для «дядиной дачи». Высокий острый частокол отделяет маленький дворик женского отделения от большого двора. Этот дворик представляет весьма унылый вид: там и сям произрастают на нем два-три убогие, тощие, полузасохшие кустишки, от которых ни красы, ни тени. На протянутых веревках белье арестантское сушится. С одной стороны частокол с вечно запертыми воротами, с другой — угрюмого вида

наружные галереи женской тюрьмы. Высокие серые стены, черные окна за железными и сетчатыми решетками, а по ту сторону частокола — будка да штык часового, — на всем какой-то бесцветный колорит давящего мрака, на всем какое-то клеймо, невольно говорящее всякой грядущей сюда душе человеческой, что это — дом уныния, «дом позора». На общем дворе да по мужским отделениям видно еще хоть какое-нибудь движение, слышится хотя какая-нибудь жизнь, хоть какие-нибудь звуки-то жизни доносятся оттуда до уха постороннего наблюдателя; на женском дворе — пустота, и в женских камерах — тишина да пришибленность какая-то, как будто вошел сюда когда-то робкий, болезненно-скорбный испуг, да так и остался навеки.

А между тем условия тюремного существования на женском отделении не в пример лучше и комфортабельнее, чем на мужских; но... то, что порою легко и спокойно может выносить мужчина, является трудно и тяжело переносимым для женской души. Если, говоря примерно, из десяти мужчин один способен почувствовать нравственно позорный

гнет тюрьмы (другие по большей части чувствуют только неволю), то из десяти женщин разве одна только не почувствует его. Верно, уж таковы коренные свойства женской натуры, что тут является совсем обратная пропорция. Входит, например, в любое из мужских отделений стряпчий, прокурор или какое ни на есть «начальство» — арестанты не выказывают никаких признаков смущенной робости: они так же спокойны, как и до этого прихода, разве только с мест иные вскочат ради «почтительности»; на женском же — во взоре каждой почти заключенницы вы сразу и легко прочтете какой-то недоуменный испуг, болезненное смущение, и во всяком движении ее, в эту минуту, здесь невольно скажется вам страдальчески-пришибленная, приниженная робость. Начнут ли расспрашивать про дело, по которому содержится арестантка, — она невольно потупится и как будто застыдится, как будто ей совестно становится раскрывать перед человеком свой грех, свою душу. И поневоле вам покажется, что в тюрьме более, чем где-либо, женщина чувствует и сознает свое печально-пассивное, беззащитное, бес-

помощное социальное положение. Тут она как будто живее понимает свое бедное и общее женское бессилие.

Мы сказали, что условия женской тюремной жизни (по крайней мере в нашей тюрьме) лучше и комфортабельнее, чем мужской. Это оттого, что о женщине-заключеннице заботится женщина же. Женская душа скорее и больнее, ближе к сердцу почувствует горе и нужду ближнего, особенно же нужду женщины-матери, жены, дочери; а, быть может, ничто благотворнее не подействовало бы на арестанта, как мягко-теплое человеческое отношение к его личности и судьбе — отношение, в которое именно женщина способна становиться в тысячу раз более, чем любой филантроп-мужчина. Арестант любит и чтит это отношение: только фарисейски-черствой и как бы казенной филантропии да официально начальственной сухости не переваривает он. И вот где именно хорошее, доброе поле для женского дела, для человечески-женской благотворительности! И это будет настоящая благотворительность, а не одна модная светская филантропия, которая — увы! — по преиму-

цеству господствует в этом деле. Слава богу еще то, что между светскими нашими филантропами есть несколько счастливых человеческих исключений, которым собственно и обязана женская тюрьма тем, что она является на деле. Пусть не исключительно один мужчина, а и женщина, даже пускай по преимуществу женщина войдет в наши тюрьмы, да только не рисуясь ролью ангела-утешителя, а с искренним желанием добра и пользы, пусть она протянет человеческую руку помощи и примирения отверженцу общества, пусть она чутким и мягким сердцем своим почувствует его боль и нужду, его великую скорбь арестантскую! Это будет хорошее, честное дело, достойное женщины-человека. А у нас-то на широкой России оно даже более, чем где-либо, необходимо и насущно, потому — какого только народа, и винно и безвинно, не переживает ежегодно по нашим отвратительным тюрьмам! Недаром же у нас и пословица в народе сложилась: «От сумы да от тюрьмы не зарекайся», — пословица, горький и страшный смысл имеющая: она — безнадежный плод бедности, горькой нужды с ни-

щетою, но еще более того — отчаянный плод
бесправья и произвола.

XLII

БЕРОЕВА В ТЮРЬМЕ

Солдат тюремной команды вывел из конто-
ры вновь прибывшую арестантку и повел
ее коридором «на дачу». Внизу позвонил он у
низкой двери, довольно дубоватой конструк-
ции, которую отомкнула пожилая и, по-види-
мому, мускулисто-сильная придверница.

— Получите дачницу, — шутливо обронил
он ей слово.

Та кликнула одну из надзирательниц.

На ее зов в ту же минуту спустилась с тем-
новатой лестницы маленькая старушка с доб-
рым, благодушным лицом, одетая весьма
скромно в темное шерстяное платье.

— Получите-с, — повторил, обращаясь к
ней, провожатый, только уж без шутливого
тона, — приказано сдать в татебное.

Старушка добродушно поклонилась приве-
денной арестантке и посмотрела в ее убитое,
печальное лицо.

— Пойдем, милая, — сказала она, подымаясь на лестницу. — Как зовут тебя?

— Бероева...

— Тебя из части прислали, верно?.. У нас будет получше, полегче, чем в части-то, здесь еще ничего, можно сидеть... Ну, и товарки все-таки будут, и повольней немножко. Ты не печалься: что делать, с кем беды не случается.

Надзирательница привела ее в маленькую комнату и достала тюремное платье. Бероева переоделась и пошла вместе с нею в назначенную камеру.

Это была длинная комната, окна которой выходили на галерею. В конце ее чернелись рядом две двери, с надписью на каждой: «карцер». Мебель этой комнаты была весьма незатейлива: два-три длинных стола да простые скамейки, на которых сидело несколько арестанток, занимаясь шитьем грубого холста. С левой стороны шли четыре двери со стеклами, которые вели в четыре отдельные комнаты. Три из них тускло и скудно освещались решетчатыми окнами, по одному в каждой, четвертая была темна совершенно. В этих комнатах помещались железные кровати

арестанток, очень аккуратно застланные чистым бельем и покрытые буро-верблюжьими одеялами. Во всем, с первого взгляда, кидались в глаза такая же чистота и порядок, только воздух в низкой комнате был как-то больнично тяжел и тепел от нещадно натопленной печи. Впрочем, «пар костей не ломит, а холод руки знобит да работать не велит», — говорят на этот счет арестантки.

Старушка поместила Бероеву в первую от входа «татебную» комнату, где уже сидели три-четыре арестантки, одетые точно так же, как и она. Оглядысь и попривыкнув несколько к своему новому положению, новая жилища заметила, что ее «камера» резко отличается своим костюмом от всех остальных арестанток. Те были одеты в полосатые тиковые платья с белыми косынками на шее, наряд же Бероевой и ее камерных товаров отличался каким-то траурным характером: такая же белая косынка и черное платье.

— Отчего это? — спросила она свою соседку. Та горько усмехнулась.

— Оттого, милая, что мы татебные — «по тяжким», значит.

— Это, милая, затем, чтобы позору больше было, чтоб и здесь ты не забыла его, да чтобы всяк видел, какая-токая ты преступница есть! — подхватила другая со столь же горькой и едкой улыбкою.

— Этот хороший наряд «татебным капотом» прозывается, — заметила третья, трянув свою черную полу.

При этих словах четвертая — молодая, хорошенькая девушка — приникла лицом в подушку и вдруг тихо, но горько заплакала.

— Эх, Акуля!.. Опять ты... Полно, девушка, полно, милая!.. Слезами не поможешь — себя только надорвешь! — соболезнуя, отнеслась к ней первая арестантка.

Бероева с участием и любопытством смотрела на горючие слезы молодой, хорошенькой девушки.

— Вот бедняга-то! — обратилась к ней другая товарка, участливо кивнув на девушку. — Четвертый месяц сидит, а все еще к татебному капоту своему не может привыкнуть: как заговоришь только про этот наряд прекрасный, она и в слезы, индо вся душа выноет, глядячи...

— К позору, мать моя, не сладко привыкать! — со вздохом заметила первая.

Молодая девушка поспешно и как-то нервно вытерла свои ресницы и, вся зардевшись, быстро вышла из комнаты. В ту же минуту, поместясь у стола, поближе к свету, она энергично принялась за арестантское шитье, как будто этой работой хотела заглушить взволновавшую ее скорбь и свое горькое горе.

— За что она сидит? — спросила Бероева, которую сразу и как-то любовно расположили к этим «тяжким» преступницам их общительность к ней самой и это человеческое отношение к горю молодой девушки.

— Эх, милая! — горько махнула рукой одна из татенных, — и рассказывать-то, так индо сердце сожмется!.. Ведь она что? Ведь она малолеток почти: шестнадцать годков едва минуло. Она из Сестрорецка, вишь ты, и родителей имеет, только, слышно, в большой ужочинно строгости родители-то соблюдали ее — ну, а известно сердце девичье — волюшки хочется. Стал тут к ним писарек один антилеристский похаживать, ну и.. в тайную любовь вовлек молодую девушку, жениться,

конешное дело, обещался, и все такое. Она от родителей скрыла; говорит теперича, что и сама не ведала, в антересном ли она али не в антересном. Пошла однажды это в погреб за молоком, что ли, — на четвертом месяце дело-то было, — пошла да оступилась, да и бухнулась с лестницы. Как бухнулась — боль сразу же почувствовала, ну и... выкинула мертвого младенца. Родителей дома-то не случилось на ту пору, а она, дурочка, со страху да с боязни гневу отцовского, возьми младенца-то да и зарой в углу, во дворе под колотыми щепками. Соседка ихняя мимоходом видела все это, ну, и по злобе, али так уж просто, только возьми да и объяви начальству. Вот Акуля-то и сидит теперь, а судят-то, вишь, ее — за детоубийство. Сказывала она, будто и дохтур дал отписку от себя, что ребенок-то мертворожденный был, однако же слышно так, будто Акулю-то теперь в Сибирь решают. Вот оно что, милая!.. А и девушка-то какая хорошая! Смирная, богобоязливая, грамотейница такая — и все вот плачет да убивается. На минутку словно полегчает ей, повеселеет чуточку, а там — как вспомнит про свое горе —

опять за слезы по-старому!

— А то у нас другая тоже есть «благородная», так той уже была и «вычитка» — решили, значит, — словоохотливо сообщила другая арестантка.

Все они как будто хотели сразу же выказать Бероевой доброе, товарищеское общение, не косились, не дичились ее, а, напротив того, сами делали первый шаг к сближению. Да и как тут не желать сблизиться, несмотря на всю разнородность характеров, бывшего положения в жизни и, наконец, самых проступков или преступлений, если всех этих женщин общая их нужда да неволя свела под одну кровлю и заставила жить в одной и той же комнате, делить одно и то же тюремное существование и одни и те же тюремные интересы! Вообще в среде женщин-арестанток, несмотря на дикость и порочность некоторых, выказывается неизмеримо более, чем у арестантов-мужчин, человеческого участия, теплоты и общительности в отношении «новых жильцов». Здесь нет ни тех цинически-бесчеловечных игр, ни того презрительного отношения, которое у мужчин встречает

каждого «новичка», если только этот новичок с первого же разу не выкажет себя чем-нибудь вроде Акима Рамзи. Эта общительность и человечность происходит, во-первых, от мягкости, вообще присущей женской натуре, а во-вторых, — оттого, что женщин-арестанток несравненно менее заедает тюремная скука и бездействие, так как все они занимаются большей частью шитьем да вязаньем, то есть работой по преимуществу женской, наиболее привычной для них, за которую, вдобавок, арестантка получает и плату.

— За что же эта благородная содержится? — спросила Бероева.

— А уж так судьи рассудили, милая. Она, вишь ты, замужняя женщина, — продолжала арестантка, — и хорошая жена мужу своему, и дети есть, даже теперь ее там наверху в лазарете вместе с ребяtnицами[333] содержат, потому что младенец при ней: тут в тюрьме и разрешилась. Жили они, слышно, мирно да честно, только грех такой с ней случается, что и сама не ведает, откуда и как он приходит. Как только затяжелеет она, так ее и тянет что ни на есть украсть, словно сила нечистая тол-

кает неодолимо. Оно, конечно, с нашей сестрой в этакую пору всякая блажь случается: иная на одну какую-нибудь пищу накинется, иная — ни с того ни с сего, гляди, либо мел, либо известку, а не то уголья ест; ну потом сама, чай, знаешь, обыкновенно и проходит это; а у нее, милая ты моя, тоже, надо полагать, — блажь на воровство. Ну, и украла, а ее поймали да в наш монастырь засадили. Тут она и родила. Отсидела свой срок, и выпустили. Опять затяжелела, и опять украла. Ну — засадили, да стали судить, а тем часом она у нас разрешилась. И таперича за вторичную кражу ее, по строгости да и по закону, присудили в Сибирь. Уж что тут слез да горя-то было, батюшки мои!.. И вспомнить больно... Муж у нее служил; так вот, слышно теперь, службу свою бросил и с нею вместе, заодно уж, тоже в Сибирь идти пожелал, и детей с собою забирают, чтобы всем семейством не разлучиться, значит. Так вот оно, милая, каковы дела у нас бывают.

Бероеву проняло чувство, близко подходящее к ужасу, от страшного смысла этих рассказов: если подобные факты решаются та-

ким образом, то какого же решения должна она ожидать себе — в деле, где известные уже обстоятельства делали ее положительно виновной!

Она не скоро оправилась от тяжелого впечатления, в которое глубоко погрузили ее эти невеселые думы.

Под вечер вошла к ней в комнату старушка-надзирательница и села у нее на кровати: ей хотелось поближе познакомиться с новой арестанткой. Вынув из кармана шерстяной чулок, она принялась за вязание и понемногу затеяла разговор. Арестантки любили Мавру Кузьминишну, потому — хорошего да честного и богобоязненного человека в ней видели. «Николи-то она тебя ничем не избидит, николи и крику да брани не подымет, а все потихости, по-простоте да по-любовному, и пожалеет, сердобольная, да еще при случае и начальству доброе слово за тебя замолвит». И замечательно, что на женском отделении нашей тюрьмы существуют более близкие и добрые отношения между арестантками и их ближайшим, непосредственным женским «начальством», чем на мужской половине от-

носителем приставников.

Бероева тоже с первого взгляда как-то почувствовала хорошего человека в этой старушке и душевно расположилась к ней. Незаметно разговор свелся на ее дело, в котором арестантке нечего было таиться, и она подметила две-три слезинки, тихо смигнутые старушкой во время ее грустного рассказа.

— Вот что я скажу тебе, моя милая! — утешила ее Мавра Кузьминишна. — Дело твое, даст бог, и иначе еще может окончиться. К нам вот иногда благодетельницы наши приезжают — расскажи ты это все которой-нибудь, может, и к сердцу примут, хлопотать начнут: случаи такие бывали у нас, да жаль вот, одной-то нет теперь — уехала, а то бы она приняла это близко... Ну да и другие авось не оставят... Сделай же это. За свою судьбу неповинную не стыдно просить, право, сделай!

Бероева, умягченная этим мягким участием, которое встретила она и в старушке и в тюремных товарках, в первый раз со времени своего заключения заснула более тихим и спокойным сном. Теперь уже кончилось для нее могильное, глухое одиночество, теперь

она хоть и в тюрьме, но с людьми: благо, всю гуманную, воскрешающую силу которого вполне глубоко может почувствовать только человек, перенесший долгое одиночное заключение.

* * *

На следующий день она незаметно стала осваиваться с незатейливым тюремным бытом и вглядываться в других, нетатейных заключенниц. Тут были всякие женщины, всякие характеры и всякие возрасты, от двенадцатилетней девочки, не помнящей родных и взятой за бродяжничество, и до странной старухи-немки, которая содержится в тюрьме уже несколько месяцев. На первый же день, как только привели ее, она избрала себе помещение в темной комнате и с тех пор безвыходно сидит там на своей кровати да головой тихо покачивает, но ни с кем ни одного слова не сказала, так что никто из арестанток не знает, как и за какое дело она содержится. Приедет ли стряпчий или товарищ прокурора справиться о делах арестанток да узнать, нет ли у них каких-либо просьб по судам, — старуха нехотя отвечает, что просьбы никакой у

нее нет и что в настоящем своем положении она счастлива совершенно: «Ich bin hier ganz glücklich, ganz glücklich, mein Herr!»[334] — бормочет она, а больше ничего от нее не добьешься.

Тут были и молодые женщины, которые, вполне помирившись с тюремным бытом, постарались устроить в нем для себя даже некоторые приятности и завели совершенно невинные, вполне платонические романы с так называемыми «любезниками» мужской половины. Убогому и далеко не красивому наряду они умудряются придать какое ни на есть убогое, тюремное кокетство: иная волосы как-нибудь помудренее причешет, иная покрасивее белый платочек на голову прикинет, и ходят между арестантками, вполне довольные своим незатейливым убранством. Одна из них с затейливо-лукавой улыбкой подошла к Бероевой и таинственно спросила:

— Вы грамотная?

— Грамотная...

— И писать тоже умеете?

— Умею... А что?

— У меня, душечка, просьба, большая

просьба к вам: прочтите, пожалуйста, мне записочку одну, только так, чтобы надзирательницы не видели и из товарок мало бы кто приметил: это у меня от душеньки моего — тоже в арестантах тут содержится... А сама-то я не разберу... Прочтите, пожалуйста!

— Извольте.

И они вошли вместе в татевную комнату, где Бероева у окна тихо прочла ей:

«Я тебя тоже очень люблю, только пришли мне денег тридцать копеек, а можешь больше, то и больше пришли».

— Вот и все, — сказала она, отдавая клочок бумажки.

— Все?.. Ах он, злодей, мой злодей! Так мало, — покачала головой «нарядница». — Надо послать ему, нечего делать...

— А вы часто посылаете ему? — спросила Бероева.

— Часто... Вот что заработаю здесь на шитье, то все почти и посылаю, да еще Галилееву даю за доставку — солдат это у нас есть такой, что записки наши переправляет. А он, злодей, хоть бы написал-то побольше... Хоть бы слов-то любовных каких-нибудь!.. Как по-

думаешь, так и не стоило бы нашей сестре любить-то их, мужчин этих противных.

— А вы давно его любите?

— Нет, не очень-то давно. Здесь же в тюрьме полюбила.

— Да как же это? — изумилась Бероева. — Разве тут видятся с арестантами?

— Нет, как можно видеться!.. А мы за обедней переглядываемся. Они с одной стороны на хорах стоят, а мы напротив — ну, вот так и видим друг дружку. А потом либо они, либо мы их как ни на есть узнаем и напишем сейчас записочку, а больше и ничего. Они нам свои новости иной раз описывают, а мы им свои, ну, и опять же вот разные любовные слова — и только, да деньги, когда бывают, посылаем, тоже, однако, это уж больше мы им, а не они нам. Потом, случается, как выйдут из тюрьмы, так отыщут друг дружку и живут вместе, а иной женится; только это редко, а больше бывает так, что пишем записки да переглядываемся издали, а как выпустят на волю, то никогда и не встретишься больше, так что это промеж нас одна только тюремная любовь.

Арестантка потупилась на минутку и затем снова приступила к Бероевой с прежней застенчиво-лукавой улыбкой:

— Душечка моя, что я вас попрошу еще... сделайте вы мне божеское одолжение такое, — уж я вам заслужу, чем ни на есть, а уж беспременно заслужу!

— Что же вам надо? — спросила Бероева.

— Ответик написать... Сама-то дура неученая, так вот и не могу, а хочется, очень хочется написать ему что-нибудь...

— Да разве у вас тут никто не умеет? — попыталась немного уклониться Юлия Николаевна.

— Как вам сказать!.. Уметь-то, пожалуй, и... умеют, да только одна каракули пишет так, что и не разберешь ничего, а другая — все на смех. Ты ее попросишь почувствительнее что-нибудь, а она возьмет нарочно, да такого нагородит, что только срам один; засмеют товарки, опять же и душенька выберани в ответе: что ты, мол, за глупости мне написала! Скажешь ей это, а она потешается: только обида одна выходит. А то тоже третья есть у нас — французинка, то есть она не то чтобы

совсем францужинка — она русская, а только у актрисы французской в горничных жила и брильянты у нее украли... Теперь, как из начальства ежели кто приезжает, так она все норовит непременно по французскому заговорить с начальством-то, ну, и кочевряжится этим перед нашею сестрою. Так вот эта францужинка очень хорошо умеет письма писать и даже со стихами с разными, так что очень даже чувствительно и хорошо, да одна беда: не пишет даром, а все ты ей заплати, а из чего заплатишь, если вот ему, злодею, тридцать копеек надо послать!.. Наши заработки не бог весть какие... Так уж я к вам! — заключила она со вздохом, — будьте вы такая добрая, не откажите мне!..

Юлия Николаевна, нечего делать, согласилась.

— Что же вам написать-то? — спросила она.

— Что-нибудь такое... поласковее... Со стихами нельзя ли? Вы не знаете ли каких-нибудь стихов таких, чтобы пожалостнее были?

— Нет, голубушка, таких не знаю...

— Не знаете?.. Ах, какая жалость, право! Французинка у нас, так та очень много знает... Ну да все равно!.. Вот вам, душечка, бумажка и карандаш — уж не взыщите, какие есть!

И она вынула ей из-за пазухи оборвыш бумаги вместе с обгрызанным кусочком карандаша.

— Вы постойте-ка! — шепнула она, как-то сметливо подмигнув ей. — Я вот попрошу товарку одну покараулить, чтобы кто не вошел часом, а сама стану говорить вам — вы этак со слов-то моих и пишете!

«Нарядница» мигом привела в исполнение свой план и стала около Бероевой в углу, у небольшого стола, на котором обыкновенно обедают татевные[335].

— Вы пишете ему так, — начала диктовать арестантка: — «Милому другу моему Гречке! — мой усердный поклон, и посылаю тебе я, Катюша Балыкова (это меня Катюшей Балыковой зовут), посылаю я тебе, тирану моему, тридцать пять копеек серебра деньгами, а больше не могу, потому — нет у меня. Люблю я тебя, душа моя, крепко, а ты, злодей, не лю-

бишь меня». На этих словах арестантка задумалась.

— Эх, хорошо бы что-нибудь пожесточе написать ему! — воскликнула она. — Что я, мол, страдаю и мученья принимаю, что-нибудь этакое... Ну, и «пишу тебе эту тайную записку от сердца моего», и все такое. Любовных бы словечек каких-нибудь подобрать? Не можете ли вы? Подберите-ка! — обратилась она к Бероевой.

— Да каких же это? Я не знаю, не умею я, — отозвалась Юлия Николаевна.

— Ах, какая обида!.. Ну, да нечего делать, и так будет хорошо! Ведь хорошо будет? А?

— Прекрасно.

Бероева прочла ей написанное, и Катюша Балыкова осталась очень довольна, сожалея, впрочем, о любовных словах, которые она сердцем чувствует, и очень бы хотелось ей написать их, да одна беда: подобрать сама никак не умеет, чтобы этак складно выходило.

— Потому, это точно, что трудно, — рассудила она в заключение, — иное дело, если любишь которого человека, так тут можно еще словцо такое душевное найти: душа сама

напишет, а для другой писать, как вы вот для меня, когда, значит, сама не чувствуешь, это точно что даже очень трудно.

Засим благодарностям и радостям не было конца, и Юлия Николаевна через свою маленькую услугу приобрела себе добрую и любящую товарку в лице Кати Балыковой.

— Вот мое горе какое! Вы знаете ли, за что я сижую-то здесь, — сказала она однажды Беровой. — Ведь я от мужа своего убежала: за что и сужуся теперь!

— Как же это так случилось? — спросила та, видя, что Балыковой хочется высказать свое горе.

— А так вот. Вы не думайте, что я воровка или распутница какая, — начала она, — я совсем по-другому содержуся... Мой тятенька, видите ли, ундер департаментский и выдал меня тоже за ундера, вместе с тятенькой служат. Только муженек-то мой любезный и захоти, чтобы я икзикутору нашему полюбовницей была, в этой надежде собственно и женился на мне. «Нам, говорит, с тобой тогда не в пример лучше жить будет, потому — к дровяной части, говорит, приставят, а тут доходы

и все такое, и мне, говорит, икзикутор на этот счет словцо такое замолвил». А я этого никак не пожелала, потому, хоть не особенно люб был мне муженек-то мой, однако же лучше хотела я по-божескому в законе себя соблюдать. Стал он меня бить за отказ мой, да целые дни, бывало, поедом ест и все приста-ет-то, все пристаёт, так что даже противен стал за это самое. «Какой ты, говорю, муж есть, коли законную свою жену на этакое непутное дело толкаешь!» Ну, сказать-то ему на эти слова мои, конечно, нечего, кроме как кулачищем... Что ни день, то пуще бьет и ругает... И сам икзикутор стал уж тут прямо ко мне приставать; чуть только встретится со мной во дворе или в коридоре, сейчас с любезностями: «Полюби, говорит, а не то хуже будет, покаешься — да уж тогда сам не захочу». Я было тятеньке пожаловалась, тятенька стал мужа корить, а тот говорит: «Не твое отцовское дело промеж мужа с женою становиться, ты, говорит, наших делов не знаешь, да и знать не должен». Надоело мне все это, так надоело, что хоть с мосту да в воду! Я и убежала — из городу совсем убежала, куда

глаза глядят. В Петергофском уезде меня поймали, да в стан. «Кто такая?» — спрашивают, а я себе и думаю: назваться мне своим именем — к мужу отправят, лучше, думаю себе, назовусь по-другому, и объявилась, что звать меня Лукерьей Сидоровой. А икзикутор с мужем тем часом объявку подали о моей пропаже. Начальство подвело так, что очную ставку дали: не окажется ли, мол, такая-то бродяга Лукерья Сидорова Катериной Балыковой? Ну, и оказалась. Я говорю свою причину, а муженек с икзикутором доказывают на меня, что и воровка-то я, и распутница-то, и все такое... Бог им судья за это!.. Вот и гощу теперь «у дяди на даче». Да лучше пускай куда ни на есть решат меня — хоть на каторгу, — только бы не к мужу!.. К мужу опять ни за что не пойду я, лучше сгнию весь век свой в тюрьме проклятой, потому — противен он мне — хуже смерти самой!.. Да, вот таким-то манером загубил меня мой тятенька родной, а жила-то я у тятеньки такой хорошей да веселой девушкой... А впрочем, я и тут вот веселая, ей-богу веселая! — добавила она с улыбкой сквозь слезы и засмеялась. — Вот Гречку со скуки по-

любила... Он хоть тоже не молодой, далеко не молодой, а полюбила почему-то... И бог его ве-
дает, какой такой он человек, может, еще по-
чище муженька моего будет — не знаю ведь я
его совсем, а вот так это, люблю себе сдуру —
ей-богу! — закончила она, утирая слезу, и ве-
село засмеялась, махнув беззаботно рукою.

Таким образом, поневоле и мало-помалу
входя в изгибы и глубь этой жизни, Бероева
становилась к ней лицом к лицу, и эта за-
мкнутая сама в себе жизнь незаметно откры-
вала ей многие свои тайны. Тут узнала она
характер наших женских преступлений — по
большей части горький плод невежества от-
носительно законов, через что эти несчаст-
ные, зачастую не ведая, что творят, играют
часто пассивную роль в каком-либо преступ-
лении гражданском; плод нужды с нищетою,
породивших порок и разврат, и наконец плод
невыносимого гнета — разного гнета, которо-
го не искать-стать у русской женщины: есть
его вдоволь! Тут и былой барский гнет, и се-
мейный, и мужний, и общественный... Не пе-
ресчитать всех этих горьких и ядовитых пло-
дов, или иначе пришлось бы, может, испи-

сать целые томы. И это нисколько не преувеличено, это все так, все оно есть, все существует на деле — надо только приглядеться немножко да одуматься. Были тут и бродяги беглые, и воровки, и женщины «за веру правую свой крест несущие», и участницы в подделке фальшивых бумаг да денег; были такие, что на жизнь мужей посягали. И замечателен тот факт, что на мужей посягается чаще, чем на жизнь любовников. Были и детоубийцы — из страха общественного позора да власти родительской покрывшие дело тайной любви своей жестоким преступлением. Наконец и просто убийцы были, но эти последние между женщинами весьма нечасто случаются, они уже очень редкие исключения в женской тюрьме, так как женщину вообще очень редко влечет к преступлению ее личная преступная и злобно направленная воля. Женщина — по преимуществу преступница пассивная, причем у нее зачастую служит мотивом любовь. Ее вовлекает в злое дело, в качестве сообщницы, либо ослепленное подчинение воле любимого человека, либо оскорбленное, обманутое чувство, либо же, наконец,

несчастно сложившиеся обстоятельства угнетающей жизни да разврат, который начался, быть может, ради насущного куска хлеба, потом убил в ней нравственную сторону и затянул под конец в омут, доведший ее до тюрьмы и ссылки. Вот каковы по преимуществу мотивы женских преступлений.

* * *

Тихо и глухо тянется жизнь на женском отделении. Утром раньше всех поднимутся с постели стряпухи да камерная «старостиха»; подвяжет она присягу[336] свою и вместе с помощницами приведет в должный порядок наружный вид подчиненных ей комнат. Затем — тот же «кипяток», что и на мужской половине, и начинаются работы. Одни садятся за шитье арестантского белья да военных палаток либо на разные казенные заведения такие же заказы швейные исполняют; другие опускаются в подвальный этаж, где помещается мрачно сводчатая, темноватая прачечная, по которой прелый и горячий пар вечно ходит густым и тяжелым облаком. И таким образом дотягивается до вожделенного вечера тюремный день арестантки.

А вечером соберутся в кружки да по кучкам на кроватях рассядутся. Тут идет беседа, там «сказочку про козочку» рассказывают, здесь четьи-миней читают, а там вон тихо песню затянула какая-то. Песни здесь те же самые, тюремные, что на мужской половине, впрочем, «песельницы» предпочитают больше «романцы разные».

Происшествий такого рода, которые взволновали бы чем-нибудь камерную жизнь, здесь почти не случается. Редко даже нарушается когда обычно глухая тишина и порядок. Раз только та арестантка, что любит письма на смех писать, устроила тюремную штуку. Подозвала она к себе одну из «новеньких», молодую и какую-то придурковатую девушку.

— Хочешь, я тебе сказку скажу? Чудесная сказка!

— Скажите, тетушка!.. Я очинно даже люблю!..

— Ну, ладно! Я буду говорить, а ты за мной все ну повторяй, непременно же повторяй, говорю, а то и сказка не выйдет — так и не доскажется. Так непременно же ну, слышишь?

— Непременно, тетенька, непременно!

— Ну, так слушай: «Жили себе дед да баба...»

Арестантка замолкла на минутку, в ожидании ну со стороны слушательницы.

— Что ж ты ну-то не говоришь? балбень ты этакой!.. Говори: ну!

— Ну, тетенька! Ну! Ну!

— «Была у них внучка, а у внучки — сучка», — продолжала пересмешница.

— Ну?! — подхватила девушка.

— Вот теперь хорошо, в аккурат! Так и повторяй!.. «И посеял дед горошек».

— Ну?!

— «Растет горошек до скамейки...»

— Ну?!

— «Сломал дед скамейку — растет горошек до окна».

— Ну?!

— «Высадил дед окошко — горошек до потолка».

— Ну?!

— «Проломил дед потолок — растет горошек до крыши».

— Ну?!

— «Разломал дед крышу — горошек до са-

мого неба. Как тут быть с горошком?»

— Ну?!

— «Поставил дед лестницу-поднебесницу...»

— Ну?!

— «Полез по ней дед — добывать горошку».

— Ну?!

— «За дедом баба на ту ж дорожку».

— Ну?!

— «За бабой внучка — за внучкой сучка».

— Ну?!

— «Вот только дед лезет-лезет — не доле-
зет, баба лезет — не доле-зет. Досада обоих взя-
ла».

— Ну?!

— «От великой от досады дед плюнул ба-
бе».

— Ну?!

— «Баба внучке...»

— Ну?!

— «Внучка сучке...»

— Ну?!

— А сучка тому, кто говорит ну».

Девушка обиделась, и в ответ сама плюнула на рассказчицу, затем уже обе «в цепки»

принялись, и поднялась женская драка, самая упорная из всех возможных драк, доходящая до мелочного, шпилько-булавочного, но тем не менее ужасного ожесточения. Розняли, как прибежала надзирательница, и обеих засадили в «темные», откуда долго слышались потом их горькие всхлипывания.

И вот изредка только подобными приключениями нарушается приниженная тишина в среде обитательниц «дядиной дачи», да еще филантропические наезды кое-когда бывают. Но об них читатель узнает в надлежащем месте.

И среди такой-то жизни Бероева нашла себе искреннего, теплого друга, к которому привязалась почти с первого шага своего в женской тюрьме. Этим другом была для нее благодушная, сердобольная старушка-надзирательница Мавра Кузьминишна. С ней одной по душе делила арестантка неисходное горе, и она одна только своей тихой, голубиной мягкостью да беспредельной и покорной верой в божескую правду могла иногда хоть на время утешить, рассеять и утолить измученную мысль и душу заключенницы.

ТЮРЕМНЫЕ СВИДАНИЯ

— Бероева! Ступайте вниз: к вам посетители, — объявила надзирательница, входя в камеру.

Юлия Николаевна поспешно оставила урочное шитье толстой арестантской рубахи и, наскоро накинув платок, побежала в назначенное место. Это был час свиданий. В редкие минуты таких внезапных вызовов она оживала душою, потому что эти минуты приносили ей жгуче-горькие, но вместе с тем и глубоко отрадные ощущения — она видела своих детей, которых приводила к ней Груша, она ласкала, целовала их, она живее чувствовала себя матерью в эти мгновенья, всецело и до мелочей отдаваясь на короткое время материнской заботе.

Но на нынешний раз, казалось, арестантка спешила более, чем когда-либо. Она знала, что это приехала ее старая тетка, что она теперь привезла детей проститься, в последний раз, перед завтрашним отъездом их в Москву,

где они будут жить под ее крылом — бог весть до коих пор, пока не настанут лучшие времена для обоих заключенных. Тетка, вызванная сюда письмом Бероевой, отлучилась от своих домашних на короткий срок, не более как дней на пять, собрала в дорогу детей и уже торопилась восвояси, но все-таки прежде всего успела выпросить себе разрешение на это время ежедневно видеться с арестанткой. Видеться с Бероевым нечего было и думать; однако добрая старуха каждый раз брала грех на душу и лгала — ради утешения, — что она ездила к разным властям, и власти будто бы сказали ей, что дело его идет очень хорошо, что все окончится одними пустяками и притом, по возможности, постараются окончить скорее. Она точно что ездила; только ничего подобного ей не говорили.

— Да в чем же дело-то его? — с тоскливым недоумением спросила ее однажды арестантка.

Старушка несколько смутилась.

— Да господь святой знает, в чем дело!.. Этого уж они ведь не скажут, а говорят только, что ничего...

Хотя всех этих вымышленных известий было очень недостаточно, чтобы успокоить Бероеву, и хотя каждый раз после таких сообщений она только с тоскливой досадой плечами пожимала, однако и эти скудные вести все же хоть сколько-нибудь придавали ей бодрости и надежды. Старуха видела это и потому лгала, основывая свои добродушные выдумки на письме самого Бероева, которое прочла ей Юлия Николаевна еще в первое посещение.

* * *

Тюремная контора между часом и двумя пополудни представляет зрелище весьма разнообразного свойства. Мрачная, большая комната кажется еще более неприветной от частых железных решеток, которыми для пущей безопасности снабжены ее окна. Одни окна выходят на Офицерскую улицу, и за ними ежеминутно мелькает автоматически расхаживающая фигура часового с ружьем на плече; другие смотрят во внутренний, надворный коридор, так что в этой половине комнаты от них идет еще менее свету, чем от уличных окон. Деревянная балюстрада делит

всю камеру на две половины. В первой — столы под черной клеенкой, канцелярские чернильницы с обрызганными, исписанными перьями и тюремные книги да отчеты, над которыми корпят служебные физиономии весьма неприветливого свойства и далеко не красивого образа. Вторая половина — окнами в надворный коридор — отведена для свидания заключенных с навещателями. Во входные двери то и дело шмыгают туда и обратно тюремные сторожа да вооруженные солдаты, которые конвоируют арестантов по вызову конторы ради всяческих канцелярских надобностей. В первой половине поминутно и отрывисто раздаются сипло-резкие голоса с начальственным тембром: «А?.. что?.. за каким номером?.. Марш в камеру!» и т.п. Во второй половине тихо; тут разговаривают робким полупшепотом; каждому хочется наговориться о своих кровных, домашних, семейных делах, которые, по большей части, жутко бывает человеку выставлять напоказ, во всеобщее сведение, потому что эти дела домашнего очага уже как-то невольно хочется ревниво хранить у сердца. Вся эта половина сплошь заня-

та самыми разнообразными группами. Вон бледная, истощенная трудом да тяжелой душой женщина в убогом платишке пришла навестить заключенника-мужа: не хочется ей плакать при людях, делает она усилия, чтобы задержать свои слезы, а те то и дело навертываются на ресницы, и неловко ей от этого становится, и старается она пониже потупить свою голову, чтобы застенчиво смигнуть эти непрошенные слезы. Целую неделю работала она да по грошам урывала от насущного хлеба, чтобы снести несколько копеек мужу да купить ему сайку на гостинец. И мужу-то как будто не по себе. Посадил он на колени ребенка, смущенно гладит его по голове, а двое других ребятшек буками прижались к матери и с угрюмой тупостью озираются по сторонам. Взглянет он любовно на этих ребяток... — и словно еще жутче станет ему... «Вот, мол, — дети, а поди-ка, смыслят, что отец в тюрьме, — невольню читаешь на его смущенном лице, — а подрастут, и того пуще домекнутся тогда... Э-эх, нехорошо!..» И начинает он как-то учащеннее гладить волосики своего ребенка. А подле этой группы — другая: к стари-

ку-немцу с простовато-благочестивым лицом пришли его взрослые дети и тоже с гостинцем: яблоков принесли, и старик, с ребячьим наслаждением, по маленьким ломтикам кусает свой гостинец, словно хочется ему продлить это вкусное удовольствие: в тюрьме по преимуществу познается цена вольной, домашней пицци, какова бы она ни была. А далее рыжая купеческая бородка ведет с навещателем своим — судя по выражению физиономий — какие-то переговоры насчет «коммерческих делов» весьма шильнического свойства: надо полагать, за злостное банкротство содержится. За ним, крепко прижавшись друг к дружке, уселась новая пара: молодой человек в арестантском пиджаке и молодая хорошенькая девушка; шепотом говорят они что-то между собою, но так энергично, так быстро и вместе так безотрадно — «верно, любят друг дружку», — со вздохом замечает про себя вдова-купчиха с-под Ивана Предтечи Ямского[337], которая приехала сюда подаянья внести в пиццию заключенных Христа ради, на помин «души раба Власия». Тут же сидит и «франт» из породы «аферистов», с нафабрен-

ными усами и в розовом галстуке, который тщится улучшить удобную минутку, чтобы передать секретно оплаченный уже в подворотне фунт табаку своему товарищу — такому же франту в черном «дворянском» пиджаке. Словом, куда ни обернись, везде разместились самые разнообразные группы: там тихо, одушевленно разговаривают, здесь — понуро-уныло молчат, пришибленные горем; в третьем углу скользит беззаботная улыбка и слышен сдержанный веселый смех; в четвертом — вдруг прорвалось накипевшее рыданье в прощальную минуту, и во всех почти углах и концах этого отделения идет еда и угощение: тут и пироги, и ветчина, и булка, и лакомство всякое. Для заключенных это самые светлые, самые душевные минуты в их однообразно скучной тюремной жизни. Но не все заключенные пользуются правом свидания в конторской комнате. Это счастливое исключение принадлежит по преимуществу арестантам привилегированных классов: дворянам, купцам, почетным гражданам, вообще тем, «к кому ходят почище»; классы же непривилегированные под это исключение

по большей части подводит какая-нибудь тюремная протекция. Все же неимущие таковой пользуются иным местом свидания, которое способно навеять на любого посетителя самое мрачное впечатление: в подворотне замка, в правой от входа стене, есть довольно просторная ниша, отделенная от проезда толстой железной решеткой с таковою же дверцей. Сквозь эту дверцу посетитель подымается на несколько ступеней и входит в длинноватую и полутемную камеру, которая посередине перегорожена вдоль двумя мелкосетчатыми решетками, в расстоянии аршина одна от другой. В промежутке между ними расхаживает часовой, а две зарешеточные половины камеры наполняются: одна — посетителями, другая — арестантами. Сквозь эту двойную железную вуаль кое-как можно еще разглядеть знакомое лицо, но пожать ему руку, сказать тихое слово по душе да по сердцу или передать из кармана в карман какую-нибудь булку — нечего уже и думать: зоркое око и ухо «дежурного», который, помимо часового, долженствует присутствовать при свиданиях, решительно не допустит ни до чего подобно-

го.

На женском отделении это дело идет несколько сноснее. Там вместо двух решеток ограничиваются одной. С одной стороны стоит толпа родственников и знакомых, с другой — приникли лицом к окошку заключенницы. Идет смешанный гул и говор, на многих грустных и убитых глазах виднеются слезы...

— Прощайтесь!.. Время прощаться! — восклицает надзирательница и, растворив двери решетки, отделяющей посетителей от заключенниц, становится в этой двери, протянув свою руку. Через ее руку идет торопливое прощанье, поцелуи и благословенья, — торопливое потому, что сзади еще целая толпа дожидается своей очереди проститься и передать какой-нибудь пирог да сайку.

— Матери могут остаться — мужьям и братьям нельзя!.. Матери, оставайтесь! — снова покрывает прощальный гул толпы громкий голос надзирательницы, и несколько старух, крестясь из чувства благодарности, спешат отделиться в сторонку, чтобы потом, когда опустеют камеры, вдосталь и по душе погово-

риться лицом к лицу, без ненавистной решетки, со своими заключенными дочерьми.

* * *

— Ну, Юлинька, я тебе радостную весточку привезла, — начала старуха, расцеловавшись с Бероевой, когда та вошла в контору. — Вот поздоровайся с детками — и расскажу.

— Какая весточка? — стремительно бросилась к ней арестантка, предчувствуя, что тетка, верно, что-нибудь про мужа скажет ей.

Старушка отвернулась в сторону: она боялась, чтобы глаза как-нибудь не выдали ее невинной лжи, потому очень уж неловко было ей смотреть на Бероеву: хоть и ради доброго дела привирала, а все-таки неловко.

— Да ведь я Егора-то Егоровича видела, — промолвила она и, чтоб занять чем-нибудь глаза да руки, принялась поправлять на внучке шейную косынку.

— Видела!.. — воскликнула Бероева. — Ну что же он? Говорите мне! Говорите, бога ради, все скорее!

— Видела, — повторила старуха, — говорила с ним... Ну, ничего... надеется, что скоро выпустят...

— О, дай-то господи!.. Что же он, исхудал? измучился? Болен он? Не скрывайте от меня. Умоляю вас, ничего не скрывайте! — порывисто наступала на нее Бероева, хотя вся беседа, по обычаю конторских свиданий, шла тише чем вполголоса.

— Ну, вот уж ты сейчас и «болен»! Ничего, здоров и бодрый такой, не убивается... Одно только крушит его: думает все, что ты-то тут убиваешься. Не велел он тебе этого... Люди вы еще молодые, да и ребята есть — так вот для них-то надо побережь себя, вот он что сказать тебе велел-то!

Старушка говорила все это потому, что всеми силами и всей любовью души своей желала, чтобы Бероева легче, мужественнее переносила свою убийственную судьбу. Она знала, что добрая весть о муже сильно подкрепила и ободрила ее на будущее время, и потому в последний раз перед расставанием с детьми, на бог весть какой срок, решилась даже на более крупную ложь — сказала, что виделась с Бероевым.

«Доселе-то хоть с детками видалась, — размышляла старуха, — все же утешение было, а

теперь, как увезу-то их, так и последней радости лишится — еще пуще затоскует, совсем убьет себя... Лучше уж еще раз солгать, прости господи, да лишь бы утешить покрепче, чтобы подольше-то хоть надежда какая-нибудь была у нее, а там, Бог даст, может, и счастливо все обойдется».

— Говорил он с вами что-нибудь о своем деле? — нетерпеливо спросила Бероева.

— О деле-то... н-нет, — слегка замялась старушка, — о деле там-то ведь нельзя рассказывать: тайна ведь это, а только и сказал, что все пустяки и скоро все кончится, что, главное, убиваться тебе отнюдь не следует. И начальство ведь про дело-то его то же самое говорило — так чего ж тебе крушиться? — в виде последнего убедительного аргумента заключила старуха. — А вот я тебе денег да белья привезла, — присовокупила она, передавая ей несколько ассигнаций вместе с полотняным узелком, — пускай у тебя ни в чем тут недостатка не будет.

XLIV

СТАРЫЙ РУБЛЬ

Пробило два часа — конец тюремным свиданиям. Надо было расстаться. Бероева крепко обняла и долго целовала обоих детей своих, словно бы уж ей не суждено было увидеться с ними. Несколько крупных горячих слез упало из ее глаз на их печальные личики. Дети тоже плакали; но как-то странно и больно становится глядеть на эти тихие слезы: жизнь, хотя и бессознательно, но рано научила этих двух детей не по-детски как-то плакать.

— Глянь-ко, Дюжикова, — заметила, кивнув на них, одна арестантка другой, — глянь-ко, дети-то, детки божий, плачут-то как... словно и понимают, что сиротами, почитай, остаются.

— А то не понимают? Известно, чувствуют: не чужую отняли ведь, а мать родную...

— Мама... — тихо и грустно проговорила девочка, прильнув к плечу Бероевой. — Что я тебе скажу, мама... только ты не откажешь

мне? Ты сделаешь это?

— Что, моя милая?

— Нет, скажи прежде, ты не откажешь?..

Ну, милая, хорошая мама, не откажи ты мне! — умоляла девочка, охвативши ручонками ее шею.

Бероева пообещалась.

— Ты помнишь, мама, целковый тот старинный, что в рожденье подарила мне? — говорила девочка, вынимая из кармана заветную монету. — Я его с собой привезла... Возьми его, мама: ты себе булку купишь...

— Полно, дурочка! — с грустной, любящей улыбкой прервала ее Бероева.

— Нет, мама, нет! — стремительно перебила девочка. — Ты обещала мне!.. Если любишь меня, так возьми... Добрая, милая, голубушка ты моя, отчего же ты не хочешь?.. Ведь я видела — тут всем родным приносят — вон и той маме тоже дочка принесла, а ты не хочешь... Возьми: тебе ведь пригодится он.

И девочка решительно положила монету в руку матери.

— Спасибо, Лиза... — тихо промолвила Бероева, чутким сердцем угадавшая душевное

движение девочки, и с новыми, горькими слезами, как-то судорожно стала расточать обоим детям свои последние ласки и благословения. Тревожное чувство говорило в ней, что казенный предел тюремным свиданиям кончился, и уж надзирательница поглядывает в их сторону, с намерением подойти и сказать, что пора, мол, потому — иначе беспорядок... начальство... и прочее, — и она не могла оторвать от детей свои взоры, прекратить свои поцелуи, — ей мучительно хотелось подольше и вдоволь, досыта наглядеться на них в последний раз, и в то же время болезненно чувствовалось, что это «вдоволь и досыта» слишком еще далеко от нее, что оно никогда не придет и даже невозможно для матери.

Потрясенная до глубины души, возвратилась она в камеру, зашила в лоскуток заветный подарок и бережно спрятала его на груди, повесив на одну тесьму со своим шейным крестиком. С этой минуты старинный рубль сделался для нее величайшей драгоценностью, самой заветной святыней, с которой соединились бесконечная материнская любовь и живое воспоминание о последних прощаль-

НЫХ МГНОВЕНИЯХ.

«Где бы я ни была, что бы со мной ни случилось, я не расстанусь с ним!» — решила она в эту минуту величайшей скорби, чувствуя, что среди наступившего для нее душевного сиротства и нравственного одиночества эта вещь является уже единственным звеном, связующим ее жизнь и душу с детьми и со днями прошлого, светлого и улетевшего счастья.

XLV

ОПЯТЬ НА МУЖСКОМ ТАТЕБНОМ

Немного прошло времени с тех пор, как мы покинули Ивана Вересова под честной эгидой Рамзи, на татебном отделении, но много прибавилось там постояльцев в этот промежуток. Жизнь — все та же, что и прежде, с тою только вечно повторяющейся разницей, что на место некоторых старых «жилецов», угодивших либо на волю, либо на Владимирку, в Палестины забугорные прибывают день ото дня «жилцы» новые, с тою же по большей части, перспективой воли — «с

подозрением», да длинной Владимирки и Уральских бугров. Так что в сущности можно сказать, что на татейном отделении, равно как и на прочих, ничто не изменилось.

Дрожин после знаменитого рукопожатия Рамзи недель шесть провалялся в лазарете, пока ему залечили размозженную кисть. Начальству показал, что, по нечаянности, сам причинен в своем несчастье: дверью, мол, невзначай ущемил. Начальство недоверчиво головою покачало, однако удовлетворилось таким объяснением — по очень простой причине: другого, истинного, ему никогда не дожидаться от арестанта, пока оно остается «начальством» и взирает на него исключительно как на субъект, за каждый малейший проступок подлежащий исправительным внушениям, кои суть весьма разнообразны и строги.

Смутно было на душе старого Жигана, пока он раскидывал умом-разумом — как ему быть и как держать себя при вторичном появлении в среде камерных сотоварищей? Как пройдет первая минута встречи с ними, и вернется ли к нему все то влияние, на какое он присвоил себе право до рокового появле-

ния Рамзи? — все это были кровные, близкие сердцу вопросы, которые долго тревожили старого Жигана в лазарете. Почти все время своего леченья он был необыкновенно мрачен, ни с кем слова не проронил и по большей части лежал отвернувшись к стене от лазаретных товарищей.

— Что, дядя Жиган, с тобой, слышно, здорово поздоровался новый благоприятель? — иронически подошел к нему однажды кто-то из больных.

Жиган, как тигр, мгновенно поднялся на кровати и так грозно сверкнул на подошедшего своими налившимися кровью глазами, что того чуть ли не на сажень отбросило от его постели, словно молнией обожгло, и сразу уж отбило вперед всякому охоту тревожить Жигана какими бы ни было вопросами, да и для остальных послужило достаточно внушительным примером.

Наконец Дрожин надумался, как ему быть по выходе.

Пришел однажды в лазарет один арестант из дрожинской камеры — попросить какой-то примочки в аптеке и вместе с тем на-

вестить одного больного. Дрожин благодушно кликнул его к своей постели.

— Ну, как там у нас, благополучно? — спросил он.

— Ништо, живет, дядя Жиган!

— А что креститель-то мой здравствует? — осведомился он с осторожной и не то надменной, не то добродушной усмешкой.

— Это Рамзя-то? — домекнулся арестантик. — Ништо, соблюдает себя, как быть должно.

— Что же, как там он у вас, на каком положении?

— Большаком, дядя Жиган, голова целой камере.

— Хм... И не обижает?

— Грех сказать — этого за ним не водится.

— Хм... Ну, это хорошо... Это хорошо, что не обижает, так и след! — раздумчиво повторял Дрожин. — А за товариство, за всю ватагу-то стоятель?

— Уважает... Хоша и строг, а лучшего ватамана и днем с фонарем не сыщешь. В старосты по этажу выбираем.

— Хм... Ну, что ж, так-так-так! — порешил

он, как бы сам с собою. — Коли выше всех головою взял, стало быть — сила. Снеси ему поклон мой, скажи: старый-де Жиган челом тебе бьет.

И с этой минуты его уже не тревожили неотвязные, прежние вопросы.

Вернулся он в камеру осанистый, бодрый и как-то серьезно веселый.

— Здорово живете, братцы!

— А!.. Дядя Жиган!.. Выписался!.. Что граблюха-то щемит?.. Здорово! — оприветствовала его целая камера; но в этих возгласах и в тоне, которым они произносились, Дрожин — увы! — уже не расслышал былой почтительности, внушаемой уважением к его прошлому и страхом к его силе. Очевидно, сила новая и более крепкая взяла здесь нравственный верх.

На мгновение его личные мускулы передернуло что-то нехорошее, как будто досада на настоящее и сожаление о прежнем значении своем, но старый Жиган в ту ж минуту преодолел свое чувство и с спокойно-серьезным видом подошел к Рамзе.

Молча поклонился он. Тот ответил выжи-

дательным, но в высшей степени спокойным поклоном.

— Вот тебе моя рука — та самая! — начал Дрожин. — Стар человек я, годы осилили мою силу, а и в былое время не стать бы с тобою меряться: больно уж дивная сила, брат, у тебя. Будь же и мне ты ватаман, а я тебе — слуга, — заключил он и снова поклонился.

— Не то, брат, ты говоришь, — ответил ему Рамзя. — Я, по своему разуму, так полагаю, что по единой токмо силе не надо быть старшему промеж людьми, а все мы есть братья, и возлюбим друг друга по-братски. Вот моя вера. Хочешь ты мне быть не слугой, а другом и братом? — изволь! А не хочешь — господь с тобою!

Они поцеловались. На душе у Дрожина по-светлело, словно бы груз какой с нее свалился. Он сознавал, что с честью вышел из затруднительного положения, что таким образом значение его, быть может, не вовсе еще потеряно, а с удалением Рамзи всецело опять к нему же возвратится, и старый Жиган по-прежнему станет дядей Жиганом, большаком и силой на всю камеру и на весь этаж. «Мы

еще, авось, вернем свое! Бог не выдаст — сви-
нья не съест!» — подумал он и, весело, соко-
линым взглядом окинув всех товарищей,
остановился на Вересове.

— Ты, брат, не сердись на меня, старика! —
подошел он к нему. — Ты еще млад-человек, а
я тебе чуть не в дедушки гожуся, стало быть,
тебе и не след на мне зло мое помнить, да и
зла мы тебе не желали, а только так, в шутки
играли с тобой, ну, а точно что шутка шутке
рознь бывает. Это уж такое у нас заведение.

И он слегка поклонился Вересову, но не по-
целовался и руки не протянул, потому — па-
мятовал, что он старик, а тот — молокосос
еще и перед молокососом, значит, достоин-
ство свое непременно надо соблюсти, чтобы
он это чувствовал, да и другие тоже.

— Да тут, кажись, без меня новых жильцов
поприбавилось? — продолжал Дрожин, огля-
дывая товарищей. — Тебя, милый человек,
как обзывать, к примеру? ась?

— Как случится, да как понадобится. Где
Петром, где Иваном, а где и капитаном. А кре-
щен-то я Осипом, по прозванию Гречкой, да
содержусь-то не в этой камере, а сюды соб-

ственно визитацию, вишь ты, сделал — в гости к приятелям.

— Бойкая птица, — одобрительно заметил Дрожин: он мало-помалу, исподволь намеревался войти в свою прежнюю роль. — А ты кто, милый человек? Рожа-то твоя как будто малость знакома мне: может, когда на мимо-езжем трахте встренулись, как оба с дубовой иглой портняжили? Ты не из савотейников ли?

— Что было, то проехало и былдем поросло: бабушка моя про то сказывать вовеки за-казала, — отрезал вопрошаемый, — и мне, вишь, тоже рожа твоя знакомой сдается, да ничего себе — помалчиваю, а в мире сем Фомушкой-блаженным прозывают.

— Те-те-те!.. Старый знакомый! Наслышан, брат, я о тебе много был, про странствия да про похождения твои! А что Нерчинский не забыл еще? Вместе ведь раз лататы задавали оттелева!

И он, весело хлопнув по плечу блаженного, веско потряс его громадную лапищу.

— А тут еще что за зверь сидит? — мотнул он головой на товарища Фомушки.

— Се убо горбач! — весело промолвил блаженный, ткнув указательным перстом в темя Касьянчика-старчика.

Оказался налицо и еще один старый знакомый — новый, временной жилец «дядина дома» — беглый солдат Абрам Закорюк, который содержался тут пока, до близкого отправления своего в арестантские роты Финляндии.

Дрожин остался очень доволен как двумя этими встречами, так и вообще своими новыми знакомыми. Требовалось только вконец уж показать себя и свое достоинство.

— Эй, Мишка Разломай! — отнесся он к этажному ростовщику, маркитанту и майданщику. — Отпусти ты мне в долг мать нашу ко-суху! Шесть недель в рот ни капельки не брал, индо нутро все пересохло. За первой идет вторая, за второй третья, а там — как бог на душу положит: потому — беспременно надо мне теперича новоселье на старую койку справить.

ЗАВЕТНЫЕ ДУМЫ

Веселая компания гуляла. На тюремной гауптвахте с час уже пробили вечернюю зорю, по камерам кончилась поверка, — стало быть, беспокоить до утра некому. В майданном углу затевалась обычная трынка да три листика, а пока Абрам Закорюк потешал бойкими рассказами.

— Чудный был, братцы, у нас в полку солдатик, — повествовал он, руки в боки, молодецкатым фертом стоя середь камеры. — Наезжает раз ишпехтырь-инерал, икзамет, значит, производить. Вызывает он этого самого солдатика к черной доске. «Ну, говорит, как бы ты, любезный, поступил, коли бы на войне неприятеля встренул?» Солдатик ни гу-гу, только знай себе в струнку тянется. «Ну, говорит, ты бы его, понятное дело, приколот, потому, говорит, для расейского солдатика одного неприятеля приколоть немудреная штука». — «Приколол бы, ваше превосходительство!» — «Ну, молодец, говорит, так и следует.

А кабы двух али трех встренул, тогда бы как?» Солдатик опять ни гу-гу, только бельмами хлопывает. «Ну, говорит, для расейского солдата и двух-трех, говорит, тоже, пожалуй, не штука приколоть». — «Так точно, приколол бы, ваше превосходительство!» — «Молодец! А как, говорит, двадцать али тридцать встренул — тогда бы как? — «Приколол бы, ваше превосходительство!» — «Ну, братец, врешь, говорит, тридцати не приколешь; тогда в эвдаком случае благородно ретировался бы». — «Так точно, ваше превосходительство, благородно ретировался бы!» — «Это значит наутек бы пошел. Молодец! — говорит. — А кабы ты меня на войне встренул, тогда бы как?» — «Приколол бы, ваше превосходительство!» — Ну, братец, врешь, говорит, меня-то, начальства свово, нельзя колоть, а ты, говорит, подумай хорошенько, как бы ты поступил встренувши меня?» — «Благородно ретировался бы, ваше превосходительство!» — Тут его, раба божьего, взяли да и тово — веником маненько попарили. Не ретируйся, значит, и не коли! Так-то оно, братцы, наша служба такая, что повернулся — тово, и не довернулся — то-

же тово, а впрочем, — очинно вальготно.

— Ваше дело — военное, а наше дело — священное, — замечает ему на это Фомушка, — потому, как я из дьячковских сыновей и премудрость, значит, уразумел. Мне бы теперь, по-настоящему, архипастырем надо быть, кабы не враги наши... а я вот — в блаженных только состою.

— Это чином выше, — вставил словечко Закорюк.

— Выше ли, ниже ли, а только я хочу повествованьё некое рассказать, — возразил ему Фомушка. — Был я еще малолетком, при отце на селе состоял, и поехали мы всем причтом на Христов день со славлением в соседнюю деревню, верст за семь. Цельный день, аж до ночи славили, ну, и наславились, уж так-то наславились — до утробы пресыщения. Сложили нас всех в тележку, стебанули меринка, он и потрусил себе: не впервой, вишь, — дорога-то знакомая. Наутро пономарь идет за благословеньем — заутреню благовестить. Приходит к отцу, а отца нетути! «Что ж, говорит, должно, мы батюшку-то вчерась где-нибудь по дороге невзначай оброни-

ли. Надо быть, что обронили, говорит, потому — оченно уж дело-то грузно было. Поедем искать, говорит, может, и найдем где-нибудь». Поехали. Смотрим — а отец-то как раз за селом, у кирпичного завода, в канавке лежит, ликом горе, и солнышко лик ему припекает, и свинии нечестивии обступили его, сердечного, да во уста, во уста-то так и лобызают. А он, голубчик мой, очесами-то не узрит, а только лежит себе, козелком потряхивает да бормочет: «Много благодарен! Много благодарен! Воистину, мол, воистину!»

Дружный и веселый хохот камеры покрывает окончание как того, так и другого рассказа. Один Рамзя только сидит поодаль от других, сохраняя невозмутимое спокойствие и серьезность. Ему, кажись, не совсем-то по душе приходились такие рассказы, но протестовать против них каким-либо резким или поучающим словом он не стал, потому что знал цену каждому своему слову, умел угадывать минуту, когда оно может влиять своей нравственной силой, и вдобавок отлично знал этот народ, с которым теперь приходилось ему иметь дело. Тут именно все зависит от

минуты, потому что это — народ порыва, иногда хорошего, иногда дурного, но непременно порыва; это — капризное, своенравное дитя; на него обаятельно действует только факт или пример, совсем выходящий вон из ряда, поражающий либо своей грандиозностью, силой, либо своей смешной, комической стороной. Насколько легко подчиняется он обаянию всякой силы, настолько же легко и развенчивает свой кумир, отнимает от него сразу все добровольно данное ему уважение, при первой оплошности, при первом случае, когда эта сила неловко станет в смешное положение. А Рамзя чувствовал, что, выступи он теперь, в данную минуту, перед полупьяной ватагой, настроенной на сатирический и смешливый лад, ему вся эта ватага оттрянула бы только дружным уничтожающим смехом, который в тот же миг свергнул бы его с того пьедестала, на который стал он с первого появления в эту среду. А Рамзя дорожил своим значением. «Мало ль что мне не по нраву! — рассуждал он мысленно в эту минуту. — Не всяко лыко в строку. Тут еще грех невелик, что погалдят промеж себя да пересмехом по-

займутся, а вот коли какое дело всурьез пойдет да недобром для них же самих запахнет, — ну, тогда встань и затяни вожжу, тогда поймут, что ты, мол, за дело, а не за пустяковину ратуешь». И он засветил у своей койки сальный огарок, заслонил его бумагой со стороны окна, чтобы со двора свету незаметно было, и кивнул Вересову:

— Почитать бы, что ль, книжку занятную, — предложил он ему, вытаскивая из-под подушки растрепанную книжицу, — присядь-ко, Иван Осипыч, при займемся малость.

И через минуту по камере тихо, но внятно раздался его ровный, певучий голос:

*Не гулял с кистенем я в дремучем
лесу,
Не лежал я во рву в непроглядную
ночь —
Я свой век загубил за девицу-красу,
За девицу-красу, за дворянскую
дочь!*

И... к концу этого стихотворения около Рамзи мало-помалу собралась уже тесная кучка; буйный смех замолк, уступая место серьезному, чуткому вниманию. В майданном

углу тем же часом пошли в ход три листика, и вся камера разделилась на две группы: одна жадно и любопытно следила за игрою, другая жадно и любопытно слушала некрасовские стихи.

Рамзя обвел глазами свою группу, и довольная улыбка мелькнула на его губах: он знал, как и чем в иную минуту нужно действовать на этот народ, и внутренне улыбнулся этому сознанию.

Осип Гречка содержался на том же татебном отделении, только в другой камере, где, с некоторыми варьяциями, совершалось почти то же самое: та же игра и подобные же рассказы; но он меж тем угрюмо лежал на своей койке, закинув за голову руки, и все время ни в рассказах, ни в игре, ни в чтении не принимал участия. Он думал крутую, серьезную думу... Надоел ему душный острог, надоело уголовное дело, по которому теперь его судят, о покушении на жизнь ростовщика Морденки — отца Вересова, надоела вся эта жизнь сидячая, скучная, подневольная, и — ох, как хотелось бы ему попытаться теперь вольной воли, погулять без надзора по белому свету. Хо-

рошо бы убежать отсюда — да только как убежишь-то? А надобно, беспрерывно надобно, во что бы то ни стало! Потому — очень уж опротивело все это, тоска по прежней горемычно-беззаботной жизни вконец загрызла. Как быть-то?.. Надо подумать!

И вот он думает да передумывает разные мысли.

«Запутал я ни за што и энтово щенка, — мыслил он насчет Вересова. — Ну, вот и терпит, страдает человек... Коли виноватому скверно, каково же оно невинному-то!.. Душа-то у него чистая: ведь тогда ни за што помог мне — от доброго только сердца своего, значит, а не из чего-либо протчего. И не гадал, чай, что влопается в такую передрыгу!.. А и скаред же этот Морденко, батька-то его!.. Думал я этта, что кровь не выдержит, заговорит свое; думал, что не захочет детище родное под уголовщину вести; помилует, думал, дело замнет да потушит, — ан нет, живодерина! ему и кровь своя ровно что ничего, и сына роднова топит!.. Не выгорела у меня, значит, эта задача, ошибся... А коли не выгорела, что ж и щенка-то задаром томить? Выгородить

его нешто из дела, объявить начальству, что так, мол, и так — в эндаком разе впутывал его занапрасну, на сердце родительское, мол, расчет в мыслях своих держал и потому оговорил неповинного... Мне ведь все равно: потому, как ни на есть, а уж удеру отселева беспрерменно: либо пан, либо пропал. Только как удрать-то?.. Нешто надежного товарища подыскать бы, да вместе хватить?..»

И мысль Осипа Гречки сама собою возвращалась все к той же первоначальной и заветной думе о побеге.

Несколько дней таил он про себя эти мысли, все выглядывал да придумывал умом-разумом, кого бы ему посподручнее выбрать в товарищи, и наконец решил, что надежнее всех, кажись, будет Дрожин, а буде Дрожин откажется, то можно за Фомку-блаженного приняться.

Однажды, улучив минуту, он при встрече, по секрету, сообщил свои намерения старому Жигану.

Старый Жиган раздумчиво потупил голову и наконец махнул рукой, как на дело совсем ему неподходящее.

— Нет, брат, помогай тебе Микола-святитель одному бежать, а меня уж не замай, — ответил он Гречке. — Я уж лучше, как быть должно по закону и во всей правиле, в Сибирь пройдуся.

— Как!.. Нешто так-таки, как голодная решит?! — изумился Гречка.

— И впрямь. Как решит, так и будет.

— Да что ж это такое?.. Али уж так, по век свой покаяться задумал?

— Для чего каяться? Смертный конец не пришел еще.

— Так рази начальству поблажать?

— А что же? Для чего не поблажить ему маленько? Хотят меня в Сибирь, примерно, — что ж, что удовольствие можно им сделать, пуцай, как малые ребятишки, побалуют со мною — уж так и быть, потешу их, прогуляюся; а из Сибири убегу. Авось, либо там, либо здесь повидаемся еще с тобою, милый человек ты мой!

Гречка только плечами пожал.

— А эдак-то что бежать! — продолжал пояснять ему Дрожин. Убежишь, а тут тебя, того гляди, и принакроют, не хуже русака под коч-

кой. Этак бежать никакого удовольствия нету. А вот — дойти до места да оттелева дернуть, ну, это точно что дело! Раздолье, по крайности, будет, а иначе я не люблю и не согласен.

Он опять потупился и подумал с минуту.

— А мы вот как, брат, устроимся с тобою, коли хочешь! — предложил старый Жиган, набредя на подходящую мысль. — Пущай нас прежде, как след, решат по закону да на Владимирку погонят; а как перевалимся за бугры, дело-то там обнакновенно повольготнее пойдет, ну, так вот там уж где-нибудь за Тобольским, при подходящем случае, мы и ухнем вместе. Сторона-то, брат, там привольная, богатеющая сторона. Идет, что ли, на это?

— Н-нет, не ходит, дядя Жиган, — неподходящее...

— Ну, а иначе я несогласен! Да и что! С вами-де водиться, что в крапиву садиться! — порешил бывалый варнак, отходя от Гречки.

Тот остановил его за рукав.

— Только чур, дядя, язык-то у колокола подвяжи про энтот случай, чтобы никто из

товариства ни-ни!

Дрожин скосил губы в пренебрежительную улыбку.

— Что я, — просвирня тебе аль посадская баба? — возразил он слегка оскорбленным тоном, — слава те господи, не первый год варначить: колокольню в исправности привык держать да и тебя еще, дурня, поучить могу.

И он отошел от Гречки с чувством некоторой обиды на его неуместное предостережение.

Дело с Фомушкой обошлось несколько проще.

— Вот что скажу я тебе, приятель, — ответил он на Гречиного предложение, — мне пока еще не рука ухать из «дядина дома», потому, — неизвестен я, как меня решат. Верней, что с нижаяющей благодарностью отпустят, а коли проще, старую золу разгребать начнут, — ну, так не грех и попытаться, а то, гляди, себе только хуже натворишь. Хочешь пообождать малость — считай меня за барина [338]; одначе ж, я все-таки наперед желаю другого манеру попытать — может, и склеится.

— Какого-такого манеру?

— Э, брат, лакома тетка до орех, да зубов нету! — возразил ему Фомушка. — Никак невозможно в том открыться, всяк Еремей про себя разумеи! А вот поживи, так, может, и увидишь, какой-такой этот манер мой.

Таким образом и в отношении блаженного Гречка мог рассчитывать только вполовину, да и то не наверное. Неудачи подмывали его еще более, разжигая неутомонную жажду воли-вольной. Он был упрям, и что раз, бывало, задумает, то уж норовит во что бы то ни стало исполнить. Снова начал Гречка выгадывать себе подходящего товарища и раздумывать о средствах к побегу. Слышал он, как одному хвату, несколько лет тому назад, в темную ночь удалось пробраться на тюремный чердак, с чердака на крышу, а с крыши — по веревке на улицу — в Тюремный переулок спуститься. Ходили меж арестантами тоже слухи и о том, будто под пекарней есть подземный проход, который спускается в водосточную трубу, впадающую в Крюков канал, и будто этот проход исподволь весьма долгое время прорывали три арестанта-хлебопека; да беда:

В то же время говорили, что начальство однажды пронюхало про эту потайную работу подземных кротов, когда она была уже доведена почти до самого конца, и немедленно же снова засыпало землю да грузом кротовую нору, а самих кротов послало рыть другие норы в мать-Сибирь забайкальскую. «Ройся, мол, там невозбранно, сколько душе твоей захочется!»

Однако все эти способы представляли слишком мало удобств — надо было изобрести какой-нибудь новый, собственный, и Гречка целые дни и целые ночи бессонные строил в голове своей разные проекты.

Наконец способ придуман — оставалось только ждать удобной минуты для выполнения этой страстной, не дающей покоя мысли, да подыскать товарища. За этим все дело стало. Гречка решил побег, как единственную задачу своей жизни в данную минуту, и оставался твердо, стойко убежден, что так оно должно быть и так непременно случится.

Раз он отправился в тюремную контору и объявил, что желает открыть всю истину своего дела. И действительно, рассказал стряпче-

му со всей откровенностью непреложной правды, как было задумано и совершено им намерение убить и обобрать Морденку, и каким образом он воспользовался случайными обстоятельствами, чтобы оговорить Вересова, в том расчете, что в Морденке «кровь заговорит на жалость к родному детищу» и заставит его замять все дело; а теперь, видя, что оговор этот решительно не привел к желаемому результату, объявляет о невинности Вересова, «чтобы, значит, человек не терпел понапрасну».

Однако, признаваясь во всех обстоятельствах дела, касающихся лично его самого, он ни полусловом, ни полупонамеком не выдал того, что у него были сотоварищи, вместе замышлявшие убийство. Гречка обвинял исключительно себя — и последнее признание его было принято во внимание судебною властью.

XLVII

ФИЛАНТРОПКИ

В Петербурге есть совсем особенная коллекция великосветских дам, поставивших задачею своей жизни — филантропию. Они как будто взяли исключительную привилегию на благотворительность и, таким образом, составили нечто вроде цеха филантропок. Великосветские филантропки подразделяются на многие разряды. Одни из них памятуя речение писания о скотолюбцах: «Блаженни, мол, иже и скоты милуют», и на этом основании всем сердцем возлюбили своих кинг-чарльзов и левреток, причем, однако, стремятся к учреждению общества скотолюбцев, но только «стремятся» покамест — и больше ничего. Другие и понаслышались кое-каких верхушек о женском труде, и мечтают о составлении общества поощрения швейных, переплетных и иных мастерских, где бы они могли быть «председательницами» и оказывать начальственное влияние на весь ход избранного дела. Третьи заботятся о «падших» (но об этих

мы будем говорить впоследствии). Четвертые избрали ареной своей филантропической деятельности остроги, тюрьмы и вообще все наши места заключения. Но если пересчитывать всех, то, пожалуй, и целой главы будет недостаточно для самого краткого упоминания многообразных отраслей нашей жизни, дающих пищу праздно-чувствительной деятельности великосветских филантропов. Полезней всех из них, бесспорно, четвертые, иже унаследовали заповедь писания о посещении во узах заключенных. Эти между множеством чудачеств хорошее творят, насущную пользу иногда приносят, а прочие...

Прежде всего каждая филантропка отличается своею превыспренней набожностью, которая у иных переходит даже в фарисейское ханжество, но этак ведь гораздо заметнее и потому, значит, гораздо почтеннее: говору и благоудивления больше. Как тут не сотворить доброго дела, когда заранее знаешь, что сотни голосов будут превозносить тебя паче облака ходячего, будут называть тебя своим ангелом-хранителем, спасителем, целителем и проч., станут повествовать о твоих великих

добродетелях везде и повсюду, вынимать частицы за твое здравие. Как хотите, а ведь очень лестно и соблазнительно.

Дама-филантропка, кроме неперемного благочестия, всегда стремится занять в свете такое место, которое давало бы ей вес и значение. Она в ладах со всеми сильными иерархического мира, и сильные мира постоянно изъявляют ей знаки своего почтения. Она непременно надоедает каждому из них своими еженедельными и беспрестанными ходатайствами, просьбами, справками и проч.; сильные мира хотя и морщатся про себя, хотя и досадливо губами прицмокивают, тем не менее в глаза ей показывают предупредительную готовность исполнять малейшее ее желание, даже каприз — ну, и исполняют, иногда «по силе возможности», а иногда и по силе невозможности. Стало быть, так или иначе, дама-филантропка достигает своей цели; иногда она счудачит, а иногда и действительно доброму, честному делу поможет. Только это иногда выходит у нее как-то без разбору, без нравственной оценки качества патронируемого дела — точно ли оно хоро-

шее и честное, или плутяжное, которое только прикидывается честным? — лишь бы список «добрых дел» ее пополнялся все более, лишь бы увеличивалось число «благословляющих» ее добродетели.

Каждая дама-филантропка очень любит проявление набожности в покровительствуемых субъектах. Набожен — стало быть, хорош; почтителен к ее особе — и того еще лучше, а коли к тому же да бойким языком благодарственные восклицания рассыпает — тут уж конец всем рассуждениям: филантропка берет его под свое покровительство и зачастую во что бы то ни стало стремится создать нового молельщика за себя перед господом.

XLVIII

АРЕСТАНТЫ В ЦЕРКВИ

Интересный вид представляют арестантские камеры в утро перед обедней какого-либо праздника или воскресного дня.

Народ как будто приободрился, вымылся, прихолился, и каждое затхло-серое арестантское лицо невольно как-то праздником смотрит. У кого есть своя собственная ситцевая рубаша, попавшая сюда какими ни на есть судьбами, помимо казенного контроля, тот надел ее на себя, подпоясался мутузкой, аккуратно складки обдернул, и сидит она на нем не в пример ловче и наряднее, чем грубо-холщовая сорочка из тюремного цейхгауза, — все-таки волю-вольную хоть как-нибудь напоминает. У кого галстук или гарусный вязаный шарф обретается, тот его вокруг шеи обмотает и ходит себе щеголем по камере.

— Ишь ты, праздник! — замечают иные с оттенком какого-то внутреннего удовольствия.

— Н-да-с, праздник! — в том же тоне откли-

кается какой-нибудь другой арестантик. И все они очень хорошо знают, что праздник сегодня, а замечания, подобные только что приведенным, вырываются у них как-то невольно, от некоторой полноты душевной.

Мишка Разломай да татарин Бабай глядят серьезно, хотя они чуть ли не довольнее всех остальных: знают, что ради праздника иному лишнюю рюмочку хватить хочется, лишнюю ставку в кости да в карты прокинуть, лишнюю трубочку табаку в печную заслонку вытянуть, а это все им на руку, потому к ним же придет всяк за такими потребками: кто чистыми заплатит, а кто и сам еще в долг на процент прихватит — стало быть, в конце концов у Разломая с Бабаем скудные арестантские деньжишки очутятся.

— Может, братцы, пищия для праздника Христова получше сготовится, — замечают некоторые.

— Авось либо приварок не сухожильный положат да по порциям на столы поделят.

— Эвона, чего захотел!

— Что ж, иной раз случается. Опять же и по закону.

— Толкуй ты — по закону!.. Нешто на арестанта есть закон? На то, брат, мы и люди беззаконные прозываемся.

— По всей Расее закон есть.

— Это точно! Закон положон, да в ступе истолчен — вот он те и закон!

— Никак без закону невозможно; почему, ежели что расказнит меня, так статья и пункта должна быть на это.

— Ну, то не закон, а пятнадцатый том проывается.

— А не слыхал ли кто, милые, подаяньем нонче будут оделять?

— Будут. Саек, сказывали, инеральша какая-то прислала.

— Ой ли?! Кто хочет, братцы, сайку на табак выменять? — С почтением отдам.

— А много ли табаку-то?

— Да что... немного; щепоть, на три затяжки.

— Ходит! Давай, по рукам! Для праздника можно.

Среди таких разговоров растворяется дверь, и входит приставник.

— Эй, вы, живее!.. В церковь! В церковь

марш! Все, сколько ни есть, отправляйся! — возглашает он с торопливой важностью.

Иные поднялись охотно, иные на местах остались.

— Ты чего статуем-то уселся? Не слышишь разве? — обращается то к одному, то к другому приставник.

— Да я, бачка, татарин... мугамеда я.

— Ладно, провал вас дери! Стану я тут еще разбирать, кто жид, а кто немец. Сказано: марш — и ступай, значит.

— Да нешто и жидам с татарами тоже? — замечает кто-то из православных.

— Сказано: всем, сколько ни есть! Начальство так приказало — чтобы народу повиднее было — нечего баловаться-то... Ну, вали живее! Гуртом, гуртом!

— Ну-у... Пошло, значит, гонение к спасению! — махнули рукою в толпе, и камера повалила в тюремную церковь.

Арестантский хор в своих серых пиджаках, который с час уже звонко спевался в столовой, наполнил клирос; начетчик Кигаренко поместился рядом с дьячком у наля. Вон показались в форточках за сетчатыми решетка-

ми угрюмые лица секретных арестантов, а на хоры с обеих сторон тюремная толпа валит с каким-то сдержанным гулом, вечно присутствующим всякой толпе людского стада. Там и сям озабоченно шныряют приставники, водворяя порядок и стараясь установить людей рядами.

— Ну, молитесь вы, воры, молитесь! — начальственно убеждает один из них.

— Да нешто мы воры?.. Воры-то на воле бывают, а мы здесь в тюрьме, значит, мы — арестанты, — обидчиво бурчат некоторые в ответ на приставничье убеждение.

Вот показалась и женская толпа в своих полосатых тиковых платьях. Тут заметнее еще более, чем в будничные дни по камерам, некоторое присутствие убогого, тюремного кокетства; иная платочек надела, иная грошовые сережки, и все так аккуратно причесаны, на губах играет воскресная улыбка, и глаза бегло отыскивают в мужской толпе кого-то — вот отыскали и с усмешкой поклон посылают. Пожилые держатся более серьезно, солидно, и на лицах их ясно изображается женское благочестие, а иные стоят с какой-то угрюмой

апатичностью, ни на что не обращая внимания. В этой толпе не редкость, впрочем, и горячую, горькую слезу подметить порою и усердную молитву подглядеть.

Мужчин размещают по отделениям, которые и здесь сохраняют официальную классификацию по родам преступлений и проступков; но во время первоначальной легкой суматохи по приходе в церковь так называемые «любезники» ловко стараются из своих отделений затесаться незаметно либо на «первое частное», либо на «подсудимое», чтобы стать напротив женщин, с которыми тотчас же заводятся телеграфические сношения глазами и жестами. «Любезники» обыкновенно стараются на это время отличиться как-нибудь своею наружностью и являются по большей части «щеголями», то есть пестрый платок или вязаный шарфик на шею повяжет да волосы поаккуратнее причешет — другое щегольство здесь уже невозможно, — а многие из них, особенно же «сиделые», достигают необыкновенного искусства и тонкого понимания в этом условном, немом разговоре глазами, улыбкой и незаметными жестами. Началась

обедня. Внизу было совершенно пусто: у стен ютился кое-кто из семей тюремной команды, да начальство на видном месте помещалось. Ждали к обеду графиню Долгово-Петровскую, на которую двое заключенных возлагали много упования.

Эти заключенные были — Бероева и Фомушка-блаженный.

Наконец, в начале «Херувимской» внизу закопошилось некое торопливое и тревожно-ожидательное движение в официальной среде. Церковный солдат почему-то счел нужным поправить коврик и передвинуть немного кресло, предназначавшееся для ее сиятельства, а начальство все косилось назад, на церковные двери, которые наконец торжественно растворились — и графиня Долгово-Петровская, отдав начальству, пошедшему ей навстречу, полный достоинства поклон, направилась к своему креслу и благочестиво положила три земных поклона.

XLIX

ФОМУШКА ПУСКАЕТ В ХОД СВОЙ МАНЕВР

— Братцы! Не выдайте!.. Дайте доброе дело самому себе устроить! Все деньги, что есть при себе, на водку вам пожертвую, не выдавайте только! Не смейтесь! — шепотом обратился Фомушка-блаженный к окружающим товарищам.

— На што тебе? — осведомились у него некоторые.

— В том все мое спасение; на волю хочца! — объяснил им Фомушка. — Коли сиятельство спрашивать станет, скажите, по-товариству, что точно, мол, Христа ради юродивый.

— А насчет магарыча не надуешь?

— Избейте до смерти, коли покривлю! Избейте — и пальцем не шелохну!.. Человек я верный.

— Ну, ладно, не выдадим, скажем, — согласились некоторые.

— А ты, Касьянушка матушка, — ласка-

тельно обратился он к безноготому ежу, — размажь ей по писанию, при эфтом случае, как то-исть нас с тобой за правду божию судии несправедно покарали...

— Смекаю! — шепнул ему старчик, догадливо кивнув головою.

Фомушка самодовольно улыбнулся, хитро подмигнул окружающим товарищам: смотрите, мол, начинаю! — и, выбрав удобный момент, когда перед выходом с дарами замолкла среди всеобщей тишины «Херувимская», грузно бухнулся на колени с глубоко скорбным, тихим стоном и давай отбивать частые земные поклоны, сопровождая их бормотаньем вполголоса различных молитв и такими же вздохами.

Арестанты едва удерживались от фырканий, взирая на эти «занятные» эволюции.

Графиня обратила на него внимание и с удивлением повернула вверх на хоры свою голову.

Фомушка истерически взвизгнул и, бия себя в перси кулачищем, с тихим рыданием простерся ниц, как будто в религиозном экстазе.

Графиня продолжала смотреть. Начальство, заметив это, тотчас же засуетилось и отдало было приказ — немедленно убрать Фомушку из церкви, но благочестивая барыня милостиво остановила это усердное рвение и просила не тревожить столь теплой и глубокой молитвы.

Желание ее, конечно, было исполнено.

Фомушка меж тем до самого конца обедни время от времени продолжал выкидывать подобные коленца, и графиня каждый раз с удивлением обращала на него свои благочестивые взоры...

Бероева же все время стояла, прислонясь к стене, так что снизу ее не было видно. Она вся погрузилась в какую-то унылую думу и, казалось, будто ожидала чего-то.

— Ah, comme il est religieux, ce pauvre prisonnier, comme il pleure, comme il souffre! [339] — мыслит графиня. — Надо будет расспросить его, за что он страдает... Надо облегчить участь...

И по окончании обедни она обратилась к начальству:

— За что у вас содержится несчастный, ко-

торый так тепло молился всю службу?

— По подозрению в краже-с, ваше сиятельство...

— Может ли это быть?.. Я решительно не хочу верить.

— Так аттестован при отсылке к нам. Стоит под следствием вместе с сообщником своим — может быть, ваше сиятельство, изволили приметить — горбун безногий.

— А, как же, как же — приметила!.. Так это, говорите вы, сообщник его... Но может ли это быть? Такая вера, такое умиление! Я желала бы видеть обоих.

— Слушаем-с, ваше сиятельство.

И к графине были приведены оба арестанта.

Фомушка еще в ту самую минуту, как только сделали ему позыв к сердобольной филантропке, умудрился состроить юродственную рожу и предстал перед лицо ее сиятельства с выражением бесконечно глупой улыбки. Касьяничик, напротив того, выдерживал мину многострадательную и всескорбящую.

— Гряди, жено благословленная, гряди, голубице, на чертово пепелище! — забормотал

блаженный, улыбаясь и крестясь и в то же время издали крестя графиню.

Последняя никак не ожидала такого пассажи и — не то испугалась, не то смутилась.

— Как тебя зовут? — спрашивала она кротким вопросом.

— Добродетель твоя многая, перед господом великая — царствие славы тебе уготовано, — продолжал крестить себя и ее блаженный, нимало не обратив внимания на вопрос графини.

— Что ты такое говоришь, мой милый, не понимаю я, — заметила она, стараясь вслушаться в Фомушкино бормотанье.

— Да воскреснет бог и расточатся врази его! — юродствовал меж тем блаженный со всевозможными ужимками. — Раба Анастасия — новый Юрусалим, узорешительница милосердия!.. Фомушка-дурак за тебя умоли-тель, царствия отца тебе упроситель... Живи сто годов, матка! Сто годов жирей, не хирей! Господь с тобою, алилуя ты наша, сиятельство ваше!.. сиятельство!..

— Mais il est fou, ce malhereux![340] — домекнулась графиня и обратилась с вопросом

к Касьянчику: — Что он, — юродивый?

— Юродивенький, матушка, Христа ради юродивенький, — жалостно запищал убогий старчик.

Графиня поглядела на Фомушку удивленным взглядом. Она была чересчур уж благочестива, так что злые языки титуловали ее даже «сиятельной ханжой», и очень любила посещать Москву с ее сорока сороками. Каждое такое посещение не обходилось без усердственных визитов к знаменитому Ивану Яковлевичу Корейше. Московский блаженный всегда отличал от прочих свою сиятельную гостью и, как говорят, постоянно давал ей знамения своего благоволения к ее особе: откусывая кусок просфоры, он влагал его в уста графини. Рассказывают также, будто для вящего изъяснения своего благоволения к графине он еще и не такие курьезы проделывал над нею. Чествуя Ивана Яковлевича, она, конечно, чествовала и других юродивых.

— Как тебя зовут, мой милый? — повторила она прежний вопрос.

— Дурачок, дурачок, матка! Дурачком зовут, Фомушкой. А у тебя утробу-то благостью

вспучило, благостью, матка, а я за тебя умоли-
тель, душа милосердная: Фомку-дурака любит
господь, Фомушка — божий дурак, только в
обиде от силы мирстей...

— По господней заповеди, ваше сиятельство,
— начал пояснять многострадательный
Касьянчик, — яко же апостоли от элины
нечестивии гонения претерпевали, такожде и
он, божий человек, за напраслину ныне крест
несет на раменах... А только он неповинен:
он — Христа ради юродивый, мухи, инже кло-
па ползучего николи не обидит, а не токмо
что от человека татебно уворовать вещью!
Ему коли и подаянье-то сотворят во имя спа-
сителяво, так он и то, дурачок, возьмет, да тут
же на нищую братию разделит, а сам — ни-
ни, то-ись ни полушечки себе не оставит...

Фомушка во время этого монолога только
улыбался наибессмысленнейшим образом, с
беспрестанными поклонами, творил крест-
ные знамения, осеняя таковыми же и графи-
ню.

— За что же вас взяли? За что вы терпи-
те? — спросила Настасья Ильинишна.

— По злобе людстей, ваши сиятельство!

Зол человек оговор возвел, — пояснил ей Касьянчик и рассказал историю о том, как приказчик купца Толстопятова, имея на Фомушку злобу за то, что блаженненький уличений в гресех ему многожды творил, мимоходом взял, да и подсунул-де нам толстопятовский бумаженник, а сам туточко же и завопил: «Воры-де вы, хозяина мово обокрали!»

— Тут нас и взяли, — продолжал он рассказывать, — воззрился я только к небеси, на церковку божию, воздыхнул и прегорестно залился слезами: «Господи испытание на веру нашу поселаеши — буди по восхотению твоему!» — И сдали нас в темницу, в темницу, матушка, ваши сиятельство!.. Охо-хошеньки!.. А какие мы воры? Мы в странном-убогом житии подвигаемся, имя Христово славословим, а нас злоба-то людская вона в кои наряды нарядила.

— Помилуй, матушка, заступись! — слезно взмолился он после короткой паузы, пригибая свою убогую голову к обрубкам ног. — Ты наша защита, аньял небесный ты наш!.. Одна только ты и можешь!.. Божий человек по век свой молитвенник за тебя будет, — продол-

жал он, указывая на улыбающегося Фомушку, — его молитва юродственная, что тимьянко престолу взыдет... Защити, огради нас, государыня ты наша милосливая!

Это скорбно-слезное воззвание вконец расстрогало графиню: на ее ресницах показались даже слезы.

Вынув из кармана изящную записную книжку, она отметила в ней имена двух арестантов с номером их дела и приступила к утешениям.

— Будьте покойны, мои милые, будьте покойны!.. Я употреблю все усилия — сама поеду, стану просить...

— Аньял ты телохранитель наш! — с чувством нагнул Касьянчик свою голову, изображая земной поклон, а Фомушка-блаженный, слегка подпрыгивая, вполголоса завыл: «Величит душа моя!»

— Ваше сиятельство, это ведь выжига-с... одно притворство-с, — рискнул заметить ей кто-то из тюремного начальства.

Графиня с неудовольствием воззрилась на возрадившего.

— Пожалуйста, оставьте при себе ваши за-

мечания! — произнесла она явно недовольным тоном. — Я умею понимать людей и очень хорошо различаю правду и искренность.

Начальство опешило и уже не дерзало больше соваться с замечаниями.

— Ступайте теперь, мои милые, ступайте! — с кротким благодушием обратилась она меж тем к арестантам. — Я за вас буду ходатайствовать, надейтесь и молитесь... Прощайте!..

Оба заключенника удалились. Касьянчик знаменовался крестным знамением и воссылал горе сокрушенные вздохи, а Фомушка глупо улыбался и еще глупее подпрыгивал.

— Теперь я хочу к моим пройти: проводите меня, — изъявила желание графиня и направилась в женское отделение.

ТРУДНО РАЗЛИЧАТЬ ПРАВДУ И ИСКРЕННОСТЬ

— Надо молиться и работать, — назидала графиня почтительно стоявших вокруг ее арестанток, обращаясь ко всем вообще и ни к кому в особенности. — Бог создал нас всех затем, чтобы мы молились и трудились...

— Надо быть, ты и трудишься-таки! — шепнула насчет графини одна арестантка своей соседке.

— Что ты говоришь, моя милая? — спросила графиня.

— Я, ваше сиятельство, к тому это, что истину-правду господню рассуждать вы изволите, — смиренно ответила ей хитрая арестантка.

— Хорошо, моя милая, похвально, что ты чувствуешь, — одобрила графиня, — вам надо более, чем кому-либо, молиться, поститься и трудиться, — продолжала она, — потому что постом, трудом и молитвою усердною вы хотя

частью можете искупить перед господом ваши заблуждения, грехи и преступления ваши. Старайтесь исправиться и принимайте со смирением свою кару. Не ропщите на начальство: строптивым бог противится — вы это знаете?..

— Знаем, ваше сиятельство.

— Ну, то-то... В часы досуга занимайтесь не разговорами соблазнительными, а чтением душеспасительных книжек и христианским размышлением, — слышите?

— Слышим, ваше сиятельство.

— Ну, то-то. Хорошо вам тут жить? Всем ли вы довольны?

— Хорошо жить, ваше сиятельство, и всем даже очинно много довольны.

— Это похвально; неудовольствие даже и грех было бы заявлять в вашем положении, да и не на что: мы все, что только можем, с охотой делаем для вас и вашей пользы. Ну, прощайте, мои милые! Очень рада видеть вас. Молитесь же, трудитесь и старайтесь раскаяться и исправиться. Прощайте!

В эту минуту к графине, которая осталась довольна собою и своим поучением, робко и

смущенно подступила Бероева.

— Что тебе надо, моя милая, о чем ты? — матерински обратилась к ней графиня.

— Выслушайте и защитите меня! — тихо вымолвила арестантка, глотая подступившие слезы.

— Я готова, моя милая, изложи мне свое дело. Ты кто такая? Как зовут тебя?

— Юлия Бероева.

— Бероева... — протянула, прищурясь на нее, филантропка. — Что-то знакомое имя... помнится, как будто слыхала я... Ну, так что же, моя милая, в чем твое дело?

Юлия Николаевна кратко рассказала ей свое дело и внезапный арест ее мужа.

— Ну, так что же, собственно, нужно тебе?

— Нужно мне... вашей защиты! Мой муж невинен — клянусь вам — невинен!.. Ради моих детей несчастных, умоляю вас, войдите в это дело!.. Облегчите ему хоть немного его участь! Вы это можете — вашу просьбу примут во внимание, господь вам заплатит за нас.

Эти слова каким-то тихим воплем вырывались из наболевшей и надорванной души.

Графиня слушала и в затруднительной нерешительности пережевывала губами. Она считала княгиню Татьяну Львовну Шадурскую в числе своих добрых знакомых и уже раньше кое-что слышала от нее о деле молодого князя.

— Моя милая, — начала она тем самым тоном, каким за минуту читала назидательные поучения о труде и молитве, — моя милая, что касается твоего мужа, то я ничего не могу сделать. Я вообще этих... идей не люблю. Я знаю, к чему ведут все эти идеи, поэтому никак не могу просить за него.

— Но он невинен! Они сами это знают! Его напрасно взяли! — стремительным порывом прервала ее Бероева.

— Хм... Какие, мой друг, несообразности говоришь ты! — с укором покачала головой графиня. — Если они знают, что он действительно невинен, так зачем же стали бы его держать-то там? Что ты это сказала?! Опомнись! О ком ты это говоришь?.. Ай-ай, ой-ой! Нехорошо, нехорошо, моя милая!.. Как это ты, не подумавши, решаешься говорить такие вещи! Напрасно! — верно уж не «напрасно». Да и

притом в твоём собственном деле ты не совсем-то правду сказала мне.

— Как не совсем-то правду?! — вспыхнула Бероева.

— Так. Я ведь знаю немножко твое дело — слышала про него. Нехорошее, очень-очень нехорошее дело! — недовольным тоном продолжала филантропка. — Ты употребляешь даже клевету — это уж совсем не по-христиански... Я знаю лично молодого князя Шадурского: это благородный молодой человек. Я знаю его: он неспособен на такой низкий поступок, он тут был только несчастной и невинной жертвой.

Графиня сделала два-три шага и снова обернулась к Бероевой.

— Впрочем, если ты считаешь себя правою и если ты права в самом деле, то суд ведь наш справедлив и беспристрастен: он, конечно, оправдает тебя, и тогда я первая, как христианка, порадуюсь за тебя, а теперь, моя милая, советую тебе трудиться и раскаяться. Лучше молись-ка, чтоб бог простил тебя и направил на путь истинный! А по делу твоему трудно что-либо сделать, трудно, моя милая.

— Да, потому что это князь Шадурский, потому что это барин! — с горечью и желчью вырвалось горячее слово из сердца арестантки. — А будь плебей на его месте, так ваше сиятельство, быть может, горячее приняли бы мое дело к сердцу. Благодарю вас — мне больше не нужно вашей помощи.

Графиня остановилась, как кипятком ошпаренная таким несправедливым подозрением, и измерила Бероеву строгим взглядом.

— Ты дерака и непочтительна! Ты забываешься! — сухо и тихо отчеканила она каждое слово и, повернувшись, с достоинством вышла из камеры.

— В темную! — строго шепнуло приставнице тюремное начальство, почтительно следуя за графией.

Дрожащую от гнева арестантку отвели в узкий, тесный и совсем темный карцер, который в женском отделении тюрьмы служит исправительным наказанием. Сидя на голом, холодном полу, Бероева переживала целую бурю нравственных ощущений. Тут было и отчаяние на судьбу, и злоба с укоризнами и презрением к самой себе за то малодушие, ко-

торое дозволило ей увлечься нелепою надеждою. Она чувствовала себя кроваво оскорбленной и сознавала, что сама же вызвала это оскорбление. «Поделом, поделом! Так тебе и нужно! — злобно шептала она в раздражении и нервически ломая себе руки. — Не унижайся, не проси! Умей терпеть свое горе, умей презирать их! Разве ты еще недостаточно узнала их! Разве ты не знаешь, на что они все способны? О, как я глубоко их всех ненавижу! Какой стыд, какое унижение! Зачем я это сделала, зачем я обратилась к ней?!» И она в каком-то истерически-изумленном состоянии без единой капли слез, но с одним только нервно-судорожным перерывчатым смехом, злобно и укоризненно издевалась над собою, продолжая ломать свои руки, но так, что только пальцы хрустели, и злобно-суровыми, как буря, глазами зловеще смотрела в темноту своего карцера.

К вечеру ее выпустили оттуда.

LI НА ПОРУКИ

Вскоре после посещения филантропки судьба некоторых заключенных изменилась, и прежде всего, конечно, изменилась она для Фомушки с Касьянчиком. Графиня Долгово-Петровская решилась ходатайствовать за «божьих людей». Дело о бумажнике купца Толстопятова за отводом единственного свидетеля — приказчика — должно было и без того предаться воле божьей, с оставлением «в сильном подозрении» обвиняемых. Поэтому, когда подспели ходатайства графини, то, в уважение этой почтенной особы, и порешили, не мешкая, чтобы дело двух нищих, за недостатком законного числа свидетелей, улик и собственного их добровольного сознания — прекратить, освободи обвиняемых от дальнейшего суда и следствия и предоставля их на попечение ходатайницы. Ходатайница тотчас же поместила обоих в богадельню — «пускай, мол, живут себе на воле, с миром и любовью, да за меня, грешную, бога молят».

— Вот, брат, тебе и манер мой! — сказал блаженный на прощанье Гречке. — Расчухал теперь, в чем она штука-то? Стало быть, и поучайся, человече, како люди мыслете сие орудовать следует! Ныне, значит, отпускаеши, владыко, раба твоего с миром.

— Так-с, это точно «отпускаеши», — перебил его Гречка, снедаемый тайной завистью, — да только кабы на волю, а то под надзор в богадельню!.. Выходит, тех же щей да пожиже влей.

— Эвона что!.. Хватил, брат! Мимо Сидора да в стену, — с ироническим подсмеиваньем возразил блаженный. — В богадельне-то живучи, никакой воли не нужно: ходи себе со двора, куда хочешь и к кому хочешь, и запрету тебе на это не полагается. А мы еще, авось, промеж хрестьянами сердобольными какую ни на есть роденьку названную подыщем, в братья или в дядья возведем! Ну и, значит, отпустят нас совсем, как водится, на сродственное попечение; таким-то манером и богадельне-матушке скажем «адье!» и заживем по-прежнему, по-раздольному. Понял?

— Н-да... теперича понял...

— Вот те и «тех же щей да пожиже влей»!.. — подхватил торжествующий Фомушка. — Там-то хоть и жидель, да все ж не арестантским серякам чета: а ты, милый человек, пока что и серяков похлебай, а на воле, бог даст, встренемся, так уж селяночкой угощу, — московскою!

— А хочешь, опять засажу в тюрьху? Как пить дам — засажу! В сей же секунд в секретную упрячут? — с задорливо-вызывающей угрозой прищурился на него Гречка, разудало, руки в боки, отступив на два шага от блаженного.

— Чего ж ты мне это пить-то дашь? Ну, давай! Чего ты мне дать-то можешь? — харахорясь и ершась, передразнил тот его голос и манеру.

— Чего? — мерно приблизился Гречка к самому уху Фомушки и таинственно понизил голос. — А вот чего! Не вспомнишь ли ты, приятельский мой друг, как мы с тобою в Сухаревке на Морденку умысел держали, да как ты голову ему на рукомойник советовал? Ась? Ведь щенок-то у меня занапрасно тут томится, — добавил он насчет Вересова, — а по-

настоящему-то, по-божескому, это бы не его, а твое место должно быть!

Фомушка побледнел и заморгал лупоглазыми бельмами.

— Тс... Нишни, нишни! — замахал он на него своей лапищей и тотчас же оправился. — Э! Зубы заговариваешь! — мотнул он головой, самоуверенно улыбаясь. — Николи ты этого не сделаешь, потому — подлость, и уговор же опять был на то. Что, неправильно разве?

На губах Гречки в свою очередь появилась улыбка самодовольная.

— То-то! Знаешь, пес, на какую штуку взять меня! — сказал он. — В самую центру попал... Значит, теперича, друг, прощай! Ну, а... хоша оно и противно помалости, одначе ж поцелуемся на расставаньи, для тово, ежели встренемся, чтобы опять благоприятелями сойтися.

И они простились до нового свиданья — где бог приведет или где потемная ночка укажет.

* * *

Следователь раздумался над последним

показанием Гречки, в котором он, делая чистосердечное сознание, выпутывал из своего дела Ивана Вересова. Оба подсудимые сидели хотя и на одном и том же «татебном» отделении, но в разных камерах; значит, трудно было предположить о какой-либо стачке между ними; затем последнее показание Гречки во всех подробностях совпадало с показанием Вересова, подтверждая его вполне и безусловно; наконец нравственное убеждение следователя заставляло его видеть в Гречке, с первого до последнего взгляда, только опытного «травленого волка», у которого в последнем лишь признании зазвучала человечески-искренняя струнка, а в Вересове, напротив того, с самого начала и до конца решительно все изобличало хорошего, честного и неповинного человека, запутанного в дело случайно, посредством стечения несчастно сгруппировавшихся для него фактов и обстоятельств. Это нравственное убеждение и заставило следователя, взвесив беспристрастно все эти данные, выпустить Вересова на поруки. Он вызвал к себе Морденку.

Старый ростовщик явился по первой же

повестке; он как-то еще больше осунулся и осуровел за все это время и вошел к следователю тихой, осторожной походкой, с угрюмой недоверчивостью озираясь по сторонам, словно бы тут сидели все личные и притом жестокие враги.

— Вот что, почтеннейший, — начал ему следователь, — вы изъявили подозрение в злом умысле против себя на вашего приемного сына.

— Изъявил и изъявляю, — утвердил Морденко своим старчески-глухим, безжизненным голосом.

— Но это, видите ли, оказывается совсем несправедливо: ваш приемный сын тут вовсе не участвовал.

Морденко медленно, однако удивленно поднял свои брови и уставился на следователя совиными круглыми очками.

— А почему вы это так изволите полагать? — медленно же и недоверчиво отнесся он к приставу.

— А вот дайте прочту вам эти бумаги, так сами увидите, — ответил тот, подвигая к старику первое показание Вересова и последнее

Гречки.

— Нет, уж позвольте... я лучше сам... я сам прочту...

— Как вам угодно. По мне, пожалуй, и сами.

Старик сухой и дрожащей от волнения рукою взял бумагу, протер очки и, сморщив седые брови, с трудом стал разбирать написанное.

— Что ж это такое?.. Я в толк не возьму, — с недоверчивым недоумением отнесся он к следователю, прочтя оба показания.

— То, что вы напрасно подозреваете Версова, — сказал тот.

Старик сомнительно покачал головою.

— Нет, не напрасно, — сухо и отрывисто пробурчал он в ответ.

— Не напрасно?.. Но на чем же вы основываете ваше убеждение? Или все еще по-прежнему на ясновидении каком-то?

— На ясновидении, — решительно подтвердил Морденко, — господь вседержитель через ясновидение ниспослал мне это откровение среди сна полунощного.

«Эге, да ты, батюшка, видно, и в самом де-

ле тово... тронувшись», — подумал следователь, оглядывая старика тем пытливо-любопытным взглядом, каким обыкновенно смотрим мы впервой на сумасшедшего человека. Морденко тоже глядел на него с абсолютным спокойствием и уверенностью своими неподвижными глазами.

— Ввести сюда арестанта Гречку! — распорядился следователь, который для этого случая нарочно выписал его из Тюремного замка.

Вошла знакомая фигура и как-то смущенно вздрогнула, увидя совсем внезапно старика Морденку.

Иногда случается, что самые закоренелые убийцы не могут равнодушно выносить вид трупа убитого ими или внезапной, неожиданной встречи с человеком, на жизнь которого было сделано ими неудачное покушение.

Гречка на минуту смутился, обугрюмился и потупил в землю глаза. Морденко, напротив, пожирал его взорами, в которых отсвечивало и любопытство и злоба к этому человеку, и даже легкий страх при виде того, который чуть было не отправил его к праотцам.

«Боже мой, боже мой! — утрюмо мыслил старик в эту минуту. — Убей он меня тогда — и вся моя мысль, вся моя надежда, все тяжкие усилия и кровавые труды целой жизни — все бы это прахом пошло недоконченное, недовершенное... Вот он, промысел-то! Вот он, перст-то божий невидимый!.. Господь помогает мне, господь не покинул раба своего...»

— Ну, любезный, — обратился пристав к арестанту, — расскажи-ка теперь вот им все дело по истине, как намедни мне рассказывал.

Гречка поморщился да брови нахмурил и затруднительно почесал в затылке.

— Нет, уж слобоните, ваше благородие!

— Почему так?

— Не могу, — с трудом проговорил Гречка.

— Почему не можешь?

— Да как же этта... Вы — совсем другое дело, а тут... Нет, не могу, ваше благородие!

— Ну, полно кобяниться-то! Не к чему, право же, не к чему!

— Претит мне это, словно бы жжет оно как-то... Больно уж зазорно выходит, ваше благородие, да и незачем. Не травите уж чело-

века понапрасну, оставьте это дело! — взволнованно сказал Гречка.

— Да вот, вишь ты, старик-то у нас не хочет верить, что Вересов тут ни в чем не причастен, — объяснил ему пристав, — все говорит, что он злой умысел вместе с тобой держал на него. Может, как от тебя самого услышит, так поверит, авось. Вот зачем оно нужно.

Гречка крепко подумал с минуту, как будто решаясь на что-то, и все время упорно смотрел в землю.

— Н-да-а, этта... статья иная, — процедил он сквозь зубы и, быстро встряхнув головою, сказал — словно очнулся. — Извольте, я готов, ваше благородие!

И он рассказал Морденке все дело, по-прежнему не путая настоящих соучастников, но зато не упуская и малейших подробностей насчет того, как выслеживал он старика от самой церкви до ворот его дома, как подслушал в двух-трех шагах разговор его с сыном, как встретился с тем внизу на лестнице, затем — весь дальнейший ход дела и все побуждения да расчеты свои, которые заставили его впу-

тать в уголовщину «неповинную душу».

Морденко слушал, то подымая, то опуская свои брови и с каждой минутой становясь все внимательней к этому новому для него рассказу. По всему заметно было, что на его душу он производит сильное и какое-то странное впечатление.

— Видишь ли ты, старый человек, что я скажу тебе! — обратился уже непосредственно к нему Гречка, одушевленный своим рассказом и впервые заглянув прямо в глаза Морденки, отчего тот сразу смущенно потупился: взгляд у арестанта на эту минуту был недобрый какой-то. — Видишь ли ты, — говорил он, — мыслил я сам в себе, что ты человек есть, что кровь да сердце взбунтуются в тебе по родному детищу: болит ведь оно, это детище, не токмо что у человека, а почитай и у собаки кажинной — и та ведь, как ни будь голодна, а своего щенка жрать не станет. А ты сожрал: под уголовную единоутробу свою подвел. А я думал, ты дело потушишь. Нехороший ты, брат, человек, и очень жаль мне, что не удалось тогда пристукнуть тебя на месте!

Морденко заежился на своем месте и часто заморгал глазами; ему сделалось очень неловко от жестких слов арестанта, которого следователь остановил в дальнейшем монологе на ту же самую тему.

— Да что, ваше благородие, коли петть песню, так петть до конца! — махнул рукою Гречка, и по окончании рассказа был уведен из камеры.

После его ухода Морденко почти неподвижно остался на своем стуле и сквозь свои совиные очки глядел куда-то в сторону, как будто, кроме него, никого тут не было.

— Ну, что ж вы теперь на это скажете, почтеннейший? — как бы разбудил его пристав.

— Ничего, — отрицательно мотнул головой Морденко.

— Кажется, ясно ведь?.. А впрочем, и я еще постараюсь побольше несколько разъяснить вам. Присядьте-ка сюда поближе!

Пристав привел ему все те факты и соображения, которые могли служить в пользу невиновности Вересова. Старик слушал так же молча и так же внимательно — время от времени шевеля бровями своего черст-

во-неподвижного лица.

— Так сын мой, стало быть, невинен? — раздумчиво спросил он после того, как следователь истоцил все доводы.

— Я полагаю — так.

— Хм... Жаль, — произнес он в том же раздумьи.

— Чего жаль? — изумился пристав.

— Жаль, что он не тово... не вместе... — пояснил Морденко.

— Как жаль?.. Да вы должны быть рады!

— Я рад, — сухо подтвердил Морденко, по-прежнему глядя куда-то в сторону.

— Не понимаю, — пожал тот плечами.

— Я рад, — точно так же и тем же самым тоном повторил старик.

— А я его выпускаю на поруки, — объявил пристав.

— Зачем?

— Затем, что ненадобно его даром в тюрьме держать.

— Хм... Как хотите, выпускайте, пожалуй.

— А вы желаете взять его на свое поручительство? — спросил следователь.

— Я?! — поднял Морденко изумленные

взоры. — Я не желаю.

— Да ведь вы сами же видите, что он невинен?

— Вижу.

— Так почему же не хотите поручиться? Ведь вы, между нами говоря, отец ему.

— Отец, — бесстрастно подтвердил Морденко. — А ручаться не желаю. Человек и за себя-то, поистине, поручиться на всяк час не может, так как же я за другого-то стану?..

Он думал про себя: «Взять на поруки — значит, при себе его держать, кормить, одевать, да еще отвечать за его поведение... Да это бы еще ничего — кормить-то, а главное, — теперь он с разным народом в тюрьме сидел, верно вконец развратился... Если тогда был невинен, то теперь убьет, пожалуй... И мое дело, вся надежда жизни моей пропала тогда... Все же он — барская кровь... барская... Нет, уж лучше господь с ним и совсем! Пускай его как знает, так и делает, а я сторона!.. Я — сторона».

И старик, в ответ на свою тайную мысль, замахал руками, будто отстраняя от своего лица какое-то привидение.

— А видеть его хотите?.. Он здесь ведь, у меня, — предложил ему следователь.

Морденко подумал, поколебался немного и отрывисто ответил:

— Не хочу.

И откланялся следователю, боясь в тайне, чтобы не встретиться как-нибудь с Гречкой или, что ему еще хуже казалось, с сыном.

— Господин Морденко убедился, кажется, что вы невинны, но отказался взять на поруки, — объявил пристав Ивану Вересову, когда тот был приведен к нему. — Если хотите выйти из тюрьмы, ищите себе поручителя.

Арестант вскинул на него радостно-благодарный взор и молча поклонился.

ФАРМАЗОНСКИЕ ДЕНЬГИ

Но недолга была радость Вересова. Где и как найти ему поручителя? Да и кто захочет брать на свою шею такую обузу? Вересов очень хорошо знал, что масса нашего общества весьма склонна смотреть с дурным предубеждением на человека, сидевшего в тюрьме, не разбирая — виновен ли он или невинен; одно слово — в тюрьме был, — и basta! — этого уже довольно для составления известного приговора. Да и, кроме того, ему решительно не к кому было обратиться. Теперь он начинал чувствовать себя одиноким более чем когда-либо, более чем в тюрьме: там у него была хоть одна крепкая, надежная душа человеческая, был честный друг и товарищ — Рамзя, — а на воле что ему оставалось?

И все ж таки, хоть и бессознательно, а почему-то хотелось на волю...

Грустно сидел он в арестантском ящике, называемом тюремным фургоном, который

имеет назначение возить заключенных из тюрьмы и обратно, на следствия, суд и к экзекуции. Против него помещался Гречка, а обок с ними еще два арестанта.

— Ну, малец, ты меня прости, что я маленько тово... поприпер тебя, — откровенно обратился он к Вересову, — я же зато и выпутал, а ты не гневишься. Что ж делать! Так уж случилось: линия!..

— Я не сержусь... Господь с тобою, — кротко и просто ответил Вересов.

— Ну, и спасибо! На нашего брата ведь что сердись, что не сердись. Сердит да не силен, говорится, так знаешь — чему брат? А по мне, хоть и силен, все равно наплевать!.. А ты, друг, лучше вот что скажи: тебя на поруки отпускают?

— Да, на поруки.

— А батько-то, слышно, отказался!

Вересову не хотелось распространяться насчет отца, и поэтому в ответ он только коротко кивнул головою.

— Ну, значит, надо нанять поручителя, — заметил Гречка.

— Как это нанять? — спросил его Вересов.

— Ах ты, простота-простецкая!.. Обнаковенно как! — подсмехнулся тот. — Как всегда промеж нас творится, — за деньги.

— Да где ж его взять-то? Я никого не знаю.

— А зачем тебе и знать? Этого вовсе не требуется. Дай полтину в зубы приставнику либо подчаску — он тебе всю эту штуку мигом и обварганит.

— Да коли поручитель-то меня не знает? — возразил Вересов.

— Да и не к чему ему знать. Это уж такая ихняя прахтика; с того только и хлеб жуют.

— Да ведь много, пожалуй, заплатить придется.

— Фью! — презрительно свистнул Гречка, махнув рукою. — За три цалковых кого хошь возьмет, хоть самого Ланцова,[341] а не то — сам Ванька Каин из гроба восстань — и от того не откажется.

— Нет, уж видно, в тюрьме придется досиживать! — вздохнул Вересов после грустного раздумья.

— Зачем в тюрьме?! — изумленно спросил его Гречка. — Аль уж она, сударушка, так полюбилась тебе?

— Где полюбится! Денег нет, — признался Вересов.

— Эвона!.. Только-то и всего!.. Деньги отыщем! Деньги — дело нажитое, — утешил Гречка. — Да хоть я, пожалуй, дам тебе! Три с половиной — куда ни шло! Больше не проси, потому, — не дам: больно жирно будет, а три-то могу — значит, только чтоб на выкуп хватило.

Вересов поглядел на него с немалым недоумением. Его изумлял этот порыв великодушия в человеке, который принес ему столько зла и несчастий. Но к таким порывам иногда весьма бывают склонны непосредственные и — что казалось бы очень странным — глубоко и грубо испорченные натуры. В злодее цивилизованном и утонченном несравненно труднее отыскать признаки сердца и совести, чем в злодее грубом, простом и необразованном. Первый часто совсем теряет эти нравственные свойства, тогда как второй более бывает способен сохранить искру чего-то человеческого под грубой корой разврата и преступления. В непосредственном человеке чаще пробуждается и непосредственное челове-

ческое чувство. Таковы, по крайней мере, выводы из тех фактов, которые мне лично доводилось наблюдать в людях этого рода. И понятно, почему оно так бывает: простой, непосредственный человек делается жертвой преступления по большей части из трояких побуждений: либо это несчастная, психиатрически-врожденная склонность, либо негаданный-недуманный прежде страстный порыв, либо же, наконец, экономические и социальные условия жизни и быта. Эти последние, к несчастью, служат наиболее частой, почти общей, характеристической причиной преступлений для задавленного, бедного и необразованного класса. Стало быть, если гнет да голод заставляют человека становиться преступным, то, по удалении той или другой причины, он бывает более чем цивилизованный, утонченный негодяй, способен к порывистым возвратам хорошего человеческого чувства. Что же касается до негодяев цивилизованных, то читатель в течение нашего длинного рассказа, вероятно, мог уже уяснить себе, какие именно пружины чаще всего являются тут двигателем преступлений. Да и са-

мый характер-то преступления тут уж совсем иной, противоположный нищете и голоду.

* * *

Дело клонилось к вечеру, и на татебном отделении не ждали экстренных посещений какого-либо начальства. Поэтому камеры не были замкнуты, и арестанты свободно могли переходить из одной в другую, в гости к товарищам — посидеть да покалякать час-другой, до вечерней поверки. Осип Гречка явился в камеру, где содержался Вересов, и направился прямо к нему.

— Вот тебе три с полтиной! Считаю, верно ли? — сказал он, подавая три истертые бумажки вместе с крупными медяками.

Вересов стоял в замешательстве: ему не хотелось принять деньги, напоминавшие что-то вроде подаянья.

— Да ну, бери же, что ль! Не жгутся! — грубо сунул тот ему в руку.

— Да что ж ты мне это... Христа ради, что ли, — тихо возразил он смущенным голосом.

— Зачем Христа ради! — по товариществу! — объяснил Гречка. — Сочтемся как-нибудь! Разбогатеешь — отдашь, а не отдашь —

так и сам, не спросясь, возьму темной ночью, да еще с процентой. Так ли, ребята?

— Так-то так, — согласился Жиган, — да только — что ж это у тебя шальные деньги, что ли?

— Шальные не шальные, а даром нажитые: в трынку опомнясь выстукал.

— Верно шальные, что непутно кидаешь, — продолжал Дрожин, — лучше бы плепорцию угощения на товариство выставил.

— Ну, уж путно ль, непутно ль — про то наше знатье! — оборвал его Гречка. — Это я мальцу займы: поруку ему надо нанять.

— А, ну, это статья иная!.. А только все ж, надо полагать, деньги это у тебя, брат, фармазонские.

— Какие? — недоверчиво прищурился Гречка на Жигана.

— Фармазонские.

— Это что ж такое значит?

— А ты и не знал? — поддразнил его Дрожин. — Эх, вы!.. А еще матерыми ворами-убивцами туда же похваляются!

— Не слыхали, — неохотно и отчасти смущенно сознался Гречка, искоса как-то глядя-

чи в землю. Ему было досадно и на то, что Жиган при всех пристыдил его, и на то, что не знает, какая, мол, это штука — фармазонские деньги. А любопытно бы доведаться!..

— А ты расскажи, коли знаешь, — предложил он Дрожину.

— А что дашь за сказ? — Даром не стану.

— Чего тебе дать? Шишку еловую, что ли? Ты коли, значит, стар-человек есть и притом Жиган, так ты молодым-то в поученье это скажи.

— Даром не стану, — подтвердил Дрожин.

— Ну! Верно, и сам не знаешь! Есть, мол, звон, да не весть, где он! Слыхали, значит, что бывают какие-то фармазонские, а какие-такие — про то неизвестны.

Это замечание подстрекнуло старого Жигана, который везде и во всем любил пощеголять своей опытностью и бывалостью.

— Ан врешь же вот, песий огрызок! — окрысился он на Гречку. — Видно, и в сам-деле учить вашего брата приходится! Это вот какие деньги, — начал он, окинув глазами всю камеру, — коли станешь ты на них что покупать али кому отдавать, так они сами со-

бою, значит, опять к тебе же в мошну вернут-ся.

— И скоро вернутся? — с живым любопытством перебил Гречка.

— Сразу же, как только отдашь. И моргну-ть не успеешь, а они уж у тебя лежат: пото-му — сила в них нечистая, и раздобыться ими никак иначе невозможно, как только через тяжкое преступление: надо либо младенца убить, либо над мертвым, над покойником, значит, надругаться и ограбить его, либо свя-тотатство какое ни на есть сделать. Тогда только человек достоин будет.

— А иначе никак невозможно? — спросил его Гречка.

— Невозможно! — с видом авторитета от-ветил Дрожин. — И добыть их все пути зака-заны, акромне двух: либо убить того человека, который владеет ими, либо через нечистую силу.

— Хм... Штука мудреная... — раздумался Гречка.

— Вот коим манером, сказывают, раздо-былся ими один жиган савотейный! — про-должал меж тем старый Дрожин. — Есть та-

кая книга древняя, и писание в этой самой книге от халдейских мудрецов. Запечатана она семью печатями черными, и прозвание ей положено от Гога и Магога — «Сиви́ла египетская» — так и прозывается. И есть на Белом море камень-алатырь, и под этот самый камень-алатырь заложил книгу ту амператор Пётра-Первый. Как заложил, так и зарок положил, чтобы никто книгу ту Сивилу египетскую не достал; а достанет ее разбойщик разбойщицкой сын, который во младенческой утробе руки свои окровавит и крови той напьется, и тот разбойщик разбойщицкой сын будет и книгой той во век свой владеть. Вот жиган-то прослышал про эту статью. Продрал он с палестин забугорных да на Белое море и нашел тот самый камень-алатырь, а на камне, видит, младенец сидит и ножик с образком в ручках-то держит. Жиган взял от него этот ножик и, как было по зароку заказано, пропорол ему младенческую утробу, руки окровавил и крови напился. Тут перед ним и камень-алатырь с места сдвинулся. Как сдвинулся, так ему книга и обозначилась. И вычитал он там писание насчет фармазонских де-

нег — как то-ись раздобыться ими: рецепта, значит, такая приложена. Он так и сделал. Пошел на торжище и купил гусака. Что запросили за птицу, то сразу и дал без торгу. Принес гусака этого домой, печку распржежарко затопил и крепко давнул его за шею. Тот и задохся у него под рукою. Не ощипля, не обчистя, метнул его в печку-то и стал жарить. А в книге обозначено, чтобы жарить гусака до полуночи. Вот в самую полночь достал он это жарево смердячее из печи каленой и вышел с ним в поле на развал четырех путей. Сам стоит, а сам кричит: «Продается гусак продажный, цена — рубль запропажный!» Смотрит — по всем четырем путям — от востока и от запада, от моря и от гор идут к нему спешно четыре епишки — четыре эфиопа. Один давал гривну, другой алтын, третий полтину, а четвертый рубль. Страшно жигану стало, хоть сквозь землю провалиться, так впору бы, а сам одначе же помнит, что в книге прописано: «В эвдаком разе, мол, будь тверд человече, а не будешь тверд — сила нечистая задушит тебя, как ты гусака задушил». Он и выдержал, значит, карафтер свой. Отдал жарево за рубль

и пошел домой, не оглянувшись и слова единого не промолвя. А нечистой силе, значит, хочется рубль-то вернуть; она и кричит ему вдогонку: «Продавал гусака живого, а продал мертвого! Зачем, значит, черта надул?» А жиган знал все это, потому — оно так в книге «Сивиле» прописано, и пришел домой цел и невредим, а рубль этот всю жисть его продольствовал. Так вот таким-то манером добываются эти фармазонские деньги! Либо через гуся жареного, либо, коли уже ты знаешь, у кого они есть, то через тяжкое преступление, — с авторитетной поучительностью заключил Дрожин.

— А много ли таких рублей-то есть? — спросил его крайне заинтересованный Гречка.

— Да гуляют-таки по белу свету! В одной Рассее, сказывают, на каждую губернию по одному такому рублю полагается, да кроме того, не в счет: один на Архангельской город, один на Москву белокаменную, один на Питер да один на Нерчинской.

— Вот она, штука-то! — задумался Гречка. — А как же, то-ись, распознать-то его? —

осведомился он.

— Распознать можно, потому примета на нем положена, — объяснил Дрожин. — Фармазонский рубль завсегда старинного чекану — еще от самого императора Пётры-Первого. И сказывают, быдто на нем такая печать антихристова приложена, почему што и рубль-то этот с тех пор самых на свету появился, как в Перми, али в Вологде, что ли, народился антихрист.

— Э, так вот как!.. А хорошо бы и в самделе раздобыться фармазонскими деньгами! — с какою-то лихорадочной мечтательностью воскликнул Гречка. — Ежели бы он да попался в мои руки, воровать бы повек закаялся; не стал бы больше, детям и внукам заказал бы, ей-богу!

Дрожин только головой мотнул на это да недоверчиво усмехнулся.

Гречка ушел из камеры под сильным впечатлением дрожинского рассказа. Целую ночь ему грезились фармазонские деньги, а наутро в горячей голове его, наряду с неутомной мыслью о воле и побеге, гвоздем засе-ла теперь еще новая мысль; как бы сделать

так, чтобы этим самым рублем раздобыться?

LIII

ОТПЕТЫЙ, ДА НЕ ПОХОРОНЕННЫЙ

В известную пору дня, этак от десяти утра до третьего пополудни, поблизости тюрьмы и около полицейских частей вы можете встретить на улице неизменно одни и те же личности. В одном месте — это какая-нибудь клинообразная, бойко-плутяжная бородка, в чуйке; в другом — известный небритоусатый тип, с кокардой на красном околышке засаленной фуражки, с коим необходимо соединяется представление о «жене-вдове и шести сиротах мал мала меньше»; в третьем — вы непременно наткнетесь на подобный же тип, только другого оттенка: засаленный же вицмундир гражданский, с оборванными кой-где, болтающимися пуговками, такая же неумытость и небритие и такой же букет сивушного масла, имеющий свойство, подобно китайским пачули, давать знать о себе за три, за четыре шага.

С десяти утра до третьего пополудни эти

господа, неизбежно как смерть, появляются в означенных местах и фланирующей походкой, мерно, степенно прохаживаются на расстоянии сорока — пятидесяти шагов, по тротуару. Они уж тут как бы habitues[342] этого тротуара; проходит такой господин, например, мимо мелочной лавки — сидельцу поклон, как знакомому; проходит мимо распивочной — и кабачнику поклон, только еще втрое любезнее. А вот на углу стоит ходячий лоток с различною перекуской вроде печенки с рубцами да печеных яиц — с этим уж «при-тюремный» или «при-частный» фланер состоит в самых дружеских отношениях: походит-походит себе по тротуару и подойдет к рубцам — постоять, «передохнуть» да покалякать. Яйцо за копейку приобретет, методически, с наслаждением облущит его и кушает, промеж приятных разговоров.

— Что, как делами шевелишь? — осведомляются рубцы.

— Тихо, почтенный мои, тихо... — вздыхает причастный, — ни вчерась, ни третёвядни — сам, чай, видел, — ни единого не взял... не знаю, что нынче бог даст.

— Дрянь дела! — равнодушно замечают рубцы. — Этак ведь, пожалуй, сапожишек больше задаром изшарыгаешь, чем делов настряпаешь.

— Всенепременно так, почтенный мой, всенепременно! — глубоко и грустно вздыхает в заключение причастный.

Вот вышел из части полицейский солдат; причастный, словно щука на карася, кидается за ним вдогонку.

— Михей Кондратьич, а Михей Кондратьич! — Он чуть и не всю полицию знает по имени и отчеству. — Вы не за мною ли, Михай Кондратьич? — с переполохом ожидания допытывает причастный.

— Нет, не за вами... А что?

— Пожалуйста, почтенный мой, — причастный искательно приподнимает свою шапку, — уж ежели что... не поленитесь бежать, кликните — я вот все тут вот и буду ходить.

— Ладно, пожалуй, мы выкликнем, — с благосклонным достоинством соглашается вестовой следственного пристава.

— А уж после присутствия, ежели нынче

бог милость свою пошлет — позвольте просить на пару пива! — заманивает при-частный.

— Могим и на эв тот сорт... отчего же! — снова соглашается полицейский, уходя по своей надобности.

При-частный еще раз искательно берется за козырек, еще раз сокрушенно вздыхает и по-прежнему принимается неторопливо шагать по тротуару.

Все эти господа «при-частные» и «при-тюремные» фланеры суть непосредственное порождение наших судов и следствий. Это — наши присяжные свидетели о чем угодно (плата — смотря по важности) и поручители за кого угодно (плата — тоже смотря по важности и обстоятельствам).

Иные из них, завидя утром подходящего субъекта (нюх такой уж есть у них), который подъезжает к воротам частного дома, стремительно направляют к нему шаги свои и с подобающей таинственностью предлагают:

— Не нужно ли вам свидетеля, милостивый государь? Могу быть к вашим услугам.

Ежели подходящий субъект обладает из-

вестною гибкостью относительно осьмой заповеди, как известно, воспрещающей послушествовать на друга своего свидетельство ложно, то он соглашается на любезное предложение при-частного и, отправляясь с ним в первый трактир или пивную, излагает подробно обстоятельства, о коих надлежит свидетельствовать, — за известный гонорар, конечно.

При выходе же подобных субъектов из частного дома при-частный точно так же является с предложением своих услуг:

— Не требуется ли, милостивый государь, прошеньице изобразить или отзыв какой-либо, или протестацию? — позвольте рекомендоваться, к вашим услугам!

И, в случае согласия, точно так же отправляются вместе в пивную, где при-частный давно уже пользуется ролью завсегдатая — своего, домашнего человека — и, удалившись в отдельную, уединенную комнату, принимается строчить по заказу. В этом занятии обыкновенно проходит почти весь остальной день при-частного, по окончании утреннего фланерства у полицейского дома.

Полицейским и особенно тюремным солдатам очень хорошо известно место жительства этих поручителей, которые обыкновенно стараются приютиться где-нибудь поблизости тюрьмы или части, так что в случае надобности, не отыскав поручителя ни на тротуаре, ни в пивной, солдат бежит уже прямо к нему, на квартиру: «Пожалуйте, мол, ручаться!»

Около одной из частей похаживал обыкновенно в качестве такого причастного красноносый старичонко в беспуговном вицмундире и старенькой камлотовой шинели. Какова бы ни стояла на дворе погода — июльский ли зной, осенний ли дождик или крещенские холода, — вы неизменно могли бы встретить коричневую шинелишку с теплой котиковой шапкой, из-под которой пробивались жидкие космы желтовато-серых волосьев. Старичонке этому стукнуло уже под семьдесят лет, но для таких преклонных годов он был еще достаточно бодр телом и еще бодрее духом, особенно когда, бывало, хватит известную дозу очищенной; неподвижно-рыбьи тусклые глаза его отличались необыкновенной зорко-

стью и наметкой угадывать алчущих и жаж-
дущих писания крючкотворных прошенъиц,
свидетельства ложна, поручительства и тому
подобных предметов.

Это ходячее *memento mori*[343], своего рода
«вечный жид» Съезжинского тротуара, уже
более двадцати лет появлялся на своем троту-
арном посту, где он был именно как смерть
неизбежен, и вечно в одном и том же, неиз-
менном ни при каких обстоятельствах, ко-
стюме. Время от времени он менял тротуар
одной части на другую, другой на третью, тре-
тей на четвертую, и по прошествии извест-
ного периода опять появлялся на прежнем
месте. Впрочем, для него в течение столь дол-
гого и неуклонного служения одному и тому
же делу все подобные места равно могли по-
казаться прежними и давно найденными.

Прозвание этому старичонке было «отпе-
тый да непохороненный», а имя, отчество и
фамилия — Пахом Борисович Пряхин. Он уже
отчасти известен читателю, который позна-
комился с ним еще в «Ершах», в знаменитой
«квартире для трынки и темных глаз», где Па-
хом Борисович Пряхин в то время занимался

невинной фабрикацией фальшивых видов и паспортов и снабдил подобными же Казимира Бодлевского, тогда еще граверского ученика, и горничную княжны Анны Чечевинской, Наташу — ныне блистающую баронессу фон Деринг. Хотя с тех пор над «отпетым да непохороненным» Борисычем пронеслось двадцать годов с лишком, и хотя эти годы попригнули-таки его немножко к земле, ожелтили и повыщипали волосы да неподвижно как-то орыбили глаза, однако Пахом Борисович Пряхин по духу своему остался все тем же отпетым да непохороненным человеком, и как воспоминание о былых временах, как символ неизменности своим вечным симпатиям и привычкам, сохранил свой нос сизовато-клюквенного колера вместе с обычным «приношением посильной пользы страждущему человечеству».

Лет пятнадцать прошло уже с тех пор, как Пахом Борисыч покинул навсегда свою выгодную фабрикацию видов. Почувствовал он, по преклонным годам своим, некоторую привязанность к месту, к родному городу Петербургу, в котором он уже так давно и так проч-

но оселся, и не захотелось ему ради выгод мирских заниматься рискованной подделкой, за которую, пожалуй, пришлось бы переменить место жительства и отправиться на колонизацию стран зауральских. Стар стал Пахом Борисыч и возжелал покою, возжаждал более мирного бытия, а потому и переменял прежний род деятельности на более спокойный, менее рискованный и приличествующий его летам и званию. Нельзя сказать, чтобы и до сего окончательного решения он не занимался тем же: нет, Пахом Борисыч и в те времена еще точно так же похаживал по тротуарам около съезжих домов в качестве «причастного» фланера и точно так же строчил прошеньице да брал на поруки, чему много благоприятствовали также и тогдашние private занятия его в конторе квартального надзирателя; но, собственно, пятнадцать лет назад он составил себе уже окончательное решение посвятить свою жизнь и мирные, спокойные занятия на посильное служение страждущему человечеству, в качестве «причастного строчилы и поручителя». К этому, для окончательной полноты сведения о Пахо-

ме Борисыче Пряхине, мы должны сообщить и то обстоятельство, что Пахом Борисыч Пряхин был родителем достаточно уже известной читателю особы, Александры Пахомовны, или Сашеньки-матушки, quasi[344] тетушки господина Зеленькова и неизменно верной агентши генеральши фон Шпильце. Впрочем, Сашенька-матушка никакого уважения и дочерних чувств к родителю не оказывала, даже не при всяком случае и не при всяком постороннем человеке «тятинькой» удостоивала назвать его, и еще в лета своей юности прогнала с квартиры, на том основании, что к ней «благородные кавалеры приезжают, а тятинька очинно уже безобразен и только в конфуз ее вводит». Тятинька вздохнул, связал свой узелок и, завернув в первый же кабак, хотя и слезно, однако смиренно покорился горестной своей участи. С тех пор он только в случаях, крайней нужды являлся «к барышне» и робко выпрашивал у нее гривенничек «на баньку», да коли милость будет — чайшком грешным утробу попарить. Сашенька-матушка морщилась, ругала, на чем свет стоит, родителя и на гривенники далеко не

всегда раскошелливалась.

Так протекли дни отпетого да непохоро-
ненного Пряхина, и таковы были отношения
его к дочери.

LIV

ВЕРЕСОВ НА ВОЛЕ

— **Ч**то же мне делать теперь с этими день-
гами? — в смущенном раздумьи и не
зная, на что решиться, спросил Вересов Рам-
зю.

— Возьми их, непременно возьми! — с убе-
дительной положительностью присоветовал
Рамзя. — Это он грех свой против тебя чув-
ствует, совесть в нем завопяла, так он хоть
чем-нибудь хочет помириться с нею, хочет,
чтобы ты злости на него не питал. Значит,
эти деньги надо принять, — заключил
Аким, — потому — примирить человека с со-
вестью его — это, брат мой, великое есть дело
христианское.

— Да на дело-то такое дал... почти что на
обман, — еще смущеннее возразил Вересов.

Рамзя весьма серьезно углубился в минут-

ную думу.

— Хм... на обман... — тихо заговорил он среди своего раздумья. — Человеку ведь воли хочется... нельзя, чтобы каждый человек पहले всего воли себе не хотел... Апостол-то что говорит? «Идеже дух господень, ту свобода». А кто есть сосуд духа божия? Где духу божью приличествует пребывать? — в разуме, в сердце, в душе человеческой, брат мой!.. Посему, выходит, человек, а наипаче того христианин, पहले всего к воле, к свободе должен устремляться.

И Рамзя на минуту снова погрузился в свое раздумье.

— Обман... в чем же обман?.. Отец твой, бог ему судья, отказался ни за што от сына единокровного... Ты человек неповинный — таково ведь и судия твой следственный мыслит о тебе; сам же он сказал тебе: «Ищи, мол, по себе поручителя». У тебя нет ни друга, ни ближнего, ни знакомого, к кому бы ты мог обратиться в нужде своей и в печали — «коиждой сам о себе да промыслит». Ну, и промысли!.. Ведь ты не убежишь, не уворуешь и зла ниже какого не сделаешь, а будешь же ведь мирно да

тихо жить на воле — поручителю через свое озорство тоже зла не принесешь ни мало; отчего ж тебе и не нанять его?.. Дело любовное, добровольное... Обман... хм... обман, друже мой, там, где человек через обман зло творит себе и ближнему! — с силой искреннего убеждения заключил Рамзя.

Вересов крепко задумался. Он был побежден своеобразной логикой Рамзи, слова которого дышали такой энтузиастической верой и убеждением, да притом воли-то вольной уж больно сильно хотелось ему — и он решился.

Выписав на клочке бумаги свое имя и звание, он вручил его, вместе с полтинником, тюремному солдату и объяснил свою надобность.

— А в какой части дело-то? — спросил тот.

Вересов назвал.

— То-то!.. это надо знать, потому — поручитель допрежь того в часть должен объявиться о желании своем. Ладно, будет сделано! — утешил его тюремный воин и в тот же день, улучив удобную минуту, смахал к Пахому Борисычу Пряхину.

— Арестант-то бедный или богатень-

кий? — осведомился поручитель.

— Голяк! — махнул рукою воин.

— Э, брат, это, выходит, игра свеч не стоит!

— Чего не стоит!.. Деньги все едино получите: три-то рубля на улице ведь не валяются.

— Да что... Кабы он богатенький был, так можно бы этак взять, через месяц отказаться: не ручаюсь, мол, по неблагонадежности.

— Да на што же это?

— А на то, что он тогда опять заплатит, только не отказывайся, значит. Этак бы и тянуть с него оброчек за каждый-то месяц.

— Так-с, губа-то у вас не дура, да все же это не рука нам. Коли не хотите, так и не надо: к другому пойду. Вашего брата ведь довольно шатается! А от такого арестанта никто не откажется, потому — человек он смирный, обиды от начальства уж за него-то не наживешь. Это верно.

Пряхин опешил от столь крутого поворота и тотчас согласился, на том основании, что три рубля и в самом деле на улице не валяются.

Дня через четыре Вересову приказали сдать казенное серое платье, взамен которого

выдали ему из цейхгауза его собственное, и тюремный фургон в последний уже раз отвез арестанта к следственному приставу.

— Который из вас тут на поруки-то просится? — таинственно и украдкой спросил Пахом Борисыч, когда конвойный привел Ивана Вересова, вместе с другим подследственным, в прихожую следственной камеры.

— Я... А что?

— Приятно познакомиться... Я — твой поручитель: господин Пряхин, губернский секретарь в отставке. Деньги-то теперь заплатишь мне, что ли?

— Не давай теперь, — толкнул подследственный локтем своего осторожного соотарища, — это, брат, стрикулист, возьмет, пожалуй, да и поминай как звали, а он пуцай прежде поручится, тогда и отдашь.

— Ишь, тюремная крапива... — злобственно прошипел поручитель, отходя в сторону.

— Эва, как окрысился! Верно, в самую центру попал! — самодовольно ухмыльнулся подследственный.

Четверть часа спустя Пахом Борисыч дал подписку в поручительстве и вместе с осво-

божденным Вересовым спустился с лестницы частного дома.

— Ну, давайте же теперь условленное! — нетерпеливо остановил он внизу своего поручейника, вдруг меняя с ним ты на вы.

Тот с благодарностью отдал ему деньги.

— Хи-хи-хи... — слюняво и с присвистом засмеялся старичонко, ощущая необыкновенную приятность при виде ассигнации. — А если бы вы мне не отдали, я бы сейчас вернулся и отказался бы от поручительства. Хи-хи-хи... так то-с!.. А теперь — вот вам для памяти адрес мой, для того, что если вы себе выберете место жительства, то немедленно уведомьте: я должен это знать на всякий случай.

Вересов обещал ему.

— Ну-с, желаю наслаждаться всеми благами, — приподнял старичонко свою котиковую шапку. — Смотрите же, не обидьте меня, старичка беспомощного! Я по христианскому чувству, сжалился над вами, потому — это мой долг, в некотором роде для души спасения... посильная помощь страждущему человечеству... ну, и... прочее... Так уж вы, пожалуйста, обитайте себе смиреннько, тихенько,

богобоязненно, чтобы меня тово... под ответственность как-нибудь не подвести. Прощайте-с!

И они разошлись в разные стороны.

Вересов радостно вздохнул полной грудью, когда наконец остался один, — один совершенно. Он только теперь почувствовал свободу. Не в силах сдержать широкой радостной улыбки, пошел он без цели, куда глаза глядят, и пошел таким твердым и быстрым шагом, как будто его подталкивала и влекла какая-то сверхъестественная сила. Ему весело идти, куда хочет, идти без отчета, по своей собственной воле, весело ощущать даже самое это движение, глядеть на свободные, здоровые лица встречных людей, окунуться в этот водоворот уличной жизни и совсем потеряться, исчезнуть в нем. На каждую улицу, на каждый дом он глядел теперь как на нечто новое или как на старинного своего друга, с которым бог весть сколько времени не видался. А и времени-то, в сущности, немного ведь прошло с тех пор, как арестовали его — не более какого-нибудь месяца; но как, однако, в этот месяц изменился Вересов, как его при-

шибла и принизила недобрая доля!.. Теперь это были первые минуты, когда он забылся, под обаянием радостного, счастливого чувства свободы. Он все шел и шел, улыбался и глядел на все такими любопытными глазами, будто жаждал наглядеться на весь мир божий, и весь этот мир божий желая обнять, как брата, радостно кинуться ему навстречу и любить, любить его крепко и много... Но усталость наконец взяла-таки свое. Вересов остановился и огляделся вокруг. Присесть хочется — негде присесть, надо идти поневоле. Голод почувствовал — нечем утолить его... В кармане ни копейки, а даром есть не дадут... Жаль тюрьмы: там была своя койка и щи-серяки тоже были. Здесь теперь — воля, и нет ни того, ни другого.

Он опять пошел без цели, только уже не так радостно и быстро, как за несколько часов перед этим.

Начинало темнеть; по улицам фонари зажигались. Тысячи роскошных, блестящих магазинов заблистали газовыми огнями. Вон целый ряд фруктовых и бакалейных лавок, сквозь стекла которых так вкусно и заманчи-

во глядят всевозможные роскошные снеди: сыры, копченое, жирные пате и маринады, а там — ананасы да кустики земляники в горшочках да фрукты разные. «Хорошо жить на свете!» — с горькой улыбкой промелькнуло в голове Вересова, когда остановился он перед соблазнительным окном такой лавки, и долго рассматривал все эти вкусности, один вид которых голодно поводил мускулы его губ и щек и сдавливал скулы, заставляя глотать слюнки, вызываемые волчьим аппетитом. Вересов стоял, глядел и дрогнул на ветру; а голод меж тем все сильнее и сильнее начинал донимать его. По улицам проносилось множество экипажей. Сыны Марса в белых и красных шапках и привилегированные сыны биржи да изящных салопов в бобрах и соболях гнали во весь дух своих статных рысаков, стараясь во что бы то ни стало обогнать друга друга и паче того — обогнать какую-нибудь блестящую камелию, которая, с шиком закутавшись в богатую черно-бурую медвежью полость, нагло мчится сломя голову, развываясь в своем экипаже.

В воздухе становилось холоднее — к ночи,

должно быть, добрый морозец станет, а у Вересова пальтишко одним божьим ветром подбито... Остановился он посреди тротуара и с мутящей, голодной тоской огляделся во все стороны. Куда ж идти, что делать, где приютиться, где обогреться ему? Идти — куда хочешь, а приютиться... тоже где хочешь: город велик и пространен.

Голодный человек почувствовал ужас.

Среди этого шума, блеска, движения и многолюдства — он одинок и бессилён... И ему почудилось, что этот пышный город — его холодная, суровая могила.

ФЕМИДА НАДЕВАЕТ ПОВЯЗКУ И ПОДНИМАЕТ СВОИ ВЕСЫ

В зале одного присутственного места, обстановка которого была украшена всеми атрибутами современной Фемиды, где меч заменяется гусиным пером, гири весов — пудами исписанной бумаги, хранящейся в виде дел по судейским шкафам, а достолавная повязка... Впрочем, одни говорят, будто повязка осталась та же самая, а другие сомневаются, чтобы она когда-либо существовала на глазах суровой богини. Итак, в зале, украшенной атрибутами современной Фемиды, заседал ареопаг ее верных жрецов и обслуживал некое уголовное дело. Называлось оно «Делом о покушении на жизнь гвардии корнета князя Шадурского, учиненном женою московского почетного гражданина Юлией Николаевной Бероевой».

— Дело сомнительное, — заметил, пожевав губами, один из членов.

— Вы находите? — возразил другой, кото-

рый был неизмеримо солиднее первого, и при этом авторитетно вскинул на него юпитеровские взоры.

— Полагаю, так.

— Почему же, любопытно знать.

— А хотя бы свидетельство мужа ее, который сообщил о дворнике... Дворник-то ведь показал бы иное.

— Н-да-с, то-то вот и есть, что показал бы, — победоносно прервал Юпитер, — но в деле такого показания нет; дворник давным-давно умер-с.

— Это-то странно: смерть накануне дачи показания, — диспутировал первый.

— Воля судеб, провидение! — пожав плечами, фаталистически поникнул головою второй. — Опять же странного ничего нет: дворник был пьяница и, как видно из медицинского осмотра, умер скоропостижно от опоя, а пьяницу можно и подкупить... Наконец, чье же свидетельство должно быть больше принято во внимание: акушерки ли и прочих лиц, или какого-нибудь дворника?

— Да, может быть, и дворник был бы столь же достоверно-законный свидетель?

— Допустим, хотя в этом случае мы толчем воду в ступе, — соглашается Юпитер, — но статья 33-я второй книги Законов уголовных гласит, что при равной степени достоверности законных свидетелей, в случае противоречия их, судья должен давать преимущество: мужчине перед женщиною, знатному перед незнатным, ученому перед неученым и духовному перед светским. Заметьте-с, милостивый государь: знатному перед незнатным — стало быть, тут и говорить не о чем. Акушерка имеет дипломы — значит, и знатнее, и учение какого-нибудь пьяницы-дворника. Притом же свидетельство одного не может считаться полным и удовлетворительным, если на него не ссылаются обе противные стороны.

— Но Бероева слишком упорно стоит на том, что она защищалась только от насилия, — ответственвал между тем первый.

— Гм... изнасилование!.. — ухмыльнулся солидный жрец Фемиды. — На теле ее боевых знаков не оказалось — это одно. А второе — какое же тут может быть насилие, если она сама, и притом собственноручным письмом,

вызывала Шадурского в маскарад да потом поехала с ним ночью в ресторацию, в отдельный кабинет? Помилуйте, что это вы говорите!.. И потом эта выдуманная история о ребенке, оговор посторонних лиц, которые ее и в глаза-то никогда не видали, — продолжал солидный чиновник, — все это, по моему мнению, есть не что иное, как желание сорвать с богатенького князька изрядненький куш — она же, притом, женщина далеко не достаточная; не удалась удочка с ребенком — так давай, мол, поддену его на насилие, авось на мировую пойдет да за бесчестие заплатит, чтоб отвязаться от суда и следствия, по крайней мере других побудительных нравственных причин я не усматриваю... Барынька-то, видно, не промах. Да-с, тут был своекорыстный расчет, — заключил авторитетный жрец Фемиды, — а по смыслу 343-й статьи той же книги сила улики умножается, когда обвиняемому от совершения преступления могла последовать прибыль.

— Но это ведь только ваши личные соображения, — заметил спорщик, принадлежащий к числу еще неопытных служителей богини.

— Допустим и это, пожалуй, — великодушно согласился опытный, — но и одних голых фактов достаточно для полного обвинения: во-первых, подсудимая найдена на месте преступления, с орудием в руке; во-вторых, есть законные свидетели; в-третьих, медицинское свидетельство утверждает, что раны были нанесены именно острым орудием, и притом одна из них всего только на полдюйма от сонной артерии, стало быть, могла иметь весьма серьезные последствия и даже самую смерть. Будь эти раны нанесены в руку, в ногу, в лицо — их можно было бы отнести к разряду увечья, но рана в грудь и в горло, на полдюйма от сонной жилы, в которую орудие не попало, быть может, только вследствие неверного удара, тогда как самая близость к этой жиле показывает намерение ударить именно в нее, — все это, по моему убеждению, должно быть, рассматриваемо как покушение к убийству. Наконец, подсудимая и сама не отрицается от своего преступного действия, только выставляет в оправдание причину, ничем не доказанную; на очных же ставках ровно никого не могла уличить, — все это,

как хотите, вполне доказывает ее полную преступность и притом умысел.

— А нравственное убеждение следователя? — попытался еще раз возразить ему спорщик, окончательно побитый на всех пунктах.

— Следователь, как видно, еще порядочный молокосос! — тоном безусловного приговора ответил солидный муж и при этом с достоинством поправил на шее регалию. — Ему бы, по-настоящему, надо за это порядочный выговор сделать... Нравственное убеждение... Закон не спрашивает от следователя его личного нравственного убеждения; закон требует, чтобы он исследовал только факты и обстоятельства, каковы бы и представлял, а нравственного убеждения ему, по-настоящему-то, и по закону не полагается.

— Однако, господа, что ж это мы все болтаем! — заключил он через минуту. — Дело-то ведь не ждет — у нас еще вона какая кипа накопилась!

И приговор подсудимой через час уже был составлен.

LVI

ВЫЧИТКА РЕШЕНИЯ

Прошло уже несколько месяцев, а Бероева все еще содержалась в тюрьме, не зная и не ведая, как идет ее дело. Сказано ей было только, что пошло уже в суд, на решение. Два и ее вытребовали туда для дачи показаний, но это ни на каплю не подвинуло дела в ее пользу, потому что с ее стороны были одни только голословные, бездоказательные показания, а со стороны ее противников — и значение, и вес, и, паче всего, хитрая механика Хлебонасущенского. Впрочем, на это дело она давно уже безнадежно махнула рукой, покорясь своей участи — какова бы она ни была и что бы там ей ни предстояло впереди. В ней теперь неисходно жила одна только мысль, одна болящая дума о муже да о детях.

Но о судьбе мужа — ни слуху, ни духу, и за все это время ни одна строчка от него не доходила до арестантки, так что жив ли, сослан ли он или бесследно исчез, умер — для нее оставалось ничем не разрешимым вопросом.

Только из Москвы от тетки доходили к ней письма — с каракульками, которые постоянно вставляла в приписках ее дочь Лиза, начавшая учиться писать. Каждое такое письмо стоило Бероевой многих нравственных мучений, тоски и слез, живо напоминая разлуку со всем, что было так дорого и свято в ее жизни; но каждое из них в то же время и поддерживало ее, придавая силы и решимость на дальнейшее перенесение своей темной доли: Бероева знала, что рано ли, поздно ли окончатся этот суд и тюремное ее заключение, освободят или сошлют ее — она, во всяком случае, соединится опять со своими детьми, будет жить с ними и для них, и эта мысль много поддерживала ее твердость своим ободряющим влиянием.

Был август вначале. До Бероевой дошли слухи, что дело ее скоро уже решится, и точно: незадолго после этого ее отправили в обычно-тюремном ящике, который на тюремном argot весьма характерно именуется «мышеловкой», выслушать решение.

У человека всегда как-то является невольный трепет перед той роковой минутой, кото-

рая должна навеки решить его дальнейшую судьбу. Но трудно бы вполне выразить то глухое чувство, которое испытывала Бероева с того самого мгновения, как только ей было приказано отправиться к «вычитке» решения. Оно охватывало ее все сильнее и сильнее, чем ближе подвигалась «мышеловка» к месту назначения. Там, в этом огромном доме казенной архитектуры, готово уже решение ее судьбы. Какое это решение? Освободят ли, или засудят? Оставят в подозрении или сошлют?

«В подозрении... Нет, это — гнусное состояние для честного человека... Пусть уж лучше ссылают! — думалось арестантке, в то время как черный фургон подскакивал и трясся на жесткой, булыжной мостовой. — А дети?.. Мать — преступница... ссыльная арестантка... Нет, дети будут со мною — возле и всегда со мною! Дети потом узнают, виновата ли я была... Но этот несчастный ребенок — где он теперь? Где они спрятали, куда украли его и что с ним случилось теперь, что за судьба его?»

Целая вереница таких тяжелых мыслей отрывочно проносилась в голове подсудимой

женщины, но неотступнее всех остальных возвращался к ней все один и тот же вопрос: оправдают или обвинят? Она знала — почти наверное знала, что обвинят, и все-таки смутная надежда мгновеньями неволью закрадывалась в ее сердце: «А может, и оправдают?» Однако Бероева превозмогла эту надежду и нарочно не давала ей разыгрываться, нарочно старалась в возможно худшем свете представить себе грядущую судьбу, так что ею наконец безотчетно овладело даже какое-то суеверное чувство: «Не надо думать, что все окончится хорошо да счастливо, лучше думать на худое, тогда авось...»

И она не смела, она страшилась выговорить это ободряющее слово, потому что «всегда оно так случается, когда думаешь на хорошее, тут тебе судьба как будто нарочно худое-то и сделает». И бедная женщина, ввиду своего приговора, старалась убаюкивать себя такой суеверной и детски-наивной мыслью, которую бессознательно порождало в ней чувство надежды. В подобном состоянии человек уже лишается возможности строго мыслить путем здоровой и холодной логики,

потому что слишком трудно человеку разом помириться с не зависящей от его воли грозной развязкой своей судьбы — и он невольно поддается здесь инстинкту как бы самосохранения: «Никто же плоть свою возненавидит, но по природе питает и греет ее», — сказал еще более чем за тысячу лет мыслитель первых веков христианства.

В таком-то мрачном состоянии страха, ожиданий и суеверно-инстинктивной надежды поднялась Бероева на темноватую лестницу присутственного места. Сердце ее так сильно и часто колотилось, чуть не до дурноты, что ей пришлось, отшатываясь к стене или к перилам, останавливаться по нескольку раз на ступеньках, чтобы перевести дух и собрать свои силы. Она поминутно хваталась рукою за грудь, словно бы хотела сдержать и утишить это усиленное сердцебиение.

Конвой привел ее в прихожую, где обыкновенно, сидя на скамейках, арестанты ожидают, пока позовут их «на вычитку к открытым дверям».

Здесь пришлось дожидаться более часу, и в это время разные чиновники, несколько раз

по две, по три физиономии, высовывались в дверь, либо же проходили мимо, с любопытством оглядывая привезенную арестантку и тихо перекидываясь между собою какими-то замечаниями, очевидно, на ее счет и особенно насчет ее наружности, которая, несмотря на все невзгоды, перенесенные этой женщиной, все-таки оставалась еще как-то грустной, могильно-прекрасной... В это самое время Бероевой пришлось впервые испытать на себе то оскорбительное для нравственного достоинства человечества состояние любопытного, заморского зверька, на которого всякий считает долгом взглянуть, как на диковинку, — состояние, каждый раз испытываемое человеком в подобном положении. Чиновники знали и слышали про интересное дело Бероевой, и потому многим из них было весьма любопытно посмотреть на «интересную героиню» уголовного преступления.

Наконец ее позвали в присутствие, где сторож указал ей надлежащее место, а два конвойные солдата, с ружьями у плеча, стали по бокам арестантки. Это место приходилось как раз перед дверями, которые через минуту рас-

пахнулись, обнаружив в глубине другой комнаты большой стол под красным сукном с золотой бахромой и кистями, на столе — золотое зеркало с четырехкрылым орлом на верхушке, а вокруг сидят чиновники в мундирах с высокими штыми воротниками до ушей.

Обстановка торжественная.

Секретарь, в почти таком же мундире, взял со стола приготовленный заранее лист и остановился в открытых дверях, не переступая порога. Мотнув головою, чтобы оправить мешавший ему воротник, он откашлялся и торжественно-звучным, официальным голосом начал читать приговор подсудимой.

Этот приговор осуждал ее на лишение всех прав состояния и ссылку на поселение в Томскую губернию.

— Довольны ли вы решением? — форменно спросил секретарь по окончании.

Бероева взглянула на него взором, исполненным такой горькой иронии, на какую только и может быть способен невинный человек, которого ведут на плаху и спрашивают: нравится ль ему эта прогулка?

Она внятно ответила:

— Довольна.

— В таком случае подпишитесь — здесь вот, так требует закон, — предложил ей чиновник.

Арестантка подписала под диктовку поднесенную ей бумагу, но все это исполнила как-то машинально, бессознательно, потому что и мысли в голове и ощущения на сердце начинали путаться и мешаться между собою.

LVII

НЕДЕЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЙ

По возвращении в тюрьму Бероева уже не видела более своих тюремных товарок: ее немедленно отделили от прочих и заперли в особый, секретный номер, потому что она с этой минуты считалась уже «решенною», преступницей.

Одна из надзирательниц принесла ей евангелие и объявила, что в эту неделю заключенная должна говеть, исповедоваться и причаститься перед предстоящим последним актом ее трагикомедии.

С этой минуты Бероева как будто переро-

дилась. Надежды уже не было, но не было и слез и отчаяния. Постигшее ее горе было слишком тяжело и громадно для того, чтобы разрешиться ему слезами, воплями и напрасным сетованием на судьбу и людей: оно жило в ней, висело над нею как страшная свинцовая туча, которая, медленно надвигаясь со всех концов горизонта, как будто все опускается ниже и ниже, кажется — как будто вот-вот наляжет она на грудь земли и задавит ее собою; а между тем не разрешается грозой, и если уж разразится, то моментально, чем-то ужасным и неслыханным. Так было на душе Бероевой. Она как будто даже стала совсем спокойна, даже вполне владела собою, словно бы в нормальном человеческом состоянии; но это самообладание и спокойствие заключало в себе нечто гордое, роковое, непримиримое и грозное. При внимательном взгляде сделалось бы страшно за такое спокойствие.

Первым делом она выпросила себе бумаги и перо и написала всего только несколько слов:

«Снарядите обоих детей в дорогу; они идут со мною в Сибирь. Недели через три меня уж

верно привезут в Москву — пусть к этому времени они будут готовы».

Попросив об отправке письма, она уже никого и ни о чем не просила более, даже ни с кем не говорила все время. Когда по какой-либо надобности входили в номер заключенницы, ее находили постоянно за чтением евангелия; но читала она как-то машинально, безучастно к мысли этой книги, а так — потому что нечем больше наполнить бесконечно долгое, однообразное время. Приходили звать ее в церковь — она молча повиновалась, молча выстаивала службу и точно так же возвращалась оттуда в свою комнату, ни на кого не глядя, ни на что не обращая даже самого мимолетного внимания. Она только беспрекословно исполняла то, чего от нее требовала обычная формальность.

Наступил день исповеди — Бероева стала перед священником.

— Чувствуешь ли ты всю глубину и весь ужас твоего преступления? Раскаялась ли вполне и откровенно, и всем сердцем и помышлением своим, чтобы быть достойною приступить к сему великому таинству? — ти-

хо сделал он вступление перед началом своего пастырского увещания.

Эти почти формальные в подобных случаях слова показали Бероевой величайшею иронией, какою только могла судьба издеваться над нею, и она не сдержала горькой усмешки, которая легкой тенью пробежала по ее лицу.

Священник, исполняя подобным вопросом только надлежащий приступ и потому с некоторой рассеянностью глядя на предстоящую арестантку, которых, быть может, не первая уже тысяча предстояла перед ним в точно таком же положении, не заметил ее горькой улыбки, но, взглянув на ее склоненную голову, счел это за утвердительный ответ и продолжал свое увещание.

— Надо надеяться на милость божию... И разбойник на кресте сподобился, а мы, христиане, и того наипаче, — говорил он с благочестивым вздыханием. — Участь, предстоящая тебе, положим, и весьма горестна, однако же не печалься... Я, как пастырь, желаю дать тебе духовное утешение... Тырываешь ныне все узы с прошлою жизнью и перед нача-

лом жизни новой...

Бероевой стало невыносимо горько и тяжело.

— Да, батюшка, с этими людьми и с этою жизнью все мои счета покончены, — прервала она, с печальным одушевлением вскинув на него свои взоры. — Что бы там ни ждало впереди — теперь все равно! К чему утешенья?.. Мне уж не надо их больше!.. Начинайте исповедь.

Священник поглядел на нее с удивлением, но, видно, в этих глазах сказалось ему слишком уж много замкнутого в самом себе горя для того, чтобы еще растравлять его каким-либо посторонним прикосновением, и потому, помолчав с минутку, он прямо уже начал предлагать ей обычные пастырские вопросы.

На другой день, перед обедней, арестантке переменили костюм: черное платье заменилось полосатым тиковым, в каком обыкновенно ходят «нетяжкие» заключенницы, для того, чтобы она не причащалась в своем «позорном татебном капоте».

Два утра следовавших за сим двух дней Бе-

роева постоянно находилась в нервной ажитации. Она смело глядела в глаза грядущей судьбе, но страшилась единственно лишь последнего спектакля, не могла помириться с мыслью о том позоре, который неминуемо ждет ее на прощанье с покидаемой жизнью.

Каждый звук шагов, приближавшихся к ее двери, каждый поворот ключа в замке заставлял ее бледнеть и вздрагивать, и холодеть, а сердце колотиться мутящей тоской ожидания, но оба эти мучительные утра ей суждено было обманываться, и это наконец истомило ее так, что в ожидании следующего дня и тех же неизменных ощущений она уже тоскливо спрашивала себя:

«Да скоро ли же, наконец, скоро ли?.. Хоть бы кончали уже!»

После долгой и почти бессонной ночи для осужденной наступил и рассвет ее третьего утра.

LVIII

ПРОГУЛКА НА ФОРТУНКЕ К СМОЛЬНОМУ ЗАТЫЛКОМ

Во втором часу ночи на Конную площадь грузно ввалились три скрипучие телеги, наполненные грудой каких-то досок и бревен. Остановились посередине: рабочие люди стали скидывать на землю привезенный материал, а другие в это самое время на квадратном расстоянии вырыли четыре ямки, куда были вкопаны четыре столба. По глухой и безлюдной окрестности гулко раздавалось постукивание топоров да обухов, и кой-когда доносился до слуха сонного сторожа разный говор с восклицаниями то энергического, то веселого свойства.

— Ну, Андрюха, прилаживай чертохвост, прилаживай доски-ту! Что осовемши сидишь, словно тетерев какой? Работа ништо себе, веселая.

— Что в ей веселого!.. Все едино, как ни есть, а все она работа, значит.

— А тебе как?! Только бы в распивочной

насчет косушек работать бы? Ишь ты, персуля какая важная!

— Терентьич! Кобылу-то[345] утверждать аль нет?

— Кобылу не для чего, потому пороть, значит, не будут, а только так, для близиру одного, чтобы публике, значит, пример...

— А кого это, мужика аль бабу?

— Бабу, сказывали... Люблю я это, братцы!

— Хреста на тебе нету, что ли?.. «Люблю»!.. Эки слова-то говорит какие!

— А что ж, мы ничего, мы, значит, — слова, как слова! Что ж дурнова?..

— Да и хорошего ничего — спина, чай, некупленная!

— Чужая — не своя.

— Погоди маленько, — может, когда и до твоей доберутся.

— А что ж такое? Мы, как есть, етта, одно слово, что ничево... И для меня тогда, значит, тоже амвон этот самый поставят.

Подошли мимоходом какие-то три неизвестные личности, вида полунощно-подозрительного. Подошли, остановились и на работу поглазели.

— Что это, братцы, строится?

— А нешто не знаете?.. Штука-то ведь, по-ди, чай, про вашего брата работана. Кому и знать, коль не вам!

— Да ты что ж лаешься? Ты говори, коль спрашивают!

— А что вам говорить?! Вы вот погуляйте поболе по карманам, может, и отведаете... Да ладно, отваливай отседова! Нечего вам тут! Ишь ты, мазура оголтелая!

Три полунощника отходят, весьма недовольные таким нелюбезным приемом рабочих.

— А может, и в сам-деле когда-нибудь достукаешься, братцы, до этого цырмуньялу? — раздумчиво замечает на пути один из них своим товарищам.

— Волков бояться, так и в лес не ходить! — откликается другой.

— А ты, ребята, вот что смекай: это дело нам очинно на руку. Толпа-то ведь большая будет — только не зевай да трекай[346] бойчее, а работать грабляхами по ширманам [347] вволю, значит, можно при эфтом случае — самое разлюбезное дело!

И три полунощника исчезают в темноте громадной площади.

— Ну, ребятки, теперича, значит, столбушку только приладить — и шабаш, совсем готово будет! — раздается голос рабочего среди звяканья и стука топоров; а в это самое время дежурный городской обходит окрестные дома и оповещает дворников, что наутро «наказывать будут, так чтобы с каждого дома народу побольше, а коли нельзя, так уж хоть бы по одному человеку согнать на площадь — потому начальство велит, чтобы смотрели, значит».

Часа через два веселая работа была кончена; телеги, с тем же скрипом, рысцей удалились восвояси, и на пустынной площади, в предрассветном сероватом мраке, неясно чернеясь, осталась одна только безобразная масса эшафота.

* * *

В пять часов, на рассвете, дверь секретного номера тихо отворилась, и в комнату осторожной походкой вошла с узлом в руках старушка-надзирательница.

Ночник на стене тускло домигивал свой

огонек, едва борющийся с беловато-серым колоритом утра, слабо проникавшим за решетки тюремного окошка.

Осужденная спала глубоким сном. Истомленный организм ее наконец поддался натуре: тяжелые мысли и черное горе, словно наболелая рана, ненадолго угомонились, наконец, после нескольких бессонных ночей, в этом опьяненном забытьи, которое одолело ее не более как за час до прихода старушки.

Подойдя на цыпочках к постели Бероевой, она остановилась в нерешительности и долго стояла над нею, глядя в сонное лицо своим бесконечно добрым и грустно-сострадательным взглядом. Ей было жаль будить ее.

«Спит... Пойди-ко, во сне и не чувствует, бедная, что уже все готово...» — подумала она, покачав своею старою головою, и тихо дотронулась до спящей.

Бероева вздрогнула и широко раскрыла испуганные глаза.

— Вставайте... пора... Уж там ожидают вас, — сказала Мавра Кузьминишна, кротко взяв ее за руку.

— Кто ожидает?.. Зачем?.. — смутно спро-

сила арестантка, позабыв и не разобрав еще со сна, какой смысл имеет этот приход в необычную пору.

Старушка смущенно насупилась, не находя, каким бы образом полегче и в каких именно словах объяснить ей наступившую роковую минуту.

Но Бероева все уже поняла. Еще не дальше, как накануне вечером, она так тоскливо желала, чтобы с ней поскорее кончали, чтобы не мучили ее долее этой неизвестностью, и томительным ожиданием развязки, а теперь, когда наконец так внезапно наступила последняя решительная минута, ей вдруг сделалось страшно — в голове опять проснулся и беспощадно встал этот грозный призрак публичного позора, и она, усевшись на своей арестантской постели, затрепетала всем телом, нервически и сильно вздрагивая по временам и неподвижно уставя на опечаленную старушку свои помутневшие тоскливым ужасом и как бы совсем одурелые глаза.

— Брр... как здесь холодно... холодно... — болезненно-слабым голосом и словно бессознательно произнесла она, так что звук этого

голоса даже несколько испугал старушку: ей показалось, будто осужденная не то в горячке, не то помешалась.

— Нет, это вам так кажется. — заботливо поторопилась она успокоить ее. — Давай-те-ка, я вам помогу одеться — теплее будет... Я вот и платье вам принесла.

Бероева с помощью ее поднялась с постели.

— Вот вам чистая рубаха — надо уж непременно во все чистое одеться, — говорила старушка, помогая ей при этом эшафотном туалете, — вот умоемся сейчас — водица-то холодненькая, освежит немножко...

И Мавра Кузьминишна старалась как можно более разговорить осужденную, желая всем сердцем отвлечь и разбить посредством этого ее мрачные мысли. Бероева одела, наконец, «позорное» платье черного цвета — и туалет ее был кончен.

— Мне дурно... — через силу проговорила она со стоном и, мертвенно-бледная, опустилась на руки старушки.

Та усадила ее на кровать, суетливо подала напиток кружку воды да виски смочила.

Бероевой через минуту несколько полегчало.

— Тоска... Ах, какая тоска... Под сердцем гложет... — снова болезненно заговорила она, в изнеможении хватаясь рукою то за грудь, то за голову. — Страшно... страшно мне... О, если бы можно было умереть в эту минуту! Господи! боже мой! Дай ты мне это счастье, пошли ты мне смерть! — истерически воскликнула она и тяжело зарыдала. — Мавра Кузьминишна!..

И с этим воплем арестантка, словно в предсмертной, метавшейся тоске, поникла головою на грудь неотступно стоявшей перед нею старухи и обвила ее своими бессильными руками. Добрая женщина при виде такого раздирающего душу горя и сама страдала в эту минуту, хотя много и много раз на своем старушечьем веку доводилось ей снаряжать на эшафот осужденных. По щекам Мавры Кузьминишны неудержимо текли слезы, но она все-таки не переставала ободрять арестантку.

— Перестаньте, вы убьете себя, — сказала она ей решительно и строго.

— Да, убью!.. Я хочу убить себя! — с какой-то мрачной, полупомешанной восторженностью откликнулась Бероева.

— Опомнитесь: у вас есть дети... Грешно вам желать этого! — еще больше возвысила та голос, и эти слова, словно электрический удар, пронзили все существо осужденной. Она встрепенулась, быстро обтерла свои слезы и выпрямилась с необыкновенно энергической решимостью.

— Так!.. Да, это правда, — спасибо вам, — сказала она голосом, которому усиливалась придать все возможное спокойствие, и с благодарностью посмотрела в глаза старухи.

— Добрая моя!.. Да вы плачете! Вам жаль меня?.. Мавра Кузьминишна, вы — честный, хороший вы человек! Вот все, чем могу отплатить вам за это...

И она крепко пожала ей руки.

— Ну, теперь я спокойна... Пойдемте, Мавра Кузьминишна, — я готова.

Арестантка сделала несколько твердых шагов к своей двери, но перед нею замедлилась.

— Впрочем, нет, — промолвила она, воз-

вращаясь, — простимся прежде... Вы мне были здесь и другом, и матерью. Благословите меня.

И старушка медленно и набожно стала осенять крестным знаменем ее благоговейно склоненную голову.

Бероева тихо и долго приникла губами к благословившей ее руке и с твердым спокойствием вышла за дверь секретного номера.

* * *

Семь часов утра. На улицах еще мало движения; снует только чернорабочий люд, кухарки торопливо шлепают на рынок, горничные шмыгают в булочную, мещанка-ремесленница проюркнула в мелочную лавочку — взять на гривну топлёных сливочек к кофе-ишке грешному, дворники панель подметают, да шныряют из ворот в ворота разносчики с криками: «Рыба жива, сиги-ерши живые огурцы, зелены, говядина свежая». В воздухе носится тот утренний гул, который обыкновенно возвещает начало движения к жизни пробудившегося города.

Но вот среди этого гула послышался на перекрестке резкий грохот барабана, — любо-

пытные взоры прохожих внимательно обращаются в ту сторону... Что там такое? Толпа народа валит... солдаты, штыки... над толпою чернеется что-то... Из всех подъездов и подворотень, из всех дверей мелочных лавчонок навстречу выскакивает всевозможный рабочий и черный люд, привлеченный барабанным боем.

Приближается торжественный поезд.

Шагов на тридцать опередивши его, бог знает зачем и для чего, ковыляет, широко размахивая руками, полицейский солдат, каска от торопливости и ходьбы как-то комично сдвинулась у него набок, лицо выражает начальственную строгость и озабоченность: видно, что полицейский чувствует, будто и он тоже власть имущий, поэтому отгоняющим образом помахивает порою на встречную скучившую толпу и все ковыляет, все ковыляет так торопливо, словно чувствует, что спешит по необычайно важному делу.

Вот на статных и рослых конях, плавно покачиваясь, выступают жандармы с обнаженными саблями, а за ними гарнизонный офицер и два барабанщика, которые на каждом

перекрестке начинают выколачивать тот отвратительно действующий на нервы бой, который обыкновенно раздаётся, когда расстреливают или вешают человека, или когда везут его к позорному столбу на эшафоте. За барабанщиками — каре штыков, а по бокам процессии — опять-таки статные кони жандармов, и посреди этого конвоя медленно подвигается вперед, слегка покачиваясь в стороны, позорная колесница, на которой высоко утверждён дощатый черный помост, на помосте столб и скамейка, а на скамейке сидит человеческая фигура — затылком вперед — в черной шапочке и в безобразном сером армяке без воротника — для того, чтобы лицо было больше открыто, чтобы нельзя было как-нибудь спрятать хоть нижнюю часть его. Руки этой фигуры позади туловища прикручены назад, а на груди повешена черная доска с крупной белой надписью: «За покушение к убийству». За позорными дрогами едут два заплечные мастера: один — приземистый и молодой, другой — рыжебородый, высокий и плечистый, — оба в надлежащем костюме, приличном этому обстоятельству, и везут они

с собою, для проформы, «скрипку» — узенький черный ящик, в котором хранится «инструмент», то есть казенные клейма с принадлежностью и ременные плети; за палачами едут — полицейский пристав, исполняющий казнь, и секретарь со стряпчим, а позади их — священник в эпитрахили и скуфейке, с крестом в руке; и, наконец, все это шествие замыкается толпою любопытно глазеющего народа, который валом валит вслед колеснице и порывается во что бы то ни стало заглянуть в лицо преступнице, чтобы поглядеть, «какая такая она есть из себя-то».

Бросьте взгляд на физиономии этой бегущей толпы — и сколько различных оттенков мысли и чувства уловите вы в одном этом беглом обзоре! Тут найдется и тупое, овечье любопытство, и недоумело-запуганный страх, и своего рода фланерское равнодушие, и какой-то тоскливый болящий оттенок в движении глаз и личных мускулов, но более всего, как самое характерное проявление отношений толпы к преступнику, прочтете вы на лицах сострадающее, грустное, христиански-человеческое чувство. Попадется прохожий на-

встречу, взглянет, остановится, и как-то невольно вырывается бессознательный вопрос: «Что это такое?»

— Несчастную везут! — отвечают мимоходом в толпе — и прохожий набожно крестится, молясь и за несчастную, и за себя, и за всякую душу живую, чтобы господь помиловал и избавил от этой ужасной доли.

Не любит русский человек подобных церемоний.

Между тем тихо и долго тянется позорный путь осужденной, от Литовского замка до Конной площади, по которому надо проехать, с подобным триумфом, целые пять верст, а эти пять верст покажутся за целую вечность человеку, сидящему на высоком черном помосте, и проехать их надо по самым большим и людным улицам — от Офицерской, пересекая Вознесенский проспект, на Большую Мещанскую, оттуда по Гороховой, затем на Загородный проспект и по Владимирской площади через Колокольную на Николаевскую, а там — вдоль Невского к Московской железной дороге, оттуда уже поезд заворачивает налево, по Лиговке, к своей конечной цели —

на Конную площадь, — целые десять людных улиц, избранных для увеличения позора осужденного преступника.

Но на этой площади, покрытой народом, эшафота, на ней стоящего, не могла видеть Бероева: она сидела лицом назад — ради удовлетворения любопытства бегущей толпы.

Наконец поезд остановился посредине Конной. Два палача отвязали руки Бероевой и, сведя с помоста, ввели ее в каре военного конвоя, пред эшафот, окруженный с четырех сторон штыками, за которыми волновалась прихлынувшая толпа народа.

Секретарь в гражданском мундире выступил вперед и вынул из кармана свернутый лист бумаги.

— Слушай, на кра-ул! — раздалась воинская команда — и ружья конвоя отчетливо-резко звякнули в воздухе. Барабаны ударили «поход», и через минуту, когда замолк их грохот, до слуха толпы отрывочно стали долетать слова читаемой секретарем бумаги: «По указу... суд... за покушение к убийству... на основании статей... положили...» И далее — все, что обыкновенно читается в этих случаях.

— Слушай, на пле-чо! — И священник в последний раз приблизился к Бероевой.

— Да благословит тебя бог и да даст тебе крепость и веру, — сказал он, осеняя ее крестом. — Теперь, умирая политической смертью, ты окончательно ужерываешь все узы с сим миром... Да благословит и направит тебя бог на путь истины в открывающейся ныне перед тобою жизни новой... Господь с тобою!

И, приложив к губам ее распятие, он отошел в сторону. Тогда два палача, в своих традиционных красных рубахах и в черных плисовых шароварах, с высокими сапогами, взяли осужденную под руки и по лестнице взвели ее на помост черного эшафота. Барабаны снова зарокотали ужасающий живую душу бой к экзекуции.

Толпа заколыхалась еще более, и еще слышнее пошел по ней какой-то смешанный, тысячеголосный гул.

Бероеву подвели к высокому черному столбу, продели ее руки в железные кольца, прикрепленные к этому столбу цепями, и, надвинув их до самых плеч, под мышки, оставили

ее на позорном месте. Осужденная, слегка приподнятая этими кольцами кверху, как-то повисла всем телом у своего столба. Ветер слегка колыхал ее черное платье и полы серого армяка. Толпа уже в немом молчании глядела теперь на эту серую фигуру с доской на груди. Многие головы обнажились, многие руки поднялись к челу, творя крестное знамение. Эти люди молились за своего ближнего — за «несчастную», голова которой все время была поднята кверху, глаза тоже устремлены в пространство и пристально смотрели в летнее небо, слегка подернутое туманом, чтобы не видеть ни эшафота, ни толпы — свидетельницы позора, и никого и ничего в целом мире...

Но вот утренний луч солнца пробился на мгновение сквозь белесоватый туман, заиграл на прорезных крестах Знаменской церкви и ярко ударил в лицо осужденной.

Прошло минут около пяти — и голова ее бессильно-тихо опустилась на грудь и повисла у края доски с белой надписью.

Казалось, будто к позорному столбу привязана мертвая женщина.

В свежем и теплом воздухе далеко пронеслась густым своим звуком протяжная волна первого удара в колокол — у Знаменья заблаговестили к ранней обедне.

Вставало тихое, безмятежное летнее утро.

По прошествии десятиминутного срока акт политической смерти был исполнен. Уголовную преступницу, Юлию Николаевну дочь Бероеву, сняли с эшафота. Военная команда после отбоя удалилась с площади, где остались одни полицейские и народ, не видя уже перед собою сдерживающего оплота, волнами отовсюду хлынул к арестантке. На многих женских глазах виднелись слезы — и трудовые, убогие гривны да пятаки со всех сторон посыпались к ногам Бероевой.

— Прими, Христа ради!.. Прими, несчастенькая! — то и дело слышались в толпе сочувственные, сострадающие восклицания. Кто находился ближе всех к осужденной, тот поднимал с земли эту мирскую лепту и старался всунуть то в руку, то в карман ей подобранные деньги; сама же Бероева стояла, поддерживаемая солдатом, смутно сознавая окружающие предметы, в каком-то апатиче-

ском, бессильном состоянии, весьма близком к бесчувственности.

— Бог вещь, может, еще и занапрасно, может, она и не виновата еще — всяко ведь бывает! — толковали в народе.

— Надысь, сказывают, тоже одного безвинного наказали...

— Да уж теперича виновата ли, нет ли — дело поконченное.

— Не приведи господи!.. Сохрани и помилуй, заступница-матушка! — слышится слезно-сокрушенный бабий голос.

— А для ча ж не пороли ее? — раздается в другом конце голос мужской.

— Потому — благородная, надо быть, — откликаются ему.

— Да и слава богу... Что хорошо?.. Страсть ведь и глядеть на это, потому — человек ведь...

— Нет, ничево: мы привыкши к эфтим делам!..

— Привыкши!.. Да ты откелева?

— А здешние... Обыватели, значит, с самой с Конкой — тут и живем.

— Ну, это точно что... А мы — деревенские,

так нам оно в диковину.

— По-настоящему, по-божескому, то есть, рассудить теперича, так хорошенькой душе и глядеть-то на это не след бы, да уж так только, прости господи...

— Любопытно, Дарья Савельевна, очинно уж любопытственнно!..

— Я доседова с самой Гороховой бежала все... думаешь себе — хоть грошик подать ей: со всяким ведь это может случиться.

— А из себя-то она какая хорошая — и смотреть-то жалость берет.

— Гей, ребята! Пойдем глядеть: палачей повели в кабак водку пить.

— Это уж завсегда палачам по положению, опосля эшафота... Пойдем, робя!

— Да чево там глядеть-то? Абнаковенно — пьют... Нешто, кабы самим хватить по-малости?..

— Эка, «чево»!.. Поглядим! Цаловальник с них и денег николи не берет!

— Зачем не брать?

— А так уж испокон веку ни один не возьмет — это верно! И как только выпьет палач, так он сейчас, вслед за ним, и посудину, и

шкальчик об землю хрепнет, разобьет, значит, чтобы никто уж опосли из него и не пил боле. А ино даже так и в кабак не впустит, а возьмет, да вынесет к порогу — тут и пей себе!

— Это точно, потому как палач по начальству присягу такую дает, что от отца-матери отрицается, коли бы и их пороть — он все ж таки должон беспеременно — отказаться не моги! — и, значит, он от бога проклятой есть человек за это.

— Как же проклятой, коли ему от начальства приказано так?

— Приказано! Силой ведь никто в палачи не тянет. Разве уж коли сам человек добровольно пожелает тово, а насильно идти начальство не заставляет.

— Это уж самый что ни на есть анафема, значит: хуже последней собаки — почему что даже не каждый убивца-разбойник в палачи пойдет!

— А и достается же этим цаловальникам, коли ежели который попадет в их лапы — на кобылу!

— Еще бы не достаться! потому — злость...

И среди таких разговоров народ расходится в равные стороны.

Но замечательно нравственное отношение этого народа к палачу и преступнику: последний для него только «несчастный», за которого он молится и подает ему свои скудные гроши, тогда как о первом у него свои поверья имеются, и, кроме презрительной ненависти, он ничего к палачу не чувствует. Факт знаменательный и полный глубоко гуманного смысла: в этих поверьях, в этом битье стакана и посуды, в этом презрении к исполнителю кары, быть может, самым ярким образом выразилось отвращение народа нашего и к самой казни.

Потому что много страданий, много боли и крови лежит на его прошлом... Уж и без того преступник тяжким лишением прав и предстоящею каторгою несет искупительную кару закона. «С одного вола двух шкур не дерут» — говорит народный разум.

Примечания

[1]

Это старая история... это старая история, однако она всегда повторяется (нем.) — из стихотворения Генриха Гейне.

[^^^]

[2]

Крестовский имеет в виду судебную реформу 1864 г. По этой реформе учреждался гласный суд, формально независимый от министерства юстиции. (Ред.)

[^^^]

Текст настоящего издания печатается по:
В.В.Крестовский. Петербургские трущобы:
Книга о сытых и голодных. В 3 т. 1935.

[^^^]

[4]

Что скажет общество? (фр.).

[^^^]

[5]

Желтая перчатка (фр.).

[^^^]

[6]

Сударыни (фр.).

[^^^]

[7]

Это очаровательно! это очаровательно! (фр.).

[^^^]

[8]

Приличный человек (фр.).

[^^^]

[9]

Вор, специализирующийся на кражах платья
(жарг.).

[^^^]

[10]

Воровское искусство высшего класса (жарг.).

[^^^]

[11]

Замаскированный вход в заведение (жарг.).

[^^^]

[12]

Участник воровской шайки из трактира «Ерши» (жарг.).

[^^^]

[13]

Лорнет, бинокль (жарг.).

[^^^]

[14]

Деньги (жарг.).

[^^^]

[15]

Ассигнации (жарг.).

[^^^]

[16]

Серебряный рубль, серебряные деньги (жарг.).

[^^^]

[17]

Одна комната (жарг.).

[^^^]

[18]

Возьми глаза в руки и смотри сквозь стекла!
Может, сыщик какой! (жарг.)

[^^^]

Шинель (жарг.).

[^^^]

[20]

Полицейский (жарг.).

[^^^]

[21]

Собака (жарг.).

[^^^]

[22]

Выгодное воровское предприятие (жарг.).

[^^^]

[23]

Хороший (жарг.).

[^^^]

[24]

Негодный (жарг.).

[^^^]

[25]

Воровская доля (жарг.).

[^^^]

[26]

Вся выручка одному (жарг.).

[^^^]

[27]

Распределять выручку (жарг.).

[^^^]

[28]

Любой человек, не вор (жарг.).

[^^^]

[29]

Фальшивый паспорт (жарг.).

[^^^]

[30]

Женский (жарг.).

[^^^]

[31]

Особая воровская профессия (жарг.).

[^^^]

[32]

Завсегда и, постоянные посетители (фр.).

[^^^]

[33]

Наворованное (жарг.).

[^^^]

[34]

Есть с водкой (жарг.).

[^^^]

Гроник — грош; каника — копейка; колесо — рубль (жарг.).

[^^^]

[36]

Скупка и перепродажа краденых вещей
(жарг.).

[^^^]

[37]

Сбыть ворованное (жарг.).

[^^^]

[38]

Плохо (жарг.).

[^^^]

[39]

Хорошо (жарг.).

[^^^]

[40]

Вынул кошелек да вытащил серебряную табакерку (жарг.).

[^^^]

[41]

Барышник во что ценит золотые часы?
(жарг.).

[^^^]

[42]

Термин для обозначения всякой воровской вещи (жарг.).

[^^^]

[43]

Часы с цепочкой (жарг.).

[^^^]

Рыжик — червонец; править — просить
(жарг.).

[^^^]

[45]

Полуимпериял (жарг.).

[^^^]

[46]

Серебряный рубль (жарг.).

[^^^]

[47]

Попался в воровстве (жарг.).

[^^^]

Камень (жарг.).

[^^^]

[49]

Взят полицией и отвезен в участок, тюрьму (жарг.).

[^^^]

[50]

Бежать (жарг.).

[^^^]

[51]

Стремить — смотреть, остерегаться (жарг.).

[^^^]

Будочник (жарг.).

[^^^]

[53]

Патрульный казак (жарг.).

[^^^]

[54]

Сидит в части (жарг.).

[^^^]

[55]

Попасть в тюрьму (жарг.).

[^^^]

[56]

Общая складчина на выкуп попавшегося
(жарг.).

[^^^]

[57]

Откупиться (жарг.).

[^^^]

Слам — взятка; крючок — полицейский писмоводитель; выручка — квартальный надзиратель; ключ, ключай — следственный пристав (жарг.).

[^^^]

Метод действия и приемов при совершении воровства (жарг.).

[^^^]

[60]

А если попадется и на следствии приставу
расскажет? (жарг.).

[^^^]

[61]

Скройте, заслоните (жарг.).

[^^^]

[62]

Амба — убить, удар насмерть; домуха — дом;
опатрулить — отобрать в квартире (жарг.).

[^^^]

[63]

В поле или в лесу (жарг.).

[^^^]

[64]

Побои (жарг.).

[^^^]

[65]

Тройная каналья (фр.).

[^^^]

[66]

Бутылка шампанского, которую подают обернутую в салфетку (жарг.).

[^^^]

[67]

Песня со скандальным характером (жарг.).

[^^^]

[68]

«Госпоже княгине Чечевинской» (фр.).

[^^^]

[69]

Меблированные комнаты (фр.).

[^^^]

Мошенник (буквально — рыцарь промышленности) (фр.).

[^^^]

[71]

Это настоящий дворянин (нем.).

[^^^]

[72]

Фи, фуй! (фр.).

[^^^]

[73]

О, да... но это указывает на ваше благородное сердце (нем.).

[^^^]

[74]

Хорошую кормилицу для этого ребенка, если вам угодно, сударь? (фр.).

[^^^]

[75]

Вся к вашим услугам, вся, вся! (нем.).

[^^^]

[76]

Э! это вполне возможно для меня! (фр.).

[^^^]

[77]

О, да! конечно (фр.).

[^^^]

[78]

Вы никого не подозреваете? (фр.).

[^^^]

[79]

Никого, сударыня (фр.).

[^^^]

[80]

И ничего не слышали? (нем.).

[^^^]

[81]

Небольшой скандал, случившийся в высшем свете... (фр.).

[^^^]

[82]

Нет, сплетни! (фр.)

[^^^]

[83]

Я понимаю... я хорошо понимаю это! (фр.)

[^^^]

[84]

Дама, думаю я? молодая и хорошенькая?
(нем.)

[^^^]

Но вы сами? (нем.)

[^^^]

[86]

Возможно ли это? (фр.)

[^^^]

[87]

Нет! вы ошибаетесь, сударь! (фр.)

[^^^]

И в обществе никогда не говорили об этом!
(фр.)

[^^^]

[89]

О, да, сударь немного любопытен! я понимаю!
(фр., нем.)

[^^^]

[90]

Н-ну, да-а! (нем.).

[^^^]

[91]

О, если бы я была вашей женой! (фр.)

[^^^]

[92]

Я бы вас любила. Я была бы верна вам (фр.).

[^^^]

[93]

Очень хорошо! (нем.)

[^^^]

[94]

Очень хорошо... но пришлите только карету к
другому (фр.).

[^^^]

Другой (фр.).

[^^^]

[96]

Большая новость! (фр.)

[^^^]

[97]

Молодая княжна Чечевинская... (фр.)

[^^^]

Но... Как (фр.).

[^^^]

[99]

Бедная мать! она серьезно заболела от этого!
(фр.)

[^^^]

[100]

Вот вопрос! (фр.)

[^^^]

[101]

Но... даже на все дворянство! (фр.)

[^^^]

[102]

Совершенно погибшая женщина! (фр.)

[^^^]

[103]

Да, если это правда... (фр.)

[^^^]

[104]

И кого считают ее любовником? (фр.)

[^^^]

Это дело чести. (фр.)

[^^^]

[106]

Впрочем, прощайте! (фр.)

[^^^]

[107]

Ты видишь теперь, несчастный, что ты сделал со своей женой! Ты подлец! (фр.)

[^^^]

Якобы, ложным (лат.).

[^^^]

[109]

Хорошо, здравствуй и каша.

[^^^]

[110]

«Нет».

[^^^]

[111]

Случайно (фр.).

[^^^]

[112]

Лихорадка (лат.).

[^^^]

[113]

Красивый мужчина и честный человек (фр.).

[^^^]

[114]

Унтер-офицер, вы правы! (фр.)

[^^^]

[115]

Так проходит слава мирская... (лат.)

[^^^]

[116]

Кружок кроликов, кружок кинжалов.

[^^^]

[117]

Стоит столько, сколько стоит, дорогой! (фр.)

[^^^]

[118]

Какая самостоятельность? (фр.)

[^^^]

Князь, князь, что вы делаете? разве это прилично? (фр.)

[^^^]

[120]

Сударыня! вы забываете, что я князь Шадурский! (фр.)

[^^^]

[121]

Что существует страна, которая называется
Россия, населенная мужиками (фр.).

[^^^]

[122]

Париж и провинция (фр.).

[^^^]

[123]

Провинция (фр.).

[^^^]

[124]

Говорят, что это Тамбов (фр.).

[^^^]

[125]

Ужасный ребенок (фр.).

[^^^]

[126]

Господин Попо или Коко (фр.).

[^^^]

[127]

Журфиксов (определенные дни в неделе для приема гостей) (англ.).

[^^^]

[128]

Средних веков (фр.).

[^^^]

[129]

Самоуправления (англ.).

[^^^]

[130]

Метком слове (фр.).

[^^^]

Поэт Гавриил Романович Державин — автор оды «Фелица» в честь Екатерины II.

[^^^]

[132]

Михаил Васильевич Ломоносов.

[^^^]

Пословице (фр.).

[^^^]

[134]

Не правда ли? (фр.)

[^^^]

[135]

Потому что это чересчур пахнет мужиком
(фр.).

[^^^]

[136]

Высшего света (фр.).

[^^^]

[137]

Пенсне (фр.).

[^^^]

[138]

Неизвестная женщина... (фр.).

[^^^]

[139]

Поистине, это преступление с моей стороны!
(фр.)

[^^^]

[140]

Она не из наших (фр.).

[^^^]

[141]

Итак, это легкая победа! (фр.)

[^^^]

[142]

Легкая (фр.).

[^^^]

[143]

Возможность победы (фр.).

[^^^]

[144]

А, это мне очень нравится!.. Должна вам сказать, что у меня страсть ко всем этим безделушкам... (фр.)

[^^^]

[145]

Ах, какие очаровательные дети у вас, сударыня, два маленьких ангела! (фр.)

[^^^]

[146]

О, дети! это большое утешение! (фр.)

[^^^]

[147]

О, это не дорого! (фр.)

[^^^]

[148]

Завтра, в два часа, сударыня. (фр.)

[^^^]

[149]

Его задержали дела (фр.).

[^^^]

[150]

А в ожидании его мы поговорим, выпьем кофе, если вам угодно, сударыня! (фр.)

[^^^]

[151]

Вы не откажетесь? (фр.)

[^^^]

[152]

Он ничего не знает, будьте покойны (фр.).

[^^^]

[153]

Простите... я вас покину на один момент...
Простите, сударыня! (фр.)

[^^^]

[154]

Ну, что вы скажете, господин Катцель? (нем.)

[^^^]

[155]

Очень хорошо, очень хорошо! (нем.)

[^^^]

[156]

Да, я думаю (нем.).

[^^^]

[157]

Отца (фр.).

[^^^]

[158]

О, какой прекрасный язык! какое красноречие, какой экстаз! (фр.)

[^^^]

[159]

Поистине, этот человек наделен священным
огнем! (фр.)

[^^^]

[160]

Взять уроки морали и религии (фр.).

[^^^]

[161]

Бог один повсюду и для всех; и, тем более, все наши там бывают (фр.).

[^^^]

[162]

Высший свет (фр.).

[^^^]

[163]

Это, наконец, в моде! (фр.)

[^^^]

[164]

О, великолепно, очаровательно! Мы все восхищены... (фр.)

[^^^]

[165]

Это было в моде (фр.).

[^^^]

Имеется в виду время Павла I. В конце XVIII века папа Климент XIV закрыл иезуитский орден, но гонимые иезуиты нашли себе убежище в Белоруссии, где основали ряд монастырей и школ. Генерал ордена Гавриил Грубер (1740 — 1805) приехал в Петербург и сумел войти в доверие к Павлу I, который разрешил ордену устроить в Петербурге при католической церкви святой Екатерины коллегия для воспитания детей русской аристократии, среди которой проповедь Грубера имела большой успех.

[^^^]

[167]

Господь с вами! (лат.)

[^^^]

Напротив (фр.).

[^^^]

[169]

Для виду (жарг.).

[^^^]

[170]

Нищие (жарг.).

[^^^]

[171]

Просить милостыню (жарг.).

[^^^]

[172]

Говори (жарг.).

[^^^]

[173]

Доля добычи (жарг.).

[^^^]

[174]

Тысяч пять (жарг.).

[^^^]

[175]

Вздор, пустяки (жарг.).

[^^^]

[176]

Сбиваешь с толку (жарг.).

[^^^]

[177]

Хорошо (жарг.).

[^^^]

[178]

Сделка, уговор (жарг.).

[^^^]

[179]

Устроить предварительную подготовку дела
(жарг.).

[^^^]

[180]

Здесь: воровство (жарг.).

[^^^]

[181]

Торжественный поезд преступника к эшафоту; фортунка — позорная колесница (жарг.).

[^^^]

[182]

Есть миноги — принять наказание плетьюми
(жарг.).

[^^^]

[183]

И с ним делиться долей добычи? (жарг.)

[^^^]

[184]

Угодить в тюрьму (жарг.).

[^^^]

[185]

Пьяного (жарг.).

[^^^]

[186]

То же, что лады — идет, согласен (жарг.).

[^^^]

[187]

Обделывать дело (жарг.).

[^^^]

[188]

Двугривенный (жарг.).

[^^^]

[189]

Партикулярный человек (жарг.).

[^^^]

[190]

Из лакеев (жарг.).

[^^^]

[191]

Из мошенников (жарг.).

[^^^]

[192]

Заниматься воровством в одиночку (жарг.).

[^^^]

[193]

Подговорим на воровство прислугу в доме
(жарг.).

[^^^]

[194]

Опытных воров, атаманов (жарг.).

[^^^]

За и против (лат.).

[^^^]

[196]

Учеников мошенников (жарг.).

[^^^]

[197]

Кирюшка — палач, некогда бывший в Петербурге. Его имя вделалось синонимом палача.

[^^^]

[198]

Очень удачное воровство (жарг.).

[^^^]

[199]

Ощупки (жарг.).

[^^^]

[200]

Неосторожно толкнул жертву во время кражи (жарг.).

[^^^]

[201]

С любовью (фр.).

[^^^]

[202]

Обязательно (фр.).

[^^^]

[203]

Что язык-то распустил? (жарг.)

[^^^]

[204]

Воровское дело (жарг.).

[^^^]

[205]

Приехал (жарг.).

[^^^]

[206]

Собака (жарг.).

[^^^]

[207]

Прекрасно (жарг.).

[^^^]

[208]

Скверно (жарг.).

[^^^]

[209]

Портмоне (жарг.).

[^^^]

[210]

Ассигнациями (жарг.).

[^^^]

[211]

Приступом, на ура (жарг.).

[^^^]

[212]

Попасться да в Сибири пропасть (жарг.).

[^^^]

[213]

Убить (жарг.).

[^^^]

[214]

Инструмент, на котором наказывали
плетьюми (жарг.).

[^^^]

[215]

Рука (жарг.).

[^^^]

[216]

Зарезать (жарг.).

[^^^]

[217]

Шпионом, сыщиком (жарг.).

[^^^]

[218]

Трехрублевый (жарг.).

[^^^]

[219]

Как десерт, на закуску (фр.).

[^^^]

[220]

Спасибо за скандал (фр.).

[^^^]

[221]

И наконец — что скажет общество? (фр.)

[^^^]

[222]

Барвар! (фр.)

[^^^]

[223]

У князя не дурной вкус! (фр.)

[^^^]

[224]

Великолепно, восхитительно! (фр.).

[^^^]

[225]

Головка Грѣза (фр.).

[^^^]

[226]

Ну, успокойся, успокойся, дитя мое, моя дорогая! (фр.)

[^^^]

[227]

Мой ангел! (фр.)

[^^^]

[228]

Что вы скажете теперь об этом, князь? (фр.)

[^^^]

[229]

Это моя воспитанница. (фр.)

[^^^]

[230]

Хорошо, почему нет? (фр.)

[^^^]

[231]

Никто, князь, никто! (фр.)

[^^^]

[232]

По-супружески (фр.).

[^^^]

[233]

Разумно (фр.).

[^^^]

Прежде всего — скромность: это честная девушка, и главное — безупречная невинность (фр.).

[^^^]

[235]

Я уже сказала (нем.).

[^^^]

[236]

Вы хотите ее сделать вашей любовницей,
не так ли? (фр.)

[^^^]

[237]

Все сильнее и сильнее (увеличиваясь и увеличиваясь) (фр.).

[^^^]

Вы столь любезны, столь остроумны! Я не могу до сих пор забыть эту афинскую ночь, которую вы нам устроили... Какие превосходные женщины! И какие античные формы у этой маленькой пулярки Полины! (фр.)

[^^^]

[239]

Афинской ночи (фр.).

[^^^]

[240]

Мари, он влюблен уже! Поздравляю вас! (фр.)

[^^^]

[241]

Мари, я хочу вам сделать еще один сюрприз
(фр.)

[^^^]

[242]

Тетушка (фр.).

[^^^]

[243]

Хорошо (фр.).

[^^^]

[244]

Это такая же профессия, как всякая другая
(фр.).

[^^^]

[245]

Ну, хорошо, идем, я хочу ее видеть (фр.).

[^^^]

[246]

Пенсне (фр.).

[^^^]

[247]

Золотая молодежь (фр.).

[^^^]

[248]

Старых холостяков (фр.).

[^^^]

[249]

Завсегдатаи (фр.).

[^^^]

[250]

Молчи!.. Тсс!.. (фр.)

[^^^]

[251]

Войдите! (фр.)

[^^^]

[252]

Я очарован! (фр.)

[^^^]

[253]

Вы правы! (фр.)

[^^^]

[254]

Я очарован!.. Я восхищен вашей добротой, сударыня! (фр.)

[^^^]

[255]

Прощайте, сударыня, прощайте! К вашим услугам! (фр.)

[^^^]

[256]

Моя радость! (ит.)

[^^^]

[257]

Безделушки (фр.).

[^^^]

[258]

Волей-неволей (фр.).

[^^^]

[259]

Золотой молодежи (фр.).

[^^^]

[260]

Честное слово (фр.).

[^^^]

[261]

Что это женщина из общества (фр.).

[^^^]

[262]

Не горячитесь, сударыня (фр.).

[^^^]

[263]

Извините, сударыня: положение обязывает!
(фр.)

[^^^]

[264]

Тюрьма (жарг.).

[^^^]

[265]

7 ноября 1824 г. было знаменитое наводнение в Петербурге.

[^^^]

[266]

Работающие по разгрузке и нагрузке судов в порту.

[^^^]

[267]

Поясок из тоненькой веревочки.

[^^^]

[268]

Баварский подданный (нем.).

[^^^]

[269]

Заключение на известный срок, по приговору суда (жарг.).

[^^^]

[270]

Прозвище служителя, исполняющего обязанности главного привратника (жарг.).

[^^^]

[271]

Тюремная похлебка (жарг.).

[^^^]

[272]

«Прощание» (англ.).

[^^^]

[273]

Уголовная палата (жарг.).

[^^^]

[274]

Оставят в сильном подозрении (жарг.).

[^^^]

[275]

Гривенник (жарг.).

[^^^]

[276]

Полтинник (жарг.).

[^^^]

[277]

Собака (жарг.).

[^^^]

[278]

Ассигнации (жарг.).

[^^^]

[279]

Трехрублевые да пятирублевые (жарг.).

[^^^]

[280]

Маленький острый ножик (жарг.).

[^^^]

[281]

Смерть.

[^^^]

[282]

Тесьма для нательного креста.

[^^^]

[283]

Сибирское прозвание каторжников (жарг.).

[^^^]

[284]

Беглый сибирский бродяга (жарг.).

[^^^]

[285]

Бродяга, не помнящий родства (жарг.).

[^^^]

[286]

Озеро Байкал.

[^^^]

[287]

Соберитесь в кучу (жарг.).

[^^^]

[288]

Берегись! (жарг.).

[^^^]

[289]

Как же, дожидайся (жарг.).

[^^^]

[290]

Без паспорта (жарг.).

[^^^]

[291]

Дело чести (фр.).

[^^^]

[292]

Какое большое несчастье, какая трагическая катастрофа! (фр.)

[^^^]

[293]

Полусветском (фр.).

[^^^]

[294]

А скажите, она красивая? (фр.)

[^^^]

[295]

Каков тип ее красоты, блондинка или брюнетка? (фр.)

[^^^]

[296]

Я — благородная дама, сударь! (фр.)

[^^^]

[297]

Во имя неба! (нем.)

[^^^]

[298]

Кредитный билет в пятьдесят рублей (жарг.).

[^^^]

[299]

Кредитный билет в пять рублей (жарг.).

[^^^]

[300]

Кредитный билет в сто рублей (жарг.).

[^^^]

[301]

Неизвестно, как пойдут дела (жарг.). Мокро,
вода — опасность (жарг.).

[^^^]

[302]

Снег, дождь — неудача (жарг.). Ясно — удача (жарг.).

[^^^]

[303]

Дом князя Вяземского.

[^^^]

[304]

Вино или зелье, в котором подмешан дурман
(жарг.).

[^^^]

[305]

Идти на темную — покуситься на убийство
удушением (жарг.).

[^^^]

[306]

Особый род удушения (жарг.).

[^^^]

[307]

Мякоть — подушка; дыхало — рот и ноздри
(жарг.).

[^^^]

[308]

Удерем, скроемся (жарг.).

[^^^]

[309]

Оставили в подозрении (жарг.).

[^^^]

[310]

Убитый, задушенный (жарг.).

[^^^]

[311]

Старший вор, заправляющий делом (жарг.).

[^^^]

[312]

Дележ добычи (жарг.).

[^^^]

[313]

Ассигнациями (жарг.).

[^^^]

[314]

Господские деньги (жарг.).

[^^^]

[315]

Благородная дама (жарг.).

[^^^]

[316]

Дело (жарг.).

[^^^]

[317]

Промотал (жарг.).

[^^^]

[318]

Сто (жарг.).

[^^^]

[319]

Прибавка (жарг.).

[^^^]

[320]

Копейка (жарг.).

[^^^]

[321]

Двадцать пять (жарг.).

[^^^]

[322]

Подозревать (жарг.).

[^^^]

[323]

Приговоренный к ссылке в Сибирь (жарг.).

[^^^]

[324]

Искренняя исповедь старого аббата (искаж.
фр.).

[^^^]

[325]

Уже готово! (нем.)

[^^^]

[326]

Насекомое, — от фр. insecte.

[^^^]

[327]

Государственного переворота (фр.).

[^^^]

[328]

Немного (нем.).

[^^^]

[329]

С его женою (нем.).

[^^^]

[330]

Так, мой драгоценный, так, правильно! (фр.)

[^^^]

[331]

Богом (нем.).

[^^^]

[332]

Государство в государстве (лат.).

[^^^]

[333]

Матери с детьми до трехлетнего возраста
(жарг.).

[^^^]

[334]

Я здесь вполне счастлива, вполне счастлива,
господин (нем.).

[^^^]

[335]

Преступницы, которые не ходят обедать в общую столовую (жарг.).

[^^^]

[336]

Белый передник (жарг.).

[^^^]

[337]

Так назывался окраинный район Петербурга, где проживало купечество, занимавшееся извозопромышленным делом.

[^^^]

[338]

За товарища (жарг.).

[^^^]

[339]

Ах, как он религиозен, этот бедный заключенный, как он плачет, как он страдает! (фр.)

[^^^]

[340]

Но он безумен, этот несчастный! (фр.).

[^^^]

[341]

Известный арестант, многократный убийца.

[^^^]

[342]

Завсегдатаи (фр.).

[^^^]

[343]

Помня о смерти (лат.).

[^^^]

[344]

Якобы ложный (лат.).

[^^^]

[345]

Особого вида скамейка, на которой наказывали кнутом (жарг.).

[^^^]

[346]

Создавай давку (жарг.).

[^^^]

[347]

По карманам (жарг.).

[^^^]